



И.А. ГОНЧАРОВ



Иван Александрович Гончаров

Том 7. Очерки, повести, воспоминания

(Собрание сочинений в восьми томах #7)

Литературное наследие Ивана Александровича Гончарова не обширно. За 45 лет творчества он опубликовал три романа, книгу путевых очерков «Фрегат „Паллада“», несколько нравоописательных рассказов, критических статей и мемуары. Но писатель вносил значительный вклад в духовную жизнь России. Каждый его роман привлекал внимание читателей, возбуждал горячие обсуждения и споры, указывал на важнейшие проблемы и явления современности. В настоящее Собрание сочинений вошли все значительные художественные произведения писателя, а также литературно-критические статьи, рецензии, заметки.

В седьмом томе собраны очерки, повести, рассказы и воспоминания, написанные в течение всей долгой творческой жизни Гончарова, с 1839 по 1891 год. Эта часть художественного наследия Гончарова является наименее известной широким кругам читателей.

<https://traumlibrary.ru>

Содержание

Иван Савич Поджабрин *	0005
Два случая из морской жизни *	0146
Литературный вечер *	0191
Воспоминания	0375
В университете *	0375
На родине *	0439
Слуги старого века *	0623
По Восточной Сибири *	0760
Май месяц в Петербурге *	0810
Приложения	0846
Счастливая ошибка *	0846
Поездка по Волге *	0925
Комментарии	0975
Выходные данные	1078

**Иван Александрович
Гончаров
Собрание сочинений в
восьми томах
Том 7. Очерки, повести,
воспоминания**

Иван Савич Поджабрин*

Очерки

Иван Савич сидел после обеда в вольтеровских креслах и курил сигару. Ему, повидимому, было очень скучно. Он не знал, что делать. Для препровождения времени он то подожмет ноги под себя, то вытянет их во всю длину, по ковру, то зевнет, то потянется или стряхнет в чашку кофе пепел с сигары и слушает, как он зашипит; словом, он не знал, что делать со скуки. Ехать в театр еще рано, в гостях он быть не любил. В передней храпел слуга, у ног спала собака. Все сердило Ивана Савича, и эта досада простиралась и на лакея и на собаку. Иван Савич уже попотчевал двумя пинками Диану, которая сунулась было лизать ему руку. Она, свернувшись, легла на ковер и чуть-чуть дрожала, только по временам открывала один глаз и искоса поглядывала на своего господина.

– Авдей! – закричал он.

– Че-о изволит... – впросонках пробормотал тот.

– Не храпи! Эх ты храпишь: за две комна-

ты слышно.

Храпенье прекратилось; место его заступила продолжительная, энергическая зевота, с прибавочными звуками: ге! ге! ге!

– Не зевай или зевай как следует, про себя! – закричал Иван Савич.

Воцарилось молчание, но ненадолго. Поднялся сухой, продолжительный кашель. Приятель мой пожал плечами.

– Вот, кашлять стал! Не можешь посидеть смирно? А отчего кашель? оттого, что все по сеням да по двору таскаешься в одном жилете. Говорил тебе: нет, не слушаешься. Ну, смотри, у меня и спи на дворе, а здесь я кашлять тебе не позволю.

После этого увещания оба замолчали, и Иван Савич опять принялся за свои занятия: за вытягивание и поджимание ног, за стряхивание пепла и проч.

Вдруг в зале послышались шаги Авдея. Он явился в кабинет и стал у дверей. То был низенький, плешивый, пожилой человек. Волосы у него на затылке были с проседью.

– Что тебе надо? – спросил Иван Савич.

– Я забыл вам сказать: дворник давеча го-

ворил, что на вас хотят жаловаться...

– Кто? кому? – с испугом спросил Иван Савич.

– Хозяину жильцы.

– Жильцы? хозяину?

– Да-с: слышь, женскому полу проходу не даем...

– Цс! что, дурак, орешь!

– Да-с. Вон этот чиновник, что против нас живет, – продолжал Авдей, – очень недоволен. Дворник говорит: как, говорит, твой барин со двора, так и жена этого чиновника на рынок-с с девкой идет. На что это, говорит, похоже? Муж-то, говорит, раз и пошел следом за вами и видел, говорит, как вы, вишь, вышли из переулка да с ней рядом и пошли, и был, говорит, очень, очень недоволен: ворчал целый день и только к вечеру утомился, и то оттого, что выпил.

– Гм! какой варвар! – сказал Иван Савич, покачав головой, – ну?

– Еще, слышь, булочник жаловался...

– А этот на что?

– Все, вишь, дочь его мимо наших окошек шмыгает да в кухню к нам часто заглядывает.

– В самом деле? На кого ж булочник жаловался: на меня или на дочь?

– Не могу знать.

– Так знаешь что? – сказал Иван Савич.

– Не могу знать.

– Ищи поскорей другую квартиру.

– Опять! – горестно сказал Авдей, – давно ли переменили.

– Давно ли! что ж делать! ты сам видишь, что нам житья здесь нет: притесняют. Долго ли до беды? Ищи!

– Этакую квартиру менять! – сказал Авдей, – и сарай и ледничек особый...

– Вот еще! зачем нам ледничек! Мы дома не стряпаем, впрок ничего не запасаем.

– Как зачем-с? неровно пригодится. Вот раз дыню на лед клали... Мало ли зачем?

– Нет, ищи! Да мне эта квартира и надоела. Я уж всех здесь знаю: все наскучили. Не с кем пожуировать жизнью.

– А Марья Михайловна?..

– Ну, уж дрянь-то! Ищи!

– Побойтесь бога, Иван Савич, – сказал Авдей, – грешно, право, грешно.

– Полно! – с досадой возразил Иван Са-

вич. – По-твоему, не пожуируй! Сиди вот так с тобой да с Дианкой дома: не с кем слова сказать. Да еще пожалуются – беда выйдет, пристанут! Ищи. Да смотри, чтоб окна выходили на улицу и на двор. А если где заметишь в доме... понимаешь?.. того... так хоть на улицу и не будет окошек, нужды нет.

Ежедневный образ жизни Ивана Савича, как нынешние драмы, разделялся на три картины. Утро в должности. Это он называл *серьезными занятиями*, хотя иногда сидел там, ничего не делая. Обед в трактире, часто с приятелями. Тогда обедали шумно и напивались обыкновенно пьяны. Это называлось *кутить* и считалось делом большой важности. Вечер или в театре, или в обществе какой-нибудь соседки. Последнее значило у Ивана Савича и подобных ему *жуировать* жизнью. Выше и лучше этого он ничего не знал. Родители оставили ему небольшое состояние и познакомили его с порядочными людьми. Но он нашел, что знакомство с ними – *сухая материя*, и мало-помалу оставил их. Книг он не читал, хотя учился в каком-то учебном заведении. Но дух науки пронесся над его головой, не

осенив ее крылом своим и не пробудив в нем любознательности. Каким он вступил в учебное заведение, таким и вышел, хотя, по заведенному в этом заведении похвальному обычаю, получил при выходе похвальный лист за *прилежание, успехи и благонравное поведение.*

На другой день Авдей доложил Ивану Савичу, что на трех воротах видел объявления и осмотрел две квартиры: обе казались хороши. Иван Савич оделся и отправился вместе с ним. Они пришли к большому четырехэтажному дому. У ворот сидел мужик в тулупе.

– Не дворник ли ты? – спросил его Иван Савич ласково.

Мужик зевнул и молча стал смотреть в другую сторону.

– Где здесь дворник? – спросил Авдей.

Мужик молчал.

– Дома дворник? – спросил опять Иван Савич.

Мужик посмотрел на них обоих и молчал.

– Да что ж ты, глух, что ли? говори.

– Я не здешний! – лениво отвечал мужик, запахивая тулуп.

– Так бы и говорил, чухна проклятая! – ска-

зал Авдей, – а то молчит!

Они вошли на двор. Им навстречу попался еще мужик.

– Дворник? – спросил Иван Савич.

– Никак нет-с, – проворно отвечал мужик, приподняв шляпу, – вон где дворник живет. Извольте позвонить. Кажись, дома.

– Позвони, Авдей!

Авдей позвонил. В дворнической никто не пошевелился Иван Савич позвонил сам сильнее: нет ответа. Авдей спустился со ступенек к засаленной двери и постучал кулаком. Молчание. И Иван Савич постучал посильнее. То же.

– А вы бы покрепче! – сказал тот же мужик, который, указав им конуру дворника, все вертелся поодаль от них у ворот.

Иван Савич постучал очень крепко.

– А вы изо всей мочи, – сказал мужик.

– У меня уж нет больше мочи. Поди-ка ты, Авдей!

Все безуспешно.

– Пожалуйте-ка, я, – сказал мужик и застучал так, что стекла задребезжали.

Никто не откликнулся.

– Ну, видно, дома нет, – говорил мужик. – Я думал, не заснул ли он. Лют спать-то: нескоро добудисься. Нет ли разве на другом дворе?

Барин и слуга отправились на другой двор; за ними, в качестве наблюдателя, поплелся и мужик. Там бродили два гуся да пяток кур. В одном углу баба мыла кадку, в другом кучер рубил дрова.

– Не знаешь ли, тетка, – спросил Авдей, – где дворник? Нет ли его здесь?

– Нет, батюшка, не видать. Он должен быть на том дворе.

Они пошли опять на первый двор и прошли было уж ворота.

– Кого вам, господа? – закричал кучер, – дворника, что ли, надо?

И с этими словами вонзил топор в бревно, обернул его, поднял над головой и хлопнул оземь. Бревно разлетелось надвое; одна половинка ударила по коленке Авдея.

– Вишь тебя, леший... – сказал Авдей, прыгнув.

Кучер опустил топор к полу.

– Да, да, любезный, дворника. Где он? – спросил Иван Савич.

– Да, где он? – примолвил, почесывая коленку, Авдей.

Кучер поглядел на них, потом поплевал на ладони, взял топор и опять занес его над головой.

– Не знаю, не видал! – отвечал он, потряхнув головой, и вонзил топор в другое бревно.

– Зачем же ты ворочаешь попустому? – сказал Авдей. – Этакой народец!

И пошли прочь. Они уже решились идти на другую квартиру. Между тем Иван Савич глазел на окна всех этажей, и вдруг глаза его заблистали: в окне третьего этажа мелькнуло белое платье, потом показалось и тотчас спряталось кругленькое женское личико, осененное длинными черными локонами. Из-за него выглянуло другое, старое и некрасивое женское лицо.

– Ну, вот: тебя очень нужно! – проворчал Иван Савич, относя это ко второму явлению.

Когда они проходили мимо дворнической, из глубины ее, как из могилы, выдвинулась сонная фигура самого дворника, в рубашке, с самоваром в руках.

– Ты дворник? – спросил Авдей.

– Я-с. Что вашей милости угодно?

– Что! где ты прячешься! барин спрашивает тебя.

– Какой барин? – говорил дворник, поглядывая с любопытством на Ивана Савича.

– Мы тебя целый час ищем, – сказал Иван Савич,

– А вы бы позвонили.

– Мы даже трезвонили; руки отколотили, стуча в дверь.

– Не слышал. Признаться, соснул маленько, – сказал дворник.

– Так не мы тебя разбудили? – спросил Иван Савич.

– Нет-с, я сам проснулся. Диво, как я не слышал. Мне только чуть дотронься до скобки, я и услышу.

– В третьем этаже здесь отдаются три комнаты и кухня? – спросил Иван Савич. – Покажи-ка нам.

– Сейчас-с. Вот ключи только возьму. Пожалуйста-с.

Он поставил самовар на землю и повел было их на лестницу, но вдруг заметил того мужика, который помогал Ивану Савичу и Ав-

дею стучать в дверь, и воротился. И они воротились.

– А! ты здесь! – начал он кричать. – Зачем пожаловал? Послушай! толком тебе говорю: убирайся и не показывайся сюда, а не то, брат, худо будет. Хозяин велел тебя взащей вытолкать. Слыхал ты это?

Мужик спрятался за ворота.

– То-то же; будешь у меня прятаться, – при-молвил дворник. – Пожалуйте-с.

Они пошли на лестницу. Дойдя до первого этажа, дворник бросился к окну в сенях посмотреть, ушел ли мужик. Но он оказался опять на дворе.

– Аль тебе мало слов? – кричал дворник, грозя из окна ключами, – ну, так я кликну городского: он с тобой разделается; уходи, говорят, уходи, покуда цел. Пожалуйте-с.

И Иван Савич с Авдеем смотрели в окно и видели, как мужик опять спрятался. Пошли выше.

– А ведь, чай, не ушел, проклятый, – сказал дворник, всходя на площадку второго этажа. – Хоть побиться!

Наконец пришли в третий этаж к дверям.

Дворник прежде всего подошел к окну.

– Не видать! – говорил он сам с собой. – Поди, чай, врет: не ушел! Этакая должность проклятая! Усмотри за ними! Пожалуйте-с.

Он стал отпирать двери. В это самое время из дверей противоположной квартиры выглянула та же самая хорошенькая головка, что смотрела из окна, и тотчас спряталась.

– Я думаю, я найму эту квартиру, – сказал Иван Савич и толкнул локтем Авдея.

Авдей отворотился.

– А? как ты думаешь, Авдей?

– Что вы, сударь, торопитесь, – отвечал он. – Может, еще не хороша.

– Как понравится, – примолвил дворник.

– Прехорошенькая, – заметил Иван Савич.

– Да ведь вы еще не видали ее; а может быть, она и холодна, – сказал Авдей.

– Холодна! как можно, холодна! – ворчал Иван Савич.

– Будьте покойны, – говорил дворник, махнув ключом и тряхнув головой, – такая жара, словно в печке: одни жильцы даже съехали оттого, что больно тепло.

– Как так?

– Четыре печки, сами посудите. В кухне русская, да и солнышко греет прямо в окошки. Жили иностранцы какие-то, и не понравилося; а нам, русским, пар костей не ломит. Довольны будете.

– Видишь, Авдей, кроме передней, какая у тебя еще славная комната? – сказал Иван Савич.

– Что мне видеть-то! – проворчал Авдей, взяв картуз из одной руки в другую.

– Экой дурак! а ты отвечай по-человечески! – сердито заметил Иван Савич.

– Я и то по-человечески говорю; вестимо, человек: по-барски не умею, – сострил Авдей.

Квартира оказалась годною. Зала окнами выходила в переулок, а кабинет и спальня на двор. Все как хотелось Ивану Савичу.

– А что это за пятно на потолке, как будто мокрое? – спросил Авдей.

– Да, в самом деле, что это за пятно, и еще в спальне? – спросил и Иван Савич. – Кажется, течет сверху?

– Точно так-с, – отвечал дворник, наклонив немного голову в знак согласия, – протекает маленько. Ино бывает наверху ушат с водой

прольют, оно и каплет в щель.

Иван Савич покачал головой.

– Не извольте сумлеваться, – поспешил примолвить дворник, – будете довольны. А это пятно – так ничего! не смотрите на него – оно дрянь!

– Вижу, что дрянь. Но ведь этак, любезный, пожалуй штукатурка отвалится да на нос упадет.

– И, нет-с, щекатурка крепка – не отмокнет: другой год каплет. Вы только, как станет капать, ведро извольте подставить.

– А как не доглядишь, – сказал он, – да вода-то твоя на мебель или на платье потечет?

– Нет-с, услышите: ведь оно закаплет, словно дождь пойдет: так и забарабанит.

«Дождь в комнате! – думал Иван Савич, – лишнее, совершенно лишнее!» Зачем же не замажут? – спросил он.

– Все тоже спрашивают, – отвечал дворник, – я сказывал хозяину, да он говорит, что уж он замазывал в ту пору еще, когда вот эти жильцы нанимали, что съехали. «Неужто, говорит, для каждого жильца стану замазывать!» да еще ругнул меня.

Иван Савич задумался было, но вспомнил о соседке и махнул рукой. «Что ж! ванны не нужно, – прибавил он, обращаясь к Авдею. – Стал под это пятно да попросил там вверху пролить ушат с водой, вот тебе и душ».

Он дал задаток.

– Позвольте, сударь, позвольте! – сказал то-ропливо Авдей и вырвал у дворника ассигнацию, – надо все с толком делать: а есть ли сарай для дров?

– Есть: сажен на пять.

– Ну, а ледничек особый?

– Ледника нет. Да на что вам ледник? У вас ведь нет хозяйства; али барин женат?

– Нет, мы холостые. Да как не нужно ледника? Случится поставить что...

– Да что вам ставить?

– Как что? дыню иной раз...

– Ты все вздор говоришь, Авдей! отдай задаток! – сказал Иван Савич.

– Вздор! – повторил тихонько Авдей. – Сам вздор делает: дрова, вишь, у него вздор и ледник вздор, а глазеть куда не надо – не вздор!

– Можно на хозяйский ледник поставить, коли что понадобится, – сказал дворник.

Авдей отдал задаток назад.

Пока слуга торговался, Иван Савич отворил ногой дверь из передней в сени и поглядывал в лорнет в полуотворенную дверь противоположной квартиры. Оттуда изредка выглядывали попеременно то молодое, то старое женское лицо.

– Ах, как мила! – бормотал Иван Савич, отворяя побольше дверь. – Черные глазки, свеженькая: можно пожуировать. Экое чучело! – говорил он потом, вдруг захлопывая дверь. – Какая беленькая шейка! О, да она много обещает! Никогда не видывал гаже хари! Что это она так часто выглядывает?

Вдруг в голове у него мелькнуло сомнение насчет соседки, и он тоже схватил ассигнацию из шапки дворника. Дворник потянулся было проворно прикрыть ее рукой, но не застал уж ее в шляпе и прикрыт пустое место. Он разиня рот смотрел, куда спрячет Иван Савич деньги. Но тот держал их в руке. Они вышли в сени.

– Кто тут живет напротив? – спросил Иван Савич.

– Тут-с... мужние жены, – отвечал дворник.

У Ивана Савича отлегло от сердца.

– Ну вот, слава богу, что порядочное соседство: честные женщины; а то ведь иногда... попадешь так, что и жить нельзя!

И он бросил ассигнацию опять в шапку. Дворник сжал ее в кулак с ключом, а шапку надел.

– А тут кто?

– Тут-с барышня, дочь умершего чиновника.

– Слышишь, Авдей, барышня.

– Что мне слышать-то! – сказал Авдей.

– А вон там повыше кто? – спросил Иван Савич.

– Это-то?

– Да.

– Женатый чиновник.

– А внизу?

– Чиновник вдовец.

Иван Савич стал морщиться.

– А с другой стороны? – спросил он.

– Чиновник-с.

– Что за чорт! А там? – говорил Иван Савич, указывая на самый верх, и, не дожидаясь ответа, сам кивнул головой, как будто догадыва-

сь, кто. И дворник кивнул.

– Тоже?

– Тоже.

– Хм! – с досадой сделал Иван Савич. – Женатый?

– Никак нет-с... у него экономка, Фекла Андревна, всем распоряжается. Хорошая женщина, такая набожная: ни обедни, ни заутрени не пропустит. А про вашу милость, коли спросит хозяин, как прикажете доложить? Кто вы?

– Кто я? – с важностью произнес Иван Савич, подступая к дворнику.

Дворник попятился и снял шапку.

– Кто я? – повторил Иван Савич. – Я холостой... чиновник!

Дворник надел шапку, потрянул головой и только что не сказал:

«Что за чудо! Напугал понапрасну. Нам они не в диковинку».

Он запер дверь и тотчас посмотрел в окно из сеней.

– Нет, нету! – сказал он сам себе, – уж не пробрался ли на другой двор? чего доброго от такого анафемского мужика ждать! Он, по-

жалуй, и на другой двор пойдет, да даром: пусть пойдет, Фомка-то без сапог сидит.

Иван Савич с Авдеем стали сходить с лестницы. Им встретилась баба с корытом. Они слышали, как она остановилась с дворником.

– Здравствуйте, Савелий Микитич! – сказала она.

– Наше вам, Степанида Игнатьевна!

– Что это, никак вам бог жильцов дает?

– Да, наняли.

– Кто такие?

– Вестимо, кто: чиновники. Я рад-радехонек. Теперь по этой черной лестнице у нас все чиновники живут. А то уж как я боялся, чтоб не нанял какой мастеровой.

Дня через два на новую квартиру явился Авдей... За ним въехали на двор три воза с мебелью и другими домашними принадлежностями. Получше мебель и разные мелкие вещи несли солдаты на руках. Сам Авдей нагружен был мелочами, как верблюд. Одной рукой он обнял настенные часы; гири болтались и били его по животу. Между пальцами торчал маятник. В другой руке была лампа. Сзади из карманов сюртука выглядывали два бронзо-

вые подсвечника. В зубах он держал кисет с табаком.

– Постой, постой! эх ты ломишь! – кричал он направо и налево. – Не ставь зеркала на грязь-то. Погоди носить: надо посмотреть, пройдет ли. Где дворник? да что ж он не отпирает? Господи воля твоя! это суцая каторга. Нет, чтоб самому хоть немножко присмотреть.

– Да где барин-то твой? – спросил подошедший в это время дворник.

– Где! чорт его знает, прости господи, где! Любит на готовое приехать. Переезжай, говорит, Авдей, а я ужо к вечеру буду, да и был таков. Вот ты тут и переезжай как хочешь. Того и гляди все мое доброе растащат; у меня одного платья рублей на семьдесят будет.

Долго еще раздавалась по двору команда Авдея. Он, как гончая собака, раз сто взбежал и сбежал по лестнице. Там поддержит уголок дивана или шкафа, там даст полезный совет, как обернуть мебель, верхом или низом.

– Вот так, вот так, – слышалось беспрестанно, – нет, нет, повыше, еще, пониже, пониже: так, так; ну, слава богу, прошло!

Из окон глядели любопытные. Иные не отходили от окна во все время перевозки: часа так четыре. Всё по разным причинам. Один любит знать, какая у кого мебель, кто на чем спит, ест, – словом, любит соваться в чужие дела. Другому, видно, наскучили свои, и он зевает по целым часам на чужое добро. Третий любит замечать какие-нибудь особенности и судить о них по человеку, четвертый – смотреть на разные мелкие вещицы.

– Вот шкаф несут, – говорил один соседу.

– Теперь, чай, возьмут комод, – отвечал тот.

– Эх, картину-то как он взял, дурачина: того и гляди заденет за перила! – и тут же не вытерпит и закричит из окна: – смотри, картину-то, картину попортишь!

Экономка чиновника, Фекла Андревна, набожная женщина, оставалась у окна до тех пор, пока Авдей внес последнюю утварь – кадочку с песком, корзинку с пустыми бутылками, две сапожные щетки и кирпич. Она пересказала все своему чиновнику.

– Новый жилец переехал, Семен Семёныч! – сказала она.

Семен Семеныч понюхал табаку, поправил крест в петлице и молчал.

– Богатый должен быть, – начала она опять, – нанял ту квартиру, что на нашу и на парадную лестницу выходит. Зало-то окнами на улицу. Восемьдесят рублей в месяц ходит.

Тот все молчит.

– Шандалы, я думаю, одни рублей сто заплачены; а столы, стулья какие! диваны красные и зеленые, да прямижки: я на один присела, пока он стоял на коридоре, так и ушла вот до этих пор, инда испужалась.

– До каких пор? – спросил Семен Семеныч флегматически.

– Вот до сих.

Она показала рукой.

– А где он служит?

– Не успела спросить у человека... вот ужо разве.

– Добро, давайте-ка обедать, – сказал Семен Семеныч, – нечего растабарывать.

И хорошенькая соседка вертелась все на пороге. Она прыгала и резвилась, как котенок, даже поговорила с Авдеем.

– А кто твой барин? – спросила она.

– Он-с барин, сударыня!

– Знаю, да кто?

– Не могу знать, майор ли, советник ли какой: должен быть полковник.

– Где ж он?

– Кушать где-нибудь изволит.

– А разве он не дома кушает? А богат он?

И засыпала вопросами.

– Пусти меня заглянуть к вам, пока нет барина.

– Извольте, сударыня! Да ведь у нас еще не убрато.

Она вбежала, все пересмотрела, посидела на всех диванах, креслах и выпорхнула, как птичка.

– Вот погоди ты, егоза! – ворчал Авдей, разбираясь на новой квартире, – ужо он тебе все сам расскажет, усадит тебя, уймешься, перестанешь прыгать-то!

Хлопоты Авдея заключились тем, что он побранился с верхней бабой, Степанидой Игнатьевной, знакомой дворника.

– Что ты, тетка, оставила ушат на дороге? убери! – сказал он.

– Ну, погоди, убери.

– Чего годить! Вот барин придет ужо, даст тебе.

– Боюсь я твоего барина? что он мне даст? Эка невидаль! мы сами чиновники.

– Убери, говорят тебе, старая ведьма!

– Еще ругается! как я скажу своему хозяину, так он тебе скорее даст. Будешь помнить, как ругаться, окаянный, каторжник, чтоб тебе ни дна, ни покрывки...

Она еще звонко кричала, но Авдей захлопнул дверь.

– Ух! – сказал он, отирая пот с лица, – умалялся! С утра маковой росинки во рту не было. Хоть бы закусить чего-нибудь. Боюсь в лавочку сходить: неравно придет. Да, чай, уж и заперто – поздно. Нешто выпить?

Он отворил маленький шкаф, достал узенькую четырехугольную бутылку светло-зеленого стекла в плетенке, потом запер на крюк дверь, налил рюмку и поставил ее на стол. Он оглядывал ее со всех сторон.

– Какая бутылка! – рассуждал он, смеючись, – словно наша косушка, а ликера прозывается! Три целковых за такую бутылку – а? Ну, стоит ли? Вот деньги-то сорят! Как у них

горло не прожжет? – ворчал он – и отхлебнул.
– Какая мерзость! – говорил он с гримасой, – а поди ж ты!

И выпил всю рюмку.

– Право, мерзость!

Между тем Иван Савич возвращался в это время домой. Пошел дождь, один из тех петербургских дождей, которым нельзя предвидеть конца.

Иван Савич позвонил у ворот – никто не показывался. Он другой раз – тоже никого. Наконец после третьего звонка послышались шаги дворника.

– Господи, боже мой! – ворчал он, идучи к воротам. – Что это такое? совсем покою нет: только заснул маленько, а тут чорт какой-то и звонит... Кто тут?

– Я.

– Да кто ты?

– Новый жилец.

– Какой жилец?

– Что сегодня переехал.

– Что те надо?

– Как что: пусти поскорее. Ты видишь, я под дождем.

– Ну, вот погоди: я за ключом схожу.

Дворник ушел и пропал, а дождь лил как из ведра.

Иван Савич принялся опять звонить что есть мочи. После третьего звонка послышались шаги дворника и ворчанье.

– Что это такое, господи! покою совсем нет. Должность проклятая... не дадут! Кто тут?

– Да я же, тебе говорят!

– Да кто ты?

– Новый жилец.

– Ты еще все тут? что те надо?

– Как что? ах ты, разбойник!пустишь ли ты меня? я до костей промок.

– Ну, вот погоди: ключ возьму.

Он пошел и, к удовольствию Ивана Савича, возвратился тотчас и начал вкладывать ключ в замок.

– Ну, скорее же! – сказал Иван Савич.

– Вот постой, что-то ключ не входит. Что это, господи, за должность за проклятая, совсем покою нет! так и есть... не тот ключ взял: это от сарая.

– Отпирай же! – кричал Иван Савич, – не то...

– Да ты бы где-нибудь заснул; вишь ты, ключа-то долго теперь искать.

– Куда я пойду? Пусты сейчас.

– Ну, вот погоди, принесу ключ.

Наконец через добрых полчаса Иван Савич попал к себе, а Авдей только что было собрался пить третью рюмку, как вдруг сильно застучали в дверь. Авдей проворно спрятал бутылку с рюмкой в шкаф, обтер наскоро губы и отпер.

Вошел Иван Савич.

– Что, Авдей, совсем убрался? э! да ты еще ничего не расставил.

– Я один, – отвечал Авдей, – у меня две руки-то.

– Оттого-то и надо было убрать, что две. Вот ежели б одна была – другое дело.

Авдей, не ожидавший этой реплики, поглядел ему вслед и покачал головой.

– Ведь скажет, словно... э! ну вас совсем! – бормотал он, – отойди от зла и сотвори благо!

– А что соседка! – спросил Иван Савич.

– Не могу знать, – отвечал Авдей.

– Разве ты не видал ее, не говорил с ней?

– Нет-с. Что мне с ней говорить?

– Ну, как что... А чей это платок?

Авдей молчал.

– Чей платок? – повторил Иван Савич.

– Не могу знать.

– Как не могу знать. Здесь был кто-нибудь?

– Нет, это, верно, как диван стоял в сенях, так кто-нибудь положил. Пожалуйста, я завтра спрошу.

– Вот славный случай: ты завтра спроси у соседки, не ее ли, и между тем порадей в мою пользу.

– Как-с, порадей?

– Скажи, что я и добрый, и... ну, будто тебе в первый раз.

– А зачем это, сударь?

– Как зачем... познакомимся, а там... пожуируем.

– Да неужели вы и здесь станете разводиться такую же материю? экой стыд! там только что ушли от беды, теперь опять захотели нажить другую! уж попадетесь, Иван Савич, ей-богу, попадетесь.

– Э! – сказал Иван Савич, – еще скоро ли попадусь, а между тем мы с тобой пожуируем.

– Нет, уж журируйте одни... да и вам не хо-

рошо: бросьте, сударь!

– А! а! а! – начал зевать Иван Савич, – покойной ночи, Авдей; завтра разбуди в девять часов.

Утром, когда Авдей стал подавать чай, первый вопрос Ивана Савича был:

– Ну, что соседка?

Авдей молчал.

– А?

– Ничего, отдал платок.

– Так он ее был? ну, а порадел ли ты мне?

– Говорил.

– Что ж она?

– Говорит, рада доброму соседу. Коли, говорит, случится надобность в чем, так не откажите; мы вам тоже постараемся, чем можем. Не понадобится ли, говорит, барину когда пирожок испечь: я, мол, мастерица.

Иван Савич вытаращил глаза.

– Как, пирожок?

– Пирожок-с, с рыбой или с говядиной... с чем, говорит, угодно. Еще говорит, не нужно ли вам рубашек шить?.. я, говорит, могу...

Иван Савич вскочил с постели.

– Как рубашек?

– Еще... – начал Авдей.

– Стой! ни слова больше! ищи сейчас квартиру... Куда я попал? Вон, вон отсюда!

– Что вы, опомнитесь, сударь: что вам за дело? Нам же лучше.

– Такая хорошенькая – и печет пироги! – говорил сам с собой Иван Савич, – ужас! ну, с чем это...

– С рыбой и с говядиной, – подхватил Авдей.

– Э! молчи, дуралей! тебя не спрашивают.

– Ведь она не больно хороша, – заметил Авдей, – глаза-то словно плоски, да и зубы не все.

– Да, ты много смыслишь! – отвечал Иван Савич, стараясь попасть ногой в туфлю, – такая молоденькая – и шьет рубашки! а?

– Что за молоденькая, сударь: уж ей за пятьдесят, – сказал Авдей.

– Как за пятьдесят! да ты с которой говорил?

– Ну, с той, что квартиру нанимает, – с самой хозяйкой.

– Со старухой? что ж ты мне не скажешь давно? Кто просил тебя радеть мне у этой ста-

рой ведьмы?

– Ведь вы сами вчера приказывали.

– Я сам приказывал! – передразнил его Иван Савич. – Я толком тебе говорил *жуировать*: можно ли с таким страшилищем жуировать? разве тебе самому охота? вечно только подгадишь мне! Впрочем... нет... ничего, больше доверенности! пусть пироги печет. Я ей, пожалуй, и рубашки закажу. Ну, а молодая кто?

– Жилища у ней, – нанимает две комнаты.

Иван Савич не ходил в тот день на службу под предлогом переезда на новую квартиру. Авдей возился, уставлял, а он надел красивый шлафрок, отворил вполчину дверь и глядел к соседкам: это он называл *жуировать*.

– Разве не пойдете в должность? – спросил Авдей. – Пора бы одеваться – одиннадцатый час...

– Нет, не пойду... Что должность? сухая материя! надо жуировать жизнь. Жизнь коротка, сказал не помню какой-то философ.

В комнатах соседок, видел он, то мелькнет что-то легкое, воздушное, белое, кисейное, то протащится неуклюжее, полосатое. Иногда в

узком промежутке неплотно затворенной двери светился хорошенький черный глаз с длинными ресницами, потом хлопал глаз без бровей, как будто филин. Вскоре послышались звуки фортепьяно. Играли из «Роберта»¹.

«Кто же это играет? – думал Иван Савич. – Уж, конечно, она, молоденькая. Где той... месить пироги и играть на фортепьяно?»

Он взял скрипку и тоже заиграл. Там перестали играть.

«Вот и видно, что она женщина строгой нравственности! – подумал Иван Савич. – Иная бы пуще заиграла». Он посмотрелся в зеркало и причесал бакенбарды.

Вскоре дверь там отворилась побольше и наконец почти совсем.

– У нас труба дымит, – сказала старуха Авдею. – Летом всё отворяем дверь. Вот другой год твердим хозяину, чтобы переделал... нет! их дело только деньги брать.

Прошло дня два. Иногда соседка не очень быстро мелькала сквозь двери. Она приостанавливалась и как будто улыбалась, потом вдруг пряталась. На третий день дворник принес паспорт из части.

– Что это, любезный, – спросил Иван Савич, – у соседок-то не видать мужей: где ж они?

– В командировке-с, где-то далече.

– А! – сказал Иван Савич, – тем лучше. А кто еще в доме у вас живет? там, по парадной лестнице, в больших квартирах?

Дворник назвал несколько известных фамилий.

– А вон там, во втором этаже, где еще такие славные занавесы в окнах?

– Там-с одна знатная барыня, иностранка Цейх.

– Знатная! – говорил Иван Савич Авдею, – что это у него значит?.. Она может быть знатная потому, что в самом деле знатная, и потому, что, может быть, дает ему знатно на водку, или знатная собой?..

– Не могу знать, – отвечал Авдей.

– Посмотрим, посмотрим: может быть, и ее увидим, – примолвил Иван Савич и погладил бакенбарды.

Он продолжал переглядываться с соседкой. Однажды у ней на пороге появилась девочка лет шести.

– Уж не дочь ли это ее, Авдей?

– Не могу знать, – отвечал Авдей.

Ты никогда ничего не знаешь: что ни спросишь о деле. За что ты хлеб ешь?.. Да нет, быть не может: это не дочь ее. Она слишком молода: верно, старуха испекла этот пирог. Но та, кажется, уж слишком стара для этого.

Он узнал, что девочка – племянница соседки, зазвал малютку к себе, дал ей конфет и, таким образом, завязал сношения. Они взаимно присылали друг другу поклоны. Однажды малютка принесла розан.

– Хотите, я вам подарю? – сказала она.

– Подари. А кто тебе дал?

– Хорошая тетенька.

– Что она сказала тебе?

– Она сказала, поди подари цветок вон тому дяденьке. Скажи, что ты даришь от себя, да, смотри, не говори, что я велела; а то в угол поставлю.

– Вот тебе, душенька, конфет, а эту пряжечку отнеси к тетеньке и подари ей да скажи, что я подарил тебе, а ты даришь ей... слышишь?

– Слышу.

– Ну, как ты скажешь?

– Скажу: дяденька подарил тебе и велел сказать, чтоб ты подарила мне.

Вдруг в комнату вбежал какой-то юноша.

– Здравствуй, Ваня! – сказал он, – насилу сыскал тебя. Ба! что это значит, Ваня? – вдруг спросил он, поглядывая на розу, на девочку и на брошку.

– Ничего, Вася, так! – хвастливо, с улыбкой говорил Иван Савич, – поди, душенька, домой.

Девочка побежала и отворила дверь. В это время мелькнула головка соседки.

– Э! э! приятель! так-то ты скрываешься! – заговорил Вася, – хорошо же! давно ли? да какая хорошенькая! ах ты, злодей! ах, варвар! ну-ка, ну-ка, покажи!

Он пошел к дверям.

– Нет, *mon cher*[1], постой! нехорошо! не гляди! – говорил Иван Савич, загораживая дорогу. – Ну, что она подумает? это совсем не из таких... После я все расскажу.

– Нет, нет, пусти... не верю!

– Нет, братец, нельзя! пожалуйста, не ходи.

– Ну, познакомь меня. Вот тебе честное

слово, не стану отбивать. То-то ты у меня! а я за тобой.

– Что такое?

– Мы впятером обедаем на Васильевском острове, в новой гостинице: говорят, телячьи ножки готовят божественно! поздравим! поздравим! а оттуда на Крестовский... покутим.

– Мне нельзя вечером.

– Отчего?

– Так! – значительно, с улыбкой сказал Иван Савич.

– А! понимаю! счастливец! Ну, завтра мы в театре? Асенкова в трех пьесах играет². Смотри, *mon cher*, нельзя не быть: что скажут наши? манкировать не должно, а то подумают, что ты хочешь отшатнуться. И то три офицера да вон тот статский, знаешь, что еще полы сюртука всё сзади расходятся, собрали, говорят, партию перехлопать нас, говорят, и в раек своих посадят; да где им! слушать любо, как наш угол захлопает: я однажды из коридора послушал – чудо! сначала мелкой дробью – па, па, па, – точно ружейный огонь; а там и пошло и пошло, так по коридорам гул и ходит... Даже капельдинер плюнул и отошел

от дверей, а я не вытерпел да и сам давай – браво, браво наши! Квартальный сердито поглядывал на меня... да пусть!.. Так едем? потом поужинаем, кутнем, а?

– Не знаю, *mon cher!*

– Чего не знаешь! на первых порах в полночь тебя не примут. Решено: завтра с нами. Ты не знаешь, ведь Шущин награду получил, полугодовой оклад. Он обещал полдюжины, да ты на радостях столько же – вот и будет с нас! Смотри же, ждем.

И ушел. А Иван Савич уселся с книгой в руках на маленьком диванчике, как раз против дверей соседки, в живописном положении. Но если бы кто заглянул в книгу, то увидел бы, что он держал ее вверх ногами. Прошло недели три. Они уже кланялись друг другу и даже, стоя каждый в своих дверях, разговаривали. Когда в это время кто-нибудь шел, сверху или снизу, они поспешно прятались. Вдруг соседки не стало видно, и даже дверь была затворена. Иван Савич встревожился.

– Авдей! отчего у соседки затворена дверь?

– Не могу знать.

– Не уехала ли она куда-нибудь?

– Не могу знать.

– Никогда ничего не знает! Я не Суворов, а досадно!..³ Так поди узнай: здоровы ли? что, мол, вас давно не видать?

Авдей принес ответ, что Анна Павловна нездоровы и приказали просить к себе: «коли-де вам не скучно будет посидеть с больной».

– К себе! – воскликнул Иван Савич, вздрогнув от восторга, – ужели? а! наконец! Авдей! скорей бриться, одеваться!

Он второпях обрезал в двух местах бороду и щеку и залепил царапины английским пластырем, полагая, что так он интереснее, нежели с царапинами или даже нежели просто без царапин: это очень обыкновенно, она уж его так видала. Он не пожалел на голову пятирублевой помады, бакенбарды смочил квасом и минут на пять крепко перевязал платком, чтоб придать им лоск и заставить лежать смиренно; в носовой платок налил лучших духов, на шею небрежно повязал голубую косынку и выпустил воротнички рубашки; к довершению всего надел лакированные сапоги и, таким образом, блестя, лоснясь и благоухая,

предстал пред соседкой. Она сидела на софе, поджав ноги, окутанная в большую шаль, с подвязанным горлом.

Квартира Анны Павловны была убрана, как убирают почти все квартиры о двух комнатах, с передней и кухней. Диван красного дерева, обитый полинялой шерстяной материей с пятнами, другой клеенчатый диван, полдюжины стульев под красное дерево, старый комод, а на нем туалет, который, в случае нужды, легко можно переносить с места на место. На окнах несколько горшков гераниума и две клетки с канарейками.

У Ивана Савича на подобные визиты давно обдуманы были и поклон, и приветствие, и даже мина.

Войдя, он остановился в некотором расстоянии, наклонил немного голову и слегка улыбнулся.

– Наконец я у вас! – сказал он, оглядываясь кругом. – Ужели это правда? не во сне ли я?

– Может быть, этот сон не нравится вам. Бывают сны скучные и тяжелые, – отвечала она с томной улыбкой, – проснитесь... это легко!

– Боже меня сохрани! Пусть этот сон будет непробудным.

Она опять улыбнулась.

– Садитесь, – сказала она, – благодарю вас за участие. Как это вы вспомнили, и еще через два дня?

– Я не вспомнил: вспоминают о том, что было забыто; я вас не забывал. Но что с вами?

Она поглядела на него довольно нежно и потупила глаза.

– Немного простудилась, – отвечала она, – я думаю... оттого... что бываю иногда... у друзей. Люди обречены на страдание.

Она вздохнула.

Тут Иван Савич посмотрел на нее нежно, а она покраснела. Они молчали несколько времени.

– Вы редко бываете дома? – потом спросила она.

– Нет-с... да-с... смотря по...

– У вас часто бывают гости?

– Да-с... бывают иногда, – отвечал он.

– Кто это... рыжий молодой человек? такой противный: всякий раз заглядывает в дверь.

– Это... «постой-ка, я тону задам!» – поду-

мал он, – это граф Коркин, славный молодой человек, первый жуир в Петербурге.

– А другой, в очках?

– Барон Кизель. Отлично играет на бильярде.

– Как они у вас шумят! что вы делаете?

«Расскажу ей, как мы кутим... Это нравится женщинам», – подумал Иван Савич.

– Кутим-с. Вот иногда они соберутся ко мне, и пойдет вавилонское столпотворение, особенно когда бывает князь Дудкин: карты, шампанское, устрицы, пари... знаете, как бывает между молодыми людьми хорошего тона.

– И вам не жаль тратить денег на шампанское?

– Что жалеть денег? деньги – ничтожный, презренный металл. Жизнь коротка, сказал один философ: надо жуировать ею.

– О, да вот вы какие!

– Да-с! – сказал он и вытащил из кармана платок. Запах распространился по всей комнате, так что даже из-за дверей выглянула старуха.

– Где вы покупаете духи? Какие славные! –

сказала Анна Павловна, вдыхая носом запах. – Это блаженство – утопаешь в неге!

– В английском магазине.

– А что стоят?

– Десять рублей, то есть три целковых по нынешнему.

– Стало быть, десять с полтиной? – примолвила она, – как дороги здесь в мире все удовольствия!

– Зато прекрепкие: вымоют платок, все еще пахнет. Позвольте прислать на пробу сткляночку?

– Помилуйте... я так спросила... из любопытства... не подумайте...

– Ничего-с! я вам завтра пришлю. Вы меня обидите, если откажетесь принять такую безделицу.

– Ах, да! – сказала она, – вы подарили моей племяннице брошку. Я ношу ее... видите?

– Очень приятно, – только мне совестно: это слишком недостойно украшать такую грудь... Если б я знал...

– Чем же вы еще занимаетесь?

– Бываю в театре.

– В театре! Ах, счастливые! что может быть

отраднее театра? блаженство! в театре забываешь всякое горе. Читаете, конечно?

– Да-с, да... разумеется.

– Что же, Пушкина? Ах, Пушкин! «Братья разбойники»! «Кавказский пленник»! бедная Зарема! как она страдала! а Гирей⁴ – какой изверг!..

– Нет-с, я читаю больше философические книги.

– А! какие же? одолжите мне: я никогда не видала философических книг.

– Сочинения Гомера, Ломоносова, «Энциклопедический лексикон»...⁵ – сказал он, – вы не станете читать... вам покажется скучно...

– Это, верно, кто-нибудь из них сказал, что *жизнь коротка?*

– Да-с.

– Прекрасно сказано!

От этого ученого разговора они перешли к предметам более нежным: заговорили о дружбе, о любви.

– Что может быть утешительнее дружбы! – сказала она, подняв глаза кверху.

– Что может быть сладостнее любви? – примолвил Иван Савич, взглянув на нее неж-

но. – Это, так сказать, жизненный бальзам!

– Что любовь! – заметила она, – это пагубное чувство; мужчины все такие обманщики...

Она вздохнула, а он сел рядом с ней.

– Что вы? – спросила она.

– Ничего-с. Я так счастлив, что сижу подле вас, дышу с вами одним воздухом... Поверьте, что я совсем не похож на других мужчин... о, вы меня не знаете! женщина для меня – это священное создание... я ничего не пожалею...

– В самом деле? – задумчиво спросила она.

– Ей-богу!

Они долго говорили, наконец стали шептать. От нее разливалась такая жаркая атмосфера, около него такая благоуханная. Они должны были непременно слиться и слились. Она уронила платок; Иван Савич бросился поднять, и она тоже; лица их сошлись, – раздался поцелуй.

– Ах! – тихо вскрикнула она.

– О! – произнес он восторженно, – какая минута!

– Давно ли, – говорила она, закрыв лицо руками, – мы знакомы... и уж...

– Разве нужно для этого время? – начал торжественно Иван Савич, – довольно одной искры, чтобы прожечь сердце, одной минуты, чтоб напечатлеть милый образ здесь навсегда.

Еще поцелуй, еще и еще.

– Вот что значит жуировать жизнь, клянись богом! – сказал серьезно Иван Савич. – Все прочее там, чины, слава...

Вдруг кто-то чихнул в соседней комнате.

– Кто тут? – спросил, побледнев, Иван Савич.

– Это моя хозяйка. Ничего: она мне предана.

– Ах! да... – сказал вдруг он, – дворник мне говорил, что у вас есть муж... в командировке?

Анна Павловна встрепенулась и покраснела, как маков цвет.

– Да... – бормотала она, – его послали... ничего... он долго не будет.

И замяла разговор.

– Как же вы живете одни, без покровителя, без...

Анна Павловна еще больше покраснела.

– У меня есть дядя, он и опекун...

– Он бывает у вас?

– Да, раз в неделю.

– Ну, если он меня увидит здесь?

– Нехорошо, – сказала она, встревожась, – очень плохо. Остерегайтесь, не показывайтесь при нем. Мы будем с вами читать, заниматься музыкой, гулять вместе. Да, не правда ли? – говорила она.

– О, конечно!

– Вы повезете меня в театр, да?

– Непременно.

– Ах, какое блаженство!

Иван Савич воротился домой вне себя от радости.

– Как я счастлив, Авдей! – твердил он, – а! вот что значит жуировать! Это не то, что Амалия Николавна или Александра Максимовна: те перед нею – просто стыд сказать. К этой так нельзя приступить. Завтра к Васе – и вспрыски! нечего делать. Ну, уж стоило же мне хлопот: не всякому бы удалось! а? как ты думаешь?

– Не могу знать, – отвечал Авдей.

С тех пор Иван Савич только и делал, что

жуировал. То он у нее, то она у него. В должности он бывал реже. Его видали под руку с дамой прогуливающимся в отдаленных улицах. В театре он прятался в ложе третьего яруса за какими-то двумя женщинами, из которых одна была похожа на ворону в павлиньих перьях. Это была хозяйка и дуэнья Анны Павловны. Дома они были неразлучны. Она чаще бывала у него: обедала, завтракала, – словом, как говорят, живмя-жила.

– У тебя такие мягкие диваны, – говорила она вскоре после знакомства, – так славно сидеть, нежиться. Я лучше люблю быть здесь. Ах! какая прелесть! жизнь так хороша! это блаженство!

– Знаешь что, мой ангел: возьми пока к себе один диван, вот этот, зеленый, – отвечал Иван Савич. – У меня их два да еще кушетка.

– Зачем... – нерешительно говорила Анна Павловна. – К такому дивану нужен и ковер, а у меня нет... не всем рок судил счастье...

– Возьми один ковер: у меня два.

– Ну, уж если ты так добр, так дай на поддержание и зеркало, чтобы хоть на время забыть удары судьбы.

– Изволь, изволь, мой ангел! Ах, ты моя кошечка, птичка, цветочек... не правда ли, Авдей, цветочек?

– Не могу знать, – отвечал Авдей, проходя через комнату.

– Да, цветочек! – начата она полугневно, – я так люблю цветы, а ты мне все еще не собрался купить...

– Завтра же, завтра, дружок, усыплю путь твоей жизни цветами.

– И хорошеньких горшечков от Поскочи-на, – сказала она, взяв его руками за обе щеки. – Это чистейшее наслаждение: оно не влечет за собой ни раскаяния, ни слез, ни вздохов...

– Непременно, только не растрепли бакенбард: мне в департамент итти; надо же когда-нибудь сходить. Как жаль, что тебя, Анета, нельзя брать туда: я бы каждый день ходил. Ты бы подшивала бумаги в дела, я бы писал... чудо!.. А то начальник отделения, столоначальник... да всё чиновничьи лица... фи!.. Если и придет иногда просительница, так такая... уф!.. К нам всё мещанки да солдатки ходят... ни одной нет порядочной: рожа на ро-

же! пожуировать не думай. Ох, служба, служба! – прибавил он, натягивая вицмундир, – губи свою молодость в мертвых занятиях!

– Долго ты там пробудешь, *top ami*?[2]

– Часов до четырех, я думаю... Если можно будет надуть начальника отделения, так удеру около трех.

– Ах, боже мой! У меня нет часов: я не буду знать, когда ты придешь. Часы мне покажутся веками, а в жизни и так немного радостей.

– И, мой друг, – сказал Иван Савич, – помни, что жизнь коротка, по словам философа, и не грусти, а жуируй. Да возьми-ка мои часы столовые: они верны, – сказал Иван Савич.

– Да! а на что я их поставлю? У меня нет такого столика. Не всякому дано...

– Ты и со столиком возьми. Авдей! отнеси!

Прошло месяца два – Иван Савич все жуировал, Анна Павловна все вздыхала да распоряжалась свободно им и его добром. Как же иначе? И он распоряжался ею и ее добром: играл локонами, как будто своими, целовал глазки, носик. Наконец продолжительные свидания начали утомлять их: то он, то она

зевнет; иногда просидят с час, не говоря ни слова. Иван Савич стал зевать по окнам других квартир.

– Авдей! чей это такой славный экипаж? – спросил он однажды, глядя из своего окна на двор.

– Не могу знать.

– Узнай.

Авдей доложил через пять минут, что экипаж принадлежал знатной барыне, что во втором этаже живет.

– Какие славные лошади! как хорошо одеты люди! Она должна быть богата, Авдей?

– Не могу знать.

В другой раз он увидел, что на дворе выбивают пыль из роскошных ковров, и на вопрос: чьи они? получил в ответ от Авдея сначала – не могу знать, потом, что и ковры принадлежали знатной барыне.

– А вон эта собака? – спросил Иван Савич.

– Ее же. Чуть было давеча за ногу не укусила, проклятая!

– Вот бы туда-то попасть! – сказал Иван Савич.

Иван Савич и Анна Павловна все дружно

жили между собой и видались почти так же часто. Только изредка, как сказано, они зевали, иногда даже дремали. Дремала и любовь. Горе, когда она дремлет! От дремоты недалеко до вечного сна, если не пронесется, как игривый ветерок, ревность, подозрение, препятствие и не освежит чувства, покоящегося на взаимной доверенности и безмятежном согласии любящейся четы. Впрочем, кажется, ни Иван Савич, ни Анна Павловна не заботились о том. Они смело дремали, сидя на разных концах дивана, иногда переглядывались, перекидывались словом, менялись поцелуем – и вновь молчали. Она задумывалась или работала, он дремал. Однажды дремота его превратилась в настоящий, основательный сон: голова опрокинулась почти совсем на задок дивана. Он даже открыл немного рот, разумеется, неумышленно, поднял кверху нос, в руке крепко держал один угол подушки и спал. Вдруг ему послышалось восклицание «ах!», потом сильный говор подле него. Он не обратил на это внимания; но говор все продолжался. Через минуту он открыл глаза. Что же? Перед ним стоит низенький, чрезвычай-

но толстый пожилой человек, с усами, в венгерке, и грозно вращает очами, устремив их прямо на него, Иван Савич тотчас опять закрыл глаза.

– Какой скверный сон! – сказал он, – приснится же этакая гадость!

И плюнул прямо на призрак.

– Иван Савич! что вы, что вы! – перебила его испуганным голосом Анна Павловна.

– Ничего, мой ангел! Не мешай мне спать. Если б ты видела, какой уродище сейчас приснился мне: наяву такого быть не может.

Анна Павловна упала в обморок и склонила бледную голову на подушку.

– Милостивый государь! – вдруг загремел кто-то басом над самым ухом Ивана Савича.

Он вскочил, как бешеный – и что же? Урод, которого он принял за создание воображения, стоит перед ним, сложив руки крестом, как Наполеон.

– Что-с... я-с... извините... я думал... что вы – сон, – бормотал, трясясь от страха, Иван Савич.

– Кто вы? зачем вы здесь?.. а?.. по какому случаю? – говорил толстяк, подступая к Ивану

Савичу.

– Я-с? я... помилуйте, – говорил тот, пятясь к дверям, – я чиновник, служу в министерстве... Что вы?

– Я с вами разделаюсь, – говорил толстяк, – разделаюсь непременно, – погодите!

Иван Савич ушел в переднюю, оттуда в сени, все задом. В сенях он остановился и поглядел в дверь. К нему выбежала Анна Павловна, бледная и расстроенная.

– Это мой опекун... и... и... дядя! – сказала она.

– Опекун! – говорил Иван Савич, заглядывая в дверь на толстяка, – у вас *огромная опека*, Анна Павловна!

– И вы можете шутить? Подите к себе и не приходите, пока не позову... О, боже мой! Чем это кончится? Вот какая туча разразилась над нами. Заря нашего блаженства затмилась. Я не ждала его так рано из командировки.

– Так у вас и дядя был в командировке? я не знал.

– Прощайте, прощайте, – сказала она, – может быть, навсегда.

– И пора, – бормотал Иван Савич, – надоела

мне: все хнычет, а ест, ест так, что боже упаси!

Иван Савич пришел домой и растянулся в спальне на кушетке досыпать прерванный сон. Через час он услышал над собой опять: «Милостивый государь!», открыл глаза – и тот же толстяк стоит над ним.

– Опять тот же гадкий сон! – сказал он и вскочил с кушетки. – А, это вы! – примолвил он. – Позвольте узнать, с кем я имею честь...

– Я отставной майор Стрекоза, – сказал толстяк, – к вашим услугам.

И сел без церемонии на кресла против кушетки.

«Стрекоза! – думал Иван Савич, – хороша стрекоза! кажется, вовсе не *попрыгунья*. Мог бы из Крылова же басен заимствовать себе название поприличнее».

– Давно ли вы знакомы с Анной Павловной? – грозно спросил майор.

– Да месяца три будет; а что-с?

– Не вам следует спрашивать, а мне; вы извольте отвечать.

Иван Савич хотел было сказать что-то колкое, да с языка не сошло.

– Каким образом вы познакомились?

– Через двери, господин... госпожа... господин Стрекоза!

– Знаю, что не чрез окно; но как?

– Да так-с: по соседству. Я ей скажу: здравствуйте, Анна Павловна! здоровы ли вы? Она отвечает: здравствуйте, Иван Савич! покорно вас благодарю... Так и познакомились.

– Но этим, кажется, ваши сношения не ограничивались?.. а?..

– Помилуйте, господин Стрекоза, – начал вкрадчиво Иван Савич. – Неужели вы можете думать, чтобы я, чтобы она, чтобы мы... что-нибудь такое... Да я так скромн, так невинен... могу даже сказать, что ненависть моя к женщинам известна здесь всем в городе... я *мизантроп!* право-с! Граф Коркин, барон Кизель могут подтвердить, и притом Анна Павловна так любит своего мужа

– Мужа? – спросил майор.

– Да-с, что в командировке. Только о нем и говорит: скоро ли, говорит, он приедет; мне, говорит, так скучно без него... я не живу. Помилуйте, господин Стрекоза, вы нас обижаете...

Майор задумался и, повидимому, смягчился.

– Но что значит сцена, которую я застал? – сказал он, – вы спали, называли ее «мой ангел!» Как могли вы дойти до такой степени короткости?.. а?.. Я с вами, милостивый государь, разделаюсь!

– И, господин майор! если б вы знали, как я прост душой, вы бы ничего не заключили дурного из этого. В один день я сойду с человеком – и как будто двадцать лет жил вместе. Ты да ты. За что вы нападаете понапрасну на мою простоту и добродетель? обижаете и свою племянницу... ведь вы дяденька ей?

– Да, я опекун ее и... дядя.

– Как лестно носить титул этот при такой прекрасной особе! и кому же вверить это прекрасное сокровище... как не...

– Я не комплименты пришел сюда слушать, – грубо перервал майор, – а разделиться! Я вам дам! Как вы, милостивый государь, смели, спрашиваю я вас?

«Медведь! – подумал Иван Савич – Никакой образованности, никакого тона!»

– Послушайте, милостивый государь, – ска-

зал майор, – вы должны мне дать удовлетворение, или...

– Как удовлетворение? какое?

– Разумеется, как благородный человек.

Майор указал на пистолеты, висевшие на стене.

– Вон у вас, я вижу, есть и средства к тому, – прибавил он.

– Э! нет-с. Это подарил мне один знакомый, ни он, ни я не знаем, для чего: чорт знает, зачем они тут висят. Это дурак Авдей развесил.

Он снял их и проворно спрятал под кровать.

– Вот теперь, может быть, узнаете, – сказал майор с выразительным жестом.

Иван Савич покачал головой.

– Ни за что-с! – сказал он решительно. – У меня правило – не стреляться, особенно за женщин. Этак мне пришлось бы убить человека пятьдесят или давно самому быть убитым... так, за недоразумения, вот как теперь. Притом же я и не умею...

– В таком случае вы должны отказаться от знакомства с Анной Павловной... Я как опекун... и... и... и дядя ее... требую этого.

– Отказаться! Как же жить в соседстве и не быть знакомым? придется встретиться как-нибудь, согласитесь сами...

– Ни, ни, ни! не придется, если не будете стараться: я ее увезу на другую квартиру...

– Давно бы вы сказали! – воскликнул Иван Савич. – Ух! гора с плеч долой! Знаете, господин Стрекоза, что у меня правило – не переносить знакомства на другую квартиру.

– Э! – сказал, улыбнувшись, майор, – да у вас славные правила! Ну, так и дело с концом: мир. Нечего об этом и говорить.

– Не прикажете ли чаю?

– Очень хорошо. Нет ли с ромом?

– Есть коньяк.

– Ну, все равно.

– Не угодно ли сигары?

– Пожалуйста.

И они стали друзьями.

– Какая у вас славная квартира! – сказал майор, оглядываясь кругом, – со всеми удобствами... Что это, мне как будто вдруг что-то на нос капнуло?..

– Ах-с! это вон оттуда, – сказал Иван Савич, указывая вверх. – Это ничего, так, дрянь,

пройдет.

Майор поднял голову и посмотрел на пятно. Вдруг оттуда закапало сильнее прямо ему в лицо.

– Милостивый государь! – закричал он, вскочив с места, – что это значит? Я с вами разделаюсь...

– Я не виноват-с... право! Это иногда течет: видно, вверху пролили ушат с водой... Эй, Авдей! Авдей! подставь скорее ведерко...

– Прощайте, – сказал майор, – у вас небезопасно; пойду укрыться... к племяннице от дождя. Странные у вас правила, – право, странные: не стреляетесь, не переносите знакомства на другую квартиру, дождь терпите в комнатах... гм!

Он ушел. На другой день, рано утром, от Анны Павловны, от майора и от старухи не осталось никаких следов. В доме и духу их не стало.

Авдей торжественно вышел на середину комнаты.

– Как же, батюшка, Иван Савич, – сказал он, – они увезли у нас диван, стол, часы, зеркало, ковер, две вазы, ведро совсем новешень-

кое да молоток. Не прикажете ли сходить за ними?

– И, нет, не надо! Еще, пожалуй, привяжется Стрекоза: по какому, дескать, поводу эти вещи были там? ну их совсем. Избавились от беды: это главное.

– Ведь говорил я вам, нехорошо будет: шутка ли, чего стало!

– Зато пожуировали! – сказал Иван Савич.

В тот же день Иван Савич кутил с своими друзьями. Он рассказал им свое приключение.

– За здоровье сироты! – провозгласили друзья.

– Да, друзья мои, лишился, потерял ее! если б вы знали, как она любила меня! Подумайте, всем мне жертвовала: спокойствием, сердцем. Она была... как бы это выразить?... милым видением, так сказать, мечтой... разнообразила тоску мертвой жизни...

– Да, братец, жаль, – сказал, вздохнув и покрутив усы, офицер, – как это ты выпустил из рук такую птичку?.. Ты бы проведаль.

– Нельзя, *mon cher*: честное слово дал! Дядя, опекун: подумай, вышла бы история... повре-

дила бы мне по службе.

– Ты бы мне сказал, – продолжал офицер, – я бы разделался с ним. Я бы показал, что значит обидеть моего приятеля! А ты! вот что значит не военный человек!

– Я, *mon cher*, и сам намекал ему на пистолеты, даже снял со стены и показал... да он искусно замял речь.

– Подлец! трус! – примолвил офицер, прищипывая то той, то другой ногой.

– Какие все ему достаются: барыни, да еще замужние! – заметил другой.

– И не показал, не познакомил, злодей! – сказал Вася. – Нет, я так в горничных счастлив. Какая у меня теперь... а!

И он рассказал им, какая.

– Славно мы живем! – примолвил один из молодых людей, – право, славно: кутим, жуируем! вот жизнь, так жизнь! завтра, послезавтра, всякий день. Вон Губкин: ну, что его за жизнь! Утро в департаменте мечется, как угорелый, да еще после обеда пишет, книги сочиняет... просто смерть!.. чудака!

Иван Савич опять не знал, куда девать свое время, опять зевал, потягивался, бил со-

баку, бранил Авдея. Однажды он пришел в комнату Авдея и посмотрел в окно. Вдруг лицо его оживилось.

– Голубчик Авдей! – сказал он, – посмотри-ка, какая хорошенькая девушка, там, в окне, и как близко: можно разговаривать!

– Не о чем разговаривать-то, – сказал Авдей.

– Какие глазки! – продолжал Иван Савич, – ротик! только нос нехорош. А беленькая, свеженькая... прелесть! Ты ничего мне и не скажешь! Узнай, чья она.

Авдей доложил, что она служит у знатной барыни.

– И девушка-то знатная! – сказал Иван Савич, – право! а?

– Не могу знать! – отвечал Авдей, – известно: девчонка!

– Послушай, порадей-ка мне у ней: поди скажи, что я и добрый, и...

– Полно вам, батюшка, Иван Савич! бога вы не боитесь... – заговорил он с убедительным жестом, – и я-то с вами сколько греха на душу взял.

– Ну! – сказал Иван Савич, – по-твоему, не

пожуируй! Поди, поди, говорят тебе.

– Воля ваша, Иван Савич, гневайтесь не гневайтесь, а я больше не намерен.

– Что ж ты пыль не обтираешь нигде, дурак этакой! – сердито закричал Иван Савич. – Это что? это что? а? У меня там везде паутина! Давеча паук на нос сел! Ничего не делаешь! А еще метелку купил! К сапожнику опять забыл сходить? Да ты мне изволь новые чашки на свои деньги купить: я тебе дам битую посуду! Что это за скверный народ такой, ленивый... никуда не годится!

Дня через два Ивану Савичу принесли новое платье. Он примерял и велел спрятать. Вдруг Авдей вышел на середину.

– А что, батюшка, Иван Савич, – сказал он, – не будет ли вашей барской милости... то есть теперь у вас три сюртука... один-то уж старенький... Не пожалуете ли мне?

Он низко поклонился.

– Не намерен, – сказал Иван Савич сухо.

Авдей крякнул и пошел в переднюю...

На другой день он надел на себя серебряные часы, повесил бисерный шнурок по всей груди и животу, взял в руки картуз с кисточ-

кой и отправился радеть своему барину.

– Говорил, – сказал он через полчаса, выйдя на середину.

– Что ж ты говорил? – спросил Иван Савич.

– Что, мол, барин у меня добрый и хорошенький такой...

– Вот, хорошенький! Зачем же ты врешь?

– Что за вру! вы ведь хорошенькие...

Оба молчали. Иван Савич гладил бакенбарды.

– Что ж ты не в моем сюртуке ходил к ней? оно бы лучше! – сказал Иван Савич.

– Да как я смею барский сюртук надеть?

– Ты возьми его себе совсем, тот, что просил у меня. Авдей подбежал, согнувшись, и поцеловал у барина ручку.

– Что ж ты ей еще сказал?

– Что барин мой, мол, молодец: где ни завидит женщину, тотчас влюбится! У него, мол, немало их было...

– Да кто ж тебя просил об этом говорить? Ну, пойдет ли она теперь? Есть ли у тебя рассудок? а? Вечно подгадишь мне! Что ж она сказала?

– Что мне, говорит, до твоего барина за де-

ло? Он, говорит, мне не ровня: что мне с ним знакомиться? Поди, говорит, отваливай.

– Вот еще! – ворчал Иван Савич, – не ровня. Как же бы это устроить? Ах, славно! выдумал! Часто ли она бывает тут у окна?

– Да целое утро всякий день вертится.

– Там она теперь?

– Там-с.

– Дай-ка мне свой серый сюртук.

– На что это вам?

– Дай, дай. Я знаю, на что. Ну, что, впору ли? – спросил Иван Савич, надев сюртук.

– Коротенек. Да что вы хотите делать?

– А вот что: ты скажи ей, что у нас два человека. Ведь она меня не видала?

– Нет-с.

– Ну, я утром буду приходить на полчаса к тебе в комнату, будто убирать что-нибудь. Вот и теперь пойду. Дай мне сапог и щетку.

Иван Савич поместился у самого окна и стал чистить сапог. Авдей спрятался в простенок и прикрыл рот рукой, чтоб не засмеяться вслух, и качал головой.

– Вишь ведь лукавый догадал – чего не выдумает! – бормотал он. – Не так, не так, Иван

Савич! на что подошву-то намазали ваксой? И сапога-то не умеет вычистить, а еще барин!

– Здравствуйте! – сказал Иван Савич девушке в окно.

– Здравствуйте! – сказала она и продолжала гладить, не поднимая глаз.

– Какие вы хорошенькие!

– Да не про вас!

– Как не про меня-с? Будто мы уж никуда не годимся? – сказал он. – Чем я хуже моего барина? Он такой худой!

– Все ж он барин, какой бы ни был! да мне и до него дела нет, – отвечала она и посмотрела на него.

Он послал ей поцелуй. Она улыбнулась и показала ему утюг.

– Как же! не хотите ли вот этого? – сказала она, – как раз обожгу.

– Да вы уж и так обожгли меня глазками.

– Этак она догадается, – шептал Авдей, увлекшийся невольно на этот раз интересами своего барина, которым в другое время противился, – вы больно мудроно говорите-то.

– Можно мне к вам в гости притти? – спросил Иван Савич.

– Зачем? У нас есть свои.

– Да есть ли такие, как я?

Иван Савич указал на бакенбарды.

– Может, и получше есть.

– Ну, вы пожалуйста ко мне.

– Вот еще! С чего вы это взяли? – сказала обиженным тоном девушка. – Прощайте: некогда мне с вами из пустого в порожнее переливать. Барыня ждет: она у меня там без юбки сидит!

– А кто ваша барыня?

– Известно, баронесса.

Она схватила юбку и понесла было.

– Да постойте же! куда вы? – сказал Иван Савич.

– Нечего стоять; и вы-то чистите не чистите сапог. Смотрите, выйдет барин: он вас за ушко да на солнышко. Так-то!

– Вы будете завтра тут? – спросил Иван Савич.

– А вам что за дело?

– Так; я бы покуражился с вами.

– Буду, так буду, не буду, так не буду: сами увидите! – сказала она скороговоркой и, как мышонок, побежала по лестнице, почти не

дотрогиваясь до ступеней.

– Милашка! у! – нежно крикнул ей вслед Иван Савич. – Авдей! милашка, а?

– Не могу знать!

Авдей тряхнул головой.

– Пожалуйте-ка, добро, сапоги-то, – сказал он, – вишь, всю подошву вымазали, да и окно-то у меня перепачкали. Ну вас тут совсем!

В следующие дни, в условленный час, оба бывали на своих местах. Иван Савич все мазал подошву сапога, к великому соблазну Авдея, который нарочно для этого давал ему постоянно один старый и худой сапог. Маша тоже гладила долго одну и ту же юбку. Так продолжалось с неделю. Однажды вечером, когда баронесса уехала в театр, а, по словам Ивана Савича, *барина его* не было дома, Маша тронулась его нежностями и, как тень, в платочке à la Fanchon[3], мелькнула по двору и явилась в комнате Авдея.

– Наконец ты у меня в гостях! – начал Иван Савич свою обычную фразу, с некоторыми вариантами, – ужели это правда? не во сне ли я вижу?

Она с трудом согласилась пойти в другие

комнаты и, при малейшем шуме, трепетала, как лист, опасаясь приезда *барина*.

– Как я счастлива! как я счастлива! – твердила Маша, – вы такие... такие... вы сами словно как барин! Какой у вас славный жилет! уж не барский ли?

– Да, барин подарил. Авдей! – закричал он, забывшись, – подай чаю!..

– Что вы это? как вы на него кричите! – сказала Маша.

– Авдей Михайлыч, – сказал Иван Савич, спохватясь, – уважь нас: чайку поскорее. Ведь я барский камердинер, – примолвил он, обращаясь к Маше, – ну, так Авдей и угождает мне. В другой раз замолвлю за него доброе словцо.

– А! вы камердинер? – значительно сказала Маша, – вот как!

Уже прошло недели три, как Маша частенько прокрадывалась к своему возлюбленному. Иван Савич лежал обыкновенно на *барской* кушетке, как он говорил Маше, а она сидела подле него в креслах и болтала безумолку или жевала что-нибудь. Горничные вечно жуют или грызут. В карманах их передника

всегда найдете орехи, изюм, или половинку сухаря, оставшегося от барынина завтрака, или бисквиту, вафлю, залог нежности какого-нибудь повара. Иван Савич не находил более предмета для разговора с ней. Он уж пересказал ей все анекдоты, которые рассказываются только мужчинами друг другу за бутылкой вина или горничным, и говорить больше было нечего.

– Ну, скажи что-нибудь еще, – говорила однажды Маша. – Ты так смешно рассказываешь.

Иван Савич зевнул.

– И нынче конфеты да сливы: я лучше люблю яблоки, – продолжала Маша болтать, доедая сливу. – А это ведь, чай, дорого: неужели тебе барин столько денег дает? Это съешь, словно как ничего – и не попахнет; а после яблоков долго помнишь, что ела. Я могу целый десяток яблоков съесть, право!

Иван Савич все молчал.

– Вчера мы с Настасьей, с нянькой от верхних жильцов, два десятка съели, инда насилу опомнились, даже тошно сделалось: *ейный* сын принес ей целый узел яблоков, пряников,

орехов, да не одних простых, а разных. Он в мелочной лавке приказчиком. Ты вот мне никогда орехов не купишь.

Иван Савич закурил сигару.

– Что ты заплатил за цыгарки? – спросила Маша.

– Это барские, – сказал Иван Савич.

– Ну как он узнает?

– Нет, у него много.

– И то сказать, правда: что жалеть господского? Я вот, как живу на свете, не знаю, что такое покупать помаду, духи, булавки, мыло: все у барыни беру. Раз она и узнала по запаху: «ты, говорит, никак моей помадой изволишь мазаться?» Вот я ей говорю... так и говорю, право, я ведь ей не уступлю... она слово, а я два... «кроме вашей помады нешто и на свете нет!» – «А где ж ты взяла?» – говорит она. – «Где? подарили», – а сама прячусь, чтоб она не разнюхала. «А кто, говорит, подарил?» – «А вам, мол, зачем?» – «Дружок, верно!» – говорит. Что ж! ведь я соврала – сказала: дружок. А какой к чорту дружок! У меня после Алексея Захарыча до тебя никого и не было. Она и пошла допытываться, кто, да тут приехали го-

сти, я и ушла.

Оба замолчали.

– Ах, Иван! – начала опять Маша, – какое платье купила себе Лизавета, наша бывшая девушка! *креп-наше...* чудо! Когда я соберусь сделать себе этакое?

Она вздохнула.

– А тебе хочется? – спросил Иван Савич.

– Еще бы не хотелось! уж я давно думала, да куда! оно двадцать восемь рублей стоит.

Иван Савич вынул из бумажника пятидесятирублевую ассигнацию и дал ей.

– Ах! неужели? – сказала она с радостным изумлением. – Это мне? Сколько же у тебя денег-то? ведь у меня сдачи нет.

– Ты всё себе возьми.

– Как всё?

Она повертывала в руках ассигнацию и смотрела то на нее, то на Ивана Савича и почти одурела совсем.

– Послушай, где ты берешь деньги? – спросила она вдруг боязливо.

– В барском бумажнике.

– Нет, неправда! ты бы так не говорил, – сказала она, бережно завязывая деньги в узел.

лок, – как же я за это крепко поцелую тебя... у!.. в знак памяти сошью тебе манишку.

От радости она сделалась еще болтливей.

– Что, бишь, я хотела сказать такое? а?

– Не знаю, – сказал Иван Савич.

– Эх, досадно! что-то хотела сказать тебе... ах, да! как давеча графский кучер бил какого-то мужика: тот в гости к нему пришел, а он и давай его бить; инда страсть, так прибил, что тот даже не знает, что и сказать ему. Да что ж ты все молчишь? – сказала она после множества вопросов, на которые не получила ответа.

– Уж все переговорили, – отвечал Иван Савич.

– Все? как не все! Нет, уж нынче ты не такой. Бывало, все говоришь, что любишь меня, да спрашиваешь, люблю ли я тебя, а нынче вот пятый день не спрашиваешь: видно, уж не любишь. А я тебя все так же люблю, еще больше, ей-богу! вот побожиться не грех! – примолвила она простодушно.

Опять молчание.

– Сколько у вас книг-то! всё толстые: чай, во всю жизнь не прочитаешь? – сказала она

опять, – какие это книжки, Иван?

– Философические! – сказал Иван Савич.

– Какие же это? смешные или страшные? почитай мне когда-нибудь в книжке: я люблю смешные книжки. И у вас хорошо, – продолжала Маша, оглядываясь кругом, – а у нас еще лучше. Какие занавесы, какие ковры! решетки с плющами; какие корзинки для цветов! даже уму непостижимо. Вчера принесли маленький диванчик в спальню: какая материя! так глаза и разбегаются: четыреста рублей стоит. Как подумаешь, сколько эти господа денег сорят, так страшно станет. Хоть бы половину мне дали того, что иной раз в неделю истратят, так мне было бы на всю жизнь.

– Так очень хороша твоя барыня? – спросил Иван Савич.

– Ах! прехорошенькая! особенно утром, как с постели встает.

– Как бы с ней познакомиться?

– Кому?

– Разумеется, моему барину. Уж он говорил: похлопочи-ка, говорит, Иван!

– Нет ли у него приятеля, знакомого с нашей барыней? – сказала Маша, – пусть тот и

приведет его; а не то пусть он выдумает, будто нужно спросить что-нибудь, да и придет: может, и познакомится. Славно бы! тогда бы я чаще к тебе бегала, будто к барину от барыни или попросить чего-нибудь. Уж когда господа знакомы, так и люди знакомы. Это так водится. Что бы выдумать? а! да вот что: барыня продает одну лошадь: не надо ли вам? пусть бы барин и пришел, будто поторговаться.

– И прекрасно! – сказал Иван Савич, вскочив с кушетки, – я и пойду.

– Ты? – спросила Маша.

– И познакомлюсь, – продолжал Иван Савич, не замечая ошибки.

– Что ты, что ты! опомнись, мой батюшка! заврался!

– Ах, да! что я вру: барин, барин.

– То-то же.

– Ну, ты теперь поди домой, – сказал Иван Савич.

– Вот уж и гонишь, экой какой! ну, прощай. Спасибо за подареньице, – сказала Маша, неохотно вставая с кресел.

На другой день Иван Савич, идучи в должность, встретил на лестнице знатную барыню

и остановился, пораженный ее красотой. Она приветливо взглянула на него, как будто в благодарность за это удивление. После того он старался ежедневно сойтись с ней на лестнице. Это было легко, потому что из его окон видно было, как ей подавали карету. Наконец он осмелился сделать ей робкий и почтительный поклон. Ему ласково кивнули головой, и Иван Савич был вне себя от радости.

– Авдей! – сказал он, – знаешь что? знатная барыня поклонилась мне сегодня. Она всякий раз ласково смотрит на меня. Значит, я ей нравлюсь. Как ты думаешь?

– Не могу знать.

И Маша подтвердила ему, что у ее барыни только и разговора, что о его барине.

– Все меня расспрашивает о нем, – сказала она, – богат ли он, есть ли у него экипаж, сколько людей? а я почему знаю... знаю, мол, только, что у него двое людей – Авдей да Иван – вот и все. Какая, право, чудная! Я ведь по парадной лестнице не хожу: где ж мне его видеть? Да что ж в самом деле твой барин пойдет покупать лошадь? коли хочет, вот бы и познакомился.

Иван Савич, пока Маша говорила это, гладил бакенбарды.

Утром он посмотрел лошадь. Она была стара и разбита ногами. Он поторговался с кучером, но не согласился в цене и вечером послал Авдея просить у знатной барыни позволения видетсья с ней, в твердом намерении не покупать лошади, а только завязать знакомство.

Сильно билось его сердце, когда он подошел к ее двери. «Страшно как-то с знатными! – думал он, осматриваясь и поправляясь, – что-нибудь не так сделаешь, беда, засмеют!..» Он позвонил чуть-чуть слышно. Человек доложил и потом, откинув занавес у дверей, впустил его в залу. Зала была обита белыми обоями, с светлодыкими арабесками. Ничего лишнего. По стенам дюжины две легких, грациозной формы стульев белого дерева. Два огромные зеркала, у окон – те прекрасные корзины на тумбах, о которых говорила Маша, да великолепные драпри, которые он сам видел с улицы. В гостиной было все богаче, роскошнее. Темная резная мебель. На столе бронза, часы на мраморном пьедестале,

несколько картин, два или три бюста, вазы.

Иван Савич прошел гостиную и остановился в нерешимости, идти или нет далее. Все было тихо. В следующей комнате чуть-чуть виден был свет от лампы.

«Как я войду? – думал он, – ну, как она там... того... что-нибудь такое... почивает?»

Вдруг послышался шорох будто шелкового платья. Кто-то пошевелился, и опять все замолкло. Иван Савич сделал два раза хм! хм! и кашлянул. Вдруг там позвонили... Он обрадовался и вошел. Долго он искал глазами обительницы этого будуара и не находил, пока, наконец, явившийся по звонку человек не навел его на путь.

– Не надо. Поди! – послышалось из-за зелени.

Человек ушел.

Иван Савич прошел до камина и там, на полукруглом диване, обставленном трельяжем, отыскал невидимку. Она была, повидимому, лет двадцати. Густые, темнокаштановые волосы спускались по вискам до половины щеки и прикрывали уши. Голубые глаза, маленький нос и еще меньше рот, свежесть

лица – все это ослепило Ивана Савича. Он уж не мог разобрать, в чем она была и как она сидела, – ничего.

Он почтительно поклонился.

– Наконец я у вас... – начал он робко, – неужели это правда? я как будто во сне.

Ему молча показали другой конец дивана.

«Вот как обрезала! – подумал Иван Савич, – ни слова! не то, что Анна Павловна: та сейчас стала кокетничать и заговорила. А эта... о, да тут надо осторожно».

Она продолжала молчать. Иван Савич должен был опять заговорить. Он потерялся.

– Я насчет лошадки... – начал он чуть слышно, – пришел справиться, извините, что я... беспокою...

Больше у него не шло с языка, как он ни старался, точно как будто ему зашили рот.

– Да, мне человек сказывал, – отвечала она небрежно, – что вы хотите купить лошадь. Она не подходит под масть прочим моим лошадям, оттого я и велела ее продать.

– Кучер ваш говорит, что вы просите семьсот рублей... Это очень...

– Дешево? хотите вы сказать, – перебила

она еще небрежнее, – что ж делать! лошадь не стоит больше. Может быть, вам надо дороже и лучше... вы не церемоньтесь. Мне стоит сказать одно слово своим знакомым: графу Петушевскому, князю Поскокину, они бы сейчас избавили меня от этой лошади, лишь бы сделать мне удовольствие.

Иван Савич струсил.

– Точно-с, – начал он, – вы изволите правду говорить... Я не имею чести быть вашим знакомым; но, чтобы сделать вам удовольствие...

У него занялся дух; он на минуту остановился собраться с силами. Она выразительно посмотрела на него.

– Но, чтоб сделать вам удовольствие, – повторил он, – я... я... готов...

Она кивнула слегка головой и улыбнулась.

– Вы очень любезны! – сказала она.

Иван Савич ободрился. «Каково же, – подумал он, – ай да Ванечка! ловко, брат! Что скажет Вася? как же ей деньги отдать? ведь, чай, самой нехорошо. О! выдумал, выдумал еще ловчее!»

– Кому прикажете деньги отдать? – спросил он уже довольно твердым голосом.

– Если они с вами, то потрудитесь бросить их вон в ту рабочую корзинку; а если нет, то пришлите.

Иван Савич положил деньги в корзинку и стал раскланиваться.

– Куда же вы? – спросила она, – вы были так любезны. Я еще не успела поблагодарить вас. Останьтесь пить чаю со мной. Я вас не пущу.

Она взяла у него шляпу из рук и поставила с другой стороны подле себя. Она сделалась разговорчива и оставила небрежный тон.

– Садитесь поближе. Расскажите мне, давно ли вы здесь живете, чем вы занимаетесь?

– Я живу здесь четыре месяца, бываю в театре-с, читаю-с.

– Что вы читаете?

– Все философические книги.

– А!

«Говорить ли ей, что мы кутим? – подумал Иван Савич, – нет! что я! боже сохрани! ведь это не Анна Павловна».

– Вы изволите тоже читать книги? – спросил он, глядя на этажерку, уставленную книгами.

– Да, как же.

– Какие-с, позвольте спросить?

– Больше французские: теперь читаю «La duchesse du Chateaugoux»⁶[4]. Вчера мне подарили прекрасный кипсек⁷. Достаньте вон ту книгу.

Он проворно вскочил, взял книгу и подал ей. Она подвинулась к столику и открыла книгу.

– Посмотрите, какие гравюры. Да сядьте со мной рядом, поближе... еще...

Иван Савич сел, как она желала, и смутился.

«Вот как вольно знатные обходятся! – думал он, – как принято у них! а мы чинимся между собой. Прямые мещане! Завтра за обедом расскажу нашим. Что скажет Вася? Чай, удивится, не поверит! „Эк куда, скажет, залез!“ Надо осмотреть хорошенько, как убрано, чтобы пересказать нашим».

– Где же еще другая книга? – сказала знатная дама и позвонила.

– Вели Маше, – сказала она вошедшему лакею, – принести из спальни книгу: она там лежит.

При слове Маша у Ивана Савича забилося сердце. Вскоре послышались ее шаги. Она вошла, взглянула – и побледнела. Книга выпала у ней из рук.

– Что ты валяешь книгу? – сказала барыня. – Испортишь переплет. Да что ж ты стала? Подойди сюда! разве ты не видала у меня людей?

Маша тихо подошла и, склонив голову, еще тише пошла назад.

А Иван Савич забыл и Анну Павловну, и Машу, и всех на свете. Знатная дама с минуты на минуту делалась все любезнее. Время незаметно прошло до одиннадцати часов. Он стал прощаться.

– Приходите ко мне, как только будет у вас свободное время, – сказала она, – я всегда дома. Когда мы покороче познакомимся, то придумаем, как проводить вечера.

Тут человек пришел с докладом, что граф Лужин приехал.

– Проси. Прощайте, до свидания, – сказала она с дружеской улыбкой, подавая Ивану Савичу руку.

В зале он столкнулся с адъютантом, кото-

рый опрометью вбежал в будуар. Иван Савич услышал звонкий поцелуй.

«Вот как знатные целуются! – сказал он сам себе. – А как поздно у них приезжают гости: у нас так спать ложатся. Мещане!»

У своих дверей Иван Савич услышал, что кто-то будто плачет. Он посмотрел – и что же? в темном углу, опершись на перила, горько рыдала Маша.

– Что ты? что с тобой? – спросил он.

– Что с тобой!.. – всхлипывая, говорила она, – еще спрашиваете: что с тобой? Не грех ли вам так обижать бедную девушку?

– Как обижать?

– Обманывать! Сказали, что вы камердинер, что любите меня, а сами барин!

– Так что же?

– Как что! Сами к барыне пришли. Известно, барин не станет любить простую девушку...

– Ведь это не мешает тебе бывать у меня.

– Не мешает! Рассказывайте! Я видела, как вы близко с ней рядом сидели да шептались...

Она зарыдала. Иван Савич махнул рукой и пошел прочь.

– Постойте, – сказала она, – возьмите ваши деньги: я от барина не хочу! Вот сорок пять рублей. Пять рублей я истратила.

Она вынула из кармана ассигнации, бросила их на лестницу и исчезла.

Иван Савич так был поглощен впечатлением от свидания с знатною барыней, что тотчас же забыл о Маше. Он машинально поднял ассигнации и пошел.

– Ну, брат, Авдей, вот прелесть, вот дама, так могу сказать!

– Неужли-то, сударь, у вас и с ней уж дошло до чего-нибудь этакого?

– Тс! тише, тише! – с испугом сказал Иван Савич. – Ты с ума сошел! ведь это не Анна Павловна. Ты этаких и не видывал. Ах, если бы... да нет!

– Что ж лошадь-то, сударь?

– Купил!

– Неужли? – сказал Авдей, – такого одра! Да что вам в нем? Вот деньги-то сорите! А что дали?

– Семьсот рублей.

– Господи, воля твоя! да за нее двести рублей нельзя дать; а за семьсот рублей вы бы

пару знатных лошадей купили.

– Зато не познакомился бы с знатной барыней, – сказал Иван Савич. – Звала к себе как можно чаще.

– Экая лихая болезнь, прости господи, знатная барыня! Знатно же она вас поддела! Семьсот рублей... шутка!

– Оно обошлось дешевле, – сказал Иван Савич, – вот Маша отдала назад сорок пять рублей – стало быть, в шестьсот пятьдесят пять рублей. Ну, не хочет, так как хочет!

Иван Савич явился в собрание своих друзей с торжественным лицом. Его походка, все движения были величавы. Он тихо вошел, молча отвечал на их приветствия и молча сел за свой прибор, ожидая вопросов.

– Что это у тебя такая физиономия сегодня? – спросил офицер.

– Да, в самом деле: ты как будто награду получил, – заметил чиновник. – И в белых перчатках!

– Нет, так, ничего! – небрежно отвечал Иван Савич. – Сейчас был с визитом.

– У кого это, позволь спросить?

– Помните, я вам говорил, – начал Иван Са-

вич, сморщив лоб, – о той знатной даме... что живет у нас во втором этаже?..

– Неужли у ней? – спросил Вася.

Иван Савич молча кивнул головой.

– Каков! а! Ах, чорт его возьми! и туда забрался! тьфу!

Он плюнул.

– В самом деле, ты не врешь? – спросил офицер.

– Послушай! – сказал Вася, подсев к нему, – уж если ты меня тут не познакомишь, мы, брат, после этого больше не друзья!

– Нельзя ли местечко через нее выхлопотать? Вот бы вспрыски-то были!

– Ах ты, жуир, – начал другой, – а! мало тебе! Ты и знати спуску не даешь: баронесса! каково!

– Поздравим, поздравим! – закричал офицер. – Чего спросить, креман или клико! Надо, братец, вспрыснуть, воля твоя: баронесса!

– Тс! господа, господа! – заговорил серьезно, с испугом Иван Савич, – если вы станете кричать, я сейчас уйду. Ведь это не какая-нибудь Анна Павловна. Кругом нас множество народу, а вы кричите. Может быть, тут кто-

нибудь из знатных есть: а у ней что ни вечер, то князь, то граф! услышат, и мне и вам достанется! Я вам по-дружески сказал, а вы и пошли... Надо, господа, знать тон, приличия, как с кем обращаться!

Все струсили и начали говорить шопотом.

– Ну, а Маша что? Изменил, злодей! – сказал Вася.

– Фи! Неужели ты думаешь, что я к Маше питал что-нибудь такое?.. Да и что вы рано принялись поздравлять: ничего нет, а может быть, и не будет. Мне и подумать-то страшно об этом. Это так, лестное знакомство: я там, может быть, сойду с хорошими людьми: выиграю по службе, а не то, чтобы... А вы уж сейчас и на-поди!..

– Да, да, толкуй! знаем мы тебя! – сказал офицер. – Нет уж, брат, если ты куда забрался, так будет твое. Ловок, злодей. Да как это ты?..

– Как же... ловок... – говорил Иван Савич с улыбкой. – Куда мне!.. Эй! человек! четыре бутылки клико сюда!

Иван Савич продолжал являться к баронессе церемонно, во фраке, отодвигался почтительно, когда она слишком близко сяди-

лась или подходила к нему, вскакивал с места, когда она вставала, и едва осмеливался дотронуться до ее руки, когда она ему ее подавала.

Он кое-как успокоил и Машу, сказав ей, что она в этом знакомстве не должна опасаться ничего, что он ходит к баронессе затем, чтоб только посидеть, поговорить, провести вечер. Маша покачала головой и не сказала ни слова, только вздохнула. Он отдал ей назад пятьдесят рублей и прибавил еще столько же.

– Вот лошадь-то опять обошлась не в семьсот, а в восемьсот рублей! – заметил Авдей.

Лошадь кое-как сбыли за двести рублей извозчику.

Уж с месяц посещал Иван Савич баронессу, но не позволял себе ни малейшего намека на любовь, или, как Авдей говорил, на «что-нибудь такое». А между тем она ему очень нравилась. Он у ней иногда сиживал по целому дню, обедал, даже ужинал. Сервировали прекрасно, стол был отличный, вино чудесное. Иногда там бывали сестра баронессы, такая же хорошенькая, как она сама, и две-три при-

ательницы, еще лучше ее... По вечерам бывали мужчины, принадлежащие к порядочному кругу. Приезжали они очень поздно, сидели долго. Иван Савич редко видел их, потому что он в это время уходил, когда они являлись.

Однажды он сидел у баронессы один.

– Послушайте, – сказала она тем же небрежным тоном, каким говорила в первом свидании, – дайте мне две тысячи рублей. Я вам возвращу дня через три.

Иван Савич смутился. Ему совестно было признаться, что у него нет дома такой суммы.

– Я получу пять тысяч не прежде, как недели через три, – сказал он, – а теперь... у меня... нет... дома.

– Верно, вы можете у кого-нибудь занять, – продолжала баронесса, – мне надо завтра утром эту сумму. Если б можно было ждать до вечера, я взяла бы у графа Судкова. Но, зная вашу любезность, я обращаюсь к вам.

– Конечно-с, – сказал Иван Савич, – я постараюсь завтра утром... даже теперь... но оставить вас...

– Подите... подите... я вас не держу. Если достанете сегодня, будем вместе ужинать.

Иван Савич занял у приятеля на честное слово и привез. Его поблагодарили продолжительным нежным пожатием руки и влажным взглядом... Между тем срок платежа пришел и прошел, но денег не отдавали. Иван Савич стал беспокоиться, но напомнить не смел. Ему прислали деньги от родных, и он заплатил долг.

Один раз он хотел было напомнить, и, только заикнулся, ему зажали рот хорошенькой ручкой. Он нежно поцеловал ее и затрепетал от радости.

Раз вечером он был в театре. По возвращении домой Авдей сказал ему, что Маша два раза приходила с запиской от баронессы. Явилась сама Маша. Она подала маленькую записочку и стала у дверей. Баронесса звала его ужинать, говоря, что у нее собрались граф Лужин, князь Поскокин, еще секретарь иностранного посольства, ее сестра и две приятельницы.

– Авдей! бриться! мыться! одеваться! скорей приготовь фрак да синий бархатный жилет с золотыми узорами! – закричал Иван Савич.

- Вы пойдете? – робко спросила Маша.
- Разумеется; а что?
- Не ходите, – сказала она печально.
- Это что за новости? Отчего так?
- Мне что-то сердце недоброе вещает. Вы там что-нибудь... вы оставите меня.
- Какие пустяки! Авдей! одеваться!
- Я без вас жить не могу, – сказала встревоженная Маша, взяв его за руку, – не ходите!
- А я без тебя могу! – сердито закричал Иван Савич, отдернув свою руку. – Вот еще!
- Я вас так люблю, – сказала она робко, почти шопотом.
- Это очень глупо – любить! – говорил Иван Савич, намазывая голову помадой.
- Что ж мне делать! я не виновата.
- И я не виноват, что не люблю тебя.
- Что вы обижаете девчонку-то? – сказал Авдей, – ведь и она человек: любит тоже.
- Любит! – сказал еще сердитее Иван Савич, завязывая платком бакенбарды. – Всякая тварь туда же лезет любить! Как она смеет любить? Вот я барыне скажу. Зачем она любит?
- Не могу знать! – отвечал Авдей.

Иван Савич оделся и ушел. Маша села на кресла и долго смотрела кругом, потом горько заплакала.

Авдей вынул зелененькую, четырехугольную бутылочку в плетенке, подошел к свечке, налил рюмку и поглядел на свет.

– Эти господа думают, что у них у одних только есть сердце, – сказал он, отпивая из рюмки, – по той причине, что они пьют ликеру! А что в ней? дрянь, ей-богу дрянь! и горько и сладко; тем только и хорошо, что скоро разбирает! Не хочешь ли маленько испить? авось пройдет.

Маша потрясла головой.

– Напрасно! – сказал Авдей, выпив всю рюмку и подойдя к ней. – Полно тебе, глупенькая: есть о чем плакать! разве не видишь, какой он пустоголовый? Вишь ведь как разбросал все тут! Плюнула бы на него, право! Эй! перестань, говорю.

Он жесткой рукой отер ей слезы и погладил по голове.

– Ну, бог с ним! – сказала уныло Маша и задумчиво побрела домой.

Маленькая столовая баронессы была ярко

освещена огромным канделябром. Там были буфет красного дерева, горка с фарфором и хрусталем, раздвижной стол и больше ничего. Когда Иван Савич подходил к дверям, из столовой слышались пение, крик, смех: говорило несколько голосов. Вдруг человек поспешно пронес мимо его бутылки. «Эге! да здесь никак кутят! – подумал Иван Савич, – а говорят, знатные не кутят!» Он отворил двери и остановился. За столом, прямо против дверей, сидела сама баронесса. Она была удивительно хороша. Глаза блистали огнем, какого он не замечал прежде, румянец пылал ярче, на губах блуждала улыбка и, казалось, обещала долго блуждать. Шея и плечи были обнажены, грудь сильно поднималась и опускалась. Лицо, костюм, движение, громкий, одушевленный разговор – все показывало, что она была достойною председательницею пира. Подле баронессы был пустой стул. Далее сидела ее сестра. Подле нее, облокотясь рукой на спинку ее стула, почти лежал граф Лужин, с бокалом в руке. Он ей говорил что-то тихонько. Она хохотала... Напротив их, отворотясь к столу боком, сидел князь Поскокин, вы-

сокий мужчина с черными бакенбардами. По левую ее сторону секретарь посольства что-то живо бормотал другой приятельнице баронессы, интересно бледной и задумчивой женщине.

– А! – сказала баронесса, увидев Ивана Савича. – Где вы пропадаете? мы не хотели садиться без вас за стол; да вот князь уверил, что вы уж не будете...

– Виноват! – примолвил князь. – Я знал, что мы просидим долго и что вы во всяком случае подоспеете.

– Помилуйте, ваше сиятельство, ничего! – отвечал Иван Савич, раскланиваясь почти-тельно на все стороны.

– Садитесь скорее, полноте раскланиваться! – нетерпеливо закричала баронесса. – Я вам берегла место подле себя. Целуйте же ручку! да будьте живее. Ах, боже мой! вы ни на что не похожи. Будьте как дома, без церемонии.

– Я и так... – сказал Иван Савич и, не кончив фразы, сел на стул.

– Messieurs! – сказала баронесса гостям, – рекомендую вам m-г Поджабрина, отличного

молодого человека.

– Очень рад! – сказал князь, не поворачивая головы.

Граф молча кивнул ему и шепнул что-то на ухо своей соседке. Та захохотала, а Иван Савич покраснел. Дипломат, открыв немного рот, смотрел с любопытством, как Иван Савич кланялся, говорил и как сел.

– Где же ваше вино? М-г... m-г... – сказал граф.

– Меня зовут Иван Савич. Про какое вино, ваше сиятельство, изволите спрашивать?

– Нет, не нужно! – перебила баронесса. – Эти господа, – сказала она Ивану Савичу, – сделали мне своим посещением приятный сюрприз, и всякий привез свое вино. Они думали, что и вы знаете...

– Позвольте-с... я сейчас... – сказал Иван Савич и с салфеткой побежал в переднюю, чтобы послать за вином.

– Ваше здоровье, милая Амалия! – закричал через стол князь и выпил бокал.

– Мерсі, – отвечала соседка графа. – И я пью ваше.

И выпила свой бокал одним духом.

– Ради бога, не пейте за мое: я и так не знаю, что со своим здоровьем делать! – сказал князь. – Ничто не помогает убавить этой массы. – Он указал на свое тучное тело. – Да, я предвижу, – продолжал князь, – что мое здоровье убьет меня.

– Побольше вот этих подвигов, – сказал граф, указывая на бутылку, – и ты убьешь его.

– Le comte vient de dire quelque chose de drôle? n'est ce pas?[5] – сказал дипломат своей соседке.

– И! для меня это ни больше, ни меньше, как гимнастическое упражнение, как мочион, – отвечал князь, – я знаю, что нынешний вечер прибавит мне два года жизни.

– Счастливец! а я как выпью лишний бокал, на другой день голова трещит, – заметил граф, – никак не могу пить.

И выпил. И все выпили.

– Еще вина! – сказал князь человеку, отдавая бутылку.

– А вы что ж не пьете? М-г... m-г... – говорил князь, обращаясь к Ивану Савичу.

– М-г Поджабрин, – подсказала баронесса.

– Как? – спросил князь.

– Поджабрин.

Князь взглянул на графа, тот в ответ чуть-чуть пожал плечами.

– Меня зовут Иван Савич, – отвечал Поджабрин.

– Да! Иван Савич, в самом деле что ж вы не пьете? у вас все тот же бокал! – заметил резко граф, – если это так продолжится, вы – mille pardons[6] – будете здесь лишний.

Иван Савич смутился, не успел проглотить куска дичи, залпом выпил бокал и закашлялся.

– Я, ваше сиятельство, непрочь! – сказал он, – я буду пить-с, я тоже люблю жуировать. Жизнь коротка, сказал один философ.

– Qu'est ce qu'il dit?[7] – спросил дипломат у соседки.

– Стыдитесь, м-г... м-г... – начал князь.

– Иван Савич, – подсказал Поджабрин.

– Стыдитесь, Иван Савич! дамы выпили по пяти бокалов, а вы еще один.

– Он догонит! – закричала баронесса. – Извольте, милый сосед, пить сряду пять бокалов. Я буду вашей Гебой.

Она схватила бутылку и стала лить...

.....

– M-r Шене! – сказала баронесса через минуту, – вы обещали нам спеть куплеты Беранже. Прошу не забывать.

– Mais iln’y a pas de piano ici[8], – отвечал дипломат.

– Оно в соседней комнате: мы велим отворить двери и придвинуть его поближе сюда.

Отворили двери и придвинули фортепьяно. Француз запел...

Князь повторил refrain[9].

– Bravo, bravo, Шене! – закричал он. – Что за дьявол этот Беранже! пожил и других учит жить... Да! чего больше? пить, любить, обманывать друг друга: тут вся история и философия рода человеческого.

– Как ты глуп сегодня, князь, с своим Беранже! – заметил адъютант. – Посмотри, соседка твоя дремлет...

– Если она заснет, – заметил граф, – ты, князь, отвечаешь за нее: откуда хочешь возьми женщину, а то кадрили не полна – хоть сам надевай юбку.

– C’est joli[10], – сказал дипломат, – ah, se comte![11]

– Славная идея! нарядить князя дамой! – решила баронесса.

– Право, так! – закричал граф.

– Весело! ей-богу, весело! – громко сказал опьяневший Иван Савич. – Вот кутят, так кутят!

– Que veut dire[12] кутят? – спросил дипломат.

– Что? – спросил граф.

Иван Савич струсил.

– Весело, ваше сиятельство, говорю я, – отвечал он.

– Его бы тоже не мешало нарядить дамой, – сказал князь, указывая на пустой стул, но желая указать на Ивана Савича. – Он будет похож на твою тетушку, граф, на Настасью Федоровну. Согласны, м-г... м-г... м-г...

– Иван Савич! – подсказал он. – Очень хорошо, ваше сиятельство, почему не согласиться. Кутить, так кутить!

Принесли ночные чепцы, кофты, скинули фраки, жилеты и нарядились.

– Bravo, bravo! – кричали все, хлопая в ладоши.

– Если бы бакенбарды долой, – сказал

граф, – ты, князь, был бы совершенной женщиной, только не княгиней, а пуассардкой [13]. А вы, Иван... Иван...

– Иван Савич, – договорил Поджабрин.

– Иван Савич, вы... ах, знаешь, князь, он точно очень похож на мою тетушку! ха! ха! ха! право, она!

И оба с князем, указывая на Ивана Савича, хохотали и кричали: она! она!

– Да, в самом деле! – сказал князь, – ну, ты, граф, не будешь теперь так повесничать перед ее подобием.

– Жизнь коротка! надо жуировать! – неистово закричал Иван Савич, в кофте и в юбке.

Никто ничего не понимал, и постороннему нельзя бы было разобрать ничего. Все хохотали, глядя друг на друга.

.....

.....

На другой день было прекрасное осеннее утро. Иван Савич проснулся, хотел открыть глаза и не мог. Голова была налита как будто свинцом. Наконец мало-помалу он поднял веки... Пробыло двенадцать часов. Иван Савич

тихонько встал, подошел к зеркалу – и отско-
чил: на нем кофта, ночной чепец...

– Ого! как кутнули! – сказал он. – С нашими
так никогда не удавалось: этакой рожи у меня
не бывало!!.

Он покачал головой.

– Что скажут наши? Лучше не говорить
им...

Он провел рукой по волосам, надел свой
фрак и пошел...

Идучи по лестнице, он встретил какую-то
женщину под вуалью. Она с девкой шла
вверх. Девка сказала барыне какое-то замеча-
ние на его счет...

– Кто это? – спросила барыня.

– А жилец, что под нами живет, – отвечала
девка. – На них и праздника нет. У баронессы,
слышь, целую ночь такой пир был...

– Под праздник-то!

В это время дверь захлопнулась.

– Авдей! – сказал Иван Савич, – дай мне
рюмку ликера да разбуди меня к обеду.

– Ликеры нет: вся вышла, – отвечал Авдей.

– Как вышел! еще третьего дня там остава-
лось.

– Вы выкушали последнюю рюмку.

– Когда?

– В последний раз.

– Смотри: уж не ты ли, друг?

– Стану я этакую дрянь пить! – сказал Авдей и плюнул. – Я еще отроду никакого вина не пивал.

– Кто это над нами живет? – спросил Иван Савич.

– Не могу знать!

– Узнай!

Иван Савич долго не являлся к баронессе. Наконец через неделю он отправился к ней. Там он застал ее сестру и Жозефину.

– А! сосед! – сказала баронесса, – что это вас так давно не видать? Я хотела посылать за вами...

– Я, баронесса, теперь в нужде, – перебил ее Иван Савич, – и пришел просить вас: не возвратите ли вы мне моих денег?..

– Денег?..

Она с изумлением посмотрела на него.

– Да, две тысячи рублей, что вы у меня заняли.

– Я заняла! Опомнитесь! неужели вы еще

не протрезвились? Напротив, я хотела спросить вас, скоро ли вы мне отдадите семьсот рублей за лошадь?

Иван Савич остолбенел.

– Да, за лошадь.

– Я не шучу, баронесса! – сказал он.

– И я нет, – отвечала она.

Он посмотрел на нее серьезно, она на него тоже. Он пошел вон. Сзади его раздался дружный, предательский хохот трех красавиц.

– Неблагодарный! каков! – слышалось вслед за тем.

Иван Савич хлопнул дверью и пошел к себе.

– Не поискать ли нам другой квартиры, Авдей? – спросил он.

Авдей перепугался.

– Помилуйте, сударь! – воскликнул он, – еще полгода нет, как здесь живем. Где сыщешь такую квартиру? Удобство всякое: и сарай особый, и ледничек от хозяина дают, и соседи хорошие, а уж соседки – и говорить нечего...

– Да... нечего и говорить! – повторил, пожимаясь, Иван Савич.

Через несколько дней он опять на лестнице встретил ту же женщину под вуалью.

– Кто это там вверху живет? узнал ли ты? – спросил он Авдея.

– Барышня живет какая-то. Такая смиренная, словно никого нет: ни стукнет, ни брякнет.

– Так она барышня? Узнай хорошенько, кто она.

Авдей узнал и сказал, что барышня живет с девушкой и с кухаркой, тихо, скромно, что ее не слышать, что в гостях у ней бывают все женщины, и т. п.

– Как бы побывать у нее?

– Не могу знать.

– Не могу знать! Это не мудрено. А ты можешь... Послушай-ка! не пахнет ли здесь как будто дымом?

– Нет-с! – сказал Авдей, поворачивая нос во все стороны, – не пахнет.

– Ну, как не пахнет! слышишь?

– Нет-с, не слышу – не пахнет.

– Наладил одно: не пахнет! Если я говорю пахнет, так, стало быть, пахнет.

– Не пахнет, – сказал Авдей, нюхнув еще.

– Да, именно пахнет: это, должно быть,

сверху прошло! Узнай-ка, поди. Долго ли до пожара! Да нет, постой! я сам узнаю.

Он отправился вверх.

– Ну, пошел! – ворчал Авдей, – уродился же этакой!..

И махнул рукой.

Иван Савич вошел в переднюю верхней жилицы. Там никого не было. Налево был маленький коридор, который вел, повидимому, в кухню. Иван Савич остановился. Оттуда раздавался довольно приятный голосок.

– Не надо мне петуха! – говорил голосок. – Зачем ты петуха купила? Я тебе велела курицу купить; а это, видишь – петух! все по-своему делаешь!

– Да мужик-то знакомый, матушка, – отвечал другой голос, – наш ярославский. Пристал: купи да купи; петушок, говорит, славный.

– Не хочу я петуха: петухи жестки!

– И нет, матушка, этот еще молоденький, словно цыпленочек.

Иван Савич решился проникнуть дальше. Появление его произвело значительный эффект.

– Ах! – закричала барышня, закутываясь одной рукой в большой желтый платок, а другой держа петуха.

– Я-с... мое почтение... я живу здесь под вами...

– Что ж вы, милостивый государь, ходите по чужим квартирам? – начала она, пряча под платок руку с петухом. – Вы думаете, что я беззащитная девушка, без покровителя, что меня можно всякому обидеть? Извините, вы ошибаетесь! Позвольте вам сказать: у меня есть кому вступиться, и я не позволю... За кого вы меня принимаете, с какими намерениями?

Иван Савич перепугался. Он забыл, зачем пришел.

– Извините-с... – начал он, – я... только пришел спросить... вот извольте видеть... мне... того-с...

– Что того-с? На, Устинья, курицу... Что ж ты не возьмешь?

– Ведь это петушок-с? – робко спросил Иван Савич.

– А вам что за дело? вы почему знаете?

– Я слышал от человека, что ваша кухарка

ошибкой купила петуха... не угодно ли поменяться на курочку?..

– Какая дерзость! – воскликнула барышня, пожимая плечами, – боже мой! до чего я дожила за мои грехи! За что ты меня так караешь? Как вы осмеливаетесь говорить мне такие речи? Вы пришли обижать меня? Что ж это такое...

Она начала плакать.

– Позвольте, сударыня, – сказала кухарка, – они за делом пришли: может, у них в самом деле куплена курица, – вот бы и поменялись. А почему изволили платить?

– Нет-с... позвольте... я объясню вам настоящую причину, – сказал Иван Савич. – Я пришел спросить... У меня, извольте видеть, вдруг запахло дымом... Так столбом и ходит по комнатам. Я думал, не от вас ли...

Барышня и кухарка подняли носы кверху и стали нюхать во все стороны. С ними для компании нюхал и Иван Савич.

– В самом деле, пахнет! – сказала встревоженная барышня, – уж не пожар ли? поди-ка сбегай к верхним жильцам.

– Ах, мои матушки! так глаза и ест! Чего

доброто: долго ли до греха! – сказала Устинья и побежала.

– Постой, постой! Что ж ты нас оставляешь одних? – закричала барышня в испуге. – Что скажут? Ах, боже мой! Уйдите!..

– И, матушка! ничего! барин хороший, – сказала Устинья и ушла.

– Помилуйте... – начал Иван Савич.

Он не знал, что сказать, и стал застегивать сюртук; а она перебирала бахрому своего платка.

– Давно здесь изволите жить? – спросил он потом.

– Я еще с покойным папенькой жила здесь. Слава богу! про нас никто не может недоброго слова сказать. Вот сегодня в первый раз незнакомый мужчина пришел без позволения...

– Если б я знал, каким образом достигнуть этого драгоценного позволения, – начал Иван Савич, смиренно опустив глаза в землю, – я бы ничего не пощадил...

– Я почти никого у себя не принимаю, – сухо сказала она, – кроме сестры с мужем, крестного и его племянников...

– О, я уверен!.. Я пришел единственно на счет дыму... Но, признаюсь, поговоришь с вами несколько минут... невольно хочешь видеть вас чаще...

– У вас и без меня есть знакомство: я видела однажды, как вы вышли от баронессы, – сказала она колко и с достоинством.

– Баронесса! О! – с жаром начал Иван Савич, – я давно с ней не знаком. Если б вы знали, как я был обманут наружным блеском...

Он стал ей рассказывать, что с ним случилось. Она презрительно качала головой. Когда он хотел описывать пир, она замахала рукой.

– Ради бога, перестаньте! перестаньте! – закричала она, обидевшись, – что вы? Помните, с кем говорите! За кого вы меня принимаете? Я вас не понимаю...

Иван Савич замолчал.

– Так две тысячи рублей и пропали? – спросила она потом с любопытством.

– Пропали-с.

– И еще семьсот рублей?

– Да-с... нет-с, пятьсот рублей только: ведь я лошадь продал за двести рублей.

– Какая жалость! Какая мерзавка! – сказала она, – как терпят таких тварей? И вот необходимость принуждает и честную девушку жить под одной кровлей с такой бесстыдницей!

Она концом платка отерла глаза.

– Так вы больше с ней не знакомы?

– Нет-с. Да если б и был еще знаком, то довольно услышать от вас одно слово, чтоб прекратить...

– Благодарю вас за комплименты, – перебила барышня сухо, – только я их никогда не слушаю. Стало быть, у вас большое жалованье, – спросила она, помолчав, – что вы можете по две тысячи рублей бросать?

– Жалованье? У меня нет жалованья-с.

– Как нет?

– Так-с. Мне не дают.

– Не дают! Как же смеют не давать?

– Так-с. Я не получаю.

– Стало быть, сами не хотите?

– Нет-с, я бы пожалуй... да не положено...

– Для чего же вы служите?

– Из чести-с.

– Чем же вы живете?

– Своим доходом, – сказал он.

– А! у вас есть свои доходы, – примолвила она. – Как это приятно!

Тут Устинья пришла сверху и сказала, что дыму нигде не оказалось.

Иван Савич стал раскланиваться.

– Извините, что потревожил вас, – сказал он. – Если б я имел надежду на позволение видеть иногда вас... я бы почел себя счастливым...

– Это позволение зависит от моего крестного папеньки, – сказала она, – если им угодно будет позволить принимать вас по четвергам, когда у меня собираются родные, тогда они дадут вам знать; а без того я не могу... И притом вы должны обещать, что никогда, ни словом, ни нескромным взглядом не нарушите приличий... Обо мне, слава богу, никто не может дурного слова сказать...

– О, клянусь! – сказал Иван Савич и ушел.

– Авдей! ведь верхняя-то жилица недурна, – сказал он, воротясь к себе, – только немного толстовата... или не то, что толстовата, а у ней, должно быть, кость широка! Не первой молодости. Как ты думаешь?

– Не могу знать!

– А какая неприступная! просто медведь.

Прошла неделя. От крестного папеньки не приходило никакого известия. Ивана Савича так и подмывало увидеться с жилицей. Но как?

– Как бы это сделать, Авдей? – спросил он.

– Не могу знать... Да позвольте, сударь, – сказал он, желая угодить барину, – никак, дымом пахнет... – И нюхнул.

– Э! стара штука! ты выдумай что-нибудь поновее. А я выдумал. Постой-ка, я пойду, – сказал Иван Савич и отправился вверх.

Он тихонько отворил дверь.

– Кто там? – послышалось из комнаты.

Он молчал.

– Кто там? – раздалось громче.

– Это я-с, – сказал он тихо.

– Да кто я-с? разносчик, что ли? Ах! не нищий ли уж?

В зале послышалось движение, и барышня выбежала в переднюю.

– Ах, это опять вы? – сказала она.

– Я самый-с.

Она была уже не в утреннем капоте и не в

папильотках, как в первый раз, а в черном шелковом платье, со взбитыми локонами. В одной руке держала она не петуха, а маленькую собачку, в другой – книжку. Собачонка так и заливалась-лаяла на Ивана Савича.

– Что вам угодно? – сказала она. – Помилуйте! Молчи, Жужу! Как вы со мной поступаете? За кого вы принимаете меня? Молчи же: ты выговорить слова не дашь! Этого еще не бывало, чтобы чужой мужчина осмелился... в другой раз... а? На что это похоже? С этой собачонкой из терпенья выйдешь. Средства нет никакого!

Она пустила ее в комнату.

– Я только пришел спросить... – начал Иван Савич.

– Что спросить? Помилуйте! со мной никто так не поступал...

– Я только хотел узнать, не колете ли вы здесь дров...

– Я колю дрова! а! каково это? Вы хотите обижать меня, бедную девушку: думаете, что меня некому защитить. Я крестному папеньке скажу. Он коллежский советник: он защитит меня! Я колю дрова!..

– То есть не колют ли у вас? – прибавил Иван Савич, – у меня раздается так, что стены трясутся; того и гляди штукатурка отвалится... задавит...

– Мне дрова рубит дворник в сарае, – отвечала она. – Я плачу ему два рубля в месяц – вот что. А это, верно, у соседей...

– Ах, так виноват! – сказал Иван Савич, раскланиваясь, и остановился.

– Позвольте спросить, что это за книжечка? – спросил он нежно.

– Это «Поучительные размышления»... Мне папенька крестный на прошедшей неделе в именины подарил.

– А какой святой праздновали на прошлой неделе, позвольте спросить?

– Прасковьи, двадцать восьмого октября. Меня ведь зовут Прасковьей Михайловной.

– Вот вы нравоучительные книги изволите читать, Прасковья Михайловна, а я так все философические...

– Уж хороши эти философические книги! я знаю! Мне крестный сказывал, что философы в бога не веруют. Вот пусти вас к себе: вон вы что читаете!

И она отступила.

Иван Савич сделал шаг вперед. Она отступила еще. Он за нею – и очутился в комнате.

– Наконец я у вас... – сказал он торжественно, – ужели это правда?.. я как будто во сне...

– Ах! – сказала она, – вы уж и вошли! Как вы мужчины! Вы, вероятно, думаете, что я рада, что хотела этого? Не воображайте!

– Помилуйте... осмелюсь ли я? Я только умоляю: не лишите меня счастья...

– Как это можно! Ах, господи! – начала она, садясь на диван. – Что скажут? про меня никто никогда не слыхал дурного слова, а тут этакой срам: чужой мужчина в другой раз...

– Скажут-с... что я приходил узнать насчет дров: ведь всякий дорожит своим спокойствием... согласитесь сами, Прасковья Михайловна! – убедительно прибавил Иван Савич и сел.

– Оно, конечно... – начала она, – позвольте узнать, как вас по имени и отчеству? Ах! да уж вы и сели?

– Меня зовут Иван Савич, – сказал он.

– Оно, конечно... Иван Савич! Но посудите сами: ведь я девушка, мне двадцать второй

год, я дочь честных родителей, живу одна, и обо мне никто дурного слова не слышал. Что могут подумать?..

– Так-с, так-с! Боже меня сохрани спорить... но я человек смирный, живу тоже один... Почему ж мне, как соседу, не позволить иногда притти время разделить. Особенно же теперь наступает зима... вечера длинные.

– Неужели вы думаете, – сказала она, – что я позволю вам сидеть у себя по вечерам одним? Вы ошибаетесь!.. За кого вы меня принимаете? Другое дело по четвергам, если крестный позволит.

– Что же вам по вечерам делать одним? Все читать да читать – надоест. Разве вы бываете в театре?

– Очень редко: на масленице крестный берет ложу, если пьеса, знаете, такая, где нет ничего... Ведь нынче женщине и в театр, не *знамиш*, нельзя пойти... бог знает что представляют!..

– Да-с, – перебил Иван Савич, – это правда: вот я был в тот вечер, как мы кутили у баронессы...

– Ах! вы мне опять про этот гадкий вечер,

опять про баронессу: я и знать и слышать не хочу... увольте...

– Виноват-с: я хотел сказать, какую ужасную пьесу давали: поверите ли? я едва высидел.

– Вы не высидели! – сказала Прасковья Михайловна, – можно вам поверить!

– Уверяю вас! Вы не знаете меня. Я краснею от всякого нескромного слова... Так в этой пьесе, говорю, один объясняется в любви...

– Ах, боже мой! – закричала Прасковья Михайловна, вскочив с дивана, – что вы, что вы? Опомнитесь! кому вы говорите?.. Что это за ужась такая! Вот пусти вас... все мужчины одинаковы. Вы думаете, что я живу одна, так меня можно обижать...

– Помилуйте! – сказал он, – я? обижать? О, вы меня не знаете: обидеть женщину не только делом, даже нескромным словом так низко, так гнусно... что я слова не найду: вот мои правила! Поверьте, мне всегда возмущает душу, когда я слышу, что какой-нибудь развратный человек...

– Ах, боже мой, что вы? опять! – закричала

Прасковья Михайловна, зажимая уши, так, однако, что оставила маленькую лазейку.

– Я хочу сказать, – торопливо прибавил Иван Савич, – когда развратный человек воспользуется слабостью неопытной девушки! Вот мои правила!

– Замолчите! замолчите! о чем вы мне говорите? я и слышать не хочу о ваших правилах. Вспомните, что я девушка: я не должна понимать, я не понимаю ваших слов.

– Но согласитесь, Прасковья Михайловна, – начал Иван Савич тоном убеждения, – что если девушка не хочет слышать, какого рода опасность угрожает ее добродетели, то ведь она легко может...

– Ах, какой ужас вы говорите! Девушка не может подвергнуться опасности, когда не хочет даже слышать о ней... а не то, чтобы...

– Что-с: не то, чтобы?..

– Ну, то есть... ах, да вот и крестный! Здравствуйте, крестный!

В комнату вошел дородный человек лет пятидесяти, седой, с анненским крестом на шее.

– А, да у тебя гости? – сказал он и боком по-

клонился Ивану Савичу, поглядывая на него исподлобья.

– Это сосед, что подо мной живет, – отвечала Прасковья Михайловна.

– Ась?

– Сосед, Иван Савич, пришел узнать, не колют ли здесь дров: он желает познакомиться со мной. Я без вас не смела, крестный! Кажется, хороший человек, – шепнула она.

– Где изволите служить? – спросил крестный.

Иван Савич сначала замялся, наконец пробормотал название своего департамента.

– А! – сказал чиновник, – у вас начальник отличный человек! умная голова! и барин, настоящий барин! Вот бы послужить при этом! Да позвольте-ка: никак вчера... нет, третьего дня... или вчера? что это я забыл! Да, точно вчера: от вас получено к нам отношение. Кто это писал его у вас? Ну, пройдоха, нечего сказать: этакой крючок загнул! Вот, изволите видеть: по нашему ведомству один чиновник попал под суд. Он прежде служил у вас и там был под следствием. В аттестате-то глухо насчет этого сказано. Вот мы и обрати-

лись к вам с просьбою о доставлении ближайших сведений по сему делу. Ну, и получили же от вас бумагу! Ах ты, господи! есть же ведь люди – как пишут! Написан лист кругом, а точнейших сведений нет никаких. Я нарочно списал себе эту бумагу... фу-ты, как славно написана! Дай-ка, Параша, водочки. Не прикажете ли?

– Нет-с, покорно благодарю.

– Ась?

– Покорно благодарю. Я не пью, – сказал Иван Савич.

– А кто у вас начальник отделения? – спросил чиновник.

– Стуколкин, – отвечал Иван Савич.

– Матвей Лукич! – с удивлением подхватил крестный, – ба, ба, ба! Да неужели уж он начальник отделения? Давно ли? Скажите, ради бога! как судьба-то иной раз... Ну, что это такое! Вообрази, Параша: Матвей Лукич два года тому назад был у нас столоначальником, и еще не из самых бойких, а так себе! а теперь, а? Да, душенька, я забыл сказать... Петр Прокофьевич звал нас с тобой на вечеринку. Там потанцуют; а у нас добрый вистик составлен:

три начальника отделений; только я один чиновник особых поручений попался! А в четверг они у нас.

– Ах, крестный, как это весело, как весело! – заговорила, припрыгивая, с детской радостью, Прасковья Михайловна, что было ей немного не под лета. Но ей хотелось пококетничать перед Иваном Савичем.

– Вот и вы, милостивый государь, пожаловали бы к нам в четверг, – сказал он, обращаясь к Ивану Савичу, – если вам не скучно будет.

– Помилуйте! скучно! можно ли?.. за счастье почту...

– Ась?

– Непременно, мол, воспользуюсь, – сказал Иван Савич, раскланиваясь и уходя.

– Авдей! кажется, я пожуирую, – говорил он, возвратясь домой.

– Не могу знать! – отвечал Авдей.

– Только это, брат, совсем не то: тут будет что-то чистое, возвышенное, так сказать, любовь *лаконическая*...

– Э! ну вас тут, раздуло бы горой! – ворчал про себя Авдей.

– Как же ты с знатной барыней кончил? – спросил Вася, когда Иван Савич рассказал ему о новой соседке.

– Что, братец, знатные барыни! Это утомило меня: вечно приличия, этикет, знаешь, всегда навтыяжку... Графы да князья... большой свет... не хочу! бог с ними! я люблю свободу... так и отстал.

– Напрасно! – сказал Вася, – ты бы мог познакомить меня; там бы ты много выиграл... Эх, не умел: как же и выходят в люди?.. Э-э!

– Конечно! – сказал Иван Савич, – оно бы можно было: у ней иногда бывают из дипломатического корпуса. Вот в последний раз я ужинал вместе с секретарем посольства... что за здоровяк такой! вот жуир-то! звал в Париж.

В четверг, в восемь часов вечера, Иван Савич явился к соседке. Там все имело вид торжественного собрания. Стеариновые свечи, не зажигаемые по другим дням и скромно стоящие на столике у зеркала, разливали яркий свет по комнате. Чехлы с дивана и четырех кресел были сняты. В гостиной, на столике, горела крашенная жестяная лампа и стояли две тарелки с вареньем. Там был диван, оби-

тый зеленым полумериносом, и двое таких же кресел. Наружный вид их манил к спокойствию и неге. Казалось, как опустишься, так утонешь там и не встанешь. Кто быстро опускался на диван с этой мыслию, тот вскакивал еще быстрее, думая, что он сел на камень: так хорошо сделаны были пружины, которые торговцы Апраксина двора величают *аглицкими*. В гостиной могло поместиться счетом пять человек, ни больше, ни меньше. Далее была еще комната... Потом ширмы, а из-за них выглядывал уголок белой как снег подушки: то было девственное ложе Прасковьи Михайловны. Она смело могла бы написать девизом:

*К моей постели одинокой⁸
Не крался в темноте ночной...*

В зале крестный папенька Прасковьи Михайловны играл в одном углу в вист с мужем сестры хозяйки и еще двумя чиновниками, которые были с ним очень почтительны. В другом углу девушка разливала чай. Дамское общество было в гостиной. На диване сидела старшая сестра Прасковьи Михайловны, женщина высокого роста, прямая, как веха, потом

хозяйка и еще две какие-то девицы. Около них любезничали два племянника крестного папеньки – один студент, другой юнкер. Дамы сидели, мужчины стояли, потому что негде было сесть. Играли в фанты.

– Вы, конечно, с нами останетесь, с молодыми людьми? – сказала Прасковья Михайловна Ивану Савичу с детскою резвостию, – что вам там делать со стариками? Не прикажете ли варенья? Молчи, Жужу! ах, скверная собачонка! Вы погладьте ее только один раз, а там уж она привыкнет к вам. Вот так.

– Ах, да она кусается! – сказал Иван Савич, отдернув руку.

– Нет-с, никогда.

– Помилуйте! вот, посмотрите, до крови.

– Ах ты, дрянь! вот я тебе ужо розгу дам! – сказала Прасковья Михайловна. – Не угодно ли с нами в фанты? Вы будете, хоть... что бы?... мы играем в *туалет*... все вещи разобраны... ну, будьте гребень.

– Да это я взяла! – пропищала одна маленькая девочка.

– Ты, *та chère*, гребеночка, а они будут частый гребень. Так вы частый гребень.

– Очень хорошо-с, – сказал Иван Савич. Принесли еще два стула, поставили у дверей и стали играть. При словах: *барыня спрашивает весь туалет*, все бросились менять места. Ивану Савичу не раз доставалось бросаться со всего размаху на диван с камнем внутри. Он быстро вскакивал, а другой или другая, зная хорошо это седалище, проворно, но осторожно садились на его место, а он оставался.

Иван Савич познакомился со всеми. Чиновникам он рассказал про свой образ жизни, и те немало завидовали ему.

– Утром я встаю в десятом часу, – говорил он хвастливо, – иногда хожу в должность, иногда нет, как случится... потом-с часа в три иду гулять на Невский проспект. Там, знаете, весь *beau monde*[14] гуляет тогда, встречаешь множество знакомых, с тем слово, с другим два. Зайдешь к Беранже иностранные газеты прочитать,⁹ об испанских делах, о французском министерстве... Так время неприметно и пройдет до обеда.

– А позвольте спросить, кто теперь министром у французов? – спросил крестный.

«Министром? А чорт его знает!» – подумал

Иван Савич. – Теперь-с... – начал он и остановился.

– Ась? – спросил крестный.

– Теперь... министерство распущено, – вдруг сказал Иван Савич, как будто по вдохновению, – никого нет.

– Стало быть, товарищи управляют, – примолвил тот.

– Там ведь одно министерство, – сказал Иван Савич.

– Как, неужели? И один министр?

– Нет-с, много.

– Много! какая диковинка...

И пошли толки о том, как это должно быть неудобно.

– Потом, – продолжал Иван Савич, – иду обедать к Леграну или к Дюме. Тут соберутся приятели, покутим, вечер в театре: так и жуируем жизнью...

– Вот живут-то! э! – сказал с завистью один чиновник, – пожил бы так! а то в восемь часов иди в должность да и корпи до пяти! Заживо умрешь.

– Что должность: сухая материя! – примолвил Иван Савич. – Жизнь коротка, сказал

один философ: надо жуировать ею.

Иван Савич признан был всем обществом за любезного, фешенебельного и вообще достойного молодого человека. Крестный особенно был ласков с ним.

Иван Савич благодарил его за дозволение бывать у его крестницы по четвергам.

– Сам я не надеялся получить это позволение, – начал Иван Савич, – Прасковья Михайловна так боязливы...

– Ась?

– Прасковья Михайловна так боязливы...

– Оно не то что боязлива, извольте видеть... – отвечал крестный, – а того... получила от отца фундаментальное воспитание. Мать была, правда, баловница, – не тем будь помянута, – да умерла рано; а покойный-то отец, мой сослуживец, уж коллежский советник, – вот он был строг, не любил баловать. Он ее и приучил к аккуратности и воздержанию. Не будь его, смоталась бы, чисто смоталась бы девка. Да он, – царство ему небесное, – был с правилами человек и ей внушил. А то она...

– Что такое? – спросил Иван Савич.

.....

.....

После этого вечера Иван Савич решился притти и не в четверг. Его встретили градом упреков и в то же время сняли со стула шаль и ридикюль, чтобы очистить ему место. Он повторял эти визиты в неделю раз, потом чаще и чаще. Прием всегда был одинаковый. Наконец однажды он решился приступить к объяснению. Был зимний вечер. Все было тихо кругом. Кухарка спала у себя в кухне. Горничная ушла к соседям в гости. Сама Прасковья Михайловна сидела на диване и шила в пальцах. Иван Савич сначала сидел напротив ее, потом у него в голове мелькнули какие-то соображения, и он сел рядом с ней на диване, так, что ему был виден затылок и вся спина соседки. Он открыл, что косыночка не доходила вплоть до платья и часть плеча оставалась обнаженною. Он уж был откровенен с Прасковьей Михайловной, говорил ей о дружбе, о любви, – не к ней, а вообще. Она сначала зажимала уши, кричала, потом не зажимала ушей и не кричала, но зато ничего не отвечала, так что Ивана Савича брало зло. Он ре-

шился заговорить о любви к ней. Для этого-то он и пересел рядом, чтобы, в случае неблагоприятного приема своих объяснений, избежать грозных взоров оскорбленной добродетели.

– Прасковья Михайловна! – сказал он.

– Чего изволите?

– Вы бывали влюблены?

– Что вы это? опомнитесь: ведь я девушка.

– Так что же? разве девушки не влюбляются?

– Не должны! – сказала она строго, – пока ни за кого не помолвлены.

А сама так и сновала иглой, то вверх, то вниз.

– Да ведь любовь иногда не ждет помолвки.

– Об этом и думать не должно! – сказала она.

– Ну, да неужели вам никто не нравился?

Молчание.

– Прасковья Михайловна!

– Чего изволите?

– Неужели вы не любили никогда?

Молчание.

«Экая дубина! – подумал Иван Савич, – хоть бы что-нибудь... хотя бы плюнула. Подожду, еще что будет».

– А я думал... – начал он, – я надеялся, что, может быть... я удостоюсь... что постоянная моя внимательность будет награждена...

– Что это сегодня как будто на вас нашло? – сказала она. – Бог знает, что вы говорите! Не пора ли вам домой? десятый час.

– Зачем мне домой! что я там стану делать?

– Заниматься науками.

– Нет-с, я не уйду, пока не выскажу... всего... я... вы... мы... знаете, Прасковья Михайловна, любовь двух душ есть такая симпатия... это, так сказать, жизненный бальзам. Почему бы! скажите, – о, скажите хоть одно слово!

Она молчала.

«Ну, видано ли этакое дерево?» – думал он. – Вы камень, вы лед... почему бы вам не разделить с человеком счастья? почему не пожуировать? Жизнь коротка, сказал один философ.

– Ах! что вы? – вскричала она, закрыв лицо

руками. – Боже мой! если б увидали...

– О, разделите это чувство, несравненная Прасковья Михайловна! – кричал Иван Савич, – которое бушует в моей груди... вы не знаете, как я страдаю... одна мысль быть подле вас, жить вечно с вами приводит меня... О! вы не понимаете...

– Не говорите, не говорите! – кричала она, зажимая уши. – Боже мой! что вы? Вечером, я одна... Что подумают?

– Но скажите одно слово, одно, дайте ответ! – говорил Иван Савич, – и я готов ждать хоть до утра...

– Я! ответ! чтоб я теперь дала ответ! Вы не щадите моей скромности! Боже мой! Теперь, вечером, с такими объяснениям... Ответ!.. Нет, нет! лучше подождите хоть до завтра... или нет! в среду утром, в двенадцать часов, вы получите ответ...

Иван Савич пришел в восторг.

– Несравненная Прасковья Михайловна! – сказал он, – как благодарить вас?.. о! счастье! Вот что значит жуировать жизнь! Это истинное, высокое, так сказать, сладостное...

Он не вытерпел и поцеловал ее руку.

– Ах! – воскликнула Прасковья Михайловна, и иголка выпала из ее рук. – Что вы сделали? Вы, вы опозорили меня... Как! так рано, прежде моего ответа! Это ужасно! Приходите в среду, я вас жду, а теперь уйдите, уйдите!

Она убежала в спальню и заперлась.

«В среду, так в среду, – подумал Иван Савич. – Да что ж она испугалась так? не все ли равно, что сегодня, что через три дня...»

На третий день после того Авдей доложил Ивану Савичу, когда этот воротился из должности, что дворник зачем-то пришел.

– Что ты, любезный? – спросил Иван Савич, выйдя в переднюю.

Дворник глупо улыбался, кланялся, держа обеими руками шапку, но ничего не говорил.

– Что тебе надо?

– Поздравить вашу милость пришел.

– С чем? – спросил с удивлением Иван Савич.

Дворник опять начал кланяться, улыбаться.

– Авдей! с чем это он меня поздравляет?

– Не могу знать! – отвечал Авдей.

– С добрым делом: с скорым вступлением в

законный брак, батюшка!

– Что-о?

– В законный брак...

– Как? с кем? что ты? с ума, что ли, сошел?

– Никак нет, батюшка! слышь, с верхней нашей жиличкой, Прасковьей Михайловной...

– Как!

Иван Савич остолбенел.

– Кто ж тебе сказывал? – спросил он.

– Соседка Прасковьи Михайловны давеча встретила меня. «Что, говорит, у вас скоро свадьба?» да и рассказала... слышь, завтра помолвка будет... Еще приказчик от меховщика, что напротив нас, сказывал: вишь, сегодня сама Прасковья Михайловна была там. Они давно торговали у них мех, да все не решались, а тут, слышь, сама сказала, что не завтра, так послезавтра возьмет: к свадьбе, говорит, надо, чтоб поспело; мясоеду немного остается. А давеча и сама кухарка говорила, что к завтраму кулебяку пекут: слышь, утром помолвка... Да что греха таить! приходил какой-то барин с крестом, спрашивал: и как вы живете и все этакое...

Дворник поклонился и опять стал улыбаться.

– Чай, квартирку-то другую возьмете? – примолвил он. – У нас скоро очистится вон там... выгоняем жильца: в срок не платит; славно бы...

– Стой! стой! – закричал Иван Савич и, взяв дворника за плечи, оборотил спиной и вытолкнул вон.

Потом обратился он к Авдею:

– А! что ты скажешь, Авдей?

– Не могу знать!

– Только и слышишь от тебя: не могу знать! Сделай милость, моги хоть раз: ну?

– Не могу... – начал Авдей.

Иван Савич и его, точно так же как дворника, вытолкнул вон. Он долго ходил по комнатам взад и вперед и по временам к чему-то прислушивался.

– Да, да, точно, – ворчал он, – наверху скребут пол, чистят: так! дворник не соврал! Да и вон кухарка пронесла огромную чашку муки, множество яиц: кулебяка будет! Вон и сама Прасковья Михайловна... о, коварная змея! с девкой идет. Девка несет кулек: оттуда торчат

телячья нога, зелень. Сама несет узел с чем-то... провизии множество... Кому это все съесть? Ясно, что пир будет. А! так вот она что затевает! Она ошиблась... она думала, что я сделал ей предложение... жениться! То-то она и отложила до послезавтра. Какова! о, змея, змея! на-ка поди, что выдумала!

Иван Савич терялся в этих мыслях и час от часу все более тревожился.

– Что делать? как быть? как же объяснить ей? Ох, неловко... Господи, помоги!

Он бил себя кулаком по лбу, метался во все углы, как бы отвратить бурю. Он уже принял два содовых порошка – не помогло; выпил две рюмки мараскину – легче стало; выпил еще рюмку – и вдруг лицо его прояснело.

– Авдей! Авдей! – закричал он, – поди, поди сюда... Знаешь что?

– Не могу знать!

– Фу ты, боже мой! да как ты не догадался, что надо делать? неужели не догадываешься?

– Не могу... – начал Авдей.

Иван Савич махнул рукой.

– Слушай! – сказал он. – Так отказываться неловко. Понимаешь? Пойти да объясниться,

что я, дескать, не о женитьбе говорил, а так только, не годится. Выйдет история... И тут она захныкала, что я опозорил ее: поцеловал руку. Великая важность! Так мы, знаешь что? неужели не догадался?

– Не могу знать!

– Мы съедем на другую квартиру.

Авдей встрепенулся

– Помилуйте, – начал он, – господи, создатель! такую квартиру оставлять! удобство всякое: и сарай особый, и ледничек от хозяина дают. Воля ваша, пожалуйста мне расчет...

– А! тебе хочется, чтоб я в историю попал! лень постараться вывести из беды!

– Помилуйте...

– Нет тебе денег, пока не отыщешь квартиры.

– Да где ее найдешь?

– Где хочешь. Видишь, житья нет: притесняют. Ищи! завтра же утром, чтоб нас не было здесь. И подальше, в другой конец, в Коломну.

– Да хоть денька три подождите.

– Денька три! чтоб нас насильно женили! Слышишь, мех покупают, кулебяку пекут,

долбня ты этакая! Съедем, пока не куплен мех, а купят, тогда не отвяжемся... Да постой: мне Бурмин говорил, что у них в доме есть квартира. Сходи сейчас же, и, если не занята, завтра же утром и переезжать.

– Знаю, сударь, я эту квартиру: ледника-то нет...

Иван Савич махнул рукой и пошел прочь.

Утром Авдей доложил, что та квартира не занята. Иван Савич опять велел ему переезжать, а сам уехал, сказав, что он будет к вечеру прямо на новую квартиру. На крыльце он столкнулся с крестным папенькой. Крестный был в белом галстуке, в белом жилете... Он остановил Ивана Савича.

– Крестница сообщила мне радостное известие о вашем предложении и просила моего посредства, – сказал он. – Сегодня она повестила родных: вас ожидают. Священник благословит. Я искренно рад: по собранию ближайших сведений о вас, они оказываются удовлетворительными, и я, не находя никакого с своей стороны препятствия, честь имею... поздравить... а она... будет послушной женой. Отец ей не оставил богатства, но дал, что на-

зывается, фундаментальное воспитание и внушил правила...

– Извините... – сказал Иван Савич.

– Ась?

– Извините... я спешу...

– Известное дело: случай такой. Много хлопот... Мое почтение.

Иван Савич бежал без оглядки.

Опять Авдей нагрузил три воза и нагрузился сам вещами своего барина и побрел с лестницы. Вверху думали, что Иван Савич затевает перемену мебели в своей квартире по случаю предстоящей свадьбы, и были покойны. Но когда Авдей понес с лестницы часы, подсвечники и прочее, там стали подозревать что-то недоброе.

Крестный папенька Прасковьи Михайловны, сестра ее и все остальные гурьбой вышли на лестницу и окружили Авдея.

– Где же барин? – спрашивали они.

– Не могу знать! – отвечал Авдей.

– Скоро ли он воротится?

– Не могу знать!

– Будет ли к нам?

– Не могу знать!

– Будет ли на помолвку?

– Не могу знать.

– Женится ли он? слышно ли? говорил ли кому-нибудь?

– Не могу знать!

– Не для свадьбы ли он нанял новую квартиру?

– Не могу знать! не могу знать! не могу знать! – закричал Авдей, вырвался из круга вопрошателей и опрометью бросился со двора, отдав дворнику ключ.

Все остались на лестнице с разинутыми ртами, глядя ему вслед.

– Что же это такое? – сказала Прасковья Михайловна.

Когда дворник рассказал, как Иван Савич принял его поздравление, Прасковья Михайловна упала в обморок.

– Что теперь скажут про меня? – промолвила она, очнувшись. – Крестный! заступитесь за меня: я умру.

– А вот мы отношением обратимся к его начальству, – сказал негодующий крестный. – Да нет, – прибавил он потом горестно, – вывернутся, ей-богу, вывернутся: опять такую

же бумагу напишут с крючком. Есть же там
этакой! Он докажет про Ивана Савича, что та-
кого лица и на свете нет. Это ему плевое дело.
Ах, как пишет!.. Что же, милости просим: не
пропадать же кулебяке!

И сели за стол.

Два случая из морской жизни*

«Что это за морская жизнь: разве жизнь не одна, а много... нельзя сказать – „жизней“? Жизнь и в грамматике множественного числа не имеет!» – возразит педант и поправит вместо *морская жизнь* – *жизнь на море*. Можно спросить его, а что такое *монастырская жизнь, семейная жизнь, светская жизнь*? – пусть поправляет все это, если есть охота и время! Никто не будет разуместь под этим другую какую-нибудь жизнь: жизнь везде одна, то есть мотив ее один и тот же, как один мотив проходит в иной опере через все акты сквозь ряд варьяций. Характер и обстановка жизни – то же, что варьяции на заданную тему.

Вас много собралось около меня слушать мой простой и правдивый рассказ о том, как терпят бедствия на морях: на лицах у вас написано удивление. Вы, я вижу, не верите, что жизнь на море и на берегу одно и то же? «Как: на берегу так покойно, а там качает! – скажет

тот или другой, та или другая из вас; – на берегу, – продолжаете вы, – разнообразно, видишь – сегодня сад, завтра реку, поедешь в театр, к mon oncle или к ma tante[15] на танцевальный класс, покатаешься в коляске или верхом. А там все видишь небо да море: ни направо, ни налево ступить нельзя, все сиди в каюте, читай, пиши и вздыхай о берегу...» Кто это говорит? это вы, молодой человек, с беспокойным взглядом, узел галстука у вас на стороне, спина выпачкана в белом... Вы, должно быть, охотник побегать, пошуметь, вы верно первый нетерпеливо оставляете класс, когда учитель еще сидит на месте и все прочие дослушивают последние его слова. Вы соскучились бы видеть на море одно и то же, вам негде бегать, шуметь: утешьтесь, вы можете лазить там по мачтам, по снастям и предаваться такой гимнастике, какой нет на берегу; для вас есть рыбная ловля, пляска и песни матросов и много других удовольствий. Но разве удовольствия стоят на первом плане путешественника? Или лучше спросить, разве у путешественника должны быть те же удовольствия, что на берегу? Вы слышите: тема,

то есть жизнь, одна, а варьяции другие. Это самое несходство в варьяциях и есть удовольствие. Оно и кладет печать оригинальности на всякий ваш шаг на корабле, на всякий обычай. Притом, кто едет морем, у того, конечно, на уме другие цели, важнее беганья. Если он едет, недалеко, например, во Францию, в Англию или Италию, у него одна мысль – о том, что увидит он, как поразит его новая страна, новый народ, все, что непохоже на виденное им у себя... И мало ли вопросов родится у него в голове, мало ли ожиданий зашевелится в сердце? О скуке не может быть и помину, разве помучаешься только нетерпением, скоро ли увидишь все это? Но нетерпение – не скука: в нетерпении сердце замирает, мысли кипят, в ногах и руках делается зуд, волнуешься: весело, это жизнь! Даже самый резвый, пылкий юноша, как вы, например, и тот присмирет, сделается важен, задумчив и будет походить на мужчину. А если ехать дальше, в Америку, в Индию, в Китай – одна мысль как будто поднимает вас на аршин от земли! Это не путешествие, это целый том жизни! Тут одно приготовление к обозре-

нию этих стран поглотит все время, тут человек в месяц вырастет и созреет в ученого мыслителя, географа, этнографа, филолога, естествоиспытателя или поэта, поклонника красот природы.

– Но на берегу иногда являются неожиданные удовольствия, – слышу ваше возражение, – приезд кузень и кузин, театр, сюрпризы; перед рождеством елка, подарки... А летом поездки на дачу, катанье по пруду... на островке мы пьем иногда чай...

Смешно и жалко слушать вас: елка, подарки, катанье по пруду: это вы называете сюрпризами, удовольствиями! На море, конечно, этого нет. Зато есть... Представьте себе: вы сидите, например, в каюте, читаете, пишете или думаете о доме, о елке, сюрпризе, катанье по пруду, может быть... Положим, это будет на рождестве или около крещенья: а вы в белой курточке и панталонах, без жилета, без галстука, потому что душно в каюте, а на воздухе солнце печет... Вдруг кто-нибудь мимоходом бросит вам два слова, всего только два, но какие магические слова! «Берег виден!» и только. Боже мой! что с вами: вы покраснели

от радости, дрожите, хватаете зрительную трубу и бежите, не чувствуя под собой ног, наверх. Что же это за берег? Не островок ли пруда, с полинявшим храмом Славы, с безносой статуей, с тремя деревьями, под которыми вы собираетесь пить чай?.. Нет, это остров Куба, или Ява, или Люсон, или берег Китая, Индии, Америки... Боже мой! какие горы, какие скалы, что за леса! что за народ! Вот это сюрприз! Когда и от чего затрепещешь еще так в жизни? Это не то, что дача, где песчаная дорожка обсажена тощими деревьями: вы идете в мрак тысячелетнего пальмового леса, видите рой пестрых, невиданных у нас птиц, бабочек, величиной с вашу фуражку, да еще к этому присоединится поэзия страха: ожидание, что выскочит к вам тигр, выползет боа... А подарки на елку? Вам дома подарят – самое лучшее – это часы или чернильницу: а здесь – боже мой! Вас окружают лодки, на корабль с обеих сторон лезут негры, малайцы, дикари: тот привез живую обезьяну, другой звериных шкур, третий редких раковин, насекомых, а там едет целая лодка с ананасами или такими плодами, которых вы не видывали, кото-

рых не умеете назвать и которые так и тают во рту. Иные – не знаешь, как и есть: в Китае, в лавке, я увидел маленький фрукт, взял его, облупил кожу и бросил, а средину положил в рот: кисло, гадко! я с гримасой выплюнул, а китайцы расхохотались. Дело в том, что средину надо было бросить, а кожу съесть: она превкусная. Глаза разбегаются: вы покупаете и птицу, и обезьяну, и кучу раковин, и сотню ананасов – за полтора рубля, и потом засмеетесь сами над собой, не зная, что с этим делать. Обезьяна вам надоест, ананаса вы и одного не съедите, прочие бросите, потому что завтра привезут свежих... Вы накупили всего и в радости мечтаете, как вы, возвратясь домой, уберете ими свой кабинет, как в кругу друзей будете вспоминать, показывая то ту, то другую вещь: вот эту трость я купил в Батавии: она из тамошнего тростника; это ожерелье из кораллов променял у дикого на бусы, на островах Отаити; эту фарфоровую чашку сам купил в Кантоне, эти страусовые перья и шкуру пантеры добыл в Африке, и припомните, как и у кого. Каждый день, стоя у какого-нибудь берега, вы будете ездить то в ту, то

в другую сторону, и каждый шаг, каждый предмет внесете, как богатое приобретение, драгоценный вклад, в архив памяти, и все послужит живым памятником живого изучения природы, чужих стран и людей, уже не по тетрадке и не по книге, не со слов учителя, не по картинке, а собственным опытом. После всего этого что станется с вашими воспоминаниями о даче, с подарками на елку, с вашим прудом и островком, с безносой статуей Славы! Сознаться, что побледнеют эти воспоминания, а сами вы покраснеете от стыда, что такие мелочи ставили наравне с великолепными развлечениями, сюрпризами и необыкновенными удовольствиями путешествия!

После всего этого и переход морской, хотя бы он продолжался месяц, два, не покажется вам скучным. Вы употребите это время на приведение в порядок ваших впечатлений, перенесете их на бумагу, разберете коллекцию собранных чучел, раковин, камней, насекомых. А потом? потом будете готовиться к новому уроку, который пошлет вам судьба, то есть к новому берегу, к новому небу, к новым

городам, к новым чудесам, сюрпризам и подаркам, и даже иногда, поверите ли, пожалее-те, что скоро пришли к новому месту, что еще старое впечатление не улеглось, что вы еще не успели выпить до конца прежней сладкой чаши и вот уже новый напиток подносит вам как будто услужливая рука той доброй волшебницы, о которой вам рассказывала няня или о которой вы читали в сказках.

Что? Вы, я вижу, задумались: куда и резвость девалась? И не шалите вы, не щиплете тихонько товарища, не ломаете нетерпеливыми руками переплета книжки... значит, согласились со мной.

– Но на море качает? – говорите вы в ответ, – тогда и ходить нельзя по кораблю, нельзя лазить...

– А вы все свое, все гулять и лазить! А на берегу, если идет дождь, если грязно, ветрено, сильный мороз, вы тоже сидите дома, не гуляете, или бегаєте в комнатах: не бог знает какое развлечение! Это все не беда: зато в тихую погоду вы не сойдете с палубы вниз, не устанете смотреть на море, на небо, особенно на небо! Вы здесь привыкли видеть одни

звезды, в южном полушарии увидите другие. Сначала вас займет их богатый узор: светила разбросаны, как песок, и каждая звезда светит своим особенным блеском, ярким, нежным, разноцветным. Никакой хрусталь, никакие брильянты не сверкают такими огнями, ни на какой картине не увидите вы таких красок, какими горит небо и днем и ночью! Какая тишина, какая теплота и нега разлита в тропическом воздухе! Море днем лежит около корабля как необозримое поле, чуть-чуть волнуясь, а иногда не зыблется вовсе и как будто дремлет в мертвом покое. Вода прозрачна, и взгляд глубоко погружается в кристальную влагу, следя иногда за ходом рыбы. Ночью море блещет фосфорным светом, который окружает корабль потоками серебра и пламени. А на небе, в пучине розово-палевого млечного пути сверкают эти яркие необыкновенные звезды... *Кто на море не бывал, тот богу не маливался*, говорит пословица: да, это правда; но не от страха молится на море человек, а оттого, что ближе чует бога над собою и явственнее видит чудеса его руки. Как горячо вы будете там плакать и молиться, когда бу-

дете стоять лицом к лицу с этими роскошными чудесами мироздания! Что представит вам лучше и величавее берег? С какими удовольствиями сравните вы эти... не удовольствия – это мало и слабо, нет, эти радости, это счастье, выходящее из круга обыкновенного счастья и дающееся немногим?

Да! всякая мелочная мысль, всякое возражение покажется пошлым и бессильным перед такими наслаждениями.

Но не стану лукавить и скрывать от вас, что это все окупается, как и всякая радость на земле, некоторыми неудобствами, даже подчас горем... Ведь жизнь, сказал я вначале, везде жизнь, то есть одна и та же; так она создана, стало быть, и на море, как и на берегу, перемешана пополам с горем. Вы упомянули о качке: это ничего, что она мешает гулять или заниматься делом, но она порождает болезнь, известную под именем *морской*. Это одно из главных зол, которое подчас заставляет пожалеть о берегу. Я не знал этой болезни, ни разу не испытал ее, но это редкое, счастливое исключение, которое в пример другим поставить нельзя. Почти все подвержены ей, одни

более, другие менее. Что же это за болезнь? Человек не испытывает в ней никакой боли: когда спросишь больного после качки, что он чувствовал, он и рассказать не может. Он опять здоров, весел, даже счастлив, потому что пришел опять в себя и не хочет помнить зла. А когда спросишь во время качки, он молчит, только стонет, мучительно озирается вокруг, и опять ничего не добьешься. А если и скажет, то неопределенно: «Тоска, сердце ноет, слабость, рвота, не глядел бы ни на что, жизнь не мила». Но качка прекратилась, больной смеется и просит есть, потому что во время припадка пища на ум нейдет и он суток трое просидел без обеда и без ужина, даже без чаю. Стало быть, в качку нет житья? Ведь она иногда продолжается недели две, три: все болезнь да болезнь – это отравляет жизнь и – бог с ними – со всеми этими чудесами! Утешьтесь: *к морю привыкают*, и после двух, трех хороших качек болезнь действует все менее, менее и, наконец, совершенно прекращается. Такие примеры редки, чтобы всегда укачивало. Из четырехсот человек у нас один только никогда не мог привыкнуть к

морю, но он вообще был болезненного сложения. Видите ли, и тут есть утешение! А прожив на корабле месяца два, потом уже не обращаешь внимания на качку, даже ходишь свободно, нужды нет, что пол колеблется под ногами: вы стоите как будто на земле, только поднимаете то одну, то другую ногу, как будто приплясываете. Это называется приобрести *морские ноги*. Качка, бури – все это входит в число обыкновенных явлений жизни, как на берегу дождь, слякоть, ветер, гололедица и т. п. явления.

Теперь, кажется, все возражения и сомнения решены, вы молчите и, стало быть, согласны со мной, что морская жизнь не представляет существенной разницы от береговой, а только имеет другую обстановку, то есть другие внешние обстоятельства, которые придают ей свою оригинальную физиономию, и очень занимательную.

Я еще не сказал вам о некоторых важных выгодах морской жизни. Например, там нельзя жить дурному человеку, то есть с дурным характером, правилами... Или, ежели и попадет такой человек, он непременно делается

хорошим – хоть на время по крайней мере. Там каждый шаг виден, там сейчас взвешают каждое слово, угадают всякое намерение, изучат физиономию, потому что с утра до вечера все вместе, в нескольких шагах друг от друга, привыкают читать выражения лиц, мысли. Лгун, например, или злой, скупой, гордый, как он станет проявлять свои наклонности? Сейчас все обнаружится – и как ему будет худо, если все осудят его общим судом, накажут презрением, хоть вон беги! А куда бежать? Он тогда решительно будет один *в целом мире* и поневоле будет хорош, иной даже исправится навсегда.

На море не тратится время попустому, нет визитов, нет принуждения, не надо играть чувствами, то есть оказывать сожаление или радость, когда это не нужно или нужно для приличия; не надо остерегаться и держать, как говорят на берегу, «камень за пазухой» против явного и тайного врага; все это или сокращено, или упрощено: вражда превращается в дружбу или оставляется до берега, ссоры невозможны, они мешают жить прочим, а там целое общество живет не какою-то двой-

ной, про себя и вслух, жизнь, не имеет в запасе десять масок, наблюдая зорко, когда какую надеть, а живет одною жизнью, часто одною мыслию, одними желаниями. Только воспоминания и цели у всех различные, то есть прошедшее и будущее, настоящее принадлежит всем одинаково, оно у всех общее. Там не нужно ни краснеть, ни бледнеть...

Что я слышу? «Страшно на море!» Кто это сказал: повторите. Что ж вы все молчите? кто говорит «страшно»? Ужели вы, молодой человек? По вашим черным глазам, с выражением самоуверенности, по крепкому сложению, я так и назначал вас мысленно «на марсы» вверх, так и вижу, как, в крепкий ветер, вы лезете по вантам, идете по реям... Но вы делаете презрительную мину... нет, это не вы: извините! Кто же? не вы ли, с кротостью на лице, вы что-то задумались... Вы не слышите моего вопроса: вы замечтались о чем-то... вздыхаете...

— Я следил за вами, я был на берегах Индии, Китая, я был в пальмовых лесах, смотрел на небо, на море... Вы увлекли к чудесам мира: не грех ли вам подозревать меня в трусо-

СТИ...

– Извините, пожалуйста, но вас много – кто же это?

– Не мы, не мы, – говорите вы, почти все.

– А кто же это спрятался сзади всех? Пожалуйста сюда. Девушка: ну, я очень рад. А прекрасная девушка: стройная, высокая не по летам, нарядная. Бархатные ленточки в косах, кружевная оборка около ног, ботинка парижская, кисейное платье, брошка, три колечка... Ну, вы не пойдете в море: никто от вас и не потребует этого. Вы будете ездить в карете, вас на лестницу поведет лакей, двери сами станут отворяться перед вами. Вам «страшно» кажется на море. Но я думаю, что вам страшно остаться и в комнате одной: вы, вероятно, из тех неземных существ, которые в каждом темном углу воображают вора, которые не могут взглянуть без дурноты на ящерицу, на лягушку, боятся не только собаки, но гуся, индейского петуха, и везде видят беду, ужас, вред?.. Вы краснеете: я угадал. Если вы не боитесь мертвецов, домовых, леших, так потому только, что у вас нянька-англичанка, ходит в чепце и не слыхала о домовых и оттого не ве-

рит им. А будь на ее месте какая-нибудь Терентьевна, с платком на голове, в очках, с чулком, так вы бы боялись заснуть одни в своей комнате, вам бы снились ведьмы... Что сказать вам? Бойтесь вы от избалованности, от непривычки. Я знал одну барыню, которая боялась и воров, и собак, и лягушек, и домашних. Лишь только останется одна в комнате, ей непременно почудится что-нибудь и она закричит что есть мочи: бежит няня (у ней была Терентьевна), бежит маменька, бегут горничные, суется, приводят в чувство... Потом я видел эту барыню в зрелой поре, без няни, без кареты, без мамы и горничных. Она скромно ходила пешком, давала уроки на фортепиано (как изменчива судьба!) и тем доставала себе пропитание. Что же? она рассказывала мне, что, возвращаясь откуда-то к себе, вечером, в четвертый этаж по лестнице, и ощупывая в потемках стену, она вдруг слышит стон, потом умоляющий голос просит помощи... Что ж она? упала в обморок, спросите вы? Прибежали горничные, няня? Нет, она спросила «кто тут?» И не получив ответа, пошла дальше, а потом зажгла свечу, вышла по-

смотреть и нашла какого-то жильца того же дома, который не смог дойти до своей квартиры, прислонился к стене и заснул на лестнице. А проснувшись, не мог понять, где он... Она расхохоталась, велела дворнику довести его до его квартиры. А прежде бывало! Это, конечно, *случай* не из *морской жизни*, но и он, может быть, пригодится вам, милая трусиха! Кто знает, какая участь постигнет вас! но боже меня сохрани быть, быть... oiseau de mauvaise augure[16], скажу, для вас, по-французски! Это вам понятнее.

Что же страшного на море? «Бури, конечно, грозы, валы!» Это все обыкновенные происшествия там. На крепком корабле это ровно ничего не значит, а не на крепком никто не ездит. Случаются кораблекрушения, гибнут люди... А на берегу разве не случается пожаров, не падают потолки, не умирают от холеры? Я не знаю, как вы решаетесь ездить на ваших горячих лошадях: посмотрите, кучер насилих их держит. Стоит какому-нибудь шалуну вдруг выскочить из-за угла и крикнуть, ускнуть на них – они и взбесились, и понесли вас: коляска набок, вы падаете головой на мо-

стовую... Чем же лучше опрокинутая коляска опрокинутого корабля?

Иные так разборчивы, что ужасно затрудняются в выборе смерти. Многих заблаговременно занимает этот вопрос. Некоторым особенно не нравится тонуть... А чем же это хуже, повторяю, паденья из коляски и разбитого о мостовую черепа, например? Волна, как живой послушный зверь, так и вытягивает свой длинный хребет, свою изумрудную голову, так красиво играет жемчужной гривой, как будто говоря: «Пожалуйста ко мне, если угодно утонуть: я очень вежлива, не стану хватать вас насильно, принуждать; вам стоит только упасть, а я и утоплю вас, не сделаю никакой боли, и не изуродую, ни крови не будет, даже не изорву и не изомну вашего платья; если угодно, я всегда к вашим услугам: вы как будто заснете...»

Но думать о смерти – значит уже заглядывать за пределы жизни: такая предусмотрительность вам не по летам. А если уж непременно хочется, то чем заглядывать в мечтах, воображением, послушайте лучше, как мы чуть было не заглянули туда два раза на са-

мом деле и как беды пронесли мимо без всяких последствий.

* * *

Вы, может быть, ожидаете от меня какой-нибудь великолепной картины крушения: вам, конечно, хотелось бы, чтобы судно разбилось об утес, а мы спасались бы на досках, или ураган сломал бы все три мачты, оторвал руль, унес паруса, чтобы беспомощный корабль носился по воле ветров несколько суток, пожалуй, недель, по бурному морю; мы простирали бы к небу руки, умоляя о спасении... Между тем провизия вышла, мы томимся голодом и жаждой, доходим до отчаяния, готовы съесть друг друга. Наконец нас принесло к неизвестному острову и разбило об утесы, мы попадаем в руки диких. Они пляшут около нас военную пляску, зажигают костер и... делают из нас жаркое...

Поэзия старых времен! Все это можно видеть, не выезжая из Петербурга, в балете или опере. Там даже оно красивее, нежели в натуре: больше блеску, ярче. На море теперь это редкое явление. А говорят, все эти бедствия — не выдумка, не сказки: многие мореходы не

воротились: Кук, Лаперуз, недавно еще Франклин!¹ А сколько неизвестных, темных имен погибло в волнах, у подножия безмолвных утесов, под ножом диких, под зубами львов, тигров! Великие благородные жертвы знания и труда! Эти герои уладили нам путь по своим следам, запечатленным кровию; мы, по милости их, одерживаем теперь легкие победы над океанами, над зверями и над дикарями. А каково было им!

Мрака неизвестности теперь нет: каждый уголок моря, залив, бухта, глубина, подводные камни, каждый берег – все описано в так называемых *лоциях*, показано на картах, как кварталы, площади и улицы города. Известен характер каждого моря, как нрав человека: его сердитые и тихие минуты, все привычки и капризы. Времена года под каждой широтой – все исследовано и записано, и новейший мореход плывет по готовому, уже растолкованному уроку. Он только наслаждается плодами предшественников и если попадет на подводный камень, так по собственной неловкости или по небрежности. Голодная смерть – тоже мудреное дело: морские пере-

ходы, благодаря парам и изучению теории ветров под всеми широтами, сократились более нежели втрое: в Америку из Англии прежде надо было плыть месяца три, а теперь ходят туда в две недели, на мыс Доброй Надежды вместо полугода приходят в пять, много шесть недель. Легко запастись на такой срок провизией и водой. Провизию сушат, прессуют и сохраняют в наглухо закупоренных ящиках на целые годы. Наконец придумали паровой снаряд для превращения соленой морской воды в пресную, следовательно, нельзя умереть и от жажды. Корабли так крепко строят теперь, что мачты редко ломаются, и рули тоже, а если и случится такой грех, то искусство и опыт научили заменять на время мачту *стенъгой* (верхняя часть мачты, на которой прикрепляется парус), вместо настоящего руля делают фальшивый и кое-как добираются до ближайшего места, а в ближайшем месте есть верфь или европейская фактория: путешественников ласково приютят и починят судно, а если нельзя починить, то с первой почтой, а не то так еще скорее, по телеграфу, дадут знать домой и

вместо разбившегося судна вышлют новое. Попадешься к диким... Да где нынче дикие? Если и есть, так те потеряли вкус к человеческому мясу: прежде, бывало, они любили водку, а теперь подавай им шампанского! Бывало, они расписывали себе тело яркими красками, а теперь рядятся в мундиры. Сколько их приезжает в Париж, в Лондон! Дома у себя кто содержит трактир, кто завел карету и ездит кучером; другие моют белье, шьют на европейцев платье, все спекулируют на любопытство и карман путешественника. Пойдет ли тут в горло человеческое мясо!

Но вы, я вижу, нетерпеливо ждете рассказа о двух случаях, как мы попали было в беду... Сейчас, сейчас! Еще одно замечание: вам, кажется, не нравится слово *было*, поставленное после *попали*? Я вижу это по вашим недовольным лицам. *Попали было* – значит и освободились: не так интересно. Ужели вы такие злые? Не может быть: это мне так показалось.

У меня в портфеле сохранился листок дневника, который я вел на пути от Японии к Ликейским островам: там записано, шаг за шагом, день за днем, все, начиная от погоды

до грозившей нам опасности включительно. Прочитаю вам его почти без перемен, как отрывок из морской жизни, который, может быть, покажется вам любопытен, только вставлю некоторые необходимые объяснения, относящиеся до морского дела, чтоб для вас не встретилось чего-нибудь непонятного.

24 января 1854 года мы вышли на фрегате «Паллада» из Нагасаки. Небо облачно, но море тихо. Идем от двенадцати до четырнадцати верст в час, прямо к югу, с попутным ветром. Ночью мы спали покойно, как будто стояли на якоре. Утром Фаддеев (служивший мне матрос) на мой вопрос, под каким ветром идем, сказал: «идем *фардак*, ваше высокоблагородие!», то есть на *фордевинд*. Это такой ветер, который дует сзади, прямо в корму. Ветра, дующие с боков, называются *багштаг* и *гальфвинд*. Это всё попутные ветра. Когда идут на фордевинд, паруса ставятся прямо и покрывают мачты сверху донизу; судно не клонится на сторону и представляет самый картинный вид.

С 25 января стало чувствительно, что подаемся к югу: в воздухе все теплее и теплее. Ход

так же хорош; к ночи полагают пройти мимо островка «Клеопатра», а к восьми часам утра увидеть другой островок «Сульфур», с курящимся пиком, от которого, говорят, далеко по морю разносится запах серы.

Около фрегата медленно и как будто уныло носились альбатросы, огромные морские чайки. Капитан велел принести ружье, по-пробовать своей и моей ловкости. Но оба мы дали по промаху. Да и настоящие стрелки, в качку, притом пульей и в лет, не попали бы в птицу. А когда зарядили ружья дробью, альбатросы отлетели от фрегата на расстояние вне выстрела и сели на воду, как будто догадались, в чем дело

Не в восемь часов утра, а в три пополудни подошли мы к *Сульфуру* (по-латыне значит *сера*), потом оставили его на ветре, и на нас в самом деле раза два пахнуло серой. Но ни дыма, ни огня на вершине пика мы не заметили. Мы легли в дрейф, то есть расположили паруса так, чтоб одни из них влекли судно вперед, а другие противудействовали и удерживали его на одном месте; спустили шлюпки на воду, и некоторые из наших поехали на берег,

да там и сели. Бурунами их почти выкинуло на берег, а во время отлива шлюпка замелела, и они должны были заночевать там. Остров со всех сторон имеет крутые красноватые бока, местами только зеленеет на них трава. Наши нашли там жителей, которые ласково приняли гостей, то есть сначала знаками просили не подъезжать, а когда увидели, что их не слушают, то встретили с поклонами. Это, кажется, общепринятое на крайнем востоке правило гостеприимства в отношении к чужестранцам. Утесы так круты, что надо подниматься вверх с помощью веревок. Жилища жителей состоят из хижин, очень чистых, устланных циновками. Около хижин есть поля с посевами риса и кусты. Кругом острова и нашего фрегата беспрестанно играют киты мелкой породы; пускаемые ими фонтаны то и дело брызжут тонкой струей, и кое-где покажется хребет или голова зверя. В воздухе разлита влажная теплота.

Сегодня только, 26, в семь часов утра явились наши искатели приключений. Они провели ночь на камнях, под парусом, хотя жители и звали их к себе. Они даже ничего не ели:

им послали провизии и чаю, но катер, по причине сильных бурунов, не мог пристать к берегу. Мы посмеивались над ними. «Есть по крайней мере что вспомнить!» – говорили они в утешение себе, как будто все воспоминания хороши! Все, что видели они, было в японском вкусе: жители, их деревенька, костюмы и поклоны. Кажется, это колония лилейцев, обрабатывающих серу.

30. Темнота, дождь так и льет, как будто у нас в Петербурге. Впрочем, конец января и февраль самое неприятное время здесь, по словам путешественников: бурно, дождливо и холодно, то есть по-нашему жарко, о морозе и помину нет, но здешние жители находят, что им холодно. Фрегат бежит, как добрая тройка лошадей, и нам пора бы быть на Лючу. Но темнота помешала в полдень определить место, где мы были, и вечером пришлось держаться открытого моря, чтоб не наткнуться на один из мелких островов. Два раза подходили к большому острову Лючу, но в тумане проскочили мимо, дальше к югу.

Наконец сегодня подошли к острову: он уже в виду, на глазомер занимает почти пол-

горизонта. Берег неровный, изрытый: то холм, то едва видная узкая полоса, то громадный гранитный утес. Но все еще сливается в одну массу и в один цвет – синеву, колорит всякой дали. В шесть часов вечера подошли ближе. Нас, от берега и рейда, отделяет длинная гряда коралловых рифов, в которой есть только два узких, как ворота, входа; ночью войти нельзя – как раз стукнешься о камни. Последние или скрыты под водой, или показывают свои ослепительно белые, омываемые водой и обвеваемые ветром головы: точно зубцы гребня или крепости. Прочие наши суда уже на рейде, корвет «Оливуца» и транспорт «Князь Меншиков». Оттуда приехал офицер и сказал, что он уже был на берегу, что прежде нас заходили американские суда, ушедшие в Японию, и оставили на Лючу несколько больных матрос и двух офицеров да груз каменного угля для своих пароходов. Мы бросили якорь в виду берега, недалеко от каменных рифов, и легли было спать, надеясь завтра быть на рейде, за каменной стеной, в безопасности, гулять по новому берегу, познакомиться с жителями. Все мечтали о *сюрпри-*

зах, о подарках...

Ночью задул крепкий ветер, началась сильная качка. Надо помнить, что мы стояли на якоре не на рейде, не в гавани, закрытой со всех сторон от ветра и моря, а в самом океане, на просторе, где ветрам и волнам полный разгул и свобода. Стали *травить* канат, то есть выпускать более и более каната, чтобы он не натягивался от напора ветра и не подвергался опасности лопнуть. Кажется, было вытравлено до восьмидесяти сажен прежде, да теперь стали прибавлять еще. Весь канат имеет до ста пятидесяти сажен длины. Кругом была непроницаемая мгла. Дождь хлестал с остервенением, в воздухе реяли огненные струи, ветер ревел, заглушая гром. Того и гляди *подрейфует*, то есть силой ветра потащит судно и с якорем, а сняться в темноте, среди рифов, и думать нельзя. Все поглядывали заботливо друг на друга. Спать – отложили попечение. Да и качка была такая, что с постели сбрасывало. Ну, как приткнет к камням? Через час волнением разобьет судно в щепы. До полуночи мы были в сомнительном положении. Потом, о счастье! с переменной те-

чения переменялся и ветер, стал дуть от берега к морю, в простор. Проглянула луна, звезды, стало тепло... Пойду гулять.

Не надо ни на что полагаться слепо в жизни: судьба как будто подкарауливает человека, когда он перестанет оглядываться вокруг, не летит ли откуда-нибудь камень, и только забудется – она и отрезвит его от забвения, как отрезвила нас. Больно от спокойствия и беспечности возвращаться к тревожному чувству тоски! Нам предстояло провести еще сутки на рубеже жизни и смерти. 30 января начали было сниматься с якоря, но вдруг набежал с моря шквал: это бурный и внезапный порыв ветра. Отдали другой якорь, и от этого положение наше стало вдвое хуже. Выдайся час или два тихие – и мы успели бы вытащить один канат и один якорь, но наматывать двести сажен вместо ста, вытаскивать два якоря – надо два времени и две трудные работы. Вдобавок к этому якорная цепь за что-то задела; долго провозились за этим и стали поднимать второй якорь: в шпиле (на который наматывается канат) перевернулось что-то: ряд неудач! и он не пошел. Опять но-

вая, непредвиденная возня и работа, и все на счет коротенького выдавшегося нам периода сносной погоды! А между тем порывы ветра повторялись все чаще. Работали неумоимо, с двойным усердием и силой: еще четверть часа – и второй якорь был бы поднят; поставили уже паруса, как вдруг дунул жестокий порыв ветра, паруса надулись... «Дрейфует!» – закричал вдруг наблюдавший за лотом штурман, и закричал особенным голосом, какой является только в необыкновенную минуту: нас, с невынутым еще якорем, быстро тащило парусами – прямо на рифы... За этим криком следовал момент всеобщего оцепенения и тягостного молчания. «Отдать якорь! марсогитовы тянуть!» – раздалась в одно время команда – и в одно время загремела цепь, бухнул якорь в воду и паруса исчезли. Фрегат остановился: мы свободно вздохнули. Перед нами, менее нежели в полуверсте, играли буруны, неистово переливаясь через рифы: солнце ярко озлащало сверкавший в глазах наших поток жемчуга, алмазов и изумрудов, кипевших, крутившихся и исчезающих в белой пене бурунов, и еще ярче обливало золо-

том зеленый, смеющийся берег. Вблизи зияющая могила, за ней глядела на нас жизнь, со всей роскошью и красотой! Вы видали, как вода кипит и бурлит под мельничным колесом: представьте исполинское колесо, на версту или более роющее воду. Океан свободно катит волны и вдруг разбивается о каменную стену! Он как будто толкал нас туда, в клокущую бездну, и мы упирались у порога ее, как упирается человек или конь над пропастью. Ветер все крепчал, и нам оставалась борьба с океаном и вопрос с сомнением, кто одолеет? Останемся ли мы, или... Смерть от нас в двухстах саженях: как надеяться, что канат, даже два, устоят против напора ветра, волн и тяжести огромного судна? Зыбь идет ужасная; длинные океанские волны играют судном, как скорлупой; качка килевая, то есть вдоль фрегата, который поднимает высоко нос и бьет им со всего размаха о воду... Мы ходим под страхом, в томительном ожидании, все носят в себе тупое чувство тоски, неизвестности, стараются не глядеть друг на друга, отворачиваются, но беспокойные взгляды падают всё на одну картину, всё на жемчуж-

но-изумрудную длинную, теряющуюся вдали полосу белых волн – в свирепой игре с ветром: чу! как воет: *memento mori* (помни смерть!) слышится в этом реве! А дальше, дальше – равнодушный, неподвижный берег: все дремлет там в покое, все дышит и блещет теплою, радужною жизнью. Под защитой его стоят и не шелохнутся наши суда, по берегу видны кровли, движутся фигуры людей, счастливых конечно! Туда бы!

Как ни быстро убрали паруса и отдали якорь, а нас в это время успело отнести более кабельтова (кабельтов – сто сажен) к рифам. Но каково, однако, сутки глядеть в глаза смерти! Говорят, кому случалось на один миг стать с ней лицом к лицу, те седали. Может быть, оттого именно, что один миг, а в сутки можно и привыкнуть немного... даже умереть. К чему не привыкает человек! Если б лопнул канат, надежды к спасению не предстояло, а если б у кого и затаилась она, так сейчас найдется услужливый товарищ, который очень обязательно и обстоятельно докажет, что она тщетна. «Как тут спастись? – говорил мне один, – шлюпки с наших судов, ко-

нечно, бросятся на помощь, да ничего не сделают: к бурунам подъехать им нельзя, их как щепки втянет и измелет о камни. А если и подъехали бы – что толку? Разве посмотреть, из любопытства, как будет бить фрегат о камень, как посыплются пушки, люди, как мы будем нырять один за другим в бездну: в такую погоду им надо взять полное число гребцов на шлюпки, иначе не выгребут: много ли же останется места для четырехсот утопающих? Да где тут!» – заключил он, махнув рукой на рифы и отворачивая глаза в другую сторону. Смельчак С. приехал в вельботе навестить нас, как приятель приходит навестить безнадежного больного, вперит в него любопытно-сострадательный взгляд, постоит, вздохнет и печально отойдет прочь. Я смотрел, как он понесся по океану в утлом вельботе, назад, за рифы, на корвет, в мирную пристань, где ни печали, ни воздыхания не было. Волны ужасные; за третьей, за четвертой волной вельбот вдруг пропадал из глаз, с мачтой, с парусами, и потом опять вылезал на пятую волну, точно из ямы, медленно, неловко, сначала носом, потом уже кормой, и не успеет

стать прямо, как вдруг провалится, и минуты три не видать его, думаешь, пошел ко дну... нет, вон вылез! Долго следил я за ним, отчасти любопытными, отчасти завистливыми глазами. «Отчего же было не поехать с ним?» – может быть, шевелится у вас вопрос в голове. А какое я имею право? Всем, конечно, хотелось бы быть на берегу, а всем нельзя. Начальник экспедиции, капитан имели полную возможность уехать, но кто же это сделает? Никому и в голову не приходило об этом. Такое эгоистическое попечение о своей жизни встречено бы было – уж я и не знаю чем. Но как ни любопытно было смотреть в глаза смерти, однакож надо было все-таки поддерживать остаток жизни, хотя, может быть, очень краткий, обедать, спать. В кают-компании – ничего особенного: попрежнему читают, пишут; курят: почему ж и не покурить, не почитать перед смертью? «А если канат не лопнет?» Эта надежда даже внушает некоторым веселые мысли: вон Б. по обыкновению дразнит У.; сердит З.; этот последний по обыкновению хохочет. К ночи все легли спать, конечно занятые одной мыслию...

Утром... Утром солнце кротко сияло над укротившимся океаном, буруны с журчаньем тихо переливались через каменную гряду: мы залюбовались, глядя на нее. Мы чуть-чуть скользим мимо рифов, минуем вход и подбираемся к берегу. Берег блещет яркими лучами солнца, улыбается, как будто поздравляет с избавлением от опасности. А ночь, а тоска, томительное ожидание? Э! подите! до того ли? Зовут на берег: прощайте!

* * *

В другой раз – это было в июне месяце того же года: мы пробирались по Татарскому проливу, к берегам Сибири. Мы дошли до того места, где остановился знаменитый французский мореход Лаперуз и не пошел дальше. В то время неизвестно было, отделяется ли остров Сахалин от Азиатского материка проливом, или соединен с ним. Задача эта решена практически, на деле, очень недавно, если не ошибаюсь, в 1851 году, русским транспортом «Байкал»². Он первый пробрался по бесчисленным мелям Амурского лимана между Азиатским материком и островом Сахалиным и благополучно вышел в Охотское море. Лапе-

руз, дошедши до глубины шести сажен, ожидал, и весьма основательно, что глубина будет все уменьшаться и поставит его в затруднительное положение. Если б к решению этого вопроса присоединялись какие-нибудь выгоды, то не он, так другие, например, ученые американские китоловы, давно бы простерли свои изыскания до этих мест. Но ничто не манило туда: слева тянется пустой, лесистый, ненаселенный манчжурский берег, на который не ступала нога пытливого наблюдателя, где зима на полгода почти так же сурова, как у полюсов. Известна только линия берега, но что дальше – никто не знает, никто не был, не рылся там. Не видать ни одной хижины, ни засеянного поля; редко-редко появится полунагой житель, гиляк, или уродливая гилячка, в звериной шкуре, с ребенком за спиной, не то проскользнет байдарка дикого рыболова. Или медведь придет к берегу половить рыбы, в период ее перехода из одного моря в другое. Справа тянется – узенькой, утопающей в море полосой, песчаный берег Сахалина: там, кроме мелкого кустарника, ничего не видать и не слышать. Тишина невозмутимая

и на земле и в воздухе. Что могло приманить туда? Другое дело, если б американцы или англичане заподозрили там золото, каменный уголь, сейчас бы снарядили, во имя науки и человечества, ученую экспедицию, начали бы просвещать дикарей, делать их людьми.

Мы пошли дальше Лаперуза, не думая ни о золоте, ни о каменном угле; эти места соприкасаются с нашими владениями, тамошние дикари – наши соседи: нам сроднее всех следовало узнать эти места, описать их во всеобщее сведение и, может быть, населить их. Колонизация, то есть заселение и обрабатывание пустых мест, со времен глубокой древности всегда было обязанностью образованных наций. Вспомните финикиян, греков и других. Впрочем, мы с фрегатом не с этой целью пустились по следам Лаперуза, а просто мимоходом: нам лежал путь к берегам Сибири, где, по случаю войны, назначено было сборное место всем нашим судам, находившимся тогда в Восточном океане. Туда впоследствии прибыли фрегаты «Диана», «Аврора», корвет «Оливуца», шкуна «Восток» и некоторые суда американской компании.

Вы, конечно, знаете, что в Татарский пролив, под 55° сев. широты, вливается огромная река Амур: она образует при устье [так] называемый *бар* (barre), или порог, наносимый ею из песка и ила. Такой бар образуется у устья всех больших рек, вливающих в океаны. Бар очень часто меняется, смотря по течению реки, то есть одно лето она промывает прежний бар и наносит преграду дальше, в другое время главная струя течения берет другое направление, и там образуется и бар, а с ним и множество наносных мелей. Все это засоривает фарватер и затрудняет плавание. Нам, вместо волн и ветров, предстояла скучная, утомительная борьба с мелями. Надо было завоевывать каждый вершок пространства: возни, работы, бессонных ночей и усталости было гораздо более, нежели в открытом море, в ураган. Там сделают, что надо сделать по правилам, уберут парус, спустят брам-стенги, укрепят двойными таями (веревками) пушки, чтобы они не вздумали оторваться, и потом отдыхают. А тут несколько шлюпок идут вперед, ощупывая поминутно лотом (длинная веревка с свинцовой гирькой) дно, на судне бес-

престанно меняют то тот, то другой парус, бросают или поднимают якорь. Сколько раз достаточная глубина заманит на такую дорожку, что и выхода нет: дальше окажется мелко, надо сворачивать. Каково ворочать судно, которое сидит в воде четыре сажени! Часто в сутки делали миль двадцать, а иногда и меньше.

Хотя мы были на севере, почти у себя, но июнь везде июнь: тепло, погода ясная. Оба берега в виду: ветры и волны уже не страшны нам в местах, отовсюду запертых берегами. Тихо, как в реке; приятно читать, срисовывать виды. К нам ездили тунгусы и гиляки, возили рыбу, пили с матросами водку, стреляли медведей и лосей. Уж пахло «дымом отечества»: еще несколько дней, много-много недели две, и мы у себя дома. Однажды вечером утомились работой и бросили якорь на глубине семи или восьми сажен: чего лучше, безопаснее? Все занялись своим делом; в кают-компании пили чай, разговаривали о войне, о России, кто лег спать. Я, с начальником экспедиции, ходил по шканцам (это парадная часть на судне). Вдруг с севера подул умеренный ве-

тер: пусть себе, никто и внимания не обратил. Но вместе с этим на носу фрегата раздался глухой звук, как будто отдаленного пушечного выстрела, и фрегат свободно двинулся по ветру. Несколько матрос побежали с носа на шканцы. «Канат лопнул, канат лопнул!» – тревожно кричали они. «Ну, не кричать!» – строго сказал адмирал и, оборотясь к вахтенному офицеру, приказал отдать другой якорь. Приказание тотчас было исполнено, и все успокоилось. «Слава богу, что лопнул теперь, а не тогда, у Лючу!» – сказал я. Но и то – не слава богу. Пока отдавали другой якорь, нас отнесло с прежней глубины сажен на тридцать назад, и под фрегатом стало глубины вместо трех или четырех сажен всего как-нибудь сажень. Потолковали о новой неожиданной на завтра работе – отыскивать оторвавшуюся цепь с якорем, поднимать последний – и разошлись. «Завтра сойдем», – сказал я, уходя, вахтенному офицеру. «Да, – отвечал он, – если мы стоим на малой воде...» – «Как так?» – «Так: ведь неизвестно, на прибывь или на убывь идет вода; ну, если теперь прилив, а к утру начнется отлив...» Я

не дослушал и ушел спать. «Большая важность! – думал я, – что тут, разобьет, что ли, в этой луже? до берега версты три, шлюпок у нас множество...» И лег спать. Утром не сам я проснулся, не Фаддеев разбудил меня, а сильный толчок, так что я припрыгнул на постели и быстро вскочил. Я думал, что спускают шлюпки на воду: эта операция всегда сопровождается некоторым шумом, однакож не таким. «Что за странность...» – начал было я рассуждать, желая определить, какого рода был толчок. Вдруг опять толчок, сильнее прежнего; на шканцах что-то затрещало. «Сосед!» – закричал я к К. Н. П[осъету]³ через перегородку. «Что вам?» – откликнулся он. «Что это за толчки?» – «Мы на мели!» – сказал он, я хотел выйти на палубу – новый толчок: я покочнулся в дверях. Все на палубе: всё начальство и матросы. «Живо, живо, скорей!» – раздавалась торопливая команда. Матросы не ходят, а бегают на шпигеле, наматывая канат. Беда: надо поднять якорь, поставили паруса, чтоб сдвинуться с мели, а каната еще много. «Что это?..» – спросил я у мичмана П. Он хотел что-то ответить, но вместо того мы оба прыг-

нули в разные друг от друга стороны – от нового толчка. На верху бизань-мачты опять сильно затрещало: мы инстинктивно бросились от нее прочь, к грот-мачте. Но ведь и та может также затрещать, тогда... Я не додумал: фрегат сильнее прежнего грянулся о дно. Мы молча переглядывались между собой, как будто спрашивая один у другого, чем это может кончиться. Иной хотел улыбнуться и не мог. «Хорошо еще, что дно песчаное, – сказал один, – а если б камни...» Вдруг еще удар, надо было схватиться за пушечные тали, чтоб не упасть. Опять переменишь место без цели, без смысла, а так, машинально. Хотя дно и песчаное, но если постучит хорошенько о него часа три тяжело нагруженное, притом старое судно, с пятьюдесятью двумя огромными пушками, то не устоит ни киль, ни обшивка, дно раздастся. Утонуть было трудно на полтора саженьях глубины и в трех верстах от берега, но быть разбитым, изувеченным, убитым – предстояла полная возможность. От сильных ударов мачты не устояли бы на месте, они повалились бы набок и опрокинули судно. Да еще прежде падения самых мачт, от

постоянного и сильного сотрясения их, полетел бы, конечно, рангоут (верхние составные части мачт, стеньги, брам-стеньги), рей, марсы: все это, если смотреть издали, похоже на зубочистки, а между тем одна такая зубочистка весит пуд пятнадцать, другая более, третья менее – и все валилось бы на палубу, в кучу людей. Как знать, куда отойти, укрыться? Уйти в каюту? но брошенные с размаху и с высоты десяти, пятнадцати сажен двадцать пуд прошибут и не дощатые полы и покрышки. Потом, когда остов судна опрокинется, кто может быть уверен, что не попадет под падающую пушку, станок, шлюпку? Удастся ли устоять на ногах, удержаться и выкарабкаться... да – боже мой! Как рассчитать и предвидеть все последствия от такого события? Пусть скажут вам, что опрокинется дом на сторону – это все то же. Вот отчего мы кидали друг на друга вопросительные взгляды и машинально, при каждом толчке, меняли места. Конечно, все, кто уцелеет, доберутся до берега, да кто именно уцелеет? Этот вопрос был у всякого в голове. «Живо, скорей!» – повторялась команда, впрочем, без надобности, пото-

му что живей и скорей работать было невозможно. Между тем еще толчок, через пять минут опять, потом еще новый сильнее и новый обмен значительных взглядов и ожидание нового толчка, который и не замедлил повториться. Ветер свежеет и попутный – ах, если б не якорь!.. Конечно, можно расклепать цепь, да теперь это возьмет не меньше времени, сколько нужно, чтоб сняться с якоря. А тут толчок за толчком: «Скоро ли конец?» – думаешь в тоске. «Якорь встал!» – кричат несколько обрадованных голосов, то есть приподнялся на дне. Но это еще не все, надо поднять его со дна – и тогда все кончено. «Ну, слава богу!» А между тем раздался удар самый сильный, так что голова закружилась. Теперь на фок-мачте что-то затрещало. Следующий будет еще сильнее... Я уперся ногами в палубу, чтоб не упасть, ухватился за веревки и напряженно ждал. Вот поднимает, поднимает фрегат, сейчас хватит... Ах ты, боже мой! Но... толчка не было: что это? фрегат движется вперед: мы сошли, только лишь якорь подняли. Ну, слава богу! Пойдемте пить чай.

Через полчаса все забыли об этом и за ча-

ем говорили совсем о другом.

Литературный вечер*

*«...Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а щука тянет в во-
ду!»*

Крылов

Часть первая Чтение

К одному из домов, на Конногвардейском бульваре, к подъезду подъехало, около восьми часов вечера, в мае месяце, несколько экипажей – один вслед за другим, и, высадив господ, отправились по домам. Ровно в восемь часов швейцар получил приказание не принимать никого более.

Человек тридцать гостей обоего пола собрались у Григория Петровича Уранова слушать в этот вечер чтение нового романа.

Автора романа, как писателя, знали немногие. Он напечатал, без имени, несколько статей по финансовым и политико-экономическим предметам, замеченных и оцененных по достоинству только специалистами. Кроме того, он написал опыт дипломатиче-

ских мемуаров и напечатал их в весьма небольшом количестве, для немногих. Он занимал некогда дипломатический пост на юге Европы и провел молодые лета за границею. Теперь он был, как и хозяин дома, где началось это чтение, членом одного совета и, кроме того, председательствовал в какой-то комиссии по разным преобразованиям. В свете его любили, за огромное богатство, за открытое гостеприимство, за приветливость; а близкие люди – за капитальные достоинства ума и характера.

Известие о романе, однако, проникло в общество его круга. Автор, на вопросы, обращаемые к нему, не отрицал, что роман пишется, но более не распространялся об этом. Известно было, что он читал то, что было написано, кое-кому из приятелей, у себя дома, но эти лица хранили о романе скромное молчание.

Ближайший приятель и сослуживец автора, Григорий Петрович Уранов, и тот не был посвящен в тайну о романе. Напрасно добивался он от автора ответов на эти вопросы – он ничего не узнал.

– Ты не читаешь романов, – говорил ему

автор, – зачем тебе знать, что я написал? Я тебя оттого и не пригласил в свой домашний кружок послушать.

– И обидел меня! – возразил Уранов. – Если ты считаешь меня равнодушным к романам или вообще к литературе, то все же это не значит, чтобы я был равнодушен к тебе и к твоему произведению.

Автора тронул этот упрек, и он обещал прочесть свое произведение у него в доме. Уранов послал ему список приглашенных лиц, которые большею частью принадлежали к кругу их общих друзей и знакомых. Автор возвратил с своим согласием и с просьбою прибавить еще одну, тоже общую их знакомую, графиню Синявскую с дочерью, и двух своих сослуживцев. Уранов торжествовал.

Вот это именно общество и собралось в означенный вечер в большом и богатом доме Григория Петровича и разместилось в обширной комнате, между кабинетом и столовою, окнами на двор, чтобы езда экипажей не мешала чтению.

Григорий Петрович мало интересовался собственно романом, как справедливо упрек-

нул его автор, в чем он и сам сознавался. Но слух о романе произвел сенсацию в свете, стал событием дня, и поэтому стал и для него событием. С утра до вечера он обыкновенно жил в толпе, никогда не был и не умел быть один. Все, что делалось в свете, более или менее касалось и его. Он был вдовец, принимал у себя больше мужчин, редко дам.

Он и совет свой, в котором служил, любил потому, что он занимал у него три утра в неделю. Он называл его утренним клубом в отличие от вечернего, то есть английского клуба. В свободные утра он или сам ехал, или к нему ехали с визитами; потом он обедал у знакомых или у него обедали знакомые. Он щеголял гастрономическими обедами, на которые приглашал тонких знатоков из гастрономов-приятелей. Вечера – тоже в свете или у себя, а больше в клубе, за картами.

Так проходило незаметно восемь месяцев в году. В мае начиналась для него трудная пора, застой, истома. Все разъезжались – кто в деревню, кто за границу, многие на дачу: все врознь. И он переезжал поневоле куда-нибудь, больше на острова, чтобы не удаляться

от города. Но небольшой относительно кружок оставшихся знакомых мало удовлетворял его. У него оставались незанятые вечера. Да и что за вечера летом в Петербурге, без темноты, без огней! Ему нужно было всех, весь город, и он не знал, что с собою делать. Он угрюмо встречал «лучезарного Феба», когда тот, вскоре после полуночи, начинал опять сиять на горизонте и просился в окна, когда он еще и заснуть не успел.

Вообще так называемую природу, леса, горы, озера и прочее он терпеть не мог.

– Нашли какую редкость – хороший воздух! Еще рекомендуют как лекарство! – ворчал он сердито, нюхая воздух в аллеях елагинского парка. – А чем воздух дурен в клубе или хоть в нашем совете, если только не садиться близко к Петру Фомичу да к Семену Яковлевичу!

Так и теперь в мае он начал скучать, недоисчисляясь то соседа за столом в совете или в клубе, то партнера в висте – и всякое утро вставал с вопросами: «Кто из знакомых уезжает сегодня? У кого закрылись приемные дни? Куда потратит он утро, с кем будет обе-

дать, как убьет вечер?»

И вдруг какая находка: созвать гостей на чтение романа!

Хорош или дурен роман, будут довольны слушатели автором и автор слушателями – дело для него совсем не в том. А в том, что вся эта процедура займет у него целую неделю: разъезды, приглашения и, наконец, желанный вечер, проведенный по-зимнему, далеко за полночь, потом ужин до утра! Кроме того, после долго будут говорить, что автор читал первый раз, почти публично, у него, у Уранова!

Однако он, обдумывая (прежде и старательнее всего) меню ужина, позаботился, надо отдать справедливость его уменью жить, и о том, чтобы общество слушателей имело и авторитетных представителей литературного мира. Он пригласил, прежде всего, известного профессора словесности, написавшего много книг о литературе; потом одного старика, Красноперова, своего сослуживца и приятеля, предполагая в нем знатока литературы, потому что он был когда-то приятелем Греча и Булгарина¹; наконец одного пожилого белле-

триста, знакомого ему по клубу.

Сверх того, Григорий Петрович поручил племяннику своему, студенту, который жил у него в доме и которого он, не имея своих детей, любил, как сына, помочь ему сделать вечер занимательным и привести кого-нибудь из новых литераторов. Тот обещал представить редактора одного известного журнала и критика, по части беллетристики, какой-то газеты.

Автор явился за пять минут до восьми часов и прежде всего выразительно и дружески приветствовал приглашенную по его желанию графиню Синявскую, потом поздоровался со всеми прочими знакомыми и бегло познакомился с неизвестными ему слушателями, которых представлял ему хозяин, называя их по именам. Автор отвечал кому пожатием руки, кому поклоном или полупоклоном, иным сказал несколько слов.

Потом он подошел к столу, взял у своего сослуживца, с которым вместе приехал, портфель, отпер его, выложил несколько мелко и красиво исписанных тетрадок и, окинув беглым взглядом общество, сказал любезно:

– Я готов, прикажете начать?

Все поклонились и поспешили занять свои места. Он бережно отодвинул от себя поднос с сахарною и зельтерскою водою, с лимонадом, оршадом и всем, что ставят обыкновенно в таких случаях под носом чтеца, чего почти никогда не пьют и от чего бывает только теснота на столе. Потом он начал читать приятным, густым баритоном.

Взглянем прежде на гостей, потом слушаем.

Гости расположились на креслах, патэ, dos-à-dos и другой покойной мебели неправильным полукругом, в три ряда.

Впереди сидели дамы. Одна – княгиня *Теука* с дочерью. Княгиня, в темном платье моар-антик, в бархатной мантилье, которую сбросила на спинку стула, с сафьянным красивым мешком, откуда она достала какое-то вязанье с белыми костяными спицами и начала работать, впрочем, кажется, больше для вида, потому что из пяти только один раз попадала спицею как следует. Она часто опускала руки с вязаньем на колени, беспрестанно вздрагивая, будто от испуга или от внезапной

боли, и сильно мигая. Иногда даже у нее вырывалось нечто вроде «аха» или «оха», сопровождаемого опять вздрагиванием. На это почти никто не обращал внимания; все знали, что у нее «нервы», и привыкли к этому.

На лице и во всей фигуре княжны, ее дочери, напротив, покоилось ненарушимое спокойствие; ни удовольствия, ни скуки не выражало это лицо. Можно было бы назвать его мраморным изваянием, если бы – когда в романе заходила речь о любви – это лицо не принимало внезапно выражения ничего не понимающей невинности.

Княжна сидела несколько впереди всех. Свет лампы сбоку ярко освещал ее голову, бюст и руки.

Она была одета в розовое с белым отливом платье, в руке держала черепаховый веер, на коленях был небрежно брошен кружевной платок. Мать часто оглядывала туалет дочери: не отделилась ли какая-нибудь непокорная прядь волос, правильно ли лежит на шее и на груди цепочка с бриллиантовым крестиком, красиво ли драпируется шлейф около ног. Носок розовой миниатюрной ботинки ко-

кетливо выглядывал из-под платья и все время, пока продолжалось чтение, оставался на виду.

Подле них, немного позади, поместилась полная, кругленькая, невысокого роста дама лет тридцати, с голубыми, как небо, детскими глазами, в голубом платье, с голубым же головным убором. На ее большом и красивом, как у здоровой кормилицы, лице разливались широкие пятна румянца и с губ не сходила улыбка, тоже детская. Она вошла с этой улыбкой, здоровалась ею же со всеми, с улыбкой слушала чтение и уедет с тою же стереотипною улыбкою, которая так же известна была всем ее знакомым, как и вздрагивания и «ахи» княгини Тецкой или выражение непонимания при намеках на любовь на лице княжны. Она являлась с этою улыбкою везде, даже на похороны – и теперь таяла от удовольствия, еще до начала чтения. «Ça doit être joli!»[17] – шептала она соседям. Это была известная в свете вдова *Лилина*, всегда всем довольная, всех любившая и всеми любимая и балуемая, и страстная охотница до домашних спектаклей, всяких чтений и концертов.

Подле самого автора, вплотную к нему, присел старик граф Пестов, светская окаменелость, напоминая Тугоуховского². Он уже лет десять смотрел тусклым взглядом вокруг себя, не всегда и не все понимая, что происходит. Он поминутно забывал, о чем говорит, иногда и с кем говорит, подчас не узнавал даже родных внуков. Зато, как это часто бывает с долговечными стариками, он помнил до мелочей свой век, с начала нынешнего столетия, и служил живым архивом для справок; он помнил всех современников, крупные события и мелкие сплетни, хронологию, анекдоты, даже у кого в доме когда собирались, чей лучше был повар и т. п. Его возили везде, как и Тугоуховского, между прочим и потому, что он боялся оставаться один дома и умереть. Привезут его, посадят в покойное кресло и посылают то того, то другого гостя по очереди поговорить с ним, потом оставят. А он посидит, пожует губами, пошепчет что-то и задремлет.

Он, приставив руку к уху, внимательно слушал чтение.

Далее, в тени абажура лампы, поместилась

на маленьком патэ та дама, которую пригласил автор, графиня Синявская, и рядом, близко, почти на колени к ней, прильнула семнадцатилетняя прелестная брюнетка, ее дочь, в простом розовом барежевом платье, с кисейным шарфом на шее, без веера, даже без перчаток, которые она сняла, лишь только села, и положила на столик рядом. У нее с кистей рук еще не спала, как у многих подростков, краснота молодой крови. Ее светло-карие глаза сыпали снопы лучей наивной, нескрываемой радости от всего, что она тут видит и слышит. Она робко, стороной, бросала застенчивые, но любопытные взгляды на все и на всех: на автора, на глухого графа Пестова, на нервные вздрагиванья княгини Тецкой, на туалет княжны и Лилиной – и потом смотрела на мать, как будто спрашивая, так ли она держит себя, как следует.

Мать отвечала на ее взгляд улыбкой, какая бывает только у матерей. Видно было, что дочь выезжает недавно и что все ей было новостью.

У самой графини был изящный профиль, матовая белизна лица, темносерые умные

глаза и какая-то тонкая, загадочная улыбка, так что нельзя было угадать, порицает она ею или одобряет что-нибудь, радуется или смеется про себя.

За эти умные глаза и загадочную улыбку – ее прозвали сфинксом. Она была еще молода, и в особенности моложава, так что казалась скорее старшею сестрою, нежели матерью своей дочери.

Она мельком давно оглядела слушателей, потом почти не спускала глаз с автора, иногда взглядывала на дочь, говорила ей тихо, с улыбкой, слова два и опять слушала чтение.

Автор, отрывая глаза от рукописи, каждый раз прежде всего обращал взгляд на графиню, очевидно справляясь с ее впечатлением, потом уже переходил к сидевшему близ нее старику Чешневу, а на остальных изредка кидал общий, неопределенный взгляд.

Старик Чешнев сидел на стуле, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу.

У него были редкие и мягкие седины, благодушное, почти женское выражение лица и умные, пронизательные глаза, которые иногда прищуривались, иногда покрывались за-

думчивостью. Закинув немного назад голову, с большим, открытым лбом, он слушал внимательно чтение, как будто вокруг никого и ничего не было.

За ним, во второй шеренге, помещались: профессор словесности, потом тот гость, которого в качестве литературного эксперта пригласил на чтение хозяин, потому что он был знаком с Гречем и Булгариным, и еще пожилой беллетрист *Скудельников*.

Профессор слушал с строгим, официальным вниманием, склонив немного голову набок и сохраняя приличную случаю мину.

Приятель Греча и Булгарина – слушал, опустив подбородок в широкое жабо галстука, иногда покачивал головою или зевал в ладонь и рассеянно поглядывал на картины, развешенные на стенах.

Сосед их, беллетрист *Скудельников* – как сел, так и не пошевелился в кресле, как будто прирос или заснул. Изредка он поднимал апатичные глаза, взглядывал на автора и опять опускал их. Он, повидимому, был равнодушен и к этому чтению, и к литературе – вообще ко всему вокруг себя.

Григорий Петрович вытащил его из его гнезда, обещал хороший роман, хорошее общество, хороших, даже прекрасных дам и хороший ужин. Он и приехал.

Дальше сидел приглашенный племянником-студентом, по просьбе дяди, редактор журнала, среднего роста, средних лет, довольно полный блондин, приличной наружности, во фраке, в белом галстуке и с *gibus*[18] в руках, слушавший чтение с выражением учтывого равнодушия на лице.

Потом сидели человека два-три таких слушателей, которые находили, что если зовут на чтение чего-нибудь, то это должно быть очень хорошо. За ними помещались и такие, которые были всегда того мнения, что если зовут на чтение, то непременно будет очень скучно.

Между последними особенно выдавался гость, пожилой, полный, с одышкой, Иван Ильич Сухов, который был приглашен потому, что был короткий приятель и любимый застольный товарищ хозяина – и в совете, и в английском клубе. Он обнаруживал кое-какие знаки нетерпения при чтении: дышал

громко, то ртом, то носом, иногда прикрывал рукою зевоту и пробовал заговаривать с соседями, чаще всего с военным генералом, еще не старым, крепким, здоровым человеком, с бодрой осанкой и простым, но энергическим выражением лица. Он был известен как отличный боевой генерал и вместе хороший администратор по военной части и на литературу смотрел несколько с боевой точки зрения, читая, что попадет, в виде отдыха, а чаще и вовсе ничего не читая. Он с хозяином, с Суховым и с самим автором романа был в постоянных сношениях и в службе, и в обществе, и они составляли собою свой тесный кружок.

Недалеко от них сидел на плетеном, простом стуле, одетый так же, как и журналист, во фраке и белом галстуке, один из приглашенных сослуживцев автора, человек под пятьдесят лет, с серьезным лицом, с крупной морщиною на лбу от напряженного внимания, с каким он слушал, сидя прямо и держа шляпу на коленях.

Он, казалось, с трудом или неохотно вникал в смысл чтения, пытливо поглядывая то

на автора, то на того или другого из слушателей.

Это был Иван Иванович *Кальянов*, сослуживец и один из главных помощников автора в комиссии по преобразованиям и по другим делам, какие на того возлагались. Он считался столпом в администрации и правую руку своего председателя. Вернее, точнее и сведущее по своей части исполнителя, как этот Иван Иванович, не было даже ни у одного министра. Сам он никогда ничего не придумывал и не предлагал нового, но брал предложенный ему материал – проект ли закона, новую какую-нибудь меру и, вооруженный уставами, положениями, сводом законов, указами, инструкциями, органически воплощал идею, давая ей плоть и кровь.

Он удивлялся производительной головной деятельности своего председателя, изобретательности и блеску, его ума, а тот чувствовал, что без такого техника-организатора, как этот Иван Иванович, его идеи и планы, указания и desiderata[19] – не достигали бы своей цели.

Они были тесно связаны узами если не дружбы, так службы и взаимно уважали друг

друга.

Вне комиссии у них все было разное: вкусы, склонности, удовольствия. Один жил в свете, в большом кругу, другой – дома, за бумагами, а вечером дома же, за картами с двумя-тремя приятелями, *partie fixe*[20].

Как такой человек попал на это чтение? Он и сам не мог надивиться этому. Это случилось нечаянно.

Заглянув однажды с бумагами в кабинет к председателю комиссии и увидев, что тот углубленно пишет, Кальянов на цыпочках вышел вон. Но дверь скрипнула, и председатель воротил его.

– Это вы, Иван Иванович: что же не вошли? – спросил он.

– Вы, кажется, очень заняты.

– То, что вы принесли и вообще приносите мне, всегда важнее того, что я делаю без вас, и особенно в эту минуту! – любезно, с улыбкой, сказал тот, отодвигая свое писанье в сторону и приглашая его сесть. – Что у вас?

Тот подал ему две бумаги и какие-то чертежи и прибавил длинное словесное объяснение.

– Вот тут план, смета и справки, – сказал он, указывая другую бумагу, – и чертежи и заключение. Угодно вам согласиться, так я велю заготовить доклад, потому что все члены согласны.

– Знаю, знаю! Хорошо, оставьте. Я посмотрю – и завтра возвращу вам с ответом. Больше ничего нет?

– Есть, но то можно оставить до следующего заседания, а это нам поскорее бы сбыть. Там ждут.

Кальянов встал.

– Куда же вы? Сейчас чай подадут, вот сигара! – удерживал Лев Иваныч Бебиков – так звали председателя.

– Благодарю, меня дома ждут, да и вы заняты!

– Знаете, чем я занят? – сказал Лев Иваныч, придвигая к себе тетрадь, которую писал до того.

Кальянов молчал.

– Роман пишу.

Тот все молчал, только немного поднял брови.

– Вы не верите? – спросил Бебиков улыба-

ясь.

Тот отвечал тоже улыбкой.

– Хорош должен быть роман, – сказал он, поглядывая на тетрадь. – Пожалуй, от него канцелярии на полгода работы хватит, а делопроизводителю, то есть вашему покорному слуге, опять по ночам не спать!

Лев Иванович засмеялся.

– Не бойтесь! вам угрожает одна опасность: выслушать его и сказать ваше мнение.

– Я так и знал, что будет работа! А позвольте узнать, о чем этот роман? Не опять ли о введении предварительных мер в виде опыта?.. Мнение мое вы уже знаете...

– Нет, нет! – со смехом возразил Бебиков, – роман, настоящий роман! Почему вы не верите?

– Не станете вы заниматься...

– Таким вздором, да? Говорите прямо!

Кальянов молчал из учтивости.

– Какое варварство, Иван Иванович! Вы не знаете, что в наше время газеты и роман сделались очень серьезным делом! Газета – это не только живая хроника современной истории, но и архимедов рычаг,двигающий евро-

пейский мир политики, общественных вопросов; а роман перестал быть забавой: из него учатся жизни! Он сделался руководствующим кодексом к изучению взаимных отношений, страстей, симпатий и антипатий... словом, школой жизни!

Кальянов стал небрежно смотреть в сторону.

«Знаю, что мастер говорить! – думал он, – вон как – точно зубы заговаривает; и о чем же – о романе! Дудки! Этаким богач – и станет писать!»

– Теперь все бросились на роман, – продолжал Бебиков, – одни пишут, другие читают. Государственные люди, политики, женщины, даже духовные лица написали много романов, и все учат или учатся уловлять тонкие законы индивидуальной, общественной, политической, социальной и всякой жизни – из романов!

«А все-таки это вздор! – подумал Кальянов, но не решился сказать вслух, думая: – А ну, как он в самом деле пишет этот... вздор! Неловко! Да нет, не может быть!»

Он покачал отрицательно головой.

– Все не верите? – сказал Бебииков, – а вот поверите, когда я приглашу вас послушать! Вы не откажетесь?

– Нет, я всегда слушаю все, что вам угодно мне читать... – сказал он покорно.

– И часто опровергаете, но всегда с успехом и пользой для дела...

– Разве это дело? – вдруг сорвалось с языка у Кальянова.

Оба засмеялись.

– Вы запомнили только одно слово «вздор», – сказал председатель, – а мое суждение о значении романа...

– Принял к сведению, – подсказал Кальянов.

– Примите же его и к исполнению! – добавил Лев Иванович, – и когда я приглашу вас послушать, скажите свое мнение. Да?

Кальянов поклонился, еще раз недоверчиво взглянул на начальника, покосился на тетрадь – и вышел, все раздумывая о том, насколько хватит всей комиссии и ему работы.

«Вот тебе и будет роман!» – заключил он.

Председатель не то чтобы интересовался знать мнение Ивана Ивановича о романе, но

пригласил его потому, что пришлось кстати, и потому еще, что хотелось оказать любезность своему помощнику. Кальянов и забыл об этом разговоре.

Но каково было его удивление, когда, через месяц после того, именно в мае. Лев Иванович, однажды, после доклада, сказал, что Григорий Петрович Уранов заедет к нему, Кальянову, пригласить его на чтение романа.

– Какого романа? – вдруг спросил Кальянов и тут только вспомнил бывший разговор.

– Вы слово дали! – напомнил начальник.

– Ужели это... не мистификация? – спросил он нерешительно.

– Вот какая мистификация – полюбуйтесть!

Бебиков показал ему кучу мелко исписанных тетрадей.

– Смотрите же – я ожидаю вашей критики! – прибавил он.

Кальянов ушел в раздумье, все не веря и предполагая какой-нибудь сюрприз.

«Соберет, чего доброго, всю комиссию туда, на вечер к Уранову, да и прочтет какой-нибудь проект или „идею“... от него станется! Ох, уж эти мне идеи!»

Однако в назначенный вечер он надел фрак, белый галстук и поехал к Уранову.

«И женщины тут: что ж это в самом деле – ужели так-таки роман и есть?» – шептал он, робко усаживаясь в третьей шеренге слушателей.

Другой сослуживец автора, *Ферт*ов, напротив, вовсе не садился. Он реял, как зефир, между слушателями и, наклоняясь то к тому, то к другому, особенно к дамам, ронял по нескольку слов восторженных похвал о романе, который уже слышал.

Он был высокий, красивый и отлично одетый господин, лет сорока, юркий, светлоокий блондин, с пробором посреди головы, с бакенбардами, струями падавшими к плечам, с изящными манерами, – словом, представительная салонная фигура.

Ферт^{ов} был тоже необходимое лицо у автора – и по службе, и по всяким другим делам, но совсем в другом роде, чем Кальянов. Он добывал особенные, предварительные справки по делам, делал разведки, *tâtait le terrain*[21] в том или другом ведомстве – не путем бумажных отношений, а лично: был употребляем

для компромиссов, улаживал пути, устранял, своим ловким и приятным характером, недо-разумения и т. д. Он же был верным эхом го-родских новостей и слухов, особенно в выс-ших сферах.

Сзади всех, в углу, у камина, поместился газетный критик, Кряков, которого привел, согласно обещанию, племянник хозяина. Он был среднего роста, с темно-русой густой бо-родой, в которой пряталась вся нижняя часть лица и отчасти нос. Одет он был в коротень-ком пиджаке и в светлых брюках, по-летнему. Он жал в руках серую, мягкую шляпу и, пови-димому, не знал, что с собой делать. Он укры-вался в тени угла, куда его привел студент, представив сначала дяде. «Сиди тут: я помогу дяде принять гостей, потом приду к тебе!» – сказал он. «Смотри не надуй, а то я удеру!» – отвечал тот.

И он стал смотреть на каждого гостя, на са-мого хозяина, на автора, на все окружающее, задевал ногою за щипцы, которые гремели о решетку камина, и, кажется, не раз хотел встать и в самом деле уйти. Но все притихло, началось чтение – и он уселся.

Через четверть часа после начала чтения явились еще три слушателя, двое военных молодых людей и третий – статский. Первые два осторожно несли сабли в руках – и все трое, à pas de loups[22], подкрались к кружку, взяли три стула, без шума поставили их на ковер и тихо опустились на них, за спиною автора.

На них никто не обратил внимания, только хозяин дома ласково погрозил им пальцем да княжна Тецкая бросила быстрый взгляд на статского. Он поклонился, больше глазами, но она не повторила своего взгляда.

* * *

Роман начался с описания блестящего бала, на котором являются два главные лица романа, или герой и героиня. Он – граф, она – княгиня. Она – блестящая звезда большого света, по красоте, изяществу, уму. Он – красивый, ловкий и тоже блестящий молодой человек, офицер одного из первых гвардейских полков.

Он, под маскою строгого приличия, едва сдерживает пыл страсти к своей княгине: он ищет ее взгляда, хочет ей сказать слово; но

она будто не замечает его, и от нее, как от онегинской Татьяны, веет холодом и неприступностью. Он в ужасе: отчего такая перемена! Еще так недавно, дня три тому назад, на нем покоился ее взгляд, полный такого сочувствия, ему говорились тихие речи нежной страсти – и вдруг теперь даже не глядит! Что такое произошло? Он ходил из залы в залу, следя за княгинею, и ловил минуту, чтобы узнать, что значит эта перемена, отчего у нее какая-то тревога, сдержанное страдание на лице?

– Я не видал вас целую вечность – и вот прием! – тихо упрекнул он, подходя к ней, когда она была одна.

– А я видела вас вчера, – сухо отозвалась она, не глядя на него.

– Где? когда?

– Я проезжала по мосту через Фонтанку, и издали видела, как вы гуляли по набережной... с дамою кажется... да?

– Да... правда... – запинаясь, сказал он.

– Кто эта дама? не секрет? – небрежно спросила она, обмахиваясь веером.

Он не вдруг отвечал, ему и не хотелось от-

вечать, но делать было нечего.

– Это... это... m-me Armand... французская артистка...

– А! – холодно сделала она и пристально поглядела на него.

– Я встретил ее нечаянно и прошелся с нею...

– Я не требую объяснений и подробностей! – сухо перебила она и отошла.

Он следил, как она, поговорив с тем, с другим, подошла к девице Лидии N и села подле нее.

– Я вчера заезжала к вам, chère Lydie, около трех часов, но вас не было; где вы были? – спросила она.

– Да, мне татап сказывала; я очень жалею... Мне необходимо было выехать... – отвечала Лидия, но не сказала куда.

– Мне показалось, что я вас видела на улице, и я заехала узнать, не ошиблась ли я?

Она взглянула на Лидию и видела, что та смутилась. И княгиня сама изменилась в лице.

«Mon dieu!»[23] – воскликнула каждая из них про себя.

«Ужели она заметила!» – подумала Лидия.

«Это была она!» – подумала княгиня.

Бал был к концу, княгиня тронулась с места и направилась к выходу; граф предупредил ее. Он подал ей руку.

– A demain... n'est-ce pas? Puis-je vous suivre?

[24] – бормотал он.

Она не взяла руки.

– Vous croyez vous adresser à Lydie N., peut-être? – сказала она, – vous vous trompez; la voilà! [25] – Она указала вдаль веером, где сидела Лидия. – Restez auprès d'elle. – Général! donnez moi votre bras! [26] – обратилась она к проходившему мимо генералу и пошла под руку с ним по лестнице, не бросив на героя взгляда.

Он оцепенел на месте, потом медленно воротился в залу. Он посмотрел на Лидию, прелестную молодую блондинку, в цвете лет, стройную, грациозную, с умными глазами, просто и со вкусом одетую.

Он сказал ей какую-то банальную фразу и глядел ей пристально в глаза, в надежде, не объяснит ли она намек княгини.

Глаза ее действительно высказывали что-

то особенное. Взгляд ее блуждал рассеянно кругом, ни на чем не останавливаясь; очевидно, мысль ее была не тут. Она была задумчива, почти печальна, вероятно, под влиянием беглого разговора с княгиней. Но граф не слышал этого разговора, да если бы и слышал, то все не добился бы ключа к намеку княгини.

Постояв с минуту перед нею, граф пошел к выходу и на лестнице столкнулся с адъютантом, бароном В., который вертелся около и видел сцену прощания с ним княгини: как она не приняла руки графа и пошла с генералом. Барон бросился за нею и, проводив ее вместе с генералом до кареты, возвращался на бал. Он с ирониею взглянул на графа. Он был равнодушен к княгине и терпеть не мог графа, как предпочтенного соперника. Граф понимал его положение и прощал ему, то есть был равнодушен к его ненависти. Но тот, как шекспировский Яго³, искал случая мстить ему.

Между тем граф, мучимый холодностью княгини, написал ей письмо, в котором объяснял, как он накануне бала встретил m-me Armand, выходящую из одного дома и не на-

пешшую своей кареты. Он вышел из саней и пошел с нею пешком по набережной Фонтанки до Невского проспекта, где они и расстались. Он предложил ей свои сани, и она уехала. Он прибавил, что эта m-me Armand, известна всей jeunesse dorée[27] Петербурга, что она стоит в тесной зависимости от одного известного лица, что весь город это знает и что подозревать его было бы недостойно ни княгини, ни его собственного характера, и так далее.

Но он не прибавил, как он весело болтал с француженкою, наклонялся к ней, шутил, смеялся, вел с нею живой, маскарадный разговор.

А княгиня видела это. Съехав с моста, она велела кучеру остановиться и пристально следила за их прогулкою. Она видела их сзади и не могла разглядеть лицо дамы; она видела только ее фигуру и рост – все это было поразительно похоже на фигуру и рост Лидии, особенно две длинные букли были точь-в-точь такие, как у той: и цвет такой же, и так же выпущенные из-под шляпки назад они скользили по ее плечам. Остальные признаки под-

сказало воображение, то есть ревность. Княгиня нашла похожую и походку дамы, и такую же соболью шубку, как у Лидии, и все.

Здесь автор романа вошел в тонкий психологический анализ ревности: как эта последняя наблюдает все мелкие признаки, сама создает многие, группирует их и творит ад в душе своей жертвы.

Княгиня, проводив их далеко глазами, велела ехать в дом Лидии Н., чтобы увериться, дома ли она или нет, и не застала ее. Вот причина ее допроса у Лидии, где она была? Смущение Лидии подтвердило ее догадки, а слепая ревность превратила их в уверенность. Она отгоняла спасительные сомнения, которые просились ей в ум в виде вопросов: «как Лидия, девица, принадлежащая к лучшему обществу, у которой есть родители – люди с положением, со связями в большом свете, вдруг будет играть своей репутацией, уезжать одна из дома на секретные свидания, гулять открыто вдвоем с молодым человеком, которого все знают?» Княгиня отгоняла эти вопросы, как «докучливых мух», по словам автора, потому что ревность, раз потерявши

главную точку опоры, здравую логику, как всякая горячка, то есть страсть, питается и поддерживается галлюцинациями и сама создает себе ряд пыток. Кстати княгиня вспомнила, что Лидии уже двадцать лет, что отец ее поглощен службою, а мать – болезненная женщина и выезжать с нею не может; что Лидия выезжает с компаньонкою, а часто и одна; что на ней даже лежат обязанности по управлению домом и что она, не в пример многим другим девицам, пользуется значительною долею самостоятельности. Это все знали в свете, но никогда никому не приходило в голову видеть что-нибудь таинственное и лукавое в ее поведении: это противоречило бы личному ее характеру, воспитанию и нравственному складу и тону всего их дома и семьи, всеми уважаемых.

Но княгиня не слушала этих голосов разума. В глазах ее сверкало какое-то красное пламя, внутри жгло.

«А отчего она смутилась, когда я намекнула, что видела ее? Отчего не договорила, где была?» – терзала она себя вопросами... «Да, это была она! А Paul говорит... нет, какой он

Paul: c'est un traître de la plus pire espèce![28] – казнила она его про себя, – он вздумал уверять, что это m-me Armand! Он с нею и не пошел бы: он презирает этих...» Она не досказала эпитета.

Она кляла себя за то, что не бросилась вслед гуляющей паре, что не остановила графа, не взглянула вблизи на женщину, а бросилась в дом Лидии. «Теперь я знала бы все!»

Она не думала, даже не верила, чтобы свиданья графа с Лидией заходили далеко, чтобы в них скрывалось что-нибудь похожее на то, что было между ею самою и графом... Нет, но она видела в этой нежности графа к Лидии зарю – не пылкой страсти, а молодой, свежей – так сказать – законной любви, той любви, которая охватывает всего человека и наполняет теплом всю его жизнь. И она уступит, когда сама только что покорила этого рыцаря чести, мужской красоты, какой-то силы души и характера – и отдаст его другой, едва расцветшей, еще не начавшей жить!

«У той, – рассуждала она, – жизнь вся впереди: ее ждет своя доля счастья! А она вдруг отнимает его у нее, изломает ее страсть и

вместе с нею и ее самое, княгиню: потому что ей больше ничего не останется в жизни... Нет, нет! А он! Заплатить ей изменой за все... какая низость! какая низость!»

Она вздрагивала, ворочаясь, после бала, в постели и уснула только под утро.

После полудня ей доложили, что приехал барон В., адъютант. Она, давно зная его чувства к ней и виды на нее, избегала его и принимала неохотно и редко. А теперь велела просить.

Она ужаснулась, поглядев на себя в зеркало, и старалась пудрой, и даже немного румянами, скрыть следы бессонной и мучительной ночи.

Барон приехал неспроста. Он вчера уловил кое-какие симптомы разлада между княгиней и графом, заметил сцену их прощания, потом разговор с Лидией Н., у которой, после отъезда княгини, он искусно разведal, о чем ей говорила княгиня. Та наивно отвечала, что княгиня думала, что видела ее на улице, и заехала к ней узнать, не ошиблась ли она. И только. Но барон принял это к сведению и поехал к княгине выпытать, что можно. У него

уже шевелилась мысль о возможности разрыва графа с княгиней: надо помочь этому, довести до конца – и... и... Словом, у него заиграло в голове.

Ему не стоило труда узнать, в чем дело. Княгиня, после пустых фраз о вчерашнем бале, сама спросила: знает ли он m-me Armand? Он, конечно, сказал, что знает ее, как и многие другие, то есть весь круг золотой молодежи; что он бывает иногда у нее; что она очень живая, умная, любезная женщина, и, наконец, в свою очередь, спросил, почему она так интересуется ею.

– Так! – сказала княгиня, – я видела ее на улице, спросила, кто это, и мне назвали ее... больше ничего.

Барон ничего не сказал. У него уже была нить в руках – и он, простившись с княгиней, поехал прямо к m-me Armand – постучаться там, выяснить эту историю и на ней основать свой план действия.

Он без труда узнал от m-me Armand, что она недавно встретилась с графом, прошла с ним по набережной Фонтанки и доехала в его санях домой.

Барону стало ясно все. Что он далее говорил француженке, осталось неизвестно; но только когда, после этого, княгиня осторожно, стороной, через преданных ей людей, из третьих рук, стала узнавать о прогулке с нею графа, m-me Armand jurait ses grands dieux[29], что она с ним не встречалась и не гуляла.

Отсюда начинается сложная драматическая путаница романа! Прежде всего значительно огласились в свете до тех пор только подозреваемые отношения княгини к графу. Потом прошел глухой, неизвестно кем пущенный исподтишка (конечно, бароном) шепот о какой-то прогулке Лидии с графом наедине. На нее стали смотреть с странным любопытством, которое она относила вовсе не к прогулке с графом, чего и подозревать не могла, а к тому, что узнали, как она предполагала, один ее секрет.

А секрет ее состоял в следующем. У нее была самая любимая ее, по институту, подруга и лучший по уму и симпатичным качествам души и сердца друг, Лиза Ф. Они вместе росли, учились и вместе вступили в свет. Лиза Ф., по выходе из института, жила в доме Лидии, по-

тому что у ней не было состояния. Мать ее, вдова, сама жила в деревне у родной сестры и предоставила дочери свою пенсию, тысячу двести рублей. Обе они не могли содержать себя этими средствами в Петербурге, и Лиза приютилась в семействе Лидии Н. как ее лучший друг, как сестра.

Так их признавал и свет; они два зимних сезона являлись неразлучно всюду. На третий сезон Лидия вдруг осталась одна. Лиза Ф. уезжала на лето к матери и не возвращалась из деревни.

Так объявлено было в кругу всех знакомых – и только. Ни Лидия, ни ее отец и мать более не распространялись об этом. Это породило некоторое сомнение; стали наводить справки и узнали, что в деревне, у тетки, с Лизой разыгрался какой-то роман, кончившийся потом такими последствиями, за которые тетка не захотела держать ее у себя, и что Лиза вернулась в Петербург и живет с матерью где-то в глухом уединении, на маленькой квартире, в большой нужде.

Это все узнали, судили, рядили и казнили Лизу беспощадным приговором. О Лизе пере-

стали говорить в свете; никогда не произносили имени ее и в доме Лидии. Все как будто условились забыть ее и, наконец, забыли. Не могла забыть в ней лучшего, единственного друга только Лидия – и не забыла. Она не сочла себя вправе быть ее судьей и не только сохранила, но удвоила к ней свою нежность, окружила ее заботами, утешениями, помощью – всем, в чем так нуждалась теперь бедная, обманутая любовью, выброшенная из привилегированной среды женщина. Дружба не обманула ее. Лидия объявила отцу и матери, что она не покинет друга в беде и нужде, когда именно необходим друг.

Отец обнял ее, мать заплакала: оба предоставили делать ей, что говорит ее сердце; они сами любили и жалели эту Лизу, но умоляли только делать это втайне, побережь себя и не оскорблять законов света.

Лидия, раз в неделю, посвящала свободный вечер или утро, иногда целый день, своей подруге и ездила в наемной карете, по вечерам в сопровождении верной и скромной горничной, а днем – одна, в отдаленную улицу, в маленькую квартиру, к своей милой и

дорогой Лизе Ф.

Накануне бала она провела там утро, и вот причина ее смущения, когда княгиня сказала, что видела ее где-то на улице.

Оскорбленная княгиня не принимала графа и не отвечала на его письма. Только на одном из них, возвращенном нераспечатанным, она написала карандашом: «Vous avez menti. Adieu!»[30] Он был в ужасе. Светский суд не пощадил ее; его толки дошли до нее, и она, с первыми весенними лучами, уехала в свое родовое имение, заперлась с компаньонкой, в замке – и никуда не выезжала.

Лидия тоже не выдержала косых взглядов, улыбок, шепота... она занемогла. Отец и мать ее были в отчаянии и, наконец, отправили ее, с одной старой теткой, за границу. Свет не узнал настоящего ее секрета, а только привязал, «как бумажку к ее шлейфу», по выражению автора романа, имя графа к ее имени, пока еще не зная, что говорить далее.

Граф тоже не вынес пытки. Он решился на смелый шаг, взял отпуск за границу, переделся в статское платье, пробрался в имение княгини, поселился в деревне и бродил каж-

дый день в сумерки, с ружьем на плече, около парка княгини. Наконец он увидел ее, сидящую в глубокой задумчивости на скамье, под вязом; возле на траве валялась книга. Он тихо подошел кустами сзади; на него вдруг залаяла ее собачка, но, узнав его, начала радостно визжать и ласкаться к нему.

– Кто тут? – с испугом спросила княгиня.

– Я! – сказал он, упав на траву и прижимая ее руки к губам. – Простите!

– Вы... ты... вы! – оторопев, произнесла княгиня и залилась слезами... Отчего? От негодования? От оскорбленной гордости? Нет, от радости, от счастья!

– Я ждала тебя, я знала, что ты будешь! – шептала она, отвечая на его поцелуи. – Если бы ты не приехал, я не простила бы тебе...

– О рай! о небо! – твердил он, и т. д. и т. д.

Они провели тайком в этой глуши такое лето, какого, по словам автора, еще не было ни у нее, ни у него в жизни. Она даже не потребовала у него объяснений эпизода прогулки с m-me Armand и зажала ему рукою рот, когда он заикнулся об этом.

– Я здесь, наедине с собою, сама добралась

до истины, и только... женский стыд мешал мне написать тебе. Я знала, что ты приедешь!

При этом он падал на ковер или на траву и катался, вместе с собачонкой, у ее ног.

Он воротился в Петербург, где объяснил, что ездил устроить дела в имении, и отправился за границу; а княгиня заперлась опять в своем замке.

В романе, кроме самого героя, героини и девицы Лидии, большие роли даны еще отцу ее, умному администратору, потом отставному генералу, с твердым, упрямым и несколько желчным характером, и, наконец, общему другу того и другого – Здравомыслу всего этого круга⁴, пожилому князю.

Вся группа представителей старых поколений в романе исполнена житейской мудрости, высоких правил чести, рыцарского благородства.

В молодом, ближайшем к ним поколении – детей и племянников их, еще молодых офицерах, заметно отражаются родовые черты характера старших, их образа мысли и традиционных убеждений. Обе линии представляют собою два параллельные поколения из-

вестного, так называемого высшего круга.

Преобладающий элемент в романе – военный. Гражданский занимает второстепенное положение.

Между прочим, целая глава посвящена описанию маневров войск между Гатчино, Красным Селом и Павловском. Местами приводятся черты образа жизни, нравов, быта военных высшего круга.

Женский круг тоже богат персоналом. На первом плане, кроме молодых героинь – княгини и Лидии, являются несколько светских матрон, две княгини, одна – важная, добродетельная, другая – суетливая и говорливая, потом мать девицы, мать героя и другие.

Между действующими лицами почти нет лиц из других, низших сфер; только в деревне явился неожиданный поклонник княгини – уездный врач. Видя ее «меланхолию», как он говорил, он стал уверять ее, что последняя может повести к серьезной болезни и что ему судьбою предназначено посвятить всю свою жизнь на сохранение «ее драгоценных дней». Но когда, с приездом графа, ее «меланхолия» мгновенно прекратилась, княгиня перестала

принимать врача, и он, в свою очередь, как граф, стал бродить с ружьем около парка – но, конечно, безуспешно.

Из простого звания – в романе не было никого. Автор постоянно держался на высоте только одного высшего круга и утонченного воспитания.

Княгиня инкогнито тоже пробралась за границу – и соединилась с героем в каком-то уединенном уголке.

За границей действие происходит частью на водах в Германии, а потом в Южной Франции и Италии. Роман изобилует описаниями видов природы, грациозных и целомудренных сцен любви, тонких замечок о произведениях искусства в музеях и т. п.

Герой и героиня, насыщенные страстью, оба, наконец, смутно начинают чувствовать неловкость своего взаимного положения. Кроме того, княгиня замечает – сначала усталость в своем друге, потом и симпатию его к Лидии, которую он встретил где-то в Париже, а потом в Швейцарии, с теткой.

Граф между тем давно просрочил свой отпуск и был уволен от службы. Он был до того

поглощен страстью к княгине, что не исполнил даже обычных формальностей, не попросил отсрочки. Он и не хотел делать этого; законных причин у него не было: он был здоров, никакие дела не удерживали его за границей – а лгать, выдумывать предлоги было не в его характере. У него был предлог, и самый уважительный, по законам чести – это долг принести в жертву все женщине, которая пожертвовала всем для него, – и он подчинился этому закону, к крайнему отчаянию его матери и всех военных *gros bonnets*[31] его круга.

Но когда, после многих месяцев, проведенных наедине, насыщенная страсть успокоилась, потом ослабела и, наконец, совсем упала – героиня украдкой уезжает от героя, возвратив ему свободу.

Граф и Лидия хотя еще не сблизились между собою, но уже заметны были первые признаки сближения. В частых встречах в уединенных затишьях, среди красот природы, они пристальнее вглядывались друг в друга, так что можно уже было предвидеть «зарю» той любви, которую, в припадках ревности,

предугадывала княгиня.

Роман кончался пока этим. Далее, по словам автора, еще не было написано.

* * *

Прочитав первые главы, автор встал и предложил отдохнуть. Слушатели поднялись с мест молча, как будто раздумывая, что сказать о первых главах, – и ничего не сказали; кто позевывал, кто разминал ноги, только Лилина, сияя улыбкой, твердила «très joli» да молодая графиня, девица Синявская, крепко сжимая руку матери, влажными глазами смотрела ей в глаза и встала вместе с нею с дивана.

Автор и графиня стали ходить взад и вперед по комнате.

– Вы, графиня, конечно, еще ничего теперь не скажете мне? – спросил он.

– И после не скажу – зачем?

– Разве вы не знаете, как я ценю ваше мнение.

– У меня нет мнения, а только впечатление.

– Скажите ваше впечатление.

– Не умею, его надо угадать.

– В глазах сфинкса трудно угадывать, разве изменит улыбка ваша: она у вас добрее глаз...

– Надеюсь, не добрее улыбки Лилиной; посмотрите, она так и сияет, так и горит нетерпением сказать вам свое впечатление!

Он пожал плечами и подошел к Чешневу.

– Вы что скажете, Дмитрий Иванович? – спросил он старика, в раздумье поникнувшего головой.

– Ничего – я всё еще слушаю! – отвечал тот коротко.

Слушатели, стоя группами, говорили совсем о другом. Иные пошли к буфету «прохладиться», кто зельтерской водой с шампанским, кто просто шампанским; другие ушли в кабинет хозяина, выкурить папироску.

Опоздавший статский юноша пробрался к княгине Тецкой и поцеловал у нее руку, с словами: «Ma tante!»

– Ай! – закричала та и вздрогнула.

Он выразительно улыбнулся княжне.

– Eh bien?[32] – спросила она чуть слышно.

– C'est fait, ma cousine!

– Où donc?[33]

– Там, в швейцарской, в вашем пальто.

– Merci!

Между тем принесли чай, мороженое, конфеты. Григорий Петрович предлагал автору – оршаду, лимонаду, спросил, не хочет ли он шампанского в зельтерскую воду, наконец принес какой-то флакон с утоляющими жажду лепешками, купленный в английском магазине.

– В Лондоне, в парламенте, у всякого оратора непременно есть в кармане такой флакон! – объяснил он. – Я буду возить с собой в совет!

– А ты собираешься говорить там речи, как в парламенте? – спросил его приятель, толстый Сухов, – и оба засмеялись.

– Лучше вози в клуб, в субботу, после кулебяки прохлаждаться! – прибавил он.

Уранов успокоился только тогда, когда автор выпил вина с водой и предложил читать далее, прибавив: «если не наскучило!»

– Пусти меня, или пойдем к тебе наверх! – шептал газетный критик Кряков, косясь на звезды мужчин, – еще, пожалуй, проврешься – вон от тех беды наживешь! – Он указал на сановных стариков.

Студент засмеялся.

– Вздор какой! – сказал он. – Пойдем лучше в буфет.

Все опять уселись. Лакеи обирали пустые чашки, блюдечки от мороженого. Григорий Петрович поставил хрустальные вазы с конфетами на столиках перед дамами, а перед автором успел-таки положить флакон с прохладительными лепешками.

Фертов облетел опять всех слушателей.

– Comme c'est beau! On se croirait transporté à l'époque d'Homère[34] – говорил он то тому, то другому.

– C'est joli! – вторила ему Лилина.

– C'est peu dire joli – c'est sublime![35] – ки-нул он ей в ответ и нагнулся было к графу Пестову, чтобы сказать что-нибудь в этом роде. Но автор бросил на него внушительный взгляд, и он присмирел.

Кроме Чешнева, еще двое гостей не вставали с мест: это пожилой беллетрист, от лени, должно быть, только вытянувший немного ноги вперед, будто потягиваясь, да Иван Иванович Кальянов, сослуживец автора, точно застыл в своей позе. Даже толстый Сухов, и

тот уходил «освежиться» и принял стакан зельтерской воды с шампанским – от одышки, говорил он.

В буфете хозяин учтиво предложил и Крякову «освежиться».

– Не вредит! – сказал он и выпил стакан шампанского.

Кальянов просто не знал, как ему быть. Надежда на мистификацию рушилась – он видел это ясно: ни пересмотра проектов, ни дополнительных штатов, никаких смет, ничего такого в романе не было. А всё, что было – ему было чуждо и даже противно, вроде какой-то детской забавы.

Сдавая вступительный экзамен в университете, по факультету камеральных наук⁵, между прочим и из словесности, он запомнил имена Вальтер-Скотта, Бальзака, у нас – Загоскина и Лажечникова⁶. Позднее, в журналах, он встречал имена Жорж Занда, Виктора Гюго, помнил, какого шума наделала «Капитанская дочка» Пушкина, затем романы Лажечникова, Лермонтова и Гоголя. Но он, став на практическую точку служебных занятий, уже ничего этого после не читал – и на роман

смотрел... просто никак не смотрел. Он считал это женским или, как он выражался, бабьим делом и нахмурясь смотрел, как у его сестры, старой девушки, целый угол, точно дров, навалено было русских и французских романов.

А теперь вдруг зовут его слушать роман, – да еще требуют критики!

«Что я ему скажу? – раздумывал он про себя. – А он непременно спросит – вон то и дело поглядывает на меня! Сказать коротко „никуда не годится“, это было бы всего удобнее и искреннее с моей стороны – да нельзя, если бы и хватило духу; надо объяснить, почему не годится. Сказать „очень хорошо“, – я рискнул бы и на это, а как спросят: что именно и почему хорошо? И когда роман бывает хорош, когда не хорош – чорт знает! Нет, не один чорт: вот этот журналист, сосед мой, знает; вон и тот, лентяем смотрит – тоже знает; и старик Чешнев сидит, точно всеобщую слушает – и тот видно, что в своей тарелке!»

Он с завистью поглядывал на того, на другого из слушателей, стараясь уловить, по выражению их лиц, что им нравится, что нет,

чтобы заготовить по этому себе какой-нибудь запас заемных впечатлений, и продолжал ту-по и напряженно вслушиваться.

Автор между тем выводил лицо за лицом, рисовал ряд тонких сцен, пейзажей; чередой текли благородные, возвышенные мысли, блистали искры остроумия, слышались тоны нежных чувств или являлись штрихи наблюдательности. Все это свободно вязалось между собою, как будто разыгрывалось по нотам, и послушно выражало главные задачи или тезисы автора.

Герои были представители принципов чести, человеческого достоинства и высокой степени умственного и морального развития – до внешней выработки включительно, до умения выражать в каждом шаге и слове уважение к себе и к другим, до изящных, простых и естественных манер, до языка и всех форм общежития.

Это была чистая сфера джентльменов, салон жизни, где скорби и радости, заботы, труды и удовольствия, мысли, знание, искусства, даже самые страсти, подчинялись строгому регулятору традиционной школы вершин

жизни, доступной в европейских обществах ограниченному меньшинству.

Ничего вульгарного, никакой черновой, будничной стороны людского быта не входило в рамки этой жизни, где все было очищено, убрано, освещено и украшено, как в светлых и изящных залах богатого дома. Прихожие, кухни, двор, со всею внешнею естественностью, – ничего этого не проникало сюда; сияли одни чистые верхи жизни, как снеговые вершины Альп.

Автор читал следующие за первыми главы – одушевленное, гости слушали напряженнее. Всех охватывал интерес широко раздвинувшегося в рамках романа.

Только газетный критик Кряков становился все сердитее по мере того, как развивался ход романа, да еще толстый Сухов вздыхал вслух от нетерпения. Среди одной сцены, происходившей где-то в Италии, он даже сказал вполголоса своему соседу генералу: «Завтра дождь будет!»

– А что? – спросил тот.

– Мозоли ноют. У тебя есть мозоли?

Тот отрицательно покачал головой.

– Мозоли бывают только у учителей да почтальонов, – прибавил он почти обидчиво.

На них разом взглянули и автор, и хозяин; они смолкли, и Сухов начал громко дышать носом.

Княгиня Тецкая, когда читались сцены свидания молодых людей наедине – вздрагивала, а при описании одной дуэли нервно ахнула.

Княжна раз шесть напускала на лицо непонимание невинности.

– Mais elle est prude, ta cousine[36], не может переносить таких целомудренных сцен! – тихо говорил офицер статскому, поймав раза два такое выражение на ее лице.

– C'est vrai! c'est pour cela que je lui fournis les volumes de Zola; il y en a un – dans ce moment qui l'attend dans l'antichambre: «La Curée». Elle le supporte parfaitement bien...[37]

Оба старались подавить смех. Хозяин издали погрозил им.

Автор все чаще и чаще обращался взглядом к графине Синявской, стараясь уловить ее впечатление.

При слабых местах, длиннотах, глаза ее

рассеянно оглядывали стены, останавливаясь на дочери или смотрели вниз, на ковер. Не то – так она машинально доставала конфекту из вазы и подавала дочери.

Напротив, при живых сценах, она не сводила глаз с автора, а когда появлялись лучи поэзии, тонкие штрихи наблюдательности и сверкала, неожиданностью или смелостью оборота, мысль – взгляд ее делался мягок, на губах бродила свойственная ей загадочная улыбка. И автор читал тогда увереннее и оживленнее. Когда зато брови ее немного сходились, глаза теряли загадочное выражение и улыбка исчезала – он брал со стола карандаш и отмечал на полях NB; это значило – худо. Чешнев, при таких местах, тоже – или глубже опускал голову, или перекладывал одну ногу на другую.

Автор мельком замечал эти критические симптомы. Пожилой литератор гладил себя, при слабых местах, по лысой голове, как будто внутренне одобрял себя мыслью, что сам он лучше написал бы эти места.

Автор читал описание военных маневров. Все замерли в безмолвии. В стереотипное ба-

тальное изображение воинских рядов – автор вдохнул огонь, дал душу стройной живой массе и связал органически это целое одним чувством и одной мыслью. Кроме того, он несколькими деталями смягчил суровость и однообразие картины.

Графиня Синявская не сводила глаз с автора. Чешнев тоже во все глаза смотрел на него, очевидно с одобрительным чувством.

– *C'est bien écrit, n'est ce pas?*[38] – сказал вдруг, точно проснувшись и отняв руку от уха, граф Пестов, ища глазами вокруг, к кому бы обратиться.

– *Très bien écrit! oui, très bien, très bien!*[39] – энергически подхватили два-три голоса из тех, что находят всякое чтение, на которое зовут, прекрасным.

– *Pourquoi n'avez vous pas écrit cela en français?*[40] – спросил граф, обращаясь к автору и приставив руку к уху, чтоб выслушать ответ.

– И как верно, – заметил офицер, – а ведь он не военный! Откуда он знает?

– *A! c'est une grande capacité! Une tête, ce qu'on appelle!*[41] – говорил вполголоса стат-

ский. – Мы к Борелю отсюда? как бы не заперли! – шопотом прибавил он.

– Bah! on nous ouvrira![42] – уверенно заметил офицер.

– Comme c'est joli![43] – говорила Лилина княжне Тецкой.

– Oui, ch-ar-ma-nt![44] – протяжно отвечала княжна, играя веером.

– C'est divin! c'est Nomère, doublé de Tasse![45] – прибавил подскочивший Фертов, наклоняясь к княгине Тецкой. – N'est ce pas, princesse?[46]

– Ох! – сделала она, вздрогнув.

Фертов отскочил.

– Чорт знает, что это такое, эти маневры!.. Казарма! – довольно громко ворчал в углу Кряков, так что некоторые на него оглянулись.

Студент потихоньку смеялся. Редактор журнала держал себя скромно и не выражал ни одобрения, ни порицания. Профессор одобрительно покачивал головою. Приятель Греча и Булгарина, старик Красноперов, сложил руки на брюшке и, повидимому, скучал.

По мере того как чтение подвигалось к

концу, Иван Иванович Кальянов становился покойнее; он даже повеселел и смелее поглядывал на автора и на присутствующих, почти не вслушиваясь в последние страницы романа, как будто он пришел к какому-нибудь критическому заключению.

В половине двенадцатого часа автор кончил, встал и наклонил слегка голову, благодаря за внимание.

Стулья шумно задвигались, все встали, громко аплодируя, громче всех те, которые меньше всех слушали, особенно толстый Сухов – от удовольствия, что кончилось.

– У меня ноги затекли! – говорил он приятелю Греча и Булгарина, потирая икры.

Хозяин обратился было с благодарственными объятиями к автору, но тот с улыбкою уклонился от них.

– Mesdames и messieurs! – сказал он, укладывая тетради в портфель и передавая его Фертову, – мне поздно становиться в положение начинающего автора, и я не ищу авторских лавров, а представляю этот опыт пера приятельскому кругу просто как плод моего досуга. Мне давно хотелось высказать

несколько идей, наблюдений, опытов и взглядов на нашу общественную жизнь, на наши дела, досуги, даже страсти (в том кругу, как вы видели, к которому я имею честь принадлежать), между прочим, взгляд мой и на искусство, на литературу, и на роман тоже, как именно я его понимаю. Кроме того, я еще избрал роман как форму, в которой мне легче высказывать, а слушателям удобнее узнать мои тезисы и мои цели. Вот точка, с которой я желал бы, чтобы слушатели взглянули на этот плод моих досугов! Благодарю еще раз за внимание и терпение!

Рукоплескания усилились. Все окружили автора: одни протягивали руки, прочие кланялись. Только Кряков сердито смотрел из своего угла и на автора и на гостей.

– Merci! – говорил граф Пестов автору. – C'est bien écrit![47]

– Très bien écrit! tout à fait bien![48] – подхватили хвалители.

– Vous me donnerez un exemplaire; je le mettrai à côté de J. J. Rousseau[49].

– Oui, mon prince, je vous l'apporterai...[50]

Автор старался пробраться к графине, ко-

торая стояла с дочерью у своего места и собиралась уехать. Молодая девушка с наивным удивлением смотрела на автора, как на героя. На щеках у нее рдели два розовые пятнышка, она от волнения сильно сжимала обе руки у матери. Мать с улыбкою смотрела на автора. Глаза у нее тоже смеялись, должно быть благосклонно, потому что автор глядел на нее с улыбкою скромного торжества. Она молча подала ему руку, и он молча пожал ее.

– Позвольте проводить вас до кареты, – сказал он.

– Мерсі, сейчас; вот она остынет немного, – отвечала графиня, указывая на дочь. – Посмотрите, как она взволнована! Вот вам живое и непритворное впечатление! Довольны вы?

– А вы сами что скажете?

Она улыбнулась по-своему.

– Впрочем, нет, не говорите, не надо: я уже знаю ваше мнение, – прибавил он, – я его «видел».

– Запишите это выражение в роман, – заметила она, – «видел мнение»! Оно характерно, как весь роман.

Гости стояли толпой. Хозяин куда-то исчез. Офицеры и статский ускользнули к Борелю⁷, однако последний успел напомнить своей кухне, чтобы она не забыла в швейцарской «La Cuvée» Zola[51], положенной ей в пальто.

Иван Иванович Кальянов осторожно пробирался к выходу – еще шаг, и он на лестнице, как вдруг его кто-то мягкой рукою взял за плечо. Он вздрогнул, как княгиня Тецкая, и оглянулся. Это был автор.

– Ухóдите, не сказав ни слова! Нет, вы не отделаетесь, – говорил он, – подождите одну минуту: вот меня зовет княгиня, я сейчас ворочусь.

Он подошел к княгине.

– Charmant, charmant! – говорила она, вздрагивая и мигая, – я очень довольна, и Вам понравилось... Catherine, n'est ce pas?[52]

Дочь отвечала условною улыбкою.

– Жаль только, что молодой человек, – продолжала княгиня с расстановкой, – бросил службу; он испортил всю карьеру и огорчил мать!

– Ведь это бывает, – заметил небрежно автор.

– Да, как же: вот молодой Ступицын – то же самое! Зачем же описывать дурное! Это надо скрывать!

Она вздрогнула, а автор пожал плечами.

– Он бы лучше посватался к другой... как ее зовут – Лидия? – говорила она. – *Comme elle est gentille, cette petite Lydie; n'est ce pas, Catherine?*

– *Oui, maman, elle est très bien!*[53]

– Он женится на ней потом? – спросила княгиня.

– Может быть... вероятно...

– А как же княгиня... что же она? Одна, в деревне, с графом... Это ужасно! Зачем вы вывели княгиню: лучше бы простую!

Она сильно вздрогнула. Автор стал расклавываться.

– *Attendez donc*[54], еще я хотела спросить. Как же это Лидия ездит одна к этой... потерянной Лизе... – шопотом прибавила она, чтоб не слыхала дочь. – *Supprimez cela!*[55]

Она охнула и вздрогнула. Автор подошел к Кальянову.

– Что же вы скажете: довольны или нет? – спросил он.

– Прекрасно, – отвечал тот, – какое перо!.. – Он не знал, какой эпитет прибрать. – Только...

– Только – что? пожалуйста, не стесняйтесь, если не служба, так дружба обязывает вас к откровенности. Что вы заметили?

– Вот у вас, – смело заговорил Кальянов, – сказано, что восточный ветер нагоняет тучи, дождь... а я живу на даче, на Выборгской стороне, так сказать, под самым восточным ветром, и всегда замечал, что он именно приносит ясную погоду. Бывало, в ненастье, ждешь его, как благодати...

Автор засмеялся.

– А когда вы живете на даче? – спросил он.

– Вот на-днях переезжаю, на той неделе, лишь только подует восточный ветер! – отвечал, смеясь же, Кальянов.

– И останетесь там...

– До половины сентября, если вы разрешите.

– Нет, я дам вам предписание остаться, по делам службы, до января, – сказал Бебиков, – и наблюдать, какую погоду приносит восточный ветер осенью!

Он с улыбкой глядел на Кальянова, кото-

рый в раздумье старался припомнить, какова бывает погода при этих условиях.

– Но я вам благодарен, – прибавил автор, – что вы даже и на мелочи обратили внимание.

– Зато всё остальное уже безупречно! – рискнул Кальянов кинуть вслед уходившему автору, но тот, улыбаясь, как бомбу бросил ему в ответ фразу:

– Мы еще об этом поговорим!

«Вот тебе раз! – размышлял он, спускаясь с лестницы, – а я думал, что уж и отделался! Постой, постой! – вспоминал он, – у меня еще мелькали какие-то два замечания: одно – ошибка против гражданского права, а другое... другое... что, бишь, такое?» И он, очень довольный, уехал домой.

В зале слушатели вполголоса разбирали роман, стараясь выказать критический такт друг другу. Автор опять ходил с графинею взад и вперед, ожидая хозяина, чтобы проститься и уехать. Княгиня тоже собиралась уехать и укладывала свою работу в мешок. Дочь накидывала ей мантилью на плечи.

– Et où est Woldemar?[56] – вдруг спросила княгиня, оглядываясь.

– Il est parti, maman[57].

Княгиня вздрогнула.

– И не проводил нас! – сказала она, – завтра ему надо голову вымыть; он такой же непослушный, как этот офицер, про которого читали. N'est ce pas?

– Oui, maman![58]

Старик Чешнев подошел к автору.

– Что скажете, Дмитрий Иванович? – спросил он.

– Скажу, что вы сделали подвиг. Говорить, как вы сделали, надо бы долго говорить, и, пожалуй, пришлось бы кое о чем спорить. Но что это подвиг, сказать все это, стать смело против потока, – в том спорить нельзя! Вы ополчились за добрые общественные начала, за религию, за нравы, за благовоспитанность, за чистоту вкуса в искусстве; будьте же мужественны и доведите подвиг до конца!

– Аминь! – сказала графиня.

– Подвиг с вашей стороны – выслушать! – прибавил, улыбаясь, всегда находчивый автор. – Если у вас достанет терпения – я почерпну в нем силу довершить свое дело.

Пока автор выслушивал эти приветствия,

Кряков собирался уходить, но студент его не пускал. Лилина вертелась около автора, чтобы в десятый раз сказать ему свое «très joli». Графа Пестова – Фертов и другой гость вели под руки к – выходу!

– Dites lui, qu'il écrive cela en français![59] – говорил граф спутникам.

– Oui, mon prince[60], – отвечали они.

Некоторые гости позевывали в руку и тоже готовились уезжать.

– Где же Григорий Петрович? – спросил кто-то громко, – бросил нас и проститься не хочет!

В это время отворилась дверь из столовой и явился Григорий Петрович с метр-д'отелем, который на всю залу возгласил:

– Messieurs et mesdames, sont servis![61]

Все оцепенели на минуту. В столовой виден был длинный сервированный стол, ярко освещенный канделябрами, и толпа официантов.

– Прошу! mesdames, messieurs! Что это – вы собираетесь уехать! Как это можно, от ужина!

Он бросился к гостям, к дамам, упрашивал, у мужчин отнимал шляпы. Но дамы, кроме

Лилиной, отказались. Отказался и автор, извиняясь усталостью. Он подал руку графине Синявской и повел ее с дочерью до кареты.

Хозяин чуть не плакал; он убеждал всех других остаться, а упрямых почти силою толкал в столовую, в том числе и Крякова.

– Не откажите мне в удовольствии отужинать с нами! – вежливо просил он его.

– Хорошо, хорошо, – сказал тот, – это кстати, я проголодался!

Он гостеприимного хозяина как рублем подарил.

– И прекрасно! – сказал он, пожимая ему руку, – я очень рад. Митя! веди гостя и постарайся занять его, чтобы он не соскучился у нас!

Митя засмеялся и повел его в столовую, куда, под руку с Лилиной, вошел Чешнев, потом журналист, профессор, Красноперов и все прочие. Толстый Сухов и военный генерал были уже там и закусывали.

Часть вторая

Ужин

– Господа! – сказал хозяин, когда все уселись за стол, – теперь моя очередь: я автор

меню ужина. Повар только слепой исполнитель моей программы. Прошу подарить и мое произведение вниманием, каким вы почтили нынешнее чтение. Прочти меню, – обратился он к Сухову, – вон оно подле тебя лежит, чтобы гости знали, как распорядиться аппетитом.

Сухов хватился за карман достать очки, но там их не оказалось.

– Potage – nids d’hirondelles, – читал он наизусть, – filets d’éléphant и pattes de crocodile à la tortue; légumes – jonc d’Espagne au jus de scorpions...[62]

Все засмеялись.

– Какая гадость! – сказал Уранов, – ведь ты аппетит отобьешь. – И сам прочитал меню.

Вместо крокодила и слона оказались: дикая коза, стерлядь, перепелки, все примёры зелени и фруктов.

После первых двух блюд заговорили о читанном романе. Первая подала голос Лилина.

– Comme c’est joli, n’est ce pas?[63] Я все еще под влиянием этого чтения! Кажется, никогда не забуду! Charmant! Charmant![64] – твердила она с своею детскою улыбкою, как девочка,

которой подарили новую куклу.

– Вам нравится? – насмешливо спросил ее Кряков, – поздравляю вас: у вас хороший вкус!

Она сконфузилась и посмотрела на других.

– Вы не конфузьтесь! – продолжал Кряков и сам в то же время ел с большим аппетитом.

– Отчего мне конфузиться? я думаю... и другие того же мнения! – сказала она.

– Это дамское кушанье, конфетка! – продолжал он, наливая себе красного вина. – «C'est joli, très joli» хвалили вы: это достойная похвала автору из ваших уст!

Все улыбались, глядя на него, а он допил стакан с вином и, кажется, не замечал улыбок.

– Славное у вас вино! – обратился Кряков к хозяину, – и стерлядь отличная, жирная!

– Очень рад, что мое скромное угощение вам нравится! – сказал Уранов, – не прикажете ли еще? Человек, подай блюдо!

– Что ж, я возьму!

И он взял другую порцию. Все стали смотреть на него с любопытством.

– А роман все-таки очень хорош! – сказал

ХОЗЯИН.

– И как хорошо автор читает, какой приятный голос, и манера благородная. Язык тоже славный! – хвалил профессор.

– Да... это замечательное произведение в некоторых отношениях!.. – сдержанно заметил редактор журнала.

– Хорошо, очень хорошо! я с удовольствием слушал! – похвалил генерал. – Теперь что-то не пишут так!

– Как это «так»? – спросил Уранов.

– Так приятно, плавно, по-русски, чтобы всякий понимал! Возьмешь книгу или газету – и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Объективный, субъективный, эксплуатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция – так и погоняют одно другое! Вместо швейцара пишут тебе портье, вместо хозяйка или покровительница – патронесса! Еще выдумали слово «игнорировать»!

– Да и по-русски-то стали писать, боже упаси, как! – вздохнув, вмешался старик Красноперов, приятель Греча и Булгарина, – например, выдумали – «немыслимо», а чем было ху-

до слово «невообразимо»? Нет, оно, видите, старое, так прочь его! Или все говорили и писали: «Такой-то или такие-то обращаются к тому, другому или друг с другом так-то»; не понравилось им, давай менять: «такой-то *относится*-де так-то». Лучше ли это, я вас спрашиваю?

Он обратился к редактору журнала.

– Одно другому не мешает, – отвечал тот небрежно, – «немыслимо» и «невообразимо» вовсе не одно и то же, так же, как и слова: обращаться и относиться!

– Совершенно справедливо, – подтвердил профессор, – это даже и не синонимы. Зачем стеснять свободу языка? пусть он обогащается путем печатного слова! Неологизмы, чуждые духу языка, никогда не войдут в плоть и кровь его. Чем больше слов, тем лучше!

– Ты, Иван Петрович, не связывайся с ними, – сказал Сухов тихо Красноперову, – они загоняют тебя. Народ ученый!

Иван Петрович обиделся.

– Пожалуйста! не загоняют! – вслух возразил он. – Николай Иванович и Фаддей Бенедиктович не чета были нынешним, а и те ува-

жали мое мнение. Это правда, что язык обогащается постепенно, как вы изволите говорить, – обратился он к профессору, – только позвольте доложить, что это обогащение производится писателями с весом. Например, вот Николай Михайлович Карамзин ввел слово *промышленность*, его все и приняли. Василий Андреевич Жуковский тоже много обогатил российскую словесность и облагородил простонародный язык; перед ним еще Иван Иванович Дмитриев. Так ведь какие же это были и люди! Один – историограф, другой – министр, третий – наставник царских детей! Александр Сергеевич Пушкин уже шел по их следам. Вот они-то и поставили наш язык на твердое основание. А Николай Иванович Греч и Фаддей Бенедиктович Булгарин были на страже и бдительно охраняли правильность и неприкосновенность слога. Не стало их – и ворвались нововводители! Кто их послушает? Откуда они явились?

– Оттуда же, я думаю, откуда и Карамзин с Жуковским и Дмитриевым, и мы с вами тоже: все из одного места! – сказал Кряков.

Все улыбались. Лилина вспыхнула.

– Что правда, то правда! с этим спорить нельзя! – подтвердил и Сухов.

– При тех не смели бы так вольничать! – продолжал Красноперов, не слушая его, – бывало, сочинители по струнке ходили, и те из них только и выходили в люди, которые побывали в их школе. Сколько их, бывало, являлось к Николаю Ивановичу на поклон и выслушивало от него благие советы да следовали им!

– Который вам годок? – вдруг спросил Кряков Красноперова.

Общий смех покрыл его вопрос. Тот сердито молчал.

– А что? – спросил Сухов, которому, очевидно, нравился задор в противниках.

– Да уж очень отзывается добрым старым временем! – отвечал тот бесцеремонно. – Вы, я думаю, родились при «старом и новом слоге»?⁸

– А что ж, худо было, что ли, тогда, при Александре Семеновиче Шишкове? – сердито возразил Красноперов. – Тогда умели слушаться старших – и был порядок. От Греча и Булгарина доставалось немало и Александру

Сергеевичу, когда он был молод и вольничал! А прочие ходили тише воды, ниже травы.

– Как не ходить, когда их, бывало, секли, а Булгарин и Греч приговаривали! – вдруг провозгласил Кряков при общем смехе.

– Так и надо! не худо бы и теперь! – ворчал Красноперов ближайшим соседям: Уранову, Сухову и генералу, – а то уж очень расходились! Я бы всем сочинителям при полиции списки завел да выдавал бы им желтые билеты на жительство.

Кругом его все смеялись.

– За что так немилостиво? – спросил с добродушным смехом профессор. – Ведь уже это почти все было прежде; если не желтые билеты, так была, кажется, какая-то особая книга, куда записывали литераторов... Но и это не помогло: сами же вы говорите, что сочинители ушли из-под ферулы...⁹

– А зачем выпускали? Правительство ослабело, строгости нет! – горячился Красноперов, – вот и порядка нет! Страху бы нам, страху! вот что нужно, а не свободу печати!.. Дал бы я им свободу! Сколько зла от этого! Боже мой, сколько зла!

– Какое же зло? и будто все зло? – спросил, тоже смеясь, журналист.

– Какое! Вы еще спрашиваете! Разве не видите! Все колеблется, рассыпается врознь, ни у кого нет ничего святого!

– Не печать же виновата, помилуйте! – сказал журналист.

– Везде смуты, раздоры... – твердил Красноперов, не слушая.

– Потопы, трусы, брат лезет на брата, – подсказывал Сухов. – Так, так, Иван Петрович, молодец! Хорошенько их! За твое здоровье! – У тебя нынче весело, Григорий Петрович! – прибавил он, обращаясь к Уранову.

– Да, смейтесь, смейтесь! Вы сами потакаете этим новым! – горячился еще больше Красноперов, – что мудреного после этого, что дети чуть не режут родителей...

– А родители детей! – подсказывал опять Сухов. – Правильно!

– Да! и правильно! Перестанешь смеяться, как вон эдакие новые умники (он кивнул на Крякова, а Кряков в ответ кивнул ему) придут к тебе да объявят, что дом твой в Большой Коношенной не твой, а их; что все общее... А те-

бя вытолкают вон! Будет тогда «весело»!

– Господи помилуй! Что ты это на ночь пугаешь! – говорил Сухов. – Слышите, что он говорит! – обратился он к Уранову и генералу. – Не бойся, мой друг, – прибавил он успокоительно, – все эти отрицатели и разрушители, если не обо что-либо другое, так о собственность лоб себе разобьют!

– Я старше вас всех тут – и могу говорить... – настаивал на своем Красноперов.

– И говоришь по опыту, что ли?

– Бог миловал пока, а коли вы так равнодушно смотрите на все затеи да идеи этих мальчишек, что величают себя новым поколением, и мер не принимаете... так дождетесь, что и у нас заведут коммуну! Смотри-ка, что теперь делается! Старших нет, перемерли, учить уму-разуму некому! Что, если бы они восстали из гробов!..

– Их теперь посадили бы в кунсткамеру, а с ними и вас! – сказал Кряков.

Красноперов рассердился, особенно когда это замечание встретило смех даже около него.

– А вас, милостивый государь, и всех по-

добных вам сочинителей, которые так рассуждают, уж, извините, я бы не туда посадил! – горячо заметил он учительским тоном.

– Сажают, успокойтесь, господин Фамусов: вы еще не все перевелись на Руси!

Все смеялись, глядя на задор противников,

– Что это, как здесь весело сегодня! – повторил Сухов.

– Ты не обижайся, Иван Петрович! – шепнул хозяин старику, – лучше послушаем! Любопытно, до чего он договорится.

Но Красноперов не слушал.

– Что смеетесь! – говорил он раздражительно гостям постарше, – вы ему в руку смеетесь и угождаете новому поколению; да, вы унижаетесь перед ним, стыдно показаться отсталыми! Что? неправда?

– Что ты! – внушительно сказал хозяин, – что нам за надобность угождать, ведь мы не ребята; чего нам заискивать у нового поколения? Мы его не боимся и ничего не ждем от него дурного. – Вон он (он указал на племянника) тоже новое поколение: что ж, дурен, что ли? В большинстве и все они такие, и дай бог, чтоб были такие.

– Кланяйся и благодари! – сказал Кряков, погладив студента по голове.

– Какая же нам причина потакать таким ужасам, какие ты рассказываешь? – продолжал Уранов.

– Какая причина... изволь, я скажу.

– Говори.

– Вы все сами нигилисты, вот что! – брякнул он.

Все весело, со смехом, глядели на него.

– *C'est trop fort!*[65] – заметили на другом конце стола.

– Как так! Бог с тобою! – говорил Уранов. – Объяснись, пожалуйста!

– Да так! вы сами заодно с этими новыми. Кто больше, кто меньше... но все, все! Например, иные из вас – и я знаю кто – веруют в бога по-своему, а не так, как указывает православная церковь; ходят раз в год на исповедь, «для примера» – говорят; другие исповедуют противный господствующему строю правительства образ мыслей и рассуждают об этом под рукой с приятелями, а сынки слушают да на ус мотают! Что мудреного после этого, что они не признают и не уважают ничего и ни-

кого!

Все смотрели на него с любопытством и слушали с улыбкою.

– Вот извольте видеть, – заметил журналист, – а вы всё на печать!

– А печать поддерживает, подстрекает! – говорил Красноперов.

– Нельзя ли указать, где и как?

– Да везде! Где я теперь припомню? Да и припоминать нечего.

Красноперов очевидно затруднялся.

– Чего тут указывать, все никуда не годится! – ворчал он. – Вот Николай Иванович или Фаддей Венедиктович, те сейчас бы указали, за словом в карман не полезли бы! Я не цензор – что мне!

Он не знал, что сказать. Но заговорил неожиданно новый собеседник. Это был худощавый господин в синих очках, с легкою проседью, в бакенбардах, с гладко выбритым подбородком, прилично одетый. Он все молчал и слушал прилежно, смиренно потупляя взор в тарелку и по временам вглядываясь из-под очков то в того, то в другого из собеседников.

– Вы изволите спрашивать подтверждение

тому, что Иван Петрович излагали сейчас на-
счет распространения путем печати преврат-
ных идей... – сказал он вкрадчиво журнали-
сту.

– Да-с! не возьмете ли вы на себя труд дока-
зать, чем это подтверждается в печати?

– Нет-с, нет... положительным образом не
подтверждается, это точно-с...

– Вот видите! – сказал журналист Красно-
перову.

– Противного религии, – продолжал новый
собеседник, – в печати нет-с, это правда. Оно
и понятно: не позволили бы. Но зато ни один
журнал не ополчается и за религию...

– Зачем же, когда вы сами говорите, что на
нее не нападают?

– Не нападают, это так-с, – продолжали си-
ние очки, – но упадок религиозного начала в
обществе ощутителен, а поддержки ему ника-
кой нет... Например, в журналах, – и в вашем
тоже, извините, – на трех-четырёхстах стра-
ницах нигде не встретишь, чтобы упомина-
лось имя божие. Это очень знаменательно...

Все с любопытством глядели на него и на
журналиста.

– Dieu-dieu-dieu-dieu![66] – зачастил кто-то в конце стола.

– Что, не правду я говорил? – подтвердил Красноперов. – Не я один, а и другие заключают...

– Я ничего не заключаю-с, я только хотел бы прояснить этот вопрос из любопытства... – поспешно прибавил гость в синих очках.

– Кто это? – вполголоса спросил генерал у Сухова про синие очки.

– Не знаю! – сказал тот. – Надо спросить Григория Петровича.

– Сикофант¹⁰, разве не видите! – вдруг брякнул Кряков, услышавший вопрос генерала. Чешнев даже слегка вздрогнул.

– Что это, фамилия, что ли, его? – спросил генерал и немного смутился, когда некоторые засмеялись и даже Чешнев улыбнулся.

– Нет! это имя ему при крещении нарекли! – добавил Кряков.

Все старались сдержать смех.

Гость в синих очках, должно быть, не слышал.

Уранов тихонько объяснил, что фамилия его Трухин.

– Он служит у Алексея Петровича, – прибавил он, – тот прислал его на чтение вместо себя; он говорил, что этот господин все печатное читает; ни слова не пропускает, все знает и ему обстоятельно докладывает, так что тому ни газет, ни журналов читать самому не нужно.

– Что же это, по вашему мнению, значит, что имя божие не призывается в журналах всуе? – спросил журналист у Трухина, – это скорее показывает уважение к религии...

– Та-та-та, не лукавьте, милостивый государь! – остановил его Красноперов, – вовсе не от избытка благоговения не упоминаете вы о боге, а потому, что не веруете! Или веруете по Ренану: спаситель-де принес в мир прекрасное учение, а сам был хороший человек, а не бог!¹¹ Вот ведь что у вас на уме?

Все улыбались.

– Почему же вы это знаете? – спросил журналист, тоже улыбаясь.

– Как не знать! Все знают! теперь этого и не скрывает никто, до того дошло! Даже щеголяют этим: вот, мол, какие мы умные! Иначе как бы не напечатать об упадке религии и не

поддержать ее? А вы только об упадке курса пишете да перечите правительству!

– На то специальные духовные журналы есть, – заметил журналист, – там и пишут о подобных предметах...

– Да ведь вы сами говорили, что попов трогать нельзя; тронь, так вы грозите посадить куда-то автора! – заметил Кряков Красноперову.

– Вы хитры! – возразил тот, – из воды сухи выйдете! Трогать духовных особ не велят, так как вы обзовете их клерикалами, да и давай глумиться над ними!

– Это точно, бывает... – подтвердил Трухин.

– Зато, кажется, печать оказывает и немалую пользу – и правительству и обществу. Согласитесь с этим! – возразил ему журналист.

– О, конечно-с, конечно-с... большую, большую пользу! – согласился Трухин. – Печать горячо преследует кражи, убийства, всякие скандалы! Сломают ли кружку у церкви, или расхитят кассу в банке – вся пресса дружно и громко предаёт гласности и кражу и вора; всякие публичные безобразия, также неисправности администраторов, особенно повы-

ше, тоже непременно обличит, по косточкам разберет.

– Даже если пьяный с барки упадет в воду и вылезет – и то не пропустит! – прибавил Сухов.

– Чего же вы еще хотите?

– Но она нередко пропускает без внимания очень серьезные вещи, и это меня иногда удивляло, признаюсь: от беспечности ли, или от чего другого? Вот в чем мне любопытно бы попросить разъяснения... – продолжали синие очки.

– Например, какие вещи? – спросил журналист.

– Например, вот хотя бы в прошлом году произошла смута между молодежью: разнесли столы, стулья, выгнали профессора...

– Что же, пресса не умолчала; об этом все журналы прокричали.

– Заявила, единогласно заявила, – это правда, правда! И как верно, точно, отчетливо...

– Так что же?

– Мне только любопытно бы знать, – смиренно продолжали синие очки, – отчего прессы поспешила на осуждение этого поступка

по достоинству... не прибавила ни слова от себя? Не пожурила, не разъяснила неприличия. Это бы не могло не подействовать на молодые умы благотворно, я полагаю...

– А случись противное, печать бы не молчала! – заметил Красноперов.

– То есть взбунтуйся профессор против учеников, тогда бы печать напала на него! Так ли, по-вашему? – спросил Кряков при общем смехе.

– Да! так, так! не смейтесь! – ораторствовал Красноперов, – чуть где-нибудь учитель выдерет ученика за вихор, по-нашему, по-старому, или вытурит директор из училища лентяя, а тот сдуру топиться пойдет – сейчас газеты так и завопят: «ахти, какой директор злодей!»

– Если одни журналы умалчивают, по вашему мнению, о чем вы говорите, и преследуют какие-нибудь свои задачи, – заметил журналист гостю в синих очках, – зато другие становятся на защиту тех вопросов, о которых упомянули сейчас.

– Что нынешние журналы! Вот Николай Иванович и Фаддей Венедиктович – те сумели

бы постоять за порядок! – сказал Красноперов. – То был век, когда...

– Когда водились еще гориллы, от которых и произошли нынешние сикофанты! – досказал Кряков, поглядывая на синие очки.

Кругом его засмеялись, больше всех студент.

– Что это за неурядица такая, право! ну что бы всем дружно да мирно итти одним путем, рука в руку! – мечтал генерал, обращаясь к Сухову.

– И нога в ногу, по-военному! – договорил Сухов. – А ты что не идешь в своем комитете рука в руку и не ходишь нога в ногу с Кураковым и Петрицевым, а все вздоришь?

Генерал так и затрясся весь.

– С этими... – начал он.

– Сикофантами, что ли? – подсказал Сухов, и оба захохотали.

– Ну, и у сочинителей то же самое! – прибавил Сухов.

– Дух века пробивается, генерал! – сказал профессор, – кипит работа, совершается великая борьба идей, понятий, интересов... исхода которой мы, конечно, не увидим. Сила вещей

приведет все к должному концу. Нужно терпение... не мы, так дети увидят тот порядок, который должен выработаться из этого хаоса!

– Вот что значит профессор, сейчас нашел ключ к ларчику и решил – как быть и что делать, и средство такое простое предписал: терпение! Всех и успокоил! Покорнейше благодарим! – сказал Кряков, кланяясь профессору.

– Страху бы нам, страху! вот чего не достает! – твердил свое Красноперов.

– Позвольте обратиться к нынешнему чтению, – сказал хозяин, – я имею сделать предложение. Достоинство нового произведения признано, сколько я заметил, всеми слушателями...

Кряков задвигался на стуле и хотел что-то сказать, но был удержан студентом.

– Мне хотелось бы выразить благодарность автору за доставленное всем нам удовольствие, – продолжал хозяин. – У меня есть старинный кубок, работы Бенвенуто Челлини¹² – дед мой из Венеции привез, – вон он, в шкафе. – Достаньте! – обратился он к дворецкому.

Тот ушел за ключом.

– Что, если мы велим вырезать на нем все наши имена и поднесем автору на память нынешнего чтения! Как вы думаете?

– Кроме моего имени: я не желаю, – отрезал Кряков.

Все взглянули на него с удивлением.

– Очень хорошо, – вежливо, но сдержанно заметил хозяин после минуты молчания, – мы вас обойдем. А вы согласны? – спросил он, обводя глазами собрание.

– Конечно! конечно! Какая славная мысль! Покорнейше просим! – раздалось со всех сторон.

– Меня, меня не забудьте! – нежным голосом просила Лилина.

Дворецкий подал кубок, и все передавали его из рук в руки.

– Отчего вы не желаете присоединиться к нам? – спросил кротко Крякова старик Чешнев. – Вы имеете какие-нибудь свои особенные причины?

– Да, имею.

– Или не находите роман заслуживающим этого внимания?

– Да, и роман не нахожу заслуживающим! – так и рубил Кряков.

– Если б это было и так, то, независимо от критики, наш кружок хочет благодарить автора за его намерение сделать удовольствие...

– Пусть благодарит, а я не стану!

Чешнев вздохнул с прискорбием. «Отчего же?» – спросил он.

– Зачем он написал этот роман? – задорно упрекнул Кряков.

– Как зачем? вы слышали, как он объяснял свои мотивы: желание, в форме романа, высказать несколько идей, наблюдений, опытов... И он успел, не только со стороны содержания, но и формы, и дал тонкое, изящное произведение...

– Незачем распространять свои допотопные идеи и возвращать нас за сто лет назад! Это все отжило! А если написал для забавы, так читай на ухо тому глухому графу, что подле него сидел, да вон господину Красноперову; те и удовлетворятся! А он собрал вон сколько народу, это уж публика; значит, у него не просто забава была на уме, а поучение, претензия! Пожалуй, и в печать сунется!

Покажись только, я бы ему дал знать!

Студент засмеялся.

– Этот критик в самом деле, должно быть, крокодила объелся! – шепнул один гость другому – из тех, что находят всякое чтение, на которое зовут, прекрасным.

Все молчали. Кряков тоже замолчал и сердито жевал, обводя гостей глазами и ожидая возражения.

Старик Чешнев был как будто лично оскорблен. По своей впечатлительности он был до крайности чуток и, ощущая приятное и неприятное, как тепло и холод, не мог воздержаться и не выразить своего ощущения словом или жестом, иногда речью.

– Если б это было и так, если б этот роман не имел достоинств и его не следовало писать, и даже читать, – говорил он соседу своему вполголоса, медленно, точно пел, – то неужели этот гость, приглашенный в интимный кружок друзей автора, не понимает неуместности своего протеста!

Он вздохнул и опустил голову.

– Вы обо мне говорите? – резко обратился к нему Кряков, до которого долетело несколь-

КО СЛОВ.

Чешнев взглянул на него как будто с со-
страданием и не сказал ничего.

Уранов начал немного беспокоиться и по-
глядывал с недоумением то на Крякова, то на
своего племянника, как бы спрашивая по-
следнего глазами: «какого это гостя привел
ты ко мне?» Но студент старался не смотреть
на дядю.

– Вы требуете, чтобы я хвалил то, что нахо-
жу дурным; это противно моим принципам! –
заклучил Кряков.

– Слышишь – «принципы», это стоит «иг-
норированья», – тихо заметил генерал Сухову.

– Вы дали преимущество одному принци-
пу и забыли о других, которые нужно было
тоже соблюсти в эту минуту здесь... – сказал
небрежно Чешнев, глядя в сторону.

– Вы хотите дать мне урок приличия? Бла-
годарю! Но я ему не последую – и в угоду вам
или хозяину, за его ужин, не стану восхи-
щаться тем, что никуда не годится. Это заячьи
души способны так поступать!

– Ого! – заметил кто-то в конце стола.

– Этого и не нужно, никто и не просит! –

учтиво заметил Уранов, – тем более что роман и не напечатан, а прочтен нам по доверию, в надежде на снисхождение.

– Ах, какая институтка ваш автор – в снисхождении нуждается! Зачем и писать в таком случае?

– Позвольте, однако; нельзя же все порицать в романе, в нем есть, конечно, недостатки, но есть и большие достоинства... – заступился профессор.

– Одни только недостатки! я ничего больше не вижу! – решил Кряков.

– Помилуйте, когда все общество... – заговорили некоторые.

– И какой это роман? разве это роман? – вызывающим голосом возражал Кряков.

– Что же вы называете романом? – спросил Чешнев.

– Я не даю уроков эстетики, вон спросите профессора! – ответил, точно брыкнул, Кряков, однако прибавил: – Ведь роман есть или должен быть художественным произведением... так, что ли, господин профессор?

– Так что же-с?

– Разве здесь есть художественность... в

том, что нам читали сегодня?

– А позвольте вас спросить, – смиренно заговорили синие очки, – изволили вы читать и к какому роду произведений, художественных или нехудожественных, вы относите, например, роман французских писателей Эркмана-Шатриана «История одного крестьянина»¹³?

– Высокого художественного достоинства! – отрезал Кряков, мутно поглядев на него.

– Так-с! – сказал тот потупившись.

– А позвольте мне, – также смиренным голосом, передразнивая синие очки, заговорил Кряков, – в свою очередь, спросить вас, отчего именно об этом романе спрашиваете вы меня?

– Относительно художественности... за ним, кажется, французы не признают этого качества, – заметил гость, потупляясь к тарелке.

– Ты читал этот роман? – спросил Уранов у Сухова.

– Нет! я не читаю и русских новых авторов, – отмахивался Сухов, – пробовал, да бро-

сил.

– Что так?

– По ночам стал кричать!

– Да что там такое описывается? – добивался Уранов.

– Революция! – вызвался объяснить Кряков, но прежде шопотом спросил студента: «Не вру ли я? я забыл! кажется, там революцию превозносят?» – «И я забыл; да ничего, сойдет!» – отвечал тот и засмеялся.

– Там герои первой французской революции уподобляются древним римлянам! – смело провозгласил Кряков громко Уранову. – Так вот ваши гости, господин Красноперов да господин... (он поглядел на синие очки) Синюков, кажется, и собираются высечь меня за то, что я хвалю этот роман. Так ли? – прибавил он, глядя на них обоих.

– Да, теперь Марата, Робеспьера и Дантона чуть не в святые возводят; это всё новые... с своим прогрессом! – добавил Красноперов.

– Ну, а что ты скажешь, Иван Петрович, – обратился Уранов к Красноперову, – о романе нашего автора? Ты все воевал против молодых литераторов, а ничего об этом не сказал!

– Не одобряю! – решил Иван Петрович.

– Что так? ведь в нем религия поставлена выше всего; и долг, и военная честь, и патриотизм, все есть!

– Так-то так... Но об этом надо бы не в романе писать, – не место там! – а в серьезном сочинении изложить! А то в романе – нашел где! Да и какой это роман – они правду сказали... – Он указал на Крякова.

– Слышишь, Митя? я пай-мальчик стал, папа-Фамусов похвалил! – прибавил, осклабясь, Кряков.

– В романе нет ничего особенного, необыкновенного... – прибавил Красноперов.

– Как особенного?

– Так! описывается все, что каждый день везде случается: что ж это за роман?

– Значит, изображается жизнь, как есть, что и следует изображать в картине, – снисходительно заметил профессор.

– Зачем же изображать, если я это каждый день и так вижу!

Все засмеялись.

– А тебе чего же надо? – спросил Сухов, – чтобы люди на головах ходили или ели друг

друга, что ли?

– Да, пожалуй; если это случится – и опиши!

– Где вы учились? – вдруг спросил его Кряков.

– А вам на что? – сердито возразил старик.

– Любопытно бы знать! – сказал тот. – Я отдам туда своих детей.

Смех был общий.

– Да ведь Гоголь писал тоже все, что каждый день происходит... – заметил студент.

– Ну и скверно! – хладнокровно решил Красноперов. – Недаром Фаддей Венедиктович не мог его терпеть! и Николай Иванович тоже! Вон давали мне «Мертвые души»: я думал, судя по заглавию, в самом деле что-нибудь особенное, романическое; а там плут какой-то собирал имена умерших после ревизии крестьян, чтоб заложить их! Что ж тут интересного? И нынешний ваш автор описывает, как молодой человек влюбился в женщину и оба тайком уехали в деревню, да там и нежничают! Какая редкость! Я думаю, с каждым поездом десятки таких влюбленных пар уезжают – так обо всех и писать!

Все с веселой улыбкой слушали эту критику.

– Какие же романы вы признаете занимательными? – спросил Чешнев.

– Теперь я не знаю, а прежде бывали хорошие романы! – сказал он.

– Например?

– Например... хоть бы: «Черная женщина» – Николая Ивановича, «Кощей бессмертный», «Выжигин» тоже, «Эвелина де-Вальероль» – Нестора Васильевича Кукольника, «Постоялый двор» – Степанова. Был еще, помню, английский роман «Мельмот Скиталец»¹⁴. Вот «Ледяной дом» Ивана Ивановича Лажечникова... Это роман! как изо льда домик сделали, свадьбу там играли, человека заморозили...

– Вот это критик, так критик! Молодец Иван Петрович! за свое постоит! – говорил Сухов. – Превесело у тебя сегодня, Григорий Петрович! – прибавил он, обращаясь к Уранову и поглядывая на Крякова и на Красноперова.

– Вот видите, какая разница во взглядах на роман! – смеясь, заметил Чешнев. – Сказать – «роман», значит, сказать: пиши, что хочешь!

Вот тут (он указал на Ивана Петровича) требуют чудес, небывалого; а здесь назвали «Histoire d'un paysan»[67], книгу, которая мало подходит под ваше определение романа... – Он обратился к Крякову.

– Пожалуй, это не роман в шаблонном смысле, – сказал тот, – но это великое произведение ума!

– Пусть произведение ума – по вашему мнению – но не искусства же! – заметил профессор.

– Пора бы бросить эти школьные перегородки! – ворчал Кряков, глядя исподлобья.

– Да не вы ли сами сейчас, на вопрос Дмитрия Ивановича, сказали, что роман должен быть художественным произведением...

– Знаю, знаю! что вы мне тычете в глаза моими словами! – перебил Кряков.

Все засмеялись.

– Ah, sapristi, quel langage![68] – заметил кто-то вполголоса в конце стола.

– А это ваше sapristi – какой «лангаш», элегантный, что ли? – вдруг обратился Кряков к говорившему.

Опять все засмеялись.

– Превесело! – говорил Сухов.

– Я из ваших же лекций добыл это определение романа! – сказал Кряков профессору.

– И применили его к одному сочинению; отчего же не применить и к другому? Позвольте, однако, возвратиться к прочитанному сегодня произведению и объяснить, к какой категории романов принадлежит оно; тогда уже можно определить и его достоинство, – сказал профессор.

– Ну, лекция начинается, слушайте! – ворчал Кряков.

Профессор услышал.

– Я не имею претензии читать лекцию, – сказал он скромно, – я только хотел выразить и свое мнение... наравне с другими, ни более, ни менее... если хозяин позволит...

– Сделайте одолжение! помилуйте! продолжайте! мы просим! – раздалось со всех сторон. Хозяин бросил недовольный взгляд на Крякова и на племянника тоже.

– Определение, что роман должен быть художественным произведением, – верно, – начал профессор, – так и в учебниках написано, вы правду говорите (он обратился к Крякову).

Все дело в степени художественности, то есть в степени таланта. Одни писатели дорожат более всего своею идеею, так сказать, внутреннею задачею, заботясь о том, что́ выразить; для них искусство – средство, а не цель; другие, напротив, увлекаются формою, дорожа тем, как выразить; наконец третьи, первоклассные таланты, счастливо соединяют в себе и содержание, и форму. Много ли таких! Диккенс, Теккерей, Бальзак, Пушкин, Лермонтов, Гоголь не родятся на каждом шагу...

– Какие новости рассказываете! – перебил Кряков, – что мы, пансионеры, что ли!

Все улыбнулись.

– Позвольте, позвольте, слово за профессором! – учтиво заметил Уранов.

– Наш автор, без сомнения, принадлежит к первой категории, – продолжал профессор. – Он выбрал себе задачею, как он нам сам пояснил, заключить в форме романа свои идеи, наблюдения, может быть, личные опыты, и вообще ход жизни, со всею ее игрою и видоизменениями, в том кругу общества, в котором он родился, воспитался и вырос. Он осветил его светом своего ума, воображения и наблю-

дательности, но преимущественно ума...

– Très bien![69] – громко произнес один гость.

– Написать такой роман уже само по себе не умно, а вы еще воображение у него нашли! – заметил Кряков.

– Автор, – продолжал профессор, не оставившаяся, – старается, в своем взгляде на воспитание, на нравственность, на деятельность и страсти своих героев, подойти к общему идеалу, к норме...

– Слышишь, – сказал генерал, тихо толкая Сухова локтем, – профессор-то: «норма»...

– Или к идеалам о долге, чести, вообще достоинства человека, преимущественно воина. Этому званию – сколько до сих пор можно видеть – автор посвящает свой труд. И книга его, без сомнения, будет иметь воспитательное значение...

– Да, Телемака написал, этот новый Фенелон¹⁵! – перебил Кряков.

– Позвольте, не перебивайте профессора! – опять заметили ему.

– Но, стремясь к своей особенной, специальной цели, – говорил далее профессор, – ав-

тор не забыл и условий искусства. Он в значительной степени удовлетворил требованиям романа; там много, как все, конечно, помнят, пейзажей, которые, очевидно, писаны с любовью, с самой натуры; много есть изображений нравов... нежных, грациозных сцен любви, много метких наблюдений, искр мысли... Чего же вы еще хотите?

– Ведь мы слышали сами и знаем, что там написано! Ну-с! дальше проповедуйте! – не утерпел сказать Кряков.

– Il parle très bien![70] – повторили одобрительно в конце стола.

– Дело! дело! именно так! вы высказываете общее всем нам впечатление! – говорил Уранов.

– C'est très beau ce qu'il dit![71] Как верно! – подсказала и Лилина.

– Если хотите, – продолжал профессор, – строго говоря, роман относится к той категории произведений, которые называются тенденциозными и из которых создалась в новое время целая литература. Я не поклонник утилитаризма в искусстве...

– «Тенденциозный», «утилитаризм»! – шеп-

тал генерал, пожимая плечами.

– Чего же вы поклонник? «*поэзии живой и ясной*» или «*сладких звуков и молитв*»¹⁶, что ли? – перервал Кряков.

– Да позвольте говорить профессору! – остановливал хозяин Крякова.

– Да, между прочим, я поклоняюсь и этому, – подтвердил профессор. – Но прежде всего я требую свободы для искусства, а на него в новое время хотят наложить оковы; оно не потерпит этого! Высокий талант не выкинет, конечно, из своей картины страданий, бед, зол, тягостей и нужд человеческих, – но кисть его при этом не обойдет и светлых сторон жизни; тогда только и возможна художественная правда, когда и то и другое будет уравновешено, как оно есть и в самой жизни. А новая школа уже сделала себе специальность, можно сказать, ремесло, служить только утилитарным целям, заставить искусство искать только всяких зол, под святым предлогом любви и сострадания к ближнему...

– А вы себе взяли привилегию, что ли, на любовь к ближнему? И чем вы ее выразили, вы, наши «строгие ценители и судьи»? – резко

спросил Кряков. – Мы хоть путем отрицания и обличения наводим на эту любовь, а вы чем?

– Запретить бы эти обличения! – сказал Красноперов. – Это они пишут в пику правительству: «вот-де – не смотрит, не печется!» Не их дело совать нос в больницы да в тюрьмы; на то установлены комитеты!

– Открывать глаза обществу на наши общественные нужды и недуги – цель, конечно, почтенная, – продолжал профессор, помолчав, – и искусство повинно принести свою лепту, и давно уже принесло ее. А наши ревнители добра наладили на эту тему и умышленно обходят светлые стороны жизни, впадают в преувеличения, в односторонность и, стало быть, перестали быть правдивы!

– Какую вы дичь порете! зачем? – вдруг произнес Кряков.

На это, после минутного оцепенения, последовал взрыв смеха. Чаша переполнилась, и обижаться было невозможно. Никто и не обиделся: ни оратор, ни хозяин. Только Чешнев горестно вздохнул и опустил голову на грудь.

– А к тому я порю эту дичь, – упирая на слово дичь, сказал профессор, ободренный общим сочувствием к нему, – чтобы выяснить, что в одних романах, например в «Коперфильде» или «Пиквикском клубе» Диккенса, в «Père Goriot» и «Eugénie Grandet»[72] Бальзака, в «Капитанской дочке» и «Герое нашего времени» – художественность задачи есть и цель, и средство; а в других, как и в прослушанном нами сегодня, преобладает мысль автора, на помощь которой он призвал искусство...

– А оно не пришло, сказали бы коротко и ясно! Зачем же лекцию читать? – добавил Кряков.

– Нет, я не скажу этого, – возразил профессор.

– И никто не скажет! – сказал хозяин.

– Никто! – повторили и другие.

– Значит, все-таки тенденция есть, – заметил журналист, – стало быть, вы допускаете и тенденциозные романы!

– Я все допускаю, где есть ум или талант, – прибавил профессор.

– Покорнейше благодарим! Как вы доб-

ры! – иронически сказал Кряков, – за что же было ворчать на роман «История одного крестьянина»?

Он кивнул туда, где сидел господин в синих очках.

– Стало быть, тенденциозный роман все-таки нужен и имеет *sa raison d'être*[73], – продолжал журналист.

– Что, верно, русского пороха нехватило, так давай из Франции выписывать! – тихо заметил генерал.

– Ведь есть моменты в истории, – говорил далее журналист, – когда совершаются такие крутые повороты от одного круга идей, понятий, событий к другим, которые требуют усиленного и совокупного участия всех нравственных сил, какими располагает общество, между прочим, и искусство. Согласитесь, что наше время будет отнесено историей к числу таких раздражительных и горячих моментов...

– Совершенная правда! – согласился профессор, – искусство и приняло на себя часть общей работы; в нем и возобладало отрицательное направление. Современная литерату-

ра грешит только тем, что злоупотребляет этим, насилует искусство, признает только одно обличительное направление и гонит все другое, как будто бы ненужное...

– Что ж, Ламартин нужен, что ли?¹⁷ отчего же он побледнел, а Гюго, например, пережил его? – перебил Кряков. – Или отчего Гейне сделался представителем лирической поэзии в Германии, как не оттого, что в нем есть, говоря вашим красноречивым слогом, святая злоба, попросту – спирт, злой ум и талант? Подите вы с своими «сладкими звуками и молитвами»! Чего слаще Ламартина и где больше молитв, как не у него, а его забыли; что же это значит?

– Нет, не забыли и не забудут, – заметил профессор, – он был поэт своего века и останется в истории литературы; ни Виктор Гюго, ни Гейне не превзойдут его, ни пафосом чувств, ни высотой мысли. Но он жил в своем времени и отошел вместе с ним, как отойдут, в свою очередь, и другие. Кроме стихов, он оставил след как и историк; его «История жиронодистов»...

– Какая это история! Это плохой сентимен-

тальный роман! – сказал Кряков.

– Ну, нет, с этим позвольте не согласиться! – заметил Чешнев, – и французы не разделят вашего мнения.

– Это еще не причина! во Франции тоже немало слюняев! – отозвался Кряков.

– Се «тоже» est imrayable! Oh, l'enfant terrible![74] – заметил кто-то в конце стола.

Кряков покосился туда, как будто отыскивая виноватого.

– Таким образом, по-вашему, оказывается, – сказал журналист профессору, – что роман, в тесном смысле, как изображение жизни, должен быть произведением творческого искусства; но никому, конечно, нельзя запретить называть романом и произведение ума, под одним условием, чтобы он не был скучен...

– *Conditio sine qua non*[75], – подтвердил профессор.

– Опять пороху нехватило! – сказал генерал Сухову.

– Ведь это ученый разговор, так как же без латыни! Ах ты, Скалозуб! – сказал Сухов, ударив его ладонью по коленке.

– Нет ли у вас еще чего-нибудь о романе? Или вы все выложили из мешка? – спросил насмешливо Кряков.

– Есть еще одно последнее сказанье, но я уж, право, не знаю, говорить ли... Я, кажется, и так употребил во зло внимание собеседников...

– Да, кажется! – вставил Кряков.

– Эту дурную привычку говорить много...

– И говорить прекрасно! – прибавил Уранов.

– Эту привычку я приобрел на кафедре. Но, извините, я перестану; я вижу явные знаки нетерпения. Вон господин Кряков ждет не дождется...

Он с улыбкою глядел на Крякова.

– Ничего, продолжайте! ведь и поданная к крыльцу лошадь ржет и бьет копытом от нетерпения... но на это никто не смотрит! – вдруг храбро сказал генерал.

Общий хохот покрыл его фразу.

– *Bien dit!*[76] – сказал один гость.

– Да, метко! не в бровь, а прямо в глаз! – к общему удивлению добродушно заметил Кряков и тоже рассмеялся, пряча нос в бороду. –

Браво, генерал, по-военному! – прибавил он. – За ваше здоровье!

Он выпил вино.

– Il fait bonne mine à mauvais jeu, il n'est pas sot![77] – сказал опять тот же гость.

Кряков сердито поглядел на него.

– Ругайтесь, сколько хотите, а похвал ваших не просят! – отрезал он. – Вещайте же нам ваше последнее сказание! – обратился он к профессору.

– Я хотел только заметить, что новые писатели дают слишком много места реализму. Но об этом говорено так много, что скучно становится. Отвергают все основы искусства... дошли до абсурда.

– Слышишь – «абсурд», каково слово! Он эдак и на кафедре преподает? – заметил генерал, обращаясь к Сухову.

– Послушать реалистов, – продолжал профессор, – так они одни только внесли правду в искусство тем, что гонят фантазию, какие-то «украшения», то есть поэзию! Что может быть, например, правдивее Пушкина? Но правда не мешала у него и фантазии, и неге, и юмору...

– Полноте кадить этому певцу барства, «праздной скуки» и «неги томной»!¹⁸ – возразил Кряков. – Ведь сами сейчас упомянули о духе времени; этот дух скоро снял его с пьедестала. Старики захлебывались, бывало, его стихами, а теперь кто их читает! И сам он захлебывался своею славою и провозгласил: *«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа!»* Народ и не подозревает этой «тропы», а поклонники давно забыли ее... и могила-то, говорят, развалилась вся! Даже некому там и указать ее! Нашли у кого правду! прочтите-ка, например, хоть *«В вратах эдема ангел нежный»*, – как это правдоподобно!

– Извольте, прочту! и вы сами увидите, что это правдиво; вы счастливо попали!

Профессор буквально исполнил предложение критика и прочел стихотворение наизусть. Все аплодировали – конечно, Пушкину.

– Какая ерунда! – сказал, поморщившись, Кряков.

Студент покатился со смеху и спрятался за спину Крякова.

– Если вы, – запел жалким голосом Чешнев, обращаясь к Крякову, – не видите перед глазами живую картину – сияющего у эдема ангела и демона, летающего над бездною, если не чувствуете глубокой идеи, таящейся в этой картине, то вы можете принять девиз Данте – «оставь всякую надежду на поэзию»...¹⁹

– Но не на правду! А она одна поэзия и есть! – перебил Кряков. – Кто сейчас сказал, что искусство должно изображать жизнь? Откуда же Пушкин взял этого чорта над бездной: из жизни, что ли? Или он видел этого ангела?..

– Видел, – сказал профессор, – в своей фантазии, и мы все видим...

– Ну, так, стало быть, вы верите в чертей; что с вами и разговаривать! Пусти, уйду! – говорил Кряков, стараясь вырвать полу платья из руки студента.

Но, однако, не ушел.

– Боже мой! – тосковал Чешнев, – какая ложь, какое искажение человеческой природы! Жить без идеала, то есть жить без цели! Отрешиться от фантазии – значит, оборвать все цветы, погасить солнечные лучи... обра-

титься в тьму крошечную...

– Зачем? не надо только врать! Пусть говорят про солнце, да не называют его «Фебом с золотыми перстами» и тому подобную дичь! Вы называете идеалом праздное и болезненное мечтание! У человека один идеал – правда! Правда в науке, правда в жизни, правда в искусстве... и пиши ее, как она есть: без прикрас, без ваших лучей...

– Отлично! отлично! браво, Кряков! – аплодировал студент, так что Уранов, незаметно от других, сердито погрозил ему пальцем.

– Не мешай! – строго остановил его и Кряков.

– Да такой нет правды, никто ее такую не видал и нельзя видеть! – говорил Чешнев.

– Еще замечу об объективности, – сказал профессор. – Новые писатели хотят простереть ее слишком далеко. Художник, конечно, не должен соваться своею особою в картину, наполнять ее своим я – это так! Но его дух, фантазия, мысль, чувство – должны быть разлиты в произведении, чтоб оно было созданное живым духом тело, а не верный очерк трупа, создание какого-то безличного чаро-

дея! Живая связь между художником и его произведением должна чувствоваться зрителем или читателем; они, так сказать, с помощью чувств автора, наслаждаются картиною, как, например, нам в этой комнате всем покойно, тепло, уютно... но если б вдруг наш гостеприимный хозяин скрылся куда-нибудь – комната перестала бы согреваться его радушием, и мы остались бы как в трактире...

– Bravo! bravo! – раздалось со всех сторон, вместе с рукоплесканиями этому юмористическому обороту речи.

– Dieu! comme il parle bien![78] – говорили в конце стола. – За здоровье профессора!

Все чокнулись с ним бокалами.

– Знаете ли что, господин профессор: ведь этот ужин тонкий, дорогой, – сказал Кряков, – куда вам вашим красноречием заплатить за него!

Студент фыркнул от смеха.

– Что это вы говорите, – с вежливой строгостью заметил хозяин, – к чему тут ужин! как вам не стыдно придавать такое значение дружеской беседе!

– Не оспаривайте этого, – возразил Кря-

ков, – ни профессору, ни мне так ужинать часто не приходится; ужинать сами мы вас не позовем, а заплатить за гостеприимство хочется! Это хотя и не поэтическая, а житейская правда! Так ли, господин профессор?

Но профессор с достоинством молчал.

– Не любят правды ни в искусстве, ни в жизни! – со вздохом сказал Кряков. – Кажется, я один только и есть правдивый человек здесь! Как ты думаешь, Митя? – обратился он к студенту и сильно хлопнул его всею ладонью по плечу.

– Смотрите, драться стал! – сердито глядя на него, шепнул старик Красноперов.

Некоторые из гостей в конце стола сделали брезгливую мину.

Все молчали. Уранову было как-то неловко. Он поглядывал с упреком на племянника, но тот упорно продолжал избегать его взгляда.

– А зачем эти новые так пишут? – спросил генерал.

– Как зачем! Чего больше спрашивают, то и пишут. Новые пути открывают... ты слышал? – объяснял Сухов. – Ведь и у вас вон пе-

рестали теперь шагать выше носа да глядеть в одну сторону, а тоже ввели беглый шаг и врассыпную, что ли! Солдат грамоте выучили, и мало ли чего завели нового!

– И напрасно! – сказал со вздохом Красноперов, вслушавшийся в их разговор, – вот увидите, каких бед наживете. У вас, слышь, и палки отменили... и чуть не глядят по голове виноватых!

– Вы изволите спрашивать, отчего новые так пишут? – обратился профессор к генералу, – оттого, что легче. Творчество не всякому дается, а реализм и техника – это две двери, которые отворяются перед всеми, кто постучится в них! Даже школу выдумали... а школы не выдумываются, а создаются гениальными талантами: таких теперь нигде нет! Диккенс, Пушкин и Гоголь не подозревали, что создают школу, а она создалась ими! А эти господа сами заявляют о своей школе!

– «Реализм» да «техника» – объяснил, нечего сказать! – шопотом заметил генерал Сухову.

– Все это как нельзя более справедливо, – сказал Чешнев, – и я, начав этот критический

турнир, был очень рад, что вы взяли из моих рук копье и ратовали победоноснее меня. Все сказанное вами, как вы основательно заметили, послужит нам нормою для определения достоинства прочитанного нами романа. Вы очень верно заметили, что наш автор не строго объективный творец-художник...

– Однако с задатками творчества! – прибавил профессор.

– И он дал нам увлекательное изображение, – продолжал Чешнев, – в широкой раме той жизни, в сфере которой он живет... и мы все здесь – за отсутствующих мы тоже поручимся – должны признать за этим романом...

– Большие достоинства! – подтвердил профессор.

– Да, замечательное произведение, – равнодушно прибавил журналист.

Кряков повернулся на стуле при этих похвалах.

– Да перестаньте! – сердито заметил он.

Но ему не отвечали.

– Стало быть, автор вполне достиг цели, к которой шел, и мы можем – если позволите, – прибавил Чешнев, обращаясь к хозяину, – вы-

пить за его здоровье и благодарить за удовольствие, доставленное нам...

Все чокнулись и выпили.

– Выпить-то и я выпью! – заметил Кряков и выпил, но не чокнулся ни с кем.

– А какой правильный, обработанный язык! – сказал профессор.

– Да, славно пишет! – подтвердил генерал, – только жаль, что и у него попадаются – то иностранные, то мудреные слова, например: коалиция, элементы, еще что-то...

– В корректуре это все вероятно будет исправлено, – сказал журналист. – Хорошо бы немного придать разнообразия, небрежности языку, что называется abandon[79]. А то уж слишком гладко, прибранно, стилисто!

– Вы, конечно, – обратился Чешнев к журналисту, – охотно приняли бы его на страницы вашего журнала?

Журналист задумался и не сразу отвечал.

– Я не знаю... надо подумать... поговорить с моим сотрудником по части беллетристики, – отвечал он уклончиво.

– Но ведь вы находите в романе достоинства?

– О, конечно; но этого мало. Журнал мой издается в известном направлении – следовательно, все, что входит в него, должно или отвечать этому направлению, или по крайней мере не противоречить ему резко...

– Кажется, автор отдельного самостоятельного сочинения отвечает сам за себя, – заметил Чешнев, – и журнал, помещающий его на своих страницах, играет тут роль только магазина, принимающего вещь для продажи.

– Нет, это не так! – сказал, засмеявшись, журналист. – Тогда это был бы не журнал, а сборник, альманах...

– Кому охота разводить скуку в своем журнале? – заметил Кряков, шептавшийся с студентом и услыхавший последние слова.

– Позвольте не согласиться с вашим отзывом, – твердо сказал хозяин, – роман не скучный... Мы все налицо – и все скажем противное.

– Все! все! – дружно сказали голоса.

– Скучный! утомительный! – твердил Кряков, – я не мог высидеть...

– Это еще не причина! – с учтивым смехом возразил Чешнев.

– Однакож высидели! – заметил хозяин, – я даже, извините, видел, что, при чтении иных страниц, ваши глаза, как бы это сказать, блистали, – значит, было занимательно...

– Я хотел бежать, да вот он не пускал! – сказал Кряков, указывая на студента.

– *C'est très joli, charmant!*[80] тут нельзя соскучиться... Когда и кончилось, все еще слушали, хотели продолжения!.. – говорила Лилина и другие.

– Да и скука – дело условное, – сказал Чешнев, – есть много умных, почтенных людей, которым скучен и Гомер, и Шекспир! Я сам знаю таких, которые тотчас уходят, лишь только заиграют при них из Моцарта или Бетховена, но с удовольствием слушают шансонетки из «Елены Прекрасной» или «*Duchesse de Gérolstein*»²⁰[81]. Другие не терпят исторической школы в живописи и отворачиваются от Тициана и Рубенса, а засматриваются *tableaux de genre*[82]. Многим даже всякий разговор образованных людей в салоне скучен...

– *C'est vrai, c'est vrai! Bien dit!*[83] Да! это верно, метко! – одобряли в конце стола.

Кряков обводил глазами говоривших, как бульдог, будто выбирая, на кого бы наброситься.

– Так вы сравниваете вашего автора с Гомерами, Рубенсами и Тицианами! Ха! ха! ха! – захохотал он, – поздравляю вас и пью за ваше здоровье!

Он, иронически кланяясь Чешневу, выпил свой бокал.

– Я выпью за ваше и пожелаю, – медленно, с жалостью в голосе, возразил Чешнев, – чтобы на вас пал луч человеческой правды!

И он выпил.

– Разве я лгу? – с азартом спросил Кряков.

Чешнев сделал отрицательный знак достоинства.

– О нет, Боже сохрани! вы весь искренность! но вы заблуждаетесь и к тому же сердитесь – следовательно, вы вдвойне неправы! И в эту минуту неправы, зная, что я вовсе не сравниваю автора ни с Гомером, ни с Тицианом – и говорите в гневе. Пошли же Господь мир душе вашей!

– Аминь! – сказал Сухов при общем смехе. – Пошли за попом, – прибавил он тихо Урано-

ву, – может быть, тот отчитает его! Превесело, право! Я непременно познакомлюсь с ним, поеду к нему и приглашу к себе обедать.

– Да поедем уж вместе; мне надо же ему карточку завезти! – сказал хозяин. – Митю возьмем с собой! А знакомиться – нет, бог с ним! Вон он какой оригинал!

Кряков между тем смотрел на всех рассеянно, позванивая вилкой по тарелке. Он, по-видимому, начинал терять, при сосредоточенном на него общем внимании, то, что называется *contenance*[84], или стал уставать от неловкости своего положения.

– Помоги мне выбраться как-нибудь незаметно! – шептал он студенту.

– Посиди еще немного, вместе уйдем! А пока скажи еще что-нибудь, – отвечал тот.

– Вот вы говорили, – вдруг начал Кряков, довольно покойно обращаясь к профессору, – что роман должен изображать жизнь – значит изображать, правду. А вы (он обратился к Чешневу) нашли, что автор изобразил ее верно: я спрашиваю вас, где же у него эта жизнь и где ее правда? в чем?

– Как где жизнь! целый огромный круг жи-

вет во всем мире эту жизнь!.. – с удивлением возразил Чешнев.

– Какая это жизнь? разве так живут? И какой это «круг»: высший, что ли, хотите вы сказать?..

– Не высший, не низший, а просто круг благовоспитанных людей, то, что называется – джентльменов у англичан или порядочных людей у нас!

– Зачем же эти порядочные люди взяты у него в графских и княжеских фамилиях или в высшей военной и административной сфере? Разве он не предполагает джентльменство в других слоях общества? Порядочность есть везде, она бывает и под армяком!

– Это правда; но он между армяками никого не знает. Он взял действие и лица в знакомом ему кругу. Не все ли это равно?

– Нет, не все равно! Зачем он взял их именно в этом кругу? Зачем понадобилось ему изображать только их?

– Какое право имеете вы судить автора за то, чего он не дал? Критика должна смотреть только на то, что он дал! *Калам* пишет болото, *Клод-Лоррень*²¹ – убранный, расчищенный

лес и светлый ручей. И никому в голову не приходит требовать, чтобы Калам писал сады, и упрекать Клод-Лорреня, зачем он не писал болота? И в литературе то же самое!

– По-вашему, что не аристократический круг, то и болото? – вставил Кряков.

– Тогда можно, – продолжал, не слушая его, Чешнев, – требовать к суду тех авторов, которые изображают, например, одни – нравы и быт купцов и мещан, другие – крестьян. Были и такие, которые писали из быта духовенства. Почему же сфера из высшего, как вы называете, или богатого, знатного, благовоспитанного круга должна оставаться недоступною писателю?

– А потому, что этого высшего круга нет на свете, следовательно, нет в этой картине и художественной правды, о которой вы оба с профессором говорили так красноречиво сейчас!

Все в недоумении смотрели друг на друга.

– Как же это так «нет»! – рассуждал генерал, обратясь к хозяину и Сухову. – А все твои сегодня гости, мы, какого же круга?

– Не принимай к сердцу, что он говорит, –

тихо отвечал Сухов, – ведь это антихрист, но только прелюбопытный малый; как бы его к нам в клуб затащить!

– Да так же, нет! порядочные люди или джентльмены есть во всяком классе; наверху их меньше. Там только бары. Разве они – высший класс? почему?

Все молчали.

– Вот и полюбуйтесь: каков образ мыслей! – вдруг проговорил Красноперов, который во время спора об искусстве уже задремал два раза.

– Замечание, что одного высшего класса нет, довольно веско и отчасти основательно, – заметил журналист.

– В чем же, позвольте узнать? – спросил хозяин с любопытством; другие тоже ждали ответа.

– Одной и цельной этой жизни действительно нет; она соприкасается с жизнью других кругов, другого воспитания и нравов, а автор обходит ее и пишет одни верхи...

– Но ведь другие пишут же одни низы и обходятся без верхов, как я сейчас заметил! – возразил Чешнев.

– Да, это правда; но эти низы и в действительности обходятся без верхов.

– Вы думаете? – иронически, спросил генерал.

– Я говорю только про бытовую сторону, доступную искусству, – прибавил торопливо редактор, – и оставляю все прочее в стороне. Верхи не участвуют, то есть не присутствуют в нравах низших слоев, в их житье-бытье. Они так и существуют сами по себе. Но одни верхи без низов – и дня не просуществуют. А наш автор умышленно обходит всякий другой, не высший круг, заметно брезгует им, а к своему кругу относится пристрастно. Вот в этом намерении и цели автора – и нет художественной правды, как сейчас заметил господин Кряков.

– Слышишь, тебя цитируют? – сказал, смеясь, молодой Уранов.

– Я же ведь говорил, что я один правдивее всех! – заметил тот.

– Художник-писатель должен быть объективен, то есть беспристрастен, – продолжал редактор, – должен писать, как, например, граф Толстой, всякую жизнь, какая попадется

ему под руку, потому что жизнь всего общества – смешанна и слитна. У него все слои перетасованы, как оно и есть в действительности. Рядом с лицом из высшего круга он пишет и мужика, и бабу-ключницу, и даже взбесившуюся собаку. Из столичных салонов он переносит читателя в избу домовитого крестьянина, на пчельник, на охоту, и с такою же артистическою любовью рисует – и военных, и статских, и бар, и слуг, кучера и лошадей, лес, траву, пашню... все! Он, как птицелов сетью, накрывает своей рамкой целую панораму всякой жизни и пишет – *sine ira*[85], как справедливо говорит профессор. Сделай он иначе – он бы солгал, а талант лгать не может, если же солжет, то есть одно выставит, а другое утаит, одно напишет с любовью артиста, а другое пристрастно, то есть умышленно дурно, то он перестанет быть талантом; выйдет бледно, вяло, безжизненно или односторонне, неверно...

Профессор склонил немного голову набок, а Чешнев откинулся назад, оба слушали внимательно и, кажется, соглашались отчасти с тем, что говорил редактор. Сухов тихонько

зевнул в руку, другие, для развлечения, допивали свои рюмки, кое-кто ел десерт. Старый беллетрист Скудельников поднял глаза на минуту на редактора, обвел взглядом прочих гостей и опять стал смотреть на стол, где, прямо против его носа, лежали в десертных вазах дыня и ананас.

– Но ведь и наш автор, – сказал Чешнев, – кое-где касается других званий, например – описывает швейцара, прислугу...

– Да, – перервал Кряков, – описывает как собак, с напускным презрением! остроумно называет их «социалистами». Вот он как касается! глумится над величайшей идеей века, идеей равенства!

– Действительно, он намеренно и бережно обходит все вульгарное, – продолжал редактор, – это правда!

– Да оно тут нейдет, – возразил Чешнев, – ему нет места! Если «низы», как говорите вы, не смешиваются с верхами в частной жизни, то, стало быть, и верхи живут отдельно, своим кругом. Сколько современных писателей намеренно избегают упоминать о верхах! Зачем, например, живописец, если б захотел на-

рисовать эту столовую и нас всех, вставил бы здесь мужика из харчевни или вот одного из этих лакеев, что нам служили, посадил бы с нами за стол?

– Вы взяли крайности, позвольте заметить! – возразил редактор, – между верхами... и лакеями, мужиками, идут целые ряды – по профессиям, положению, воспитанию, нравам...

– Да если б ваш автор стал писать харчевню, то он посмотрел бы, не попал ли туда какой-нибудь барин, и написал бы его одного, а мужиков обошел бы! – сказал Кряков.

– Он вовсе не написал бы харчевни! – спорил Чешнев, – он там не был и не знает ее посетителей.

– И знать не хочет! вот что скверно! Русская жизнь не на верхах! Ее там нет!

Чешнев пожал плечами, другие улыбнулись.

– Вам хотелось бы, чтоб он изобразил ту русскую жизнь, где и грязь, и пятна на скатерти, и неметеный пол...

Он вздохнул.

– Зачем опять брать крайности? – говорил

примириительно журналист, обращаясь и к Чешневу и к Крякову. – Нет надобности умышленно искать сора и пятен, чтобы щеголять ими; но нельзя и обходить бережно и брезгливо все обыденное, где не всегда блещут чистота и изящество! А автор очень тщательно сортирует и лица и вещи – даже как будто чистит и самую природу, подскабливает пейзажи, чтоб не попала туда какая-нибудь соломинка или соринка. Это значит выскабливать и жизнь. Если можно обчистить и обделать так людей, то из природы не выкинешь всего ненужного; будет ненатурально. Удалите и из людских фигур все характеристические, типичные особенности, детали – выйдет безлично и безжизненно.

Чешнев, склоня голову, слушал в раздумье этот стройный критический период.

– Тут есть, конечно, некоторая доля правды, – сказал он наконец с легким вздохом, – автор... пурист не в одном языке, но и в героях своих, и в декорациях романа. Но ведь и в людях, и в природе розлито много этой прибранности и изящества, если не вглядываться слишком пристально; он и пишет, как ему ка-

жется то, на чем останавливается его взгляд! Вы, конечно, не заметили натянутости, чопорности в его романе? Он только в высшей степени приличен, но прост и естествен...

– Приличен, пожалуй, но естествен – едва ли можно сказать, именно потому, что слишком заботится, чтоб не попало в его салоны «фламандского сора»²², по выражению Пушкина, то есть обыденной жизни, – сказал журналист.

– Ему там и не место – согласитесь!

– Не знаю; но отсутствие живых деталей отнимает много жизни у людей и природы – опять скажу. Уловить и передать правдивую черту чувства в данный момент или движение мысли в лице человеческого – это психологический, внутренний реализм; обстановку сцены реальными, верными деталями – это внешний реализм, а все вместе ведет к правде.

– Но ведь писатели-художники и живописцы, сознайтесь, часто рисуют и пишут много ненужных правд, которых можно бы избежать. Например...

– Например, – перебил Кряков, – запах, ко-

торый Петрушка, лакей Чичикова, носит везде с собой; этот пример, что ли, хотите вы привести?

Все засмеялись, Лилина покраснела.

– Да... хоть этот и многие другие, все ненужные признаки.

– Об этом уж давно спорили, и Белинский решил этот спор! – сказал Кряков. – Почитайте его страницы, где он рассуждает об этой фарисейской опрятности; нельзя, видите, сказать «воняет», нельзя выговорить при дамах (он покосился на Лилину) слово *блоха* и т. п. Послушать этих привередников и переделать русский язык на хороший тон, так придется не говорить по-русски, а только тыкать пальцем в воздух! Ненужное! что в жизни есть – все нужно!

– Вы идете по следам Гегеля, – заметил с улыбкой профессор, – *все существующее разумно!* Но не всё нужное в жизни – нужно в искусстве, позвольте добавить ваш афоризм!

– Напротив, ненужное играет и в искусстве большую роль, – сказал Кряков, – как и в самой жизни, стало быть, оно и нужно.

– Как ненужное в жизни – нужно? – спро-

сил иронически Сухов, – например... на-
сморг?

Все захохотали. Кряков махнул рукой.

– Уж это чересчур парадоксально – поз-
вольте заметить! – сказал хозяин.

– Нет, не парадоксально! Я разумею под
ненужным всякий излишек сверх необходи-
мого²³. И в жизни только излишки и дают нам
то, что называют счастьем; кто как понимает
счастье – это другой вопрос!

– Как это так? позвольте, позвольте!

– Так! оглядитесь вокруг, – сказал Кряков.
Все в самом деле огляделись.

– Вон что у вас там наверху поставлено, на
шкафе?

– Как что, – с удивлением отозвался хозя-
ин, – статуи...

– А в шкафе?

– В шкафе старинное серебро... вы видите!

Чешнев весело улыбался, редактор, про-
фессор и некоторые из гостей тоже, предвидя,
к чему ведет речь Кряков. Другие же наивно
глядели на предметы, которые он называл.

– Вон и на столе серебро, – продолжал Кря-
ков, – под ногами ковер; вон бронзовые кан-

делябры... раз, два, три – четыре... вон тридцать или сорок свечей горят вместо двух или трех! Разве все это нужно? А эти перепелки, а дорогая зелень, десерт, а вина двадцать бутылок?..

– Как же иначе? везде все это есть! – говорил хозяин, – стало быть, нужное!

– Нет, не везде; взгляните только в окошко. Все это ненужное, излишки... и они составляют ваше и – вот всех их – счастье. Можно есть на глиняных тарелках, а не на серебре, пить воду или квас, ну, пиво – а вы пьете и едите все ненужное, излишек... Издержки на одно необходимое не сделали бы вам ни малейшего удовольствия... например, покупка дров или говядины себе на обед, овса лошадям. А вот вас радует закупать всего этого, ненужного... или в карты выиграть и проиграть.

– *Tiens, cela c'est vrai!*[86] – сказал один гость.

Уранов, генерал, Сухов и Иван Петрович – слушали, добродушно улыбаясь, не зная, что ответить на этот парадокс. Все с любопытством смотрели на Крякова.

– Диогена корчит! – тихо заметил кто-то.

– Что вы все уставились на меня? – сказал он, – не правда, что ли? – Все засмеялись.

– Нет, тут есть и правда! – отозвался Уранов.

– Ну, и в искусстве то же: изобразите, там, любовь, что ли, без реальных атрибутов, без обстановки...

– *Атрибуты!* – шептал генерал.

– И выйдет вздор! какая-нибудь дева на скале... чего не бывает! – добавил Кряков.

– Но ведь Пушкин, как великий реалист и в то же время классик, прибавил к деве в *одежде белой над волнами*²⁴ *бурю и покрывало, которым играл ветер* – и вышло картинно и правдиво, то есть реально! – сказал профессор. – Это и есть поэзия!

– Куда его клубничное влечение завело: на скалу! – смеялся Кряков. – Это уж вовсе ненужное!

– Позвольте, позвольте, – остановил его профессор, – вы противоречите сами себе: вы сейчас возвели *ненужное* в закон – и в жизни и в искусстве...

– *Ненужное, да правдивое!* поймите меня: –

что бывает! а черти над бездной не летают и девы на скалах не рисуются! – огрызнулся Кряков.

– Автор наш классик, он чуждается реализма – это правда, – заговорил опять профессор. – Он строго придерживается во всем классического стиля. Он ближе к идеалу, нежели к типу, и оттого, между прочим, чуждается житейских обыденных мелочей жизни. Это его вкус, воспитание или природа, как хотите. Но ведь и вкусы дробятся на роды, как само искусство делится на школы. Различие школ и стилей обуславливается, между прочим, различием вкусов артистических натур. Это тропинки, по которым расходятся артисты, следуя каждый своей натуре...

– Ну, заиграла музыка! – вставил Кряков вполголоса, но его услышали и засмеялись, и оратор тоже.

– Один ищет, например, природы в глубине дремучего леса, в степи, в диких скалах, – продолжал он, – а другой видит и любит ее в парках, возделанных садах и цветниках! Кто пишет мадонн, библейские или мифологические сюжеты; другие – вседневную пеструю

жизнь. Новые художники хотят смешать все, подвести под genre...[87]

– Не клеветайте на новых художников; они не смешивают никаких школ и стилей, а просто знать их не хотят! – забушевал опять Кряков. – Все – и Юпитеры, и Венеры, *ваши ангелы у врат эдема и черти над бездной*, отжили свой век и ничего не говорят более представлению артиста. Новые художники пишут, что видят и знают в природе и в жизни, и если заглядывают в историю, то и библейские события угадывают и пишут, как они случились, а не как смотрят на них идеалисты в свои очки, сквозь тысячелетия...

После этого наступила пауза, и Чешнев с грустью поник головой, прошептал: «Боже мой! будет ли конец этому дикому разгулу!»

– Так вы полагаете, – обратился он потом к редактору, не глядя на Крякова, – что одни джентльмены, их круг, нравы, быт не могут быть предметом художественного произведения?..

– Какие это джентльмены? – вмешался опять Кряков, – эти причесанные, прибранные господа, которые ходят около друг друга,

боясь дотронуться один до другого, кланяются, изъясняются в любви и дружбе, как тени? Они едят и пьют, как по нотам... Какая же это жизнь! разве так живут?

– Конечно, – нехотя возражал ему Чешнев, – при отсутствии воспитания нравы обозначаются иначе... очень живо и натурально. Но избави боже иногда от такой натуры!

– Кажется, господин Кряков недоволен тем, – вставил редактор, – что автор изображает одну парадную сторону жизни, жизнь салонов, в форме строго условных, регулированных отношений между лицами, и дает мало простора и свободы мысли, чувству, страстям. Это тоже правда! Он не трогает психических тайн и оттого поневоле изображает все поверхностно и условно...

– И называет еще это романом! – насмешливо прибавил Кряков.

– Как же вы назовете это? – спросил Уранов.

– Это протест аристократизма и милитаризма против демократии – вот как я назову! – сердито сказал он. – Протест привилегированных сословий, с их роскошью, притор-

ною утонченностью, против...

– Против грубости, цинизма, неряшества, всякой моральной и материальной распущенности... это правда! – добавил Чешнев тоже пылко.

Генерал, Сухов и Уранов засмеялись. «Bien dit!»[88] – раздалось с другого конца стола.

– И это подвиг со стороны автора, – продолжал Чешнев. – Давно пора было поднять копье против буйного натиска на все то, чем живет и держится общество.

– Например – на что? – почти грубо спросил Кряков.

– Например, на человеческие приличия, уважение к человеческому достоинству, сдержанность, обуздание диких страстей – и вместе с этим, конечно, и на соответствующие формы общежития, на утонченность нравов, так же, как на чистый вкус и здравые понятия... и в искусствах! Словом, протест против всякой расшатанности и растрепанности в людском обществе, против всякого звероподобия! Вот в чем состоит подвиг автора! Человечество долгим и трудным путем достигало этих результатов, а тут вдруг явилось поколе-

ние, которое хочет стереть все добытое тысячелетиями... И что оно поставит на это место? Вот против этой лжи и грубого насилия и протестует автор!

– Нет, – бурно заговорил Кряков, – он протестует против простоты нравов, естественности быта, требований времени, против человеческих прав, личной свободы, равенства!.. вот в чем подвиг вашего автора! Он хочет защитить положение своих героев наверху, их привилегированную утонченность, роскошь, уклонение от прямого и положительного труда!

– Пошли за полицией, – тихо, удерживая смех, сказал Сухов хозяину.

– Постой, не мешай! Это любопытно! – отвечал тот.

– Труда! – с горьким смехом повторил Чешнев, – да разве эти новые тунеядцы не от труда бежали в свои трущобы и проповедуют раздел чужой собственности!

Кряков выпил стакан красного вина.

– А на скромные, низшие классы общества ваш автор-аристократ брызжет презрением! Так, Митя? ты ведь слышал, – обратился он к

студенту, – брызжет?

– Не помню! – сказал тот со смехом, – что ты ссылаешься на меня? говори за себя!

– Где же? – спросил Чешнев, – о низшем классе там даже не упомянуто!

– А зачем не упомянуто? – резко отозвался Кряков.

– Вот, прошу угодить! – сказал Чешнев и засмеялся.

– Об этом сейчас только говорили, – прибавил он, – и исчерпали этот предмет. Мы сказали уже, что автор не знает других классов...

– И знать не хочет! значит, презирает! И как ему не презирать! все герои его – образцы изящества, утонченности мыслей, чувств, речи – и все ничего не делают! Как же вдруг ввести в их круг труженика, от которого может почуться запах трудового пота... виноват... транспирации (поправился он с улыбкой и ироническим поклоном ко всем) и который, пожалуй, скажет «воняет дымом», вместо «пахнет дымом». Еще того гляди явится в поношенном платье, без перчаток... вот как я пришел: извините! – сказал он хозяину, показывая голые руки.

– И я тоже не надеваю их! – перебил Чешнев со смехом.

– И вдруг такой автор, – продолжал Кряков, – нарисовал бы мужика, мещанина, мелкого чиновника, труженика, ремесленника... Как же! барыни, пожалуй, его не стали бы читать!

– Я и все почти мои знакомые дамы читали и знаем Гоголя! – сказала вдруг Лилина.

Кряков мутно взглянул на нее.

– Вы? – возразил он, – не может быть!

– Отчего?

– Если б вы читали Гоголя и других народных писателей – ваши глаза смотрели бы иначе и не было бы у вас этой блаженной улыбки.

Она сконфузилась и смотрела в недоумении вокруг.

– Qu'est ce qu'il dit?[89] – спросила она соседа.

– Des sottises! Gardez vous bien de le contredire![90] – отвечал тот, улыбаясь.

– Вот так лучше, – прибавил Кряков, – объясняйтесь на своем природном языке и оставьте Гоголя в покое!

– Dieu, dieu, dieu! Voilà un ours mal léché![91]

– донеслось с другого конца стола – и все засмеялись. Кряков остановился было, но махнул рукой, засмеялся сам и продолжал, обращаясь к Чешневу:

– Нет, все эти лица романа – кучка праздных людей, живущих жирно и наслаждающихся на счет народа, а сами ничего не делающие! Вот что ваш высший класс! стоит ли описывать его!

– Боже мой! – почти застонал Чешнев, – какая злоба и клевета! Праздных! Да кто же управляет, вместе с высшей властью, судьбами нашей страны? – горячо обратился он к Крякову. – Кто поставил ее на высокую ступень извне и кто держит силу, порядок и ход жизни внутри – как не лица того же круга, из которого автор взял своих героев?

– Нет! трудом, кровью и духом народа держится все! – рычал, как лев, Кряков с блистающими глазами.

Студент поталкивал его тихонько в бок.

– Да разве мы все – не народ? разве эти графы, князья, их предки – не из народа и не народ? – спорил Чешнев.

– Были! а теперь лезут из кожи, чтобы уйти от него дальше, не походить на него! Разрушают даже последнюю связь с ним – язык; стараются быть ему непонятным, говорят по-французски, по-английски, всячески, лишь бы не по-русски!

Чешнев вздохнул и поникнул головой перед этой последней, конечно, неоспоримой правдой насчет языка.

– Да и в своем-то языке много иностранных слов употребляют, – вполголоса сказал генерал, – что правда, то правда!

– Это отчасти справедливо, – с оттенком грусти заметил Чешнев, – и в этом смысле мы все, пожалуй, давно не народ. И вы тоже: одежды вы не по-русски и употребляете много не русского и кроме языка. Да и русский язык, которым вы говорите, не тот, которым говорит народ; он вас не поймет, а вы на его языке говорить не умеете.

– Оттого, что его не учат понимать нас, держат умышленно в невежестве...

– Но ведь если он выучится одеваться, говорить не по-русски, пить, есть не русское, как мы теперь, так ведь он перестанет быть

тем народом, какой выразумеете. Все это всегда так было и будет; это вечное колесо! Стало быть, вы негодуете, зачем не все вверху или зачем мы все не внизу! Но ведь это физически невозможно? Вы не хотите понять, что народ составляет только часть того, что называется нацией! Вы, по крайней мере, скажите, чего вы хотите? Какое ребячество!

– Не ребячество, а социализм это называется! Головы, лучше наших с вами, решают этот вопрос; а нам нечего спорить!

Все опять громко засмеялись. Решительно всем было весело от этих дебатов. И Чешнев засмеялся. Героем вечера был не автор и его роман, а Кряков и оригинальные приемы его полемики.

– Чему вы обрадовались! – сердито сказал Кряков.

Смех удвоился.

– Что же это такое этот социализм? – спросил генерал.

– Вам любопытно? – обратился к нему Кряков, – спросите того фельдфебеля, которого Скалозуб хотел дать Репетилову в Вольтеры, а меня увольте от ответа!

– В наш огород камешки бросает! – добродушно заметил генерал, видя общий смех.

– Народность, или, скажем лучше, национальность – не в одном языке выражается, – сказал после некоторого молчания Чешнев. – Она в духе единения мысли, чувств, в совокупности всех сил русской жизни! Пусть космополиты мечтают о будущем отдаленном слиянии всех племен и национальностей в одну человеческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тех пор, и даже для этой самой цели – если б такова была в самом деле конечная цель людского бытия – необходимо каждому народу переработать все соки своей жизни, извлечь из нее все силы, весь смысл, все качества и дары, какими он наделен, и принести эти национальные дары в общечеловеческий капитал! Чем сильнее народ, тем богаче будет этот вклад и тем глубже и заметнее будет та черта, которую он прибавит к всемирному образу человеческого бытия.

Он в раздумье поник головой.

– Comme c'est profond![92] – шептали в одном конце.

– Это... это... знаете... – начал Сухов, – это правда!.. – И он запил вином.

Беллетрист Скудельников на минуту опять поднял глаза на Чешнева и потом снова впал в апатию.

– Как это хорошо сказано! *très joli, n'est ce pas?*[93] – говорила Лилина.

– Затежливо, нечего сказать; ну, так что же? – сказал Кряков, – что вы хотели этим сказать?

– То, что русский народ исполняет эту свою великую и национальную и человеческую задачу, и что в ней ровно и дружно работают все силы великого народа, от царя до пахаря и солдата! Когда все тихо, покойно, все, как муравьи, живут, работают, как будто вразброд; думают, чувствуют про себя и для себя; говорят, пожалуй, и на разных языках; но лишь только явится туча на горизонте, загрохочет война, постигнет Россию зараза, голод – смотрите, как соединяются все нравственные и вещественные силы, как все сливается в одно чувство, в одну мысль, в одну волю – и как вдруг все, будто под наитием святого духа, мгновенно поймут друг друга и заговорят од-

ним языком и одною силою! Барин, мужик, купец – все идут на одну общую работу, на одно дело, на один труд, несут миллионы и копейки... и умирают, если нужно – и как умирают! Перед вами уже не графы, князья, военные или статские, не мещане или мужики – а одна великая, будто из несокрушимой меди вылитая статуя – Россия!²⁵

– Bravo! C'est sublime! [94] отлично! – закричали все. – За здоровье Дмитрия Ивановича! человек, наливай шампанское! – приказывал Уранов.

– За что? Вы все это думаете и чувствуете! – говорил он, отвечая чоканьем на чоканье, – это общий ответ нашему собеседнику господину Крякову!

– Да! да! – подтвердили все.

Кряков встал со стула, готовясь уходить, но вдруг опять сел.

– До сих пор я был хорошего мнения о вас, – начал он, обращаясь к Чешневу, но не договорил: его заглушил общий хохот. – А вы просто-напросто шовинист! – выпалил он, когда все утихло.

С минуту длилось молчание. Профессор по-

тупил глаза, журналист конфузливо улыбался. Скудельников вдруг взглянул широко на Крякова и на Чешнева. Красноперов, Уранов, Сухов и генерал с недоумением поглядывали друг на друга. «Что это еще такое?» – шепотом спросил генерал у Сухова. Тот спросил о том же Уранова, Уранов у Чешнева. Прочие с усиленным любопытством смотрели на Чешнева и Крякова. Трухин даже протер очки платком и ждал ответа. Чешнев взглянул на Крякова как будто с сожалением. Студент прятался от недовольных взглядов дяди за спину соседа.

– Вы назвали меня «шовинистом», – сказал Чешнев тихо и почти печально, – нет, я не ослепляюсь условными сентиментами и не поддаюсь ходячему, дешевому патриотизму! Я мог бы с бóльшим основанием, в свою очередь, назвать вас «псевдолибералом»...

– Что ж, назовите: я не обижусь! – развязно сказал Кряков.

– Нет, я этого не сделаю! – мягко перебил его Чешнев, – вы гость здесь, и ваша личность должна быть неприкосновенна.

– Ah, bravo! oui, c'est ça! это урок! Leçon bien méritée![95] – пробежал тихий говор за сто-

лом. Кряков поглядывал кругом и слушал этот говор как-то равнодушно.

– Дайте же мне вашу руку! – прибавил Чешнев, протягивая свою.

– Извольте! – сказал Кряков и подал руку.

– Но, оставляя личность в стороне, я не могу молчать пред псевдолиберализмом, ноты которого, извините, звучали в ваших речах. Этот псевдолиберализм²⁶ точит корни того истинного либерализма, который один ведет к прогрессу. Он избрал своим девизом разрушение гражданственности, цивилизации, он не останавливается ни перед какими средствами – даже пожарами, убийствами... и не знает сам, чего хотеть, и мчится... куда? – задумчиво спросил как будто самого себя Чешнев, поникая головою.

– Вот, вот – да, это самое! Что я, давеча, не правду говорил? – вдруг прорек Красноперов.

– Тш... – сделал ему Сухов. Кряков усмехнулся.

– Уж об этом говорили-говорили, писали-писали, а нам все нейметя! – сказал он.

– Он еще смеется, каков молодец! – шептал Красноперов соседям, – как будто не его дело!

Нет, вы отвечайте, куда он мчится, этот ваш либерализм? – прибавил старик громко.

– Почему я знаю, куда! – сказал Кряков. – Пусть решит наш мудрец! – Он указал на Чешнева.

– Почему я знаю – куда, – повторил Чешнев, – это верно! это один возможный, искренний ответ псевдолиберализма! А он мчится мало-помалу к той бездне²⁷, – заключил он, – от которой, умирая, отвернулся и Герцен и куда отчаянно бросился маниак Бакунин, увлекая за собой Панургово стадо²⁸...

– Bravo! bravo! – закричали многие, гремя тарелками, звеня стаканами.

– Ну, я туда вас не зову, – сказал Кряков и опять засмеялся.

Засмеялся и студент.

– Правда, Митя? ведь я не такой? – прибавил Кряков.

– Ну, наслушались мы сегодня и новой и старой мудрости, – сказал Сухов своим соседям, – каково-то спать будем? – А все-таки весело, превесело здесь! – заключил он.

– Да, весело, – сказал тихо Уранов, – только как мне придется разделяться? Вон

Чешнев, и тот взволнован, Иван Петрович оскорблен, Лилина сконфужена, и все озадачены! Митя один только в ус себе не дует; ужо вымою я ему голову! А теперь надо как-нибудь загладить дурное впечатление!

– Вы что-то хотели еще сказать о нынешнем чтении, Дмитрий Иванович? – обратился он к Чешневу.

– Я хотел напомнить, – отвечал Чешнев, – как наш автор выразил живо, рельефно и патриотизм и чувство долга, в одной картине...

– «Рельефно»! «шовинист»! как еще? «сикофант»? – шептал генерал Сухову, – в ушах даже звенит.

– Я говорю об описании маневров, – продолжал Чешнев, – со стороны посмотреть – кажется, пожалуй, монотонно; но автор поставил читателя в средину картины, слил его с строем этих русских душ, сердец, – и вы чувствуете себя единицею какой-то великой моральной и физической силы, и в каждом солдате, офицере, генерале видите родного брата, друга, самого себя!

– Величественная картина! – подтвердил

профессор.

– Да, эффектная! – заметил редактор, – но в романе она кажется несколько официальной... натянутой...

– Грандиозная! – сказал Уранов, – воля ваша!

– Грандиозная казарма! – решил Кряков.

– C'est très joli и как похоже! я много раз бывала... так похоже, так похоже! – твердила с детской радостью Лилина.

– Да вот как, – вмешался генерал, – что я забыл, где я сижу; так и кажется, что веду бригаду; и даже давеча сам поймал себя: салютую рукой вот эдак, как будто у меня сабля в руках – ей-богу!

– «Салютую!» – поймал! Что, какое это слово: разве русское? – сказал Сухов.

– Это казенное, значит можно, – отвечал генерал.

– Обращаясь к задаче романа, – продолжал Чешнев, – можно, кажется, безошибочно заключить, что главная цель автора – поставить на свое место все то, что многие стараются легкомысленно устранить...

– Позвольте узнать, что еще он хочет ста-

вить на ноги? против чего он сражается? – спросил Кряков.

– Да вот хоть бы против какого-то напускного пренебрежения к представителям военной профессии...

– Военное звание – *c'est une vocation, comme une autre!*[96] – вставил генерал.

– Что, и у тебя русского пороху не хватило! – сказал Сухов.

– Против военного звания никто не восстанет, – огрызнулся Кряков. – Оно – весь народ!

– Нет, восставали и восстают, – спорил генерал, – где можно задеть, осмеять, брызнуть пером в офицера – и брызнут! Мне случилось самому нередко читать, да и от многих военных слышал – тоже жалуются. Или – говорят – молчат совсем, как будто военных и на свете нет! обходят и в газетах, и в повестях, и на сцене – это что значит? Пренебрежение! Мы-де вас и знать не хотим.

– Равнодушие, а не пренебрежение, – смягчил редактор.

– Да, равнодушие – это так! – сказал Чешнев, – но знаете ли, ведь равнодушие – это самое коварное оружие! Можно бороться со вся-

кою силою, но как одолеть это гробовое молчание невидимого врага, это непризнание значения, прав, – и за кем: за воинами!

– Вы это все об офицерах, что ли, говорите? – спросил Кряков. – Да, их не трогают, это правда! но прежде всего оттого, что обругать не позволят, а по голове только гладить не за что! Да и неверно будет, односторонне, – как сейчас рассуждали, – если только хвалить! Вот и молчат – и хорошо делают! Что же общего у военного звания с офицерами?

– Ба! ба! ба! А они к какому же званию принадлежат? Чем они провинились? Позвольте, позвольте, милостивый государь! – горячился генерал. – За что их не любят и обходят?

– Обходят их – я сейчас сказал почему, – отвечал Кряков, – не велено трогать. А не любят – потому что... За что их любить? Смолоду они щеголяют, барствуют, роскошничают у Борелей, в обществе кокоток, катаются на рысаках и давят народ...

– Когда? Где? позвольте спросить. – Ведь уж была возбуждена история, по навету печати, о каких-то офицерах, будто они скачут и давят народ – и оказалось клеветой!

– Давите сколько хотите, все будет клевета; на то и привилегированное звание! – добавил Кряков.

Генерал и другие иронически улыбались...

– Ну-с, роскошничают у Борелей... еще чем они виноваты? – спросил генерал.

– Потом из них дрессируют губернаторов, разных директоров, правителей... нужды нет, что, бывало, в обществе ходили рассказы об их милых скандальчиках.

– Боже мой! боже мой! – стонал Чешнев, – какая злая несправедливость! И это русский человек говорит о русских, о своих братьях!

В обществе сделалось серьезное движение.

– Скажите, сколько на один скандал между военными приходилось скандалов между статскими? Вся разница только в том, что одни собирались у Борелей и Дюсо, а другие на какой-нибудь «Средней Рогатке» платили дань молодости! Сами же вы говорите «бывало»; ведь изменились же с тех пор нравы, явились гласный суд, пресса... Зачем же вы хотите возвращать нас к давно минувшему одними злыми воспоминаниями?

Он поник головой и вздохнул.

– Офицеры, конечно, бывают молоды, как и студенты, и правоведы, и семинаристы, – прибавил он, – тех вы извиняете, а офицеров нет! Ужели вы не видите благородной цели автора – поправить эту несправедливость, напомнить о них, изобразить характер этого прекрасного, хотя и неприятного вам круга общества, той группы его, которая идет в эту минуту бороться и умирать за Россию?

Раздались рукоплескания. Генерал встал с бокалом в руке.

– Хотя я и воин, но так мужественно и искусно сразиться за военных не сумел бы. Позвольте выпить за ваше здоровье! – сказал он.

– И мы! и мы! – подтвердили все.

– Щеголяют... барствуют... роскошничают!.. – начал опять Чешнев, когда все затихло. – Да разве есть другая жизнь, более трудная, более исполненная дела и всяких лишений, как жизнь этой самой военной молодежи! Вы считаете какие-то давнишние, полинявшие пятна на их мундирах – и пятна эти хотите перенести на целую корпорацию! А она идет теперь побеждать или славно погибать!

– Это народ, народ, – все народ! – твердил Кряков,

– Да ведь и Минин не один пошел, а взял Пожарского! Боже мой! По-вашему, кто только образуется, оденется по-европейски, кого заслуга выдвинет вперед – тот и перестает принадлежать к народу! А мне кажется, что скорее тот, кто хочет отделаться от религии своего народа, от народного единодушия и единомыслия в своем государственном и общественном устройстве, – тот неизмеримо дальше уходит от него, нежели те, которые учатся говорить на иностранных языках и следуют своим вкусам, своим привычкам.

– Bravo! bravo! admirable![97] – воскликнули все.

– Ну, теперь уйду! давай бог ноги! Того и гляди, за полицией пошлют! – ворчал Кряков, но так, что его слышали и невольно засмеялись.

– Не беспокойтесь, вы здесь в полной безопасности! – сказал Уранов почти обидчиво.

– Мы вас не выдадим, вы герой! – весело прибавил Сухов.

– погоди одну минуту, – удерживал его сту-

дент, – вон Чешнев хочет что-то сказать!

– Вы говорите о богачах, щеголях, – сказал Чешнев, – но ведь они и не в военном быту жили бы так же, даже шире и роскошнее, – а в кругу товарищей они все-таки ограничены условиями своего быта. Но ведь это исключения; много ли их? А не-богачи, живущие в казармах, жалованьем? А в армии – разбросанные по селам и деревням? Спросите, как они роскошничают?

– Этих автор не коснулся, – с злой улыбкой заметил Кряков.

– Пусть так! автор показал квинт-эссенцию военного звания: высшие, тонко выработанные типичные черты чести и военного достоинства, – словом, взял вершины.

– Да разве честь – это привилегия военная, полковая, как полковая музыка, что ли... а не свойство всех порядочных людей в мундирах и не в мундирах? А он усвоил ее им как исключение!

– Он этого нигде не говорит, он только коснулся некоторых форм ее; есть степени и оттенки, своеобразные обычаи, условия, существующие во всяком деле для одних, не суще-

ствующие для других...

– В деле чести все равно! все равно! – твердил Кряков.

– Ну, нет, – заметил генерал, – уйти, например, из департамента или уйти с военного поста – есть разница!

После этого настала пауза.

– Да, роман замечательный, – рассуждал журналист. – Если б он явился лет сорок назад, он произвел бы сильную сенсацию в обществе!

– А теперь?

– Теперь, с Гоголя, все до того охвачено отрицательным направлением, что положительный тип лица почти невозможен в литературе. К этому подоспел реализм, ввел новые приемы в искусство и одержал бесповоротную победу над классицизмом.

– Вы думаете, что классицизм исчезнет в искусстве? возможно ли это? – сказал Чешнев.

– В том виде, в каком он господствовал прежде, конечно – да...

– Это зависит от степени таланта, – вмешался профессор. – Гений может реставрировать

вать (при этом слове генерал поморщился) тот или другой стиль искусства! Ведь отказаться от классиков – значит отказаться от всякого наследия предков, от всякой преемственной связи с прошедшим...

– Ну, опять запела канарейка! – ворчал Кряков соседям, которые не могли не засмеяться.

– Если мы в живых организмах следующих одно за другим поколений замечаем, – продолжал профессор, – поразительную наследственность отличительных признаков, моральных и физических свойств, переходящую из рода в род, – то как же мы отвергнем передачу умственного, духовного или эстетического достояния?.. Это значит отвергнуть цивилизацию – и начинать сначала. Зачем?

– Это совершенно справедливо, – заметил редактор, – но вы берете в обширном смысле.

– Позвольте, позвольте! – перебил Кряков, – ответьте на мой вопрос, только непременно правду!

Опять общий смех.

– Oh, l'enfant terrible! – говорили в конце стола.

– Давно ли вы читали ваших классиков и часто ли читаете их? – спросил он.

Все вдруг смолкли.

– У меня Гомер, Гораций, Вергилий и все классики, и древние и новые, – всегда под рукой! – после некоторого молчания сказал профессор.

– Я не вас спрашиваю: это ваша служба! Вам классики нужны, как чиновнику *свод законов*. А вы? вы? – Он обратился к Чешневу, редактору и к прочим.

– Я заглядываю иногда... – отвечал редактор.

– Для справок по журналу, по части критики и беллетристики?

– Я помню многое, как будто вчера читал, – сказал Чешнев, – и многое знаю наизусть...

– Что заучили в школе; а теперь?

– И теперь, хотя редко, но беру в руки. Что же из этого?

– А вот эти все господа, пожалуй, или вообще, или со школьной скамьи не читали, – прибавил Кряков, указывая без церемонии на прочих гостей, – или позабыли!

Читал прилежно Апулея²⁹,

А Цицерона не читал, –

сказал, улыбаясь, Уранов.

– Вот видите: и ваш «великий» поэт этою ирониею только прикрыл правду; никто их не читает, а учат их в школе сами не знают зачем; как учат и тому, что мир сотворен в шесть дней, что волчица кормила Ромула и Рема и т. п.; не верят, а учат, потом забывают!

– Пусть волчица и не кормила Ромула и Рема, а все-таки нельзя не выучить этой фавулы, – заметил Чешнев, – вы без всего этого в жизни и шагу не сделаете! Пожалуй, забыть можно, но узнать нужно. Эти предания слились с историей. Мало ли вы выучиваете такого, что вам не понадобится потом в жизни; но все изученное входит в плоть и кровь вашего нравственного, умственного и эстетического образования! Без этой подкладки древних классиков, их образцов во всем – смело скажу, человек образованным назваться не может.

– Да зачем же учить ложь? Зачем не переделать этого вздора, чтобы не набивать им головы людские? – вопил сердито Кряков.

– Вы правы, – заговорил редактор профес-

сору, – классицизм будет присутствовать в науке и искусстве и во всей жизни, пожалуй, как фундамент... или корень, если хотите; он будет скрыт в глубине земли. Но ведь человечество идет вперед и все производит, творит; нарастают новые роды, виды и образуют со временем новое здание, которое, в свою очередь, делается классическим. От древнего же, начального классицизма – мы, воля ваша, ушли далеко! И дальше всё будут нарастать новые, свежие слои... Развитие остановиться не может!

– Позвольте, однако, заметить, – сказал профессор, – что произведения искусства, как образцы, и сами по себе не отжили, и не одна только школа и молодость наслаждаются ими. Конечно, мы избалованы новыми и свежими побегами – это так, и вкус наш отчасти притупился и стал мало чувствителен к простой и величавой эстетической трапезе. Но, как я хотел сказать, по временам является реставрация древности, производимая гениальными талантами, и в каком могуществе встают тогда великие покойники! Например – Рашель разве не воскресила нам древних биб-

лейских и героических женщин! Мы видели их как живых!

– По Расину воскрешала древность! хороша древность! – заметил Кряков. – Разве Расин и Корнель те классики, которых вы разумеете: полноте! А кто писал по классическим образцам, все провалились с своими эпопеями, одами, дифирамбами; от них ничего не осталось, все умерло!

– Это оттого, что повторить их не легко; и даже близко к ним подойти! – сказал профессор.

– Потому что не нужно! – вставил Кряков. – Учи и пиши новую жизнь!

– Да, – прибавил Чешнев, – вон статуя Венеры Милосской пролежала в земле две тысячи лет, но и теперь никто из новых, в своих произведениях, не подошел и близко к ней! Или наша хоть бы керченская ваза!.. Да все, все, что ни найдут: руку, торс, черепок вазы – все оказывается неподражаемо!

– Теперь все это машинами стали делать на фабриках, – сказал хозяин, – *magnifique – et pas cher!*[98]

– Да, кажется, к этому идет! – со вздохом за-

метил Чешнев.

– Вы съехали на пластические искусства, а мы, кажется, говорили об искусстве слова! – сказал Кряков.

– И Гомера никто не повторил! – заметил профессор, – сами вы сказали!

– Наладили! – вполголоса заметил Кряков. – И я-то связался спорить! Кто бы стал читать нового Гомера! Новый Гомер у нас – это Гоголь!

Старики засмеялись.

Опять настала пауза.

– Скажите, как вы находите женщин в романе? – спросил Чешнев редактора.

– Грациозные, нежные создания, прозрачные, как видения... – хвалил профессор.

– Да, именно видения! – повторил журналист тоном легкой иронии, – так воздушно и тонко очерчены они, что плоти и крови в них как будто нет! Это более тени, нежели живые фигуры. Иначе, впрочем, и быть не могло: автор, как я заметил, пишет условные, лицевые стороны жизни, не вводит нас ни в психологическую глубину, ни в интимную реальную жизнь, оттого очерки его и бледны. Притом

женщины у него, как актрисы на сцене, действуют будто и на свободе, сами по себе, но во всяком их слове и движении заметно, что на них обращены тысячи глаз. Мало того, что называется... abandon и вообще натуры...

– Завели речь о «клубничке»! – сказал с пренебрежением Кряков, – об этом и говорить-то тошно! Нет романа, где автор сам не захлебывался бы от юбочного счастья и не отравлял бы им и читателя! Ужели в зрелом обществе только в этом вся жизнь и все дело и состоит³⁰, и другого содержания нет!

– Есть, как не быть! вон – совет, пожалуй, дела... есть клуб, есть карты; а убери женщин совсем – ничего без них и не надо! Это главное, это на первом плане; на этом все вертится! – вдруг провозгласил хозяин. – Я не пишу ни романов, ни драм, ни комедий, а знаю, что и там, и в жизни, без них – хоть в гроб ложись. Так ли?

– Так! так! – закричали все. – За здоровье женщин! За ваше здоровье!

Все обратились к Лилиной.

– Bravo! – пискнула она, сверкая детскими глазками. – Я принимаю за всех женщин этот

гост и благодарю! – Она кокетливо отпила из бокала.

– Да, женщины – все! – прибавил и профессор. – Они иногда явный, иногда скрытый мотив всякого человеческого дела; их присутствие, веяние, так сказать, женской атмосферы, дает цвет и плод жизни. Мы, мужчины, только орудие, рабочая сила, на нас лежит всякая черная работа... словом, мы – материя, а женщины – дух...

– Перестаньте, ведь мерзко слушать! – при общем смехе сказал Кряков. – Вот ведь, кажется, и культурный век и культурное общество...

– «Культурный век», – остановил его генерал, – позвольте спросить, поймут ли вас в харчевне, в вашем народе, если вы скажете эдак?

Кряков поморщился и отмахнулся рукой от генерала, как от большой собаки.

– Автор, изображая сцены любви, – заметил редактор опять с иронией, – держался более теории «неземного чувства», как его называли, бывало, в стихах. У него любовь похожа скорее на религиозный экстаз католиче-

ских монахинь, а не на живое, страстное человеческое чувство...

– Как у Зола, например? – спросил Чешнев. – Да, надо прибавить и этот цветок к венку автора; он не отемнил своих страниц ни одним пятном грубой чувственности! Свет и огонь чувства сквозит и греет везде, а горячих углей нет! Это одна из его заслуг!

– Он скупенек на поцелуи, это правда! – сказал Сухов, – нет, чтобы того... эдак... (он поглядывал на Лилину, как будто ее присутствие стесняло его) – что-нибудь насчет... как, например, там граф с княгиней... в парке, что ли, в ее деревне... ну, жаркую сценку... как водится... по-человечески!..

Все посмеивались.

– Вот чего захотел; смотри, узнает Анна Андреевна! – сказал ему хозяин.

– Да, вы правы; если уж писать об этом, так пиши реально, – заметил и Кряков, – клубничка так клубничка! Изображай правду! не красней! рассказывай, как амурничают эти бары и барыни между собой! Или графы и княгини иначе делают любовь, нежели мужики? Открой нам тайны их будуаров и аль-

ковов, если открываешь всю их жизнь! А то делают любовь с напускным, невинным лицом, как будто играют пьесу в папашины именины.

– А кто видал эти тайны? – спросил Чешнев.

– Как кто? я думаю, все! – со смехом сказал Кряков.

– Кого же? себя видали в чувственных излияниях любви? – продолжал Чешнев. – И у художника достанет духа писать с себя и с любимой женщины! Скажите, какое чувство испытывает порядочный человек, если ему случится быть посторонним свидетелем самой скромной ласки между любящимися, даже между мужем и женой? Его коробит; а вы требуете, чтобы художник вносил в искусство то, на что сама природа набросила покров, – стыдитесь!

Кряков улыбнулся.

– Каким изящным слогом рассказываете вы все это! – заметил он.

– Очень желал бы вам сделать такой же комплимент, но, к сожалению, не могу...

Общий смех не дал договорить ему.

– Превесело, право! – твердил Сухов.

И хозяин развеселился.

– Да, благодаря Мите! – сказал он.

– А отделаю я автора, покажись только в печать! – грозил Кряков.

– Да, если вы скажете печатно то, что вы говорили здесь, то, конечно, произведение нашего автора не выдержит такой критики. Это все равно, если б сюда вошел гость – и мы, вместо того чтобы раздвинуть стулья, очистить между нами место и встретить его вежливо и радушно, вдруг поднялись бы на него толпой, с криком, с упреками, что он не так одет, не так пригож, умен! Вот образ новой критики! Новый автор то же, что новый гость в литературе! Какие же это нравы? какая критика?

– Это называется теперь *critique militante*... воинствующая! – с иронией заметил профессор,

– Да, правда! критика – это война! – сказал Чешнев, – но одни воюют мечом или копьем, как рыцари...

– Больше порохом и свинцом! – поправил генерал,

– А другие...

– Кулаком! Да, это бывает; и хоть не так больно, как свинцом, а все-таки морды до крови разбивают! – добавил Кряков и сам засмеялся, когда засмеялись другие. – Впрочем, до этого редко доходит; больше ругаются! – заключил он.

– Что это за прелесть – малый! – сказал Сухов.

– А вы, Матвей Иванович, – провозгласил вдруг хозяин, обращаясь к Скудельникову, – что молчите? ни слова не сказали?

– Я давно хотел сказать, да не дали...

– Ну, говорите теперь: что такое?

– А вот дыню и ананас забыли, так и остались неразрезанными! – сказал он. Все засмеялись.

– В самом деле! сейчас, сейчас! – захопотался хозяин. – Да что вы о дыне, вы о романе-то ничего не сказали.

– Я все слушал...

– Ну, и скажите что-нибудь.

– Все скажу.

– Говорите: мы слушаем.

– Я не вам, я самому автору скажу.

– Что скажете?

– Все, что здесь происходило и что говорили о его романе...

– Нельзя: мало ли что тут говорили. Он обидится.

– Вы не знаете его, а еще друзья! Все скажу, что делали и говорили...

– Все?

– Все, даже и про ананас с дыней не забуду!

– Скорей! скорей! кончим их...

– Некогда, смотрите, на дворе день!

Все оглянулись к окнам. Майское утро превозмогало, даже сквозь густые занавесы, блеск свечей.

Кряков вдруг встал с места и скорыми шагами подошел к хозяину, вместе с студентом.

– Прощайте, мне пора! – сказал он, – спасибо вам! Прекрасный вечер! Мне очень весело было... Ужин отличный, и вино тоже.

Все смотрели на него с улыбкой. Хозяин, Сухов, генерал окружили его. Прочие сидели.

– Не хотите ли рюмку на прощанье? – сказал хозяин.

– Хоть стакан, с удовольствием!

Ему подали вина.

– За ваше здоровье! Благодарю! Я очень доволен вами! очень!

Все хохотали.

– А мы-то вами как! – сказал Сухов. Уранов пожимал ему обе руки.

– Нам надо вас благодарить! Вы доставили нам так много удовольствия... – говорил он.

– В самом деле? Ну, я рад! Прощайте и вы все, – сказал он прочим собеседникам, – я на вас не сержусь, господа!

Общий хохот был ему ответом.

– Il ne manquait que ça! Est il drôle![99] – раздалось среди смеха в другом конце стола.

– Право, не сержусь! ни на кого! даже и на вас! – обратился он к Красноперову. – И на ваше превосходительство тоже! – обратился он к генералу. – Дайте руку!

– Вы очень добры! – сказал генерал и весело хлопнул рукой по его ладони.

Красноперов надулся. Хохот так и гудел.

– Что же вы смеетесь? – упрекнул Кряков. – Скажите им, что это неучтиво! – обратился он к Чешневу, – вы мне дали урок в учтивости, а они вон что! Смейтесь, когда уйду!

Но у всех лица так и сияли от смеха.

– Dieu, dieu, dieu, dieu! – повторял гость в конце стола.

– Я сам приеду к вам с визитом благодарить вас за посещение! – сказал хозяин.

– Хорошо, хорошо! очень рад! Славная мысль! буду ждать вас! – отвечал Кряков. – Зачем с визитом, да еще благодарить? Просто так приезжайте! Не обманите!

Уранов молчал и в недоумении поглядывал на него.

– И мне позвольте покороче познакомиться с вами и просить вас когда-нибудь сделать мне честь пожаловать ко мне! – сказал Сухов. – Я приеду к вам вот с Григорием Петровичем...

– Буду ожидать; что ж, я рад!.. И вас всех прошу: милости просим ко мне, кому угодно...

Все смеялись.

– Я теперь в Павловске! – прибавил он.

– На даче? Где же вас там найти? – спросил с улыбкой Сухов.

– Вот он знает! – отвечал Кряков, указывая на молодого Уранова. – С ним приезжайте! вот бы в четверг: там музыка в этот день... Право!

– Где же мы вас там, на музыке встретим? – спросил Уранов с улыбкой.

И все улыбались.

– Да, хоть на музыке, а потом ко мне...

– Прощайте, прощайте, не поминайте лихом! – твердил он, обходя стол. Чешневу он молча подал руку и крепко пожал ее; тот отвечал ему тем же и с каким-то состраданием посмотрел ему вслед. – Теперь, кажется, мало таких, – заметил он тихо соседу, – это один из последних могикан!

– И этот, я думаю, тоже, – отвечал тот тихо, указывая глазами на Красноперова.

Кряков все прощался.

– *Et vous, là-bas sans rancune!*[100] – сказал он вдруг, подходя к концу стола, откуда раздавались французские фразы.

– *Tiens! il parle correctement!*[101] – заметили там.

Потом он остановился около Лилиной.

– Прощайте, барыня! – сказал он, – я и на вас не сержусь; видите, какой я добрый! – Хотел возобновился. – Докажите же и вы доброту: дайте мне руку на прощанье! не бойтесь, я не укушу!

Все с любопытством и смехом смотрели на них обоих. Лилина робко и нерешительно положила свою руку на его ладонь, особенно когда увидела, что у него рука была чистая и из рукава виднелись манжеты безукоризненной белизны.

– Не сердитесь? нет? – спрашивал он, держа ее руку.

– Нет,нисколько! – сказала она, поглядывая на окружающих, – мне тоже было весело!

– И прекрасно! А какая у вас славная ручка: стройная, правильная, образцовая...

Она хотела отнять руку, особенно когда все, не удерживая смеха, смотрели на эту сцену. Но он держал ее крепко.

– Только пухла очень, мягка, изнежена она! Я знаю, однако, одну руку, которая не уступит вашей, особенно если на нее надеть вот такую лепешку! – Он указал на ее браслет с большим изумрудом и с брильянтами вокруг. – Но та рука грубее; она не нежится, а работает и иглой, при случае и сварит что-нибудь, и около детей повозится!

– Чья же это такая счастливая рука, что удостоилась вашего внимания? – с кокетли-

вой иронией спросила Лилина, уже переставшая робеть. – Извините за нескромный вопрос! – прибавила она.

– Моей жены, вот чья! славная бабенка! – сказал Кряков. – Но все-таки и у вас ручка образцовая!

Он вдруг чмокнул ее руку и быстро побежал вон, преследуемый дружным хохотом и восклицаниями всех гостей. За ним следовал студент, а сзади провожал хозяин. Двери затворились, и хозяин воротился на свое место.

– Каков! а! – раздавалось с разных сторон.

– Mais c'est une horreur! c'est une peste![102]

– Помилуйте, прелесть! – говорил Сухов.

– L'ours mal léché! Oh, quelle horreur![103]

– А я вижу, что он добрый малый, воля ваша! – сказал генерал.

– И какой умный, образованный! – прибавил редактор.

– Паршивая овца! – сказал Красноперов, – все стадо перепортит!

– Заблудшая овца! – поправил с сожалением профессор.

– А вы, Дмитрий Иванович, как находите его?

– Он для меня... загадка! – сказал тот задумчиво. – Вы, конечно, знаете его? – спросил он у редактора журнала.

– Нет, в первый раз слышу его имя, – сказал тот. – Теперь так много пишущих в газетах и журналах!

В эту минуту воротился молодой Уранов и с веселым видом смотрел на гостей.

– Ну что, проводил гостя? – спросил его дядя,

– Да! Как он вам понравился?

Все повторили ему свои отзывы.

– Еще приглашает к себе, – сказал Красноперов. – Кто поедет к эдакому уроду, куда-нибудь в трущобу, на чердак!

– Мы поехали бы – вот с ним! – сказал хозяин, показывая на Сухова, – если б это было в городе. Но, конечно, он не серьезно приглашал нас, да еще в Павловск! Ты, Митя, завези ему просто наши карточки.

– Напротив, он очень серьезно приглашает вас всех, – сказал студент с лукавым смехом, – и даже вас! – обратился он к Лилиной. – Вот и приглашение!

Он подал дяде какой-то листок. Все навост-

рили уши и жадно впились глазами в хозяйна.

– Что это такое! – сказал тот и начал читать вслух:

«В четверг, 12-го мая, в Павловском театре, дан будет, в пользу герцоговинцев, спектакль³¹, с участием артиста императорских театров...»

Он не успел договорить имени артиста, как все общество гостей привстало с мест, хором ахнуло и вдруг оцепенело в молчании.

– Это он! возможно ли! – шепнул кто-то точно в испуге.

– Diable! diable! nous sommes joliment attrapés![104] – проговорил про себя другой.

Общая картина, которою вполне наслаждался только один зритель, молодой Уранов.

Затем последовал общий, сплошной смех. «А мы-то! – А я-то!» – вырывалось среди хохота то у того, то у другого. Чешнев так и заливался детским смехом над собою. Только Красноперов угрюмо молчал.

– Как это тебе в голову пришло, Митя! – обнимая племянника, сказал Уранов.

– Вы просили, дядя, помочь, чтоб весело было! – сказал тот.

– Спасибо! я в долгу у тебя не останусь! – заключил Уранов.

Еще собеседники не очнулись от смеха, как вошел человек и сказал, что швейцар пришел снизу доложить что-то нужное. Швейцар и сам выглядывал из-за дверей в залу.

– Что такое случилось? что тебе? – спросил Григорий Петрович швейцара. – Войди!

– Насчет гостя; вот что сейчас изволили уйти...

– Ну?

Все с напряженным вниманием ждали.

– Когда они вышли, я подал им пальто; а они подошли к зеркалу, покосились на меня и отвернулись вот эдак спиной... а я в зеркало-то все и увидал...

– Что ж ты увидал?

– Они хватать за усы, да в карман их, хватать за бороду – да в карман! Гляжу, совсем другой человек стал! Да без оглядки как бросится вон, на извозчика – и так прытко погнажи...

– Ну что же?

– Я и побежал наверх доложить... господин незнакомый, в первый раз... все ли цело... се-ребро... Можно догнать...

Всеобщий гомерический хохот был ему от-ветом.

С хохотом гости прощались с Урановым, с хохотом шли по лестнице, одевались и разъ-езжались.

* * *

В следующий за этим вечером, в четверг вечерний поезд привез, в семь часов, в Пав-ловск всех гостей, бывших на литературном вечере Уранова, кроме Красноперова и графа Пестова, и много других лиц того же круга. За два дня до спектакля не было уже ни одного места; билеты были распроданы по басно-словной цене.

Артиста, как и всегда, при его появлении встретил восторженный прием. Раскланива-ясь, он особый поклон обратил в ту сторону, где сидели: Уранов, Сухов, генерал, сам автор романа и дамы, между прочими графиня Си-нявская с дочерью, княгиня и княжна Тецкие, Лилина и много других. Пьеса прошла бли-стательно, вызовом не было конца, букетам и

подаркам тоже. Тут были и венки, и несесеры, и футляры с разными вещами. Общее внимание обратил поданный из ложи, через капельдинера, большой старинный серебряный кубок, изящной работы, который Уранов показывал за ужином своим гостям.

Артист принял кубок, узнал его, взглянул на ложу, откуда его подали, и не мог даже поклониться. Он только приложил руку к сердцу.

На кубке были вырезаны имена всех присутствовавших за ужином.

«Истинному виновнику вечера 7-го мая – благодарные собеседники», – сказано было в записке, вложенной в кубок.

Там же оказался футляр с браслетом, украшенный большим изумрудом с брильянтами вокруг.

«С одной женской руки на другую, достойнейшую, руку супруги знаменитого артиста – от женщины», – написано было мелким женским почерком на бумажке.

Наконец со дна кубка артист достал пачку радужных ассигнаций. Он сосчитал – оказалось пятьсот рублей. Он отнес их в кассу, взял

расписку в получении пожертвования от таких-то лиц в пользу славян – и отправил ее на другой день с своею визитною карточкою к Уранову.

Сентябрь 1877.

Воспоминания

В университете*

Как нас учили 40 лет назад[105]

В настоящее время, наряду с важнейшими вопросами русской жизни, стал на очередь университетский вопрос. Это – наш всеобщий вопрос, по тому значению, какое имеет у нас университетское образование. За исключением некоторых специальных и технических частей знания – военной, морской, инженерной и других, имеющих свои заведения, представители высшего универсального образования до сих пор почерпают знание в университетах. Даже, говорят, в военное время, например, в Крымскую кампанию, главнокомандующий войсками, князь Горчаков, свидетельствовал, что прошедшие курс университетского образования были и отличными, из ряда вон выходящими офицерами.

Рассадниками высшего образования служат еще духовные академии, лицеи, училище правоведения. Были так называемые универ-

ситетские пансионы; эти заведения выпускали – и выпускают – людей высшего образования, но в незначительном против университетов количестве. Университет пока превосходит все. Не мудрено, что и само правительство и общество поглощены разработкою университетского вопроса. И в настоящее время все бывшие студенты с участием ждут его решения, молодые со временные – и подавно. Печать то и дело проводит разносторонние взгляды и мнения на занимающую всех задачу.

Везде идут оживленные толки, высказываются надежды, ожидания. Молодость волнуется, с свойственным юности нетерпением спешит заявлять свои желания.

Задача нелегкая со стороны тех, от кого зависит судьба университетского образования – решить так, чтобы удовлетворить стремлениям молодых людей в духе времени, не делая малодушных уступок в ущерб образованию и во вред самим учащимся.

Нелегко и со стороны последних, заявляя свои задушевные желания, кровные нужды, воздержать раздражительное юношеское

нетерпение и не переступить кое где и кое в чем за черту своих законных желаний.

Бывшие студенты всех возрастов, рассеянные по всем путям общественной деятельности, не могут, конечно, смотреть на эту борьбу равнодушно, как старые инвалиды не смотрят равнодушно на молодых бойцов.

Тем, которые лично не втянуты в эту борьбу по своему положению или занятиям, остается вспоминать прошлое – от этого даже и воздержаться нельзя (спросите любого военного инвалида).

Меня собственно, – глядя на эту современную пчелиную работу в наших университетских ульях и прислушиваясь к толкам в обществе, – как старого студента московского университета тридцатых годов, тянет к воспоминаниям совсем не самолюбивая мысль о пользе какой-нибудь, не желание поднести публике и студентам урок – нет. Я не одарен никакими свойствами и способностями учителя, да и сам не желал бы напрашиваться на какой-нибудь раздражительный урок от молодежи, если что-нибудь в моих воспоминаниях не пришлось бы ей по сердцу.

Меня влекут просто воспоминания о лучшей поре жизни – молодости – и об ее наилучшей части – университетских годах. Благодарнее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было.

Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом.

Я говорю о московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток¹. Впрочем, всякий из восьми наших университетов, если пристально и тонко вглядываться в их питомцев, сообщает последним некоторое местное своеобразие.

Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями,

видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы. Иногда пробегали в городе – впрочем, редкие – слухи о шумных пирушках в трактире, о шалостях, вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев или задорных пререканий с полицией и т. п. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией и симпатиями общества.

Эти симпатии вливали много тепла и света в жизнь университетского юношества. Дух юноши поднимался; он расцветал под лучами свободы, падшими на него после школьной или домашней педагогической неволи. Он совершал первый сознательный акт своей

воли, приходил в университет сам, его не отдают родители, как в школу. Нет школьной методы преподавания, не задают уроков, никто не контролирует употребления им его часов, дней, вечеров и ночей.

Далее следуют шаги все свободнее и сознательнее, достигается «степень зрелости» без всякого на нее гимназического диплома. Свободный выбор науки, требующий сознательного взгляда на свое влечение к той или другой отрасли знания, и зарождавшееся из того определение своего будущего призвания – все это захватывало не только ум, но и всю молодую душу. Университет отворял ему широкие ворота, не в одну научную сферу, но и в самую жизнь. С учебной почвы он ступает на ученую. Умственный горизонт его раздвигается, перед ним открываются перспективы и параллели наук и вся бесконечная даль знания, а с нею и настоящая, законная свобода – свобода науки.

Программы, инструкции бессильны против свободы науки. Сжатая в учебных классах, как река в тесных берегах, она с университетской кафедры изливается широким и

вольным потоком. Между профессором и слушателями устанавливается живой ток передачи жадному вниманию их ее откровений, истин, гипотез. Этой свободы не дают или не давали (так как я говорю о прошлом) другие из высших гражданских, военных или духовных заведений.

Я не говорю, чтобы свободе этой не полагалось преград: страх, чтобы она не окрасилась в другую, то есть политическую краску, заставлял начальство следить за лекциями профессоров, хотя проблески этой, не научной, свободы проявлялись более вне университета; свободомыслие почерпалось из других, не университетских источников. В университетах молодежь, более чем в других заведениях, ограждена серьезною содержательностью занятий от многих опасных увлечений, заносимых туда извне, больше издалека... Но тем не менее на лекции налагалось иногда veto[106], как, например, на лекции Давыдова².

Он прочел всего две или три лекции истории философии; на этих лекциях, между прочим, говорят (я еще не был тогда в университете), присутствовал приезжий из Петербур-

га флигель-адъютант, и вследствие его донесения будто бы лекции были закрыты. Говорили, что в них проявлялось свободомыслие, противное... не знаю чему. Я не читал этих лекций.

Где же, казалось бы, и проявляться свободомыслию, как не в философии? Но как бы то ни было, лекции были закрыты. Это противоречит, повидимому, сказанному мною выше о свободе науки. Напротив. Наука может быть вовсе отменена, кафедра ее закрыта, как это и сделано с лекциями Давыдова, но если бы она не закрывалась, ограничение профессорского слова, духа и смысла его лекций едва ли было бы возможно. Профессор сумел бы дать понять себя, а слушатели сумели бы угадывать недосказанное, как читатели умеют читать между строками.

Гораздо позже, при императоре Николае Павловиче, преподавание философии поручалось в университетах, как известно, духовным лицам.

Возвращаюсь к своим воспоминаниям

Я и брат мой и еще некоторые прежние школьные товарищи вместе готовились к

вступительному экзамену и вместе подали просьбу ректору университета.

Это было в августе 1831 года: 1830-й – был холерный год, и лекций не было. Бывшим уже в университете студентам не зачли этого года.

Брат и я поступали – он в юридический факультет, а я в филологический, или, как тогда назывались они, – первый «этико-политическим», а второй – «словесным».

Мы с братом и товарищи наши издалека готовились и были хорошо приготовлены к экзамену, о требованиях которого, конечно, заблаговременно справились до мелких подробностей, до методы, до книг, и потому вышесказанные страх и трепет умерялись некоторою уверенностью в успехе.

Среди этих надежд надо мной неожиданно разразилось, как громовой удар, известие, что из министерства народного просвещения получено предписание требовать от вступающих в словесное отделение знания греческого языка, который хотя преподавался в университете для филологов, но до тех пор не был, при вступлении, обязательным.

Я знал порядочно по-французски, по-немецки, отчасти по-английски и по-латыни. Без последнего языка нельзя было поступить ни в какой факультет. Я переводил à livre ouvert[107] Корнелия Непота³, по которому все учились, как по «Телемаку» Фенелона во французском языке. Я был совершенно спокоен – а тут вдруг понадобился греческий язык!

К счастью, предписание пришло за несколько месяцев до экзамена, так что с юношескою энергией можно было – если не покорить вполне эллинскую речь, на что надо положить чуть не целую жизнь, – то хоть что-нибудь выучить, и что окажется в итоге четырех- или пятимесячных молодых стараний и сил, то и принести на экзамен.

Я и другие, кто поступал в словесное отделение, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложив все прочее, напустились на грамматику и синтаксис, и с этим скудным, приобретенным с грехом пополам запасом явились на экзамен.

Много воды подлил этот греческий язык в мои теплые надежды. Но все обошлось благополучно.

В назначенный день вечером мы явились на экзамен, происходивший, помнится, в зале конференции. В смежной, плохо освещенной комнате мы, тесной, довольно многочисленной кучкой, жались у стен, ожидая, как осужденные на казнь, своей очереди. Вот тут, конечно, сердце билось у всех, у меня – более других, по милости греческого языка.

Нас вызывали по несколько человек вдруг, потому что экзамен кончался за раз. В зале заседал ареопаг профессоров-экзаменаторов, под председательством ректора. Их было человек семь или восемь. Вызываемые по списку подходили к каждому экзаменатору по очереди.

Профессор задавал несколько вопросов или задачу, например, из алгебры или геометрии, которую тут же, под носом у него, приходилось решать. Профессор латинского языка молча развертывал книгу, указывая строки, которые надо было перевести, останавливался на какой-нибудь фразе, требуя объяснения. Француз и этого не делал: он просто поговорил по-французски, и кто отвечал свободно на том же языке, он ставил в своем списке

балл и любезным поклоном увольнял экзаменующегося. Немец давал прочитать две-три строки и перевести, и если студент не затруднялся, он поступал, как француз.

Я не успел оглянуться, как уже был отэкзаменован. Многие тоже отделались до меня и веселыми ногами уходили вон, в том числе и мой брат. И я довольно легко решил какую-то задачу из алгебры и получил одобрителный кивок от адъюнкт-профессора Коцаурова. Француз сделал мне два-три вопроса: «Vous avez bien profité de votre temps»[108], – похвалил он меня, отпуская. Профессор истории задавал общеизвестные вопросы о крупных событиях. Я отбыл свой экзамен в какие-нибудь полчаса.

Тут бы и уйти – вон и дверь полуотворена, но я сделал последний шаг и очутился – около греческого профессора.

Это был старик лет семидесяти с лишком, с редкими, как чахлые кусты полыни, седыми клочками волос на голове, худощавый, с изломанными чертами лица, отчасти с крючковатым носом, в очках. Он в своем вицмундире сидел точно в мешке. Физиономии у него

не было никакой, и по лицу его нельзя было догадаться, умен он или нет, добр или сердит. Это был известный эллинист – С. М. Ивашковский, о котором придется говорить ниже.

Он взглянул на меня, спросил фамилию, посмотрел в список. «Учились по-гречески?» – спросил он. «Да... с», – отвечал я и опустил глаза к полу, сам чувствуя, что в моем *да* присутствует вместе и *нет*. Там, под столом, я успел заметить, что профессор был в высоких сапогах, в которые были запряжаны его панталоны. «Так вот, извольте читать», – сказал он, указывая начало параграфа в греческой книге, помнится, «Отступление десяти тысяч греков», Ксенофонта. Тут у нас с ним началась некоторая борьба: я читал, а он на каждом слове поправлял: я не там делал ударения, где следовало. Его ухо не выносило этого: «Не так, не так», – останавливал он меня. А мне было вовсе не до ударений: я в это время в прочитанном ловил глазами знакомые слова, как друзей в толпе.

Через две-три минуты я увидел, что профессор делает заметные уступки: добиваясь значения слова и встречая остановку с моей

стороны, он договаривал сам, а когда получал удачный ответ или только намек на него – радовался. Вопросы делал легкие, больше из грамматического анализа, как в гимназии. Потом отпустил с одобрением. После уже я услышал, что начальство не желало затруднять вступление в университет из-за греческого языка и предоставило экзаменоваться из последнего снисходительно, так как его включили в программу вступительного экзамена поздно. И слава богу: умное было начальство – спасибо ему. Тогда министром был С. С. Уваров⁴.

Не учиться по-латыни считалось еще ересью даже в обществе. Бывало, претенденты на высшее образование притворялись знающими по-латыни и щеголяли заученными латинскими цитатами, часто не зная грамматики. О греческом же языке в обществе не поминал никто: его как будто не было на свете. Знали, что учат по-гречески в духовных училищах, что есть кафедра этого языка в университете – и только.

Не пройти, учась в университете, через эти классические ворота было нельзя: связь древ-

него мира с новым поддерживалась этим дряхлым мостиком, но это только относительно лингвистики. Чуткие умы проникали в глубину древности – в ее историю, дух и нравы – и помимо профессоров, и даже классиков в оригиналах. Они читали известные переводы на французский, немецкий, английский и отчасти русский языки и создавали себе более или менее определенный образ отжившего мира, иногда, может быть, живее, и пожалуй – и ближе к правде, нежели те, которые корпели над преодолением трудностей умершей грамоты.

«Ах, господа, вы не можете себе представить, как велико наслаждение читать древних классиков в оригинале!» – сказал однажды нам адъюнкт греческого языка на первом курсе, Оболенский, не встречая, вероятно, в нас слишком живого стремления к этому «наслаждению».

Но в чем состояло наслаждение – он не объяснил. Мне тогда показалось, что он преувеличил или хотел нас прищипорить. Но рецепт был слабый. Ведь главного наслаждения чтения – то есть образа и подобия живой ре-

чи, живых людей – нет более. Читая французские, немецкие и английские книги, мы как будто слушаем и видим живого француза, немца и англичанина, ловим звуки, интонацию, словом – нам говорит живой человек. Мы сличаем говор с печатным словом, чуем живой дух и всегда в состоянии сделать надлежащую аналогию. По-латыни и по-гречески этого нет.

Подозревать неискренность «наслаждения» этого почтенного адъютанта или кого бы то ни было я не хочу: я только думаю, что знатоки древних языков наслаждаются не тем, чем наслаждаются все, читая писателя живых языков. Тут входит, я думаю, больше тщеславия: «это очень трудно, немногие владеют знанием древних языков, а мы вот одолели и владеем ими свободно».

Это своего рода «наслаждение» и по другим предметам нередко встречается в людях, начиная с гоголевского Петрушки⁵ до... многих из нас.

Я вовсе не отвергаю относительной полезности изучения древних языков – такой ереси я проповедывать не хочу. Пусть желающие

учатся им до самых корней, пусть «наслаждаются» преодолеванием филологических трудностей и даже пусть тщеславятся этим: скорее уже этим, чем тем, например, что взлезают на Мон-Блан. Я только – как почти и все общество – против принудительного изучения этих языков в ущерб другим знаниям, иногда даже и знанию своего отечественного языка.

Но, кажется, этот вопрос, если еще не решен, то решается уже в желательном для большинства смысле – и ломать копья против подавляющего натиска классицизма не приходится. Скорее, может быть, при известной способности, в борьбе за что-нибудь, вдаваться в крайности, приходится – в споре с решительными противниками классицизма – кое-что отстаивать в пользу последнего.

Крайние противники хотят сжечь мосты и разорвать всякую связь с минувшим. Нередко слышишь какое-то озлобление против всего древнего и прошлого. «Расстались с древностью, и она нам более не нужна. Новое время принесло новые всходы и плоды. Новое знание ушло от старого на неизмеримое расстоя-

ние и не имеет никакой связи с минувшим! Это значит напрасно тратить время и затруднять умы пустяками, пренебрегая новым, нужным» и т. д.

Это слышится нередко в обществе и читается в печати[109].

Между тем минувшее напоминает о себе на каждом шагу – уже одною терминологиею во всех отраслях знания, открытиях, а особенно, романские наречия, кроме более или менее отдаленной связи в корнесловии, кишат древними словами.

Странно интеллигентному человеку, претендующему на высшее и полное образование, для которого открыта грамота новых иностранных литератур, пользоваться слепо этой грамотой, не зная ее происхождения и корней.

Это не татарский след, который оставили монголы, например, в нашем языке: от этих и подобных им вторжений остались одни звуки языка и более ничего. А древние языки внесли вместе и след своей цивилизации. Поэтому умеренные борцы по классическому вопросу (в том числе и я) никогда не подадут го-

лоса за совершенную отмену латинского и греческого языков в отношении лингвистики.

Продолжаю свои воспоминания.

Наконец все трудности преодолены: мы вступили в университет, облекшись в форменные сюртуки с малиновым воротником, и стали посещать лекции. Вне университета разрешалось желающим ходить в партикулярном платье[110].

Первый курс был чем-то вроде повторения высшего гимназического класса. Молодые профессора, адъюнкты – заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди, например – француз Куртнер, немецкий лектор Геринг, профессор латинского языка Кубарев и греческого – Оболенский. Они много помогли нам хорошо подготовиться к слушанию лекций высшего курса и, кроме того, своим добрым и любезным отношением к нам, сделали первые шаги вступления в университет чрезвычайно приятными. Между ними, как патриарх, красовался убеленный сединами почтенный про-

фессор русской словесности, человек старого века – П. В. Победоносцев.

Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочими тут был и Лермонтов⁶, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он не долго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним.

Тут была еще замечательная личность – Бодянский, впоследствии известный профессор славянских наречий.

Курс или класс наш был какою-то беспечною, веселою толпою юношей, собиравшихся как будто только повидаться и изучать не науки, а друг друга, потому что все, что проходили, мы более или менее знали.

Мы легко справились с переходным экзаменом и на второй год весело перешли на следующий курс, из маленькой аудитории в большую, окнами на обширный двор и ули-

цу. Там мы застали человек пятьдесят опередивших нас целым годом товарищей, не переведенных, по случаю холеры, на третий курс. Нас всего было, помнится, человек восемьдесят.

Перед нами были Герцен и Белинский в университете, но когда мы перешли на второй курс – их уже не было. Там были, между прочим, Станкевич⁷, Константин Аксаков⁸, Сергей Строев⁹ (впоследствии писавший статьи под псевдонимом Скромненко) и перешедший с нами из первого курса Бодянский¹⁰.

С Белинским я познакомился уже в 1846 году, в Петербурге, а с Герценом виделся только один раз, мельком, когда он был короткое время в Петербурге, проездом за границу.

Этот год (с авг[уста] 1832 по авг[уст] 1833) был лучшим и самым счастливым нашим годом. Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечно ясное небо, без туч, без гроз и без внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр. Если же и бывали какие-нибудь истории, в которых замешаны

бывшие до нас студенты, то мы тогда ничего об этом не знали¹¹. Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже с некоторым педантизмом относились к ней. Кроме нее, в стенах университета для нас ничего не было. Дома всякий жил по-своему, делал что хотел, развлекался как умел – всё вразброд, но в университет мы ходили только учиться, не внося с собою никаких других забот и дел.

И точно была республика: над нами не было никакого авторитета, кроме авторитета науки и ее преподавателей. Начальства как будто никакого не было, – но оно, конечно, было, только мы имели о нем какое-то отвлеченное, умозрительное понятие: знали о нем, можно сказать, по слухам. Был ректор, был попечитель, может быть, даже и инспектор (кажется, был), но мы его никогда не видали. Если я не ошибаюсь, он заведывал казенными студентами, имевшими квартиры и стол в университете. Тогда никаких стипендий не было, и многие бедные студенты принимаемы были на казенный счет. Прочие же небогатые, раскиданные по разным углам Моск-

вы, содержали себя, как знали и как могли, никаких пособий от университета не получали. Казенных студентов было, кажется, если не ошибаюсь, около ста человек.

И ректора и попечителя мы видели только два раза. Ректор был профессор физики в математическом факультете, Двигубский¹². Он однажды зашел в нашу аудиторию – во время лекции, и, кажется, сам удивился своему приходу. Грузный мужчина, небольшого роста, с широкими плечами, на которых плотно сидела большая, точно медвежья голова, – он как-то боком, точно нехотя, взглянул на толпу студентов, как будто говоря глазами: «ну, чего тут смотреть? невидаль какая!» – кивнул профессору, кивнул нам в ответ на общий наш поклон и скрылся. Он, кажется, зашел, что называется, для очистки совести: чтоб нельзя было сказать, что он ни разу не был в аудитории.

После него ректором был профессор восточных языков, Болдырев. И этот поступил точно так же, то есть зашел однажды на лекцию поглядеть на нас. Его посещение особенно памятно мне: передо мною одним на столе

лежала книга «Война Югурты», Саллюстия, в маленьком формате. У других ничего не было перед собою. А лекция была немецкой литературы лектора Кистера. Вдруг ректор подошел ко мне, взял книгу и посмотрел. «Отчего у вас латинская книга на лекции немецкой литературы?» – спросил он. «Она лежит тут от предыдущей лекции из римской словесности», – был мой ответ. «А где же немецкая книга?» – «У меня ее нет». И ни у кого не было. Кистер издал какой-то краткий, очень наивный курс немецкой литературы, скомпилированный с больших немецких курсов, и, конечно, рассчитывал на сбыт между студентами, но так как большинство их знало все, что там было, то книгу и не покупали.

Ректор не справился, есть ли она у других, а мне посоветовал приобрести ее. Я не приобрел, потому что у студента денег обыкновенно не бывает, особенно на книги. Доставать книги – это другое дело: мы это и делали, а покупать – нет. Эту роскошь могли себе позволить очень немногие, которые и снабжали ими своих товарищей.

Кроме того, я не купил книги еще потому,

что все в ней было мне известно, и притом я знал, что ректор больше никогда не придет на лекцию.

Попечителем был тогда известный в Москве богатый вельможа – князь С. М. Голицын¹³. Только это мы и знали о нем, да знали еще его большой, барский дом на Пречистенке и прекрасную дачу, Кузьминки, в семи верстах от Москвы, куда нередко отправлялись гулять пешком взад и вперед. Знали также все ходившие в обществе анекдоты о его широкой благотворительности, о его роскошных праздниках, даваемых во время посещения Москвы царскою фамилиею, – и больше ничего.

И вот однажды кто-то из передней просунул в аудиторию голову и сказал: «Попечитель приехал». Вслед за тем он вошел к нам, сияя довольством, добротой на лице и звездами на груди мундирного фрака. Это был невысокий, плотный человек, с небольшой головой, с коротко стриженными волосами. Сбоку, ближе к брюшку, у него покачивался большой владимирский крест на скрытой под жилетом ленте через плечо.

Он весело поздоровался с нами, присел рядом к профессору и поглядывал на нас кротко и ласково, как добрые крестные отцы смотрят на своих крестников или дяди – на любимых племянников. Посидев с четверть часа, он живо встал, с улыбкой раскланялся с нами и пошел в другие аудитории. Больше мы его не видали.

Посетил нас еще назначенный, кажется, после него попечителем граф А. Н. Панин¹⁴. Он так же, как ректор Двигубский, взглянул на нас – не то мрачно, не то сердито, почти про себя заметил, что у многих студентов очень длинные волосы, и ушел.

Тогда длинные волосы считались у начальства признаком вольнодумства, и в учебных заведениях, особенно военных, производилась, как мы слышали, усиленная стрижка.

Вот все, что мы видели от попечителей. Тогда между нами невольно возникал вопрос о том, кто такие эти попечители, что они делают, о чем пекутся и зачем они университету?

Нам, собственно, было за глаза достаточно одних профессоров, из которых старший (в нашем факультете – М. Т. Каченовский¹⁵) на-

значался деканом. И об обязанностях декана у нас было тоже неясное понятие. Только на экзаменах он был нечто вроде председателя.

Личный состав наших профессоров был очень удачный, с малыми, едва заметными исключениями. Первым считали мы – и по старшинству лет и по достоинствам – помянутого декана, М. Т. Каченовского. Это был тонкий, аналитический ум, скептик в вопросах науки и отчасти, кажется, во всем. При этом – строго справедливый и честный человек. Он читал русскую историю и статистику; но у него была масса познаний по всем частям. Он знал древние и новые языки, иностранные литературы, но особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу – археология и проч. Любимая его часть в истории была этнография. Особенную симпатию он питал к польским историкам (сам он был родом из Малороссии и выказывал явное расположение к своим землякам) и летописцам. И томил же он нас подробностями происхождения одних народов и племен от других! До сих пор иногда будто слышишь его рассказы о разветвлениях народов, более все-

го – о финских племенах, далее о печенегах, о половцах, о торках, берендеях, черных клобуках, о том, что северные и южные славяне – никак не одно, а два различные племени, сошедшиеся с противоположных сторон, с севера и с юга, и т. д.

Когда он касался последнего излюбленного им вопроса о различии происхождения северных и южных русинов или вообще какого-нибудь спорного в истории вопроса, щеки его, обыкновенно бледные, загорались алым румянцем и глаза блистали сквозь очки, а в голосе слышался задор прежнего редактора «Вестника Европы». Он мысленно видел перед собою своих ученых противников и поражал их стрелами своего неумолимого анализа. Он терпеть не мог никаких мифов в истории и начинал лекции русской истории с Владимира, предупредив нас, что он не станет повторять басен, которые мы слышали в школе, например об оригинальном мщении Ольги за смерть Игоря, о змее, ужалившей Олега, о кожаных деньгах, – особенно о кожаных деньгах. Как теперь помню его подлинные слова: «Как мог Карамзин, человек с

необыкновенным умом, допустить, чтобы могли быть в обращении кожаные клочки, не обеспеченные никакой гарантией!¹⁶» О шкурках кожаных, представлявших будто бы свою собственную ценность, он и слышать не хотел,

Он отвергал также подлинность «Слова о полку Игоревом», считая его позднейшей подделкой, кажется XIV века, о чем однажды вошел в горячий спор с Пушкиным, которого привез на лекцию министр Уваров.

Здесь я сделаю небольшое отступление по поводу этого приснопамятного мне – конечно, и всем тогдашним студентам – посещения великого поэта, тогда уже в апогее его славы.

Когда он вошел с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чадю обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзией, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование.

Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни – и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России – передо мной в пяти шагах! Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы.

«Вот вам теория искусства, – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам и указывая на Давыдова, – а вот и самое искусство», – прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее подготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, – это для вас интересно», – пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение – видеть и слы-

шать нашего кумира.

Я не припомню подробностей их состязания, – помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным¹⁷. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслушать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин.

С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучшее всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сде-

ланы слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся – это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу, голова, с негустыми, кудрявыми волосами.

Обращаюсь к Каченовскому.

Он отвергал участие всяких сентиментов в изучении истории, а разнимал ее холодной критикой, как анатомическим ножом труп. Места священным, патриотическим чувствам – в науке для него не было. Все подобные спорные вопросы он, говорю, разбирал с некоторым раздражением в лице, в голосе. Обыкновенно же он читал медленно, вяло – и, пожалуй, если не вслушиваться глубоко в его речь, то и скучно. Точно как старый дядька нехотя мямлит в сотый раз сказку детям, чтоб усыпить их. Некоторые и засыпали или по крайней мере дремали под его однообразный, монотонный говор.

Но все, следившие за непрерывной нитью его исторических рассказов, слушали с глубоким интересом этот тонкий анализ, в котором сам профессор никогда не приходил к синтезу. Последний возникал у слушателя

сам собою, по окончании лекции или лекций. Он принесет с собой несколько каких-то листов, клочков пергамента, книгу, летопись какую-нибудь. Начнет с подробности, мелочи и около нее опытной, твердой рукой начертит узор события, подтвердит или опровергнет принятые гипотезы и осветит эпоху со всех сторон. Однажды принес, например, книгу с рисунками абраксасов, печатей новгородских посадников, и при этом объяснил способы управления их.

И всю историю так читал, точно смотрел в нее глубоко, как в бездну, сквозь свои критические очки. Мы слушали, записывали: это и было программой его лекций, без которой мы не знали бы, что делать на экзамене, потому что он лекций не давал. Да тогда почти и никто не давал их, по крайней мере в словесном факультете.

О литографированных лекциях и помину не было. Это – новейшее баловство, которое, конечно, имеет свою хорошую сторону в том, что сберегает много времени, избавляя слушателей от скучного труда переписывать, хотя... переписка эта служила в то же время и

повторением лекций.

Мы должны были записывать изустную речь профессора, и этот трудный процесс приносил нам массу добра. Стенографии не было, ловить каждое слово и записывать нельзя, следовательно надо было схватывать общий смысл каждого периода и сжато излагать на бумаге. Легко понять, как такая умственная гимнастика должна была изоцрять соображение, развязывать ум и перо! Нет, слава богу, что у нас не было литографированных лекций! С этой стороны, могу сказать, у нас было лучше.

В юридическом факультете, напротив, почти все профессора сообщали перечни своих лекций, а иные читали прямо по известным источникам. От этого там случались такие примеры, что иногда кончавшие курс юристы плохо владели пером.

Между тем в новое время кто-то (едва ли не Писарев) горько упрекал профессоров, что его долго томили над упражнениями переводов¹⁸ иностранных или древних авторов. Полноте! да не этим ли упражнениям обязаны молодые писатели и, между прочим, тот же

Писарев бойкостью, живостью, правильно-стью и свободой речи!

Пусть для опыта нынешний студент отложит хоть на время в сторону литографированные лекции – и сам приготовит для себя ученое блюдо: он увидит в непродолжительное время, как лекции незаметно врежутся в память, и какую свободу почувствует он в своей письменной речи! Я полагаю, что он, после опыта, откинул бы совсем помощь литографии.

Конечно, для этого надо аккуратно посещать лекции, чего, говорят, в новое время в точности не соблюдают и что будто бы к этому преподаватели относятся снисходительно или равнодушно. В мое время этому бы не поверили. Конечно, и у нас бывали отсутствующие, или случайные, или ленивые, но процент их так был незначителен, что это отсутствие было незаметно и аудитории были полны. Да и как студенту не посещать лекций? Что же он делает, спросили бы мы, и почему он студент? Говорят – он дома может заниматься, читать книги в библиотеках, составлять по ним записки и т. д. Тогда зачем уни-

верситет, кафедра и профессор? – спросили бы мы. Под личным руководством опытного представителя знания, кроме догматики науки, фактов, событий, почерпается сила убеждения, взгляд, критическая оценка, передаваемая нередко с жаром, с увлечением. Любовь профессора к своему предмету связывает слушателя живою связью с наукой, влагает в нее «душу живую» живою речью, живым человеком. Никакой книжный курс этого не даст.

Все это мы понимали и, любя лекции и профессоров, дружно и весело наполняли аудитории. Конечно, было немало исключений: в нашем ученом стаде было не без козлиц, не поклонников знания и науки, а или домогавшихся диплома, или несших иго университетского учения по воле родителей; наконец были просто ленивые, беспечные. Они нуждались в принудительных мерах – и они были. Например, некоторые профессора держались старинного обычая делать перекличку и отсутствующего отмечали сокращенным латинским *abs.*, то есть *absens*: у кого в течение года число этих *абсов* превышало известную цифру, того не переводили на следующую

щий курс.

Скажут, что это – школьная, ферульная ма-
нера, недостойная молодых людей, пришед-
ших с аттестатами зрелости. Да, пожалуй, ма-
нера эта, так сказать, не республиканская в
нашей ученой «республике», где не было на-
чальства. Но... она имела и некоторую хоро-
шую сторону, вместе с полугодовыми репети-
циями, на которые мы, студенты, бывало,
роптали. И как не роптать: в самый разгар
зимнего сезона, в веселой и гостеприимной
Москве, вдруг лучшие ее дети, студенты, жи-
вой пульс балов, пикников, ходят с хмурыми
лицами или прячутся по своим углам, уткнув
носы в книги и записки!

Между тем эти репетиции подгоняли ле-
нивых, беспечных и облегчали слабых памя-
тью при сдаче экзамена. А боязнь *абсов*, как
боязнь долгов, волей-неволей приводила рас-
сеянных и нерадивых по утрам в универси-
тетские аудитории, где они, конечно, с
бóльшей пользой проводили утренние часы,
чем в садах, в кондитерских и ресторанах.
Впрочем, *абсы* выходили при нас из употребле-
ния: помнится, лектор французской лите-

ратуры; Декамп, прибежал к ним, да еще профессор Сандунов, в юридическом факультете.

Вместе с Каченовским наше уважение и симпатию разделял профессор теории изящных искусств и археологии, Н. И. Надеждин¹⁹. Это был человек с многостороннею, всем известною ученостью по части философии, филологии. Его известная диссертация о классицизме и романтизме имела огромный успех и сразу сделала ему имя в ученой литературе. Потом он получил кафедру и основал журналы: «Телескоп» и «Молву».

Это был самый симпатичный и любезный человек в обращении, и как профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим словом, которым вводил нас в таинственную даль древнего мира, передавая дух, быт, историю и искусство Греции и Рима. Чего только не касался он в своих импровизованных лекциях!

Он читал на память, не привозя никаких записок с собою. Память у него была изумительная. Он один заменял десять профессоров. Излагая теорию изящных искусств и археологию, он излагал и общую историю Егип-

та, Греции и Рима. Говоря о памятниках архитектуры, о живописи, о скульптуре, наконец о творческих произведениях слова, он касался и истории философии. Изливая горячо, почти страстно, перед нами сокровища знания, он учил нас и мастерскому владенью речи. Записывая только одни его лекции, можно было научиться чистому и изящному складу русского языка.

А тут еще Шевырев²⁰, тогда молодой, свежий человек, принес нам свой тонкий и умный критический анализ чужих литератур, начиная с древнейших – индийской, еврейской, арабской, греческой – до новейших западных литератур.

Он тоже блистал изяществом речи, но это была менее искренняя и кипучая речь, чем у Надеждина, зато более сдержанная, мерная, щегольская, заранее заготовленная, всегда тщательно обдуманная, обработанная. Он и читал по рукописи. Как благодарны мы были ему за этот бесконечный ряд, как будто галлерей обширного музея – ряд произведений старых и новых литератур, выставляемых им перед нами с тщательною подготовкою, с тон-

кой и глубокой критической оценкой их! И как не благодарить за бесчисленные ключи, которые оба эти учителя нам давали к уразумению всех еврейских, греческих, римских и новых западных произведений ума и фантазии, по лучшим старым и современным критическим оценкам, независимо от своей собственной? Долго без таких умных истолкователей пришлось бы нам потом самостоятельным путем открывать глаза на библейских пророков, на произведения индийской поэзии, на эпопеи Гомера, Данта, на Шекспира – до новейших, французской, немецкой, английской литератур, словом – на все, что мы читали по их указанию тогда и что дочитывали после них. Глубокий и благодарный поклон их памяти!

Кстати о чтении классических и вообще замечательных произведений ума, фантазии, а также и произведений научной литературы. Профессорские лекции, как бы они ни были полны, содержательны, исполнены любви к знанию самого профессора, все-таки суть не что иное, как только программы, систематические, постепенные указатели, регулирую-

щие порядок приобретаемых познаний. Кто прослушает только их и сам не заразится живой жаждой чтения, у того, можно сказать, все прослушанное в университете будет – как здание на песке. А таких немало, глядя на которых и слушая их, не заметишь и следа прочного университетского образования и невольно усомнишься, были ли они в университете. А они были, сдали экзамен и получили диплом.

Только тому университет и сослужит свою службу, кто из чтения сделает себе вторую жизнь. Мы – в нашей группе товарищей – читали все, что попадалось под руку; без сомнения, в других кружках делали то же. Но доставали мы книги, как я сказал, с большим трудом. Тогда не было, как теперь, множества библиотек на каждом шагу, журналов; особенно мало было переводов замечательных сочинений. Приходилось, что называется, из кожи лезть, знакомиться с теми, у кого были запасы книг на дому, или сообщая, вскладчину, покупать иное издание. В этом отношении наши современные товарищи гораздо счастливее нас.

С меньшей симпатией или, говоря правду, вовсе без симпатии относились мы к профессору истории русской литературы, хотя в своем роде знаменитому – И. И. Давыдову²¹.

Эта знаменитость была какая-то деланная, с натяжками. В обществе его принимали за то, чем он хотел казаться, но мы, юноши, чутко прозирали в нем что-то искусственное, декоративное. Высокого роста, несколько сутуловатый, с довольно благообразным лицом, умными серыми глазами, с мерными, округленными жестами, он держал себя с условным достоинством; речь его была плавная, исполнена приличия. Но от него веяло холодом, напускною величавостью, которая быстро превращалась в позу покорности и смирения при появлении какой-нибудь важной персоны из начальства.

Он считался универсальным ученым: читал когда-то лекции высшей алгебры, занял было кафедру философии, но с первых же лекций, как упомянуто выше, кафедра была закрыта.

При нас он занимал, как я сказал, кафедру истории русской литературы, после профессо-

ра Мерзлякова – человека умного, даровитого, старой школы. Я не застал его: он оставил кафедру за год или за два перед моим вступлением. Старые студенты симпатично вспоминали его умные, живые разборы произведений тогдашней школы наших классиков – Державина, Ломоносова, фон-Визина, Княжнина, Озерова и других. Кажется, до новых – Жуковского, Батюшкова, Пушкина – он не договорился. Он, конечно, судя по воспоминаниям о нем слушавших его студентов, умел бы понять и оценить по достоинству и этих – тогда еще новых – писателей. Сошел он со сцены – не столько по летам, сколько по слабости, нередкой у нас даже и в его положении, чему в пример можно привести Ломоносова. Он пил запоем и по несколько недель не являлся на лекции. Сам он писал немало стихами, переводил из древних классиков. Между прочим, он – автор общеизвестной песни или романса: «Среди долины ровныя», которая пелась тогда везде и теперь еще, может быть, поется в скромных провинциальных углах.

На лекции Давыдова собирались иногда и посторонние слушатели, разные московские

тузы, в качестве гостей. Но ни эти гости, ни студенты не выносили с лекции ничего особенно веского, замечательного, кроме более или менее красивых фраз, сквозь которые виделась нагота мысли, содержания. Сколько помню, один год он читал теорию словесности, а другой – собственно историю литературы.

Особенно много распространялся он об ораторском искусстве: Квинтилиан, Блэр, Баттё²² не сходили у него с языка. Но самому ему не далась *ars oratoria*[111]; искры, *feu sacré* [112], у него не было, и мы тихонько позевывали от скуки.

О художественных произведениях он передавал условную, ходячую оценку их, и когда останавливался на признанных всеми красотах – у него никогда не вырывалось горячего слова его собственного сочувствия, даже когда приходилось ему приводить разные места, например из Пушкина, тогда в разгаре его деятельности и славы. Мы глубоко уважали и горячо ценили Каченовского, любили Надеждина, Шевырева, а Ивана Ивановича Давыдова почитали за ученого и... вместе

ловкого, практического человека, но симпатии, повторяю, у нас к нему не было.

Ловким и практическим человеком мы считали его потому, что он был в большом ходу в московском обществе, занимал, кроме профессорской, другие должности (кажется, директора сиротского холерного института) и был в большом фаворе у министра. Потом это подтвердилось: он перешел на службу в Петербург, на должность директора педагогического института, нахватал чинов, звезд и достиг звания сенатора.

Но и Иван Иванович принес нам значительную дозу пользы тем, что знакомил нас так же, как и Надеждин с Шевыревым, с историей философии и потом упражнял в русском слове практически. Он поручал двум студентам по очереди составлять перечень каждой прочитанной им лекции и потом разбирал при всех их труд. Эти перечни и служили нам записками для экзаменов. Здесь приходилось на нашу долю выслушивать немало умных и дельных критических замечок и полезных советов. К сожалению, этот смотр производился только один раз, а не все три раза в

неделю на его лекциях. Такие практические уроки были бы нам несравненно полезнее его разглагольствований о Ломоносове и Державине, о Квинтилиане и Баттё с Блэром.

М. П. Погодин²³ читал нам всеобщую историю и статистику – и то под конец, на третьем курсе. Собственно он принадлежал к юридическому факультету, где читал русскую историю. Совет университета вдруг как будто спохватился, что мы, словесники, остаемся без кафедры всеобщей истории, и отрядил для этого дела Погодина. Он читал по Герену, скучно, бесцветно, монотонно и невнятно, но был очень щекотлив, когда замечал в ком-нибудь невнимание к себе. Чуть кто-нибудь из слушателей шепнет соседу слово, спросит, который час, он – бог его знает как – непременно поймает и обратится с вопросом: «Г[осподи]н такой-то! позвольте спросить, какое я последнее слово сейчас сказал?» – «Вы изволили говорить о том, – начинает тот заискивающим голосом – как Валленштейн двинулся с войском...» – «Нет, одно последнее слово скажите!» Тот, конечно, молчал, потому что не слышал этого слова, и Погодин продолжал

читать. Этого рода выговоры были среди скучной лекции маленьким развлечением для всех – посмотреть в лицо сконфуженного товарища.

У Михаила Петровича тоже, как и у Давыдова, было кое-что напускное и в характере его и в его взгляде на науку. Мы чуяли, что у него внутри меньше пыла, нежели сколько он заявлял в своих исторических – ученых и патриотических настроениях, что к пафосу он прибегал ради поддержания тех или других принципов, а не по импульсу искренних увлечений. Может быть, казалось мне иногда, он про себя и разделял какой-нибудь отрицательный взгляд Каченовского и его школы на то или другое историческое событие, но отстаивал последнее, если оно льстило патриотическому чувству, национальному самолюбию или касалось какой-нибудь народно-религиозной святыни и т. п. Помнится, он даже одну из своих лекций в этом смысле назвал: «Перчатка Строеву и Каченовскому»²⁴. Не знаю, подняли ли они эту перчатку? Словом, мы чувствовали, что он человек – себе на уме. С нами он был и педантически, условно лас-

ков и педантически требователен.

Все эти пятеро профессоров – одни более, другие менее, – как я сказал, имели вместе огромное влияние на наше развитие и образование.

Зато об остальных нельзя было сказать и десятой доли того же.

Впрочем, эти остальные были профессора: греческой словесности – С. М. Ивашковский, латинской – И. М. Снегирев, оба известные ученые и знатоки чужих и своих древностей; потом лекторы французской и немецкой литературы – Декамп и Кистер.

С. М. Ивашковский, о котором я упоминал выше, был добродушнейший старик, страстный любитель греческих классиков: между нами ходило мнение, что он да какой-то протоиерей Успенского собора были первые эллинисты чуть ли не в целом мире. Ивашковский в течение многих десятилетий высидел свой греческий словарь; не знаю, высидел ли что-нибудь протоиерей.

Ивашковский, углубившись на лекции в книгу, сам как будто упражнялся вместо нас: он читал, перебивал студентов (все больше на

ударениях), что не так читают, не так понимают или переводят, как он, с сердцем спешил досказывать сам и потому никогда не мог отличить знающих по-гречески от незнающих. Мы заметили эту его черту и искусно умели ею пользоваться, выжидая, когда он сам доскажет «мудреное место», и повторяли за ним. Он очень был доволен и ставил хорошие баллы всем, то есть собственно самому себе.

У него была странная привычка – шпиговать свою русскую речь словом «будет» – некстати, без всякой надобности. «Скажите – будет – мне, как вы понимаете – будет – вот этот стих – будет – в третьей песне Илиады» и т. д., – говорил он. Сначала нас это забавляло, а потом мы привыкли и для потехи приводили товарищей из других факультетов послушать. Те ушам не верили и помирали со смеху.

Мы лукаво пользовались еще его добродушием, чтобы сокращать лекции. Он любил с кем-нибудь из близко известных ему студентов, ходя взад и вперед по аудитории, побеседовать. Для этого и командировался чаще все-

го кто-нибудь из вышедших из семинарии и знавших по-гречески студентов. И они похаживали вдвоем и беседовали, а мы все беседовали тихо про себя – иногда с полчаса, так что на лекцию оставалось тоже полчаса.

С древностями греческими мы из его лекций не вынесли никакого знакомства, кроме подробнейших и скучнейших описаний утвари, оружия и т. п., по какой-то, с немецкого языка переведенной, прокисшей книге – и заучивали для экзамена, потом забывали.

Никакой общей идеи, никакого рисунка древнего быта, никакого взгляда, синтеза, ничего не мог нам дать этот почтенный греческий книгоед; он давал одну букву, а дух отсутствовал. За него сделали это дело Надеждин и Шевырев.

И. М. Снегирев, профессор латинской словесности и древностей, был очень замечательною фигурой во многих отношениях. Вкрадчивый, тонкий, но в то же время циничный, бесцеремонный, с нами добродушный – он разбирал римских писателей – так себе, тоже с одной только чисто лингвистической стороны, мало знакомя нас, как и Иваш-

ковский, с духом и историею древних. Кажется, ему до них мало было дела, а нам мало было дела до него. Он, как иногда казалось мне, будто притворялся знатоком римских древностей. Мы были друг к другу равнодушны и уживались с ним очень хорошо. Он же иногда умел сдобривать лекции остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Он и в обществе имел репутацию буфона и наживал себе одним этим, кроме разных других проделок, много врагов. Он исподтишка мастер был посмеяться над всяким, кто попадетя под руку, – и, говорят, нередко «лил свои пули» перед митрополитом Филаретом, у которого (и вообще у высшего духовенства) он был принят на короткой ноге благодаря более всего своим познаниям в русских, особенно в церковных древностях, которые дались ему больше, чем римские.

Забавно нам было видеть, как он однажды попался впросак и как на наших глазах во время экзамена старался выпутаться из петли. Некто студент З. написал какую-то брошюру о царе Горохе: я ее читал, но теперь за-

был даже точное заглавие; помню только, что там изображались в карикатуре некоторые профессора университета и, между прочим, чопорный и важный И. И. Давыдов. Описывалась их наружность, манера читать. Снегирев был цензором и пропустил брошюру, зная, конечно, очень хорошо, в чем дело, и заранее наслаждаясь про себя эффектом брошюры. Брошюра действительно произвела эффект и смех. Она ходила по рукам. Профессоры вознегодовали, больше всех – он, *le superbe*[113] Иван Иванович: как могло его коснуться дерзкое перо! Потерпел не автор-шалун, а цензор. С ним не говорили, отворачивались от него; Иван Иванович положительно не глядел на него, а тот залезал в глаза, старался замести хвостом свою штуку, льстил, изгибался – и напрасно! Мы видели все это и наслаждались профессорскою комедиюю.

Декампа можно было также назвать: *le superbe*. Это был значительно потертый и поношенный француз старого пошиба, с задираньем головы и носа, с напускною важностью во взгляде и в тоне, с округленною, напыщенною фразою, и прямой, как палка. Злые языки

говорили, что он носил корсет. Он, как рога какие-нибудь, носил свое мнимое величие в позе головы, в неподвижности корпуса, говорил – точно изрекал глаголы оракула и смотрел на все свысока.

Историю французской литературы назывался у него перечень писателей с IX века, с поименованием их сочинений и с краткою, в несколько строк, установившеюся в французских учебниках критическою оценкою. Напыщенным, изысканным языком он возвещал нам эти заповеди французских критиков, не освещая ничего своим собственным впечатлением и взглядом. Да едва ли у него и было и то и другое. Всякое живое слово или движение вывело бы его, пожалуй, из позы буддийского идола и нарушило статуарное величие его фигуры.

Говорят, он имел большой успех в светских салонах – разве потому только, что он француз, да за эту скульптурную величавость и за декламационный тон речи.

Конечно, для студентов не бесполезно было послушать часа три в неделю такого красноречия – собственно для французского языка,

не бесполезно также, в смысле упражнения, и заучить его тетрадку с перечнем имен и сочинений, написанную хорошим, правильным языком.

При этом не могу не вспомнить одного комического эпизода по поводу этих заучиваний. Для знавших по-французски ничего не стоило заучить содержание тетрадки и пересказать его, не с буквальной точностью, а своими словами. Другое дело для студентов из семинаристов: те должны были выдолбить текст слово в слово, буква в букву. И вот на экзамене, в полном присутствии факультетского начальства, декана и других профессоров, один студент из семинаристов вынул вопрос, прочел его и отвечал, переменив член в одном слове *la* на *le*... Едва он произнес слово, как раздался гомерический хохот – и профессоров и студентов. Наконец ослабилась даже и сам напыщенный Декамп... И стоило смеха: к сожалению, печатно слова, к которому студент приставил член *le*, привести нельзя.

Еще полезнее было писать сочинения на задаваемые Декампом темы: он по очереди предлагал две-три темы нескольким студен-

там и потом, как Давыдов, разбирал на лекции написанное.

Задавая, он всегда педантически назначал, – как, бывало, наши старые риторы задавали хрии²⁵, – и программу, как писать. Например, из Илиады задаст написать о прощании Гектора с Андромахой или из римской истории о каких-нибудь Гракхах: скажет тезис, потом *réorganisation*[114], потом развитие и заключение, – так что самое сочинение выходило у всех гораздо короче программы. Ну, бог с ним, с французом, и с немцем тоже! – Этот все натуживался пересилить своим старческим, надтреснутым голосом говор студентов, которые не стеснялись при нем – и все напрасно: в этих усилиях прошли все два года его чтений.

Вообще надо сказать, что лекторы новейших языков из иностранцев почти не нужны в университете. Туда, особенно в филологический факультет, надо поступать молодым людям из русских с значительной подготовкой в языках, чтобы самим справляться, где нужно, с иностранной грамотой. Учиться ей там некогда, да и совестно: не студенческое дело –

преодолевать синтаксические трудности, когда надо уже уметь читать писателей в оригинале. Это дело школы. А толкователями иностранных литератур для русских юношей могут быть только русские люди, которые в то же время сообщают и параллель своей литературы с иностранными. Так это теперь, кажется, и делается везде – и слава богу!

С этой целью и учреждена была у нас кафедра иностранных литератур, которую с успехом и блеском и занимал Шевырев.

Упомяну еще о профессоре богословия, священнике Терновском. Это был не то что «добрый батюшка», а настоящий строгий профессор.

Слушание его лекций, не знаю почему, было обязательно для студентов юридического факультета во весь трехгодичный курс. Для прочих факультетов положено было слушать его только первый год. Один год он читал догматическое, а другой – нравственное богословие. Мне пришлось прослушать последнее. Он читал скоро и много: в час начитает листов шесть писанных и, кончая, – даст программу прочитанного. На следующей лекции

он вызовет кого-нибудь пересказать прочитанное в прошлый раз. Этому боялись и прятались за спины товарищей, чтоб он не вызвал. Отметкам его придавался особый вес. Получивший у него единицу не переводился на следующий курс. Его подробные, ученые и сухие лекции как-то мало вязались с жизнью. Они выучивались к экзамену и потом забывались.

Таков был персонал наших университетских преподавателей.

С ним мы вступили на последний университетский 1833–1834 год: тогда курс для всех факультетов, кроме медицинского, был трехлетний. Для медиков полагалось четыре года.

Собственно золотым веком нашей университетской республики можно назвать 1832–1833 год. В выпускном 1833/34 году на университет легла какая-то тень. В университете, сначала вне аудиторий, стала появляться новая личность. Это была статная, прямая фигура довольно большого роста, высоко державшая голову, в вицмундире, с крестом на шее. Увидя его, так и хотелось сделать ему плюшкинский вопрос Чичикову: не служил

ли он в военной службе?²⁶ Так он держал себя осанисто и гордо, точно в строю. Может быть, он и служил там. Мы узнали, что его зовут – Д. П. Голохвастов, что он назначен помощником попечителя.

Он похаживал по обширным дворам университета, как будто осматривая здания. За ним, точно на пристяжке, несколько поодаль, следовал чиновник в мундирном сюртуке. Его называли смотрителем – чего? мы не знали и не любопытствовали знать, полагая, что это лицо назначено для внешней части, может быть по хозяйственной или что-нибудь в этом роде.

Но вскоре вслед за этим похаживанием вокруг да около Голохвастов стал заглядывать и в аудитории, садился, пока молча, около профессора, слушал лекции и внушительно, начальственно поглядывал на нас. Мы отвечали ему взглядами недоумения.

Затем он стал вмешиваться в лекции, спрашивал студентов, причем посматривал на нас несколько надменно и, без всяких с нашей стороны поводов, строго.

«Что означает сей сон?» – спрашивали мы

друг друга и недоумевали. Мы, привыкшие к нашей республиканской свободе, не ведая ничего, кроме по очереди сменявшихся на лекциях профессоров, вдруг почувствовали какое-то стеснение, принужденность, – всё остерегались: «Вот, вот войдет посторонний, совсем чужой университету господин и станет приказывать, распоряжаться!»

Словом, мы почувствовали, что у нас ни с того ни с сего и без всякой, казалось нам, надобности явилось начальство, прямое, непосредственное начальство, непохожее на ректора, декана, которые заведывали учебною частью, и всего менее на ласкового вельможу, князя С. М. Голицына.

Мы стали несколько унывать, осматриваться и всё наблюдали, нет ли поблизости Голохвастова, с надменным и внушительно-строгим, без надобности, взглядом? Он же начал позволять себе делать кое-кому замечания, выговоры и в то же время, как мы слышали, приглашал к себе некоторых студентов, знакомых с иностранными литературами, особенно французской и английской, которые сам будто бы знал основательно, бесе-

довал с ними, давал книги из своей библиотеки. Словом, опекал нас очень усердно и все более и более входил в свою роль опекуна.

На выпускных экзаменах он уже явился полным хозяином и распорядителем наших судеб. Он занял роль председателя в комитете экзаминаторов; декан при нем стушевался. Он вмешивался в вопросы, задавал свои, одобрял или порицал ответы, даже одного студента довольно грубо удалил из аудитории – и вместе из университета – за какой-то неумелый или непочтительный ответ на его замечание.

Мы не знали, чем вызвано было назначение его. Может быть, не произошла ли какая-нибудь история между студентами, уже покинувшими университет, которая заставила начальство «подтянуть университеты вообще». Не к тому ли времени относилась история с Герценом и высылка его из Москвы²⁷, – или другая, – я не знал тогда, да не знаю и теперь или – если знал когда-нибудь, то за был совершенно. Об этом могут лучше меня засвидетельствовать – и, может быть, уже и засвидетельствовали где-нибудь – мои то-

гдашние университетские товарищи.

Наконец университет пройден. В июне 1834 года, после выпускных экзаменов, мы все, как птицы, разлетелись в разные стороны. Мы с братом уехали домой, на Волгу, где я, прожив около года, в 1835 году переехал в Петербург и остался там навсегда.

Университетский официальный курс кончился, но влияние университета продолжалось. Потеряв из вида своих товарищей, словесников, я не забывал профессоров и их указаний.

В Петербурге, тщательно изучая иностранные литературы, я уже регулировал свои занятия по тому методу и по тем указаниям, которые преподали нам в университете наши вышеозначенные любимые профессора.

То же самое, конечно более и лучше меня, делали современные мне студенты: К. Аксаков, Станкевич, Бодянский, Сергей Строев. Не называю их товарищами, потому что не был с ними знаком. Я слышал только тогда, что они, составляя одну группу и занимая один угол в обширной аудитории, собирались друг у друга, читали, менялись мыслями – и едва ли не

являлись в печати уже тогда.

Это, может быть, покажется странным нынешним студентам, что мы, собираясь ежедневно в одной аудитории, могли быть друг с другом незнакомы. Это объясняется очень просто. Тогда студенты не составляли, как теперь [115], корпорации и не были ни в чем солидарны между собой, не имели никаких обязательных друг к другу отношений. Университет был просто правительственное учреждение, открывавшее свои двери для всех ищущих знания. Мы собирались там, как собираются на публичные лекции, в церкви и т. п.

Не было никакой платы с студентов; правительство помогало только, как выше сказано, бедным студентам тем, что давало им квартиру и стол. Стипендий никаких не было. Студенты приходили на лекцию и уходили, как посторонние друг другу лица. Никто не заботился о том, что тот или другой делает дома, чем он живет, чем особенно занимается.

Поэтому у нас не было никаких сходок, никаких сборов в пользу неимущих слушателей и, следовательно, никакой студенческой кас-

сы. Все студенты делились на группы близких между собою товарищей: иногда прежних соучеников в школе или случайных знакомых, иногда просто соседей на университетской скамье.

Я здесь упомянул о группе Станкевича, Строева и других; потом была группа казенных студентов, семинаристов и много других, мелких кружков. Эти группы не сливались между собою, ничто не связывало их друг с другом. Каждая группа имела свой центр; члены ее собирались между собою, вместе вели записки лекций, вместе читали книги, готовились к экзаменам – и, конечно, часто вместе проводили время вне университета.

Студенты были раскиданы по всей обширной Москве, сходились – кто пешком, кто в экипаже – на лекции. Ничто не отвлекало от занятий тех, кто хотел заниматься, потому что других обязательных занятий, кроме лекций, не было. Никаких балов, концертов, спектаклей в пользу неимущих слушателей не давалось; не было сходок, студенты не являлись в роли устроителей и распорядителей означенных увеселений, также не несли на

себе забот решать вопрос о пособиях наиболее нуждающимся товарищам и заведывать кассами.

Все было патриархально и просто: ходили в университет, как к источнику за водой, запасались знанием, кто как мог – и, кончив свои годы, расходились. Не берусь решать – было ли это лучше, или хуже нынешнего. Полагаю, есть своя хорошая сторона и своя дурная сторона медали. Хорошая – та, что студент, как сказано, не отвлекался ничем посторонним от своих прямых занятий, что особенно удобно было в московских уголках и затишьях, отдаленных от всякого шума и суеты. Дурная сторона медали – это равнодушие к товарищам, из которых многие, очевидно, боролись с нуждой. Теперь, кажется, юношеству облегчены средства не только к прохождению курса, но обеспечена поддержка и после, когда не посчастливится кончившему курсу вскоре пристроиться к какому-нибудь делу.

На родине*

Вступление. Поместив в журнале статью из *Университетских воспоминаний* – я стал рыться в своей памяти и в домашних бумагах с целью, не найду ли что-нибудь в них возможное для печати. Я захватил бумаги с собой в Усть-Нарву, на дачу, чтобы на досуге посмотреть, нет ли в них еще каких-нибудь воспоминаний, заметок, например, о том, что было дальше, что я видел, что я наблюдал и переживал по выходе из университета.

Разбирая бумаги, с пером в руке, я кое-что отмечаю и заношу на бумагу. «Для чего?» – спрашивал я и еще спрашиваю теперь себя. Если бы я захотел похлестаковствовать, я бы сказал: «Допеваю, мол, на пустынном берегу свои лебединые песни». Но я ничего никогда не пел и не допеваю: насмешники, чего доброго, разжаловали бы меня из лебеда в какого-нибудь гуся; или спросили бы меня, может быть, не хочу ли я приумножить свое значение в литературе, внести что-нибудь новое, веское? – Это на старости-то лет: куда уж мне!

Причина, почему я вожу пером по бумаге,

простая, прозаичная, а именно: от прогулок, морских ванн, от обедов, завтраков, от бездейственного сидения в тени, на веранде, у меня все-таки остается утром часа три, которых некуда девать.

Здесь, в Усть-Нарве, живут тихо, уединенно, безмятежно. Дачи окружены где маленькими, где большими садами, так что дачникам неизвестно, как живут соседи. Дачники, если хотят, могут встречаться друг с другом на музыке, которая собирает около себя публику, или на море во время купанья, или же на вечерних прогулках на морском берегу.

Я на музыку не хожу, в открытом море не купаюсь и встречаюсь с немногими знакомыми лишь вечером на берегу, когда буйный ветер не рвет шляпы с головы и не бьет песком в лицо. Таким образом, дачники друг с другом не сталкиваются на каждом шагу, как, например, около Риги и на других людных приморьях, и друг другу не мешают.

Вот в эти праздные три часа я завешиваюсь от солнца, в защиту больных глаз, и роюсь в бумагах, с пером в руках. День за днем, мало-помалу, у меня накопилась порядочная

кучка писанных листов.

Я задумываюсь, что я стану с ними делать? Бросить жалко, не показав никому. Спрашиваю себя: что это такое? и сам не знаю. Это не мемуары какие-нибудь, где обыкновенно описываются исторические лица, события и где требуется строгая фактическая правда: у меня в жизни и около меня никаких исторических событий и лиц не было. Это и не плод только моей фантазии, потому что тут есть и правда, и, пожалуй, если хотите, все правда. Фон этих заметок, лица, сцены большею частью типически верны с натурой, а иные взяты прямо с натуры. Кто-то верно заметил, что археолог по каким-нибудь уцелевшим от здания воротам, обломку колонны дорисовывает и самое здание, в стиле этих ворот или колонны. И у меня тоже, по одной какой-нибудь выдающейся черте в характере той или другой личности или события, фантазия старается угадывать и дорисовывает все остальное. Следовательно, напрасно было бы отыскивать в моих лицах и событиях то или другое происшествие, то или другое лицо, к чему читатели бывают склонны вообще и при этом редко

попадают на правду. Всегда больше ошибаются.

Пробегая теперь эти мои мелкие провинциальные наброски старого времени, я могу выразиться так, что все описываемое в них не столько *было*, сколько *бывало*. Другими словами, я желал бы, чтобы в них искали не голую правды, а *правдоподобия*, и буду доволен, если таковое найдется. Меня кто-то уже в печати укорял в привычке обобщать мои лица: это, помнится, было замечено с некоторой иронией, а между тем выходит как будто комплимент. Ведь обобщение ведет к типичности, и обобщение у меня – не привычка, а натура...

При свидании я покажу друзьям эти листки, а они пусть решат, без всяких натяжек и без всякого, конечно, лицепрятия – годятся ли они на что-нибудь.

А теперь пока – «еще одно последнее сказанье»...¹ Скоро надо убираться с здешнего берега: по вечерам становится темно и свежо.

Усть-Нарва.

11 августа 1887 г.

Итак, кончен учебный курс: теперь остается, по пословице, пожинать «сладкие плоды горьких корней ученья». Я свободный гражданин мира, передо мной открыты все пути, и между ними первый путь – на родину, домой, к своим.

Я и начал с этого пути, который оказался не совсем легким и удобным. От Москвы до моей родины считается с лишком семьсот верст. На почтовых переменных лошадях, на перекладной тележке это стоило бы рублей полтора ассигнациями (полвека назад иначе не считали) и потребовало бы дней пять времени.

Заглянув в свой карман, я нашел, что этой суммы нехватает. Из присланных из дома денег много ушло на новое платье у «лучшего портного», белье и прочие вещи. Хотелось явиться в провинцию столичным франтом.

Ехать «на долгих», с каким-нибудь возвращающимся из Москвы на Волгу порожним ямщиком, значило бы вытерпеть одиннадцатидневную пытку. Я и терпел ее прежде, когда еще мальчиком ездил с братом на каникулы.

Современный путешественник не поверит: одиннадцать дней ухлопать на семьсот верст! Американская поговорка: «Time is money»[116] – до нас не доходила.

Железных и других быстрых сообщений, вроде *malleposte*[117], не существовало – и я задумывался, как быть.

Мне сказали, что есть какой-то дилижанс до Казани, а оттуда-де рукой подать до моей родины.

Газетных и никаких печатных объявлений не было: я узнал от кого-то случайно об этом сообщении и поспешил по данному адресу в контору дилижанса, в дальнюю от меня улицу. Конторы никакой не оказалось. На большом пустом дворе стояло несколько простых, обитых рогожей кибиток и одна большая бричка на двух длинных дрогах вместо ресор.

– Где же дилижанс? – спросил я мужика, подмазывавшего колеса одной кибитки

– Какой дилижанс, куда? – спросил он, в свою очередь.

– В Казань.

– А вот этот самый! – указал он на боль-

шую бричку.

– Какой же это дилижанс: тут едва трое поместятся! – возражал я.

– По трое и ездят, а четвертый рядом с кучером... Спросите приказчика: вон он в окно глядит! – прибавил он, указывая на маленький деревянный домик, вроде избы.

Я вошел в комнату.

– Я желал бы ехать в дилижансе в Казань, – сказал я приказчику.

– Можно, – лениво отвечал он, доставая с полки тетрадь

– А когда ходит дилижанс?

– Неизвестно: дня определить мы не можем.

– Как так: дилижансы ходят везде в назначенные дни!

– Нет, у нас когда наберется четверо проезжих, тогда и пускаем. Одна барынька уже записалась: вот ежели вы запишетесь – так только двоих еще подождем или по малости хошь одного.

Я и голову опустил.

– Вы наведывайтесь: может быть, и скоро тронемся! – утешал он меня, – в эту пору, на

лето, много народу едет из Москвы.

Так как мне время особенно дорого не было, то я и записался. На мое счастье, не прошло и трех дней, как нашелся третий попутчик, и мы тронулись, теснясь втроем в бричке: четвертого спутника не было. Багаж уложен был частью на дрогах, сзади, частью наверху брички.

И это четырехдневное путешествие было не без пытки. Погода стояла знойная, июльская. Лошади двигались ленивой рысью, отмахиваясь хвостами от оводов. Нас на первых же порах покрыла густая пыль, вздымаемая нашим «дилижансом» и другими встречными и обгонявшими нас бричками и телегами.

Нам троим сидеть было тесно. Я скромно жался в свой угол, опираясь на локоть. Другую руку, и отчасти ногу, я выставлял наружу, чтобы дать больше простора пассажирке. Она старалась завоевать себе побольше места, беспрестанно просила не упираться сапогами в стоявшую в ногах картонку с шляпкой. В головах, за подушками, у нее помещался какой-то коробок – кажется, с провизией.

Третий пассажир, купец, возвращавшийся

из Москвы, не сдавался, сидел не боком, а прямо, и занимал один почти половину брички.

От этой тесноты мы в первый же день возненавидели друг друга, глядели в разные стороны и не говорили между собой.

– Подвиньтесь, вы мне на ногу «шили» (вместо «сели»)! – шепелявила барынька.

– Куда прикажете подвинуться? Рад бы выкинуть ноги на дорогу, да боюсь, подберет кто-нибудь, после не найдешь! – острил купец.

– Ох! – стонала она и от жара и от тесноты.

Я улыбался в сторону.

Барынька ехала на уральские заводы какой-то смотрительницей, чего – не знаю, и все охала о предстоящем ей еще впереди длинном пути. Она боялась разбойников и грозы, или «грожи», по ее выговору.

На ее беду, на третьи сутки вдруг по дороге понесся нам навстречу столб пыли, крутя и вертя все по пути; налетел и на нас. Стал брызгать дождь.

– «Шлава» богу, что «беж грожи»! – сказала барынька, крестясь. Но в ту же минуту блеснула молния, и вслед за нею раздался ужас-

ный громовой удар.

– Ох! – простонала наша спутница, крестясь вторично.

Купец посмотрел на нее, что она, а я отвернулся и засмеялся в пространство. Но тем все и кончилось. Вихрь умчался, и солнце стало опять печь.

По лицам у нас струями лился пот, пыль липла к струям и изукрасила нас узорами. В первые же сутки мы превратились в каких-то отаитян. На второй день совсем почернели, а на третий и четвертый на щеках у нас проби- вался зеленоватый румянец.

Подъезжая к Казани, мы говорили уже не своими голосами и не без удовольствия рас- стались, сипло пожелав друг другу всякого благополучия.

Так полвека назад двигались мы по нашим дорогам! Только лет через двенадцать после того появились между Петербургом и Моск- вою первые мальпосты, перевозившие пасса- жиров с неслыханною дотоле быстротою: в двое с половиной суток. В 1849 году я катился из Петербурга уже этим великолепным спосо- бом. А затем, возвращаясь в 1855 году через

Сибирь из кругосветного плавания, я ехал из Москвы по Николаевской железной дороге: каков прогресс!

В Казани я пробыл день, осмотрел крепостные стены, Сумбекину башню, зашел на университетский двор, к памятнику Державина, потом посетил несколько мечетей, походил по горбатым улицам города, по Арскому полю и на другой день, на почтовых, налегке, на перекладной тележке, покатыл на родину. Тут всего сутки езды. Но покатыл с препятствиями. Дорожные испытания еще не кончились. Меня все преследовал зной, этот бич путешественников, не только в открытой тележке, но, как я изведаль потом, и в вагонах, и на корабле. Сколько раз он буквально допекал меня в жизни, но никогда так назойливо и злобно, как на этом стовосьмидесятиверстном расстоянии! Солнцу угодно было зажарить меня, и оно жарило; особенно это чувствовалось после ванны, взятой в Казани.

В полдень не стало мочи терпеть: куда бы нибудь да укрыться! Наконец приехали в какой-то городишко – если не ошибаюсь, в Бунинск, где надо было менять лошадей. Ямщик

подвез меня прямо к станционной избушке, без двора, без сеней, которую со всех сторон пожирали солнечные лучи.

– Поставь меня с телегой куда-нибудь в тень! – просил я ямщика, – тут сторишь!

Он ввез меня под навес постоянного двора напротив станции. Я чуть не обнял благодетеля. Так отраден мне был навес двора, даже с запахом навоза.

Я сидел еще в тележке, одурелый от жара, томимый не столько голодом, сколько жаждой. Не прошло и десяти минут, как на двор вбежал впопыхах маленький человечек в военной или полицейской форменной фуражке и сюртуке.

– Козлов! Козлов! Где ты, подлец? – кричал он сердито на весь двор. Из дома, по деревянной, крытой лестнице на этот голос проворно сбежал мужик в красной рубашке, с большим ключом на поясе.

– Здесь, ваше высокоблагородие, здесь! – торопливо отозвался он.

– К тебе въехал приезжий, – с гневом продолжал офицер, – а ты и ухом не ведешь, не даешь знать в полицию! а? Ты знаешь, как

строго приказано?

– Да они на почтовых едут: ко мне только сейчас под навес стали...

– Врешь, врешь, подлец! ямщик сказывал, что проезжий обедать здесь будет! Первым твоим делом, подлец, потребовать от проезжего вид и представить в полицию.

Он стал грозить пальцем. Я сошел с телеги, вынул из кармана свой университетский отпусковой билет и подал сердитому господину.

– Вот мой билет! – сказал я ему. – Я только что въехал и через час еду дальше.

Старик надел очки, взглянул пристально на меня, потом на билет.

– А куда изволите ехать?

Я сказал ему.

– Извольте получить ваш вид: он в порядке.

– Не вините его, – заступился я за хозяина, – он даже не видал меня и моей тележки.

– Нет, нет, он подлец! Он должен смотреть в оба: мало ли кто к нему заедет! Полиция обо всех должна знать!

Тем бы, кажется, все и должно кончиться. Но городничий – это был сам городничий, как

я узнал после от хозяина – прибавил к нашему разговору такое необыкновенное заключение, что читатель, пожалуй, не поверит, подумает, что я сочинил этот шарж.

– Может быть, вы зарезали ваших родителей и бежали! – выпалил он.

Я остолбенел от этой гиперболы и не нашелся, что ему сказать. Едучи дальше, я объяснил ее себе догадкой, что, вероятно, в служебной практике городничего был подобный случай, потому что выдумать этого нельзя даже и в шутку.

К вечеру на пути ожидал меня другой сюрприз. Зной уступил место духоте, небо заволкло черными тучами, покрывшими тьмою поля, леса, дорогу. В восемь часов началась гроза, или «грожа», по выговору барыньки, но такая жестокая, классическая гроза, какую я после видал в тропических широтах.

Тьма уступила место нестерпимому и непрестанному, без промежутков, блеску молнии, с перекатами непрерывного же грома. Мы ехали между двух стен сплошного леса. Узкая полоса дороги от ливня часа через два образовала корыто мягкого теста из чер-

нозема. Лошади вязли по колено и едва вытаскивали ноги. Рысь сменилась шагом, который становился все медленнее. От блеска лошади вздрагивали и останавливались как одурелые.

У ямщика оказались две рогожи: в одну он завернулся, как барыня в шаль, а другую дал мне. Я прикрыл ею не себя, а чемодан, чтобы дождь не промочил мои московские обновки. А сам отдал на жертву дождю свою «непромокаемую», но промокавшую камлотовую шинель и университетский поношенный сюртук, с малиновым воротником, теперь мне уже ненужный.

Мы еще с час или полтора шлепали по дороге, ожидая, что гроза стихнет. Но лошади останавливались все чаще и чаще, а гроза не только не унималась, а еще будто разыгрывалась сильнее.

– Барин! Надо заехать переждать, – предложил ямщик, – кони, того гляди, станут совсем ничего с ними не поделаешь: во как боятся!

– Куда же заехать?

– А вот туточка, сичас у дороги, татарская деревушка будет: туда и заедем. Переждем

малость! Который час таперича?

– Полночь! – сказал я, – ну, заезжай! Да как ты проедешь? тут все широкая канава вдоль дороги идет.

– Там есть мостик, соломенный он: кабы в темень, так, пожалуй, провалишься в канаву – он хворостом крыт, да сверху соломки накидано: только слава, что мост! А теперича, молонье-то вон какое (ух! как «жгет»!): светло, переберемся как-нибудь.

Мы так и сделали, перебрались. Ямщик чуть не в самые окна одной избушки всадил оглобли. Он стал стучать кнутом в окна и в ворота. Долго никто не отзывался, хотя при блеске молнии мы видели в окнах людей. «Отоприте, отворите!» – кричали мы, как Ваня в «Жизни за царя».

После некоторых переговоров о том, кто мы и что нам нужно, нас впустили в избу, внесли туда же мой чемодан, подушку, саквояж, а телегу и лошадей укрыли под навес. В избе оказалось человек пять рослых татар.

– Отчего так долго не пускали? – спросил я
– Боялись! – говорят,
– Чего?

– А не знаем, бачка, какие люди стучат. Вчера ночью воры пришли, стучали, много стучали: мы не пустили и сами спрятались.

– Вас тут пятеро – и боялись! Почему вы знали, что вчера воры были?

– Мы их знаем, бачка: знакомые!

Когда зажгли огонь, я хотел лечь на лавку, но сейчас же увидел, что это невозможно. Лавки, стол и отчасти стены – все будто шевелилось от сплошной массы тараканов. На лавку даже нельзя было сесть – она была точно живая.

Да и напрасна была затея уснуть. Вся избушка тряслась от раскатов грома. Наружу дождь шумел, как водопад. Оттого и татары все были на ногах, не спали. Увидя у них большой самовар, я велел поставить, достал дорожный запас и стал пить чай. Так прошло время до рассвета. Около пяти часов утра мы пустились в путь – гроза еще не кончилась совсем. Туча удалялась вперед от нас, а сзади великолепно блистало солнце. Впереди видно было, как молния теперь, при солнце, уже без блеска, падала белыми зигзагами на нивы, до нас доходили слабые удары грома. Другую та-

кую грозу, повторяю, продолжительную и жестокую, я, помню, видел только в Японии, когда мы с фрегатом стояли на Нагасакском рейде.

Не знаю, что стало бы с моей спутницей-барынькой в такую «грозу».

После грозы, казалось бы, воздух должен освежиться, но, против обыкновения, он точно накалился – и остальную сотню верст я добирался почти без сознания, точно спал, приехал домой в виде каленого ореха и только дня через два принял свой обыкновенный вид.

II

Меня охватило, как паром, домашнее бабство. Многие из читателей, конечно, испытывали сладость возвращения, после долгой разлуки, к родным и поймут, что я на первых порах весь отдался сладкой неге ухода, внимательности. Домашние не дают пожелать чего-нибудь: все давно готово, предусмотрено. Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как

постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда – и все не наглядятся на меня.

Дом у нас был, что называется, полная чаша, как, впрочем, было почти у всех семейных людей в провинции, не имевших поблизости деревни. Большой двор, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры, утки – все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня.

Кроме нашей семьи, то есть моей матери, сестер и брата, оставшегося в Москве в университете, по болезни, еще на год, у нас в доме проживал один отставной моряк. Назову его Якубов. Выйдя в отставку, он приехал в свою деревню, или деревни; у него их было две, с тремястами душ крестьян в обеих, верстах в полутора от города. Но одинокому холостяку вскоре наскучило там: сельского

хозяйства он не понимал и не любил, и он переселился в губернский город.

Губернские города, подалее от столицы, были, до железных дорог, оживленными центрами общественной жизни. Помещики с семьями, по дальнему расстоянию от Москвы, проводили зиму в своем губернском городе. Наша губерния особенно славилась отборным обществом родовитых и богатых дворян.

Якубов случайно заметил красивый, светлый и уютный деревянный флигель при нашем довольно большом каменном доме, выходящем на три улицы, — и нанял его, не предвидя, что проживет в нем почти полвека и там умрет.

Якубов был крестным отцом нас, четверых детей. По смерти нашего отца он более и более привыкал к нашей семье, потом принял участие в нашем воспитании. Это занимало его, наполняло его жизнь. Добрый моряк окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему детскими сердцами, забыли о настоящем отце. Он был лучшим советником нашей матери и руководителем нашего воспитания.

Якубов был вполне просвещенный человек. Образование его не ограничивалось техническими познаниями в морском деле, приобретенными в морском корпусе. Он дополнял его непрерывным чтением – по всем частям знания, не жалел денег на выписку из столиц журналов, книг, брошюр. Как, бывало, прочитает в газете объявление о книге, которая, по заглавию, покажется ему интересною, сейчас посылает требование в столицу. Романов и вообще беллетристики он не читал и знал всех тогдашних крупных представителей литературы больше понаслышке. Выписывал он книги исторического, политического содержания и газеты.

По смерти нашего отца, состаревшись, он из флигеля перешел в большой каменный дом и занял половину его.

Якубов стал совершенным семьянином у нас, сделался хотя и *faux père de famille*[118], но своею привязанностью к нам, умными советами, заботливым руководством нашего воспитания и образования превосходил и родного отца.

Это нередко бывает. Добровольно взятое

на себя иго – уже не иго: оно легче и охотнее переносится, особенно когда подкладкой ему служит симпатия. Мы всегда охотно даем то, чего от нас не требуют и чего мы не обязаны давать. В этом и весь секрет.

Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятых на себя забот о нашем воспитании, взяла на себя все заботы о его житье-бытье, о хозяйстве. Его дворня, повара, кучера слились с нашей дворней, под ее управлением – и мы жили одним общим домом. Вся материальная часть пала на долю матери, отличной, опытной, строгой хозяйки. Интеллектуальные заботы достались ему.

Я останавливаюсь на этом старике, потому что он заслуживает внимания не только как представитель старого времени вообще, но и как человек в особенности.

Мать любила нас не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и с строгою справедливостью распределяла поровну свою симпа-

тию между всеми нами четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось зерно будущего порока. Она была неумолима.

Зато Петр Андреевич Якубов, заступивший нам место отца, был отец-баловник. Это имело ту хорошую сторону, что смягчало строгую систему материнского над нами контроля. Баловство – не до глупой слабости, не до излишества – также необходимо в детском воспитании. Оно порождает в детских сердцах благодарность и другие добрые, нежные чувства. Это своего рода практика в сфере любви, добра. Сердце, как и ум, требует развития.

Бывало, нашалишь что-нибудь: влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню – она узнает и пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель, к «крестному». Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная, с зовом: «Пожалуйте к маменьке!» – «Пошел» или «пошла вон!» – лаконически командует моряк.

Гнев матери между тем утихает – и дело ограничивается выговором вместо дранья ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый.

У Якубова был отличный повар и, кроме того, особый кондитер. Иногда он оставлял нас обедать, и тут уж всякому кормлению и баловству не было конца. Был у него, между прочим, особый шкафчик, полный сластей – собственно для нас.

Со мной он, ежедневно катаясь по городу для воздуха, заезжал в разные лавки и закупал также сластей, игрушек и всяких пустяков, нужды нет, что дома всего этого было вдоволь и давалось нам регулярно. Мать обыкновенно отбирала все эти гостинцы, если мы не успевали потребить их, и воевала с баловником.

Если он сам не купит, то даст мелких денег, чтобы мы распорядились, как хотим. И это отбиралось от нас, а если мать не замечала, мы закупали всякой дряни: бобов, стручков, моченой груши и тому подобных строго запрещенных нам уличных лакомств и вти-

хомолку съедали. Выдаваемые ежедневно по порциям сласти нас не удовлетворяли: слаще всякого варенья казался излишек, да еще запретный.

Курьезно, что когда я приехал по окончании университетского курса, он не успел поздороваться, велел заложить «тарантас» (вроде длинной линейки с подножкой), как всегда делал, когда я приезжал на каникулы мальчиком, и повез было попрежнему в кондитерские и другие лавки со сладостями. Я засмеялся, и он тоже, когда я спросил, где продается лучший табак.

Из всех нас четверых я был самым близким спутником и собеседником моряка. Брат, старше меня года на три, был бойким, донельзя шаловливым гимназистом и эмансипировался от домашнего режима.

III

Петр Андреич, или «крестный», как мы и все в доме звали Якубова, учился в Петербурге, в морском кадетском корпусе и в царствование Екатерины выпущен во флот, в морскую артиллерию. «Нам велели представиться Потемкину, – рассказывал он мне, – мы все

безусые, безбородые, восемнадцати- или девятнадцатилетние мальчики, в новеньких офицерских мундирах, явились к нему во дворец. В зале много ждало важных лиц: их звали по очереди к нему. Наконец дошло до нас. Нас ввели в кабинет и вытянули в шеренгу у дверей. Потемкин лежал на диване: около него сидели на креслах и стояли несколько лиц. Он посмотрел на нас пристально и обратился к присутствующим: „Каковы! – сказал он гнусливо, кивая на нас, – вот с какими поросятами я должен служить!“ Он усмехнулся, и другие тоже, потом махнул нам рукой, чтобы шли вон».

Якубов участвовал в кампании против французов. Суворов пожинал лавры на суше, переходил Альпы², а флот наш блокировал Италию с моря.

Теперь не помню, долго ли служил Якубов во флоте и когда он вышел в отставку. Знаю только, что он приехал на Волгу, в свое имение, в чине капитан-лейтенанта, с владимирским крестом – и, поселившись в губернском городе, спустя некоторое время вступил в гражданскую службу советником, кажется, гу-

бернского правления. Я стал знать, помнить и любить его с семилетнего возраста, а это было в двадцатых годах нынешнего столетия. Он уже был в чистой отставке.

Когда Якубов явился в провинцию, он был еще не старым человеком. Он сблизился с тогдашним дворянским кругом и решительно завоевал себе общую симпатию и уважение. Это был чистый самородок честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притом с добрым, теплым сердцем. Все это хорошо выражается английским словом «джентльмен», которого тогда еще не было в русском словаре. В обращении он был необыкновенно приветлив, а с дамами до чопорности вежлив и любезен.

Он был везде принят с распростертыми объятиями, его ласкали, не давали быть одному. И у себя он давал часто обеды, ужины, на которых нередко присутствовали и дамы. Я помню, хотя был еще маленький, как у него было шумно, весело, как из флигеля разносились по двору громкие голоса, как прыгали пробки в потолок. Когда забежишь во флигель, – а забежишь всегда, когда были гости, –

последние наперерыв ласкают, накормят пирожным, мороженым, дадут шампанского, словом, избалуют донельзя.

Так продолжалось, должно быть, лет десять, то есть такое светское, широкое и гостеприимное житье-бытье. У него даже был свой роман. Он влюбился в одну молодую, красивую собой графиню. Об этом он мне рассказал уже после, когда я пришел в возраст, но не сказал: разделяла ли она его склонность. Он говорил только, что у него явился соперник, некто богатый, молодой помещик Ростин. Якубов стусевался, уступил.

– Отчего же вы не искали ее руки? – спросил я, недовольный такой прозаичной развязкой.

– Оттого, мой друг, что он мог устроить ее судьбу лучше, нежели я. У меня каких-нибудь триста душонок, а у него две тысячи. Так и вышло. Я сам желал этого. Оба они счастливы, и слава богу! – Он подавлял легкий вздох.

И действительно так было. Я знал эту графиню, бывал у Ростина, жившего гостеприимно и открыто, в его недалекой от города деревне. В то время, когда он мне это рассказы-

вал, графиня была уже пожилая женщина, но все еще со следами красоты, мать взрослых детей. Якубов говорил с ней и о ней не иначе, как с нежною почтительностью – и был искренним другом ее мужа и всей семьи.

Потом я не знаю, как он жил до своей старости. С 1822 года меня отвезли учиться в Москву. Летом на короткое время я приезжал, и потом из университета на каникулы домой и находил все того же ласкового, безмерно доброго отца и друга. Он постепенно старел, а мы с братом являлись домой уже юношами. Ласки, баловство, подарки – так и лились на нас до смешного. Живи он до сих пор, я думаю, он и теперь повез бы меня в кондитерскую покупать конфеты.

Но по мере того как он старел, а я приходил в возраст, между мной и им установилась – с его стороны передача, а с моей – живая восприимчивость его серьезных технических познаний в чистой и прикладной математике. Особенно ясны и неоцененны были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил

меня с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение земли, все то, чего не умели или не хотели сделать мои школьные наставники. Я увидел ясно, что они были дети перед ним в этих технических, преподанных мне им уроках. У него были некоторые морские инструменты, телескоп, секстант, хронометр. Между книгами у него оказались путешествия всех кругосветных плователей, с Кука до последних времен.

Я жадно поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями. «Ах, если бы ты сделал хоть четыре морские кампании (морскою кампаниею считаются каждые полгода, проведенные в море), то-то бы порадовал меня!» – говаривал он часто в заключение наших бесед. Я задумывался в ответ на это: меня тогда уже тянуло к морю или по крайней мере к воде. Если бы он предвидел, что со временем я сделаю пять кампаний – да еще кругом света!

Поддаваясь мистицизму, можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника – для будущего моего дальнего странствия. Впрочем, помимо этого, меня нередко манили куда-то вдаль широкие

разливы Волги, со множеством плавающих, как лебеди, белых парусов. Я целые часы мечтательно, еще ребенком, вглядывался в эту широкую пелену вод.

И по приезде в Петербург во мне уживалась страсть к воде. Рассказы ли «крестного», вместе с прочитанными путешествиями, или широкое раздолье волжских вод, не знаю что, но только страстишка к морю жила у меня в душе. Гуляя по Васильевскому острову, я с наслаждением заглядывался на иностранные суда и нюхал запах смолы и пеньковых канатов. Я прежде всего поспешил, по приезде в Петербург, посетить Кронштадт и осмотреть там море и все морское.

Якубов происходил от старой дворянской фамилии, но он был аристократ, барин – больше в душе. Старые дворянские роды он ставил высоко, к другим сословиям относился только снисходительно.

– Здравствуй, старина! – говорил он попросту, в ответ на почтительный поклон какого-нибудь купца, или: – здравствуйте, отец! – приветствовал он священника. Напротив, с людьми своего круга он при встрече на улице

здоровался, с близко знакомыми фамильярно, дружески, перекидывался несколькими словами, шуткой, перед менее знакомыми вежливо приподнимал фуражку, а перед дамами обнажал всю голову.

Приезжая после, в мои университетские каникулы, я стал замечать, что посетители у него становились редки, а сам он не выезжал никуда, совершая только свои ежедневные прогулки в экипаже, «для воздуха», непременно со мной.

Я видел, что он и на прогулках стал избегать встреч, даже с близкими его знакомыми. От прочих он скрывался, сколько мог. На мой вопрос:

– Отчего это? – он сказал просто: «на старости лет отвык от людей, да и пострелов тут немало!» Между тем при встрече на улице или если кто успеет проникнуть к нему в дом, он обойдется любезно и радушно.

Иногда выходили по этому поводу забавные сцены. Приедет, например, гость, спросит: «Дома ли?» – Человек побежит в обход по коридору доложить. «Владимир Васильевич», – скажет он, или: «граф Сергей Петро-

вич». Якубов, вместо ответа, энергически молча показывает человеку два кулака. Человек скроется в коридор и ждет в нерешительности, не зная, что делать. В передней гость ждет ответа, а в кабинете барские кулаки, которые, впрочем, он в ход никогда не пускал. Гость, между тем, наскучив ждать, сбросит с себя шинель или шубу (пальто тогда не было известно) и идет в залу, потом в гостиную и, наконец, отворяет дверь в кабинет.

– А! Граф Сергей Петрович, милости прошу! – радушно приветствует его моряк, – садитесь, вот здесь! Эй, малый! – крикнет человеку, – скажи, чтоб нам дали закуску сюда да позавтракать что-нибудь.

В провинции, по крайней мере в то время, посетителям непременно предлагалось угощение: утром закуска, вино; после обеда – сласти.

Слуге потом не было ни выговора, ни замечания. Гнев Якубова бывал всегда мгновенной, быстро потухавшей вспышкой.

Катаясь тоже со мной по городу, он издали иногда завидит едущего в экипаже или идущего навстречу знакомого.

– Не гляди туда, отвернись! – шопотом предупредит меня и сам с юношеским проворством перекинется через сиденье на другую сторону линейки.

Между близкими его знакомыми я помню особенно двух стариков, его сверстников, живших почти безвыездно по своим деревням. Один был Федор Петрович Козырев, а другой – Андрей Герасимович Гастурин. Они приезжали в губернский город в три года раз на дворянские выборы, но совсем не затем, чтобы их выбирали, а, напротив, чтоб не выбирали.

– Когда мы хотим повидаться с ними, – сказывал мне предводитель дворянства, Бравин, – стоит только написать им, что их намерены баллотировать: сейчас же оба бросят свои заholустья и приедут просить, чтоб не выбирали.

Я знал и любил этих обоих сверстников моего «крестного». Это были такие же добрые, ласковые баловники-старички. К первому из них я, проезжая домой на каникулы, уже студентом, сворачивал верст пятнадцать в сторону с большой дороги и проводил у него по два

и по три дня. У него была прелестная усадьба, то есть собственно господский дом, окруженный обширным садом, во вкусе времен Людовика XIV, с стриженными аллеями, каскадами, беседками, нимфами и другими затеями, конечно в миниатюре, впрочем, значительно запущенный и заброшенный. Более всего занимала меня большая библиотека – все французских книг. Козырев был поклонник Вольтера и всей школы энциклопедистов³ и сам смотрел маленьким Вольтером, острым, саркастическим, – как многие тогда поклонники Вольтера. Дух скептицизма, отрицания светился в его насмешливых взглядах, улыбке и сверкал в речах. Беседой нашей с ним и братом служили французские писатели. Но он был так деликатен и осторожен с нами, юношами, что давал нам читать и сам читал с нами произведения французской поэзии, декламируя Расина, Корнеля и «Генриаду» Вольтера. О смысле и значении учения мыслителей-энциклопедистов он умалчивал. «Баснями соловья не кормят!» – заканчивал он наши беседы и велел подавать всегда тонкий, изящный обед. У него был отличный повар,

кажется, француз.

Он не выходил из халата и очень редко выезжал из пределов своего имения. У него была в нескольких верстах другая деревня, но он и в ту не всякий год заглядывал. Помню я теперь его слегка рябоватое лицо, темносерые умные глаза, насмешливо-добродушную улыбку и светлый шелковый с полосками халат. Он так сидел в своем изящном кабинете, так гулял и в укатанных аллеях своего сада, около пруда, где плавали лебеди, а по цветникам, и по его комнатам тоже, расхаживали журавли и павлины.

Кроме этого сада да своей библиотеки, он ничего знать не хотел, ни полей и лесов, ни границ имения, ни доходов, ни расходов. Когда он ездил в другую свою деревню, – рассказывали мне его же люди, – он спрашивал: «Чьи это лошади?», на которых ехал.

Точно так же не знал и не хотел знать ничего этого и «крестный» мой и третий близкий их друг и сверстник, А. Г. Гастурин. Этот был простой, неученый, но добрый, всеми любимый деревенский житель, не выпускавший изо рта большой пенковой трубки. Он

весь почернел и как будто прогорел от солнца и от табаку. Когда я спрашивал Якубова о его хозяйстве, о посевах, умолоте, количестве хлеба – даже о количестве принадлежащей ему земли и о доходах: «А не знаю, друг мой, – говаривал он, зевая, – что привезет денег мой кривой староста, то и есть. А сколько он высылает кур, уток, индеек, разного хлеба и других продуктов с моих полей – спроси у своей маменьки: я велел ему отдавать ей отчет, она знает лучше меня!»

Когда оба старика приезжали в город на выборы, они обыкновенно жили у Якубова, и нам всем, детям, было от них тройное баловство.

С утра, бывало, они все трое лежат в постелях, куда им подавали чай или кофе. В полдень они завтракали. После завтрака опять забирались в постели. Так их заставляли и гости. Редко только, в дни выборов, они натягивали на себя допотопные фраки или екатерининских времен мундиры и панталоны, спрятанные в высокие сапоги с кисточками, надевали парики, чтоб ехать в дворянское собрание на выборы. Какие смешные были все

трое! Они хохотали, оглядывая друг друга, а мы, дети, глядя на них.

Мне кажется, у меня, очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда, при виде всех этих фигур, этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья, и зародилось неясное представление об «обломовщине».

IV

И по приезде домой, по окончании университетского курса, меня обдало той же «обломовщиной», какую я наблюдал в детстве. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Те же, большею частью деревянные, посеревшие от времени дома и домишки, с мезонинами, с садиками, иногда с колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, бесконечные заборы; те же деревянные тротуары, с недостающими досками, та же пустота и безмолвие на улицах, покрытых густыми узорами пыли. Вся улица слышит, когда за версту едет телега или стучит сапогами по мосткам прохожий.

Так и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонные окна с опущенными што-

рами и жалюзи, на сонные физиономии сидящих по домам или попадающих на улице лица. «Нам нечего делать! – зевая, думает, кажется, всякое из этих лиц, глядя лениво на вас, – мы не торопимся, живем – хлеб жуем да небо коптим!»

И вправду, должно быть, так. Чиновник, советник какой-нибудь палаты, лениво, около двух часов, едет из присутствия домой, нужды нет, что от палаты до дома не было и двух шагов. Пройдет писарь, или гарнизонный солдат еле-еле бредет по мосткам. Купцы, забившись в глубину прохладной лавки, дремлют или играют в шашки. Мальчишки среди улицы располагаются играть в бабки. У забора коза щиплет траву.

– Ужели ничего и никого нового нет? – спрашиваю «крестного», объезжая город и ленивым оком осматриваясь кругом, – я все это знаю, давно видел: вон, кажется, и коза знакомая!

– Как нет нового! Вот сейчас подъедем к новому собору: он уж освящен. Каков! – хватался он, когда мы сошли с дрожжек и обходили собор. Собор в самом деле очень хорош: об-

ширен, стройных размеров и с тонкими украшениями на фронтоне и капителях колонн.

– Вот и это новое: ты еще не видал, при тебе не было! – говорил Якубов, указывая на новое здание на Большой улице.

Я прочел на черной доске надпись: «Питейная контора».

– Это откупщик выстроил, – прибавил он.

Встретился нам очень старый священник, посмотрел на нас, прикрыв глаза руками от солнца, узнал Якубова и отвесил низкий поклон.

– Здравствуй, батька, здорово! крестить, что ли, ходил или отпевать кого-нибудь? – шутил крестный.

– Чего? – отозвался, останавливаясь, тот, – не слышу!

Мы проехали.

– Когда я приехал сюда, этот батька был уже зрелых лет попик: теперь ему под восемьдесят! – добавил мне крестный.

– Это все старое и ветхое, что вы мне показываете, кроме собора да питейной конторы, – сказал я. – Где же новое, молодое, свежее?

– Свежее? есть свежие стерляди, икра, осетрина, дичь... Всего этого – здесь вволю; ужо маменька твоя покормит тебя, – шутил он.

– А новые люди, нравы, дух? – допрашивал я.

– Люди?.. Да теперь лето: никого в городе нет, все по деревням. Вот, погоди, к осени съедутся, увидишь и людей, познакомишься со всеми. А теперь тебе надо «представиться» губернатору.

Я встрепенулся.

– Зачем? Если б я приехал сюда на службу, – другое дело, а я к осени думаю ехать в Петербург.

– А все-таки надо представиться ему, – настаивал Якубов, – он заметит тебя где-нибудь, спросит – кто, а ты у него не был: это никуда не годится. И к архиерею тоже, и к председателям палат, да еще к такому-то и к такому-то.

Он насчитал домов десять, где я будто бы должен побывать – не знаю сам, да и он не знал – для чего. «Для приличия, – говорил он, – молодой человек везде должен являться». Тоже не объяснил – зачем. Я не разделял

этого принципа старого века – соваться везде, где и не нужно; нравы уже менялись, но спорить с ним не желал, решив про себя, что у губернатора я запишусь, сказал бы: «оставлю карточку», если б она у меня была, но ее не было – я только что вступал в свет, – а к прочим загляну при удобном случае.

Так и сделал. К осени, однакоже, надо было подчиниться губернскому режиму и делать визиты, нужные и ненужные, то есть к знакомым и незнакомым. Это соблюдается, как я увидел после, строже в провинции, нежели в столицах, и не побывать у иного в известный день – наживешь себе недруга. Вот чем и каким делом разбавлялось, между прочим, провинциальное безделье!

Якубов объяснил, как я сказал выше, причину своего отчуждения от людей, кроме старости, между прочим, еще тем, что он «отвык» от них: это не совсем удовлетворило меня. Вглядываясь и вдумываясь тогда в его образ мыслей и жизнь сознательно, я видел кое-что в его характере, к чему прежде у меня не было ключа, что-то постороннее, кроме старческой усталости: не то боязнь, не то осторож-

ность. Он не скучал и не тяготился, когда к нему заглядывал, например, вышеупомянутый Ростин, потом один сосед по деревне и большой его приятель, затем веселый собеседник и юморист Бравин, еще Чурин, наконец братья жены Ростина, бывшего его «предмета», З—ие, князь П. Он благоволил также и к губернатору и к жене его, «прекрасной дамочке», по его выражению, хотя эта дамочка была увядшая, худощавая, с впалыми, потухшими глазами и вовсе не прекрасная собой женщина.

Но любя всех этих лиц, он не искал встреч и с ними, точно остерегался общества, пятился от знакомых, а незнакомых вовсе не принимал.

Главною причиной была, конечно, старческая усталость, «отвычка» от людей, как он говорил, но тут наполовину было и действительно боязни. Он, как и многие тогда, был запуган тем переполохом, который произвело 14 декабря во всем русском обществе. Хвост от этого переполоха еще тянулся не только по провинциям, но и в столицах. Я помню, что с нас, студентов, при вступлении в универси-

тет отбиралась подписка «в непринадлежности к тайным обществам». Эта мудрая мера производила одно действие: тем, кто из молодежи и во сне не видали никаких тайных обществ, этим давалось о них понятие – и только. Принадлежавшим же к этим обществам – если были такие – она, я полагаю, преградою не служила.

Под тайными обществами, между прочим, разумелись масонские ложи⁴. Якубов, как почти все дворяне тогда, или, лучше сказать, вся русская интеллигенция, принадлежал тоже к масонской ложе. В Петербурге все лучшие, известные, высокопоставленные лица были членами масонских лож; между прочим, говорили, что и император Александр Павлович тоже был член.

В нашем губернском городе была своя отдельная масонская ложа, во главе которой стоял Бравин. Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедию, собирались в потаенную, обитую черным сукном комнату, одевались в какие-то особые костюмы, с эмблемами масонства, длинными белыми перчатками, серебряными лопатками, орудием «ка-

менщиков», и прочими атрибутами масонства.

Не все члены, однако, были посвящены в таинственную суть масонства. Общая, всем известная цель была – защита слабых, бедных, угнетенных, покровительство нуждающимся и т. п. дела благотворительности. Многие из членов занимали низшие должности в иерархии ордена, например что-то вроде каких-то звонарей и т. п., и повышались в степенях, после разных испытаний, смотря по способностям и значению.

Все это я узнал после, частью от самого Якубова, а более от других, менее скромных и пугливых бывших членов. «Крестный» открыл мне весьма немногое, случайно. Однажды зимой, часу в десятом вечера, губернатор прислал за мной просить к себе потанцевать – к его дочери нечаянно собрались девицы, молодые люди – чтоб я приехал. У меня не оказалось свежих белых перчаток, магазины были уже заперты. Я принялся было тереть белым хлебом надеванную пару, как явился «крестный». Узнав, в чем дело, он повел меня к себе. Из заднего секретного ящика комода

он достал пару длинных белых перчаток и отдал мне.

– Да это женские, длинные, по локоть, – сказал я, – они не годятся!

– Годятся, вели только обрезать лишнее, – заметил он.

– Да откуда они у вас?

– Это масонские, – давно у меня лежат: молчи, ни слова никому! – шептал он, хотя около нас никого не было.

Переполох по поводу масонства повел после 14-го декабря к обыскам у всех принадлежавших к этому братству. Забирали бумаги, отсылали в Петербург, а председателя ложи, Бравина, самого отвезли туда, забрав всю его переписку. Но важнейшая часть его бумаг, за несколько часов до обыска, говорят, была брошена в пруд в его саду. Об обыске предупредил его полицмейстер, его приятель, и тем спас Бравина, может быть, от тяжелых последствий. Бравин был в переписке с иностранными масонами и, вероятно, был не чужд не одних только всем открытым, благотворительных, но и политических целей, какие входили в секретный круг деятельности, как

видно, иностранных и русских масонских лож.

14-ое декабря открыло правительству глаза на эти последние цели и вызвало известное систематическое преследование масонства, а с ним – всяких «тайных обществ», которые подозревались, но которых, кроме заговора декабристов, кажется, тогда не существовало.

Все, кого призывали и допрашивали, так перетрусили, что после долго боялись говорить об этом, даже между собой, шепотом.

– Что же вы делали, когда собирались в своей тайной масонской зале: дела какие-нибудь? – допрашивал я «крестного».

– Да, были дела, читали письма, протоколы... мало было дел... – нехотя отвечал он.

– Что же еще? – приставал я.

– Какой ты любопытный! Еще... пили шампанское – вот что! чуть не ведрами, так что многих к утру развозили по домам.

Больше я ничего от него не узнал. На вопрос о Бравине и его пребывании в Петербурге он лаконически сказал, что Бравина продержали там около полугода, потом отпусти-

ли. «Воротился весь синий, даже почернел: его, слышно, подвергли там секретно телесному наказанию...» – дошептал он и положил на губы палец молчания.

Все напуганные масоны и не масоны, тогдашние либералы, вследствие крутых мер правительства приникли, притихли, быстро превратились в ультраконсерваторов, даже шовинистов – иные искренно, другие надели маски. Но при всяком случае, когда и не нужно, заявляли о своей преданности «престолу и отечеству». Например, Бравин хвастался мне, что бриллианты от пожалованного ему, уже несколько лет спустя после 14-го декабря, перстня он разделил между несколькими своими дочерями, чтоб у каждой осталось воспоминание о «милости». Все пошили себе мундиры; недавние атеисты являлись в торжественные дни на молебствия в собор, а потом с поздравлением к губернатору. Перед каждым, даже заезжим лицом крупного чина, снимали шляпу, делали ему визиты. Только старички, вроде Козырева и еще немногих, ухом не вели и не выползали из своих нор. Козырев саркастически посмеивался и над

крутыми мерами властей и над переполохом. Гром в деревенские затишья не доходил.

«Крестный» мой, живучи в городе, наружно, под ферулой прежнего страха, тоже вторил другим. Но иногда я подмечал, что он, стоя у окна и глядя в пространство, что-то горячо бормотал про себя, жестикулировал, по-видимому, протестуя, после разговоров или чтения в газетах о некоторых крутых мерах. Однажды до меня долетели слова: «Простого выговора не стоит, – сквозь зубы бормотал он, бросая газету, – а его на поселение!» Оборотившись от окна, он принимал свой обыкновенный, покойный вид. Катаясь раз по городу, мы встретили какого-то незнакомого господина в коляске. Якубов почтительно с ним раскланялся.

Я спросил: «Кто это такой?»

– Тайный советник Сидоров или Петров (не помню теперь), приезжий.

– Вы не знакомы с ним?

– Нет.

Спросить, зачем кланяется, было неловко: мне уж было ясно, что прежнего страха ради: «чтоб не сочли за вольнодумца, да не донес-

ли... жандармы».

Мне, юноше, были тогда новы если не все, то многие «впечатленья бытия»⁵, между прочим, и жандармы, то есть их настоящее, новое, с николаевских времен, значение. Это значение объяснил мне, тоже шопотом, Якубов, а всю глубину жандармской бездны раскрыл мне потом губернатор, которому я, по настоянию «крестного», все-таки «представился».

До тех пор я видал жандармов в Москве, у театральных подъездов, в крестных ходах, на гуляньях, в их высоких касках с конской гривой, на рослых лошадях. Ни о каких штаб-офицерах, назначенных в каждую губернию, и о роли их я не имел понятия. От губернатора я в первый раз услышал и о важности шефа их, графа Бенкендорфа, и о начальнике штаба, тогда еще полковнике Дуббельте, – и обо всем, что до них касается, а более о том, что они сами до всего касаются. Я тогда стал большими глазами смотреть на губернского полковника Сигова. Я думал, что он будет во все пристально вглядываться, вслушиваться и даже записывать, что от него все должны бегать

и прятаться. Но, к удивлению моему, я видел его окруженного толпой и мечущего банк в некоторых домах, в приемные вечера, обыкновенно в особой задней комнате, в облаках табачного дыма.

– Как же так? – спрашивал я, невинный юноша, в недоумении у губернатора, – ведь его обязанность, вы говорите, доносить о беспорядках, обо всем вредном, запрещенном – так как он цензор нравов – стало быть, и об азартных играх; а он сам тут играет и прячется?

– Оттого он тут и везде в толпе, чтобы все посмотреть и слушать: иначе как же он будет знать и о чем доносить? – был ответ.

V

Я дал понять выше, что Якубов был барин в душе, природный аристократ. Между прочим, он был сын своего века, крепостник. Это, повидимому, противоречит «джентльменству». Нисколько, если не сходить с почвы исторической перспективы. А у нас, в настоящее время, начавшееся, впрочем, уже с сороковых годов, линии этой перспективы, как будто сгнившие, ненужные плетни, повале-

ны, сломаны. Удят из прошлого какую-нибудь личность, отделяют ее от времени, точно отдирают старый портрет от холста, от освещения, колорита, аксессуаров обстановки, и неумолимо судят ее современным судом и казнят, забывая, что она носит девизы и цвета своего века, его духа, воспитания, нравов и прочих условий. Это все равно, что судить, зачем лицо из прошлого века носило не фрак, а камзол с кружевными манжетами, и, пожалуй, еще зачем не ездило по железным дорогам.

Не подумают эти легкомысленные судьи, что через какие-нибудь полсотни, сотню лет, если последующие поколения будут смотреть на них сквозь подобные очки, они предстанут перед ними куда в непривлекательном виде! Ведь потомок далеко уходит от предка вперед, и кажется умнее его – благодаря приращку знания, опытов, открытий, нажитых временем. Но умен ли он в самом деле – это еще вопрос. Имея это в виду, предвидя не в далеком будущем суд потомка над собою, умный потомок воздержится от легкомысленного смеха над предком, кажущимся простоватым,

несведущим, неумелым.

Такие судьи в свое оправдание, пожалуй, укажут на Белинского: он-де тоже повинен в этом грехе: впадал в резкость, изрекал строгие, даже желчные приговоры минувшему времени, минувшим деятелям, иногда стяжавшим заслугами почет и уважение своих современников.

Да, водилось это и за Белинским, искренним, правдивым, но горячим в своих увлечениях. Но, однако, тот же Белинский, где-то в одной своей статье, не помню по какому поводу, заметил, что теперь любой студент математического факультета знает больше Пифагора или Эвклида – и, кажется, если память не обманывает меня, приходит к вопросу: а был ли бы современный студент на высоте этих ученых мужей в их время?

Но сам он, Белинский, иногда действительно неблагосклонно смотрел в прошлое⁶.

Между прочим, он с задором нападал и на Пушкина за то, что тот, – пожалев, что «нет князей Пожарских, что Сицких древний род угас», – с укором отозвался о том, что осел «демократическим копытом лягает геральдиче-

ского льва» и что теперь «спроста лезут в tiers-état»[119].

Здесь Белинский горячо упрекал Пушкина, которого так высоко ценил, конечно, за то, как этот гений не оценил «пружины смелые гражданственности новой»⁷, как не проникся духом времени, не воспринял и не пропагандировал начал этой гражданственности. Ему, кажется, было больно за Пушкина.

Но он, вне минут раздражительных увлечений, умел быть беспристрастен. Например, он не мог выносить Кукольника⁸, как автора напыщенных и ходульных драматических поэм – «Тасс», «Джулио Мости», фальшивого романа «Эвелина де Вальероль», – но как ласково, с какой теплотой отзывался он о повестях того же Кукольника из петровской эпохи, в которых автор был прост и правдив!

И вне литературы, в житейском быту, Белинский умел смотреть на разные явления, которые должны бы возбуждать в нем дух противоречия и раздражения, совершенно покойно и разумно.

В Петербурге, будучи уже на службе, я однажды в Новый год, между визитами по на-

чальству, заехал к нему в форменном фраке, в белом галстуке.

– Что это: подлость? – дразнил я его, зная, как он восставал против всяких поклонений и поклонов.

– Подлость, не нами начатая, – добродушно заметил он, – выдумывать и вводить новую подлость – это подло, а повторять старые приходится сплошь да рядом.

В бросанье камней в прошлое и в отживших людей у Белинского явились подражатели, чуть не целая школа. Ничего не стоит выудить кого-нибудь из давнопрошедшего и отделять на все корки. Мудрая латинская поговорка: *de mortuis aut bene, aut nihil*[120] – давно сдана в архив.

Но Белинский бывал виноват в пристрастных – и, с исторической точки зрения, неверных – порицаниях прошлым людям – под давлением своего искреннего влечения к лучшему, которого требовал даже от прошлого, как некоторые ревнивцы скорбят, зачем в любимой женщине не все чисто и светло в ее прошлом. А эти другие, непризванные «строгие ценители и судьи»⁹ из чего бьются, запальчи-

во замахиваясь своими детскими тросточками на отживших деятелей? Считают ли они себя лучше их? Вероятно, так: порицать можно только то, чего за собой не сознаешь, – иначе язык не повернулся бы говорить, по поговорке, «о воре, когда на самом шапка горит».

Обращаюсь к Якубову. Он непробудно жил и умер на лоне крепостного права и пользовался последним – не как все помещики, а никогда не злоупотребляя своими правами. Я уже сказал, что дохода и разных продуктов с земли своей он получал столько, сколько «привезет староста». В дворне у него, кроме своего кучера, повара и двух, трех лакеев с семьями, были еще столяры, портные, сапожники. Он отпускал их по городу на оброк, не справляясь, где и как они живут, что зарабатывают. Он не получал с них ни гроша, и только когда понадобятся ему сапоги, он велит своему сапожнику сшить, заплатив, что стоит товар. Понадобится починка или заказ новой мебели – то же самое.

Домашней крепостной прислуге – а тогда другой, наемной, не было – жалованья не по-

лагалось, но каждый праздник он позовет, бывало, меня и отдаст разложенные у него кучки серебряных рублей. «Это, – скажет, – отдай Ваське, это Митьке, это Гришке, всем сестрам по серьгам», – прибавит в заключение. Сам никогда лично не давал, а через нас.

– «Митька», «Васька», «Гришка»! – скажут на это новые люди, – разве это не мерзко? – Теперь мерзко, да и нельзя: крепостных людей нет, и никто не позволит называть себя кличками, как собак. А тогда не казалось мерзко: все старого поколения люди привыкли к этому, и я не слыхивал, чтобы тогдашние пожилые помещики, умные, образованные, даже в столице, иначе звали прислугу, как: «малый» или «Петрушка», «Егорка», «Машка», «Дашка» и т. д. Другой манеры звать не было, разве кто носил такое имя, что никак не вопрежь его в уменьшительное, например: Феррапонт, Сосипатр, Трефил, женщина Макрида.

Мы все, то есть тогдашнее новое поколение, конечно, так уже не обращались с прислугой. Кстати припомнить, что и Грибоедов подтверждает этот обычай. У него Фамусов не

иначе зовет прислугу, как «Филька», «Петрушка». Следовательно, винить Якубова за повсеместный в его время обычай было бы несправедливо. Пожалуй, иной из «молодых» упрекнет его за то, зачем он не говорил слушателям: вы. Однако, услышав однажды, что я сказал человеку: «Петр, пожалуйста, принеси мне...» (не помню что), он обернулся от окна и с живостью заметил мне: «Как это твое „пожалуйста“ хорошо!» Скажут, что ссылаться на Фамусова нельзя: он-де на то и Фамусов, что в нем воплощается застарелая порча его века, как и в Скалозубе, и в Молчалине, и в других. А вот был же-де Чацкий, который лучом света рассеял эту тьму, и т. д.

Да, был Чацкий – Грибоедов: а много ли их было, этих вестников нового мирозерцания, новой жизни? Стало быть, всякий новый современный судья прошлого, оглядываясь назад, ставит себя на место Чацкого? Это скромно! Не походит ли, однако, такой судья на вышеприведенного студента математического факультета, который, зная теперь больше, чем Пифагор или Птоломей, вздумал бы поставить себя на их место?

Как прав был Гоголь в своем ответе на упрек, зачем он не вывел в «Ревизоре» ни одного хорошего человека!¹⁰ Все бы стали ставить себя на место хорошего человека, и никто не захотел бы узнать в себе ни Хлестакова, ни Городничего и прочих. Грибоедову нельзя было обойтись в своей комедии без «хорошего человека», и вот все судьи прошедшего ставят себя в роль Грибоедова – Чацкого.

Но ведь Фамусовы, Скалозубы, Молчалины, Хлестаковы есть и теперь и будут, может быть, всегда не в одном русском, но и во всем человеческом обществе, только в новой форме: тем и велики и бессмертны обе комедии, что они создали формы, в которые отливаются типы целых поколений.

Поэтому не мешало бы поглубже задумать-ся над вопросом всякому, куда бы он в прошлом мог пристроить себя: к Фамусову, Хлестакову, Городничему и другим, которых была целая рать, большинство, или же к редким, блестящим исключениям вроде Чацкого?..

Я брошу на Якубова еще бóльшую в глазах «строгих судей» тень. Он был вспыльчивый,

как порох, но не желчный; незлобивый старик. От мгновенных вспышек его не оставалось никакого дыма, как от пороха. Провинится человек, не угодит ему, рассердит, обыкновенно пустяками какими-нибудь, он затопаёт, поднимет оба кулака, иногда сложит их вместе и, грозя, закричит: «Дьявол твою душу побери! Я тебе голову проломаю!» Это были его точные выражения в гневе. В эти минуты тому, кто не знает его коротко, он покажется страшен. Но в одну минуту гнев погасал, как молния, и никогда ни одному слуге он не только «голова не проломал», но никто не видал, чтобы он тронул кого-нибудь щелчком, даже чтобы мальчишку взял за ухо или за волосы. У него в руках и приемов для драки не было.

А грозен он бывал до комизма. Сидит, бывало, за столом: случится иногда, что суп пересолен или жаркое пережарено. «Малый! – закричит он грозно, – подай палку!»

У него была дубинка с круглой головкой, сопровождавшая его в прогулках. «Малый», иногда лет пятидесяти или шестидесяти, стоявший, в числе других трех или четырех та-

ких же «малых», с тарелками за нашими стульями, а летом махавшими над нашими головами ветвями от мух, – «малый» приносил дубинку.

– Поди, дай понюхать Акимке (повару)! – приказывал Якубов, – и скажи, что он отведа-ет этого кушанья, если опять пересолит суп.

«Малый» серьезно выслушивал приказание и шел в кухню, к Акимке, с дубинкой. Неизвестно, давал ли он ему понюхать ее.

Вспыльчивость Якубова была, конечно, делом его личного темперамента, а сдержанное, холодное отношение к крепостным людям исходило из условий не одного крепостного права. Он служил в военной, и притом морской службе, где субординация и дисциплина, особенно в прежнее время, соблюдались во всей строгости по морскому уставу Петра I, даже до жестокости. Командиру военного судна предоставлялись во время похода, в море, широкие права, между прочим, в крайнем случае право на смертную казнь подчиненных. Эти следы субординации и почтения к властям и вообще к старшим, он вынес отсюда же и сохранил до гроба.

По этой причине он настаивал, чтобы и я ехал «представляться» к губернатору, к архиепископу и всем губернским властям и вообще людям с чином, с весом в губернии.

Нечего делать, надо было исполнить желание старика.

VI

На паре, в дрожках, подкатил я к губернаторскому дому, робея, сам не зная чего, вероятно, под влиянием понятий Якубова о приличиях, и вошел в швейцарскую. Швейцаров в провинции тогда не водилось: не от кого было стеречь, оттого и звонков не было, двери в подъездах никогда не запирались. Лакейские были битком набиты праздными лакеями. Меня принял жандарм и пошел доложить «камердину». Приказано просить.

Через обширную, изящно убранную длинную залу, всю в зеркалах, с шелковыми занавесами, люстрами, канделябрами, меня ввели в кабинет. Я ожидал видеть какого-нибудь обрюзглого старика, как видал прежде губернаторов, в детстве, и вдруг увидел господина лет сорока с чем-нибудь, красивого, стройного, в утреннем элегантном неглиже, с кокет-

ливо повязанным цветным галстуком. Он встретил меня по-губернаторски, бегло взглянул на меня, слегка кивнул, но не подал руки. Тогда высшие чины не были, как теперь, фамильярны с низшими.

– Сию минуту кончу, а пока присядьте, – сказал он, указывая стул, ласковым, приятным голосом.

Я сел. Худощавый брюнет, секретарь, читал ему бумаги и подавал к подписи. Я между тем всматривался в губернатора и в убранство кабинета.

У губернатора были красивые, правильные черты лица, живые карие глаза с черными бровями, прекрасно очерченный рот с тонкими губами. Взгляд беглый, зоркий, улыбка веселая, немного насмешливая. Стройные, красивые руки с длинными прозрачными ногтями. Дома, в утреннем наряде, с белыми, как снег, манжетами, он смотрел фрantom, каких я видал потом в Петербурге, в первых рядах Михайловского театра. В черных волосах у него пробивалась преждевременная седина, как бывает у брюнетов.

На этажерках, на столе стояли статуэтки,

дамские портреты, разные элегантные безделушки. На стенах несколько картин и у одной – шкаф с книгами.

Губернатор кончил. Секретарь стал откланиваться.

– Вы не знакомы? – спросил он нас.

– Нет, – отвечали мы оба.

– Иван Иванович Добышев, правитель канцелярии.

Мы слегка поклонились друг другу.

– А... ваше имя и отчество, позвольте...

Я сказал; он повторил секретарю.

– Вы прямо из университета? – обратился он ко мне.

– Да-с.

– Что ж вы намерены теперь делать?

– Теперь пока отдыхаю, а зимой собираюсь в Петербург на службу.

– Военную или статскую? и т. д.

Я стал раскланиваться.

– Кланяйтесь Петру Андреевичу (Якубову), – прощался он, опять не подавая руки, – да скажите ему, что и я и жена, мы оба пеняем, что он не заедет к нам. Я его почти всякий день вижу, как он ездит кататься мимо.

– Хорошо-с, скажу. Он никуда не заезжает, боится! – сказал я,

– Чего?

– 14 декабря всех здесь напугало: его, кажется, больше других.

Губернатор звонко закатился смехом, показывая отличные белые зубы.

– Пойдемте к жене, скажите ей, – и повел меня через залу в другую, третью и, наконец, четвертую комнату.

– Марья Андреевна, где ты? Послушай, отчего Якубов не бывает у нас!.. – Он ввел меня.

Жена его, уже упомянутая выше худощавая дама, с поблекшими щеками и синими впалыми глазами, сидела в белом пеньюаре, с неубранной головой, в маленькой гостиной.

– Послушай, Лев Михайлыч: это ни на что не похоже; ты ведешь прямо ко мне, да еще молодого человека, а я не одета!.. – упрекнула она.

– Представляю тебе: такой-то.

– Monsieur est très présentable[121], – бесцеремонно, вслух заметила она, с любопытством оглядывая меня с ног до головы.

Я поежился от этого замечания прямо мне

в глаза. «Как римская матрона с рабом, не церемонится!» – подумал я, помня еще римскую историю после университета.

– Знаешь, отчего Петр Андреевич не ездит к нам? боится заговора, тайных обществ: у нас-то! А впрочем, знаете что, – прибавил он, обращаясь ко мне, – у меня между декабристами много приятелей, есть и родные. Да от нас, кто был помоложе, таились тогда, и я попал в противный лагерь и фигурировал на площади 14 декабря: в меня камнем бросили из бунтующих рядов, с ног сшибли... Это было замечено...

– И слава богу! – заметила жена, – за то ты теперь губернатор, а то бог знает, что было бы с тобой, если б связался с ними!

Якубов верить не хотел, когда я передал ему этот разговор. «Он с ума сошел: в первый раз видит тебя и разболтался! Услышит жандарм, ведь донесет!» – говорил он.

– Скажите Петру Андреевичу, что мы его очень любим, – прощаясь, говорила губернаторша, – чтобы заезжал каждый день; обедать бы приехал! А вы, когда начнутся вечера, будьте нашим гостем. Вы танцуете, и, верно,

хорошо?

– Большой охотник! В Москве, на вечерах, я всегда начинал мазурку, – похвастался я

– И прекрасно. Соня! где ты, Соня? Поди сюда! – кликнула она в открытую дверь боковой комнаты.

Вошла молодая прелестная девушка, между пятнадцатью и шестнадцатью годами, с таким же острым и живым взглядом, как у отца, с грациозно сложенными губами, с красивым носиком, с ярким, нежным румянцем.

Она застенчиво присела в ответ на мой поклон.

– Вот у нас еще танцор: он будет твоим кавалером на наших вечерах вместо этого неуклюжего Миши Лопарева...

Ее взгляд мельком скользнул в мою сторону. Она опять присела и скрылась. После этого я уехал и долго не являлся к губернатору, пока он не прислал за мной жандарма, как меня ни принуждал Якубов.

– Вместе с вами, пожалуй, – отговаривался я, зная, что он не поедет.

Еще до наступления зимы я успел перезнакомиться со всеми губернскими властями,

председателями, советниками палат, членами разных правлений и многими приехавшими на житье в город помещиками.

Почти всех этих членов, от больших до малых, привязывало к службе не одно жалование, тогда незначительное. Какой-нибудь председатель палаты получал тысячи три, советники – тысячи по две с половиной (ассигнациями), а младшие, правители дел, разные секретари и т. п., кто полторы, кто тысячу рублей; ниже спускалось до семисот и трехсот рублей, даже менее.

Очевидно, жить этим было нельзя, иногда с семейством, особенно в провинции, где даже у мещан водились свои лошади. Обедать всякий дома, клубов не водилось. Обедая в гостях, приходилось принимать и у себя: везде расход. Чем же жили все эти «служилые люди»? А доходами.

От Якубова я узнал историю состояния каждого из губернских тузов. Крупные дворянские состояния, источники и количество доходов он, не знавший только своих собственных, знал отлично. «Вот у братьев Иглевых, – говорил он, – до пятисот тысяч дохода:

старший живет роскошно, мотает, а у младшего, Н. М., никто никогда чашки чая не выпил. Сидит безвыездно в деревне. Сам по утрам пьет молоко, а за обедом ест вареную говядину с кислой капустой. А дом у него старинный, барский, одни оранжереи чего стоят! Персики, ананасы свои...»

– Ведь он ест же их: не все одну капусту! – возражал я.

– Как не так, – ест! Всё посылает в город на базар. На одних яблоках тысяч пять получит в год. А тронет в саду яблоко мальчишка или баба – так вздует!

Про другого говорил:

– А этот сотню тысяч получит в год, а проживет две – на псовую охоту.

Про чиновников, дельцов, катаясь со мной по городу, сообщал много подробностей. Укажет, бывало, то на тот, то на другой дом: «Вот это дом советника или председателя такого-то – и расскажет при этом: – Он приехал сюда, на мундир денег занял у меня, а теперь у него деревенька с тремястами душ, да домик этот выстроил, жене из Москвы наряды выписывает, ведет большую игру».

– Откуда же все это: богатую невесту, что ли, взял? – спросишь.

– Нет, бедную дворяночку взял, сироту. Как откуда? Лет десять секретарем в консистории пробыл, там нажил, потом губернатор Тмакин переманил его к себе в секретари, дельный был, а потом съездил в Петербург, подмазал где следует и воротился председателем. Хапун, пострел! – заключал он.

Обо всех отставных и служащих он развивал передо мной такую же хронику. Отзывы эти проникнуты были брезгливостью. Честный моряк, не знавший даже доходов с своего имения, очевидно презирал этот способ наживы. От этого он бросил свою гражданскую губернскую службу. «Нашему брату, дворянину, грязно с ними уживаться», – отзывался он.

Впрочем, весь город, то есть все губернское общество, не только мирилось с системой чиновничьих доходов, но даже покровительствовало ей. Плохенького, не умевшего наживать этим способом или занимавшего не доходное место – не носили на руках.

Правительство, конечно, знало, что казен-

ного жалованья нехватает на прожиток, потому и не совало носа в омут непривилегированных поборов – стало быть, терпело их; по-французски есть верное слово: tolérait[122].

Такие поборы и не назывались взятками. Этим словом клеймили обыкновенно вымогательство, прижимательство, голую продажу правосудия в уездном суде, в палате, в процессах по имущественным делам. Такие судьи-лихоимцы были у всех на виду и на счету и уважением не пользовались. Если в обществе водились с ними, то это только по личным расчетам.

– Хапун, пострел! – говорил Якубов при встрече с таким судьей и быстро перекидывался на другую сторону линейки, чтоб не отвечать на поклон.

Какие же, спрашивается, доходы затем могли получать служащие? Я недоумевал, но, перезнакомившись с служебным персоналом, я мало-помалу проник взглядом в губернскую бездну. Например, я узнал, что всякий священник или благочинный, обязательно представляя в год две книги в консисторию, одну метрическую, другую не помню какую, при-

лагал, смотря по приходу, известную сумму для секретаря: кто сто, кто двести или и более рублей. Можно сообразить, по числу приходов в епархии, какая почтенная сумма составлялась из таких приношений. А если к этому прибавить бракоразводные дела – то как было не нажать секретарю дома и деревни!

Точно так же и в губернской службе: городничие, исправники представляли свои годовые ведомости, отчеты и прочее, тоже «совложением» известной суммы, иногда крупной, если в этих отчетах и ведомостях, то есть в городах и уездах, не все обстояло благополучно.

Давали не то что случайно, для покрытия каких-нибудь крупных дел, а так просто, по обычаю. И как не дать: пожалуй, иной правитель дел или лицо по особым поручениям при случае и напакостит, а получив подарочек – посовестится, а если бы случился грешок, то замнет, промолчит.

Прошу заметить, что я говорю про давно-прошедшее время: теперь, вероятно, священники посылают в консисторию только одни книги, а городничие и исправники – одни чи-

стые отчеты, без «вложений» для секретарей.

Я помню юмористический рассказ губернаторского чиновника по особым поручениям, Янова, человека образованного, собеседника веселого, неистощимого на анекдоты и рассказы. Предместник Углицкого употреблял его по письменной части, так как он писал скоро, живо и хорошо, но должен был удалить его от писания. Он в деловые бумаги подпускал остроты и юмор. Губернатор ему однажды заметил, что в деловых письмах к важным лицам надо писать имена их полностью, например: не Егор Петрович, а Георгий, не Ефим, а Евфимий Иванович, не Сергей, а Сергей и т. д., а к неважным лицам можно-де писать просто. Янов принял это к сведению и пошел писать: к какому-нибудь министру в Петербург – «Федорей Павлович», «Михалий Иванович», а к простым, напротив, вместо Афанасий Степанович, писал «Афанас Степанович» и т. п. Несколько таких бумаг успели проскочить в Петербург и возбудили там внимание. Потом в одной деловой бумаге, говоря о каком-то умершем чиновнике, написал, что «покойный был беспокойного нрава». За эти

остроты от писания бумаг его устранили.

Обращаюсь к его рассказу. Это говорилось в губернаторской канцелярии, при других, между прочим, при правителе канцелярии. Губернатор задумал объезжать, по положению, губернию и послал Янова вперед, в те места, где он хотел сам побывать и осмотреть. Это делалось с тем, чтобы по уездам привели все в порядок, исправили неисправности, словом – чтоб проснулись, где власти спят, и принялись за дело. Заставать врасплох и потом карать за неисправности или ждать исправления – казалось хуже. По отъезде губернатора опять спустили бы рукава – и спускали. Губернские власти знали это очень хорошо по опыту.

– Вот я поехал, – рассказывал Янов, – приехал в К., остановился у городничего; квартира уже была готова. Он угостил отличным завтраком, потом стал показывать толстые дела, какие-то книги и бумаги. «Потрудитесь проверить приход и расход сумм», – говорит. Я, наморщив лоб, пристально заглянул в них, не прочитал ни строчки, притворился, что проверил итоги. «Верно, говорю, прощайте». –

«Вот еще полиция, пожарная команда, говорит, не угодно ли взглянуть?» А я уж влез в тарантас. «Ах, чорт бы тебя взял, мучитель!» – думаю. «Превосходно, говорю, так и блестит! А пожарные, какие молодцы?» – добавил я, глядя на мизерных, маленьких четырех солдатиков в изношенных мундирах. «Мундиры с иголки», – подсмеивался я. Я стал надевать перчатки: только один палец не лезет – что такое? Я опрокинул перчатку: из пальца ко мне на колени посыпались золотые, штук двадцать. Я проворно подобрал, спрятал их в карман. «Прощайте, говорю, приподняв фуражку, у вас все в отличном порядке, вы примерный чиновник, – так и губернатору доложу. Трогай!» Приехал в С. Та же история: ночлег у городничего, отличный ужин с шампанским – и где только они его там берут в захоlustье? На другой день такой же смотр и отъезд. Прощаюсь, надеваю перчатку: опять палец не лезет и перчатка тяжела. Мне это понравилось. Дальше я уж сам стал смотреть, – тяжела ли перчатка и лезут ли пальцы?

– Вы, может быть, думаете, что он шутит? – сказал мне секретарь, смеясь, – вовсе нет: это

точь-в-точь было!

– Какие шутки! – почти обидчиво заметил рассказчик. – Воротясь, после ревизии, я за обедом у губернатора рассказал и распотешил всех.

– И губернатор слышал?

– Как же: он больше всех тешился! – заключил рассказчик.

– За что же вам давали?

– Как же: за то, что не смотрел и не видал ничего.

– И у вас не было того, что называется... – начал я и остановился, приискивая слово.

– Scrupule[123], верно, хотите вы сказать? – договорил Янов, – было, как не быть! Я даже думал, не отдать ли назад, да... передумал. Ведь это не взятка, – фи, как можно! Я не способен ни прижать, ни пожаловаться, и если б нашел неисправность, сам заметил бы и посоветовал исправить. А тут просто суют в руки лишние деньги, да еще нажитые, очевидно, несправедливо. Как же их не отобрать и не спрятать в карман, тем более что перчатки разорвались, не выдержали бы...

И рассказчик, и все слушатели смеялись.

Зимой, я помню, одна барыня, небогатая помещица, сетовала, рассказывая своей приятельнице при мне и еще при одном родственнике, старике, по секрету, о своем недоумении, за кого выдать дочь, хорошенькую девушку, с которой мне приходилось иногда танцевать на вечерах.

– Двое приглядываются к моей Кате, – говорила она, – и Ягорский и Мальхин: того и гляди сделают предложение, а я не знаю, как быть, за которого отдать? Ягорский – жених бы хоть куда! И Кате нравится, из себя видный, славно танцует, по-французски говорит, так и сыплет...

– Так вот за него бы и отдать, если он нравится барышне, – вставил я.

– Вот молодые люди: у них все романы в голове! У меня еще дома две на руках: многого я дать не могу, чем же станут молодые жить? Вот у Мальхина, так у того полтора ста душ, доходу от должности, говорят, тысяч пять получает...

– Помилуйте, он плешивый, толстый, да еще взятки берет! – брезгливо перебил я.

– Ну, нет: он свежий, бодрый, что называ-

ется – «в соку». Брюшко точно – есть, но он еще танцует на балах, – заступился за него старичок. – А какие это взятки! Не взятки, милостивый государь, а доходы получает по месту советника казенной палаты! – строго прибавил он.

– Ну, это все равно! – сказал я.

– Как все равно! – горячился старик, – не все равно! Вот будете служить, тоже сами будете получать доход: без дохода нельзя...

– Не буду! – сердито отрезал я.

– Молодо, зелено! – сказала мать Кати.

Так казна, пассивно допуская нештатные «сборы», негласно делилась с служащими своими доходами и тем дополняла не хватавшее на прожиток скудное жалованье.

VII

Губернатор, Лев Михайлович Углицкий, был старинного дворянского рода, учился, кажется, в пажеском корпусе или дома, а вернее, должно быть, нигде не учился. Он бегло говорил по-французски, а русской речью владел мастерски, без книжного красноречия. Она свободно лилась у него, умно, блестяще, с искрами юмора, с неожиданными ловкими

оборотами, остроумными сравнениями, анти-тезами. Я, да и другие тоже заслушивались его рассказов: он был виртуоз-рассказчик. Он отлично пользовался – не приобретенными систематическим путем, а всячески нахв-таннными знаниями почти во всем и обо всем. А нахватал он знания не из книг, не в школе, а с живых людей, на ходу, в толпе бесчислен-ных знакомых во всех слоях общества. У него в памяти, как у швеи в рабочем ящике, были лоскутки всяких знаний, и он быстро и искус-но выбирал оттуда нужный в данную минуту клочок. Что западало ему в память, то и оста-валось там навсегда и служило ему верно. У него развился взгляд и вкус и в литературе и в искусствах, особенно в живописи. Он был не только любитель, но и знаток хороших картин. Апломб в разговоре, что называется, у него был удивительный: он отважно врезывался в разговор, как рубака в неприятель-ский строй, и отлично уклонялся, когда наты-кался на неодолимую преграду.

Особенно мастерски владел он софизмом, как отличный дуэлист шпагой, и спорить с ним, поставить его в границы строгой логики

было мудрено: он не давался.

Некоторые из его рассказов так и просились под перо. Если б я мог предвидеть, что когда-нибудь буду писать для печати, я внес бы некоторые рассказы в памятную книжку. Иные еще и теперь сохранились у меня в памяти. Особенно интересны у него выходили характеристики некоторых известных, громких личностей, с которыми он был в сношениях личных или служебных. Он долго служил адъютантом у разных начальников и сохранил в памяти живую характеристику о них. У него была масса воспоминаний, скопившихся за тридцать с лишком лет, с начала нынешнего столетия. Он так же, как Онегин, помнил и все анекдоты «от Ромула до наших дней»¹¹. У него в натуре была артистическая жилка – и он, как художник, всегда иллюстрировал портреты разных героев, например выдающихся деятелей в политике, при дворе или героев отечественной войны, в которой, юношей, уже участвовал, ходил брать Париж, или просто известных в обществе людей. Но вот беда: иллюстрации эти – как лиц, так и событий – отличались иногда такою

тонкостью, изяществом деталей и такую виртуозностью, что и лица и события казались подчас целиком сочиненными. Иногда я замечал, при повторении некоторых рассказов, перемены, вставки. Оттого полагаться на фактическую верность их надо было с большой оглядкой. Он плел их, как кружево. Все слушали его с наслаждением, а я, кроме того, и с недоверием. Я проникал в игру его воображения, чуял, где он говорит правду, где украшает, и любовался не содержанием, а художественной формой его рассказов. Он, кажется, это угадывал и сам гнался не столько за тем, чтобы поселить в слушателе доверие к подлинности события, а чтоб произвести известный эффект – и всегда производил.

Между тем все-таки он был безграмотный, или по меньшей мере полуграмотный. Ни по-русски, ни по-французски он не напишет двух-трех строк грамматически правильно. Орфография и синтаксис отсутствовали. Для переписки, даже для писания простых интимных писем ему нужен был секретарь или секретари. Как это могло случиться – не знаю и до сих пор. Я долго, особенно после, в Петер-

бурге, служил ему добровольным секретарем.

Губернаторский дом был убран со вкусом и поставлен Углицким на широкую, щегольскую ногу. Особенно коллекция картин в его кабинете была замечательна. Кроме того, вдобавок к казенной мебели он выписал еще много ненужных вещей, всегда с печатью вкуса, из Петербурга и Москвы, завел щегольский экипаж, красивых лошадей, выписал тонкого повара. Камердинер у него был что-то вроде какого-нибудь французского Ляфлёра, Пикара или Лебедея, гладкий, красивый, откормленный, одет щегольски, почти как его господин, с напускной важностью, почти-тельный с его превосходительством и наглый с просителями, плут и взяточник. Словом, все – на широкую, барскую ногу, и не по провинциальному, а по петербургскому масштабу.

«Стало быть, у него много было денег?» – следует за этим вопрос. – Ничего у него не было, кроме жалованья и... долгов! Жалованья полагалось губернатору шесть тысяч рублей (ассигнациями), казенный дом, отопление, освещение – и только. После, кажется, впро-

чем, удвоили оклад, но не помню, было ли то при Углицком, или после него. Как же жить, да еще на такую широкую ногу, щегольски?

Подумают, может быть, что он тоже имел «доходы» по должности. Нет, никогда. Он был очень опрятен, держал себя безукоризненно, джентльменом. Все, что доставлялось на губернаторский дом из лавок, оплачивалось немедленно. Так было во все время его губернаторства, и при отъезде его оттуда за ним ни у одного купца, ни в какой лавке не осталось ни гроша долга.

Он щеголял этим, как щеголял изящным костюмом от петербургского портного, покроем и белизной белья, чистыми, прозрачными ногтями. Ничем этим, как и мелкими долгами, он не грешил. «Это „mauvais genre“ [124], – говорил он. – После того остается мне пойти с этими торгашами в харчевню чай пить или в Петербурге гулять по Невскому проспекту в фуражке, а в театре в первый ряд залезть в зеленых замшевых перчатках и т. п. Фи! *On risque se déclasser!*» [125].

Крупных «доходов» по службе он гнушался не менее – вроде, например, положенных буд-

то бы ежегодных субсидий от откупщика губернаторам и другим властям покрупнее, по несколько тысяч. Углицкий сказывал мне потом об этих попытках приношения со стороны откупщика.

– Как же вы это приняли? – спросил я.

– *Allez vous promener!*[126] – сказал я ему на его намеки. «Но ведь это везде делается: это обычай!» – настаивал откупщик и отошел с носом.

Это, конечно, была правда. Если б Углицкий поползнулся на такой доход, он мне бы об этом не заикнулся.

Но... но... вот он что прибавил и поставил меня в тупик.

– Кто берет эти приношения, – сказал он, – те обязаны потом делать по откупам разные потворства. Прошлой весной он подъехал было ко мне с просьбой: выпусти, да выпусти я хлеб к сплыву по Волге...

(Какой это хлеб и почему его нельзя было отпустить, я теперь совершенно забыл.)

– Что же вы? – спросил я, – конечно, не разрешили?

– Разумеется, нет. Стал приставать: мы с

ним приятели – хлеб-соль водим; c'est un bon enfant après tout[127]. Мне не хотелось отделаться сухим отказом: «Вот, – сказал я, – я на той неделе еду в С. уезд – вы ведайтесь, как хотите, с вице-губернатором: он без меня будет управлять губернией».

– Что же он?

– Ничего не сказал, почесал только за ухом. Я уехал. Переправляюсь в С. уезде через Волгу, вижу: плывут росшивы. Спрашиваю, с чем это? от кого? «С хлебом, говорят, откупщик вниз спускает...»

Губернатор заключил еще свой рассказ смехом. Не знаю, заметил ли он, какой крупный и неприятный софизм вставил он в свою службу. Мой барометр его нравственности стал колебаться.

Потом он на вечерах играл в карты, если не с азартом, то с значительным увлечением, между прочим и с откупщиком. Злоязычный Янов рассказывал, что «откупщику не везет в игре... с Львом Михайловичем», – добавил он с комическим вздохом.

– Зачем же он не бросит, если проигрывает? – спросил я.

Янов засмеялся и похлопал меня по коленке.

VIII

Но все-таки Углицкий был в долгу, как в шелку. У него были не мелкие, а довольно крупные и притом стереотипные долги. Общую сумму своих долгов он определял в тридцать семь тысяч, то есть стереотипных долгов. Сумма же подвижных, мелких долгов менялась, то повышалась, то понижалась: последнее случилось, когда заимодавец попадал в «денежную минуту», узнавал, что Углицкий получил куш. Он уплачивал если не все, то хоть часть. Если же долг затягивался, то после известного срока причислялся к стереотипным. Правда, он возлагал упование на наследство после какой-то богатой бездетной тетки в Петербурге, – но это наследство было проблематическое, вроде ожидания приезда богатого дяди из Америки.

Итак, он жил прежде всего долгами, как отец Онегина¹², по словам Пушкина. Тогда, кажется, и все старое поколение пробавлялось этим способом: только «ленивый», по пословице, не делал долгов. Когда, бывало, упрек-

нут кого-нибудь долгами, у виноватого всегда был готов стереотипный ответ: «У кого их нет?»

У Углицкого делание долгов было приведено в систему, которую он прилагал к делу также виртуозно, как юмор и остроумие к рассказам. Система, очевидно, принадлежала воспитанию и нравам его времени. Долги делались и не платились как-то помимо всяких вопросов о нравственности, как хождение в церковь и усердное исполнение религиозных обрядов у многих молящихся часто не вяжется с жизнью. Например, украсть у ближнего из кармана, из стола, тайно присвоить – никто и никогда из этих «джентльменов» не решался, скорей застрелится; а занять с обещанием отдать «при первой возможности», «при удобном случае», и забыть – это ничего, можно!

Как могли эти господа жить и спать, что называется, на оба уха, беззаботно, не заглядывая из сегодня в завтра, – непостижимо для человека в здравом уме и твердой памяти! А они жили, и жили уютно, комфортабельно, изящно – и считали себя, не шутя, джентль-

менами. Например, Углицкий рассказывал мне уже после, когда мы приехали в Петербург (я забегаю вперед), как он однажды за границей очутился «entre de mauvais draps» [128] и как выпутался. После отставки он поселился в Париже, конечно с подругой. Пенелопа его, Марья Андреевна, оставалась в Петербурге, на маленькой квартирке, «на антоновой пицце»; дочь была помещена в перво-классный пансион оканчивать воспитание, конечно на чужой счет – тетки или другой благотворительницы – не помню. В Париже он взял квартиру, завел мебель, разумеется изящную – все это на счет своей побочной, увлеченной им супруги. Жила эта чета не стесняясь, пользуясь всеми парижскими благами и, наконец, через год – прожились. Он сбыв мебель и все вещи за бесценок и уехал на Рейн, потом во Франкфурт – и в один день... «Figurez-vous [129], – говорил он, – у меня осталось всего двадцать пять талеров». Я вчуже ужаснулся, слушая его. «Что же вы сделали?» – спрашиваю я. «Я ходил по франкфуртским бульварам и все думал, как извернуться... Там есть павильон в одном саду, с

статуей Ариадны „на тигре“, открытый для публики. Я от нечего делать зашел туда. Смотрю на эту Ариадну и думаю... думаю: „Ведь этот сад богатого банкира... Пойду к нему!“ – и пошел. „Дома, принимает. Как о вас доложить?“ – „Gentilhomme russe“[130]. Банкир принял меня с утонченной вежливостью, спросил, „чему он обязан честью“ и т. д. Я ему очень слегка, небрежно, шутя очертил свое критическое положение. „Figurez-vous, – говорю: – у меня двадцать пять талеров в кармане, а мне до дома больше трехсот миль... и мне необходимо...“ – „Сколько вам нужно? – спросил он, выслушав, – чтоб доехать“. – „Тысячи две франков, я полагаю, довольно...“ Представьте, он подошел к столу, отрезал чек на эту сумму и велел человеку проводить меня в кассу...» – «Но ведь ему надо было скоро заплатить: у вас было что-нибудь в виду?» – «Ни гроша в виду». – «Как же вы думали сделать?» – «Никак не думал». Я смотрел на него в страхе за него, а он отвечал мне веселым взглядом. «Il y a une providence pour les malheureux...[131] – продолжал он. – Figurez-vous: по Рейну в это время ехал наш двор; я

бросился в Эмс – нашел между придворными друзьями, сослуживцев и представил им свое положение живо, в ярких красках, даже прослезился. Обо мне доложили... Там вспомнили, что я когда-то танцевал на придворных балах... и мне выдали две тысячи пятьсот франков. Я сейчас отвез деньги к банкиру и поспешил в Россию».

Здесь, кстати, приведу еще два рассказа самого Углицкого и его приятеля, отставного полковника Сланцова, друг о друге. Сланцов был однополчанин Углицкого, жил с ним вместе, что называется, душа в душу. То же воспитание, нравы, прекрасный тон, манеры, щегольство, та же бойкость французской и русской речи на словах и та же малограмотность на письме. Кажется, все их поколение как-то свысока смотрело на грамотность. Письменные занятия презрительно назывались некоторыми тогдашними военными: «купаться в чернилах».

У Сланцова было порядочное имение за Волгой, где он проводил летние месяцы, а в городе был гостем Углицкого. Когда они были вместе, для гостей просто был праздник слу-

шать их. Однажды, после обеда, мы сидели у камина в кабинете Углицкого втроем, то есть они двое и я.

Они пустились в откровенные воспоминания, удили из прошлого друг у друга едкие случаи и перекидывались ими, как шалуны хлебными шариками за обедом между собой.

– Послушайте, что он со мной сделал однажды! – рассказал, между прочим, Углицкий про Сланцова:

– Это было в Германии; мы (с войском) двигались к французской границе. Наш полк был в... (я забыл теперь, какое местечко он называл). Я был полковым адъютантом. Командир послал меня верст за сорок, к дивизионному генералу, с бумагами и поручениями. Я взял троих людей из полка и отправился верхом. Денег у нас – ни у него (он указал на Сланцова), ни у меня не было ни алтына, nous étions à sec[132], ждали всё из дома. А из дома получали только слезные письма: «После французов все разорено, не поправились, дохода нет, чтоб потерпели, пробавлялись казенным» и т. п. канитель! Жили мы на одной квартире, у старой немки, обедали у команди-

ра да у офицеров, у кого были деньги. Между тем у нас в полку велась крупная игра. Был один капитан Шлепков – так отшлепывал в банк, что иногда все деньги из полка соберутся у него, – и потом у него же занимаются. Усталый, злой, голодный, я воротился дня через три домой. «Где Андрей Иваныч?» – спрашиваю у денщика. «К Шлепкову, говорит, пошли, и все господа там». Я стал раздеваться, вдруг вижу письмо за зеркалом: от матери. Я обрадовался до слез, стал читать, пропустил разные домашние подробности, с поклонами от теток, дядей, кузин, и добрался до живого места: «Посылаю тебе, милый Левушка, сто золотых...» Я чуть не прыгнул до потолка. Дальше мельком пробежал строки: «Разорены от французов... береги деньги... долго не пришлю... эти заняла...» и т. д. Я спрятал письмо и стал искать денег на столе, в столе – нету. «Кто принес письмо?» – спрашиваю денщика. «Андрей Иванович, говорит, положил его за зеркало». «Верно, деньги спрятал к себе в ящик: умник!» – подумал я и, как блаженный, поужинал и лег спать. У меня так и звенели в ушах всё золотые. Я мечтал, как я раз-

гуляюсь назавтра и... конечно, поиграю, обыграю Шлепкова. Утром рано кричу с постели: «Андрей! Андрюша!» Храпит. Через полчаса опять зову. «Мм»... мычит. Потом, слышу, возится, встает. «Где деньги спрятал? – спрашиваю, – в ящике, что ли?» Кряхтит. «Говори же!» – «Погоди... сапог не лезет». Опять кряхтит. «Давай же деньги!» – говорю. «Какие деньги?» – «Как какие деньги? ведь ты, верно, с письмом и деньги из канцелярии принес?» – «Ах, эти-то! Да, принес... Эх, другой сапог не лезет!» – «Где же деньги? Не томи, говори и давай... в столе, что ли, у тебя?..» – «Нет, они... у Шлепкова», говорит. Я ужаснулся. «Как так?..» – «Отшлепал, брат Левушка; так отшлепал... ах, проклятые сапоги!..» – «Ужели ты всё спустил, бессовестный?» – спрашиваю. А он в ответ мне только печально головой кивнул...

– Что ж ты не прибавил вздоха моего? – перебил Сланцов. – Я так вздохнул, что денщик пришел, думал – зову его. «Ужели ты мне хоть пяти золотых не оставил?» – горько упрекнул он меня, как теперь помню...

– И это все правда? – спросил я.

– Да, это... правда, – сознался Сланцов. –
Que voulez vous! Nous étions en guerre, et à la
guerre comme à la guerre?[133]

– Но погоди же: ты дискредитировал меня
перед молодым человеком – он подумает, что
я нахал, а ты великодушный друг! Я тоже мо-
гу припомнить кое-что: как ты мне отплатил.
Figurez-vous, – обратился он ко мне и продол-
жал по-французски, но потом перешел на рус-
скую речь. – Мы воротились в Петербург, я
вышел в отставку, а он (указывая на Углицко-
го) остался в полку; жили мы вместе. Я нанял
квартиру, отделал ее щегольски, купил ме-
бели, ламп, ваз, зеркал, картин, разных доро-
гих bibelots – cela m’a coûté les yeux de la tête
[134], – словом, промотался, – конечно, пока в
долг. Сделал также полный гардероб. Понадо-
билось мне, однако, съездить в деревню до-
быть денег. С этой войной да с походами я не
имел понятия о своих делах, не знал, что у ме-
ня есть, что в имении делается. Я поехал на
какой-нибудь месяц – осмотреться, распоря-
диться. Приехал – и нашел хаос: денег в кон-
торе пять рублей, староста в бегах. Я попробо-
вал похозяйничать – вышло хуже. Зато свя-

ценник встретил меня с крестом и святой водой, а приказчик поднес хлеб-соль. Я подумал, подумал, перебивал у всех соседей, звал и угощал у себя уездную челядь, заседателей, исправников и прочих и, наконец, нашел соседа – домоседа, практического хозяина и скрягу, – честного и аккуратного, который всю жизнь просидел между пшеницей и овсом, сам сеял, жал и молот и сам возил свой хлеб на пристань, на Волгу. Он за пять процентов с дохода взял все мои дела на свои плечи. И теперь всем заведует, конечно, лучше меня. Все это задержало меня вместо месяца – целых четыре. Осенью я воротился в Петербург. Приезжаю вечером: его (указывая на Углицкого) не было дома. Было еще не поздно, и я хотел поехать вечером куда-нибудь к знакомым. Обрился и велел дать одеться. «Что прикажете подавать?» – спрашивает камердинер. «Дай синий фрак». – «Синего фрака нет...» – «Как нет: где же он? Я его не брал с собою». Вижу, что Петрушка конфузится и молчит. «Пропил», думаю. «Куда ж ты его девал?» – грозно спрашиваю. «Лев Михайлыч, говорит, взяли...» – «Он мундир носит: зачем

ему?» – «Да... заложили!» Я молчал: что было сказать? «Дай другой: там был зеленый...» – «И тот... тоже-с...» – «Ну, дай сюртук, что есть...» – «Ничего не оставили», говорит. Я отворил шкаф: пустой! Осматриваюсь кругом: все голо! Беру свечку; иду в гостиную, в залу: ни картин, ни ваз, ни серебра... «И это все заложил!!» – в ужасе почти закричал я. «Точно так-с». Только портрет моей покойной жены сиротливо висел на стене под флером! Я в отчаянии пожал плечами. Вот он каков! Теперь и судите, имел ли я право проиграть его золотые! – заключил Сланцов.

– Мне следует спросить, имел ли я право заложить твои вещи? – добавил Углицкий. – *Figurez-vous*, – обратился он, в свою очередь, ко мне, – он (указывая на Сланцова) обещал выслать мне из деревни – если не все, так хоть половину проигранных им моих золотых – и в течение четырех месяцев не только не прислал ни гроша, даже ни строчки не написал! Что мне было делать! Мне на обед нехватало: что, неправда? – обратился он к Сланцову. – Я, закладывая твоё добро, выручал только свои золотые: да! Я хоть портрет

твоей жены оставил тебе, а ты мне ни одного золотого... за границей не приберег. Представьте – ни одного!..

– Ну, Левушка, этого недоставало, чтоб ты еще этот портрет заложил! сознайся – ты был бы, что называется, *franche canaille!*[135] – возразил Сланцов.

– Что вы скажете, молодой человек, слушая нас? – спросил Углицкий. – Изверги?

– Нет, я ничего не скажу, а после нас со временем будут петь: «Вот послушайте, ребята, как живали в старину!» – заметил я, смеясь. – Но, извините, мне кажется, вы оба в этих рассказах усиливаете колорит. Потом меня не столько удивляет смелость этих ваших проказ друг над другом, сколько трогает кротость, с какою вы оба принимали это. «Ужели ты мне пяти золотых не оставил!» – мягко упрекнули вы за растрату денег в критическую минуту – и только! А вы «лишь пожали плечами», найдя пустую квартиру. «О дружба, эта ты!» – неволью скажешь!

– О нет, мы дня три ненавидели друг друга после того, дулись, не говорили между собой, а потом сейчас же помирились, как только

кто-то первый... не помню, ты или я (Сланцов обратился к Углицкому) – денег достали, конечно, в долг... и замазали брешь. А с ним мы не считались: *твое и мое* у нас, как у допотопных людей, не существовало! – заключил Сланцов.

Меня, нового, свежего молодого человека, удивляло и занимало все в этих людях. И это систематическое, искусное проживание на чужой счет, и бесцельная канитель жизни, без идей, без убеждений, без определенной формы, без серьезных стремлений и увлечений, без справок в прошлом, без заглядывания в будущее. Если и было дело, оно тянулась вяло, сонно, как-нибудь.

Сколько пропадало, уходило ни на что сил и дарований в этом тогда старом поколении людей! Вот хоть бы эти два представителя своего времени, Углицкий и Сланцов, и сколько других, подобных им, были умные, живые, даровитые. Это видно было из каждого слова, шага. Оба прошли строгую военную школу, сражались, делали, что им приказывали, и ни один не вложил в дело часть самого себя, что-нибудь свое. Из войны, походов, сра-

жений они оба вынесли впечатления личной отваги, блеска, щегольства, разных веселых авантур за границей, изображали все это в остроумных, пикантных рассказах. Серьезная, строгая сторона той великой эпохи от них ускользнула. Они ее будто не видали, жили как-то вне ее. Дома у себя – та же беззаботность и бессодержательность жизни. Сланцов не умел распорядиться своим имением и сдал его на руки другому. Углицкий в делах по своей должности был очень чуток, наблюдателен и зорек и был бы исполнителен, если б... Вот это «если б»! У меня была бабушка, которая говаривала: «Если б не бы, да не *но*, были бы мы богаты давно!» Был бы исполнителен и Углицкий, если б... хотел.

А был способен. Бывало, пришлют ему массу протоколов из губернского правления для подписания. Он сам слушал чтение их в правлении рассеянно. беспрестанно отвлекался, рассказывал членам новости, анекдоты, шутил. А в кабинете у себя, когда его домашний чиновник, проживавший у него чем-то вроде лягавой собаки, бегавший с разными поносками, и иногда *postillon d'amour*[136], станет

читать подробно, он нетерпеливо вырывает у него бумагу и подписывает... «Я еще не дочитал, о чем протокол!» – заметит чиновник. «Хочешь, – скажу о чем?» – ответит губернатор и скажет. По одному намеку в начале протокола он знал, о чем говорится дальше, нужды нет, что в правлении слушал чтение в пол-уха.

Толпу просителей примет живо, бойко, разберет и отпустит в какие-нибудь полчаса. Осмотрит тюрьму, какой-нибудь гошпиталь – все это на ходу, мимоездом, до завтрака, а между завтраком и обедом делает или принимает визиты. Словом, снаружи дело так и кипело у него и около него, – и все-таки ничего нового, живого, интересного во всей административной машине не было. У него была тьма способностей, но жив, бодр, зорек и очень подвижен был он сам, а дело оставалось таким же, как он его застал.

Зато как он был представителен, *présentable*, по его выражению! Как красиво губернаторствовал в приемах у себя на дому, в гостиных у губернской знати, на губернаторских выходах в праздники или в соборе у

обедни! Всякий в толпе, не зная его, скажет, что это губернатор. Когда он гулял один пешком по городу, незнакомые встречные снимали шляпу, узнавая в нем «особу». Он пуще всего дорожил представительностью и других ценил по тону, позе, манерам. Он представительность смешивал с добродетелью и снисходил, ради нее, к чужим порокам, а к своим и по давню, чувствуя себя *présentable au plus haut degré*. «*Très présentable!*»[137] – было у него высшей аттестацией нового лица.

Я сказал, что нового, живого в свое дело он не вносил: виноват. Он задумал ввести кое-что новое – именно прекратить «нештатные» доходы или поборы, о которых не мог не знать подробно. *Excusez du peu!*[138] Он уже не раз проговаривался об этом в обществе и наводил на коренных губернских служаек пугливое недоумение. Те стали оглядываться и шептаться между собою.

Мало-помалу замысел этот стал проявляться у него и на деле, пока еще тем, что он двух-трех «оглашенных» и частью уличенных в мелких поборах подчиненных призывал к себе и пригрозил им судом. Все встрепенулись.

К исполнению этого своего замысла он вздумал привлечь... меня!! Я у него, в качестве знакомого, до наступления осеннего сезона почти не бывал, заезжал только изредка, по настоянию Якубова, к губернаторскому подъезду в такие часы, когда Углицкого не было дома.

Все, что я говорю о нем, между прочим и вышеприведенный рассказ о разговоре его со Сланцовым, происходило зимой, когда я у него в доме близко ознакомился с ним и со всем его домашним бытом.

IX

Я собрался совсем ехать в Петербург и запасаюсь рекомендательным письмом от управляющего удельною конторою – не помню теперь, к какому влиятельному члену удельного департамента.

Пока я собирался, делал прощальные визиты, губернатор вдруг прислал просить меня к себе. Я поехал. Он любезно встретил (опять не подавая руки), повел меня в кабинет и усадил рядом с собой на диване.

Он начал с того, что снюношескою болтливостью раскрыл предо мною, в мастерском

рассказе, хронику служебных «доходов» всех и каждого в городе, между прочим и тех, кто чуть не ежедневно ездили к нему и принимали его у себя. Он не пощадил и своего секретаря, без которого он, как ребенок без няньки, не делал ни шагу. Целый день, и часто ночью, секретарь этот не отходил от него и чуть ли не спал в вицмундире. «Пожалуйте к его превосходительству», – то и дело звучало в его ушах. Чиновников особых поручений, даже до мелких канцелярских чинов, он тоже перебрал в ярком характеристическом очерке.

«Что же мне-то до этого за дело!» – думал я, слушая. Я знал почти все, что он говорил, да и весь город знал. Стоило только не зажимать ушей. Все находили, что так и должно быть – и не могли понять, отчего губернатор вдруг «взбеленился», откуда это пошло, кто «почал»; теперь сказали бы: по чьей «инициативе» началось.

А по инициативе того же самого секретаря, которого так живо расписал мне губернатор, нужды нет, что они друг без друга, как сямские близнецы, жить не могли.

– Вот каков персонал моих помощников! –

патетически заключил свой рассказ губернатор. Я молчал. – Согласитесь, что знать это и терпеть долее было бы с моей стороны не честно. Я хочу положить этому конец.

– Это ведь значит положить конец самой системе! – робко заметил я, а сам подумал, что он года четыре уже «терпел» это.

– *C'est juste, vous avez parfaitement, mille fois raison!*[139] – подтвердил губернатор.

– Как же это сделать? – продолжал я. – Если вы удалите этих людей...

– *Vous y êtes!*[140] Их всех прочь! – вставил губернатор.

– ...Тогда надо пригласить других: может быть, те то же станут делать?..

– *Вы разве станете это делать?* – вдруг спросил губернатор и сам же ответил: – конечно, нет.

– Я?! – с удивлением сказал я, даже встал с места.

– Именно вы! – перебил Углицкий, усаживая меня рукой на диван. – Я остановился на вас. Вы только что кончили курс в университете, готовитесь вступить в службу: чего же лучше, как начать ее в вашем родном городе,

живя с своими?.. и т. д.

Он очень искусно развивал передо мной заманчивую картину службы при нем.

– Ваше воспитание, благородство, тон, манеры, знание языков дают вам все права и преимущества... – И пошел, и пошел, – «и свежий-то, и новый-то я человек, и новые взгляды» у меня и проч.

Почем он знал мое «благородство» и мои «взгляды» – бог его ведает! Вероятно, потому, что я казался ему «présentable». Он искусно воспользовался этими мотивами, чтобы склонить меня.

– Если это и так, как ваше превосходительство говорите, то позвольте напомнить французскую пословицу: «Одна ласточка не делает весны»...

– Вы да я – вот уже две, – живо перебил он, – найдем и еще, и мы перекукуем ночных птиц. Решайтесь? Да?

– Позвольте спросить, на какую должность вам угодно пригласить меня? – спросил я.

– Ба! Разве я еще не скатал? На место секретаря. Вы будете управлять канцелярией...

Я – юноша – едва не пожал плечами от

удивления перед легкомыслием этого – чуть не старика.

– Позвольте напомнить, – начал я, помолчав, – что я только что со школьной скамьи и никакими делами не занимался. Я совершенно неопытен. Как я могу управлять группой чиновников, уже служивших, опытных?.. Я мог бы, пожалуй, принять в губернии место учителя в гимназии, какого-нибудь инспектора уездных училищ, что-нибудь в этом роде, а дела губернской администрации мне вовсе незнакомы...

Здесь полился у него ряд доводов, построенных больше на софизмах, шатких предположениях... «Подайте прошение», – заключил он.

– У меня и аттестата еще нет, – отговаривался я. – Из Москвы послано в Петербург и еще не получено утверждение министра. Я не могу поступить на службу...

Он вскочил с места, и я встал.

– Так вот что мы сделаем, – горячо перебил Углицкий, – вы вступите в отправление должности с завтрашнего же дня, а когда получите аттестат, мы вас утвердим с этого числа.

«Эк загорелось! Ужели он все дела решает так проворно?» – думалось мне.

– Позвольте подумать, – защищался я, – посоветоваться с родными... У меня уже письма есть в Петербург от Андрея Михайловича... Я еще не знаю!..

Мне во что бы то ни стало хотелось отделаться от этого неожиданного предложения. Меня тянуло в Петербург. Родимый город не представлял никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свежих, молодых сил. Словом, я скучал, а тут вдруг остаться и служить!

– *Faites ça, je vous prie!*[141] – нежно, певучим голосом упрашивал он меня, как балованный ребенок. – Вы до получения аттестата уже привыкнете и будете в делах как дома. Ведь это все пустое! – с презрением заключил он, указывая на грудку бумаг на столе.

Я видел, что мысль заманить меня на службу гвоздем засела у него в голове. «Кто ему вбил этот гвоздь?» – думал я.

– А прежний секретарь, Добышев, разве покидает службу? – спросил я, вспомнив про него.

– Как можно! Нет, он просится чиновником особых поручений при мне – он утомлен работой и часто болеет... Скажу вам откровенно – он и указал мне на вас, чтобы заменить его...

– Он! – сорвалось у меня восклицание удивления.

– Да, он! А что?

– Зачем это нужно ему?

Я задумался.

– *C'est un gredin, si vous voulez, mais il est versé dans les affaires*[142]. Он и будет вначале помогать, руководить – и... я тоже! Вы поговорите с вашими, и завтра – милости просим на службу, в канцелярию! Да? Теперь до свидания. Кланяйтесь Петру Андреевичу.

Я стал уходить. В дверях показалась губернаторша. Я поклонился.

– Что же вы у нас не бываете? – начальственно строго спросила она. – Я пригласила вас, а вы ни разу не заглянули?

– Я хотел начать мои посещения вместе с Петром Андреевичем, – оправдывался я, – звал его, просил патронировать меня...

– Что же, он все еще боится?

Оба, и муж и жена, рассмеялись.

– Поздравь меня, – сказал он, – j'ai fait une belle acquisition[143]. И. А. поступает с завтрашнего дня ко мне на службу и будет, *bongré-malgré*[144] нашим ежедневным гостем.

– Так это состоялось? вы согласны? – с живостью спросила она.

– Позвольте... Это еще не решено, надо подумать... – защищался я, пятясь к дверям и раскланиваясь.

Недаром я отнекивался от губернаторского предложения. Потом до меня доходили слухи, что секретарь посоветовал определить на его место меня не как «нового, свежего, бескорыстного» и т. д. или если и так, то еще более всего как неопытного молодого человека, именем которого он мог бы продолжать вести дела по губернии, по-своему, как он вел их прежде, то есть плавать под чужим флагом в тех же водах... «Шипы» (предупреждали меня по секрету) доставались бы мне, а «розы» падали бы на его голову. Я счел это за губернскую сплетню и не обратил на нее внимания. Если же в самом деле таковы были его сокро-

венные замыслы на мой счет, то они ему не удались. Судьба решила иначе.

Х

Alea jacta est![145] Я на другой день вступил, если не de jure[146], то de facto[147], на службу в губернаторскую канцелярию. Родным моим очень улыбалось удержать меня дома: мать мечтала со временем женить меня и нянчить внучат; сестры приобретали своего домашнего кавалера для вечеров; слуги радовались сами не знали чему. Особенно няня утешалась, что я не пропаду из глаз навсегда, и смотрела на меня кротко и любовно.

– Завтра тебе надо явиться к губернатору уже как к начальнику: надень белый галстук, – сказал мне Якубов.

Я белый галстук не надел, зато напустил на лицо некоторую важность и явился прямо в канцелярию. Предместник мой, Добышев, был уже там. Он представил мне всех чиновников по очереди.

– Это столоначальник Трусецкий, – говорил он, указывая на господина с большими черными бакенбардами, в синем поношенном сюртуке («Поляк, присланный сюда из за-

падных губерний»[148], – шепнул при этом). – Это Милюкович, сынок Марфы Яковлевны, знаете?

– Как не знать! Мы знакомы. – Я поклонился, но руки, подражая губернатору, не подал: нельзя, подчиненный!

И так далее. Добышев перезнакомил меня со всеми. Чиновники почтительно щелкали нога об ногу и смотрели с любопытством на меня, и я на них, не зная, что им сказать.

– А это сторож Чубук, – со смехом заключил Добышев, указывая на прямого, как палка, солдатика у дверей, с полинявшими галунами.

– Здравия желаю, ваше высочорodie! – провозгласил тот.

– Вот и дела у нас здесь! – продолжал Добышев, отворяя старый шкаф с еле державшеюся дверью: – а эти, что на столе, теперь рассматриваются. Вот бумаги, заготовленные к подписанию его превосходительства. А это новые входящие. Покажите, Иван Семенович, входящий реестр! Вот вам и ключ от стола!

Добышев отдал мне ключ. «Тут, в столе, есть две секретные бумаги с губернаторской

отметкой. Велено исполнить их поскорее», – прибавил он.

– То есть как это исполнить бумаги? – наивно спросил я, вдруг потеряв всякую важность.

– Написать по губернаторской резолюции исполнение.

Тут Добышева позвали к губернатору. Я сел за стол.

«Написать исполнение!» – думал я, стараясь вникнуть в смысл этой новой для меня фразы.

Вошел Чубук.

– Солдат пришел к вашему высокородию, да еще женщина дожидается давно, – доложил он мне.

Я вышел в прихожую. «Что тебе надо?» – спрашиваю солдата.

– Егорья потерял, ваше высокородие, – говорит.

– Какого Егорья?

– Хрест, значит, потерял.

Я стал втупик.

– Поищи хорошенько, – сказал я.

– Иди в полицию, а ты!.. Подай прежде объ-

явление! Что лезешь прямо сюда! – раздался из другой комнаты голос чиновника.

Солдатик посмотрел на меня, я на него.

– Слышь, в полицию ступай! – сказал Чубук.

Он помялся, помялся, стукнул ногой, сделал направо кругом и ушел. Баба жаловалась, что сыну не выходит «освобождение» от «некрутчины». «Ослобонить ослобонили, потому – негодный, спина кривая, а бумаги из правления не дают и сына не отпускают, а она проелась, жимши в городе...» и т. д.

– Пожалуйте к его превосходительству! – раздалось сзади меня.

Я попросил – или, виноват, «поручил» одному из чиновников разобрать просителей и пошел наверх. Тем и заключился первый мой дебют на службе.

– *C'est charmant!*[149] Это любезно, что послушались! – встретил меня губернатор, не подавая руки. – Присядьте. Не хотите ли позавтракать?

Перед ним стоял поднос с закусками: икрой, селедкой, дымилась котлетка. Я отговаривался, что завтракал, да и предложение, ка-

залось мне, сделано было таким голосом, чтобы его не принять.

Я стал каждый день являться в канцелярию – и сделался одним из колес губернской административной машины, да еще каким важным! Недели через две мне дома со смехом передали, что наш повар даже стращал моим именем какого-то несговорчивого торговца мясом и дичью.

Но главным, хотя и негласным воротилой в делах остался все-таки Добышев. А я закупил побольше перчаток, белых галстуков и выписал еще пару платья из Москвы. Это оказалось самым важным делом в моей службе.

Мои утренние, надо было бы сказать – деловые часы, если бы было дело, оказались довольно приятными. Летнее сонное безделье кончилось: я тогда не знал, куда оно уходило. Летом, бывало, я стрелял на волжских отмелях скворцов, трясогузок, излазил по всем обрывам крутого нагорного берега, купался, отправлялся со своими целым домом на зеленый остров, пить, между сеном и осокой, чай, иногда обедать, удить рыбу.

И за всем этим времени оставалось про-

пасть Оно уходило больше на чтение. Я пере-знакомился со всеми, у кого были библиотеки, за неимением публичной, читал все, что выписывал Якубов, – и все-таки оставался досуг, тратившийся на затрапезные и чайные беседы со своими, на прогулки «для воздуха» с крестным и на блаженную дремоту, иногда среди белого дня.

Зимой все это безделье кончилось: у меня просто нехватало времени. Утром едешь в канцелярию, прочитаешь присланную сверху, то есть от губернатора, почту, потом «исполняешь» бумаги «к подписанию его превосходительства». С этими последними, часов в двенадцать, являешься к нему наверх, в кабинет.

Как весело бывало там наверху! Идучи по лестнице, уже слышишь какое-нибудь блестящее рондо Герца или сонату Моцарта, разыгрываемые хорошенькой, грациозной Софьей Львовной. Она ласково, немного краснея, ответит на поклон веселой улыбкой, с оттенком легкой иронии, которая, как скрытая булавка, нет-нет, да и кольнет. Дитя и вместе не дитя: прелесть девушка! Она мило краснела. Румя-

нец вспыхнет и в ту ж секунду спрячется, и опять покажется, глазки блеснут и прикроются ресницами.

Я большею частью угадывал, что у нее на уме, и скажу ей, а она мило вспыхнет и кивнет утвердительно, если угадаю. Иногда скажу какое-нибудь свое наблюдение и рассмешу ее. Покажутся два белых чудесных зубка.

На пути к губернаторскому кабинету она была для меня, как сирена для Улисса. Перекинешься с ней сначала двумя-тремя словами и иногда застоишься, заслушаешься сонаты или просто засмотришься, как она застенчиво краснеет и сверкает веселыми агатовыми глазками.

А тут кругом лес тропических растений, попугай – то свистит, то орет, точно его режут, двигаясь по медной перекладине из стороны в сторону. Там трещат канарейки. Не хочется уйти, а надо. Вон губернатор звонит. Ему поспешно пронесли поднос с завтраком. Секретарь, то есть бывший мой предместник, оканчивает свой доклад.

У него какие-то особые бумаги, которые ко мне не поступали. Случалось мне заставить

их на разговоре о постройках, заготовках, подрядах. Но я в это не вникал вовсе, губернатор – очень мало; вникал один Добышев.

– Что это у вас, бумаги? – спросит, поздоровавшись, Углицкий. – Есть что-нибудь важное? – И, не дождавшись ответа, велит обыкновенно положить на бюро. – Мы уже с Егорьевым (домашним чиновником) разберем: я подпишу и пришлю в канцелярию. А теперь давайте завтракать. Не хотите ли? – прибавит равнодушным, ленивым голосом. Это повторялось ежедневно. Он приглашал постоянно и Добышева и меня, а мы постоянно отказывались. Углицкий садился за завтрак и съедал все дочиста. Ему приносили завтрак на одного. С семьей он редко завтракал: дела, вишь, не позволяли. Но однажды он принудил-таки меня попробовать, а Добышева никак не мог склонить. Тот, застегнутый на все пуговицы вицмундира, так и остался на ногах.

– Что это ты мне принес? – спросил он камердинера, когда тот поставил поднос на стол. – Я велел почку, а это ris de veau! Как ris de veau по-русски? – спросил он меня. – Я не знал. – Как ris de veau по-русски? – спросил он

Добышева.

– Не знаю, ваше превосходительство, – я ведь по-французски не говорю, – отвечал тот.

– Поди спроси повара, как это блюдо называется и отчего он мне не приготовил почку, sauce madère[150]? Я с утра заказал. Не угодно ли? – прибавил он, подвигая поднос мне и Добышеву.

Этот отказался из почтения, а я из почтения же попробовал.

– Что, вкусно?

– Очень, – сказал я. – У нас дома часто готовят это блюдо, только я не знаю, как оно называется.

– И я попробую, – сказал Углицкий, а попробовав, с аппетитом доел остальное. – Недурно, только отчего не почка?

Камердинер воротился и сказал, что это называется «сладкое мясо» из груди тельенка.

– Отчего ж почку не приготовил?

– Он думал, что почку приказывали к столу.

– А? как вам это покажется! – обратился он к нам, – почка к обеду! Кто ест почку за обедом? Вы любите почку? – обратился он ко

мне.

– Да-с... ничего...

– Так приезжайте сегодня обедать.

Я поклонился.

– А теперь вы пройдите туда, к жене, или с Сонечкой поговорите. Выберите ей что-нибудь, пожалуйста, по-русски читать: она любит. А я еще два слова скажу Ивану Ивановичу и потом приду.

Они остались вдвоем, как это часто случается, совещались о чем-то друг с другом, но меня в эти совещания не посвящали, а я не напрашивался.

XI

Я шел туда, на женскую половину. Там было весело. В гостиной сидела Марья Андреевна, принимала визиты и важничала среди губернских дам. Она жила сознанием, что она – первая дама в губернии. Только у нее, кажется, и было утешения. Прочее все, с годами, изменяло ей, начиная с мужа. А если не было визитов и она сама не выезжала, около нее сидела Соня, ласкаясь к матери, как кошечка.

Тут же постоянно присутствовали две барышни, сестры неопределенных лет – не ме-

нее двадцати пяти и не более тридцати лет. Наружности у них не было, то есть женской: это были два засохшие цветка. Одна круглолицая, с наивными, цвета болотной воды, немигающими глазами, с широкой улыбкой. Другая, белокурая, с серыми, прятавшимися под низеньким лбом глазами, с хитреньким, высматривающим взглядом. По фамилии их никто никогда не называл. Губернаторша, и дочь ее, и сам Углицкий звали их Лина и Чу-ча, как сами сестры звали друг друга. Они были бедные дворянки-сироты, жили с нуждой, в тесной квартирке, в мезонине маленького деревянного домика, пробавляясь маленькой пенсией за службу отца да некоторыми женскими работами: вышиваньем подушек, вязаньем шарфов, деланием цветов из воску и других ненужных вещей, которые покупались у них знакомыми, ради их положения, для подарков.

Они были старинного дворянского рода: бабка их была из княжеской, впрочем, давно угасшей фамилии. Они любили иногда помянуть об этом, кажется единственном, их преимуществе. Их в некоторых домах принима-

ли, в других смотрели на них небрежно, ради их бедности. Так было до приезда Углицких. Губернаторша приняла их под свое крыло, сначала тоже ради их положения, ради сиротства и памяти о княжеской породе, потом они мало-помалу вошли в штат дома ее превосходительства и умели сделаться необходимыми, собственно Лина, старшая. Они были порядочно воспитаны, то есть умели в дурном переводе с русского говорить французские фразы, прилично сидеть в гостиной и держать себя за столом. Прежде они прихаживали к обеду, а вечером уходили домой. Потом, когда губернаторша сделала им приличный гардероб, они, что называется, живмя жили у нее и постоянно исполняли ее поручения.

Впрочем, последние возлагались собственно на одну старшую, Лину. Лина было сокращение ее имени Капитолина. Имя младшей сестры «Чуча» переделали из их фамилии Чучины, потому что ее настоящее имя, Аполлинария, сокращению не поддавалось.

Чуча оказалась неспособною ни к каким поручениям, кроме одного – сидеть в гостиной, с вечным вышиваньем в руках какой-то

бесконечной тесьмы, не то для звонка, не то для каймы к портьеру, «pour avoir une contenance»[151], – говорили Углицкие. Ее обязанность была принимать и занимать гостя или гостью, пока губернаторша оканчивала свой туалет или губернатор не выходил еще из кабинета. Пробовала было Углицкая поручать ей другие дела, но ничего из этого не выходило.

Чего, кажется, проще – разлить чай? Когда гостей не было и чай не разносился из буфета лакеями, то пили его в маленькой гостиной у камина, на маленьком столе – и поручили разливать ей.

Вот тут точно домовый тешился над ней. У нее чашки скользили из рук, ложечки летели на пол, поднимался звон, гром. То она нальет чаю в сахарницу; кому вовсе не положит, кому переложит сахар. Ее удалили от этой обязанности.

И другое шло не лучше. Сонечка однажды заболела. Ее уложили в постель и посадили около больной Чучу, когда Углицкой или няни не было в комнате, чтобы она в срок подавала то или другое лекарство и вообще смот-

рела бы за больной. Тут она чуть не наделала беды. Накапала в рюмку, вместо миндальных капель, какого-то спирта, которым надо было натирать горло. К ее счастью, больной показался противен запах, и она не приняла. Мать пришла в ужас, и сама Чуча струсила. Она прижала ладони к вискам, как всегда делала в критические минуты, заохала и заохала.

Ее удалили за это из комнаты и из дома на две недели, к себе, на «антониеву пищу», как говорил Углицкий. Потом соскучатся. И гости привыкли видеть ее в уголку гостиной, с вязаньем, тоже спрашивают, почему ее нет? За ней и пошлют. Она явится как ни в чем не бывало, садится на свое место в гостиной и за столом, занимает гостей до прихода губернатора или губернаторши. И как занимает хорошо, прилично, с своей неизменной широкой улыбкой, открытыми настежь глазами, с вечно ласковым взглядом. У нее установилась одна мина навсегда и для всех.

– Здравствуйте! – отчеканит она каждому входящему гостю, всегда с сияющими радостью глазами и с улыбкой. – Прошу садиться, вот здесь, подальше от окна, тут дует. Вчера

Иван Иванович посидел тут, потом целый вечер жаловался, что зуб ноет.

Гость или гостья сядет. Она не смигнет с него: так и смотрит, не нужно ли ему чего, пуще всего, не ушел бы он, не соскучился бы.

– Марья Андреевна принимает? Не помещал ли я? – спросит тот.

– Нет, нет: подождите чуточку – она сейчас, сейчас будет! Она теперь в буфете, по хозяйству, повар пришел. Она заказывает, что обедать сегодня... и бранит его... – добавляет шепотом, все улыбаясь, – сейчас кончит.

– Бранит? За что?

– Вчера столько петрушки в суп навалил, что есть нельзя...

Гость смеется.

– Право. Вы не верите? Вот спросите Сонечку, когда придет: точно мухи в тарелке плавают!

Гость опять смеется. И она тоже. Ей весело, что она умеет занимать.

– Это вы на серой лошади приехали? Какая большая! – продолжает она, глядя в окно. – Ах, кажется, Наталья Николаевна подъехала: вон ее карета, вы видите?

– Да, вижу, – говорит гость.

– Надо встретить ее в зале! – И бежит с сияющим лицом встречать гостью, как родную мать. Та, слегка кивнув ей, заговаривает с гостем, а она удаляется в свой угол и берет вышивание.

– Что Марья Андреевна: занята? – спрашивает гостя.

– С поваром бранится: сейчас придет, – говорит гость.

– Вы почему знаете?

– Да вот кто сказывал! – Он указывает на Чучу. Оба смеются, и Чуча тоже.

Входит Марья Андреевна. «Здравствуйте, здравствуйте!» и т. д.

– Мы мешаем вам: вы по хозяйству... – говорит гостя.

– Кто вам сказывал?

– Чуча говорит, что вы повара бранили...
Ах, эти повара!

Марья Андреевна смотрит на них вопросительно.

– Петрушки много в суп наклал! – шутит гость.

Лицо Углицкой свирепеет.

– Подите к Сонечке в комнату! – резко командует она Чуче.

Та, бросив вышиванье, быстро уходит, приложив дорогой ладони к вискам. «Ах, ах, что это я наделала!» – и рассказывает Сонечке. Та вечером расскажет мне – и мы в уголку весело хихикаем. Бедная Чуча!

Еще ее немного вышколили, стараясь преподать несколько тем для занятия гостей, а то она прежде доходила до геркулесовых столбов в деле нескромности. Однажды какая-то значительная губернская дама застала ее в сильном, непривычном для нее волнении. На вопрос гостьи, дома ли Марья Андреевна, принимает ли, Чуча, после обычной, неизменной широкой улыбки и вопросов о здоровье, о том, прошел ли «родимчик» у маленькой и т. д., на вопрос гостьи, что делают их превосходительства, внезапно приложила ладони к вискам и заахала.

– Ах, ах, не знаю!.. Что у нас делается – ах, что делается...

– Что, что такое? – удерживая дыхание, спрашивала любопытная гостья.

– Ах, ах, не могу... не спрашивайте!

– Да говорите, милая, я никому не скажу, никому... никому...

Чуча, чтоб занять гостью, боясь, что она, пожалуй, рассердится и уедет, начала рассказывать жестокую семейную сцену между Углицким и женой. «Лев Михайлович так рассердились, так кричали... ужас, ужас!.. – шепчет она. – У Марьи Андреевны сделалась истерика... Лев Михайлович кричали, что лучше застрелиться... Сонечка заперлась у себя в комнате, плакала... ах!..»

– Да из-за чего, из-за чего? Говорите скорей! – настаивала гостья.

– Еще вчера... – начала было Чуча и прикусила язык. В дверях явилась сама Марья Андреевна. Она из-за портьеры слышала кое-что из разговора и поспешила помешать продолжению. «Идите домой и глаз больше сюда не показывайте!» – прошипела она змеиным шепотом.

Чуча отчаянно приложила ладони к вискам и стремглав бросилась домой. «Ах, ах, – твердила она дорогой, – что я наделала!»

Ее воротили из ссылки не прежде как через месяц, дав ей нагоняй и подробную ин-

струкцию, как и чем занимать гостей.

Когда никого не было около Углицкой, Чуча должна была сидеть в комнате около нее. Губернаторша зевнет, и она зевнет, подставит скамеечку.

– Почитайте, Чуча, вон из той книги, что в спальне. – Чуча почитает, но и тут перепутает слова, не там делает ударения, где надо. «Однажды (мне рассказывала Софья Львовна) мама попросила ее почитать путешествие какого-то иеромонаха по святым местам. Архиерей прислал. Она и читает в одной главе: „сей ядовитый полдец..“ Я из своей комнаты слышу голос мама: „Ах, какая гадость! Какие выражения! Вы, Чуча, должны были пропустить. Сонечка, послушай, какая гадость!“ Я посмотрела в книгу, а там сказано: „сей ядовитый ползец“: это говорилось про скорпиона».

Чуча исполняла какие-нибудь несложные поручения: сказать что-нибудь горничной, принести из другой комнаты ту или другую вещь, пойти в кабинет к Углицкому, передать что-нибудь или просто посмотреть, кто там у него. Если же пошлют ее, например, в лавку,

да дадут два-три поручения, купить то, отрезать аршин такой-то материи, заехать к портнихе и т. п., она наполовину перепутает, наполовину забудет.

Впрочем, с ней, кроме этих временных ссылок домой «на антониеву пищу», обходились ласково, гуманно и шутили над ней весело, не оскорбляя ее. И прислуга обращалась к ней, правда, без особой услужливости, но учтиво. Углицкий, если не для чего другого, то ради хорошего тона, не допустил бы диких нравов в доме.

Но он подшучивал над ней беспрестанно и смешил на ее счет других, но так безобидно, что та первая отвечала на его шутки своей широкой улыбкой. Только однажды она как будто сконфузилась, когда Углицкий спросил меня при ней: «Вам Чуча ничего не рассказывала о просвирке».

– Нет, о какой просвирке?

– Расскажите ему, Чуча...

– Ах, ах, Лев Михайлович!.. – заахала Чуча, приложив ладони к вискам, и поспешила спрятаться в угол гостиной, к камину, за экран. Марья Андреевна с насмешливой

улыбкой смотрела на нее. Софья Львовна тоже покраснела от удовольствия. В это время Углицкого позвали в кабинет. Приехал гость. Губернаторша ушла одеваться и позвала Чучу с собой. Мы остались с Сонечкой.

– Какая это просвирка? – спросил я, – расскажите, Софья Львовна.

Дело вот в чем. Губернаторше за обедней в соборе подносилась просвира, которую она передавала в руки Лине или Чуче, обычно сопровождавшим ее в церковь. Эти просвирки приносились домой и благоговейно употреблялись на другой день, натоцак. Иногда же отдавались по дороге какой-нибудь бедной женщине или старику, ребенку, на кого укажет губернаторша, кто ей казался жалок, голоден. Однажды в дождливую погоду, садясь на паперти с дочерью в карету, Углицкая передала просвирку, за отсутствием Лины, Чуче, чтобы она, по дороге пешком домой, отдала просвиру какому-нибудь нищему или нищей да спросила бы прежде, не ели ли они что-нибудь утром, так как просвирка освященная.

– Отдала самому бедному! – хвасталась, с

сияющими глазами, Чуча, пришедши домой, за завтраком. «Ничего, говорит, со вчерашнего дня не ел: вот, говорит, только на копейку луку купил, хотел было поесть...» У него из-за пазухи и лук торчит... Я и отдала... «Смотри же, говорю, прежде вот это скушай: это благословенная просвирка!..» Как он благодарил! «Спасибо, говорит, спасибо...», кланяется до земли, даже ермолку снял...

– Какую ермолку?

– Он татарин, – вразумила Чуча.

– Татарину освященную просвирку! – Губернаторша всплеснула руками, губернатор откатился с хохотом от стола; веселее всех было Софье Львовне. И теперь, рассказывая мне, она смеялась до слез.

– Матан зазвонила во все сонетки, позвали людей, разослали искать татарина по окрестным улицам...

– А Чуча что? Вот так – ладони к вискам: ах, ах! – Я представил, как она делает.

Софья Львовна досказала, что татарина нашли и привели. Он успел съесть только верхнюю, то есть освященную, половину и закусывал луком. Набожная губернаторша ужас-

нулась, хотела ехать к архиерею, спросить, что делать: не надо ли окрестить татарина и прочее. Но губернатор отпустил его и целую неделю тешил гостей этим анекдотом. Он стал еще ласковее и шутливее с Чучей. Но Мария Львовна приняла это серьезно и осудила Чучу на трехдневную ссылку домой.

Чуча была со мной любезна, стараясь и меня занимать, когда никого не было в гостиной, нужды нет, что я был уже свой в доме.

– Вы довольны, что здесь остались, а не уехали в Петербург: вам весело? – сладко спрашивала она меня.

– Да, я доволен: мне очень весело.

– Когда же вам бывает весело у нас?

– Да вот теперь, с вами.

У нее засияли глаза.

– В самом деле! Вы это взаправду говорите? Не шутя?

– Нет.

– А отчего ж смеетесь? О, вы насмешник, я знаю.

– Отчего же вы знаете?

– Да уж знаю: кто из столицы заедет сюда – все такие насмешники! Вот и новый проку-

рор – тоже такой насмешник: все смеется! Вы и с Сонечкой все смеетесь, шутите надо мной: я уж знаю, знаю... А мы вот так вас очень любим! – прибавила, помолчав.

– Кто это «мы»?

– Да все: Марья Андреевна, Лев Михайлович – и Сонечка тоже... все рады, когда вы придете... Всегда об вас говорят...

– Что же говорят?

– Лев Михайлович вчера еще рассказывал Владимиру Петровичу... он недавно из деревни... вы знаете?..

– Нет, не знаю... Какой это Владимир Петрович?

– Он дороги да мосты строит, инженерный полковник. Его фамилия Алтаев... Вы видели его... Пузан такой...

Я засмеялся. «Как?»

Она сконфузилась. «Толстый такой!» – поправила она.

– Так что же Лев Михайлович говорил про меня?

– Он сказал про вас: «Il est présentable, très présentable»[152], три раза сказал. А Марья Андреевна говорит: «Только дикарь, говорит, ко-

гда есть гости, тихонько уйдет. Надо, говорит, его вышколить: вот начнутся собрания – Со- нечке выезжать еще нельзя, так он будет мо- им кавалером, в собрании... когда не будет другого...»

Я засмеялся.

– Право! Вы не верите?

– Я спрошу у Марьи Андреевны, правда ли, что она мне назначает роль подставного ка- валера? – шутил я.

– Что вы, что вы: я не сказала «подставно- го»! Ах, как это можно!

– Выходит так: если не достанет кавалера, так меня! Марья Андреевна разъяснит, как она сказала...

Она прижала ладони к вискам: «Ах, ах, что это я наделала, зачем сказала вам? Ах, голуб- чик, не говорите Марье Андреевне... ради бо- га! меня отошлют домой...»

Я успокоил ее, но пересказал Софье Львовне, и мы посмеялись.

ХII

Другая сестра, Лина, была совсем противо- положного характера. Она была подвижная, живая, как ртуть, в постоянных разъездах по

городу, в суете, в хлопотах. В гостиной у Углицких она появлялась редко, обедала у них, когда не было гостей. Зато с раннего утра она присутствовала в спальне и будуаре Марьи Андреевны. Когда они были вдвоем, к ним не допускалась ни Чуча, ни горничная. Даже Соня входила только поздороваться и уходила. Без нее губернаторша так же не могла обойтись, как муж ее без Добышева.

Уклончивая, ласковая до льстивости, всюду втиравшаяся, у всех что-нибудь выпрашивавшая, она знала все, что делается в каждом доме, начиная от крупных помещиков, председателей до купцов и мещан. Сведения ее были до крайности разнообразны. Она знала, например, кто какой куш получил и за какое дело и куда этот куш был истрачен. Знала, за что произошла размолвка между мужем и женой и почему гувернантка перешла на другое место. Первая узнавала о затеваемом сватовстве. Прежде полиции узнает о какой-нибудь покраже, о том, кто собирается у такого-то или такой-то в гостях, что говорят, у кого что подают за столом – словом, газета.

Все это с живыми подробностями переда-

валось Марье Андреевне по секрету. У губернаторши в руках таким образом были нити всей губернской политики, и она иногда сама пользовалась этими сведениями, даже передавала кое-что мужу для его служебных соображений и иногда озадачивала кого-нибудь бесцеремонным намеком на секретное семейное событие, никогда не обнаруживая источника.

Лина была в обхождении покорная, умевшая принимать какой-то фальшиво-застенчивый, даже робкий вид. А услужлива как: до приторности. Марья Андреевна не успеет пожелать, она уже угадает и бежит исполнить ее желание, прежде нежели слуга или горничная пошевелятся. «Позвольте мне, я сейчас... Дайте я сделаю, принесу, достану...» – беспрестанно слышится ее пискливый голос. Губернатор ищет чего-то около себя глазами – а она уже несет забытый им в кабинете платок. Губернаторша намекает, что она видела в окне какого-то магазина вещь, да забыла где: через полчаса Лина уже говорит ей, где.

Она отлично, до тонкости, исполняла поручения Углицкой, как бы они сложны ни бы-

ли, по части женского туалета. Марья Андреевна пошлет ее по магазинам, и та, зная ее вкус, прихоти, капризы, превзойдет все ее ожидания. Благодаря ей никогда ни одной самой богатой губернской львице, не удавалось прежде губернаторши выписать из Москвы что-нибудь новое. Она под рукой умела сбывать выгодно надеванные губернаторшины, но еще свежие и нарядные для губернских и уездных барынь платья. Она знала, в каких домах водились старинные кружева, до которых охотница была Марья Андреевна, и умела сходно выторговать их. Без нее Углицкая не примерит не только платья, шляпки, даже ботинок. Она решала, какой цвет идет или не идет, что лучше к лицу ей или Сонечке.

И все это делала с наслаждением, проворно, как будто все ее счастье заключалось в том, чтобы угодить. А ее счастье, между прочим, заключалось и в том, что когда заметили в городе, каким фавором она пользовалась у губернаторши, с ней перестали обращаться небрежно. Кроме того, она пополнила свой гардероб, запаслась на многие годы, чуть не до старости, бельем, даже двумя лисьими ме-

хами. На те платья губернаторши, которые ей нравились, она не находила покупательниц, и платья дарились ей.

Сестру свою она втайне презирала, но скрывала это, чтобы и другие в губернаторском доме не заразились тем же, не охладели к ней и не свалили ее на ее плечи. Презирала она сестру за ее абсолютную ненужность: за то, что из нее никакой пользы нельзя извлечь, что она висит у нее камнем на шее. Она, в припадках желчи, обзывала ее «немогучкой». «Без нее, без этой „немогучки“, – проговаривалась она по секрету, – она, Лина, давно была бы замужем. А как посмотрят нас вместе, послушают ее, эту Чучу, – все прочь идут: думают, что и я такая же беспомощная и неумелая и буду в тягость семье. А у меня золотые руки!»

Она еще и теперь, когда я видел ее, сказывали мне, не потеряла надежды на замужество, хотя все другие давно потеряли ее. Она сама никого не любила: ни губернаторши, ни ее дочери, никого в городе; не было у нее ни птички, ни собачки, ни цветка на окне – никого и ничего. Углицкого она немного боя-

лась: она все подозревала, что, заговаривая с ней и глядя ей зорко в глаза, он будто искал в ней чего-то, к чему прицепиться, что-нибудь заметить в ней, обнаружить, поднять на смех, – и уклонялась от разговора с ним, отделиваясь от его шуток визгливым смехом.

Она была некрасива: глаза, смотрящие исподлобья, нависший над ними лоб и немного выдавшийся подбородок сообщали ей вид молодой старушонки. Увертливая, скользкая, как ящерица, она все торопилась, бежала, в руках у нее всегда было какое-нибудь дело, ей все было некогда. Когда ее остановят на дороге, она торопливо отвечает, не глядя никому прямо в глаза, в противоположность сестре, глядевшей на всех немигающими глазами. Нельзя понять, на чем основывались ее надежды найти мужа. Разве на том, что у нее были «золотые руки».

XIII

Зимний сезон был в полном разгаре. Город наполнился приезжими из уездов. Начались балы в собрании, у губернатора, у дворян, вечеринки почти во всех семейных домах. Я, как и все тогдашние молодые люди, катался

как сыр в масле – с бала на бал, с вечера на вечер. Как я ни увертывался, но мне не раз приходилось играть роль, в которую прочила меня губернаторша. Как я был подставной секретарь у ее мужа, так если не был, то числился подставным ее кавалером. Танцевать с ней мне случалось очень редко: все наперерыв старались ангажировать ее до бала. Мне доставалась эта честь иногда на вечерах у нее самой, когда, уступая арену гостям, она сама оставалась без кавалера.

Я чувствовал, что стал вращаться в губернскую почву. Меня тянуло самого то в тот, то в другой дом, где было поживее, повеселее, где меня больше ласкали. Но над всем этим губернским людом царила пустота и праздность. Искры интеллектуальной жизни нигде не горело, не было ни одного кружка, который бы интересовался каким-нибудь общественным, ученым, эстетическим вопросом.

Местные интересы сосредоточивались на выборах, этих потешных карикатурах на выборное начало. Дело было вовсе не в выборах, а в обедах, в танцах, в картах.

Оторванный от занятий университетской

жизни – я читал в одиночку, сплошь, что попадалось под руку, и не с кем было даже делиться впечатлениями и мнениями о прочитанном. В городе ни библиотеки, ни театра. Приходилось плыть по течению местной жизни. В карты я не играл и не обнаруживал склонности к ним: за это многие «солидные» люди почти презирали меня. Но зато я, как все молодые, развлекался на балах кадрилильным ухаживаньем, с робкими комплиментами, за губернскими девицами или «барышнями», как их тогда называли. И все это под строгим контролем маменек или тетусек, которые, пуще всякой полиции, с материнским расчетом, следили за каждым взглядом и движением танцующих пар. Протанцуеть, бывало, с какой-нибудь «барышней», которая приглянется, мазурку на двух вечерах сряду, начнешь заезжать в дом – губернаторша уже посматривает насмешливо.

– Вам нравится Лиза Р-вая? – бесцеремонно, по-начальнически спросит.

– Да, она хорошенькая.

– А еще что?

– Еще?.. умна, любезна, держит себя про-

сто...

– Прибавьте еще, не скупитесь... – И смеется. Чуча смеется во всю ширину своих больших щек. Лина всегда уползет из комнаты, если разговор коснется при ней. Вести шли через нее. И Софья Львовна лукаво посматривает на меня мельком, с затаенной булавкой иронии в улыбке, и очень мило краснеет. Я оглядываюсь во все стороны. Войдет губернатор.

– Правда ли, что вы влюблены в Р-ую? – хватит вдруг при всех.

– Я! помилуйте!

– Уж признайтесь лучше! – шутит губернаторша.

И три дня город говорит, что я влюблен в Р-ую. И дома пытаются меня, шутят надо мной. Мать моя принимает это серьезно, шопотом предупреждает, чтобы я остерегался ухаживать за красавицей, что мать у нее – ехидная, «и притом гордая, прочит дочь за какого-нибудь графа или князя, за богача и за тебя не отдаст».

– Вон куда пошло! Да разве я жених кому бы ни было! – Я готов был, как Чуча, прило-

жить ладони к вискам и бежать к себе вверх, на «вышку», прятаться за книгу.

Это повторялось раза три в зиму, и я не знал, как бы мне выбраться на свободу. Но вот зимний сезон кончился, прошел и великий пост. Из города стали разъезжаться, и к празднику оставались почти одни только служащие, купцы и другие постоянные городские жители. Я с тоской, чуть не с ужасом, ждал наступления лета и, наконец, стал намекать губернатору, что мне нужно бы съездить в Москву, за аттестатом, и кстати повидаться с братом и воротиться вместе с ним. Губернатор удерживал, говорил, что хотел сам проситься в отпуск, обещал взять меня с собой. Добышев настаивал, чтобы я поскорее подал прошение и выписал из университета аттестат. Я медлил, и слава богу. Ни прошения, ни аттестата не понадобилось.

Я продолжал свою службу, ездил в канцелярию, «исполнял», уже без руководства Добышева, текущие бумаги, носил их к подписанию его превосходительству, а часа в три возвращался домой, к обеду.

Однажды, поднимаясь по обыкновению

около двенадцати часов с заготовленными бумагами на лестницу, я узнал, что у губернатора уже с одиннадцати часов сидит гость, помещик Ростин, тот самый друг Якубова, о котором я говорил выше. Он мне коротко знаком: еще недавно у него, в близкой к городу деревне, на масленице, был трехдневный праздник, на котором я отплясал себе ноги. Я без церемоний вошел с бумагами прямо в кабинет.

Губернатор и помещик сидели в отдаленном углу и о чем-то с жаром говорили. Увидя меня, Углицкий быстро, скороговоркой сказал:

– После, после! Положите бумаги и пройдите к Марье Андреевне или в канцелярию.

Я успел заметить, что он был сильно встревожен, на нем лица не было. Ростин тоже был очень серьезен и, повидимому, что-то сообщал по секрету. Ростин наскоро поздоровался со мной. Углицкий с нетерпением ждал, чтобы я ушел. «Притворите, пожалуйста, за собой дверь и скажите, чтобы никого не принимали!» – попросил он меня. Я передал человеку его приказание и пошел в гостиную.

В зале никого не было. В гостиной сидела Чуча.

– Здравствуйте! – сказала она, улыбнулась на минуту и, обдернув сзади юбку, вильнула талией и турнюркой, как она иногда делала для грации.

– Вы от Льва Михайловича теперь? – вдруг серьезно, даже с беспокойством спросила она.

– Да, от него: а что?

– Что там делается?

– Там сидит Егор Степанович.

– Да, я знаю: я его видела. А еще?

– Еще – никого нет: а вам нужно кого-нибудь?

– Нет, нет (она замотала головой), мне не нужно! Марья Андреевна посылала меня к нему: я отворила дверь, а Лев Михайлович так взглянули на меня, так взглянули... ах! – Она приложила ладони к вискам. – И махнули рукой – вот так (она махнула), чтобы я ушла.

– Потом что?

– Ничего. Марья Андреевна думала, что я перепутала что-нибудь, и послала Сонечку посмотреть: он и ей махнул рукой. «Пооди, го-

ворит, к себе и скажи, чтобы нам не мешали».

Услышав мой голос, вошла Софья Львовна, задумчивая, почти печальная.

– Вы были у папá? – спросила она меня.

– Да. Там Ростин сидит: они о чем-то по секрету разговаривают.

– Матан очень беспокоится.

– А где Марья Андреевна? – спросил я.

– Она послала за Линой и теперь заперлась с ней и что-то шепчут... Я боюсь! – печально прибавила она.

– Ах, и я боюсь! – повторила Чуча.

– Да чего: что такое? – приставал я.

Ответа не было. Мы трое стояли и вопросительно глядели друг на друга.

Скоро мы слышали, что гость уходит из кабинета; губернатор проводил его до приемной и вошел к нам.

– Где Марья Андреевна? – спросил он то ропливо и, не дождавсь ответа, пошел к ней, а меня попросил итти в канцелярию и позвать к нему Добышева.

Я передал Добышеву приглашение и ожидал в канцелярии его возвращения. Но в три часа он не сходил, и я уехал домой.

– Ну, что? – с тревогой спросил меня крестный. – Правда это?

– Что правда?

– Губернатор уволен?

Я остолбенел. «Я ничего не знаю, не слышал, но похоже на правду...» Я рассказал ему о посещении Ростина, о смущении Углицкого и всех в доме.

Якубов рассказал мне, что Ростин заезжал к нему и показывал письмо из Петербурга, с известием, что губернатор причисляется к министерству, и прибавил, что теперь, вероятно, весь город знает о том.

XIV

Известие подтвердилось. На другой день я застал живые толки в канцелярии. Чиновники не сидели на своих местах, а собирались кучками и шептались. Добышев хмуро встретил меня, подтвердив, что действительно известие об увольнении губернатора получено, но указа еще нет.

– Подите вверх, – сказал он, – его превосходительство ждет вас.

Я не знал, как показаться, и зашел прежде на женскую половину. Чуча, завидя меня, хо-

тела улыбнуться, но вместо этого ахнула и приложила ладони сначала к вискам, потом закрыла ими лицо и залилась слезами.

– Что вы? – спросил я с участием, – о чем вы плачете?

– Ах, какое горе! Разве вы не знаете?.. Лев Михайлович... уво... уволен... уезжает... и Со-
нечка тоже... – Слезы не дали ей договорить.

Вышла Софья Львовна, тоже со следами слез. На мой вопрос, правда ли это, она грустно шепнула: «Да... кажется... Мы... мы... уедем... Прощайте!..» И отвернулась.

– Как «прощайте»! Я не останусь здесь, я поеду вслед за вами! – живо перебил я. – Я давно рвусь отсюда.

– Да? Мерсі... Я рада, – тихо сказала она. – Подите теперь к папá, поговорите с ним, успокойте его как-нибудь. Он ходит в кабинете один, никого не принимает...

Я вошел в кабинет. Лев Михайлыч ходил большими шагами по кабинету. Он обрадовался мне, точно другу.

– Слышали? – почти закричал он, – каковы молодцы! Добились-таки, чего хотели!

– Кто? – тихо спросил я.

– Кому же, как не жандарму! Подслужился! В генералы хочется да в столицу. Нет, этому не бывать, как бог свят, не бывать! – Он даже перекрестился. – Я еще не выжил из ума, язык у меня есть, за словом в карман не полеку. Я там открою глаза на его «ревностную и неусыпную службу»!

– Что за причина? За что? – рискнул я спросить и раскаялся.

Он пролил целое море желчи на жандармов и на всех, кого он подозревал из губернских властей в интриге против него. И надо отдать ему справедливость, мастерски осветил фигуры своих «врагов».

– Вот вы тянулись все в Петербург, – заключил он, – я не только не удерживаю вас, но настоятельно прошу уехать из этого болота! И чем скорее, тем лучше! Вы здесь даром истратите свежие, молодые силы и ничего не приобретете, никакого опыта – ни в службе, ни в жизни. Вас подведут, насплетничают, очернят, испортят вам репутацию, и карьера ваша пропадет! Женят вас на какой-нибудь Голендухе Поликакиевне, и вы загубите век свой в глуши, среди чиновной челяди, взяточников,

тупоумных помещиков...

И пошел и пошел рисовать мне картину, совсем противоположную той, какую рисовал, когда приглашал меня остаться.

– Я знал все это, – сказал я ему, – и не остался бы долго ни в каком случае, тем более теперь, когда вы уезжаете...

Тут он наконец подал мне руку и горячо пожал мою.

– Что же вы намерены делать? – спросил он.

– Ехать вслед за вами...

– А отчего не с нами? – почти нежно спросил он.

– Если это не стеснит вас – и если я вам могу быть чем-нибудь полезен...

Он не дал мне договорить и стремительно обнял меня.

– Благодарю. Не только полезны, вы мне будете необходимы: я многого жду от вашей... дружбы, – нерешительно прибавил он. – Но об этом после. Теперь главное – выбраться из этой лужи! Поедемте. Я вам найду место в любом министерстве. Сдайте дела Добышеву: пусть он управляет... губернией!

Он едко засмеялся и тяжело вздохнул.

– Я подозреваю, – прибавил он, – между нами сказать, и самого Добышева в этой интриге... да! И председателя тоже... Яркина... Архирей тоже последнее время что-то косился на меня... Вы не заметили, как он бывал сух?..

Я чуть не засмеялся. Еще немного – и он, в числе врагов, назвал бы, пожалуй, Чучу. Перебирая своих врагов, он забыл упомянуть главного: самого себя.

– Приезжайте ко мне уже вечером: мы потолкуем. А теперь я еще в ажитации... – И он опять зашагал по кабинету.

Я стал раскланиваться. В это время распахнулась дверь, и в кабинет стремительно вошел Андрей Петрович Прохин, чиновник особых поручений при губернаторе. Он был навеселе, в возбужденном состоянии.

– Что я слышал, ваше превосходительство! Ужели это правда? – начал он, подбегая к губернатору и с пафосом складывая руки на груди. – Ужели это правда? – обратился он и ко мне. – Как: наш добрый, благородный начальник покидает нас! Нет, это невозможно! скажите, что это неправда!

– Вы выздоровели? – вдруг спросил его Углицкий вместо ответа.

– Да-с: проходит, прошло... Как только я услышал убийственную весть, у меня все как рукой сняло... Извольте видеть.

Он вытягивался перед Углицким.

– Да, вижу... – сказал губернатор, глядя на него с некоторым сомнением.

– Побегу, – думал я, – узнаю: может быть, неправда! – твердил Прохин.

– Правда! – заговорил губернатор. – Вы не ожидали этого? И никто не ожидал, и, надеюсь, никто не желал...

– Никто, клянусь честью, никто! – патетически повторил Прохин. – Вы так много сделали для губернии, для всех нас, для купечества, для мещанства... для народа!.. И не признать, не оценить этого! Позвольте, ваше превосходительство, написать объяснительную подробную записку... У меня уже план в голове готов...

– Да, да, пожалуйста, – уцепился за предложение Углицкий, – я хотел об этом просить, но вы были... нездоровы. Никто, кроме вас, не напишет...

– Правда, ваше превосходительство, правда: никто, никто! И он (указывая на меня) ни за что не напишет. Он пишет чувствительно, но не деловито. Я сегодня же засяду...

– Мы возьмем записку с собой в Петербург, – перебил губернатор. – Ведь вы поедете со мной, не откажетесь?..

– Нет, ваше превосходительство! Отказаться! На край света за вами...

Он поцеловал его в плечо.

– Вот и он едет! – указал губернатор на меня.

– Вы благородный, благородный человек, человек с сердцем! – с жаром отозвался Прохин и бросился целовать меня.

Уф! меня точно в винную бочку посадили!

Прохин стал изливаться перед губернатором в чувствах или «чувствованиях» преданности, как он выражался, а губернатор живо ухватился за предложение писать записку в Петербург и быстро уверовал в ее неотразимость и силу. Они горячо заговорили. Углицкий кидал мысль за мыслью, оттенял их живыми деталями.

– Слушаю, слушаю! Вот еще надо то вклю-

чить, другое... – поддакивал Прохин. Оба они говорили в одно время, перебивая друг друга.

Я ушел. «До вечера!» – сказал мне вслед губернатор.

Я ничего не говорил об этом Прохине. Он был полненький, кругленький сорокалетний человек среднего роста, с серо-голубыми навывкате глазами, с одутловатыми от вина щеками, вечно с влажным подбородком и руками, так что после его рукожатия надо было обтирать руку. Впрочем, он был не неприятной наружности и приятный в обращении.

Он служил по особым поручениям, собственно по письменной части. А писать он был великий мастер. Его докладные объяснительные и оправдательные записки были шедеврами. Он был известное перо в губернии. Он воспитал свой стиль сначала в семинарии, потом в Казанском университете, на хриях, периодах, тропах, фигурах, метафорах, свидетельствах от противного, подобиах и прочих тонкостях риторики. Никогда от них не отступал и признавался мне, что если б и захотел, то не мог бы отступить. «Уж очень втянулся, – говорил он. – Когда возьму перо в

руку, так первое является у меня – не что писать, а как писать? Ядро мысли вылупляется на другой странице листа, а на первую просится вступление, потом занимает меня сообщение о числе посылок» и т. д.

Слог у него был плавный, текучий, приятный. Бывало, вникая в дела, читаешь и зачитываешься этой его деловой литературой. Нигде, что называется, ни сучка, ни задоринки. Так и льется речь, как тихая река. Ни нечаянных оборотов, ни сильных взмахов и ударов пера, ни поразительных неожиданностей. И какой тонкий, искусный казуист он был! Как он умел подсказанный ему Углицким софизм развести в сладкой воде фигур и тропов.

К сожалению, всеми качествами его пера и приятного характера не часто приходилось пользоваться. Он являлся у губернатора месяца два-три сряду, потом месяца на три пропадал, запирался дома и... пил запоем. Когда спросят, что его не видать, губернатор, пожав плечами, скажет, что он «dans les vignes du Seigneur»[153], а другие просто выразались: «запил». Потом отрезвляется и как ни в чем не бывало является, пишет деловые записки,

со всеми любезен, ласков, приятен.

Но в пьяном образе бывал свиреп. Из окон своего невысокого деревянного домика, где он жил с своим отцом, престарелым, заштатным священником, показывал прохожим язык, грозил кулаком или плевался. Иногда выходил в сером халате на улицу, в галошах на босу ногу и шел в кабак, если дома не давали пить.

Вот и весь Прохин, бывший мой сослуживец и будущий спутник до Петербурга.

Ко мне он очень благоволил, но слога в моих бумагах не признавал, и весьма основательно, потому что его не было. Не любил он еще одного – зачем я знал иностранные языки, а он нет. Когда мне случилось при нем отвечать губернатору или губернаторше по-французски на их вопросы на этом языке, он на меня дулся. Вообще в нем таилась заноза против всех знавших языки. «Знай я их, эти распрепроклятые языки, – проговаривался он за пуншем, среди своих, – из меня бы вышла не та фигура!»

Оставив его с губернатором и сойдя вниз, я сдал все бумаги опять Добышеву и передал

ему ключ от шкафа с делами.

– Что так торопитесь: успели бы! – сухо заметил он.

С чиновниками канцелярии я простился дружелюбно, пожав им всем руки в первый и последний раз: они были уже не подчиненные мне. Сторожу Чубуку на его «прощенья просим» – я дал рубль и приехал домой отставным неслужившим чиновником и стал готовиться к скорому отъезду в Петербург.

Я не касаюсь здесь причины увольнения Углицкого. В губернии его жаловали мужчины, особенно бессемейные, любившие весело пожить, да и все охотно ездили к нему, принимали у себя благодаря его живому, веселому, любезному характеру, его светскости, тону, обходительности. Дамы были от него без ума.

Для дел он не сделал ничего, ни дурного, ни хорошего, как и его предместники. Были, правда, у него порывы, вроде вышеописанного: разогнать немного тьму, прижать взяточничество, заменить казнокрадов порядочными людьми, но он был не Геркулес, чтобы очистить эти авгиевы конюшни. Где ему? У

него вдруг загорится порыв, вспыхнет и скоро остынет.

Поводов к его удалению было, вероятно, найдено немало: каких-нибудь мелких чиновничьих придилок по делам. Но была и одна крупная причина, которая восходила до начальства действительно, как я слышал стороной, через жандармов.

Причина эта была посторонняя службе: она не подводила губернатора ни под какой формальный суд и в обществе вызывала только снисходительную улыбку и насмешливые толки. Она касалась не дел, а самой личности его, не шла к его сану и положению.

Он был... женолюбив. В «науке страсти нежной» он, как Онегин, должно быть, находил «и муку и отраду»¹³. Я еще там, на месте, слышал кое-какие истории о его «любвях», но не придавал слухам тогда значения. В Петербурге уже я частью был сам свидетель, частью по его собственным рассказам мог убедиться, что не только все слышанное о нем на Волге было справедливо, но и в том, как безвозвратно и неисцелимо он был предан этой «науке», то есть страсти нежной, и какой был

великий стратег и тактик в ней.

Можно было бы написать несколько томов его любовных историй, вроде мемуаров Казановы¹⁴, если б все такие истории не были однообразны, до крайности пошлы и не приелись всем до тошноты. Они могут быть занимательны только для самих действующих в них лиц и больше ни для кого.

Если б Углицкий умел писать, он непременно изобразил бы себя с своим обширным гаремом и обогатил бы всеобщую эротическую историю еще одним многотомным увражем, вроде сочинений маркиза де Сада, Брантома и вышеупомянутого Казановы.

К счастью для него и для читателей, он был слаб в грамоте. Он явился бы в блеске своего фатовства и того «хладнокровного разврата», которым, по свидетельству поэта, «славился» старый век¹⁵. Углицкий, как и Казанова, его прототип, не годился в Отелло, Ромео, даже в Дон-Жуаны, а прямо в Фобласы¹⁶. Он не знал никаких нежных чувств, страстных излияний, слез и мук разлуки, ревности – всего, чем красна человеческая любовь. И если иногда прибегал к этому, то единственно

как к средству для достижения желаемой, известной и скорой развязки.

А достигнув ее, – искал нового – и так без конца.

Все это стало в провинции выходить наружу. Мужья загораживали от него жен, но он, своею вкрадчивостью, тонкой лестью, потом наружностью и манерами, успевал ловко вести и маскировать свою ловеласовскую политику, проникал в замкнутые круги и имел успех, которым сам же под рукой хвастался. Однако шило стало прокалывать мешок. Рассказывали, что его домашний чиновник тайком провожал к нему по вечерам одну «барыню, будто бы из порядочного семейства». Потом говорили, что жена одного из его чиновников пользовалась его благосклонностью и что от этого и ей и мужу было хорошо. Наконец говорили (это уже сплетня, должно быть), что жених одной красивой девицы... побил его по секрету, за... чересчур явное и усердное поклонение своей невесте.

Вот это последнее обстоятельство – секретные побои – и послужило будто бы главным мотивом доноса на губернатора и его отозва-

ния. «Скандал, дескать: дурной пример пода-ет!»

Я этому не верил и до сих пор не верю, то есть в причину отозвания. Но вообще в романах Углицкого теперь уже сомневаться не могу: сам видел их потом в Петербурге и за границую. Пером не коснусь ни одного из них по вышесказанной причине. Все они одинаково пошлы, и только в живых рассказах этого Фобласа казались остроумны и веселы. Он прикрывал свои романы лоском хорошего тона, наружного приличия, даже галантного рыцарства.

Тот ли, или другой мотив повел к удалению Углицкого, но он вскоре, в мае месяце, оставил губернию, с семейством, еще с Прохиным, и убедительно пригласил ехать вместе и меня. «Веселее ехать вместе!» – прибавил он. Я охотно согласился.

Я простился с родными надолго, а с Якубовым навсегда. Мы крепко обнялись с ним, не предчувствуя оба, что более не увидимся. Я посетил родину ровно через четырнадцать лет, но его уже не застал в живых.

Если б в начале тридцатых годов от С. до Москвы существовала железная дорога, нам понадобился бы целый отдельный поезд: так много нас выехало из города.

Впереди ехал дормёз с губернатором и его семейством, то есть их собственно было трое: муж с женой и дочь. А затем на полверсты растянулась вереница экипажей с провожатыми обоего пола. Поезд замыкался коляской-тарантасом, где помещались я и Прохин, с лакеем на козлах. А сзади нас – бричка с прислугой: горничной, камердинером, еще лакеем и мальчиком.

Углицкий пересаживался из экипажа в экипаж, оплачивая любезностями за проводы. К Марье Андреевне по очереди садились почетные губернские дамы. В бывшем губернаторском городском экипаже ехала, шептали тогда злые языки, *la favorite en titre*[154] Углицкого, жена его чиновника, да Чуча с Линой.

Чуча была вся распухшая от слез, а Линая, сжав губы, смотрела на все злыми глазами, особенно на Чучу, и ехидно молчала. Горничная Марья Андреевна рассказывала уже в

Москве, что губернаторша не хотела расставаться с Линой, звала ее с собой, но некуда было деть Чучу. Лина злобно жаловалась горничной, что сестра ее заедает ей век, что не будь этой «немогучки», она, Лина, была бы в Петербурге, где, разумеется, оценили бы ее «золотые руки» и она вышла бы замуж.

Кроме Лины и Чучи, все в поезде были крайне веселы, особенно сам Углицкий, нужды нет, что он уезжал в качестве опального. Напротив, он веселился мыслью, что у него в хвосте поезда ехал Прохин, уже с готовой красноречивой, неотразимой оправдательной запиской, прочтя которую, все начальства примут его с распростертыми объятиями, будут гладить по голове, жандарма из провинции прогонят и прочих «врагов» прихлопнут, а ему дадут лучшую губернию на выбор или сделают его сенатором.

Одетый щегольски, в форменном сюртуке, со звездой, он, с такими мечтами, весело оглядывал длинный поезд провожатых, садился то к тем, то к другим дамам, и даже нашел четверть часа посидеть в карете наедине с favorite en titre и... нежно à la Казанова, с нею

проститься.

Это была какая-то увеселительная поездка, вроде тех, судя по описаниям, какие совершались богатыми вельможами екатерининских времен, ездившими из своих имений в столицу. А тут ехал экс-губернатор, с единственными шестью или семью тысячами рублей (ассигнациями), вырученными от продажи мебели, экипажей, лошадей и всего движимого имущества, но с радужными надеждами на будущее. Он шутил, острил, смешил дам и сам смеялся.

Добышева в числе провожатых не было. Он терся уже около нового губернатора. Я забыл сказать, что последний приехал за несколько дней до нашего выезда и вступил в управление губернией. Все подчиненные оставались при нем, и только на данном отъезжающему дворянством завтраке выпили за его здоровье и разошлись.

На одной из станций был заготовлен обед, после которого большая часть провожатых воротилась. Чуча разревелась на прощание так, что тронула всех. Она положила голову на плечо Софьи Львовны и плакала навзрыд.

Лина сердито оторвала ее, толкнула в карету и, пошептав что-то на прощанье губернаторше, сама юркнула в экипаж и сильно захлопнула дверцы.

Еще несколько самых веселых из наших провожатых, близких бессемейных приятелей Углицкого, поехали дальше вперед и в богатом барском селе приготовили, в доме управляющего имением, обильный ужин и ночлег. Углицкому с семейством отведены были лучшие комнаты, а нам, помнится, четверым, постлали постели на полу большой залы. Но Углицкий лег с нами. Прохина, за недостатком места, поместили на ночь в крестьянской избе, до того обильной клопами, что он всю ночь, как рассказывал, только и делал, что высовывался до пояса из окон от боли и бранился на все село. Спать было немислимо. «А мужики, бестии, говорит, знай храпят себе около меня».

Мы же все, то есть Углицкий, гости и я, спали вповалку. Наслушались же мои молодые уши в эту ночь рассказов и анекдотов полупьяной компании! Особенно отличались сам Углицкий и его близкий приятель, Бра-

шин. Один анекдот скабрее и смешнее другого, и один особенно был так нечист и вместе с тем смешон, что с нашим хохотом вдруг раздался хохот камердинера, которому все было слышно в передней. Рассказчики не стеснялись. Анекдоты Углицкого изобиловали и кощунством. Между тем, ложась спать, он снял с груди тонкую металлическую, вершка в два величины, икону и просил меня положить на столе, рядом со мной, предварительно приложившись к ней.

На другое утро, наконец, мы поехали уже одни, в трех экипажах. Впереди дормёз с Углицким, его женой и дочерью, потом мы с Прохиным в коляске, а сзади бричка с прислугой. Погода была прекрасная, наше расположение духа тоже. Мой спутник, Прохин, совсем оправившийся от своего периодического «недуга», был шутлив, весел, приятен. Он острил над вчерашними проводами, и сам Углицкий тоже. Последний пересаживался из дормёза к нам в коляску и почти все время ехал с нами. Он мастерски изобразил в карикатуре прощание и речи, и между прочим, чего я никак не ожидал, сам разболтался о неж-

ном прощанье в карете с «дамой сердца».

– Вам жаль ее? – спросил я с участием.

– Мне! – он засмеялся. – Я смотрю теперь на нее – вот, как на этого барана! – сказал седой фат, указывая на кучку лежавших в тени около дороги баранов.

Прохин зло и остроумно подшучивал, когда, при переезде вброд через речку или через ветхий, сомнительной прочности мост, Углицкий пропускал вперед нас, на случай опасности. Марья Андреевна ехала хмурая и кислая, вздыхая по роли первой дамы в губернии. Софья Львовна успела загореть и очень весело улыбалась мне из окна, когда карета на поворотах оборачивалась к нам боком. На станциях мы урывками менялись с нею несколькими словами, смеялись, если попадалось что смешное. Углицкие просили меня взять на себя роль казначея, платить прогоны, на водку ямщикам и за то, что забирали на станциях, так что мне немного выпадало на долю поболтать с этой милой, острой и веселой девушкой.

Весело, покойно, в трое суток, докатились мы до Москвы. Углицкие остановились у сво-

ей старой тетки, на Арбате, а я отправился к товарищу, с которым жил и мой брат. Углицкий предупредил меня, чтобы я дней через пять-шесть наведалься о дне отъезда и был готов. Долее недели он в Москве оставаться не хотел.

Проведя весело, с друзьями и товарищами, несколько дней, я в назначенное утро поехал к Углицкому навеститься, когда мы выезжаем.

– Мы все готовы, – сказал он, – все уложено, завтра хотели выехать, да Андрей Петрович...

– А что с ним? – спросил я.

– Разве вы не знаете? Вот пойдете.

Он повел меня в маленький деревянный флигель с большим окном, выходящим на улицу. В нем была одна комната, без передней, с печкой, кроватью и тремя соломенными стульями. Мы из переулка шагнули прямо в комнату.

За маленьким столом в сером халате сидел Прохин, с повязанной около шеи салфеткой, и обедал, то есть старался обедать, но это ему не удавалось. Мальчик-лакей держал перед ним тарелку с супом. Прохин черпал ложкой из тарелки, подносил ко рту, но руки дрожали, и

суп проливался на салфетку и халат.

– Здравствуйте, Андрей Петрович! – сказали мы оба.

Он не обернулся, не посмотрел на нас, продолжая неудачные попытки попасть ложкой в рот.

– Каков? – отчаянно, вслух, сказал мне Углицкий. – Что с ним делать? Я не знаю, как быть!

И я не знал и ничего не сказал, разглядывая Прохина. Глаза у него были мутные, с красноватым блеском, борода небритая, лицо влажное, точно вымазано маслом. Он, не мигая, уставил глаза в окно, на забор и канаву, заросшую крапивой.

– Когда это он успел? – спросил я. – Ведь он оправился совсем перед отъездом!

– Первые три дня он был очень хорош, а потом встретил какого-то приятеля, стал пропадать, а третьего дня вечером его привезли домой без чувств. Ни везти с собой нельзя, ни оставить здесь! – говорил в печальном раздумье Углицкий. – Il m'a joué un tour![155] А я думал, что он поможет мне в Петербурге пером! А он – вон что! Между тем к оправдательной

записке нужно бы сделать некоторые дополнения... Разве вы поможете... вы не откажетесь?..

– Конечно, нет! – успокоил я его, видя, что он все упование оправдаться возлагал на эту проблематическую записку. – Теперь пока надо решить, что делать с Андреем Петровичем...

– Вот что мы сделаем! – вдруг живо отозвался Углицкий, у которого идеи, намерения вспыхивали внезапно, как искры. – Я отправлю камердинера с бричкой назад; с ними поедет назад и он.

Он указал на Прохина. «Вот и прекрасно: *c'est une idée!*[156] Итак, решено: завтра я отправлю его, а послезавтра выедем и мы...»

При этих словах Прохин медленно повернул голову к нам. Глаза у него блеснули. Он сорвал с шеи салфетку и бросил на пол.

– Да, и «прекрасно»! – обратился он к нам, передразнивая Углицкого. – Вы хотите отправить меня, как куль с поклажей, с вашим лакеем: таковский, дескать! Бросить его, как негодную клячу. «Пусть околевает!» Что же, бросьте, ваше превосходительство...

Мы с Углицким переглянулись друг с другом.

– А знаете ли, что из этого выйдет? – продолжал Прохин. – Вы думаете, я приму ваше предложение, расшаркаюсь, поблагодарю и поеду с вашим холопом назад, домой? Ошибаетесь: я чиновник коронный, царский слуга (он ударил себя кулаком в грудь); состоял при вас как при губернаторе, но лакеем вашим не был, любовных ваших записок по городу не разносил: да! (Углицкий нервно почесал затылок). Вы могли бы взять с собой вашего Егорьева или, пожалуй, Добышева и потом отправить их, как негодный хлам, назад. Пусть они и служили бы вам пером! А я, Прохин, не унижусь до этого никогда! нет, никогда! Что вы оба уставили глаза на меня? – продолжал он. – Я хотел быть полезен вам своим пером, нужды нет, что вы не начальник мой больше. Но вы всегда были добры, ласковы со мной, снисходили к моей слабости... А у меня благодарное, забывчивое сердце – я и поехал с вами! А теперь что: не нужен, так вон его, как негодную тряпку! Оставить!

Мы слушали этот сказанный хорошим сло-

гом, как из-под его пера вылившийся монолог и ушам не верили. Прохин ли это, который, за минуту перед тем, не мог донести ложку до рта?

– Оставьте меня здесь, оставьте! – продолжал он с пьяным пафосом, – будет «прекрасно»! Знаете, что будет? Вашего лакея, если он осмелится звать меня с собой, я вытолкаю в шею, и не поеду, нет, не поеду! Оставьте меня – «прекрасно будет»! Я уйду в кабак, да, уйду: вот у меня двести рублей здесь, в ящике... Я все их пропью, до копейки, заложу одежду до последних штанов, рубашку пропью – и лягу вон там, в канаве – и околею! «Прекрасно» это будет, по-божески – как вы думаете?

Он опять впал в свое забытье. А мы с Углицким молча, со страхом и недоумением глядели друг на друга. Перед нами разыгрывалась обыкновенная, но трагическая сцена.

– Что делать? – растерянно вполголоса говорил Углицкий в глубоком раздумье, – как поступить! Ни взять с собой, ни покинуть нельзя – вот положение! – Он скрестил руки на груди.

Вдруг Прохин поднялся с места, сделал два

неверных шага к Углицкому и грохнулся перед ним на колени.

– Не покидайте меня, не покидайте: я пропадаю, как собака! – молил он с катящимися по щекам слезами. – Я знаю, что погибну; я ведь не мужик-пьяница, я сознаю свое положение и все безобразие... Вашего лакея я не постыжусь и не послушаюсь... О, не покидайте меня, возьмите меня с собой!

Мы оба были растроганы. Углицкий закрыл лицо руками.

– Я не покину вас, Андрей Петрович, – сказал он в волнении. – Будь что будет! Я хотел сделать, как вам удобнее...

– Я заслужу, заслужу! – продолжал Прохин, – пером заслужу. Я дополню оправдательную записку, буду жить с вами, пока нужен. А вы хотите дать пачкать мою записку ему (он с гневом указал на меня): да разве он может? Куда ему! Он только – парлефрансе [157], а писать ему – разве стишки в альбомы да письма к родителям в именины. Разве он знает дело?.. разве у него есть слог?

Начиналась опять комедия, и мы ушли. Углицкий успокоил Прохина, решив взять его с

собой, и сказал, что мы выезжаем на другой день.

XVI

После веселого, с примесью грусти, завтрака с товарищами я простился с ними и с Москвой. На дворе, где жили Углицкие, я застал обычную дорожную суматоху. Укладывали чемоданы, подушки, мешки, узелки в дормёз и коляску. Бричка с камердинером оставалась. В дормёзе ехал Углицкий с женой, дочерью и горничной и лакеем на козлах. В тарантасе помещались мы с Прохиным и другой лакей, тоже на козлах.

Прохина лакеи вывели и посадили, пока ямщики запрягали лошадей. Его обложили подушками, так что он занимал почти весь экипаж. Мне оставалось небольшое пространство. После прощаний, лобзаний с теткой, сели наконец, и мы тронулись, трясясь по избитой мостовой. У Прохина лицо, как вчера, было бессмысленное. Он смотрел тупым взглядом вперед, ничего не видя, сидел прочно между подушек, как монумент. На мое «здравствуйте» он не отвечал ни слова, даже, кажется, не заметил моего присутствия. Так

покатились мы по петербургскому шоссе.

Углицкие были озабочены состоянием, в каком был Прохин, и на каждой станции спрашивали меня, что он делает, что говорит и вообще каков, приходит ли в себя? Я сам смотрел на своего спутника с некоторым сомнением и даже опасением: «А ну, как он... „с безумных глаз“ набедокурит что-нибудь?» – думалось мне. Но он промолчал весь этот день. Ночь мы провели на станции, поручив его попечениям обоих лакеев, и на другой день, с рассветом, поехали далее.

Прохин сохранял свой монументальный вид и неподвижную позу бронзового сфинкса, уставив глаза в пространство. Он только беспрестанно вынимал из-под подушки большую табакерку и набивал нос табаком, которым запачкал себе и щеки и небритую бороду. На мои вопросы он ничего не отвечал.

На вторые сутки он стал обнаруживать признаки жизни – и отличился. Взгляд его стал блуждать вокруг себя; наконец он заметил и меня.

– А, и ты тут! – не то грозно, не то насмешливо произнес он, – мой слог едешь поправ-

лять! ха, ха, ха! парлефрансе! Дай табаку!

Я подал ему табакерку. Зловещая живость разыгрывалась в нем все более и более. На вопрос мой, знает ли он меня, кто я такой, он взглянул на меня и едко ответил: «Как не знать тебя, известного пьяницу!»

Я засмеялся. Вот уж, что называется, с больной головы да на здоровую!

– Что смеешься! Дай табаку! – беспрестанно командовал он. Я спешил его удовлетворить, робко прижимаясь в угол и сторонясь от его размахов руками.

Он к вечеру третьего дня совсем рехнулся: кричал, плакал, называл нас разбойниками, говорил, что мы прячем от него письма от отца. Завидев одну бабу, шедшую по дороге с кузовком, он закричал: «Стой, стой!» Ямщик придержал лошадей, а он в одно мгновение выскочил из экипажа – откуда проворство взялось! – перебежал дорогу и выхватил у бабы кузовок из рук, прежде нежели мы с лакеем успели догнать его. Баба не давала, а он отнимал у нее кузов, крича: «Здесь письмо от отца: он просит помощи, его резать хотят!»

Он испустил вопль и залился горькими

слезами. Углицкий, я, оба лакея – насилу сладили с ним и усадили в коляску.

Дамы, то есть собственно Марья Андреевна была в ужасе, нюхала соли. Софья Львовна обращала любопытный вопросительный взгляд на меня. Я украдкой прикладывал ладони к вискам, как Чуча; она спешила отвернуться, пряча смех в подушку. Углицкий твердил, что он давно не был в такой «ажитации». Он гнал ямщиков, торопил станционных смотрителей, требуя лошадей, чтобы добраться скорей до Петербурга и сдать Прохина в больницу.

А этот продолжал все чудить, терял сознание. Ехали лесом, попадались навстречу мужики, бабы. «Невольницы, приближайтесь, пойте! – командовал он, – невольники, пляшите! Этот лес вырубить, – говорил дальше, – и засеять табаком... Дай табаку!»

– Кто же вы такой? – рискнул я спросить, подавая табакерку.

– Разве ты не знаешь, презренный раб? – Потом задумался и вдруг спросил меня тихо: – А скажи-ка мне... только правду скажи... кто я такой?

– Разве вы не знаете?

– Ей-богу, не знаю! Ты скажи, чьих я сын родителей? Откуда и куда еду? И ты сам тоже кто такой? Лицо твое мне что-то знакомо...

Я на все отвечал ему обстоятельно.

– А там кто едет впереди нас?

– Лев Михайлович Углицкий, – сказал я.

– Слышал: имя знакомое...

На каждой остановке я подбегал к экипажу и наскоро сообщал Углицким об этой комедии. Софья Львова опять прятала смех от матери, которая приходила в ужас, и сам Углицкий, как ни был озабочен, не мог удержаться от смеха и ходил взглянуть на эту трагикомедию.

Мы не останавливались ни завтракать, ни обедать и гнали что есть мочи. На одной станции, пока запрягали лошадей, Софья Львовна, шепотом, мило краснея, сказала мне, что ей «кушать хочется». Я вызвал ее на станцию и там опустошил скудный буфет. Она покушала тайком, и я поел с нею, потому что у них в карете все были поглощены страхом и заботами, было не до еды. Все молчали.

Наконец вечером мы доехали до Новгорода и заняли несколько номеров в большой го-

стинице, Марья Андреевна с дочерью и мужем поместились в одном этаже, а мы с Прохиным в другом, в большой комнате, разделенной перегородкой на две половины, с двумя постелями.

Сейчас же по приезде послали за доктором. Углицкий стал было придумывать какую-то небывалую причину болезни, ссылаясь на нервы и прочее, чтобы не выдавать слабости Прохина. Но доктор взглянул на больного, пощупал пульс, приподнял ему пальцем веки и сухо, коротко сказал: «Совсем не то, что вы говорите: это от пьянства! У него *delirium tremens*[158], и нервы тут ни при чем».

Углицкий, нечего делать, сознался, что Прохин пьет запоем, запил еще в Москве, а дорогой это разыгралось.

– Верно, вдруг перестал пить; вот если б вы ему постепенно уменьшали порцию водки, этого бы не случилось.

– Что же теперь делать: оставить его здесь? – спрашивал в тоске Углицкий.

– Зачем? Везите дальше; он мало-помалу придет в себя.

Он прописал успокоительное лекарство, которое обманом, под видом водки, заставили выпить Прохина.

Он бушевал всю ночь. Я лег на постель, за перегородкой, и от усталости заснул как убитый. Прохина хотели уложить тоже в постель, но не сладили; он упорно сидел на краю кровати, ходил по комнате, нюхал табак. К нему приставили одного из лакеев, и все улеглось.

Несмотря на крепкий юношеский сон, меня на рассвете разбудили отчаянные вопли Прохина. Я встал и выглянул из-за перегородки. Приставленный человек спал врасстяжку на полу мертвым сном, а Прохин, в одной рубашке, стоял у открытого окна на коленях и раздирающим голосом кричал: «Режут, отца моего режут? вон, о!.. о!.. о!..» И начинал рыдать.

В мае ночной темноты на севере не бывает. Это было отчасти ново для меня, не бывшего к северу дальше Москвы; таких светлых ночей я еще не видал. Ночь была совсем белая; стал показываться солнечный луч и золотил крыши домов. Все спало, на улице ни-

какого движения. Только голуби, воробьи и галки раньше всех проснулись и перелетали с крыши на крышу.

– Духи белые! Духи черные! – орал во все горло Прохин, указывая на перелетавших птиц, – они терзают грудь моего отца! Вон, вон, глядите, вонзили ножницы в него!..

– Андрей Петрович! – звал я его, – успокойтесь!

– А? что? – обратился он ко мне.

– Узнаете ли вы меня? – спросил я.

– Как не узнать: парлефрансе! – сказал он и опять принялся орать.

Я растолкал лакея и поручил ему посмотреть за Прохиным, а сам ушел за перегородку досыпать прерванный сон.

Утром часов в девять меня разбудил Углицкий и сказал, что все готово, что после завтрака мы уезжаем. Прохин спал. Я оделся и пошел пить чай к дамам. Я рассказал им о ночном событии. Марья Андреевна всплеснула руками.

– Что мы будем с ним делать! Боже мой, какое горе!

Я только переглянулся с Софьей Львовной:

и нам было не до смеху.

Прохина разбудили, напоили чаем, и мы поехали. Прохин хранил загадочное молчание. Мне показалось, что он взглянул на меня, как на знакомое лицо. Он сам уже доставал свою табакерку из-под подушки. Станции через две он спросил, нет ли чего закусить. И когда я принес ему бутербродов с телятиной и языком, он поблагодарил меня. После того часа через два он, не оборачиваясь ко мне, вдруг стыдливым шопотом спросил: «Что Лев Михайлыч: он очень недоволен мною? Как я беспокоил Марью Андреевну и Софью Львовну: мне совестно глядеть им в глаза!» Он прятал лицо даже от меня.

– Ничего! – успокаивал я его, обрадованный переменою, – они все действительно беспокоились, но не за себя, а за ваше здоровье...

– Какая я скотина: скажите откровенно – скотина? Вы, я думаю, смеялись надо мной.

– Нет, Андрей Петрович, – с участием отозвался я. – Я глубоко жалел и жалею, что такой человек, как вы, с умом, образованием, дарованиями, с пером... – прибавил я.

– И такая свинья! – досказал он.

– Полноте!

– А много я смешил вас?

– Один раз только рассмешили.

– Когда, чем?

– Когда называли меня пьяницей!

– Ужели? Этого только не доставало: свою шапку на вас надел!

Он глубоко задумался и загрустил. Я на первой же станции подбежал к дормёзу Углицких.

– Что Андрей Петрович? – спросили оба.

– Кланяться приказал! – обрадовал я их.

Они не верили. Лев Михайлыч выскочил из экипажа и побежал к Прохину. Тот уже вылез из коляски и, завидя Углицкого, закрыл лицо руками.

– Скотина, скотина, свинья! – казнил он себя. – Не могу смотреть на вас...

– Полноте, перестаньте, что вы! – успокаивал его Углицкий, – я так рад, так рад, что вы пришли в себя; я очень боялся за ваше здоровье. Но слава богу! – Он даже перекрестился.

– Как вы добры, снисходительны! – говорил сконфуженный Прохин, с чувством пожимая протянутые ему Углицким руки. – Я не

буду больше... по крайней мере, пока буду вам нужен... Я заслужу. Сегодня, когда я пришел в себя, я уже обдумал, какие дополнения надо сделать в записке...

– Об этом после, а теперь пойдёмте на станцию пить вместе чай. Как жена и Соня будут рады...

– Ах, нет! – отговаривался Прохин, – я не смею показаться им на глаза: ради бога, позвольте подождать до Петербурга, когда совсем оправлюсь, обреюсь и умоюсь... тогда...

Он грустно и тяжело вздохнул.

Так мы мирно, покойно и прилично, как ни в чем не бывало въехали в Петербург.

Август, 1887 г.

Слуги старого века*

(Из домашнего архива)

Вместо предисловия. Мне нередко делали и доселе делают нечто вроде упрека или вопроса, зачем я, выводя в своих сочинениях лиц из всех сословий, никогда не касаюсь крестьян, не стараюсь изображать их в художественных типах или не вникаю в их быт, экономические условия и т. п. Можно вывести из этого заключение, может быть и выведут, что я умышленно устраниюсь от «народа», не люблю, то есть «не жалею» его, не сочувствую его судьбе, его трудам, нуждам, горестям, словом – не болею за него. Это-де безразличие, барство, эпикуреизм, любовь к комфорту: этим некоторые пробовали объяснить мое мнимое равнодушие к народу.

На это можно бы многое отвечать, но у меня есть один ответ, который устраняет необходимость всех других, а именно: я не знаю быта, нравов крестьян, я не знаю сельской жизни, сельского хозяйства, подробностей и условий крестьянского существования или если знаю что-нибудь, то это из художествен-

ных и других очерков и описаний наших писателей. Я не владел крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не собирал, даже не жил никогда по деревням. Ребенком девяти и десяти лет я прожил в деревне два года и ни в какое общение с крестьянами, конечно, входить не мог.

Откуда же мне было знать, так сказать, лично крестьян, их жизнь, быт, нравы, горести, заботы и как было заразиться живою (а не литературною), личною любовью и печалованием о них? Сознание человеческого долга к ближнему, без сомнения, живет в сердце каждого развитого человека – и в моем также, – тем более долга в отношении «меньшой братии».

Я не только не отрекаюсь от этого сознания, но питаю его в себе и – то с грустью, то с радостью, смотря по обстоятельствам, наблюдаю благоприятный или неблагоприятный ход народной жизни. Но от этого сознания далеко до участия делом, особенно пером, в народной жизни. Описывать, притом еще изображать художественно, типы и нравы крестьян могут те, кто жил среди них, непосред-

ственно наблюдал их вблизи, рисовал их с натуры: тем и книги в руки. Я век свой провел в городах, больше всего в Москве, где учился, потом в губернском городе на родине, потом более полувека живу в Петербурге, откуда отлучался нередко на многие месяцы, за границу, и года два провел в кругосветном плавании. Внутри России я заглядывал мало и ненадолго.

Простой народ, то есть крестьян, земледельцев я видал за их работами мимоездом: то из вагона железной дороги, то с палубы корабля. Видал, как идут за плугом наши мужички, без шапок, в рубашках, в лаптях, обливаясь потом; видал, как в Германии, с коротенькой трубкой в зубах, крестьяне пахут, крестьянки жнут в соломенных шляпках; во Франции гомозятся в полях в синих блузах, в Англии в плисовых куртках, сеют, косят или везут по дороге продукты в города. Далее видал работающих в полях негров, индейцев, китайцев, на чайных, кофейных и сахарных плантациях. Проездом через Сибирь – видал наших сибирских инородцев, якутов, бурят и других – и все это издали, со стороны, катаясь

по рельсам, едучи верхом или с борта корабля и не вступал ни в какие сношения: не приходилось, случая не было.

Следовательно, описывать или изображать крестьян было бы с моей стороны претензией, которая сразу обнаружила бы мою несостоятельность. Зачем же мне было напрашиваться на явную, ненужную неудачу? «Зачем не шел в народ, не искал случая сблизиться, узнать, изучить его? Эпикуреизм, чопорность, любовь к комфорту мешали», – иногда слышались или чудились мне обращенные по моему адресу упреки.

Что на это сказать? Я знавал некоторых народников, поэтов, повествователей. Они тоже любили больше сблизиться с народом издали, сидя у себя в деревенском кабинете, заходили в крестьянские избы отдохнуть, спрятаться от непогоды, словом – барски, привозя с собой все принадлежности такого утонченного комфорта, перед которым бледнел мой скромный «эпикуреизм».

В ходивших в народ собирателях песен я видел – может быть, я грешу, говоря это, – более влечение к самым странствиям. Они со-

бирали и записывали, что попадалось, иногда действительно втягивались в крестьянскую среду. Собираение песен, сказок, пословиц, конечно, полезно. Многие обогатили последними русскую литературу. И спасибо им! Но на это надо иметь не только охоту и своего рода подготовку, но и способности. А если последних нет: что же делать? Все-таки итти?

Упрекая меня в неведении народа и мнимом к нему равнодушии, замечают, в противоположность этому, что я немало потратил красок на изображение дворовых людей, слуг.

Это правда. На это бы прежде всего можно было заметить, что слуги, дворовые люди, особенно прежние крепостные – тоже «народ», тоже принадлежат к меньшей братии. Стало быть, я повинен только в безучастии собственно к сельчанам, земледельческому и мелкопромышленному деревенскому люду. Это верно: я его вовсе не знаю – как сказал – и оттого не берусь не за свое дело, не описываю и не изображаю, чего не знаю.

Другое дело дворня, дворовые люди – теперь тоже явление отходящее мало-помалу в прошлое, вместе с помещиками и дворами.

Но слуги остаются и, повидимому, останутся навсегда или надолго. От них не отделаться современному обществу. Говорят, в Соединенных Штатах уже почти совершилась отмена класса слуг, демократия сама служит себе – всякий сам себе слуга. Но, вероятно, тут есть огромные исключения. Богачи имеют слуг, и помногу, как видно из описаний. Потом торговые и другие заведения, разные общества тоже, далее – рестораны, отели кишат слугами, иначе вся общественная машина остановится. Следовательно, и там слуги есть: только там вчерашний лакей в гостинице – завтра, с поворотом колеса фортуны, превращается в господина и покупает себе дом, экипажи, нанимает слуг, а разорившийся банкир, фабрикант, землевладелец поступает работником на ферму или лакеем к состоятельному купцу. Это отчасти проникло и в Европу.

У нас слуги пока еще, как волны, ходят около нас: и не только в больших, богатых домах, не только в буржуазии, в зажиточных семейных хозяйствах, но даже у холостых и небогатых есть слуга, так называемый лакей,

или женщина для прислуги.

Я, родившийся при крепостном праве и воспитанный среди слуг того времени, жил сначала дома в провинции среди многочисленной дворни, потом в Петербурге, и как все мне подобные, имел постоянно слугу. В пятьдесят лет, что я прожил здесь, слуги не переводились, сменяясь один другим.

В больших домах слуги, лакеи, *la valetaille* [159], составляют род хора, которым управляет капельмейстер из них же, старший, или наемный дворецкий, иногда ловкий, плутоватый, но расторопный и услужливый перед господином – и полновластный шеф лакейской команды. Она безлична, и никакие типы не выделяются из толпы. Шеф сменяет их, нанимает новых по своему произволу и отвечает за все.

Не так в скромных небольших хозяйствах – и у холостяков особенно. Тут слуги на виду, каждый формируется в тип или характер и делается или врагом дома, или другом, смотря по своим качествам, но вообще он в своем роде член семейства, близкий к делам, заботам, горю или радостям дома, а у холостя-

ка – невольный его сожигатель, ближайший свидетель всего, что у того делается, участник в его секретах, если они есть, иногда и кошелек, при беззаботности хозяина.

Я иногда отмечал на клочках наиболее выдающиеся фигуры моих слуг, их характерные черты, нравы, привычки – и забрасывал эти клочки далеко в стол, в свой домашний архив, не думая делать из них какое-нибудь, всего менее литературное употребление. Когда клочки попадались под руку, я пробегал глазами эти портреты, припоминал черты лиц и смеялся, хотя некоторые оригиналы этих копий в свое время немало причиняли мне забот, ставили меня в критическое, иногда, как увидит читатель, беззащитное положение.

Клочки эти образовали довольно объемистую пачку. Я, правду сказать, еще не знаю, что буду с ней делать. Прежде попробую прочитать кое-что приятелям, «сведущим людям» – и если они найдут в них некоторую долю общего интереса, я могу иные, наиболее характерные наброски отобрать – и, пожалуй, напечатать, остальные бросить в огонь.

Обработки почти никакой не требуется, так как я, старый домосед, сидя в небольших холостых квартирах, с глазу на глаз со своими слугами, рисовал их, так сказать, с натуры. Они прямо выходили готовые из-под пера. Годятся ли на что-нибудь эти эскизы, займут ли кого-нибудь – пусть решат «сведущие люди».

Впрочем, в наше нестрогое литературное время многое и многим сходит легко с рук: может быть, и мне сойдет.

I

Валентин

Ко мне явился, по рекомендации одного моего приятеля, человек низенького роста, плешивый, лет пятидесяти, с проседью на редких волосах, оригинальной, даже смешной наружности.

У него был маленький, едва заметный, величины и цвета вишни нос, голубые без всякого оттенка глаза и яркий старческий румянец на щеках. Голубые, без примеси, глаза, по моему наблюдению, были почти несомненною печатью наивности, граничащей с глупостью, чаще просто глупости.

Он вошел, поклонился, кокетливо шаркнув ножкой, которую тотчас поднял немного, прижал к другой ноге и подал мне свой паспорт и рекомендательную записку от моего приятеля. После обычных объяснений о его обязанности у меня, уговора о жалованье я показал ему свою квартиру, его комнату, шкафы с платьями, комоды с бельем и прочие вещи и предложил ему поскорее вступить в должность.

К вечеру он водворился у меня, и на другой день все вошло в обычную колею. Он оказался очень учтивым, исправным, хорошо выдрессированным слугой. Красный нос и румяные щеки приводили меня в некоторое сомнение насчет его воздержания, но к счастью – это не подтвердилось.

Проходили недели, месяцы, на пьянство не было и намека. Он исполнял свою должность аккуратно, шмыгал мимо меня по комнатам, как воробей, ступая на одну ногу легче, нежели на другую, едва касаясь ею пола. Я думал, что она у него короче другой, но потом заметил, что он делал это, чтоб придать своей походке некоторую грацию. Вообще он был ко-

кетлив; носил розовые и голубые шейные ко-
сынки, вышитые манишки с розовой под-
кладкой, цветные воротнички. В кармане он
держал миниатюрное зеркальце с гребенкой,
и я зачастую заставлял, что он глядится в него
и старается собрать жидкие космы волос с за-
тылка и висков воедино. Проходя мимо зер-
кал в моих комнатах, он непременно погля-
дится в них и иногда улыбнется. Я исподтиш-
ка забавлялся этим невинным кокетством, но
не давал ему этого заметить. Я даже поощрял
его, отдавал ему свои почти совсем новые гал-
стуки, перчатки, обещая отдавать и все свои
отслужившие платья, что, впрочем, делал
всегда и прежде.

Так мы привыкали все больше и больше
друг к другу и, наконец, совсем привыкли. Он
очень редко отлучался со двора, у него я по-
чти никого не видал в гостях, впрочем, раза
два-три, возвращаясь домой, замечал мель-
ком каких-то невзрачных женщин, которые
при мне исчезали. «Землячки», – говорил он,
когда мне случалось встречать их.

Словом, я был очень доволен им и не раз
благодарил своего приятеля за рекоменда-

цию.

Но вот чего я никак не подозревал: что он был прикосновенен к литературе. Проходя через его комнату в ванну, я видал у него не помню какие-то старые, полуразорванные книги, с остатками переплета, или вовсе без переплета, иные в листках, пожелтевших от времени и употребления. Однажды я любопытствовал и протянул было руку, чтоб взять и посмотреть одну из книг. Но Валентин (так звали его) поспешил стать между ними и мной, повидимому недовольный моим любопытством. Я не настаивал.

– Какие это у тебя там книги на полке? Вон и какие-то тетрадки? – спросил я. – Уж не сочиняешь ли ты?

– Куда мне! – сказал он, отвернувшись в сторону. – А книжки эти у меня от одного барина остались: старые, ненужные ему, он и отдал мне.

При этом он отодвинул их от меня подальше в угол, чтоб я не трогал их.

Я и забыл про это. Не бывая дома днем, я возвращался вечером, садился работать и часто просиживал до четырех и до пяти утра.

Он уже спал, и я не знал, как он проводит день, с кем видится, какие «землячки» ходят к нему и какие книги он читает.

Все мало-помалу объяснилось случайно.

Бывали дни, когда у меня являлись сильные припадки деятельности. Тогда я обедал дома или напротив моей квартиры в клубе, спал после обеда, чтоб освежиться на ночную работу, и запирался почти на всю ночь. Я – то садился за письменный стол, то ходил взад и вперед по своей небольшой зале и опять брался за перо.

В зале было слышно, при ночной тишине, что делалось в передней и за перегородкою в ней, рядом с помещением человека.

Однажды, прохаживаясь еще не поздно ночью, после вечернего чаю, я услышал его голос. Он что-то говорил. Сначала я не обратил на это внимания, думал, что он рассуждает вслух, как есть у некоторых привычка, или молится. Но ступая по ковру легче, я услышал мерное, плавное чтение, почти пение, как будто стихов. Я остановился у полуотворенной двери и вслушался.

И зри-мо ей в мину-ту ста-ло

Незри-мое с давнишних пор... –

читал он нараспев, с амфазом, почти всхлипывая.

Я стал припоминать, чьи это стихи, и, наконец, припомнил, что это романс Жуковского, только забыл, как он начинается.

«Валентин читает стихи, знает Жуковского! Стало быть, и Пушкина и других! Да он развитой, образованный человек! Уж не инкогнито ли он?» – мелькнуло у меня в голове. И если б не эти бестенные голубые глаза, не этот красненький нос, не розовенькие галстучки и грациозные шажки с поджимаемой ножкой и я остановился бы на своем предположении.

Я осторожно вышел в переднюю, неслышно отворил к нему дверь и остановился. Он сидел задом к двери и за звуками своего голоса не слышал моего прихода.

*Душе шепну-у-л приве-ет бы-
ваа-лый,
Душе блеснуу-л знакомый вз-о-о-
р... –*

заливался он все нараспев.

И опять:

*И зри-и-мо ей в мину-ту ста-а-ло
Незри-и-мое с давнишних пор...*

Он растягивал слова и ударял голосом на некоторых. Я сделал шаг к нему, он вскочил, сконфузился, проворно снял очки и хотел закинуть книгу на полку. Но я удержал его и взял книгу. Это был небольшой том стихотворений Жуковского, с оторванными листами начала и конца.

– Что ты читал сейчас? – спросил я.

– Да вот это самое. – Он указал на книгу: – Сочинение господина Жуковского.

– Тебе нравится? – спросил я.

– А как же-с: кому такое не понравится!

– Почитай, пожалуйста, последнее, вот что ты сейчас читал, – попросил я.

– Зачем вам: чтоб смеяться!..

– Нет, как можно! Напротив, я очень доволен, что ты занимаешься, читаешь, не так, как другие...

Он заметно смягчился: ему понравилось и польстило мое замечание. Он взял книгу и надел очки. Они еле держались на его кро-

печном носу. Он был невыразимо смешон – и мне немалого труда стоило удержаться от смеха.

– Это самое, или сначала прикажете? – спросил он.

– Пожалуй, сначала.

И он начал:

*Мину-вших дне-й очароваа-нье,
Зачем (тут он взял высокую ноту,
почти вскрикнул) оня-ть вос-кре-
сло ты?*

*Кто (опять ударение голосом)
пробудил воспо-мина-нье
И замолча-вшие мечты!*

*Душе шепнул (тоненьким, неж-
ным голоском запел он) приве-т
быва-лый,*

*Душе блесну-л знако-мый взо-р
И зри-и-мо ей в мину-ту стало
Незри-мое с давни-шних пор.*

Последние слова он с умилением как будто допел и кончил почти плачем; голубые глаза увлажились; губы сладко улыбались.

Он поглядел на меня, что я? Я чувствовал, что мне лицо прожигал смех, но я старался не улыбаться.

– Ты все понимаешь? – спросил я, любопытствуя узнать, как он объясняет себе отвлеченные выражения Жуковского.

– А вы понимаете? – вдруг скороговоркой спросил он. Он живо снял очки, положил книгу и пристально посмотрел на меня.

– Как же: конечно, понимаю! – ответил я, озадаченный его вопросом.

Он недоверчиво усмехнулся.

– Вы и это тоже понимаете? – насмешливо спросил он, взял книгу, надел очки и, порывшись в листах, начал читать:

*Земли жил-е-е-ц безвы-ы-ходный –
страд-анье,
Ему судьбы на ча-сть нас обрекли;
Здесь ра-дости не наше обла-
да-нье...*

Я за него продолжал наизусть:

*Пролетные пленители земли
Лишь по пути заносят нам преда-
нье
О благах, нам обещанных вдали.*

– Верно! – сказал он, следя по книге за мной. – Что ж, вы и это понимаете? – насмеш-

ливо повторил он.

– Да, разумеется. Что ж тут непонятного?

– Да вот извольте-ка сказать, что это за «жилец» такой «безвыходный» и что это за «часть» такая тут попала, да еще какое слово «обрекли ему»: кому «ему»? А тут вдруг «радости» пошли, да «обладанье» какое-то! Вы так все это и понимаете? Полноте, сударь!

– А ты разве этого не понимаешь? – спросил я озадаченный. – Зачем же ты читаешь?

Он оторопел на минуту и замялся.

– Если все понимать – так и читать не нужно: что тут занятного? – отозвался он. – Иные слова понимаешь – и то слава богу! Вон тут написано «радости», «страданье» – это понятно. А вот какие-то «пролетные пленители» еще «на часть нас обрекли» – поди-ка пойми кто!

– Постой, погоди! – сказал я и взял с его полки одну книгу, другую – он уже не мешал мне: книги были больше без переплета, с оторванными заглавиями. Тут были и календари, и духовного содержания, и «новейший», но старый-престарый песенник: все рухлядь. Наконец я увидел какую-то хрестоматию без

заглавия, кажется Греча, поискал что-нибудь понятное, и как раз подвернулось стихотворение Шишкова, и я стал читать:

*Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже.
В долгу ночку
К огонечку
Все сберутся,
Старый, мальй,
Точат балы
И смеются.
А как матки
Придут святки,
Тут-то грохот,
Игры, хохот... и т. д.*

Я дочитал до конца.

– Вот, если ты любишь стихи, это бы и читал!

Он с нескрываемым презрением слушал мое чтение.

– Это каждый мальчишка поймет или деревенская баба! – сказал он, глядя в сторону. – Прочитал раз, понял да и бросил: что ж тут занятного? То ли дело это?

Он надел очки, схватил свою любимую книгу и начал опять заливаться нараспев, с чувством:

*Земли жиле-е-ц безвыходный –
страд-а-нье,
Ему судьбы на ча-а-сть нас обрек-
ли...*

– Вот пойми-ка это? Какой такой «жилец» – и кому ему «обрекли» какие-то «судьбы»? Не угодно ли растолковать? – вызывающим голосом добавил он.

– Изволь! – снисходительно сказал я, наслаждаясь про себя его непониманием. – «Жилец безвыходный земли» – и есть «страда-нье»: вот ему на «часть», или на долю, что ли, и обрекла нас «судьба»... Все понятно!

Он положил книгу и снял очки.

– Вы, может быть, и Покалипс понимаете? – едко спросил он.

– Апокалипсис¹, хочешь ты сказать, – поправил я.

– Ну, Покалипсис! – с неудовольствием добавил он.

– А что же: понимаю, – храбро сказал я, чтоб посмотреть что́ он.

Я еще не успел кончить своего ответа, как мой Валентин завизжал пронзительным смехом, воротя лицо, из почтения ко мне, в сторону, к стене. «Хи-хи! хи-хи!» – визжал он. Потом оборотился мельком ко мне, взглянул на меня и, быстро отвернувшись, опять завизжал, напрасно стараясь почтительно сдержаться.

– Что тут забавного? – сказал я, сам весело глядя на него.

– Как же-с... хи... хи... хи... – заливался он.

Наконец мало-помалу унялся, отдышался, откашлялся. «Извините меня, сударь, право, не могу... хи, хи, хи!»

– Это у нас в селе был дьякон Еремей... – начал он с передышкой. – Он не Еремей, а отец Никита, да его прозвали Еремеем. Он тоже хвастался, что понимает Покалипсис...

– Апокалипсис! – поправил я.

– Ну, Покалипсис, – нехотя вставил Валентин. – Архиерей объезжал губернию, приехал и в наше село. Наш священник после обедни, за завтраком, и указал на этого самого Никиту: «Вот, говорит, святой владыка: дьякон наш Никита похваляется, что понимает Пока-

ЛИПС...»

– Апокалипсис! – поправил я.

Валентин только сморщился, но не повторил поправки.

– «Дерзновенно!» – сказал архиерей; так и сказал «дерзновенно!» Дьякон не знал, куда деться из-за стола: «Провалился бы, – рассказывал после, – лучше сквозь землю. И кулебяка, говорит, так и заперла мне горло...» – «„А ну-ка, дьяконе, скажи...“ – это архиерей-то говорит дьякону, – скажи, говорит, что значит блудница, о которой повествует святой Иоанн Богослов в Покалипсе...»

– В Апокалипсисе, – поправил я.

– Вы не извольте сбивать меня с толку, – с сердцем заметил Валентин, – а то я перепутаю архиерейскую речь. Я ее наизусть затвердил, – и все тогда затвердили у нас. Я буфетчиком был у господ, и меня послали служить за этим самым завтраком: наш повар и готовил. Вот дьякон – сам после сказывал – не разжевавши хорошенько, почесть целиком целую корку кулебяки с семгой проглотил. Чуть не подавился, весь покраснел, как рак. «Ну, говори, коли понимаешь!» – нудил архерей. «Блуд-

ница... святой владыко... это... это... – мямлил дьякон, – это святой Иоанн Богослов прореклет о заблудшейся западной римской католической церкви...» Мы все слушаем, недохнем, я за самым стулом архерейским стоял, все слушал и запомнил до слова... Так дьякон и замолчал. «А далее?» – говорит архерей. А у дьякона и дыхание перехватило, молчит. Все молчали, носы уткнули в тарелки. Архерей посмотрел на него, да и проговорил, так важно проговорил, словно в церкви из алтаря голос подал...

– Что ж он проговорил?

– «Всякий, говорит, Еремей про себя разумеи!» Все и замолчали, так и из-за стола разошлись. Вот с тех пор во всем селе все, даже мужики, дьякона Никиту и прозвали Еремеем, а под сердитую руку и блудницей дразнили. А вы изволите говорить, что и вы тоже понимаете Покалипсис... Хи-хи-хи!

– Апокалипсис! – поправил я. – Если дьякон не понимал, это еще не причина, чтобы я не понимал...

– Полноте, грех, сударь! – не на шутку сердился Валентин. – Дьякон или священник всю

жизнь церковные книги читают – кому бы и понимать, как не священству? А вот никто не понимает. Один только святой схимник был: он в киевских пещерах спасался, тот понимал. Один! Все допытывались от него, и сам митрополит уговаривал, да никому не открывал. Перед кончиной его вся братия три дня на коленях молила открыть, а он не открыл, так и скончался. А вы – понимаете!

Он опять захихикал в сторону, глядя на меня почтительно и насмешливо. Это очень развлекало меня. Я пошел к себе, порылся в шкафе, чтобы подыскать что-нибудь подходящее для его понимания, нашел между книгами «Юрия Милославского»², «Конька Горбунка» и подарил ему.

– Вот, читай и скажи мне, как тебе понравится!

Он очень был доволен моим подарком и обещал читать.

Пока он рассматривал книги, я взял с полки у него какую-то тетрадку и прочел сверху кривую надпись: «Сенонимы». Под этой надписью, попарно, иногда по три слова, тем же кривым, вероятно его почерком, написаны

были однозвучные слова. Например, рядом стояли: «эмансипация и констипация», далее «конституция и проституция», потом «тлетворный и нерукотворный», «нумизмат и кастрат», и так без конца.

– Что это такое? – спросил я.

– Тут написано что: сенонимы! – сказал он.

– Да что такое «синонимы», ты знаешь?

– Это похожие друг на друга слова.

– Кто это тебе сказал?

– Да тот же дьякон Еремей: он был ученый.

Вот когда я завел эту самую тетрадку и стал записывать туда из книг непонятные похожие слова, я и спросил его, что, мол, значат похожие друг на друга слова? Он и говорит «сенонимы, говорит, это называется». Я так и записал и заношу туда такие слова.

– Да это совсем не то: он тебе не то сказал или ты не так понял, – заметил я. – Синонимы совсем не то значит...

Он решительно взял у меня из рук тетрадку и положил на полку.

– Пожалуйста, – сказал он, – вы ведь все изволите лучше знать, чем другие, даже лучше самого господина Жуковского: вон и Пока-

липис понимаете...

– Апокалипсис! – поправил я.

– А нам где понимать!

Он едко улыбнулся и смотрел на меня так, чтобы я ушел. Я рассмеялся и ушел, а он с сердцем затворил за мной дверь.

Я потом не вмешивался в его литературные занятия, даже радовался, что они не отвлекают его от дела и не ведут к чему-нибудь дурному. Лишь изредка, среди вечерней тишины, доходило до моих ушей:

*И зри-и-и-мо ей в мину-у-ту стало
Незри-и-и-мое с давнишних пор.*

Не то он вдруг громко заголосит:

*Боги гнева и Ерева,
В страшный час,
Ах, пошлите солнца луч,
Разгоните мраки туч.*

В другой раз слышу:

Плещут волны Флегетона,³

*Своды тартара дрожат,
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из аида бога мчат...*

– Вот поди-ко, пойми это! – однажды насмешливо прибавил он вслух, вероятно, намекая на меня и не подозревая, что я хожу по соседней комнате и что мне слышно. – А еще хочет понимать Покалипс!

– Апокалипсис! – поправил я, тихо отворяя дверь. Он сконфузился.

Так он читал все больше из той же хрестоматии Греча, или другое что-нибудь, лишь бы звучное и мало понятное ему.

Я тут убедился в том, что наблюдал и прежде: что простой русский человек не всегда любит понимать, что читает. Я видел, как простые люди зачитываются до слез священных книг на славянском языке, ничего не понимая, или понимая только «иные слова», как мой Валентин. Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь по целым часам, глядя в рот чтецу, лишь бы он читал звонко и с чувством. Простые люди не любят простоты.

Валентин прожил у меня несколько лет и, может быть, прожил бы еще долго, если б я не переменял род службы и отчасти образ жизни. Я стал бóльшую часть дня, а иногда и ве-

чера, заниматься дома.

Оказалось, что это стесняло его. Я никогда не справлялся, как он проводит время без меня, а теперь мне открыт был каждый его шаг. «Землячки» не могли бывать у него свободно при мне – и он оставался больше один и скупчал. Повидимому, они без меня посещали его часто. Мало-помалу открылось, что он отчаянный донжуан, несмотря на свои пятьдесят лет с лишком.

Склонность его к нежному полу проявлялась и прежде, но слегка. Когда у меня бывали в гостях дамы, особенно молодые и красивые, он как-то суетливо лебезил, подавая чай, фрукты, кокетливо поджимал ножку, шаркал, приподнимался на цыпочках, чтоб придать себе росту, взглядывал мимоходом в зеркало, украдкой зачесывал пальцами волосы с затылка. Я перемигивался с гостями, и мы нередко награждали эти маневры дружным хохотом. Тогда он злобно краснел и бросал на нас гневные взгляды.

Однажды, воротясь домой и найдя дверь запертою, я сошел вниз спросить у дворников, где он, и, заметив около каретного са-

рая – кучку дворни, особенно женщин, пошел туда. И что же вижу: Валентин стоит посреди сарая, закинув голову вверх, разряженный в желтые нанковые панталоны, черную плисовую жакетку, в розовом галстуке и с желтым цветком в петлице, поет:

*Во селе-селее Покроо-вском,
Среди уу-лицы большой...
Разыграа-лись, раа-сплясались
Девки краа-сны меж соо-бой... –*

разливался он сладким тенором, закатывая глаза под лоб, разводя далеко в стороны руками и притопывая.

Все смотрели на него с улыбкой, девушки с неудержимым хохотом. А он глядел на них сладостно, как сатир. Я тоже захохотал. Увидав меня, он сконфузился, застыдился и опрометью бросился вперед меня домой.

– Что это тебе вздумалось петь среди дворни? – спросил я.

– Барышни просили, – сказал он, – я хотел сделать им удовольствие...

– Какие барышни?

– А те самые, что там стояли.

Это горничные.

– Да ведь они помирали со смеху над тобой: разве ты не заметил?

Глядя на него в его изысканном наряде, я опять невольно засмеялся.

– Они смеялись от удовольствия, а вот вы, сударь, не знаете сами, чему смеетесь! Нельзя повеселиться человеку: разве это грех?

– Веселись сколько хочешь – это даже иногда нужно, здорово... Я не упрекаю тебя.

Я опять засмеялся.

– Чему ж вы смеетесь? – оказал он с сердцем и ушел к себе.

Случаи донжуанства стали повторяться и, наконец, доходили до меня в виде жалоб. Однажды вдруг отворила ко мне дверь в переднюю молодая девушка с растрепанной косой, держа шейную косынку в руках.

– Что это, барин, от вашего лакея прохода нет! – голосила она сердито, указывая на Валентина.

– Подите! подите! – торопливо говорил он, стараясь выпроводить ее за дверь. – Не хорошо-с!

Я остановил его.

– Что вам угодно? – обратился я к ней.

– Да вот он прохода не дает. Я живу вверху с барыней, тихо и скромно, а он давно уж – как встретит на лестнице, сейчас начнет глупые «канплименты» говорить, зовет на чашку щеколаду, – поди да поди я к нему сюда! С ума, что ли, я сошла! За кого он меня принимает! Воля ваша: это обидно!

– Я тут еще большой вины не вижу, – сказал я, – что он скажет вам «канплимент». Запретить это ему я не вправе...

– А вы бы, барышня, – заговорил Валентин, – чем барина беспокоить, поговорили бы прежде со мной...

– Стану я с вами разговаривать! – остановила она его, измеряя с ног до головы презрительно-насмешливым взглядом.

– За честь должны считать!.. – с азартом отгрызался Валентин, заметив этот взгляд.

Я велел ему замолчать.

– Так что же дальше? – обратился я к ней.

– Как только услышит, что я по лестнице спускаюсь, – продолжала она, – вынесет на подносе гостинцы, апельсины, орехи, изюм, и загородит мне дорогу. Я прошу дать пройти, он не слушается. Один раз я толкнула поднос

зонтиком, гостинцы его рассыпались по полу, а ему сказала, чтоб он не беспокоил меня – скажу, мол, барину. Так он не унялся: «барин мне, говорит, не указ!» Пойдешь по лестнице, он подкараулит, да старается за руку поймать...

– Неправда, неправда! – оспаривал горячо Валентин, – не верьте ей, сударь, барышня врет!

– Сами вы врун! Афимья, чай, видала вон из тех дверей, как вы ловили меня за руку...

– Зачем же ты беспокоишь ее, если она не хочет слушать твои любезности? – сказал я ему.

– Я обращаюсь всегда благородно и деликатно... – защищался он. – А вам, сударь, хорошему господину, надо бы барышень в шею отсюда, а не слушать, что они врут!..

– Вы врете, а не я! – вставила она.

– Это мои дела, а не ваши! – обратился Валентин опять ко мне. – Я службу мою справляю у вас как следует... Не пью, не шляюсь, господское добро берегу...

– Это так: твои амуры – не мое дело, да за чем жалобы доходят до меня?

– На что же вы теперь жалуетесь? – спросил я ее.

– Да вот сейчас, когда я мимо ваших дверей по лестнице шла, он подкараулил – и цап меня за шею, хотел обнять... Да не таковская: я не далась, попятилась. Вон извольте посмотреть: коса у меня свалилась, и платок с шеи... Не прикажите ему озорничать! Я живу скромно, все знакомые мои и в доме здесь тоже меня знают честной, аккуратной девушкой: могут, пожалуй, подумать, что я нарочно слушаю его «канплименты»...

– Слышишь, Валентин – это правда, что «барышня» говорит! Она скромна... дорожит своей репутацией, не хочет, чтоб ее компрометировали... – заговорил было я, но остановился, вспомнив о его тетрадке с «сенонимами»: слова «репутация» и «компрометировали», как мудреные и ему непонятные, наверно, попали бы туда. – Она скромна, бережет себя, дорожит своим честным именем: не беспокой же ее! – дополнил я в новой редакции.

Я успокоил ее как мог – она поблагодарила меня, извинилась за «беспокойство», прибавив, что и барыня ее посоветовала ей обра-

титься ко мне. Она взялась за ручку двери, бросив опять на Валентина ядовито-насмешливый взгляд.

– Чему смеяться-то! – шипел он на нее. – Такие дряни, как вы, – должны за счастье почитать, если с ними благородно и деликатно обращается этакий кавалер! – Он поднялся на цыпочки и начал руками собирать с затылка волосы на макушку...

При слове «такой кавалер» девушка разразилась неудержимым, визгливым хохотом и бросилась вон. Он с треском запер за ней дверь.

Я тоже не утерпел и покатился со смеху. Он оцетинился, как зверь, злобно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но удержался и ушел к себе за перегородку, хлопнув дверью.

Все пошло своим порядком. Верхнюю девушку он, повидимому, не беспокоил, жалоб не было, и я забыл об этом. Я замечал только, что когда я сидел в течение утра дома, мой Валентин стал отлучаться куда-то: надо было из окна покричать дворника, чтоб отыскал его. «Землячки» при мне тоже не являлись больше.

Но вот однажды, недель шесть спустя, когда он вышел куда-то, ко мне явился дворник и подал записку.

– От кого это? – спросил я.

– А вот от той жилицы, что напротив: у ней прачешное заведение, она хозяйка.

– Ко мне ли эта записка? Я вовсе не знаю этой жилицы: что ей нужно?

– Не могу знать: велела вам в руки самим, а лакею, говорит, не давай.

Я взял записку. Она была не запечатана.

«Милостивый Государь, – читал я, – Ваш лакей Валент самый низкий мужчина: он все таскается под окнами у нас и какетничает с моими мастерицами, мешает им и делает разные низости: вон какую записку он подал Лизе – извольте прочитать. Мы просим вас унять его. Если он не перестанет какетничать, ходить под окна и бросать записки – я тогда приду сама и раздеру ему всю лицо.

*Готовая ко услугам
Анна Прохорова
прачешная хозяйка».*

Под фразой: «раздеру всю лицо» – была

другая зачеркнутая редакция: «раздеру ему поганую харю». Должно быть, эта фраза показала ей грубою относительно меня и она из учтивости смягчила ее. К письму приложен был клочок бумаги, на котором, должно быть, рукой Валентина написано: «О милое творенье, прости мне восхищенье, Лизок, голубочка, ангел, чмок, чмок тебя. Приди, серафима моя, на второй двор под ворота. Принесу гостинцев много, много и подарочек, чмок! чмок!»

Валентин пришел.

– А у тебя опять амуры завелись? – сказал я ему.

– Какие, сударь, такие амуры?

– А вот смотри, какие письма пишут ко мне.

Я прочитал ему прачкино письмо и показал его записку. Он вспыхнул, даже побагровел от смущения и злости, и хотел вырвать у меня письмо. Я не дал.

– Ишь, ты, старый селадон! – шутил я, – не понимаешься! Смотри, дождешься чего-нибудь!..

– Не ваше дело! – почти грубо отрезал он, –

а эту дряннь – ведь она мужичка – плетьюми мало сечь! Пожалуйте мне мою записку!

Я отдал ему.

– Я с ними разделаюсь! – злобно ворчал он. – Я им дам «раздеру лицо», я им все косы истреплю! Раздавлю! – кричал он разъяренно. – Они за честь должны считать, что я с ними обращаюсь!.. – Он вытянулся на цыпочках и сердито загребал руками волосы с затылка на темя.

– Послушай, делай, как хочешь, – сказал я, – я в твои амуры не вмешиваюсь, но повторю тебе: устраивай так, чтоб до меня жалоб не доходило и чтоб никакого «трепанья кос» не было. Если выйдет какой-нибудь скандал, я держать тебя не стану.

– Хорошо-с, я сделаю, – ядовито сказал он, – будут они довольны! Если бы она, эта Прохорова, не беспокоила вас, а со мной поговорила бы благородно и деликатно – я бы и ничего, отстал бы! А если она полезла к вам, да еще грозит мне, так нарочно, назло ей, буду ходить, буду, буду, буду! Вы, сударь, не извольте беспокоиться: жаловаться не станут. Я же ей, дряни эдакой: погоди она у меня! – вор-

чал он, уходя к себе и потрясая кулаками.

Донжуанство Валентина добром не кончилось – ни для него, ни для меня. Он потерпел поражение, а я лишился в нем честного и усердного, хотя и смешного слуги.

Через месяц после этих писем, когда, возвратясь вечером домой, я позвонил у дверей, Валентин, против обыкновения, медленно отворил мне дверь, не снял с меня пальто и тотчас скрылся в свою комнату. Я заглянул к нему. Он лежал на постели.

– Что с тобой: ты нездоров? – спросил я с испугом.

– Ничего-с, я полежу немного, отдохну... голова болит немножко.

Подле него был графин с водой, пахло уксусом.

– Ты скажи, что такое? – спрашивал я.

– Не беспокойтесь... извольте ложиться, я ушибся, отдохну, пройдет...

– Где ушибся, как? доктора надо позвать...

– Ради бога, не надо ничего-с: завтра отдохну...

Я, однакож, не удовольствовался этим, спустился вниз и узнал на дворе, что с Валенти-

ном случилась история. Дворники рассказали мне, что он в сумерки пошел-таки «какетничать» с Лизой, здоровой мастерицей-прачкой, вызвал ее на второй двор. Хозяйка заметила это – и исполнила над ним свою угрозу, с помощью какого-то, должно быть, соперника Валентина, кажется жениха Лизы, и если и не «разодрала ему всю лицо», однако значительно исцарапала. Соперник тоже напал на него, ругался, сбил с Валентина фуражку и старался схватить его за ворот. Валентин мужественно отражал нападение, не давался, кричал.

Дворники старались рознять их. Словом, вышел скандал.

Наконец их розняли. Валентин, измятый, с разорванным платьем, с расцарапанным лицом, удалился, при общем хохоте дворни, к себе в комнату.

Наутро он по обыкновению принес мне чай. Щеки и нос у него побелели почти совсем, на одной щеке и на лбу была царапина, впалые глаза смотрели тускло.

– Что такое было вчера? – спросил я.

– Пожалуйте мне расчет и паспорт! – тихо

сказал он в ответ на мой вопрос.

– Вот тебе на! Да ты расскажи, что такое...

– Позвольте мне паспорт, – настойчиво повторил он. – Я сейчас извозчика приведу и уеду...

– Дворники говорили, что у тебя вышла история... расскажи!

– Нечего рассказывать-с: это мое дело. Только в этом разбойничьем доме я и дня не проживу... Еще убьют, чего доброго! Позвольте расчет и паспорт...

– Это решительно?

– Да-с, решительно, – уныло прибавил он.

– Но ведь я имею право задержать тебя три дня, пока приищу кого-нибудь на твое место: нельзя же мне оставаться одному!

– Я уж это сделал: когда вы почивали, я сходил к знакомому человеку: он сейчас придет и побудет, пока вы приищете другого. А меня, сделайте милость, отпустите сейчас же.

Он почти со слезами кончил эту просьбу. Я с глубоким сожалением согласился, и когда пришел человек, я отдал Валентину паспорт и сверх жалованья прибавил награду. Он поцеловал меня в плечо и прослезился.

– Да ты подумай... может быть, обойдется, я спрашивать не стану! ты такой исправный и честный слуга!.. Мне жаль расставаться с тобой, право! – пробовал я уговорить его. – История эта забудется. Ты получил жестокий урок и, конечно, больше за женщинами ухаживать не станешь...

– Как можно! Стану-с. Только не с таким необразованным мужичьем, как здесь. Буду выбирать по себе, где благородно и деликатно...

– Подумай, – удерживал я, – все перемелется... Мне жаль тебя!

– Покорнейше благодарю – нет, нет-с, я уйду!

Он был так расстроен, что я больше не настаивал. Он быстро собрал свои пожитки и уехал. Долго еще после него, по привычке, по вечерам, у меня иногда звучало в ушах:

*И зри-мо ей в минуту ста-ло
Незри-мое с давни-шних пор!!.*

II АНТОН

Служивший у меня временно, вместо Ва-

лентина, человек объявил дня через три, что он долго оставаться не может, что господин его вернется с дачи и он вступит в свою должность. Он обещал привести мне другого слугу, недавно приехавшего из деревни, отпущенника из крепостных.

– Да каков он? – Здесь его не знают: как же без рекомендации взять? – сомневался я.

– Он на вольной квартире угол нанимал до места: там одобряют, говорят, деревенский, смиренный, непорченный. Из себя видный, Антоном зовут.

– Ну, хорошо!

На другой же день он прислал мне молодца колоссального роста, брюнета лет сорока пяти, с лохматой головой, с здоровыми, длинными мускулистыми руками, с такими же здоровыми крепкими ногами. Он был одет в длинном широком нескладном сюртуке, очевидно, сшитом не по нем. Он стал у дверей как вкопанный, смотрел на меня покорно, почти со страхом, тупым, апатичным взглядом, из которого не только не прорезывались иглы, луча света, но даже искры не было.

– Тебя Антоном зовут? Ты из деревни? –

спрашивал я, рассматривая его билет.

– Точно так-с, – тихо, покорным голосом отвечал он, – у господ служил, теперь отпущен на оброк.

– В какой ты должности служил?

– При столе-с, с господами тоже выезжал по гостям и по егерской части...

– Ты, значит, хороший стрелок?

– Никак нет-с. Дичь стреляли другие у нас, те и по псовой части служили, а я больше на счет волков...

– Волков! Да разве их много у вас?

– Страсть сколько в нашем уезде! Все леса, вот они и разводились: много скота резали! Барин нас троих – здоровых, как я же... – Он мельком взглянул на свои руки и шевельнул кулаками слегка, – и посылал, да человек пять из мужиков, тоже которые поздоровее – на этих самых волков...

– Ведь с ружьями же посылали вас, не с голыми руками?

– Никак нет-с: с дубьем.

– Как же на волков с дубьем?

– Так точно-с. Как услышат, что волки прибежали в наши леса, нас и пошлют с тенета-

ми. Мы, человек пять, кругом раскинем тенета и ждем. А с другой стороны их начнут пужать трещотками, свистками, они и бросаются, словно угорелые, да в тенетах и запутаются. Тут мы их и примем в дубье... вон так...

Он вытянул руку, точно бревно, и махнул. Вылитый Илья Муромец! Кого ударит, у того рука прочь. «Ну, – думал я, – если он не примет меня самого в дубье, то будет надежным моим телохранителем и стражем дома: этакий с целой шайкой воров справится».

– Как же с волками: тут же и убивали их? – спрашивал я дальше.

– Точно так-с: по голове надо норовить его, а то, если по чему другому, так не ошалеет сразу и мечется: того и гляди обдерет сквозь тенет.

– И много на твою долю приходилось убивать? – Много-с, до полста я считал, а после уж и счет потерял!..

– Ну, оставайся у меня, и если волки заведутся, так ты их... хорошенько...

– Какие здесь волки! – наивно заметил он и как будто хотел улыбнуться, но улыбки не вышло.

– Другой породы, – сказал я, – здешние волки забираются на чердаки, проникают в комоды, шкафы, в карманы...

Я оставил его у себя, и он, как по машине, стал исправлять немудреную службу.

Ходил он, несмотря на громоздкость свою и на огромную ступню, тихо, ступал мягко, осторожно, как кот, или, пожалуй, как волк, убирал комнаты неслышно, пока я спал, и дрова приносил, прижимая к груди, как родных детей, и складывал каждое полено у печки, как перышко, как мать кладет дитя в колыбель: ни одно полено у него не стукнет. Никогда не заговаривал сам и на вопросы мои всегда отвечал тихо и робко.

«Есть же за ним какие-нибудь художества: но какие?» – спрашивал я боязливо, следя, как он тихо, в виде тени, скользил по комнатам.

– Не пьешь ли ты, Антон? – спросил я его однажды мягко, ласково.

Он помолчал немного.

– Нынче курица – и та пьет-с, – уклончиво ответил он.

– Да, если бы пить только то, что пьет курица...

Я не кончил потому, что он, под предлогом взять щетку, тихо ускользнул в переднюю, к себе.

Проходили недели, наконец месяцы, я ничего не замечал, никаких «художеств» – и про себя радовался приобретению смиренного и исправного слуги.

Иногда я замечал неважные уклонения от исправности, свойственные особенно крепостным людям, в барских дворнях. Я не обедал дома, но иногда завтракал, то есть пил чай с какой-нибудь холодной закуской, сыром, икрой и т. п. Велишь, бывало, на другой день, когда Антон подавал чай, принести вчерашний сыр или икру.

– Сейчас, – скажет он и пойдет в буфет.

– Сыру там нет-с... – скажет тихо, воротясь.

– Где же он? Вчера большой кусок оставался...

– Я... употребил... – стыдливо скажет, потупив глаза.

Точно так же в другой раз бывало и с икрой, с сардинками, холодным мясом. Когда спросишь, сначала всегда пойдет как будто справиться, а потом тихо скажет: «Употре-

бил!»

Я совестился замечать что-нибудь о неуместности такого «употребления», думал, что ради своего скудного питания где-нибудь в лавочке или соседней харчевне он дополняет свой стол моей закуской – и молчал. Я охотно готов был делиться с ним этими кусочками.

Но однажды остались от вечернего чаю варенье, фрукты, печенье. Я на другой день, вечером, вспомнил о них и велел подать себе к чаю. Он по обыкновению пошел в буфет, позвонил там посудой и принес две штучки печенья и банку, где на дне едва осталась чайная ложка варенья.

– Вчера я только что почал банку и печенье был целый поднос! – заметил я. – Где же это все?

Он помялся на месте, помолчал.

– Употребил-с... – чуть слышно прошептал он.

Мне все-таки совестно было делать ему замечание, и я придумал другую меру. Когда мне хотелось оставить что-нибудь от закуски до другого раза, я ему говорил: «Вот это оставь

мне, не „употребляй“!»

Он на это приказание не отвечал мне ни слова и не «употреблял» никогда. А что я не считал нужным оставлять, я говорил ему: «Вот это употреби, если хочешь!»

– Слушаю-с, – говорил он и «употреблял». Таким образом установился порядок и по закуской части.

Прошло несколько месяцев: все было хорошо. Тишина у нас в квартире была невозмутимая. Отлучался Антон из дома редко, недели в две раз. Днем я его мало видел, а по вечерам он раздевал меня, уходил к себе – я до утра его не видал и не знал, что он делал. Скучал ли он, нет ли без меня, – ходил ли к нему кто – я ничего не знал и был очень доволен. Но «на счастье прочно всяк надежду кинь!» – поет нам неумолимую правду известная песня.

Воротясь как-то к себе часов в семь вечера зимой, помнится, в декабре, я сел за спешную работу и велел Антону подать мне чай в десять часов.

Долго я сидел за письменным столом, и до четверти одиннадцатого Антон не являлся с

чаем. Между тем из передней доходил до меня какой-то шорох, шуршанье, будто тихие шаги. Очевидно, он не спал. Я позвонил, ответа не было. Через пять минут я опять позвонил, и опять, и опять.

Наконец, дверь тихо отворилась, вошел или скорее протискался в нее совсем незнакомый мне человек – и не весь, а только головой и плечами.

– Что прикажете-с? – спросил он почтительно.

– Как что? Чаю! Где Антон? Что он нейдет?

– Сейчас! – был ответ и голова с плечами скрылась.

Я думал, что Антон отлучился куда-нибудь, в кухню, на лестницу, раздувает там самовар, что ли, и что это входил какой-нибудь его знакомый, гость. Я опять углубился в свое писание.

Прошло около получаса, никого нет. Я позвонил изо всей мочи. Опять после некоторой паузы полуотворилась дверь и показалась большая голова и плечи другого человека, не того, который входил прежде и повторила вопрос:

– Что вам угодно?

– Что же чай? Где Антон? – с нетерпением повторил я.

– Сейчас! – оказала голова и скрылась.

Когда через десять минут ни чаю, ни Антона не показывалось, я скорыми шагами направился в переднюю посмотреть, что там делается, и остолбенел.

В тесной комнате Антона битком набито было народу, человек шесть. Они сидели на двух стульях, на табуретке, на скамье, один взгромоздился на край стола, двое теснились на краю постели Антона, именно те самые, которые входили ко мне. На столе стояли штофы, бутылки, тарелки с пирогом, ветчиной, колбасой, огурцами и прочей закуской. Тут же были яблоки, винные ягоды.

Сам Антон лежал навзничь во весь свой гигантский рост на постели, без чувств, со свесившимися на пол ногами, с открытым ртом и открытыми глазами. Были видны только два белка, зрачки закатились под лоб.

– Ну! «употребил» же ты! – вырвалось у меня невольно. – Ах ты, тихоня, тихоня! Что это, кабак, что ли, здесь? – грозно спросил я всю

компанию. – Кто вы такие? Зачем сюда пришли толпой?

– Именины сегодня Антон Тихоныча! – сказал один пьяным, сладеньким голоском. – Мы и собрались... проздравить...

– Пирожок... пирожок... принесли! – старался другой выговорить твердо, но ему не удавалось.

Третий указывал на сласти, яблоки, изюм, и молча тыкал себя в грудь: «это, мол, я принес».

– Ступайте! ступайте!

Я указал им на дверь.

– Поми... луй... те... мы... – силился говорить один, – мы... не то... чтобы...

Я махнул им рукой.

Они похватали свои шапки и кучей тискались в дверь, толкая друг друга. По лестнице, как камнями, стучали они сапогами, стараясь уйти вперегонку.

– Дворника пришлите сюда скорее! – крикнул я одному отставшему.

Пришел дворник. Я показал ему на Антона, лежавшего все навзничь, с белыми, сияющими глазами, открытым ртом, без чувств.

– Пожалуйста, приведи его как-нибудь в себя: посмотри!

– Он мянинник ноньче, – сказал дворник, – так и... подгулял. Давеча и нам с Акимом поднес. Утром к ранней обедне ходил.

– Уложи же его как следует, – сказал я, – я тебе завтра на чай дам.

– Где же мне, барин! Одному не сладить, вон он какой: без малого сажень будет – я схожу за Акимом.

Дворник привел товарища. Они вдвоем принялись оправлять «мянинника», облили ему голову водой, намочили виски и темя уксусом, раздели и уложили.

«О ты, – вздыхал я с грустью про себя, ходя взад и вперед по зале, – о ты, зелено вино! ты иго, горшее крепостного права: кто и когда изведет тебя, матушка Русь, из-под него? Князь Владимир Великий сказал: „Веселие Руси – есть пити!“ – и это слово стало тяжкою вечною заповедью для русского народа! Зачем он не прибавил: „пити, но не упиватися!“»

На другой день Антон своим волчьим шагом вошел, клоня голову и мутные глаза вниз.

Я пристально поглядел на него. Он пошел было к себе.

– Постой: что это вчера было? – спросил я его.

Он стал мяться на месте.

– Именинник был! – тихо сказал он.

– Хорошо, но ты мне ничего не сказал, не предупредил, что назовешь гостей, что у вас тут будет попойка! Я ушел бы куда-нибудь, не видал бы этого безобразия.

– Я не знал, что они придут. Это они принесли вина, закусок, пирога... я и...

– «Употребил» это все... – добавил я.

– Они почесть все сами употребили... – тихо договорил он.

– Я не знал, что у тебя такое обширное знакомство! Что это за люди?

– Это со мной на квартире жили до места, а теперь они все по местам живут.

– Ты часто так употребляешь?

– Никак нет-с: в редкость. Вот именины случились, они и пришли. Кабы не пришли, так я бы не того-с...

Я подумал, что именины бывают однажды в год – и решил оставить дело без послед-

ствий, а его опять до именин.

– Чтоб это было в последний раз, – сказал я, – не то уволю тебя. Ты один здесь – пожалуй, беда какая-нибудь случится. Ступай!

Все пошло попрежнему, но я уже не доверял этому тихому омуту – и недаром.

Прошла зима, стало таять, в воздухе запахло весной, то есть навозом с каналов и грязью с улиц. Тогда еще не скалывали лед заблаговременно и по улицам стояли целые моря грязи, с горбами, провалами – ни конному, ни пешему не было пути. В апреле наступила жара на улицах, а на реке и в каналах еще держался лед.

Такова была и святая неделя. Я в четверг предложил Антону воспользоваться целым днем, предупредив, что вернусь поздно вечером. С пятницы у меня начинались занятия по службе и надо было сидеть дома, принимать пакеты, письма, газеты, посетителей по делам и прочее. Он отнекивался, сказал, что дойдет разве до балаганов, которые тогда были на Адмиралтейской площади, посмотрит, да и домой.

– Как хочешь! – сказал я и дал ему денег,

чтоб он побывал и в балаганах.

Вечером, часу в двенадцатом, когда я возвращался, дворник, сидевший у ворот, сказал мне, что в дворнической есть казенный пакет на мое имя. «Вот я сейчас принесу...»

– Отчего в дворнической, а не у меня? – спросил я.

– Должно быть, вашего человека не было, так рассыльный и отдал нам.

Я взял пакет и стал подниматься на лестницу. Я жил тогда в том же доме, где и теперь живу. У меня был особый ход на улицу, ни швейцаром и никем не охраняемый и никогда не запираемый. По этой лестнице, под моей квартирой, жила какая-то древняя старушка-фрейлина, должно быть «Екатерины первой» – и никого больше.

Я беспечно поднимался вверх, позвонил, но никто не пошевелился, дверь не отпиралась. Я еще позвонил и еще. Никого. Я тронул за ручку, и дверь отворилась. Я вошел: в передней никого. Рядом в комнате Антона виден был свет. Я отворил к нему дверь и ахнул.

На столе догорала, вся оплывши, свеча, над нею, в близком расстоянии, висели на протя-

нутой веревке полотенца, платки, какие-то тряпки.

Сам Антон лежал врастяжку на полу диагонально, навзничь, опять с открытым ртом, с закатившимися под лоб зрачками, без чувств.

– «Употребил»! не выдержал! – сказал я с тоской и злостью, потрогивая его за плечи, стараясь поднять его голову. Напрасный труд: он не шевелился, не подавал голоса, не открывал глаз. «Это называется праздник, святая неделя! Святая! Вот уж, что называется, „святых вон выноси“!» – думал я злобно, даже, кажется, зубы сами невольно скрежетали у меня.

Но сюрприз этим не кончился. Я взял со стола свечку, вышел в переднюю и второй раз ахнул, вошел в залу, в кабинет, в спальню – и все ахал и ахал.

«Что это, погром!» Все мои чемоданы, картонки, корзинки, узлы были вытащены в залу и переднюю, все набиты моими платьями, бельем, разными вещами. Из корзинок с бельем торчали подсвечники, лампы, посуда, на полу валялись зеркала, мелкие вещи. В кабинете мой письменный стол был взломан, также

книжный шкаф и шкафчик с папками. Все это было сдвинуто с места и стояло посреди комнаты.

По полу рассеяны были письма, пакеты, бумаги, и между последними до тридцати больших тетрадей «Обломова», приготовленного совсем для печати.

Полное разрушение! Волки были, как я предсказывал Антону. А он лежит, как мертвый: и дубье не помогло! У меня сердце сжалось тоской. Я чувствовал, что не живу под знаменем охраны, благоустроенности, порядка. Я предоставлен самому себе, я беззащитен. Будь я помоложе, я, может быть, заплакал бы. Никого около меня – нет опоры, нет защиты!

– Вот не женились – и наказаны! Вот вам прелести холостой жизни! «Свобода, независимость!» – говорила мне потом одна приятельница, Анна Петровна, страстная охотница устраивать свадьбы. – Была бы жена, волки-то и не забрались бы... Женитесь-ка – еще время не ушло! я бы вам славную невесту со-сватала!

– Если б женился, может быть, забрались бы другие волки, злее этих! – меланхоличе-

ски, ответил я.

– Ну-у! – протяжно и нерешительно протестовала она загадочным тоном, глядя не на меня, а куда-то в пространство, с загадочной улыбкой и с загадочным же взглядом.

Я замечал, что такой взгляд бывает у всех женщин, умных и неумных, потертых жизнью и непорочных, начиная от многоопытных матрон, до «пола нежного стыдливых херувимов» включительно. Он является в разные моменты их жизни: когда, например, они хотят замаскировать мысль, чувство, секретное желание или намерение, или когда им говорят о каком-нибудь чужом грешке, который и за ними водится, или когда надо выразить кому-нибудь участие, а участия нет и т. д.

Тогда взгляд становится стекловидным, точно прозрачным; глазная влага, выразительница психических процессов, куда-то исчезает – и взгляд ничего не говорит, – становится, как я выше назвал, загадочным, или, если угодно, дипломатическим. Назвать его фальшивым не хочу: это грубо против милых дам.

Таким взглядом и сопровождалось восклицание Анны Петровны – «ну!» Я позволил себе угадывать в этом ее дипломатическом взгляде затаенный ответ: «Да, конечно, это бывает (то есть „волки“, нарушители супружеского спокойствия), может случиться и с вами – да что же мне до этого за дело, когда вы уж женитесь!..»

Прошу извинить меня за это отступление – и обращаюсь к своему «инциденту».

Я ничего не тронул из моего разбросанного добра, только собрал тетради «Обломова», поверил, что они все целы, и успокоился. Воры шарили везде, очевидно искали денег, и не нашли. А деньги были: несколько крупных ассигнаций были разложены между листами разных старых рукописей, плотно уложенных в небольшой шкаф с папками. Ворам долго бы пришлось добираться до них.

Они, очевидно, были застигнуты врасплох и разбежались. Их застал, как я после узнал, тот самый рассыльный, который принес мне пакет. Он не дозвонился у дверей и, полагая, что Антона нет, отдал пакет дворникам, а воры, услышав неоднократный звонок, подума-

ли, что воротился хозяин квартиры, то есть я, бросили все собранное в чемоданы и узлы и скрылись задним ходом, через двор.

Мне худо спалось. Я проснулся раньше Антона и, услышав, что он тоже встал, я вышел в переднюю. Он пришел в себя, намочил голову, оделся – и ждал, когда войти ко мне. Увидя меня, он привстал с постели, стараясь не смотреть на меня.

– Где ты был вчера, Антон? – спросил я.

– В балагане-с, как вы приказали, – невнятно шептал он.

– А где еще?

Он молчал.

– Кто у тебя был в гостях?

– У меня никого-с, – довольно живо отвечал он.

– Не та ли твоя зимняя компания, что на именины к тебе приходила?..

– Никак нет-с: я ее с тех пор и не вижу-с! – твердо говорил он.

– Так волки, что ли, приходили?

– Какие волки-с? Никого не было.

Он с недоумением поглядывал на меня. Видно было, что он действительно не пони-

мает моего вопроса.

– Поди сюда, полюбуйся: это что?

Я вывел его в переднюю и в залу, указывая на узлы, чемоданы с моим добром, разбросанным по полу, на мебель...

– Господи, боже ты мой – господи! Господи владыко! – говорил он, оборачиваясь около себя, тараща глаза и разводя руками, потом вдруг заплакал и стал на колени.

– Сам Христос видит: ведать не ведаю, сударь! Виноват тем, что захмелел...

– Встань и расскажи, что было вчера, а я запишу и дам знать полиции.

Он рассказал, что ходил в балаган, там, рядом с ним, сидели какие-то три личности, не то торговцы, не то служащие у господ. Сначала читали вместе афишку, потом разговорились, потом гуляли около качелей и, наконец, пошли в трактир и его позвали, пили чай и прочее... Они спрашивали его, кто он, где живет, у кого служит, каково ему на месте, бывает ли барин дома, богат ли он? – и все выведали. А сами все угощали его и сами пили. Один простился и ушел, а вместо его пришли еще двое – и опять стали пить и пить, и

его угощали – пока...

– Я к вечеру очень охмелел, – заключил Антон, – и... и... не помню, что было... как попал домой...

Он опять с ужасом стал осматриваться кругом и опять хотел стать на колени. Я удержал его и велел разобрать и уложить платье, белье и все вещи по местам.

Пропавшими оказались дюжины две столовых ложек, дешевые деревянные столовые часы и отличный тулуп на беличьем меху, привезенный мною из Сибири, крытый китайским атласом.

Все украденное оказалось мне ненужным. Я дома не обедал, и ложки, старинного фасона, семейные, взятые мною из дома так, на всякий случай, лежали у меня без употребления в письменном столе. Столовые часы ходили неверно и мало служили мне. Тулуп из отборных белок, сделанный в Якутске, я тоже никогда не надевал, чтоб не приучать тело к излишнему теплу. Но мне все-таки было жаль его: так он был хорош.

Таким образом пропажа была нечувствительная, но я все-таки объявил о ней поли-

ции, больше для острастки, чтобы знали хоть во дворе, что есть живые люди в квартире.

Ничего из этого, как водится, не вышло. Пришел квартальный надзиратель, снял показание, Антона вызывали к допросу. Потом вызвали в часть и меня, показали какие-то окрашенные в черную краску столовые часы, спросили, не мои ли? Я отозвался, что мои были пальмовые, желтого цвета. Предъявили также столовую ложку, с вопросом, не моя ли? А я своих ложек лет десять не вынимал из стола и забыл, какие они – и потому и ложку не признал своею.

Тем все и кончилось. С Антоном я простился, убедившись окончательно, что он не вор, что его напоили мошенники, привезли за мертво домой и хотели обокрасть квартиру.

Я перекрестился, что дешево отделался.

III

Степан с семьей

Где вы, мои слуги, мои телохранители, «и денег и белья моих рачители»⁴? «Иных уж нет, а те далече»⁵. Но как только остановлюсь памятью на котором-нибудь из них, предо мною из тьмы предстанут, как живые, лица

Михеев, Егоров, Максимов, Павлов и т. д.

Вот я их вижу перед собой, с подносом или чашками, щетками в руках, слышу будто их говор.

Пропускаю мимо несколько человек, служивших у меня неподолгу: они слишком однообразны.

Их можно свести в одну группу – пьющих. Много портили они у меня крови и отравляли мою холостую жизнь. Под пару Антону возьму для образчика два-три силуэта.

Был Петр, который, отслужив свой день, запирал меня на ночь на ключ и уходил куда-то – пить водку и играть в карты. Я узнал об этом случайно от старухи, которой давался у меня в кухне угол, чтобы квартира не оставалась совсем пустою, когда не было меня и слуги дома.

Я вызывал его на откровенность, чтобы дознаться, правда ли это. Он упорно отрекался, особенно отрицал водку.

– Ни-ни! – твердил он, – я уходил раза два, только не водку пить, нет!

– Зачем же? Что ты делал?

– Не водку пить ходил, – утверждал он

упорно, – я за другим, за делом уходил.

– Зачем?

– За другим, только не водку пить!

Однажды я хотел поверить, правду ли говорит старуха, и, заработавшись долго ночью, вышел в переднюю, хотел пройти чрез его комнату в кухню. Его не было, и дверь оказалась запертой.

Я еще не успел лечь, как услышал, что он пришел и возился у себя в темноте. Я вышел к нему со свечкой. Он раздевался, готовясь лечь.

– Где ты был? – строго спросил я. – Скоро три часа.

– А вам что за дело! – дерзко отвечал он. Он был очень в возбужденном состоянии.

– Как что за дело: у меня живешь и бродяжничаешь по ночам.

– Как вы смеете называть меня бродягой! – вскинулся он на меня с криком, с азартом, так что из кухни, услышав крик, пришла старуха. Он продолжал кричать и грубить.

– Ну, ложись спать! – покойно сказал я, уходя.

– Лягу и без вас, не дам куражиться над со-

бой! Я не бродяга, я хожу в хорошие люди, не водку пить: нет, нет! – кричал он мне вслед.

Утром я позвонил. Он как ни в чем не бывало принес мне чай, газеты. Я отдал ему паспорт, зажитое жалованье и сказал, чтобы он немедленно уходил. Он оторопел немного, переступил с ноги на ногу.

– Помилуйте, за что же?.. – тихо сказал он.

Я ничего не отвечал. Он взял паспорт, деньги и ушел.

– Позвольте только оставить пожитки мои здесь на день или на два, пока приищу место, – сказал он, оборотясь при выходе.

– Хорошо, скажи старухе, чтобы она поберегла их. Ты понимаешь, что ты не можешь больше оставаться у меня?

– Это точно-с... – тихо сказал он и ушел, по-нуря голову. – Простите за вчерашнее! – еще тише прибавил он, отворяя дверь. Я махнул рукой, и он вышел.

Старуха сказывала мне, что когда он узнал, что и как он говорил со мною ночью, то он схватил себя руками за голову. «Неужели это правда? И я это все сказал!»

Он был очень тихий, приличный и расто-

ропный слуга, представительной наружности, блондин лет тридцати, с грубоватыми, но правильными чертами лица.

Когда он дня через два явился за пожитками, я спросил, зачем он уходил по ночам.

– За каким таким делом, которого упорно назвать ты не хотел?

– Водку пить-с! – откровенно, со вздохом сознался он, потупляя глаза.

После него через день явился другой слуга, Максим, рябоватый, здоровый, крепко сложенный, мускулистый человек невысокого роста.

Этот отличился через три месяца. Воротясь однажды поздно домой, я застал дверь незапертою. Максим не спал, но был тоже в возбужденном состоянии. Так как он был на ногах, помог мне раздеться, взял платье, сапоги, я не обратил на это внимания. На другое утро он заявил мне, что мое пальто с бобровым воротником пропало.

– Как, куда пропало? Ты дома был или уходил со двора? Приходил к тебе кто-нибудь?

– Нет-с... должно быть, я не уходил... Кажется, что дома был... И у меня никого не бы-

ло... что-то не помню... Кому быть у меня! – лепетал он, как ребенок.

– Отчего же дверь вчера была не заперта, когда я пришел?

– Не помню-с... была ли она заперта, или нет... – отговаривался он, глядя в сторону.

– Поищи, спроси: если у тебя кто-нибудь был – сходи узнай... Я в полицию дам знать, – погрозил я. – До завтра даю тебе сроку...

Он ничего не сказал. Утром первый мой вопрос был о пальто.

– Никак нет-с: нигде не мог отыскать. Спрашивал у дворников, не входил ли кто, не выносили ли пальто?.. Они никого не видали...

– Ну, надо в полицию объявить: там, может быть, ты вспомнишь, отчего дверь не была заперта... – сказал я.

– Ваша воля, как вам угодно! – ответил он равнодушно.

Но полиции я не объявил, зная, по множеству примеров, как это бывает бесполезно, а Максима немедленно уволил.

Я решил, что одному человеку «не добро быть» даже и у одинокого холостяка. Он будет скучать и уходить со двора, как Петр, или к

нему заберутся, пожалуй, непрошеные посетители, как уже и случилось с моими слугами.

Мне посоветовали взять женатого, так как в кухне у меня места было довольно хоть на целую семью.

Мне рекомендовали старика, лет шестидесяти пяти, но еще бодрого, хотя с несколько помятым лицом и мелкими морщинами. Он был отпущенный на волю, жил по местам поваром, но состарелся, по словам его, для этой службы всегда у огня, в жару и предпочел другую должность, попрохладнее.

Он стоял передо мною, смотрел на меня добродушно и зорко своими карими глазами, не смигнув, как собака, ожидающая приказа своего хозяина. «Все сделаю, что прикажете, – читал я в этих глазах и его позе – а чего не прикажете – ни за что не стану делать!» – дополнил я про себя сокровенный смысл его взгляда.

Он на другой день переехал с женой Матреной, женщиной за пятьдесят лет, с крепкими, точно из гуттаперчи, щеками, носом и подбородком. Глаза у ней глядели не прямо, а

стороной; губы она поджимала. Она поклонилась мне в пояс и подала хранившийся у нее паспорт мужа.

Дня через два, заглянув в их помещение, я изумился множеству навезенной всякой всячины. Постель с перинами и подушками горой, почти до потолка, множество разной посуды, кастрюль, печных горшков и т. п. утвари. Но всего более было икон, лампад, пасхальных яиц, сухих просфор и веток вербы в киоте и около.

Матрена была русская, набожная женщина – и заняла киотом со священными предметами не только весь передний угол своей комнаты, но отчасти даже мою гардеробную и комнату с ванной. Долго я слышал стукотню прибываемых икон и картин религиозного содержания. Это меня несколько успокаивало насчет добропорядочности этой четы. У них был сын, Петруша, лет семнадцати, обучавшийся слесарному ремеслу и ходивший к отцу и матери только по большим праздникам.

Водворились они, и все пошло обычным порядком. Но прежнего безмолвия не было.

Когда я проходил в свою гардеробную, я постоянно слышал молвь: это и натурально, когда живут двое вместе. Но молвь эта была задорная, с криком, возгласами, – иногда бранью, – все со стороны Матрены.

Степан – так звали нового слугу, – может быть Михайлов, может быть Петров, – теперь забыл: у наших крепостных и дворовых – так называемых «фамилий» не бывало; их звали по отцу или давали «прозвания», то есть прозвища, – Степан, говорю я, все отмалчивался, или отрывисто огрызался на задиранья жены.

– Да ну тебя, замолчишь ли ты, о, чертовка!

– Нечего молчать-то! Еще лаяться чертовой! – едко пилила она его, – а ты что сидишь, протянул ноги-то, ходить негде!

Он убирал ноги, вставал и направлялся в мои комнаты.

– Куда, куда? – ядовито останавливала она, – что дров не несешь: мне, что ли, итти за дровами? Я стряпай, ты будешь жрать, а сам ни с места! Погоди, не такую дуру нашел: я не раба тебе досталась!

– Господи боже мой! Что за дьявол баба! – охая говорил Степан и шел за дровами.

– Я тебе дам «дьяволом» звать! – шипела она, крестясь, – господи, спаси меня! навязал ты мне эдакий клад на шею!

А когда он, исполненный усердия, пробовал помочь ей:

– Дай-ко сковороду, я картофель поджарю.

Она на него обрушивалась:

– Не суйся, не спрашивают! – кричала она.

– Я бы тертым сухарем посыпал, да сметанки подлил, да лучку тебе поджарю – вот как вкусно будет, пальцы оближешь! – договаривал он.

– Слышишь, я тебя кочергой огрею, если будешь соваться – вот пресвятая мать, огрею! – грозила она.

– Ну, чорт с тобой, леший тебя дери!

Сидя в ванне, почти рядом с кухней, одеваюсь и раздеваясь, я постоянно слышал эти перебранки и другого не слышал. Она, что называется, «поедом ела его», а он принимал все это равнодушно, отгрызаясь, или встряхнет головой, усмехнется и идет ко мне в переднюю, если ему становилось уже невмочь. Видно было по его равнодушию, что он при-
вык.

Между прочим, она просила меня отдавать жалованье не Степану на руки, а ей.

– Отчего? – спросил я. – Разве он...

– Мотаает, – заметила она, поджимая губы и косясь на мужа. Он небрежно тряхнул головой и усмехнулся.

– На пустяки тратит, – прибавила она.

– Я не имею права давать никому, кроме его: если он согласится...

– Пожалуй, извольте ей отдавать: она у меня казначей! – охотно согласился он и опять усмехнулся.

– У меня целее будет! – вполголоса прибавила она, глядя в сторону. Я тогда не знал, что это значит.

Так шло дело до зимы, до рождественских праздников, без всяких особых событий. Были кое-какие неудобства. Например, через месяц по водворении у меня этой четы, появились тараканы. Они наполняли не только кухню, но и мою гардеробную, и ведущий в нее коридор, и переднюю. Наконец стали появляться у меня в комнатах. Я указал им на это.

– Что это такое за гадость? – говорю.

– Это... тараканы-с! – почти в один голос, с невозмутимым спокойствием отвечали они оба. Степан при этом сгребал ползавших на виду насекомых горстью и бросал или в форточку, или куда-нибудь в лохань.

– Чтоб их не было! – сказал я, – надо вывести. До вас я никогда ни одного не видал!

– Как это можно! – сказала Матрена, косясь на меня, – мы не с собой их привезли. Где их нет! Где мы ни жили, везде были – что клопы, что тараканы!

– Не было до вас, – строго подтвердил я, – надо вывести: я порошку куплю.

Но порошок не помогал, и тараканы оставались все время, пока они у меня жили. А они жили около двух лет.

Иногда я пробовал искусство Степана готовить стол, так как он хвастался, что был хорошим поваром.

Он недаром хвастался: в самом деле он хорошо готовил. Я иногда приглашал друзей отведать его стряпни – и все не могли нахвалиться вкусными русскими блюдами.

Я стал было привыкать к домашнему столу и подумывал обратить Степана к его прежне-

му ремеслу, сделать своим поваром, прибавить жалованья и обедать у себя – словом, жить домом. Он, казалось, и сам не прочь был от этого.

– Что же-с – могу! – с самоуверенностью говорил он. – Я все умею: и супы-пюрэ, и какие угодно, и соус к рыбе и спарже, пирожное тоже всякое: вафли, крем шоколадный или с ванилью...

Он перебрал целую поваренную книгу.

– Только надо кастрюль, сковород и другой посуды купить, – прибавил он.

– Все купим.

– Погреба нет, – вдруг спохватился он, – желе, заливное, тоже что останется от стола, в холод некуда поставить...

– И погреб найму, – говорил я.

– Что же-с: я готов! Хозяйство у вас не бог знает какое большое, семейства нет, гости редко: управлюсь...

И жена его поддакивала, но нерешительно, и ядовито косилась на него при этих переговорах. Я не знал, отчего это, но потом узнал.

Подходил праздник рождества. Я изредка, все еще в виде опыта, обедал дома – и всегда

хорошо, вкусно. Я успел прикупить столового белья, посуды, вилок, ножей. Однажды я позвал двух приятелей попробовать моего хозяйства, дал Степану денег, заказал, что купить и приготовить, и ушел со двора до обеда.

Воротясь домой часов в пять, я узнал, к ужасу моему, что печь не топилась, стола не готовили и что Степана – с утра нет.

– Как ушел за провизией, с тех пор и не бывал! – прибавила Матрена, не то с тоской, не то злобно.

– Как же быть: сейчас гости придут! – говорил я. – Обед не успеет, если он не придет сейчас: когда готовить!

– Он не придет сегодня: разве к ночи! – сказала она в сторону.

– Что же это значит? – спросил я. – Куда он ушел?

– А вы зачем ему деньги на руки дали? – вдруг едко упрекнула она, – я просила мне отдавать. Я бы сходила с ним на рынок и провизии бы купила: теперь кушали бы и деньги были бы целы...

– Разве он всегда так делал?

– Всегда-с. Он, бывало, когда служил пова-

ром, получит рублей двадцать жалованья, зайдет в трактир... и ни копейки домой не принесет...

– Ужели же все двадцать рублей промотает? Что ж он, шампанское, что ли, пьет...

– Какое, сударь: он с двух рюмок уж пьян! А начнет угощать всякого, а что останется – у него вытащат...

– Где же он? Отыскать бы его да привести! – говорил я растерянно.

– Где ему быть: в кабаке или харчевне! Можно отыскать – да зачем? Пусть там и останется! Боже оборони, лишь бы не пришел! Я его не пущу! Он, пьяный, злущий, презлущий! Пусть ночует хоть на улице или в части...

– Так он пьет: вот ваш секрет!

Она молча косилась в угол.

– Кабы не пил запоем, разве его отпустили бы от местов! Да его бы обеими руками держали! У каких генералов живал он; в княжеском доме жил! Поживет, поживет месяц-другой – и откажут. Тогда ко мне опять на шею, сокровище эдакое, явится! Я на старости, горемычная, мыкаюсь, мыкаюсь с ним...

Она пробовала заплакать, но слез не было, и она утирала сухие глаза.

– Хоть бы сгинул, окаянный! – заключила нежная супруга.

Так кончилась моя иллюзия насчет домашнего стола.

Степан до ночи не приходил, а ночью силою стучался в дверь кухни, но впущен не был и провел ночь в дворнической, следующую ночь – в холодном сарае. И как оставался жив этот щедущный старик после таких ночей, зимой, в сарае или на сеновале – понять нельзя!

Он не являлся ко мне на глаза, пока длились праздники. Прислуживала мне Матрена и пришедший на праздник сын ее, Петруша. Этот мне подтвердил, что «тятенька его запирает, как только получит деньги. И тогда озорничает, дерется с мамкой, таскает и его за вихры, бьет и ломает, что попадет под руку». Словом, из кроткого, смиренного старика обращается в зверя. «Мы с мамкой запираемся от него на ночь, не пуцаем!» – добавил он.

Потом он, когда пропьет деньги или у него утащат их из кармана товарищи попойки, ма-

ло-помалу перестает пить, ходит дня три как шальной, мелет про себя несвязный вздор и постепенно приходит в себя, принимает свой кроткий образ, с добродушным взглядом и улыбкой.

Таким он и появился ко мне после праздников и принялся за свое дело как ни в чем не бывало.

На масленице произошло то же самое. Между прочим, он особенно разбушевался в последний день, ломился в дверь кухни, и когда его не пустили, он ходил по двору, кричал, ругался, так что дворники кое-как увели его силою. Я слышал этот шум.

Когда он после того явился ко мне, уже отрезвившийся, я заметил ему, что я буду искать себе другого слугу, и пригрозил, что если он будет так кричать по двору, делать скандал – я пошлю за городovým и препровожу его в полицию. Он стал передо мной на колени, скрестил руки на груди и голосом глубокого убеждения и с чувством произнес:

– Нет, вы этой низости со мной не сделаете!

Я действительно не сделал этой «низости»,

ради его добродушия, – и продолжал иногда пользоваться его поварским искусством, обедавая изредка дома. Денег на провизию я, конечно, уже ему на руки не давал – и все шло хорошо.

Были мне иногда досады другого рода. Когда случалось два-три дня праздника, Степан обыкновенно исчезал из дома, покидая все заботы на жену и сына Петрушу. Иногда мне случалось не застать никого дома, кроме Петруши, который или играл в бабки в углу двора с мальчишками, или спал дома так, что его не добудиться и не дозвониться. А однажды он сидел на крыльце и плакал.

– Что ты плачешь? – спросил я.

– Да все ушли, я один... боюсь!

– Где же отец и мать?

– Тятенька в кабаке, а мамка ушла к обедне, да вот нейдет...

К вечеру она явилась и, как показалось мне, тоже навеселе. Я уже о муже не спрашивал, где он.

– Где ты была, Матрена? Все разошлись: дом пустой! Как же это можно!

– Нынче ильинская пятница: я на Порохо-

вых заводах была! – обидчиво отозвалась она. – Нельзя же: все люди, как люди – я точно не человек! На мне, чай, крест есть!

Это случалось очень часто. То родительская суббота придет, то троицын, духов или успеньев день, то она на Смоленское кладбище пропадет на целый день. Великим постом особенно отсутствия эти были часты.

– Где была? – спросишь, бывало.

– На стоянии Марии Египетской, или ко кресту ходила: нонче середокрестная неделя!

Отлучалась тоже и в лазареву субботу, за вербами, и в лазарево воскресенье, и ко все-нощной с двенадцатью евангелиями и т. д.

Все эти праздники служили ей более предлогами к угождению «мамоне», как я замечал, а не проявлением благочестия. Когда она приходила домой, от нее не святостью пахло. Муж и сын сидели, во время этих отлучек, не евши – и первый тоже уходил в свою очередь, и я оставался сиротой, без прислуги, и квартира пустая.

Последние три дня перед большими праздниками меня почти выгоняли вон. Начиналась возня, чистка, уборка, печенье куличей,

крашенье яиц – и особенно чистка икон. Когда, бывало, зимой или осенью, заметишь паутину по углам или сор какой-нибудь и пыль на шкафах, вообще запущенность и неопрятность, и предложишь поубратся, всегда получишь в ответ: «Вот ужо, к празднику (иногда месяца за три) станем образа чистить, уберем все, и паутину снимем, и пыль сотрем».

Я заметил, что никто из моих слуг, ни один, никогда, по своему почину, без положительного и настойчивого моего приказа, не оботрет пыли, например, с мебели, с разных вещей. Пол еще выметут, а затем уже надо, что называется, носом ткнуть, чтоб русский слуга увидел беспорядок, пыль, и убрал.

Наконец я стал замечать, что у Степана с Матреной начались, вместо перебранок, лады. Я заставлял их всех троих за чаем – и тут же видел иногда стаканы и штоф. Они все трое бывали в веселом настроении. Я стал чуть что-то недоброе в этом семейном согласии и побаивался. Боязнь моя оправдалась.

Однажды, в глубокий зимний вечер, заглянув к ним, я застал веселую семейную сцену, как будто с картины Теньера. Степан сидел

совсем пьяный, жестикулировал и командовал Петруше.

– Пляши, Петька, пляши, собачий сын!

– Разве мать-то у него собака! Вот ты – так старый пес! – говорила Матрена. – Пстой, я тебя! Не пляши, Петя... не слушай!

– Пляши, подлец! – командовал Степан, – я приказываю!

– Не пляши! – запрещала она, – на, вот, лучше выпей!..

Она дрожащею рукой наливала ему стакан.

– И я выпью, и мне дай! – говорил совсем осовевший Степан.

Она проворно отставила вино в сторону.

– Будет с тебя, не дам: смотри, как нагрузился, на неделю!..

– Наливай, раба! Ты раба моя! Что сказано в писании: «Прилепись к мужу, повинуйся». Наливай же, а то я вот тебя...

Он встал и с поднятой табуреткой, шатаясь, двигался к ней, мимоходом сшиб свечку со стола на пол. Мальчишка заревел: «Ай, тятка, не трогай мамку!»

Я все это видел, стоя в дверях, и поспешил

прекратить безобразную сцену.

Я увидал, что все трое были пьяны.

Я скоро после того уволил их – и потом уже, года через два, слышал от своих приятелей, знавших Степана в лицо, что они видали его в Казанском соборе, просящим милостыню. Еще через год или два зашла ко мне однажды Матрена попросить «на бедность», а затем вскоре и на похороны старика. Она рассказала, что он все пил, пил, наконец, «ослаб», не мог выходить, руки и ноги стали трястись, потом окоченели, и он умер тихо, мирно, приняв святых таин, и перед самой смертью произнес: «Проклят тот, кто выдумал водку пить!»

IV Матвей

Я всегда смотрел косо на пьяниц – во всяком быту. А мне, как нарочно, выпало терпеть их около себя. Я никогда не был покоен: пьянство – ведь это перемежающееся умопомешательство, иногда опасное, разрешающееся какой-нибудь неожиданной катастрофой, как уже отчасти и было с Антоном, а нередко и большой бедой.

Мои беспокойства длились с лишком два года: мне во что бы то ни стало хотелось сбыть это домашнее иго. Для этого прежде всего нужно было решить вопрос – где искать трезвого слугу?

Задумчивый, печальный, направился я к Анне Петровне, своей приятельнице, охотнице устраивать свадьбы.

– Что это вас давно не видать? – встретила она меня. – Да что вы такой невеселый?

Я молча опустился на диван подле нее, около ее рабочего столика.

– Отчего быть веселым? – вяло заметил я, в раздумье о том, как мне устроить свой угол так, чтоб не мучаться – в ожидании то воров, то пожара от пьяной прислуги. Меня занимал один вопрос: есть ли непьющие слуги на свете?

– Вы чем-то поглощены, – сказала она, пристально глядя мне в глаза, – у вас есть какая-то забота...

– Это правда: я ищу феномена...

– Ах, как вы хорошо сделали, что зашли! – вдруг встрепенулась она, отложила свое вязанье в сторону и подвинулась поближе ко

мне. – Представьте, у меня именно есть настоящий феномен! Красота, грация, воспитание, и какая душа, какое сердце!..

– И не пьет? – рассеянно спросил я – и сам рассмеялся. – Не может быть!

– Да вы о ком? Какой вам нужен феномен? – спросила она, равнодушно отодвигаясь от меня на свое место.

– Мне нужен... трезвый, совсем не пьющий слуга. Я сомневаюсь, чтобы нашелся такой, – и в этом моя забота и печаль.

– Женитесь, – помолчав, запела она свое, – и тогда...

– Прислуга не будет пить, вы думаете?

– Вы не будете замечать этого: напьется лакей и уйдет, там будет повар или кухарка, не то так горничная: дом никогда не останется пустым.

– Значит, мне надо жениться, кроме жены, еще на горничной, на кухарке, на лакее... «Огромная опека!..» Не шутя, Анна Петровна, не знают ли ваши люди такого человека? Дом у вас большой, семейный, людей много: у них между прислугой есть знакомства. И если найдут такой феномен, я назначил бы пре-

мию.

– Хорошо, я скажу, и если что найдется, дам вам знать, а вы дня через три зайдите. Да вот, в среду, придите обедать. У меня будут Катринь, Иван Карлыч – мы составим вистик, а я между тем расспрошу.

Я ушел.

Но еще до среды ко мне как-то утром пришел от нее буфетчик, степенный, седовласый, почтенной наружности слуга.

– От Анны Петровны, – сказал он, – кланяться приказали. Вы изволили спрашивать насчет слуги, чтоб не пил?

– Да, а разве есть такой? – спросил я.

– Есть-с... только...

– Мало пьет?

– Ничего-с, ни капли в рот не берет, только...

– Только что? Скажите откровенно: грубиян или ленив... не ворует ли?..

– Нет-с, нет! – с усмешкой говорил буфетчик. – Только, пожалуй, посмотрите на него и не возьмете... Смешной уж очень!

Я удивился.

– Смешной! Чем же смешной?

– Так, уж очень смешной...

– На вид, собой, что ли? – допытывался я.

– И собой, да и так: смешно говорит, и все не по-людски делает.

– Да умеет ли он служить, быть в комнатах, убирать, подавать чай, чистить платье, сапоги... словом, знает ли должность слуги?

– Умеет-с: как не уметь. Он у господина своего долго служил. Он крепостной; кажется, и до сих пор еще не освобожден. А только смешной! И жаден тоже.

– До пищи, что ли?

Буфетчик засмеялся.

– Никак нет-с, он не ест совсем.

– Как не ест? Подлинно феномен!

– На деньгу жаден: копит!

– Это не беда: «скупость, говорят, не глупость». Если он свои деньги бережет и не берет чужих...

Буфетчик опять засмеялся.

– Никак нет-с: свои скорей отдаст, чем чужие возьмет. Он честный-пречестный, – серьезно прибавил он, – только смешной. Выходили ему места – посмотрят, посмотрят господа на него и не берут. Мы послали за ним; ес-

ли угодно, пришлем, только вряд ли и вы возьмете, сударь. Смешной уж очень!

– Пожалуйста, пришлите! Я возьму, какой бы ни был, лишь бы трезвый: я без слуги в настоящую минуту. Мне пока прислуживает женщина от соседей.

Буфетчик пошел было.

– Да-с, вот забыл сказать, – прибавил он, – Матвей... этот самый человек – не русский, а из поляков, и господин его в Польше живет. Только Матвей по-польски не разговаривает, молиться ходит в свою церковь, на Невском...

– Ну, это все равно. Пришлите, пожалуйста, поскорее. Благодарите Анну Петровну, и я вас благодарю. Не пьет, не ворует – это клад!

На другой день утром явился и Матвей. Я готовился засмеяться, судя по описанию буфетчика, но когда посмотрел на него, смех замер у меня на губах.

Это был довольно длинный, лет сорока пяти, человек, худощавый, даже чахлый, будто только что вставший со смертного одра: кости да кожа. Небольшая голова, глаза впалые, белесоватые, как у чухонца, без выражения; большие, настежь отворенные губы, которых

он, кажется от слабости, не мог сжать, лицо с повисшими складками – точно пожелтевшей от ветхости лайки; волосы жидкие, под цвет старой рогожки. Одет в серый, длинный, поношенный сюртук с полинялым бархатным воротником. На шее был старый вязаный шарф.

У меня сердце сжалось, глядя на него. Он, казалось, едва держался на ногах. Он прямо смотрел на меня – и будто с трудом мигал и тяжело дышал. Ноги у него, начиная с колен, были как будто не свои, не натуральные, а деревянные, приставленные вместо оторванных. Руки длинные не по корпусу, как у оранг-утанга.

«Смешной! Он не смешной, он жалкий!» – думал я, осматривая его.

– Ты болен? – спросил я.

Он точно проснулся.

– Никак нет-с! – торопливо сказал он. – Я, слава богу, здоров.

– Отчего же ты такой худой и бледный? Разве ты всегда был такой?

Он широко улыбнулся, губы распахнулись и обнаружили бледные десны. В нижней че-

люсти недоставало зуба.

– Сызмалу, может быть, был другой, – говорил он тихо, с передышкой, пещерным голосом, как умирающий. – А с тех пор, как стал помнить себя, – я все такой, как теперь...

– Ты не пьешь, сказывают? – продолжал я.

– Нет-с, не пивал и не пью ничего, кроме чаю да воды!

– Это хорошо, а вот, говорят, что ты и не ешь: это уж нехорошо. Оттого ты и такой худой...

– Нет-с, это не оттого, – с жалкой усмешкой заметил он, – это от другого...

– Отчего же?

– Бит больно бывал.

Он как-то жалко, болезненно взглянул на меня.

– Кем бит?

– Известно, барином.

– А кто твой барин?

Он назвал польскую фамилию, которую я теперь забыл.

– Он служил в военной службе, в гусарах, – продолжал Матвей, – денщиков не брал, получал за них деньгами, а я был у него вместо

денщика. Вот он и бивал меня, крепко бивал!

Он с трудом, всей грудьюдохнул, точно в изнеможении.

– За что же?

– Так: вздумается и побьет. Известно, барин за все может бить, ответа нет ему. Чуть что не потрафишь, и начнет: и кулаками, по голове, и коленками тоже, а иной раз саблей ударит или сапогом...

Я с ужасом слушал этот рассказ и поверял, глядя на него, жестокую правду этих истязаний.

– Иной раз невмочь было ездить с ним на перекладной телеге по тряской дороге, он спихнет с телеги и велит притти до места пешком... Я с годами и ослаб. Вот он и взял казенного денщика, а меня отпустил на оброк. Пятьдесят рублей оброку положил...

Все это он рассказывал с передышкой, умирающим голосом, медленно открывая и закрывая глаза.

«Боже мой, какой жалкий! А те находят его смешным!» – думал я, с глубоким состраданием слушая его.

– Все хочу откупиться на волю, да дорого

просит, – продолжал он, – семьсот рублей! Я давал четыреста – не берет.

– А у тебя есть столько денег? – спросил я.

– Теперь уже нет: осталось меньше трехсот, – почти шопотом прибавил он. – Без места долго был, платил за угол, и в долгах тоже рублей шестьдесят пропадает: не отдают.

Он вздохнул.

– Да я прикоплю и выкуплюсь! – довольно живо заключил он. У него даже глаза засветились. Видно было, что выкупиться на волю было его заветной мечтой.

«Так вот отчего он жаден на деньги! – думал я, – свободу хочет купить! Бедный, жалкий, жалкий!»

– Ты не торопись: может быть, и даром отпустят. Теперь идут толки об этом... – сказал я.

Тогда действительно в высших сферах был затронут этот вопрос. Но наступившие политические события в Европе отодвинули его на второй план⁶. Но он не заглох – и толки принимали уже довольно определенный характер. Пока тихо, под спудом, но что-то готовилось...

– Бог с ним, с барином: я внесу, вот только понакоплю денег! – заключил Матвей. – Может быть, барин и правов-то не имеет: никаких, говорят, бумаг у него на нас нет, а держит!

Он тяжело вздохнул.

Жалкий! Жалкий!

– Где же накопить такую большую сумму? – спросил я. – Из жалованья трудно, не есть совсем – нельзя...

– Я наживу, барин, наживу: годок, другой-третий, семьсот рублей и больше наживу...

– Чем же? – спросил я в недоумении. – У тебя ремесла никакого нет...

– Процентами, – тихо, почти с лукавой улыбкой, сказал он. – В долг деньги берут, под залог – и хорошие проценты платят. Кому пятьдесят, кому семьдесят рублей нужно: дают по два, иногда по три процента в месяц.

«Ты... мелкий ростовщик!..» – хотел я сказать, но удержался. Он был так жалок. Я даже мысленно оправдывал его: он искал свободы!

– Как же ты можешь служить! – сомневался я. – Хоть у меня и не бог знает какая служ-

ба, однако все же надо и дров в печку положить, и затопить, и убрать комнаты, чистить платье. Случается иногда послать куда-нибудь... А ты такой слабый, щедушный... где же тебе?..

К удивлению моему, Матвей вдруг ожил, точно я его своими словами вспрыснул, как живой водой. Глаза и лицо просияли, губы раздвинулись в широкую улыбку, обнаружив десны. Он зорко осмотрел всю комнату, мебель, шкафы с книгами, зашевелил руками, ногами.

– Все это могу-с, все сделаю: и печки буду топить, комнаты убирать, платье чистить, самовар ставить и чай готовить, и в лавочку ходить, за булками, и куда еще пошлете – и все прочее... все исправлю...

Он говорил не прежним потухшим голосом, а твердо, скороговоркой. При этом губы и нос его с каждым словом описывали круги. Он даже молодцевато тряхнул головой.

– Ну, я очень рад. Вот тебе денег, ступай, вези свои вещи, – сказал я.

Он отступил.

– Нет-с, барин, покорнейше благодарю... у

меня есть... Как можно спервоначалу, еще не заслужил, а вам убыток! Нет-с, нет! – сказал он и к удивлению моему денег не взял. Это как-то противоречило с его жадностью к наживе.

– Я часа через два на извозчике все привезу... – заключил он.

Я ему показал его помещение и все мои комнаты.

– Вот твои, а это мои владения. Держи в порядке, чистоте. Ты часто ходишь со двора?

– Только в церковь, в воскресенье, не каждое, а то никуда-с.

– А знакомые есть?

– Есть кум у меня женатый: он редко, в месяц раз зайдет, больше никогда, никого-с...

– Вот и белье мое, и шкаф с платьем. Там, в той комнате, посуда, серебро...

– Пожалуйста «ерестрик»: я все проверю и приму, – сказал он.

– У меня никакого реестра нет: я тебе верю.

– Так я сам все запишу; без ерестра нельзя: боже оборони – пропадет что-нибудь! – сказал он и ушел, двигая ногами в стороны, как деревянными.

Устроившись сам, он дня два-три все разбирал мое добро. Записал платье, белье, серебро, каждую чашку, ни одной тарелки не забыл, и скрепил своей подписью: «такого-то числа принял Матвей».

Он принес мне этот «ерестр». Я хотел было бросить его в корзинку, под стол. Но он сделал такую умоляющую мину и так жалостно просил меня проверить, так ли и все ли он записал, и спрятать в стол, что я на последнее согласился, а проверять отказался наотрез.

– Если что износится или разобьется, вы извольте отметить на «ерестрике», – приставал он ко мне, – а если я что разобью или потеряю, так из жалованья у меня вычтите...

– Если ты меня будешь беспокоить этими пустяками, так я твой «ерестрик» в клочки разорву – слышишь? – внушительно сказал я ему. – Я даю тебе полную свободу бить посуду, ломать или терять вещи – и никогда с тебя за то ни гроша не взыщу. Прошу только об одном: не пей!

– На этот счет будьте покойны, барин! – сказал он, показав улыбкой обе десны.

«На этот счет: а на какой счет мне не сле-

дует быть покойным?» – подумал я.

Наблюдая за ним еще несколько дней, я видел, что он все как-то двоился: когда молчал, не двигался, слушал, что ему говоришь – он сохранял свой вид изнеможенного, забитого человека. Не сжимал губ, отвечал будто с трудом и еле дышал. То вдруг просыпался, точно от сна, и обнаруживал признаки жизни. Каждый вечер я, однако, ложился с некоторым сомнением: доживет ли он до утра?

Я сказал ему, между прочим, чтобы он убирал мои комнаты по утрам, когда все тихо кругом, пока я еще в спальне.

Утром следующего же за тем дня, вставши, я только хотел позвонить, как услышал ужасную суматоху, возню, стукотню в комнатах. Падали вещи, что-то звенело, валилось.

Я заглянул туда. Вижу, мой Матвей, без сюртука, в одном жилете, раскидывая нескладные ноги врозь и простирая длинные руки в стороны, бегаёт, скачет по моему кабинету, точно ловит курицу по двору. В комнате все было не на своем месте: мебель сдвинута, все раскидано, книги в куче на полу, мелкие вещи на окнах и т. д.

– Что ты делаешь? – спросил я.

– Убираю-с! – сказал он, оборачиваясь ко мне и обнаруживая десны. – Вот лестницу у дворников достал, печку вымыл, со шкафов сор смел, теперь лампы перетру, остались только книги!.. – хвастался он.

Я отвернулся, чтоб не захохотать: так он был смешон! Ни изнеможения, ни вялости, ни мертвого вида, – просто смешон, невыразимо смешон!..

– Что же тут стукнуло, зазвенело? – спросил я.

– А вот как я шкафы обтирал, так книжки свалились сверху, да вот еще стекло от лампы упало, разбилось... Я, барин, другое куплю, на свой счет...

Он схватил одной рукой щетку, другой тряпку и начал опять бегать, скакать, ловить курицу, сшиб со стола пепельницу, щеткой стукнул по зеркалу.

– Оставь! довольно убирать! – сказал я, опять отворачиваясь, чтоб не захохотать. Но он как будто не слышал и долго еще возился, ставил все на свое, или, лучше сказать, не на свое место. Тяжелые фолианты грудой нава-

лил на хрупкую этажерку, назначенную для фарфора и разных легких вещей: она гнулась под тяжестью книг. А легкие вещи, между прочим, статуэтки, пресс-папье, занес на шкаф.

– Так лучше, барин: там целее будут! – хвастливо прибавил он и очень удивился, когда я велел сию же минуту сделать все наоборот: снять книги с легкой этажерки и поставить опять на шкафы, а легкие вещи разложить на столе.

– Видишь, что ты наделал: почти совсем раздавил этажерку, – вон она шатается!

Он посмотрел на погнувшуюся этажерку в недоумении, разиня рот, вздохнул и поставил нехотя все, как я велел.

В воскресенье, часа в четыре дня, он попросился у меня в свою церковь.

– Какая же у вас служба теперь, в эти часы? – спросил я.

– Сегодня у нас «супликация» будет.

– А кроме супликации еще что бывает?

– А в следующее воскресенье будет «наука», потом, через неделю, еще «проповедь».

Кроме этих выходов в церковь, он не отлу-

чался ни шагу. О вине и помину не было. К сожалению, он воздерживался, повидимому, и от пищи: по крайней мере я не замечал у него ничего съестного, кроме остатка селедки, огурца, редьки, так что я почти принуждал его «употреблять» остатки моего завтрака, советовал протапливать печь, варить себе какой-нибудь суп, предлагал ему денег купить мяса. Мне хотелось, чтоб он вошел, что называется, в тело.

– Нет-с, барин, нет, зачем стану я вам убыток делать! Бог даст проживу! – говорил он медленно, с передышкой, и денег на провизию не брал.

– Вот дождемся праздника, тогда запекую окорочек, – весело прибавлял он, – сделаю пасху на сметане, накрашу яиц: придет кум, и разговеемся!

У него даже глаза блестели и явилась смачная улыбка. Он почти облизывался. Чуть румянец не заиграл на щеках. Потом он внезапно опять принял свой мертвый вид.

Жалкое и смешное мешалось в нем так слитно, что и мне приходилось поминутно двоиться в моем взгляде на него. Только что

расхохочешься невольно, глядя на его ужимки, прыжки, на эту наивную улыбку с обнаженными деснами, как вдруг сердце сожмется от боли, когда он прервет свою речь тяжелым вздохом и закроет потухшие глаза. На этом, обвисшем в складках, бледножелтом лице опять прочтешь неизгладимую историю перенесенных им истязаний.

– Ты много страдал, Матвей? – сказал я ему однажды, когда он принес мне поднос с чаем, и с участием глядя на него. – Какие жестокие боли ты вынес, ты просто мученик! Тебя надо в календарь, в святые включить: вон как худ! Преждевременно сколько морщин!

– Нет-с, барин, это что за боли: это ничего! – молодецвато отговаривался он. – Такие ли бывают! Это легко... а те вот страшные!

– Какие же еще есть такие страшные боли? – спросил я.

– Их три, три мученические муки, – сказал он с убеждением. – Наш ксендз, отец Иероним, сказывал: «Нет, говорит, тяжеле этих самых мук: когда, говорит, зубы болят, когда женщина родит и когда человек помирает».

– А он почему же знает, твой ксендз? Про

зубную боль, пожалуй, еще так, если у него болели зубы. А про роды или про смерть, как он может знать: ведь он не родил сам и не умирал тоже?

– Ксендзы все знают! – с благоговением произнес Матвей, закрывая глаза. – Все-с. Знают, зачем каждый человек рождается на свет, а когда умирает, знают, что с его душой в шестой и девятый день после смерти делается и по каким «мутарствам» ходит она. Да-с! – со вздохом заключил он.

Кто-то в эту минуту позвонил. Матвей мой вдруг вспрянул, куда девалось изнеможение! почти бросил поднос с чаем, одним прыжком очутился в передней и отпер дверь.

– Дома-с, пожалуйста! – бодро и живо говорил он и так усердно стаскивал с гостя пальто, точно грабил его. Тот, входя, покосился на него с улыбкой.

– У вас новый слуга? – спросил он.

– Да. И непьющий, подивитесь!

– В самом деле? Поздравляю: это редкость. Только, какой он... смешной!.. – заключил он, глядя, как Матвей ухватил с обезьяньим проворством поднос со стола и, раскидывая ноги

врозь, понес в буфет, задев плечами за дверь.

Я вскоре к свойствам «жалкий», найденным в Матвее мною, и «смешной», каким находили его другие, должен был прибавлять новые эпитеты, по мере того как наблюдал его. Он становился для меня весьма сложным и любопытным этюдом характера. Я затруднялся найти в нем преобладающую черту, чтобы подвести его под какую-нибудь категорию общечеловеческих видов. Пока я заметил выдающимся – страх перед «убытками». Это слово являлось чаще всего у него в речи.

Между прочим, он был неумолимо аккуратен и беспощадно честен. Первым он причинял мне немало досад. Потом был еще упрям, как вол, и этим иногда выводил из себя. Я понимал, как это должно было бесить его барина, молодого, горячего гусара.

– Поди отнеси эту книгу и отдай швейцару, – скажешь ему, – тут недалеко, в таком-то доме.

– Я, барин, лучше ужо снесу, вот когда посуду перемою и когда вы уйдете...

– Теперь, сейчас снеси! – надо приказывать строго. Иначе не пойдет.

– Отнеси эти письма и посылку на почту, – приказал я ему раз, – сдай, потом зайди к портному и заплати ему по этому счету: вот деньги, да не забудь взять расписку.

Воротясь вечером, я нашел посылку и письма в передней на столе. Я удивился.

– Что же ты не отдал? – строго спросил я.

– Опоздал, барин, – жалким голосом оправдывался он, – портной каким-то господам примеривал платья: я, почесть, час ждал. На почте приема уж не было...

– Ведь я тебя прежде на почту послал!

– Я думал – по дороге зайду прежде лучше к портному...

И так на каждом шагу: какая-то страсть к противоречиям!

Однажды, имея спешную работу, – это было уже месяца четыре спустя, как он поступил ко мне, – я настрого велел ему никого не принимать в течение нескольких дней. Я слышал не раз звонок: приходили, он отказывал, подавал потом мне карточки – все как следует.

Но вдруг слышу однажды, он кого-то усердно просит. «Пожалуйте, дома-с!» – говорит.

Я с изумлением жду. Входит один скучный, болтливый господин, которого я и в свободное время избегал. Когда он ушел, я спросил Матвея, почему он, несмотря на мое приказание, принял гостя?

– У него две звезды на обеих грудях: как же эдакого барина не принять: он «винерал»! – оправдывался Матвей. Генералов он называл «винералами» и питал к ним какое-то суеверное почтение или боялся, как больших собак, бог его знает!

После того пропустил несколько человек в течение двух-трех дней. Я работал в тишине неумоимо, никто не мешал. Вдруг опять слышу однажды громкий звонок, в самый разгар моей работы, и опять приглашение Матвея: «Дома-с, пожалуйста!»

Раздался шумный шелест женского платья, точно ветер пробежал по лесу, влетела барыня, frou-frou[160] и расселась, закрыв юбками весь диван.

– Что вы тут делаете, такая погода – а вы сидите за работой! Бросьте, бросьте! – зачастила она. – Я приехала похитить вас; дачу еду смотреть: поедемте, поедемте без отгово-

рок!

У меня утро пропало. Я, как только воротился, сейчас обратился с вопросом к Матвею, зачем он принял гостью?

– Барыня! – говорил он в свое оправдание, – я думал, как бы вы не разгневались, если не приму...

– Накануне, однако, ты не принял одной барыни: зачем же эту пустил? Кто тебе позволил? – строго приставал я.

– Та, барин, пешком приходила, одета неважно: я думал, на бедность просить пришла... боялся, вам убыток будет – и не принял...

– Ведь тебя твой барин, пожалуй, побил бы за это непослушание, как ты думаешь? – спросил я.

Он горестно вздохнул.

– Голову бы проломил, – с жалкой улыбкой отозвался он.

– Зачем же не слушаешься: принял барыню!

– Да у ней, барин, на козлах кучер в ливрее сидит и по-русски не говорит: англичанин, что ли, какой... Я и подумал, как не принять!

Я стал привыкать и к этой новой черте. Но вот к чему нельзя было привыкнуть – это к его аккуратности. Дашь ему рублей десять, двадцать на расходы: чай, сахар, булки, сливки и прочее. Когда деньги израсходуются, он является ко мне с запачканным листком на серой бумаге, где все записано до последней мелочи, и требует, чтоб я поверил. Тут же принесет и остаток, какой-нибудь двугривенный или медные. При этом никогда не преминет помянуть, что стало дороже, что дешевле.

– Сахар двумя копейками на фунт дешевле, барин! – с сияющими глазами скажет или, наоборот, с унынием объявит, как о сердечной утрате... – на черный хлеб, барин, копейку набавили!

Он переносил все: и побои своего барина, терпел постоянную голодуху, падал силами от работы, но не падал духом. Только страх «убытков» превозмогал в нем все.

Я делал вид, будто просматриваю счет, потом дам опять денег, а счет брошу тихонько под стол. Но он заметит, достанет его и тихонько же подложит ко мне в бумаги, пока я не разорву.

Иногда вдруг он сует мне под нос десять или двадцать копеек. «Это лишек, скажет, в прошлом счете ошибкой два раза записано у меня за одни булки, так вот извольте...»

Взглядывая иногда мельком в эти счета – я не мог воздержаться от улыбки от его орфографии, а он принимал эту улыбку за одобрение и тоже улыбался от удовольствия. Орфография эта была своеобразная. Он признавал буквы ъ и ы, но никогда не употреблял их где надо: например, писал «свѣкла», «смѣтана», «свечы», а слова «хлѣб», «хрѣн» и т. п. писал «хлеб», «хрен» и т. п. Букву ъ он считал, кажется, совершенно лишнею или «игнорировал», как говорят у нас печатно некоторые... знатоки французского языка.

Иногда Матвей лез ко мне с этими счетами среди занятий. Я молча смахивал со стола счет и мелочь и взглядывал на него, должно быть, звероподобно, потому что он тотчас со вздохом удалялся к себе.

Он жил у меня уже года два – и я все более и более успокоивался. Он был верным моим, хотя и смешным хранителем и опорой моего холостого гнезда. Мои гости тоже привыкли к

нему и только улыбались, глядя на него и особенно на его длинный, серый сюртук. Я ему отдавал все свои платья, но никогда не видал, чтоб он носил какое-нибудь из них. Куда он их девал, я не знал и теперь не знаю. Я настоял, после упорной борьбы, на одном, чтоб он при гостях иначе не входил в комнаты, как в черном, почти новом сюртуке, который я подарил ему, вместе с панталонами, галстуками – и даже дал перчатки, чтоб подавать чай. Насилу я добился этого. Но когда он оделся во все это, я должен был сознаться, что он стал еще смешнее.

Были в нем еще некоторые, несвойственные ему, так сказать, эпизодические черты, как-то мало идущие к его измученному, больному организму. Это были какие-то шаловливые, почти ребяческие выходки, но они мгновенно, гальванически, пробуждали тлевшую в больном теле искру жизни и тоже превращали этот ходячий труп – в живое, прыгающее, скачущее, как обезьяна, существо.

Бывало, он, когда я одеваюсь, держит передо мной сапоги или полотенце, или готовится подать сюртук, или несет поднос с завтра-

ком – словом, в полном отпавлении своей обязанности, и вдруг услышит удар барабана с улицы, проходящую мимо музыку, – он мгновенно бросает все, что у него в руках, и исчезает. Я только слышу стук будто катящихся с лестницы камней – это его убегающих ног. Я остаюсь с одним сапогом в руке или с намыленной щекой и жду.

Окликнуть его, воротить – был бы напрасный труд: он, как испуганная, закусившая удила лошадь, ничего не видит и не слышит. Минут через десять он возвращается, почти всегда сияющий, удовлетворенный. – «„Винерала“ (то есть генерала) или князя такого-то везут хоронить», – донесет он и расскажет, какой полк шел провожать или «антирерия», кто ехал верхом, кто шел пешком, сколько карет было и т. д.

Я пробовал сердиться, увещевать – ничего не помогало. Заиграет завтра музыка, он опять исчезает. Однажды он так же исчез, хотя и музыки не было. Но у него был такой чуткий слух, что он мигом схватывал ухом всякое необычное движение или звук, шум на улице или на дворе. Он прибежал все-таки си-

яющий, потому что какое-то зрелище было, но и с недоумением на лице.

– Что там такое случилось? – спросил я, – и зачем ты бросился, как мальчишка?

– Арестантов казнить повезли! – выпалил он, сияя от новости небывалого случая.

Я смотрел на него, не сошел ли он с ума.

– Как казнить: каких арестантов? Что ты городишь!

– Правда, барин, – жандармы, казаки, полиция с ними, а они в зеленых каретах едут... женщины кучей идут за каретами, всё сморкаются, потому плачут: жалко мужей, сыновьев...

Это оказалось отчасти правда. Действительно, по Литейной улице провезли партию осужденных, только не на казнь, как говорил Матвей, а просто ссыльных.

Еще другое обстоятельство вызывало жизнь в моем мертвенно-бледном слуге. Это ловля воров и расправа с ними. Никогда, ни в каком охотнике, ни прежде, ни после, мне не случалось замечать такой лихорадочной страстности в погоне за самой интересной дичью, как у Матвея за ловлей воров, и глав-

ное – за битьем их.

Не раз он, сияющий, блещущий жизнью, как внезапно расцветший цветок, доносил мне, что в доме, иногда по соседству, поймали где-нибудь на чердаке, в подвале или застали в квартире или в лавке вора.

– Что же, в полицию отвели? – спрашивал я равнодушно.

– Нет, барин, как можно: из полиции его завтра выпустят. Нет, мы сами его отколошматили: будет помнить!

– «Мы»: да разве ты был там?

– Как же-с, барин, был! – одушевленно, скороговоркой, добавлял он, показывая десны. – Как только дворники схватили, я, почесть, первый прибежал и помогал держать. Славно «наклали» ему: в кровь все лицо!

– И ты бил? – спросил я, сам боясь ответа.

– Самую малость, барин: я больше за шею его держал, за галстук, вот так, чтоб не убег!

– И тебе не стыдно, не грех? – наступал я на него.

– А он зачем чужое берет, барин? Какой «убыток» тому, кого обокрал! Так ему и надо! – энергически подтверждал он.

Случилась такая ловля однажды на даче, на Выборгской стороне. Я занимал с одним приятелем верх на даче протоиерея, а хозяин с семейством жил внизу. Дом стоял среди густого сада. У нас вверху было четыре комнаты и в стороне особое помещение для Матвея.

Мы с приятелем сидели однажды у длинного стола, перед открытым окном, в темную ночь, в конце августа. В доме и в саду была безмятежная тишина. Хозяин отбывал в городе свою очередную неделю. Семейство было с ним, и дом был пуст.

Я читал, сожитель мой сидел за казенными бумагами. Ночь тихая, ни зги не видать. Только я вижу, приятель мой пристально всматривается во что-то из окна в темноту. Наконец спрашивает кого-то: «Что ты тут делаешь? что тебе нужно? Зачем ты влез на дерево?»

– С кем вы разговариваете? – спросил я.

– Да вот кто-то на дереве сидит.

Я выглянул в окно и ничего не мог разглядеть.

Но этот разговор моего приятеля с кем-то в темноте и мои вопросы уже разбудили вни-

мание Матвея. Он почувствовал что-то необычное. «Вор, вор!» – проговорил он, вихрем мчась мимо нас, почти не одетый, в рубашке, с накинутым сверху своим серым сюртуком, затопал по лестнице и скрылся в саду.

Я шутил над моим сожителем, обратившись к вору с вопросом: «Зачем он влез ночью на дерево и что там делает?»

Через добрые полчаса вернулся Матвей, радостный, торжествующий, и донес, что вправду воры были. Он разбудил сторожа, двух садовников – и все погнались за ворами, но двое убежали, а третий зацепился полой за плетень и был ими захвачен.

– Что же вы? – спросил я.

– «Наклали» порядком! – хвастался он, – будет помнить! Как выпустили, так и бежать не мог... Идет по переулку, да просит: «Отпустите, Христа ради!» А мы идем, да кто его в шею, кто по скуле...

Он показывал, как били.

– И ты тоже? – спросил я с омерзением.

– Нет, барин, я только за шиворот его крепко держал и вел, а вот сторож, тот больно бил...

– И тебе не грех это?

– Они, барин, собирались у нас внизу всю дачу обокрасть: тут и тачка у них была припасена... из соседнего сада взяли, и мешки принесли... Если б обокрали дачу, на сторожа подумали бы... Ему досталось бы. Поп-то строгий, скупой... Какой ему убыток!

Приятель мой засмеялся.

– Какой смешной этот Матвей! – сказал он.

А мне он казался нераздельно – и смешной, и жалкий, а в этой ловле воров отчасти и гадкий.

Шли годы. Я жил, точно семейный: безопасно, уютно, не заботясь о целостности своего гнезда и добра, и благословлял случай, пославший мне такого друга-слугу. Да, друга, потому что в нем обнаруживались признаки – хотя рабской, то есть лакейской, оставшейся от крепостного права, но живой преданности ко мне и к моим интересам, материальным разумеется. Другие интересы были не по его разумению, и он в них не мог входить. Ему, например, непонятно было, как это я, сидя за «книжкой» или за какой-нибудь «бумагой», могу пренебрегать его «ерестром» или счетом

из лавок, где забрано разного товара рублей на двадцать, и, не отрывая глаз от книги, рву счет и бросаю под стол, а сдачу, иногда двадцать, тридцать копеек, смахиваю ладонью со стола, как сор! Убыток!

Еще он частенько надоедал мне, кроме своего упрямства и подачи счетов, тем, что старался втягивать меня в интересы своей наживы или копленья денег. Нет, нет, да вдруг явится с золотыми часами и цепочкой спрашивать, можно ли дать «под них» двадцать пять или тридцать рублей. Стоят ли они того? Не то принесет брошку с камнями.

– Барин, стоит ли брошка семьдесят пять рублей? Клара просит под нее тридцать рублей на три месяца?

Клара – это какая-то жилища того же дома, где жил и я, – жившая, по словам Матвея, богато. Я ее никогда не видал.

Я забыл сказать, что у него была целая кладовая разнообразных предметов, например шуб, женских платьев, офицерских пальто, лисьих салопов, бархатных мантилий, развешанных по стенам его комнаты и по коридору, тщательно прикрытых простынями, ча-

стью лежащих на полках, иногда на полу. То английское седло высовывается из-под кровати, то пара пистолет висит на гвоздях. Золотые и серебряные вещи он хранил – кажется – в моих шкафах с платьем и посудой.

Он принял за какое-то роковое правило тащить ко мне и показывать всякую закладываемую ему вещь.

– Можно ли, барин, дать за эту шаль двадцать пять рублей: говорят, она стоит сто рублей? – спрашивал он.

Или: «Вот просят семьдесят рублей под эту шубу: соболья ли она, не крашенная ли? Можно ли дать до зимы? Зимой хотели выкупить!» и т. д. Так что я приблизительно знал, что у него хранится под залогом.

На его стереотипные вопросы о стоимости вещей получался мой стереотипный ответ: «Пошел вон, не мешай!» Или: «Я твои вещи в форточку выкину, если станешь приставать!»

Но, несмотря на мой, в некотором, роде, собачий ответ, через день, через два его вопросы повторялись, и мои ответы тоже.

– Ты ведь незаконное дело делаешь, – говорил я ему не раз, – на право давать в ссуду

деньги под заклад надо иметь особое свидетельство! Кроме того, те, которые берут у тебя деньги, могут подумать, что и я с тобой участвую в этом деле или покрываю тебя. Ведь это гадость!

Он как будто немного терялся.

– Этого никто не знает: я по знакомству даю, жаловаться никто не пойдет, – торопливо, шопотом оправдывался он. – И господа это делают, тихонько, через человека. В Гороховой один барон этим занимается: он «вине-рал», а потихоньку, через своего камердинера, дает займы под залог. Говорят, в год тысяч шесть наживает! – с восторженным ужасом добавил он. – У него страсть сколько денег!

– Вот видишь, про него уже говорят, а я не хочу, чтоб, по твоей милости, даже подумали на меня! Ты, Матвей, лучше прекрати эту наживу, а то я, пожалуй, побоюсь держать тебя: это гадость!

– Это не грех, барин: и наш ксендз – я исповедался ему – сказал: «Ничего, говорит, если не жмешь очень. Только на церковь не жалей!» Я, что же, самую малость беру: 2 про-

цента в месяц и вперед вычитаю только половину.

– Вот ты какой!

– Да-с, это немного: другие сто на сто берут... Один купец – он торгует в лавке, и деньги тоже дает...

Я махнул ему рукой, чтоб шел вон.

– У меня уж опять четыреста накопилось! – торжествующим шопотом прибавил он уходя.

Внимание его ко мне, заботливость о моем спокойствии и добре, его неподкупная честность – он, несмотря на жадность, не продал бы меня ни за какие миллионы, – потом его трезвость и аккуратность – все это, если не привязывало, то располагало меня к нему и заставляло дорожить им. Потеряй я его, он был бы незаменим.

Однако я чуть было не лишился этого примерного слуги. И это по милости праздников. Праздники, конечно, святое дело, но вместе с тем и великое зло для Руси. Святые дни омрачаются такою тенью, позорятся такою грязью, какой не смоят никакие молитвы и посты. Это все знают – и все покорно несут добровольное иго.

Однажды наступила пасха. Я заметил еще на страстной неделе какую-то особую суетливость и оживление у Матвея. Он куда-то уходил, что-то приносил, опять уходил: я постоянно слышал его скаканье по лестнице. Пост он держал не только католический, но строже православного: буквально ничего не ел. Пил только после меня чай с булкой.

– Что ты суетишься? – спросил я его.

– Окорочек купил, дал запечь, и пасху тоже заказал на том дворе повару «винерала» такого-то. Может, барин, откушаете моей пасхи и окорочка!

Я дал ему денег, чтоб он купил и мне яиц, заказал куличей, пожалуй, пасху, чтоб избавиться его от «убытка».

– Кулич, если приказываете, закажу, а пасхи моей покушайте! – почти умолял он. – Ветчина, колбаса и пирожок будет: и кум обещал притти. Вам не нужно заказывать: вы дома не кушаете!

– Да ты теперь, до пасхи-то ешь: пост для католиков не обязателен. Ты можешь есть яйца, молоко... Смотри, на что ты похож!

– Недолго, два дня всего осталось! – отве-

чал он, обнажая десны.

Действительно, пасха его была хорошая, то есть менее запирающая горло, чем другие, и ветчина не совсем жесткая. Он был вне себя от радости, что я попробовал того и другого.

В праздники меня с утра до вечера не бывало дома, и я не знал, что он делал. На четвертый день вот что случилось.

Я, проснувшись, позвонил. Шнурок от звонка висел подле моей постели. Матвей не являлся по обыкновению на мой зов. Я думал, что он вышел куда-нибудь, и подождал немного, потом опять позвонил сильнее. Никого. Только до меня донесся какой-то стон, издали, казалось, со двора. Я не обратил на это внимания и позвонил еще сильнее. Стон послышался явственнее, как будто у меня в квартире. В то же время что-то шелестело в коридоре, кто-то будто медленно двигался. Я быстро вскочил с постели, накинул шлафрок и ждал. Шелест приближался. Дверь медленно отворилась, и на фоне темноты явилась фигура...

Кто это: ужели Матвей?.. Нет, это... Лазарь, грядущий из гроба в пеленах...

– Что ты, что с тобой? – едва я мог проговорить, охваченный ужасом.

– У... и... а... ю!.. – стонал он, шатаюсь, трясясь и держась за обе стены руками.

Губы у него не сжимались, от слабости он не мог выговорить согласных букв.

«Умираю» хотел он сказать и не мог, и с этим словом пошел было к себе, и тоже дойти не мог. Я его довел, и он без чувств рухнул на постель. Я наскоро оделся и побежал вверх, к доктору, который жил этажом выше и иногда пользовал меня. Мы с ним сбежали вниз, подняли шторы, занавесы. Он осмотрел больного и нашел, что у него начало горячки, только не мог еще решить, какой горячки и от чего: простудился ли он, или от невоздержания.

Обличители, то есть «окорочек», пасха, колбасы, были отчасти тут, налицо. Я вкратце объяснил доктору об аскетическом воздержании Матвея и потом о разговенье.

– Я зайду ужо, после обеда, – сказал доктор, – я нынче дежурный в больнице. Если он разнеможется – ему здесь неудобно, тесно и воздуху мало, – надо его к нам, в палату...

– Ради бога! – сказал я, – сделайте все, док-

тор, как для меня самого – ничего не жалейте!

– Будьте покойны, а покуда вот дайте ему принять это питье. – Он наскоро начертил рецепт. – В пять часов я зайду, а теперь велю в больнице оставить свободную кровать.

Между тем мы кое-как привели Матвея в чувство. Увидя меня, он заплакал.

– Какое вам беспокойство, барин, я наде-
лал! Господи! – стонал он, хватаясь за голову,
за живот. – Умираю, умру! Дворника бы ко
мне, Егора! – молил он.

Я сошел вниз, отыскал Егора и привел, а
сам пошел в аптеку, за лекарством, купил мя-
ты, гофманских капель и того, что велел док-
тор.

Дворник поставил самовар и по просьбе
Матвея куда-то ушел. Оказалось, что Матвей,
среди своей агонии, позаботился опять-таки
обо мне.

Дворник привел какого-то очень прилич-
ного молодого лакея, приятеля Матвея, кото-
рый соглашался на время заступить его ме-
сто.

После обеда доктор осмотрел больного и
решил, что его надо перенести в больницу.

Боли в животе не унимались, так же как и рвота и понос.

– Умру, умру! – стонал Матвей, и когда заступивший его место человек пошел за извозчиком перевезти его в больницу, он подозвал меня к себе, вытащил из-под тюфяка у себя пакет и, едва шевеля губами, говорил мне чуть слышно:

– Здесь, барин, четыреста сорок три рубля – пересчитайте, спрячьте эти деньги, и когда я умру...

Он залился слезами.

– Перестань! – почти строго сказал я, – отчего умирать? Вздор какой! Объялся – и умирать!

– Нет, барин, умру, ох, ох – у меня все жилы тянет!.. – Он хватался за живот, за грудь.

– Что же с деньгами делать? – спросил я, пересчитав наскоро.

– Как умру... половину ксендзам, барин, отдайте, на поминовение души... а другую... куму: он знает...

Он схватил меня за руку, старался целовать, плакал, как ребенок. К. вечеру его увезли и положили в Мариинскую больницу, на

Литейной. Я жил тогда рядом.

На другой день я пошел навестить его. Он плохо провел ночь, метался, бредил. Доктор еще не мог определить, какой оборот примет болезнь, выдержит ли горячку его истощенный организм? Над кроватью его на дощечке написано было: dysentерia[161].

Я старался ободрить его, но он плакал, твердил, что умирает, просил прислать нового человека, чтоб рассказать ему, где что лежит, как надо мне служить, что и когда подавать.

Я чуть сам не заплакал от этой заботливости обо мне в его положении.

«Нет, он не смешной!» – думал я, удерживая слезы.

Через три недели он, бледный, шатающийся, пришел домой и, несмотря на мои увещания, вступил в должность, чтоб избавить меня от «убытка» платить лишнее его заместителю. За эту «жадность» он поплатился вторичною болезнью: опять припадки, больница, лекарства. Он оправился совсем, когда уже наступило лето с ясной и теплой погодой.

Он жил у меня долго после того, лет шесть,

если не больше. Он снарядил меня и в дальнейшее кругосветное плавание.

Тонкость его внимания ко мне простиралась до мелочей. Корабль наш не сразу вышел в море. Нас, собиравшихся в путь, созывали в Кронштадт, и потом откладывали выход в море на два, на три дня – и мы уезжали в Петербург. Мой небольшой багаж был уже на корабле, и я поручил Матвею сдать мою городскую квартиру. Мебель моя и разные вещи были отданы – теперь не помню кому. Оставался в пустой квартире один Матвей.

Какую суету и усердие выказывал он, когда я внезапно являлся, за отсрочкой отплытия, в мои опустевшие комнаты! Он не допустил никоим образом, чтоб я ночевал в гостинице. Он, бог его знает, где и как, достал мне постель, тюфяк, подушки, одеяло, даже принес откуда-то, как теперь помню, какую-то женскую горностаевую кацавейку, вместо шлафрока, устраивал мне ложе, поил утром и на ночь чаем и с тоскливой, жалкой миной опять прощался со мною, так что я готов был заплакать. Но тут же он прибавил сквозь слезы: «Я помолюсь за вас, барин, и отца Иерони-

ма попрошу помолиться, чтоб воротились... здорово, благополучно... „винералом“!»

Я проплавал два года, да возвращаясь Сибирью, ехал около полугода, и реками и сухим путем, с августа до февраля. С дороги, помнится из Казани, я писал друзьям в Петербург, чтобы отыскали мне квартиру, нашли какого-нибудь слугу и дали бы мне знать в Москву.

Это было в 1855 году. Тогда уже открыта была Николаевская железная дорога. Я получил известие, что подходящая мне квартира найдена на Невском проспекте, с обозначением № дома.

Не без волнения подъезжал я с багажом, в наемном экипаже, к означенному дому, думал о том, сколько мне предстоит хлопотать устраиваться на новой квартире, заводить себя тем, другим – вместо отдыха после такого длинного пути!

Робко я позвонил у дверей новой своей квартиры, сопровождаемый дворником. Дверь отворилась и на пороге явился – Матвей!!

Я ахнул от изумления, от радости.

– Барин! Барин! – орал во все горло, обнажая десны, Матвей, как будто кричал: «Пожар! караул!» – и бросился целовать мне руки, плечи, смеялся, скакал, рвал у дворника и у меня мешки, плед, вещи из рук.

– Все готово-с, пожалуйста, барин! Бог услышал мои молитвы – отец Иероним... обедню ему закажу... И постель уже пятый день готова... дров купил... уголь, свечи... все есть... чай, сахар два фунта...

Проговорив это скороговоркой, разинув рот, задыхаясь, он опять скакал около меня, буквально рвал с меня платье.

– Успокойся, друг мой! – просил я, но напрасно.

– Вещи где, чемодан, платье, белье?..

– Там, в карете все... дворники принесут, погоди! – унимал я.

– Пойдем, пойдем, Василий! – тащил он дворника. Насилу я мог сунуть ему деньги и заплатить за карету.

Все принесли. Через час я уже сидел за чаем, в своем кресле, с сигарой – как будто никуда не выезжал.

А Матвей разбирал мое платье, белье, раз-

ложил груды по стульям, столам, диванам.

Просто умилительно!

«Добрый, славный, честный, но и какой смешной Матвей!» – думал я, глядя, как он светится. Недаром лакеи смеялись над ним! Как же не смешной: не лжет, бережет и свои и чужие деньги, и все, что ему доверяют, мало ест, не пьет вина, не обманывает, преследует воров, и не со злобой, а с сожалением вспоминает о побоях барина, да еще ищет свободы! Как же не смешной! Таким, глядя на него, и считают его все: но не замечают в нем эти все то несмешное, чего у них самих нет, что светится в этом чахлом, измученном теле и неожиданными искрами прорывается наружу. Дон-Кихот тоже был смешной!

Матвей разложил платье, белье, вещи, конечно, не на свои места, руководствуясь не моими, а своими соображениями. Но я просил его отложить все до утра. Утром, лишь только я встал, он явился... с «ерестром» привезенного мною платья, белья и вещей и со счетом купленного им к моему приезду сахару, чаю, дров и прочего. «Хлеб», «свечы», «мыло» (мыло) опять запестрели в глазах.

– Дрова семьдесятью пятью копейками дороже прошлогоднего! – горестно заметил он. – Зато сахар и свечи дешевле, – прибавил он и просиял, суя мне счет и «ерестр».

Я в отчаянии всплеснул было руками, потом расхохотался. И он показал десны.

– Ты все такой же, Матвей: неисправим!

Он стоял передо мной, все в своем сером сюртуке, с невозмутимым спокойствием, но с примесью тихой радости в глазах о том, что я опять у себя, а он у меня. Он, кажется, любовался мною.

– Тебе цены нет: знаешь ли ты, Матвей?

Он понял это буквально.

– Барин мой сбавил цену, соглашается теперь на пятьсот! – живо, захлебываясь от радости, сказал он: – Приказчику велел писать ко мне, а я послал письмо, что скоро деньги вышлю... Четыреста у меня уж есть, – доверчиво, шопотом прибавил он, – месяца через три, бог даст, прикоплю и остальное.

– Как четыреста: ведь у тебя еще до моего отъезда была уж эта сумма! Теперь должно быть вдвое. Разве ты не копил без меня, или прожил?

Лицо у него помрачилось и приняло такой мертвый вид, какого я прежде не замечал.

– Тех денег уж нет, барин... – сказал он с передышкой, глядя в сторону.

– Куда же они делись: украли, что ли, воры были?

Он вдруг ожил, десны показал.

– Никак нет, барин: куда вора! Я бы изловил их... и вот как...

Он показал руками, как бы он истерзал вора.

– Ног бы не унесли, не токма денег...

– Куда ж они делись?

Он помолчал минуту.

– Кум пропил! – с глубоким вздохом, зажмурив глаза, прошептал он.

– Пропил! Зачем же ты давал: ты бы в банк положил...

– В банке нельзя держать: деньги часто нужно давать займы – куда в банк бегать! Я и отдал куму на сбережение: они с женой живут одни на квартире, комната у них не бывает пустая: то он, то жена всегда дома. У них я и мои закладные вещи держал. Только я да они двое и знали об деньгах... Сам я угол на-

нимал; в углу, известно, барин, всякий народ толчется... утащат. Я и отдал куму спрятать!.. – прибавил он шопотом, с тяжким вздохом. – Он держал их в трубе в горшечке, чтоб не заметили да не украли – и все таскал, сначала понемногу, а потом взял всё и месяца три пропадал... все пил!

Опять глубокий вздох и изнеможенный вид. «Жалкий, жалкий!» – ворочалось у меня в душе...

– Так и не отдал? – спросил я.

– Где отдать! Обнищал весь: я ему, как пришел, свои старые сапоги дал, да от вас панталоны оставались, нечего надеть ему, отдал, деньгами тоже рубль дал... – добавил он, закрыв глаза.

– Какие же это теперь у тебя четыреста рублей – где ты взял?

Он вдруг ожил, глаза засветились...

– Опять накопил, барин! – торжествуя, скороговоркою, обнажая десны, сказал он. – Дела шибко, хорошо пошли. В доме, где я жил, молодые господа были: вот они часто бирали, проценты, какие хочешь, давали. Иногда брали без залога и все отдавали аккуратно! Года

в полтора я все, почесть, воротил. Теперь опять много заложенных вещей здесь у меня лежат...

Прошел с год, Матвей мой стал поговаривать, что он хочет снять квартиру, пускать жильцов... Я с болезненным изумлением взглянул на него.

– Ты хочешь покинуть меня! – почти горестно воскликнул я.

– Теперь нет-с, нет! – заторопился он говорить, – а вот к осени, барин, отпустите меня (это было в апреле)!.. – Он так жалостно просил. – К осени приказчик мне вышлет отпускную, когда я деньги пришлю в контору, не все, половину, а другую после... У меня еще пятьсот останется, – таинственно прибавил он.

Я вздохнул.

– Что ж делать – простимся! – сказал я.

– Я вам другого поставлю, барин, такого же...

– Нет, Матвей, такого мне не найти!..

Тут он поведал мне неожиданную весть, что у него есть женщина на примете и что она непрочь за него замуж...

Я не дослушал и встал в изумлении с кресел.

– Ты... жениться хочешь?.. Неправда!..

Я не договорил и закатился хохотом.

И он показал десны.

– Правда, барин, правда... – заторопился он и будто застыдился.

– Ты – семейный человек, с женой, с детьми... – Я опять захохотал.

– Бог с ними, с детьми! Какие, барин, дети: стану ли я таким пустым делом заниматься! Это баловство, тьфу!

Он пошел, плюнул в угол и воротился.

– Она почти старушонка! – прибавил он.

– Тебе-то что за охота связать себя!

– У ней деньги есть, – шопотом говорил он, – говорят, за тысячу будет и больше, две может быть. Она знает, что и у меня тоже есть... Мы будем вместе дела делать: снимем большую квартиру, кухмистерскую откроем, жильцов пустим. Залу станем отдавать под свадьбы, под балы... Как наживемся – страсть! Вот, барин, без хозяйки этих делов нельзя делать.

Осенью мы с ним простились – оба с сожа-

лением. Он действительно женился, открыл заведение, столовую, приходил звать меня «откушать» его стряпни. Но я не был, а слышал от знакомых, что кухня у него недурная и дела идут, хотя он еще не выкупился у барина. Залу снимали действительно под свадебные балы и ужины.

В Новый год и пасху он года три сряду являлся ко мне, во фраке, в белом галстуке, с часами. Боже мой, как он был смешон! Когда я, по старой памяти, вынимал из бумажника асигнацию и хотел подарить «на красное яичко» – он, как раненый волк, отскочит и с упрямством обращается ко мне.

– Я не затем, барин, не затем. Боже оборони! Я молюсь за вас... и никогда вас не забуду!

«За что!» – думал я, глядя на него и со смехом и со слезами.

В последний раз он пришел ко мне, услышав, что меня произвели в чин. Как он вскочил ко мне, как прыгал, какими сияющими глазами смотрел на меня!

– Я вам говорил, барин, говорил: я знал, что будете «винералом» – я молился! – торопливо и радостно поздравлял он меня, целуя в

плечо.

– Графом дай бог вам быть! – почти с визгом произнес он уходя. – Я помолюсь!

Очень сожалею, что я не дослужился до этого титула, хотя бы затем, чтоб опять увидеть Матвея (он бы прибежал, если жив еще) и посмотреть, что он сделает, как будет прыгать и что скажет.

P. S. Я после слышал, что Матвей откупился, внес деньги и получил отпускную, незадолго до манифеста 19 февраля.

По Восточной Сибири*

В Якутске и в Иркутске

Лет тридцать с лишком тому назад я провел два месяца, с конца сентября до конца ноября, поблизости полюса, – северного конечно. Это – в Якутске, откуда до полюса рукой подать. Я писал об этом областном городе в очерках своего кругосветного плавания – и не угрожаю читателю возвращаться к новому описанию.

Правду сказать, и нечего описывать. Природа... можно сказать – никакой природы там нет. Вся она обозначена в семи следующих стихах, которыми начинается известная поэма Рылеева «Войнаровский»:

*На берегу широкой Лены
Чернеет длинный ряд домов
И юрт бревенчатые стены.
Кругом сосновый частокол
Поднялся из снегов глубоких,
И с гордостью на дикий дол
Глядят верхи церквей высоких.*

И только.

Напрасно я в своих очерках путешествия

силился описывать Якутск, – я полагаю, что силится. А навести справку, заглянуть в книгу, да еще свою, – меня на это нехватает. Стоило бы привести эти семь стихов – и вот верный фотографический снимок и с Якутска и с якутской природы.

– Да это и в Петербурге все есть, – скажет читатель, – и широкая река, снегу – вдоволь, сосен – сколько хочешь, церквей тоже у нас здесь не мало. А если заглянуть на Петербургскую или Выборгскую стороны, то, пожалуй, найдешь что-нибудь похожее и на юрты. О *гордости* и говорить уж нечего!

Для полноты картины нехватает в Петербурге якутских морозов, а в Якутске – петербургских оттепелей.

Петербург, пожалуй, может еще похвастаться, что иногда отмораживает щеки извозчиков и убеляет снегом их бороды, – но куда до Якутска. Зато уже Якутск пасс перед Петербургом насчет оттепелей.

И то и другое весьма естественно: Якутск лежит под 62° северной широты, и Петербург недалеко ушел от него: он расположен под 61° .

Но я изменяю обещанию не описывать якутской природы. Если я в путешествии моем вдался в какое-либо описание, а не привел, для краткости, вышеозначенных изобразительных стихов, то это вовсе не оттого, что я не знал или не помнил этого начала поэмы. Напротив, я помню, что, подъезжая к городу, я декламировал эти стихи; а не привел их, как принято выражаться в печати, – «по независимым от автора обстоятельствам». Приводить что-нибудь из Рылеева, – даже такое простое описание природы, – тогда было неудобно.

Но бог с ней, с мертвою, ледяною природой! Обращусь к живым людям, каких я там нашел.

Сколько холодна и сурова природа, столько же добры и мягки там люди. Меня охватили ласка, радушие, желание каждого жителя наперерыв быть чем-нибудь приятным, любезным.

Я не успел разобраться со своим спутником с корабля, как со всех сторон от каждого жителя получил какой-нибудь знак внимания, доброты. Я широко всем этим пользовался.

ся, не потому, чтобы нуждался в чем-нибудь. Собственно для моих нужд и даже прихотей совершенно достаточно было двух моих чемоданов-сундуков и моего спутника: *omnia tecum portabam*[162]. Но я так же тепло принимал все эти знаки радушия, как тепло они предлагались. Я видел, что им самим нужнее было одолжить меня, чем мне принимать одолжение, – и это меня радовало, как их радовало одолжать.

В самом деле, сибирские природные жители добрые люди. Сперанский¹ будто бы говорил, что там и медведи добрее уральских, то есть европейских. Не знаю, как медведи, а люди в самом деле добрые.

Я в день, в два перезнакомился со всеми жителями, то есть с обществом, и в первый раз увидел настоящих сибиряков в их собственном гнезде: в Сибири родившихся и никогда ни за Уральским хребтом с одной стороны, ни за морем с другой – не бывших. Петербург, Москва и Европа были им известны по слухам от приезжих «сверху» чиновников, торговцев и другого люда, как Америка, Восточный и Южный океаны с островами из-

вестны были им от наших моряков, возвращавшихся Сибирью или «берегом» (как говорят моряки) домой, «за хребет», то есть в Европу.

Итак, весь люд составляло общество, всего человек, сколько помнится, тридцать, начиная с архиерея и губернатора и кончая чиновниками и купцами. Все это составляло компактный круг, в котором я, хотя и проезжий с моря – по застигшим меня морозам и частью по болезни ног, – занял на два месяца прочное положение и не знал, когда выеду.

Поневоле пришлось вглядываться в эту кучку новых для меня лиц и в каждое лицо отдельно.

Но не природных сибиряков было всего три-четыре человека, приехавших из Европы, то есть из Петербурга: это губернатор да еще, может быть, несколько чиновников – и только. Архиерей был урожденный сибиряк.

Остальные духовные лица, чиновники и купцы тоже все сибиряки, частью местные, частью приезжие сверху, из Иркутска. Все это составляло сибирскую буржуазию, там на месте урожденную, выросшую и созревшую

или, скорее, застывшую в своих природных формах и оттого имеющую свой сибирский отпечаток: со своим оригинальным свободным взглядом на мир божий вообще и свой независимый характер, безо всякой печати крепостного права, хотя в то же время к «предержащим властям» почтительную, скромную, но носящую в себе свое достоинство.

Припоминаю, что в путевых своих очерках («Фрегат „Паллада“») я слегка говорил о якутском обществе огулом, не сказав лично почти ни о ком. Протекло с тех пор тридцать лет с лишком: я перезабыл имена, но не забыл добрые, ласковые лица, радушие и баловство, оказываемое ежедневно мне, как и невольному путешественнику, нечаянно, по болезни и по милости замерзавшей реки, двухмесячному гостю.

Значит, у меня «память сердца» сильнее «рассудка памяти печальной»². Что ж, это, надеюсь, хорошо!

Зачем помнить имена, когда предо мной целая галерея полных жизни лиц, как будто я гляжу на них и они все на меня? Я забыл сказать, что я застал тут своих спутников с

фрегата. Они торопились и уехали до того, как река стала. То же радушие, то же гостеприимство было оказано и им, и кстати или некстати и мне.

Из не сибиряков упомяну о гражданском губернаторе, управлявшем Якутскою областью с тех пор, как она, незадолго до нашего приезда туда, отделена была от иркутского гражданского управления. Но главным шефом и военной и гражданской части оставался все-таки генерал-губернатор Восточной Сибири, известный впоследствии под именем графа Амурского, Николай Николаевич Муравьев.

Губернатором же был – назову его Петром Петрович Игоревым³ (настоящих имен я принял за правило не приводить: не в именах дело) – бывший до Якутска губернатором в одной из губерний Европейской России, где как-то неумело поступил с какими-то посланными в ту губернию на житье поляками – и будто бы за это «на некое был послан послушанье»⁴ в отдаленный край. Стало быть, он в своем роде был почетный ссыльный.

Лично любезный, тонкий, пожалуй образо-

ванный... чиновник. Чиновник – от головы до пят, как Лир был король от головы до пят.

И все почти тогда такие были: «Grattez un russe, – говорит старый Наполеон, – et vous trouverez un tartare»⁵; он прибавил бы: «ou un tchinovnik»[163], если бы знал нас покороче.

Сибирь не видала крепостного права, но вкусила чиновничьего – чуть ли не горшего – ига. Сибирская летопись изобилует такими ужасами, начиная с знаменитого⁶ Гагарина и кончая... не знаю кем. Чиновники не перевелись и теперь там. Если медведи в Сибири, по словам Сперанского, добрее зауральских, зато чиновники сибирские исправляли их должность и отличались нередко свирепостью.

Вглядываясь поближе в губернатора, я не мог надивиться, как могли назначить на такой пост петербургского, пожалуй умного, тонкого редактора докладов, отношений, донесений, словом примерного правителя любой канцелярии, в глухой край, требующий энергии, силы воли, железного характера, вечной бодрости, крепости, свежести лет и здоровья, словом такой личности, как был генерал-губернатор Н. Н. Муравьев. Он, кажет-

ся, нарочно создан для совершения переворотов в пустом, безлюдном крае! Он и совершил их не мало. Об этом скажет история, «но мы истории не пишем...»⁷ – повторяю вслед за нашим баснописцем.

Этот Петр Петрович был довольно дряблый старичок, с приятным, но значительно подержанным лицом, не без морщин, с подагрическим румянцем, с умными, тонко, отчасти лукаво смотревшими из-за золотых очков глазами, – маленький, кругленький, с брюшком.

Это начальник края, раскинувшегося с Ледовитого моря с одной стороны, до Восточного океана с другой и до подножия Станового хребта с третьей. И ничего: дела шли себе ни валко, ни шатко, ни на сторону. Это и можно объяснить только тем, что в этой ледяной пустыне было больше зверей, чем людей, так что, собственно, губернатор был бы не нужен. А со зверями купцы распорядились отлично.

«Тут бы такого же молодца военного, думалось мне, как генерал-губернатор, которого я успел несколько покороче рассмотреть в устьях Амура, куда он приезжал посмотреть

нашу эскадру и в свите которого я плыл с Амура по Охотскому морю на нашей шкуне „Восток“ и провел несколько дней в местечке Аяне, нашем крайнем пункте на этом море».

В беседах с ним я успел взглядеться в него, послушаться его мыслей, намерений, целей!

Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями, с «*bâtons dans les roues*»[164], как он выражался, которыми тормозили его ретивый пыл! Да это отважный, предприимчивый янки! Небольшого роста, нервный, подвижной. Ни усталого взгляда, ни вялого движения я ни разу не видал у него. Это и боевой отважный борец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях.

Его угадал император Николай Павлович, и из гражданского губернатора Тулы призвал на пост генерал-губернатора Восточной Сибири. Ни тот, ни другой не были чиновниками и поняли друг друга.

И вдруг такому деятелю, в своем роде титану, как Муравьев, дали в помощники чиновника, дельца, редактора докладов, донесений

и отношений! «Да ведь вы не на своем месте!» – хотелось мне сказать после первых свиданий и разговоров с губернатором. У меня еще так свеж был в памяти образ настоящего пионера-бойца с природой, с людьми на месте – с инородцами, разными тунгусами, орочами, соседними с Сибирью китайцами, чтоб отвоевать от них Амур⁸, – и в то же время бороться за хребтом с графом Нессельроде, о котором он не мог говорить хладнокровно, и обо всех, кто кидал ему «bâtons dans les roues» – в Петербурге с одной стороны, с другой, там на месте, он одолевал природу, оживлял, обрабатывал и населял бесконечные пустыни.

Но его, в свою очередь, одолевали чиновники, между прочим и якутский губернатор, на которого он постоянно косился и также на других, приезжих из-за хребта петербургских чиновников.

Чиновники не разделяли его пыла, упирались, смотрели на все его затеи, задумчиво ковыряя в носу, и писали доклады, донесения, тоже подкидывали исподтишка, где могли, своему шефу «bâtons dans les roues».

Пылкий, предприимчивый дух этого энергического борца возмущался: человек не выдерживал, скрежетал зубами, и из обыкновенно ласкового, обходительного, прилично-го и любезного он превращался на мгновение в рыкающего льва. И тогда плохо было нарушителю закона. Я видел его и ласковым, любезным, и тоже рыкающим. Он со мной на Амуре был откровенен, не стеснялся в беседах, как с лицом посторонним тамошним делам.

Впрочем, это я видел после в Иркутске... А теперь я увлекся воспоминанием о Муравьеве и отвлекся от якутского губернатора. Но кто не увлекался этою яркою личностью, кто сколько-нибудь знал ее: только враги ее!

Когда я, разобравшись на своей квартире, пришел к губернатору Игореву и отдал человеку карточку, Игорев почти выбежал ко мне в залу, протянул ласково руку и провел прямо в кабинет, к письменному столу, заваленному бумагами, пакетами, газетами и частью книгами.

– Милости просим, мы давно ждали вас, – сказал он, оглядывая меня зорко из-за очков.

– Каким образом? Разве вы знали обо мне что-нибудь? – спросил я не без удивления.

Я ожидал, что он отпустит мне комплимент насчет литературы: «Вон у него книги, думал я, газеты, может быть есть „Современник“, где я печатал свои труды»⁹. Я уж поднял голову, стал играть брелоками: «Вот, мол, как-ково: от моря и до моря, от чухон до чукчей и якутов...» Но он быстро разочаровал меня.

– Как же, – сказал он, – ведь вы с Николаем Николаевичем ехали по Охотскому морю. Он недавно проехал и сказывал... рекомендовал...

Я упал с облаков. Он наслаждался моим смущением и лукаво смотрел на меня сквозь очки.

– Откушать, откушать милости прошу ко мне, – наконец заговорил он, – Вы наш гость... на нас лежит обязанность... Вам где отвели квартиру? Хорошо ли, удобно ли?

– У мещанина Соловьева: очень удобно, – сказал я. – Две большие комнаты, просто, но прилично меблированные. Я и насчет стола уговорился с хозяевами...

– Ну, какой у них стол! Языки оленьи да

пельмени, пельмени да языки... Сегодня откусаете у меня и завтра у меня. Я попрошу и его преосвященство. Вы были у него?

– Вот сейчас еду...

– Так поедemте вместе – вот и кстaти. У меня повар, я вам скажу, порядочный, конечно из Петербурга. Пробовал я приучать из здешних... да куда!..

Тут он вдался в кулинарные подробности, напоминал отчасти гоголевского Петуха¹⁰, – потом превратился опять в лощеного, чистенького, светского петербургского чиновника-маркиза и представил меня архиепископу Иннокентию, которому суждено было впоследствии занять кафедру московского митрополита.

Я уже писал в своем путешествии об этой почтенной своеобразной личности, о которой теперь есть полная, прекрасная книга (Барсукова)¹¹, и не стану ни повторять своего, ни заимствовать из чужой книги.

Он – тоже крупная историческая личность. О нем писали и пишут много и много будут писать – и чем дальше населяется, оживает и гуманизируется Сибирь, тем выше и яс-

нее станет эта апостольская фигура.

Личное мое впечатление было самое счастливое. Вот природный сибиряк, самым господом богом для Сибири ниспосланный апостол-миссионер!

– А что за душа! Что за характер! – хвалил его губернатор, когда мы ехали к нему. – Вы только представьте себе, что он сотворил в наших американских колониях¹² – именно «сотворил», – повторил он с ударением. – А нашу Якутскую область он, представьте, искрестил вдоль и поперек. Где только он не был!.. На Алеутских островах жил с алеутами, учил их и молиться и жить по-человечески, есть не одну рыбу да белок, а с хлебом. Теперь, как его сделали архиереем, он еще учителствует между двухсот тысяч якутов... Он верхом первый открыл вместо Охотска Аян, более удобный пункт для переезда через прежнее Семигорье...

Мы в это время подъехали к архиерейскому дому.

Я слышал и читал много и сам о преосвященном: как он претворял диких инородцев в людей, как разделял их жизнь и прочее. Я все-

таки представлял себе владыку сибирской паствы подобным зауральским иерархам: важным, серьезным, смиренного вида.

Доложили архиерею о нас. Он вышел нам навстречу. Да, действительно, это апостол, миссионер!.. Каким маленьким, дрябленьким старичком показался мне любезный, приятный, вежливый маркиз-губернатор пред этою мощною фигурой, в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися из-под них умными ласковыми глазами и доброю улыбкой.

Он осенил меня широким крестом и обнял.

– Добро пожаловать, мы вас давно ждали...

Я испугался. «И он! Да что это такое...»

– Николай Николаевич так много сказал нам доброго и хорошего о вас, что мы с нетерпением ждали, хотели познакомиться. Мы рады такому гостю.

– Ах, этот Николай Николаевич! – сорвалось у меня, – оценил меня в рубль и не дал заслужить пред вами самому хоть на гривеник.

Владыка закатился таким добрым и сердечным хохотом, что заразил и губернатора и

меня.

– Прошу садиться. Пожалуйста, пожалуйста в мою келью! – усаживал он нас на диван и присел сам, продолжая ласково смотреть на меня.

Мы стали беседовать. Преосвященный расспрашивал меня подробно о моем путешествии и всей эскадры тоже. Оказалось, однако, что и суша и море были одинаково знакомы владыке с того времени, когда он еще в сане протоиерея Вениаминова жил с дикарями, учил их веровать в бога, жить по-человечески и написал об этом известные всему ученому свету книги. Архиерей питал глубокое уважение и к московскому митрополиту Филарету, о жизни и познаниях которого говорил с большим увлечением. Долго мы беседовали, но пора было уходить, и тогда только Игорев приступил со своею просьбой к преосвященному.

– Я к вашему преосвященству с покорнейшею просьбой, – сказал губернатор.

– Слушаю, ваше превосходительство, и исполню приказание! – шутил архиерей.

– Вот наш приезжий гость обещал сегодня

у меня обедать... так не удостоите ли, ваше преосвященство, разделить мою убогую трапезу.

Они не переставали титуловать друг друга – преосвященством и превосходительством.

– Его превосходительство «без просьбы» к убогой трапезе не пригласит! – не без иронии заметил архиерей. – Я, ваше превосходительство, со своей стороны, готов исполнить приказание, но надо доложить архиерею: не знаю, какую резолюцию он положит, позволит ли монаху Иннокентию отлучиться из кельи – хоть бы и «на убогую трапезу» к игемону Петру...¹³

Он опять закатился смехом, мы тоже. Поговорив еще кое о чем, мы, приняв его благословение и обещание «разделить убогую трапезу», которая была назначена в четыре часа, – уехали.

Я отправился к себе все еще устраиваться, а губернатор сказал, что ему надо написать несколько бумаг в Иркутск к генерал-губернатору и, между прочим, уведомить его также о моем прибытии.

– Зачем? – с удивлением спросил я.

– Да он так рекомендовал вас его преосвященству и мне: видно, что он очень благоволил вам: ему будет небезинтересно узнать, что вы благополучно доехали.

Обед или «убогая трапеза» у губернатора совершилась очень прилично. Кроме архиерея, обедал еще один чиновник, служащий у губернатора. Была уха, жаркое – рыба для архиерея и дичь для меня. Пирожное не помню какое.

Время между тем шло да шло. Советники областного правления, другие чиновники и купцы перебывали у меня все. Тут были и Акинф Иванович, и Павел Петрович, и разные другие. Все объявляли, что приходят ко мне как к заезжему гостю и как к человеку, которого очень хвалил, слышь, Николай Николаевич преосвященному и губернатору.

Так незаметно подкралась зима со своими 20, 25° мороза. Все облеклись в медвежьи шубы и подпоясались кушаками.

В один хороший зимний день, то есть когда морозу было всего градусов двадцать, к крыльцу моему подъехал на своей лошади и

вошел ко мне Иван Иванович Андреев.

– Осторожней, осторожней! – услышал я его голос еще из передней. Он принял от кучера две бутылки, поставил их на стулья и вошел в комнату своеобразно, свободно, с шиком, свойственным сибирякам.

Это был плотный человек высокого роста, коренастый, с красноватым здоровым лицом, такими же руками и шеей. Одним словом, он блистал здоровьем, как лучами. Я уже знал его, потому что прежде виделся с ним у него, на его обедах, и у других.

Бутылки обратили мое внимание.

– Что это такое? – спросил я.

– А водка-с!

– Я не пью водки, ведь вы знаете! – сказал я засмеявшись.

– Знаем, знаем – не в первый раз мы это видали... Но вы никого не потчуете!.. Мы сами выпьем.

Он с любовью посмотрел на бутылки и все не мог успокоиться и приговаривал:

– Как же не пить водки!

– Я не пью не от добродетели, – заметил я, – а потому что нервы мои не позволяют.

Он задумался и налил себе рюмку.

– Нервы! – повторил он и от удивления захлопал глазами.

– Точно вы не слыхали никогда о нервах: ведь они и у вас есть, – сказал я.

Он задумчиво смотрел на меня, точно я говорил ему о предмете, ему вовсе неизвестном.

– Как не слышать, – сказал он и поставил рюмку на стол. – Слышать-то слышал, – проговорил он наконец. – За хребтом, говорят, много женщин есть, нервами страдают. И здесь есть одна: все нервы да нервы!

– Поверьте, они и у вас есть... да только вы не нервный. Мне вредно пить, оттого я и не пью, – прибавил я.

– И мне и всем, говорят, вредно, да вот мы пьем же.

И он задумался.

– А впрочем, кто их знает, они, пожалуй, и у меня есть, – сказал он потом. – Вот, когда пожелаете откусать ко мне... Я за тем и приехал, чтобы просить вас... Так если пожелаете за полчаса до обеда, я расскажу вам о случае со мной и с архиереем. Покажу вам письмо его...

– Хорошо, я буду у вас за полчаса до обеда. Он выпил рюмку своей же водки и уехал. Дня через два я явился к Ивану Ивановичу за полчаса до обеда.

Маленький слон уже ждал меня.

– Милости просим, пожалуйста!

И он увлек меня к себе в кабинет. Домашние его были заняты хозяйством в ожидании приезда других гостей.

– Вот, извольте видеть, – начал Иван Иванович, садясь сам и усаживая меня, – здесь письмо архиерея. А вот что было со мной. Надо вам доложить, что ко мне приходят разные лица по винному управлению и с каждым я выпиваю по стаканчику – это утром – водки. А потом уж пойдет чай и все другое прочее. Водка стоит у меня на столе. Всякий войдет и прямо к столу...

– А вы, Иван Иванович?

– И я: без меня никто не пьет. Закусим чем бог послал: икры, нельмовых пупков, селедки... У нас везде, знаете, закуска своя и чужая, из-за хребта... Ну-с, закусим и выпьем. А там и за дело. Придет, бывало, еще и доктор Добротворский; он тоже не глуп выпить водки, но

где ему против меня! Он на двенадцатой, много, много на пятнадцатой рюмке отстаёт, а я продолжаю. Потом позовут на обед, то у того, то у другого: опять водка...

– Сколько же рюмок в день на вашу долю придется, Иван Иванович? – широко раскрывая глаза, спросил я.

– Да рюмок тридцать, сорок. Ведь после обеда ужин: опять водка! Так в день-то и наберется...

Я смотрел на него если не с уважением, то с удивлением и не знал, что сказать. А он весело смотрел на меня своими ясными, светло-серыми глазами.

– Ну вот, точь-в-точь так и архиерей смотрел на меня, как вы смотрите... Лекаря Добро-творского куда-то услали на следствие, – продолжал он, помолчав. – Я по обыкновению выпивал свои тридцать, сорок рюмок в день, ничтоже сумняшеся, – и ничего. Как вдруг получаю от преосвященного вот это самое письмо...

И он подал мне письмо. Я забыл теперь точную редакцию его, но содержание было следующее: «До меня постоянно доходят слу-

хи, да и сам я нередко бываю свидетелем, как вы, почтеннейший Иван Иванович, злоупотребляете спиртными напитками. Не в качестве какого-нибудь нравоучителя, а в качестве друга вашего и вашего семейства я предостерегаю вас, что последнее может лишиться отца, если вы не сделаетесь умереннее в употреблении горячих напитков. Поэтому прошу вас, – я не говорю совсем прекратить, а только уменьшите количество потребляемых вами спиртных напитков, и вы сохраните вашей семье отца...» и так далее в том же тоне.

Я медленно свернул письмо и отдал ему.

– И что же, только? – спросил я.

– Нет-с, не только... Я прочел это самое письмо... и затосковал. Когда на другой, на третий день ко мне приехали по винному откупу с отчетами, я выпил, это правда, только меньше прежнего; на второй, на третий день еще меньше, а на четвертый я ни с кем не выпил определенного стаканчика. Напрасно ко мне приступают, чтоб я пил: ни-ни! Я только все больше да больше задумываюсь и повторяю: «Не могу!» – «Да почему не можете?» –

добиваются. «Нутро болит!» – отвечаю я. Дальше все то же, становлюсь задумчивее и к архиерею не еду: совестно владыки-то. День за днем, я тоскую, худею, никуда не показываюсь. Знакомые уговаривают пить, а я все свое: «Нутро болит!» Владыко не раз обо мне спрашивает: «А что это не видать Ивана Ивановича? Что с ним?» Говорят ему: «У него нутро болит. Он не пьет водки и от всех прячется». А архиерей только смеется. Так прошло месяца полтора. Я тоскую, худею, молчу, совсем зачах...

Тут великан вздохнул на всю комнату.

– ...На меня уж рукой махнули и пьют водку без меня. Я вздыхаю да задумываюсь. У меня для всех и на все один ответ: «Нутро болит!» Вот, вдруг говорят, приехал со следствия лекарь Добротворский. Он, на радостях, чуть не прямо с дороги – ко мне. Вбежал и остановился, так и шарахнулся даже назад и все глядит на меня, словно никогда не видал. «Что с тобой? – наконец закричал в изумлении. – Ты на себя не похож! Что у тебя болит? Говори!» Я только взглянул на него и головой покачал. Велел подать закуску, водки, налил ему: «А ты

что ж?» – говорит. Я опять только смотрю на него да головой качаю. Так лекарь и уехал, ничего не добился. По всем домам только и звону, что я водки не пью, стало быть нездоров. Наконец он заставил-таки меня заговорить. Я рассказал ему все, что и вам докладываю, и показал письмо архиерея. Он слушал меня, слушал, а когда я кончил, руками всплеснул и закричал: «Дурак ты, ах ты дурак!» Схватил рюмку, налил в нее водки и, наступая на меня, приказывал: «Пей!» – «Нутро болит», – говорю я. «Врешь, ничего у тебя не болит. Пей!» Ну... мы вот и выпили. Я рюмки три: больше он не дал. «Довольно, говорит, будет с тебя сегодня». На другой день я выпил четыре, на третий, четвертый – тоже. И так... недели в три... дошел до своего счета. И вот теперь, слава богу, пью попрежнему и здоров попрежнему. Когда я владыке все это рассказал, он засмеялся и только рукой махнул. «Делайте, говорит, как знаете!»

– Что ж это значит: к чему этот рассказ? – спросил я.

– Вот это и значит, что у меня нервы, должно быть, есть. Они мне эту болезнь и дали,

хворость-то!..

Он замолчал и задумался. Я засмеялся, как архиерей. Да что и было другого делать?

– Ну, вот и гости пожаловали, – сказал Иван Иванович, – милости просим откусать!

Тут гостеприимные хозяева и приехавшие гости сели за стол: всех человек пятнадцать. Пошли кулебяки и разные разности. Перед обедом все мужчины выпили и закусили. За обедом ели с большим аппетитом и говорили с одушевлением.

После обеда гости разъехались, а хозяева легли спать. Я тоже ушел домой, но вечером, по настойчивому приглашению хозяев, опять вернулся, и другие вслед за мной. Все уселись за бостон, кроме меня. Я не умел играть в эту устаревшую игру и подсаживался от нечего делать то к одному, то к другому из играющих. И опять то тот, то другой выйдут из-за карточного стола – и к водке.

– Вот какие вы в ваши лета, – сказал мне один гость, – кровь с молоком! А я моложе вас, да весь серый стал...

– Отчего же, – спросил я, – от сибирских морозов, должно быть...

– Нет-с, не от морозов; что нам морозы, а все от водочки! – сказал он, выпив уж не знаю которую рюмку.

С наступлением зимы началось катанье на бешеных лошадях. Других там и не было. Хорошая упряжь была только у одного советника. Другие, опоясавшись кушаками, мчались в чем попало и как попало, – и всегда на бешеных лошадях.

Так проводили мы время в Якутске. Я дома приводил в порядок свои путевые записки и обедал то у того, то у другого из жителей города, редко дома, между прочим изредка у губернатора.

Другая «убогая трапеза» состоялась опять у него. Однажды зимой он пришел ко мне в медвежьей шубе, в очках, со своими подагрическими пятнами на щеках, любезный по обыкновению: маркиз маркизом. Его сопровождали два казака с пиками, чтоб отгонять собак. На дворе было всего градусов двадцать морозу. Всего! Excusez du peu![165] Игорев для моциона не ездил на лошадях, а ходил пешком. Впрочем, до меня было недалеко.

– Нынче я получил нельму, – начал он, –

вон какую, – и он показал какую. – Что с ней делать? Как приготовить?

Я подумал немного.

– Так легкомысленно нельзя решать. Надо спросить у архиерея, – отвечал я с улыбкой, усаживая Игореву в кресло. Казаки остались в прихожей.

– И в самом деле нельзя: я же хотел просить и его преосвященство к обеду. От вас я прямо к нему. А вы тоже не пойдете ли со мной? – сказал губернатор.

– Пожалуй, хоть я недавно был у него, – отвечал я.

Немного спустя мы отправились ко владыке. Он с обычной добротой и веселостью встретил нас обоих и усадил в своих покоях.

Игорев «изложил ему свою просьбу» в виде нового приглашения на новую «убогую трапезу».

– У меня нельма, – объявил он и ему, – вот какая! – Он показал какая. – Что из нее сделать?

Архиерей ласково посмотрел на него, на меня, подумал с минуту и коротко отвечал: «Ботвинье!»

Мы все засмеялись, преосвященный первый.

– Ботвинье, так ботвинье и сделаем, – сказал Игорев.

Ботвинье и сделали, да еще со льдом. А вместо пирожного подали мороженое. И это при двадцати градусах морозу! Запили всё глотком рому или коньяку из-за хребта, уж не помню, и я вернулся домой в одном пальто с бобровым воротником. И ничего!

Преосвященный не звал никогда к себе обедать. Он держался строгой монашеской жизни: ел уху да молочное, а по постным дням соблюдал положенный пост. А светским людям, по его мнению, необходимо было за обедом мясо.

Кроме того, губернатор полагал, что и оклад преосвященного был умеренный, и не позволял ему особых расходов на стол. Но преосвященный любил, чтоб я ездил к нему на вечерний чай. Он выставлял тогда целый арсенал монашеского, как он называл, угощения. Кроме чаю, тут появлялись чернослив, изюм, миндаль и т. д. – но вдобавок ко всему вино. Преосвященному хотелось угостить ме-

ня на славу. Сам он выпивал, по-монашески, одну рюмку, а я, увы! ни одной, особенно вечером.

За обедом, тогда и после, я еще мог выпить рюмку мадеры; пивал также и наливку из чудесных сибирских ягод: мамуры, морошки и других. Но вечером ничего не мог пить, не исключая и мадеры, в чем и сознался откровенно архиерею.

– Так я знаю, чем вас угостить! – сказал он ласково и велел подать лафиту.

Служка поставил бутылку красного вина, которого я в рот не беру, два стаканчика и с поклоном вышел.

Не помню, как я отделался от красного вина в этот вечер. Но в следующие дни я ездил к архиерею не один, а привозил с собою молодого прокурора, который, выпив свой стаканчик, выпивал и мой, чуть преосвященный отвернется в сторону.

– Ведь это для вас особенной жертвы не составит? – осторожно осведомился я.

– Ни малейшей! – весело сказал прокурор, – напротив...

И он продолжал осушать стаканчик за ста-

канчиком.

Видя вообще воздержный, чисто монашеский образ жизни владыки, я дивился, конечно про себя, встречая его на обедах, на которых приводилось быть мне самому. Он точно угадал мою мысль и однажды задумчиво заметил мне:

– Вот вы меня нередко встречаете на обедах у здешних жителей, начиная с губернатора, областных чиновников и до купцов. Все они составляют здесь одно общество, из которого выдаемся разве только мы с губернатором. Приняв раз приглашение у кого-нибудь из них – ну, хотя бы на именины хозяина, – на каком основании откажу я другому?.. Вот я поневоле и езжу ко всем; но везде меня угощают моими монастырскими кушаньями. Я приеду, благословлю трапезу, прослушаю певчих, едва прикоснусь к блюдам и уезжаю, предоставляя другим оканчивать обед по-своему.

И архиерей добродушно засмеялся.

На этих вечерних беседах у преосвященного говорилось обо всем, – всего более о царствовавшем тогда императоре Николае Пав-

ловиче. Преосвященный любил рассказывать о приеме его государем, о разговоре их, о расспросах императора о суровом крае Восточной Сибири. Между прочим, преосвященный рассказал мне о своем назначении, когда в Петербурге узнал о смерти своей жены, сначала в архимандриты и вслед за тем на кафедру Якутского, Алеутского и Курильского архиепископа.

– На Курильских островах и церкви нет, – заметил докладывающий.

– Выстроят, – сказал государь и продолжал писать.

Я теперь забыл, была ли на этих островах выстроена церковь, может быть преосвященный и сказал мне, да я забыл. Знаю только, что преосвященный Иннокентий, по высочайшему повелению, именовался Якутским, Алеутским и Курильским архиепископом.

Так проходило время и близилось к моему отъезду. Между тем в городе случилось происшествие. Как-то ночью из острога отлучились арестанты, да не одни, а с сторожившими их казаками. В ту же ночь был убит один якут.

Не будь этого последнего обстоятельства, никто не стал бы наводить справки о том, отлучались ли арестанты одни, или вместе с казаками.

Город всполошился, особенно вследствие предполагаемого участия казаков в попойке арестантов и в убийстве якута. Все общество разделилось на две партии: одна доказывала, что арестанты уходили из острога тайком, через подкоп; другая, напротив, стояла на том, что дело не обошлось без содействия и участия казаков.

В интересах губернатора было утверждать первое, тогда как архиерей поддерживал второе мнение.

Я в это время уже собирался ехать в Иркутск, где мне предстояло свидание с генерал-губернатором, и обе партии старались наперерыв заинтересовать меня – каждая в свою пользу.

Я только усмехался про себя, положив ни слова не говорить об этом генерал-губернатору. Судьба, однако, решила иначе.

Но вот настало и двадцать седьмое ноября, день моего отъезда из Якутска. Я приступил

к прощальным визитам, объездил всех: и областных чиновников и купцов. Архиерей на прощанье опять осенил меня широким благословением, обнял и расцеловал, сопровождал добрыми напутствиями и целою приветственною речью к генерал-губернатору.

От него поехал я к губернатору, но, к удивлению, не застал его. Его даже в городе не оказалось: он уехал объезжать область, сказали его домашние.

Прощальный обед мне состоялся у Ивана Ивановича, куда собрался меня провожать почти весь город.

Угощение было, что называется, на славу, – чисто сибирское. Наливка лилась рекой. Не было забыто и «холодненькое» (шампанское) из-за хребта. Оно там стоило семь рублей бутылка – это правда: но там нет ни театров, ни других увеселительных мест, ни тех дам... которые стоят мужчинам больших расходов, так что денег было тратить некуда.

На этом обеде дело еще не кончилось. Прямо из-за стола все поехали меня провожать за город до какой-то церкви, в двух, если не ошибаюсь, верстах от Якутска.

Там опять из саней вынырнуло «холодненькое», и ему снова была оказана немалая честь. И на мою долю пришлась еще пара стаканов. По словам одного из тогдашних жителей Сибири, которого я иногда вижу и теперь, я, держа этот последний стакан в руках, обратился к присутствующим с речью:

– Вы, господа, думаете, что я ничего не пью, но я все притворялся. Я горький пьяница и только от вас прятался.

– Знаем, какой вы пьяница! – со смехом отвечали мне из толпы, – нас не проведете!

Так мне рассказывал о моем отъезде из Якутска и о моих последних словах мой знакомый.

От него же слышал я следующее сказание о преосвященном Иннокентии. «Были мы в светлое воскресение в соборе, – говорил мой знакомый, – губернатор, все наши чиновники, купцы... Народу собралось видимо-невидимо. Служил владыко с нашим духовенством. После обедни его преосвященство благословил всех нас, со всеми похристосовался. „Ну, говорит, а теперь прошу за мной!“ Губернатор, чиновники, купцы и все мы недоуме-

вали, куда он нас везет, и с разинутыми рта-ми последовали за ним. Смотрим, а он из церкви прямо в острог, христосуется с заключенными и каждого дарит на праздник от скудных средств своих. И что за лицо у него было при этом: ясное, тихое, покойное! Невольно и мы за ним полезли в карманы и повытаскали оттуда кто что мог. Раскошелились и купцы – пуще всех Иван Иванович. В общем набралось много денег, которые все и пошли в пользу арестантов. Тогда только владыко, еще раз благословив всех, отпустил нас по домам».

Но возвращаюсь к рассказу о моем отъезде из Якутска. Объявив присутствующим о том, что я горький пьяница, я расцеловался со всеми и повалился в свою повозку.

Станции три я проспал. Мой Тимофей расплачивался с ямщиками. На четвертой, открыв глаза, я увидел возок. Спрашиваю: кто тут?

– Губернатор Игорев, – говорят.

– Как, губернатор! – невольно повторил я. – Я хотел с ним проститься в Якутске, да мне у него дома сказали, что он уехал в объезд сво-

ей области.

– Да он и объезжает ее, – отвечали мне.

Я вошел в станционную избу.

– Ба, ба, ба! – воскликнул Игорев, делая вид, что удивился. – Я и не знал, что вы уезжаете от нас...

Я смотрел на него, как смотрят все с похмелья и, должно быть, с недоверчивою улыбкой на лице.

– Право, так, – продолжал он. – А я, вот видите, делаю объезд своей области. Да как же вы-то уехали, не дождавшись моего возвращения? Вы теперь в Иркутск ведь? Да?

– Да, в Иркутск, – заметил я смеясь.

Мы напились вместе чаю: у него был дорожный несесер. Он много говорил об объезде Якутской области, о происшествии в городе, об убитом якуте, о том, что арестанты уходили по ночам через подкоп одни, а что казаки, сторожившие их, в попойке и драке не участвовали: ни-ни! И прочее. Словом, все противное тому, что пред моим отъездом говорила мне другая партия, в надежде, что я разделю то или другое мнение и соответственно тому донесу обо всем генерал-губер-

натору в Иркутске.

В моих печатных записках, «Фрегат „Паллада“», я упоминал, кажется, что приехал в Иркутск с сильно отмороженным лицом, в самый праздник рождества Христова. Я позвал доктора.

Эскулап спросил:

– Скоро ли вам надо поправиться?

– Да к новому году. С недельку, так и быть, посижу дома.

Он велел прикладывать к опухоли винную ягоду да теплого молока. Через день все лицо вздулось, но зато через неделю опухоль значительно опала, и в первый день 1855 года я мог явиться к генерал-губернатору Восточной Сибири с поздравлением.

Его зала была полна генералами, чиновниками, купцами. Николай Николаевич Муравьев в мундире и орденах с большим достоинством принимал поздравления. Я явился к нему на этот раз в полном параде – в черном фраке и белом галстуке. Сначала он очень обрадовался мне. Потом вдруг отступил и, обыкновенно обходительный и любезный, обратился ко мне, как строгий начальник, с серди-

тым лицом и побелевшим носом.

– Отчего это нет почты из Аяна? – спросил он у меня сурово.

– Да... теперь им там не до почты, – отвечал я, невольно изменяя своему плану вследствие этой внезапной суровости генерал-губернатора. – Весь город, губернатор и архиерей заняты тем, что убили якута и...

– Странно, – перебил меня Муравьев, – они все там заняты тем, что всякий день везде случается, и никто не заботится о том, чего нигде не бывает, то есть что почта не приходит. – Отчего же ее нет из Аяна? – строго допрашивал он меня.

Я и тут нашелся.

– Ваше превосходительство, – заметил я, – почта не могла притти, потому что снега нынче очень глубоки. Олени не могут отрывать мох, который служит им пищей, идохнут во множестве. Оттого и почта не пришла.

На мое замечание, что губернатор занят теперь объездом своей области, генерал-губернатор спросил, почему я это знаю и где я его встретил? Выслушав мой ответ, он только улыбнулся и не сказал ничего.

Николай Николаевич Муравьев немедленно отправил офицеров: одного в Камчатку, снять там пост после геройского отбития англичан от этого полуострова¹⁴, а другого в Аян, откуда не приходила почта.

После того он опять сделался гуманен, обходителен, приглашал меня каждый день обедать у него, и, как я ни порывался ехать дальше, в Европу, он старался удержать меня до какого-то бала, который должен быть у него в скором времени.

Подоспевший командир нашего фрегата успел-таки до этого бала уехать в Европейскую Россию, подозревая почему-то, что генерал-губернатор нарочно задерживает нас для того, чтоб его письменные донесения пришли в Петербург прежде наших словесных объяснений. Во всяком случае не моих объяснений: я, по возвращении, несколько дней, кроме друзей, ни с кем не виделся. Другое дело командир фрегата.

За обедом у себя генерал-губернатор всячески старался быть нам приятным и потчевал нас тропическими блюдами. Чего-чего не подавали у него! Между прочим, в десерте фигу-

рировали маринованные ананасы, в своем соку разумеется.

– У вас есть лучше угощение, – сказал я однажды, – это нам и в Индии надоело: там каждый день возили ананасы, как картофель, на лодках...

– Какое же? – спросил Николай Николаевич.

– А огурцы и квас, каких нигде нет, – сказал я смеясь.

С тех пор огурцы и квас стали появляться на столе генерал-губернатора.

Жена Николая Николаевича, француженка, не меньше его отличалась гуманностью, добротой и простотой. Она избегала пользоваться его выдающимся положением в Сибири и со своей стороны не заявляла никаких претензий на исключительное внимание к себе подвластных мужу лиц. Раз как-то она заметила мне, что боится ходить по улицам Иркутска пешком от бродячих коров. Я вспомнил якутского губернатора Игорева, который шествовал по Якутску с двумя казаками, вооруженными пиками, для защиты его от собак, и сказал супруге Николая Николаевича,

вича, что она может составить себе охрану и не из двух казаков.

Она возразила, что предпочитает вовсе не ходить по улицам, чем лично для себя пользоваться услугами солдат и других лиц, зависящих от ее мужа.

Точно так же поступила она и муж ее с одним заседателем, который не выставил ей каких-то лошадей на станции. Между тем генерал-губернатор очень распек того же заседателя, который вздумал сделать это с каким-то проезжим. Может быть, этого требовала сибирская политика?.. И то может быть!

Со всеми в городе Е. Н. Муравьева была очень внимательна и обходительна и нередко посещала, даже вне Иркутска, например Трубецких, чего сам Николай Николаевич не мог делать по своему положению.

Но я, в качестве свободного гражданина, широко пользовался своим правом посещать и тех, и других, и третьих, не стесняясь никакими служебными или другими соображениями.

Так, по приглашению С[вербеева], я перебывал у всех декабристов¹⁵, у Волконских, у

Трубецких, у Якушкина и других. Они, правда, жили вне города, в избах. Но что это были за избы? Крыты они чем-то вроде соломы или зимой, пожалуй, снега, внутри сложены из бревен, с паклей в пазах, и тому подобное. Но подавали там все на серебре, у князя (так продолжали величать там разжалованных декабристов князей) была своя половина, у княгини своя; людей было множество. Когда я спросил князя-декабриста, как это он сделал, что дети его родились в Сибири, а между тем в их манерах заметны все признаки утонченного воспитания, – вот что он ответил: «А вот, когда будете на половине (слышите: „на половине“!) моей жены, то потрудитесь спросить у нее: это ее дело».

И точно. Глядя на лицо княгини, на изящные черты ее, на величие, сохранившееся в этих чертах, я понял, что такая женщина могла дать тонкое воспитание своим детям.

Я тогда не застал уже в Иркутске молодого князя М. С. Волконского (ныне обер-гофмейстера и товарища министра просвещения), который так ласково приютил меня на пустынном берегу Аяна. Я встретил его¹⁶, после

крайнего Востока, на крайнем Западе, именно в Вильдбаде, когда он шел рядом с колясочкой больного ногами своего отца.

Другой княгини-декабристки я не застал уже в живых. Зато тут же познакомился с декабристами: Якушкиным и недавно женившимся Поджио.

Между тем тот же князь-декабрист В[олконский] ходил в нагольном тулупе по базарам, перебранивался со ссыльными на поселение или просто с жителями.

Для него, как для китайца, весь мир заключался в той среде, в которой он вращался, и не разбавленное другим мирозерцание было основой всей его жизни.

Он наделил меня письмами в Москву и Петербург, потому-де, что будто письма от декабристов в Казани на почте вскрываются. Это, может быть, была и правда.

Говорят, не знаю, правда ли, что какой-то чиновник, приехавший из Иркутска в Петербург с какими-то донесениями к государю, очень хотел накидать «bâtons dans les roues» генерал-губернатору. Представляя свои донесения императору, он, между прочим, сказал,

что Н. Н. Муравьев, где встретит, очень ласково обращается с поселенными вне Иркутска декабристами, никакою работой их не занимает, что хотя по положению своему сам не бывает у них, но что супруга его посещает декабристов и т. д.

Император будто бы выслушал чиновника и заметил: «Стало быть, Муравьев понял, чего я хотел».

Но это я привожу в виде анекдота, не ручаясь за правду его.

Кстати, теперь же приведу другое сказание, которое слышал от самого Н. Н. Муравьева, когда мы плыли еще вместе по Охотскому морю на шкуне «Восток». Однажды вечером мы вдвоем ходили по палубе, и речь зашла о государственных преступниках, которых у него было не мало, между прочим о П[етрашевском]. На вопрос мой, где он находится, Муравьев сказал мне, но я теперь забыл. Я прибавил только, что видал его где-то мельком, но что знакомые мои говорили, что он – сумасшедший, что он собирал в своей квартире рабочих, раздавал им деньги, учил их не повиноваться своим хозяевам и прочее¹⁷. Те

брали у него деньги и смеялись над ним. Словом, все считали его за сумасшедшего. Муравьев внимательно выслушал меня и потом заметил: «Вы мне открываете глаза на этого человека: я считал его в здравом уме и, получив о нем важную бумагу, как о серьезном преступнике, счел нужным сам поехать к нему. Я едва вошел к нему в тюрьму, как он начал бомбардировать меня жалобами... как вы думаете, на кого и на что? на сенат, на государя, что его не так судили... и бог знает понес какую ахиню, точно приехал из-за тридцати земель! Я счел необходимым предупредить его, что я приехал, чтоб облегчить его положение, а он делает все, чтоб отягчить его, потому что все, что он теперь мне скажет, я, по обязанности своей, вследствие данной мне о нем инструкции, обязан донести правительству. Поэтому нет ли чего-нибудь такого в его положении, чем я, как генерал-губернатор, мог бы облегчить его участь. Тогда он стал жаловаться, что приставленный к нему унтер-офицер стесняет его... Я не дал ему договорить: „Вот это мое прямое дело“, – сказал я и приставил к нему другого унтер-офицера».

«Что ж он, работает?» – спросил я. «Славны бубны за горами, – сказал Муравьев. – Какое работает, ничего не делает! Но вы открыли мне на него глаза. Он, точно, сумасшедший».

Так, кажется, Муравьев и поступал со всеми ссыльными.

Другой княгини, Трубецкой, декабристки, как я сказал, я уже не застал в живых. Но дочери ее были уже просватаны – одна за москвича Свербеева, другая за моего петербургского приятеля, кяхтинского градоначальника Ребиндера, и даже чуть ли уже не была за ним замужем: я теперь забыл. Обе они тогда носили траур и были очень интересны, особенно младшая.

Вдруг явилась там княгиня Волконская, супруга фельдмаршала, князя П. М. Волконского. Где она только не бывала? В Париже и в Чите, в Петербурге и в Египте. Свербеев рассказывал мне о ней баснословные вещи. В Иркутске она явилась просто повидаться со своим родным братом С. Г. Волконским. Свербеев убеждал меня, что и мне следует к ней явиться.

– Зачем же? – спросил я.

– Да как же? все перебивали у нее, а вы нет! Поедемте! – и повез меня.

У нее был круг кресел – вроде как были табуретки при французском дворе, – и она сама председательствовала на диване. Это была очень живая, подвижная старушка и безумолку говорила то с тем, то с другим посетителем. Представление меня она сочла должным и сейчас же заговорила со мной по-французски. Потом обратилась к Свербееву, потом к новому посетителю и так далее.

– Sans adieu![166] – сказала она мне на прощанье. И таким образом визит мой кончился.

Я тут перезнакомился со многими другими, между прочим с гражданским губернатором, военным генералом Венцелем, которого очень хвалили все, начиная с генерал-губернатора, за его мягкость, гуманность, – с инженером Клейменовым, с адъютантами генерал-губернатора, из которых один, его родной племянник, был потом сам генерал-губернатором Восточной Сибири, когда дядя его уволился с этого поста и был назначен, кажется, членом Государственного совета.

Делать больше в Иркутске было нечего. Я

стал уставать и от путешествия по Сибири, как устал от путешествия по морям. Мне хотелось скорее в Европу, за Уральский хребет, где... у меня ничего не было. Брат мой был женат, сестры были замужем, одна из них вдова. Все они были заняты своими интересами. В Петербурге тоже я был один, свободен, как ветер.

Не помню, дождался ли я пресловутого бала у генерал-губернатора: думаю, что нет, иначе бы я помнил его.

Знаю только, что 14 января 1855 года я покинул Иркутск и погряз в пространной Барабинской степи, простирающейся чуть не до Екатеринбурга.

Жидки это «воспоминания о Якутске», – скажет читатель. Что делать? В свое время я написал, что мог, что написано в печатной книге. Остальное пишу на память, сквозь туман прошлого: не мудрено, что вышло туманно...

Май месяц в Петербурге*

Очерк

На одном из проспектов в Петербурге был, а может быть и теперь есть, высокий дом, который одной стороной выходил на какой-то канал, а другой в противоположную улицу. С боков, в улице и переулке, были жилые помещения.

Посреди двора тянулся также флигель и разные квартиры.

Словом, дом был обширный.

С лицевой стороны два главных подъезда принадлежали к большой квартире в бельэтаже, занимаемой генералом-графом и супругою его графиней Решетилковыми.

Граф был человек военный и возражений на свои приговоры не допускал. Только от равных себе по чину он принижал противные его взгляду мнения. На низших же смотрел свысока.

У графа были дети. Один сын служил в гвардии, в конном полку, другой был паж.

У графини была дочь, подросток. Она еще не выезжала. У нее была гувернантка.

С другой стороны в бельэтаже жил какой-то важный чиновник, а вверху над ними проживали две девицы-сироты уже на возрастe.

Внизу был ренсковый погреб, хозяин которого, купец Гвоздев, очень заинтересован этими девицами. Всякий раз при проходе их, стоя на пороге своего магазина, он низко раскланивался, чем девицы весьма обижались. Чего-чего он не делал, чтоб привлечь их внимание! Например, на святой неделе он купил где-то на Невском проспекте, в иностранном магазине, яйцо такой чудовищной величины, что ахнул весь дом. Он доверху набил его конфетами и принес к сестрам-девицам, чтобы похристосоваться с ними. Сестры тоже ахнули и не могли отказаться от христианского обычая.

Когда у него были занятия в погребе, он высылал вместо себя мальчика, и тот давал ему знать немедленно, лишь только сестры показывались на тротуаре.

На дворе помещался некто Чиханов с женой. Он занимал четыре комнаты: две были отделаны особенно чисто, а другие две попр-

ще.

Над ним жили три чиновника холостых, с кухаркой.

Под ними еще чиновники. Посередине тоже ютились разные жильцы и расположены были торговые помещения.

Всем этим домом заведывал управляющий всегда отсутствующего хозяина, Иван Иванович Хохлов. Это был несколько высокий, сутуловатый человек, с большой бородавкой на щеке, покрытой волосами, и с вечной улыбкой, которой он сопровождал свои шутки. Он всегда шутил. Занимал он несколько комнат в среднем корпусе, из которых одна была обращена в контору. В ней он принимал просителей, то есть жильцов дома. Те, которые были поважнее, приглашали его к себе, в том числе и граф-генерал.

Вот, кажется, все, что можно сказать об этом доме.

Утром дом только что просыпался. Раньше всех проснулись, конечно, голуби, воробьи и кошки. Кошки вылезали из труб чердаков, гоняясь за голубями. Но, кажется, сами признавали бесполезность своих покушений: они

только что присядут, чтоб броситься на добычу, голубям и воробьям стоило своротить в сторону или перелететь на другую крышу, и кошки притворялись, что это их будто вовсе не занимает и что они делают так только, чтоб не терять своих приемов гоняться за пернатыми. Но горе тем, кто оплошает!

Все прочее еще спало, хотя было давно светло. В это время в мае на севере всегда светло.

Часов в семь дворник Архип вынес самовар, обхватив его, как друга, рукой и начал звать товарища своего пить чай. На другом дворе наблюдалось то же самое. Окончив это дело, если только тут было сколько-нибудь дела, они принялись мести, вздымая пыль, навоз и другое, что валялось на мостовой. Около них образовались целые облака до самой крыши. Дом и улицы – все утонуло, как в дыму.

Сверху вдруг раздался крикливый голос кухарки: «Что вы пылите-то, черти! Я только что поставила сливки на подоконник простудить, а вы намели пыли. – Она поперхнулась и закашлялась. – Право, черти!» – прибавила

она. Но самих дворников не было видно. Только голос из облака отвечал: «Как же нам быть, когда „сам“ поедет, дворы и перед домом улицу надо вымести». И принялись опять мести.

Галлерея, или, как дворники прозывали, «галдарея», просыпалась. Лакеи чистили мундиры графа и сыновей его.

На другой стороне горничные отряхали пыль с платьев, ботинок графини, дочери ее и гувернантки.

Внизу на обоих подъездах швейцары ставили самовары. Один пузатый, плешивый, не самовар, а швейцар, со стороны графини, а другой в военном унтер-офицерском мундире со стороны графа. Нельзя было не заметить трубы из синей бумаги на одном из самоваров.

Был еще осьмой час утра. Оба швейцара, один пил кофе, а другой – чай, напились, оделись и ждали девяти часов, когда приносят письма и газеты.

С улицы городской просунул было на двор голову и крикнул дворникам: «Что вы, с ума, что ли, сошли, пыль столбом до самой кры-

ши! Эк напустили!» Он закашлялся и плюнул.

Тогда дворники очнулись.

– Сами же вы велели... – начал было один.

Так я велел поливать, а вы что делаете, только пыль разводите!

Тогда дворники, один взял шайку, другой полоскательную чашку, стали поплескивать воду на дворе и на мостовой перед домом.

Какой-то ранний прохожий, зажимая нос и жмурясь, спешил пройти мимо. «Что это вы за пыль подняли на улице: нельзя дышать!» – упрекнул он. «Полиция велит!» – сказал первый дворник.

С противоположной стороны ехала на дрожках барыня и зонтиком, сколько могла, защищалась от пыли. «Какая пыль! Что это, вы с ума сошли!» – сказала она. «Полиция велит!» – отвечал второй дворник.

Около дома на другой стороне и около других домов дворники твердили то же самое и неистово мели улицу, не заботясь о прохожих и проезжих. У них была одна отговорка: «Полиция так велит».

Пыль кое-как осела.

Наконец ударило девять часов, графу и де-

тям его понесли чай, а графине, дочери и гувернантке – кофе.

Вот поехал и «сам», то есть частный пристав. Он зорко осмотрел дом, улицу и двор, погрозил почему-то дворникам и вытянувшегося в струнку городовому.

Почтальон принес газету, журналы и письма.

Тогда оба швейцара принялись разбирать, кому какие журналы, а кому письма? «Кто его знает, по-французски это или по-другому; кому это письмо, а кому журнал?» – говорил военный швейцар.

– Уж я вам тысячу раз твердил, – заметил статский, – это по-французски, а это по-аглицки.

На это замечание военный только погладил свою голову и ничего не сказал, а сам, кажется, думал: «Бог знает, что ты там скажешь».

Статский высокомерно поглядел на военного, разобрал все по порядку, но все перепутал, так что потом пришлось все перебирать опять.

В середине двора сверху раздался голос Чи-

ханова: «Дворник, дворник! поди сюда!» Один из дворников уткнул только вверх голову и ничего не сказал. А товарищ ему тихо говорил: «Не ходи, это Чиханов тебя зовет, опять куда-нибудь пошлет».

Первый в нерешительности смотрел вверх и ничего не говорил. Голос сверху опять повторил: «Дворник, тебе говорят, иди сюда!» – «Не ходи! – твердил товарищ его, – он опять тебя пошлет куда-нибудь, к итальянцу в Морскую без денег, а там тебя в шею вытолкают». – «Как не ходить-то! – отвечал первый, – иной раз он в долг взять велит разного товару, а другой раз даст сотенную расплатиться там за все, что забрато в лавках: а когда станешь отдавать ему сдачи, рублей с лишком десять, „Возьми, скажет, себе на чай!“ Так-тошь!»

Сказав это, он пошел вверх к Чиханову. Тот велел ему зайти и к итальянцу и в другие лавки, купить масла, сыру, вина и прочих закусок, а денег опять не дал.

Дворник постоял, постоял, взял записку чего купить, и задумчиво, тихо, точно ногами считал ступени лестницы, пошел вниз.

«Опять денег не дал! – ворчал он про себя, – в лавках, пожалуй, в шею прогонят!» – «Я тебе говорил, не ходи!» – заметил его товарищ.

Первый взял шапку и со вздохом пошел со двора.

Между тем к управляющему в контору приходили и уходили разные жильцы дома. Один просил отсрочки уплаты за квартиру. Это был Чиханов; он сладким, певучим тенором, с масляным взглядом, просил отложить плату до следующей трети. «Тогда получу и непременно, непременно отдам...» – «Будто!.. – сказал на это Иван Иванович и улыбнулся по-своему, – не верится мне!» Другой, напротив, принес деньги за то же самое. Третий жаловался на течь в потолке и на сырость.

Иван Иванович всех удовлетворил: Чиханову отсрочил, как он просил, уплату до такого-то числа, чему тот очень обрадовался и проворно убрался к себе. От другого Иван Иванович принял деньги, третьему обещал прислать мастерового осмотреть потолок и сделать, что нужно.

Чудный человек был этот Иван Иванович:

он всем умел быть полезен и всем угождал и никогда не расставался со своими шутками и с своей улыбкой! Как он отговаривал молодежь обоего пола, стриженных девиц в синих очках, длинноволосых юношей с развязными манерами, от найма квартиры в этом доме! Вообще у него был какой-то особый нюх на благонадежных и неблагонадежных жильцов.

Пришли к нему какие-то две жилицы и просили взыскать с них за настоящую треть не все деньги за квартиру, а только половину, потому-де что они переезжают на дачу, а вернувшись в сентябре, заплатят и остальное. Иван Иванович удовлетворил их, зная их аккуратность. Пришел в контору какой-то Зашибаев, на которого он смотрел с особенной улыбкой. «Ну, здравствуйте, как поживаете? Сегодня вы в новых панталонах: вот как!» – сказал он.

– Это товарищ мой прислал: у него две пары! – беспечно отвечал Зашибаев, небрежно поглядывая на свой костюм. Иван Иванович с улыбкой смотрел на него.

– Что ж вы смеетесь, что панталоны у ме-

ня есть! И всегда будут: без панталон никто не ходит! Нечего и хлопотать, откуда они возьмутся! – Он хлопнул себя по брюкам.

– Что ж, вы деньги за квартиру принесли за эту треть? – спросил Иван Иванович.

– Нет, я зашел сказать вам, что у меня их нет.

– Не стоило и заходить! – сказал Иван Иванович улыбаясь, – я знал вперед, что это так будет.

На другом дворе важный чиновник уехал в свое присутствие. По фамилии его звали Вальнев, а по имени Петр Егорович, но всего больше величали его «ваше превосходительство», по его чину. Он был тоже феномен в своем роде, этот важный чиновник. Он всегда был озабочен, говорил всем, что у него пропасть дела, и даже уверял свое начальство, что он не спит, не ест, а все делает дело! Выпросит себе какую-нибудь командировку, всегда полегче, а денег на нее побольше, сдаст все дела свои другим и возится с этой командировкой целые месяцы, потом уверяет всех и каждого, больше всего свое начальство, что без него и без его трудов дело бы стояло. По-

том всем говорил, что был там-то вице-директором, там помощником управляющего, здесь состоял в такой-то должности, делал то-то! Но никогда не намекал, что сделано им путного на том или другом месте.

Он выпросил себе чинов, звезд, денег – всего, и начальство было в недоумении, какую пользу принес он отечеству, делало, при виде его, большие глаза и отпускало ему все, чего он ни попросит! За глаза прозвали его «холопом», «нахалом», но в глаза ему ничего не говорили, а только спрашивали друг друга, «в чем состояли его заслуги и что такое он делал, чем взял?» На это никто ничего не мог ответить, многие пожимали плечами, делали, глядя на него, как сказано выше, большие глаза. Он как-то проглатывал это вольным духом и храбро шел туда, где его не знали, уверяя, что на его плечах лежит целое ведомство.

Он был небольшого роста, с маленьким лбом, с высшими себя почтителен, равных избегал, а с низшими нагл и настойчив.

В домашнем быту своем он был во всем приличен, но, взглядываясь в приличие это,

заметишь белые швы. У него в квартире было все сборное, никакого единства, то есть вкуса, в обстановке не было. Мебель была из Гостиного двора, картины оттуда же. Тут же под ногами дорогой персидский ковер, о котором он случайно прочел в газетах. Словом, когда войдешь в квартиру, все на взгляд было прилично, хотя все смотрело врознь. Джентльменом он не был, едва ли даже понимал это слово или смешивал его с крупным чином. В настоящую пору он ладил, как бы ему жениться на богатой, хоть купеческой дочери, и взять приданого побольше. Таков был этот важный чиновник!

Девушки-сироты пошли пройтись куда-то по набережной.

Хозяин ренского погреба, купец Гвоздев, стоя у себя на пороге, с восторгом смотрел вслед им обеим. «Эх!» – кряхтел он, следя за ними влюбленными глазами.

Между тем настал полдень, затем завтрак. К графу приехал завтракать другой генерал. Дети разъехались по службе. В первом часу все собрались к столу, также и графиня с дочерью и гувернанткой.

После завтрака граф, гость его, другой генерал, уехали в свой совет, графиня села в гостиной принимать посетителей, а дочь с гувернанткой скрылись в своей комнате.

К графине то приедет русский архиерей, то католический прелат, иногда какая-нибудь великосветская барыня с визитом. Графиня одинаково говорила и с русским преосвященным, и с католическим прелатом, и с великосветской барыней. Услышит, например, она, что в такой-то церкви православный священник будет говорить красноречивую проповедь, она едет туда, выслушает и умиляется искренно. Узнает, что готовится говорить католический прелат, она едет в иноверческий храм и также умиляется, как он хорошо говорил, точно так же с восторгом слушает и какого-нибудь апостола из светских проповедников, нужды нет, что он проповедует явный раскол. А к вечеру забудет их всех.

Часа в три вдруг графиня как сидела, так поднялась с своего места, накинула не глядя какую-то мантилью на плечи, на ходу надела шляпку, перчатки. Ей подали экипаж, она села и поехала куда глаза глядят. Ей предше-

ствовал лакей. Она не ездила, как большинство наших барынь, по магазинам, а посещала музеи, картинные галереи, мастерские художников.

Дочь с гувернанткой и лакеем пошли в Летний сад.

Дом как будто заснул. Только то к тому, то к другому подъезду подъезжали кареты: лакеи соскакивали с своего места, принимали от господ визитные карточки, отдавали швейцарам, и кареты ехали дальше.

Графиня вернулась к шести часам. Последнею ее гостьей была княгиня Перская, приятельница графини. Она приехала к последней обедать и жаловалась ей, что «она измучилась совсем, делая визиты». «Представь, графиня: я нынче сделала двадцать два визита – это ужас!» – с неподдельным ужасом говорила она. Графиня с состраданием покачала головой. «Осталось еще визитов тридцать!» – со вздохом добавила она. «Зачем ты их делаешь, эти визиты? – спросила графиня, – ты бы, как я, вовсе не ездила...» – «Нельзя, нельзя! – строго заметила княгиня, – если делать по-твоему – не соберешь у себя на бале всех маменек

и тетушек! Вот ты узнаешь, когда будешь вывозить свою Nadine! Хорошо еще, что сегодня в четырнадцати домах не было хозяек у себя, я оставила карточки, а в восьми домах приняли, надо было тащиться на лестницу! – со вздохом прибавила она. – Да: я и забыла сказать тебе – представь себе, я видела во сне – гроб: что бы это значило?» – вдруг спросила она.

На это графиня только улыбнулась и покачала головой.

Вскоре приехал ее обыкновенный гость, высокий, лет шестидесяти, мужчина в белом батистовом жабо, в черном фраке, с прозрачными ногтями, накрахмаленный, державший себя прямо, как палка. Он был ежедневным посетителем и являлся неизменно к обеду.

Когда-то он был неравнодушен к графине в ее девичестве, но как у него было каких-то триста, а у графа, тогда еще подполковника, тысячи три душ, то он скромно уклонился от сватовства, предоставив первому искать руки его предмета, а сам остался вечным обожателем графини.

К обеду же приехал к генералу еще ка-

кой-то статский, весь в звездах, потом явились дети, и все сели за стол.

В то же утро, часа в два, приехал к Чиханову старинный его приятель, богатый князь Копылин. Муж и жена Чихановы встретили его в комнатах получше.

– Eh bien, mes enfants[167], как поживаете? – сказал князь, обращаясь к мужу и жене и пожимая им руки.

– Нельзя сказать, чтобы хорошо, князь! – сказал Чиханов, – сидим без денег и на антониевой пицце.

– Как так, «без денег и на антониевой пицце»? Что это значит?

– Так, князь: ведь я у вас просил денег, потому что... мы едим печенку с огурцами, приходится так...

– Sauce madère?[168] – спросил с некоторым вниманием князь.

– Вы смешиваете печенку с почкой: это две вещи разные! – сказала Чиханова.

– Печенка, печенка! – повторял князь. – Qu'est ce que c'est que ça?[169]

– Печенка c'est le foie, а почка c'est le rognon.

– А, теперь понимаю! – сказал князь.

В это время лакей отворил дверь в другую комнату, где накрыт был стол на три куверта.

– Это только для вас, князь, и при вас мы позволяем себе такую роскошь! – сказал Чиханов и просил князя принять от них завтрак. Он велел выставить ряд закусок и вин, за которыми посылал в лавки, дворника, уговорил чьего-то повара сделать бифштекс, – словом, все устроил, как принято в хороших домах.

– Неужели вы едите печенку? – прибавил князь почти с отвращением. Чиханов комически вздохнул.

– Что делать: денег нет, чтоб есть, как порядочные люди едят... – сказал, опустив глаза, Чиханов.

Жена его в это время перебирала концы своей шали. Князь посмотрел на них обоих, как бы с состраданием, достал со вздохом из кармана своего бумажник, отсчитал пять сотенных бумажек и отдал их Чиханову. «Вот вам, на первый раз довольно!» – сказал он.

Потом все принялись за завтрак. Чиханов говорил, рассказывал анекдоты, делал удачные карикатуры общих знакомых. И все трое

смеялись, завтракали, пили вино как ни в чем не бывало.

Посидев еще немного, поговорив с Чихановыми, князь пожал им обоим руки и уехал.

Чихановы точно ожили. Он энергически потряс сотенными бумажками, одну отдал жене, а остальные спрятал в карман.

– Ну, теперь недели на две разжились! Вот сто рублей тебе, а остальные мне! – Он захохотал. И с этими словами разошлись в разные стороны.

Он не зашел к Ивану Ивановичу отдать долг за квартиру, а тихо проскользнул поспешно мимо его, выкупил у портного свое платье, потом достал себе билет в театр, в первых рядах, потом пообедал во французском ресторане, вовсе не печенкой, а как следует, пятью блюдами, с бутылкой доброго вина. Так прошел у него второй и следующие дни.

А она, жена его, заехав в Гостиный двор и к портнихе-француженке, оделась скромно, но прилично, в черном платье, с подвязанной щекой, будто от зубной боли, и поехала к знакомым богатым барыням клянчить на бед-

ность и добыла в свою очередь рублей двести. Когда-то Чиханов служил в военной и гражданской службе, вертелся в большом свете, жил долгами, но был всегда франтовски одет, принят в лучших салонах. Его называли «*si-devant jeune homme*»[170], «ловким малым», а кое-где и «пустым человеком». Но ему дела ни до чего не было, он хлопотал только о том, как бы прожить весело день. Жена его была как-то в тени и жила своей особенной жизнью.

К обеду сходятся обыкновенно все, все и у графа сошлись. Граф-генерал, графиня, дети их, тоже и гости сели за стол.

Важный чиновник Вальнев, на другой стороне, приехал из своего присутствия, пообедал, лег спать. Живущие над ним девицы давно отобедали и ушли куда-то в гости. Опять купец Гвоздев проводил их с крыльца своего магазина, с поклоном и с улыбкой восторга глядя им вслед.

Генерал-граф прислал «просить», так выразился человек, а граф велел попросту позвать к себе управляющего домом.

– Любезный Иван Иванович! – сказал он

по-своему ласково, но выходило это не ласково, – садись, садись здесь. – Он показал ему стул. Он говорил ему то «вы», то «ты» и не знал, как с ним обращаться. Этот Иван Иванович был только титулярный советник и не любил соваться вперед своим знанием и образованием.

– Вот что, – сказал граф, – у меня на кухне лишний повар, – мне сегодня только об этом сказали, – нельзя ли его пристроить?

– Отчего же, – можно! – подумавши и с неизменной улыбкой отозвался Хохлов, – место готово, хоть сейчас!

– Так чего же лучше? Если готово, то и мешкать нечего!.. – сказал граф.

– Только там денег не платят! – заметил Иван Иванович, с своей неизменной улыбкой.

И сам граф и гости его залились смехом. У графа даже эпoletы заплясали на плечах. Все, выпуча глаза, смотрели на Ивана Ивановича.

– Заставят поработать вашего повара с месяц или около того, потом и откажут: «Не хорошо, мол, не годится!» – скажут ему и дадут что-нибудь из милости, что вздумают, в воз-

награждение.

Опять граф и гости его засмеялись. Все это, кажется, Иван Иванович выдумал, то есть «место для повара, где денег не платят», чтоб граф не приставал к нему с своим предложением. По крайней мере, идучи от графа к себе домой, он усиленно чему-то улыбался.

Настал вечер. Чиновники, жившие над Чихановым, давно отобедавшие, каждый чем-нибудь занимался. Один читал какую-то книгу, другой рассматривал дело из своей канцелярии, а третий, постарше, по фамилии Брагин, служивший по особым поручениям при одном директоре департамента, что-то усердно писал, бормоча про себя: «И на сию командировку положить ему, Лязгину, прогонные по чину... всего 200 рублей, да суточных, примерно, по 4 рубля, итого...»

Он положил перо. «Маланья», – крикнул он кухарку. Минуты через две в комнату вошла пожилая, бойкая женщина. Брагин хлебнул из стакана пунша.

– Маланья! – повторил он.

– Чего вам: я пришла! – сказала Маланья.

– Если б ты теперь словила на дворе петуха

и передала его соседям, а полиция предписала бы во что бы то ни стало отыскать этого петуха...

Маланья не вдруг поняла сказанное и сначала, разиня рот, подумала с минуту, потом, кажется, смекнула.

– А как она, ваша полиция, отыщет его? я бы взяла и отдала дворнику через задний ход... – проворно сказала она.

– погоди, погоди! – нетерпеливо перебил ее Брагин. – Квартальному начальство выда-ло бы десять рублей за этого петуха...

– Весь петух-то не стоит и тридцати копеек: за что ж давать десять-то рублей? Да не отыщет она никак, ваша-то полиция, когда я отдам дворнику через задний ход, а десять рублей пропадут!..

– А вот здесь посылают офицера и дают ему прогонные и суточные по чину, тогда как дело-то все в трехстах рублях!

Один из чиновников, Юхнов, вскочил из-за стола. «Да что вы, Андрей Тихонович, опять за свое: теперь стали начальство бранить!»

– А что, не нравится! – сказал Брагин, сме-

ясь и прихлебывая пунш.

Третий чиновник, Понюшкин, только усмехнулся. Маланья посмотрела на них всех трех, утерла фартуком нос и ушла к себе.

– Я думала, зовут за делом, а они вон что выдумали! У меня еще посуда не мыта! – ворчала она.

В это время раздался звонок. Явился курьер от экзекутора того департамента, где служил Брагин, и объявил последнему, что завтра уезжает за границу директор с супругой, так не угодно ли проводить их превосходительство на станцию. «Так, мол, экзекутор велел сказать».

– Разве завтра? Ведь директор хотел ехать на той неделе! – возразил Брагин и в это время хлебнул пунша из стакана. Он сказал курьеру: «Хорошо, скажи, что буду».

Курьер ушел.

– Тут занимаешься делом, вдруг изволь провожать директора на станцию! – Он вздохнул. – Или в праздник, например: чем бы отдохнуть у себя дома, надо поздравлять начальство! И выходит – суета сует! – Он даже плюнул.

Юхнов бросил перо и вскричал: «Вы опять, Андрей Тихонович, на начальство роптать!»

– Что, не понравилось вам, – язвительно заметил Брагин, – по-вашему, молчи? ха-ха-ха!

Понюшкин опять только усмехнулся.

В тот же вечер у графа уселись играть в карты, а к графине собрались молодые люди и девицы и вместе с графскими детьми занялись музыкой.

Швейцары оба все ссорились между собой. Статский швейцар спорил с военным о том, чьи гости важнее, графа или графини. «У моего-то графа вон какие, все в звездах! А один гость ездит, махонький такой: чего-чего на нем нет? У вас таких не бывает!» – «У нас-то! – с презрением отозвался статский, – да у нас такие бывают княгини и графини, что вам и во сне не видать!»

– Легко сказать! – отозвался военный.

Купец Гвоздев с порога своего погреба продолжал следить восторженным взглядом обеих девиц. Те торопились пройти мимо или ворочались, заметив его, домой, перебраниваясь между собой о том, к кому относятся эти

комплименты. Ни одна из сестер не хотела брать их на свой счет. Дело в том, что они были дочери умершего коллежского советника, следовательно в некотором роде дворянки, а он только купец.

Что касается Брагина, хотя он зарычал, как бульдог, на извещение экзекутора об отъезде за границу директора и его жены, но на другой день явился на станцию, с глубоким поклоном этому самому директору и букетом цветов его супруге. Он не только не был пьян, но был прилизан, причесан и в свежем вицмундире. Он и экзекутор были между собою приятели и любили вместе выпить. Они жили, что называется, душа в душу, то есть рука руку мыли. Оттого Брагин и получил извещение от экзекутора об отъезде директора за границу.

– Сюда, сюда, ваше превосходительство, сюда пожалуйста! – твердили взапуски экзекутор и Брагин, приглашая директора на назначенные им места в вагоне.

Директора, кроме родных и знакомых, еще провожал заступавший его место в его отсутствие вице-директор, какой-то немец Шлеп-

пе, человек тихий и добрый. Он приехал сюда как для приличия проводить директора, так и для того, что директор давал ему кое-какие наставления, что делать в его отсутствие.

– Да, да, будет исполнено, все будет! – говорил в ответ Шлеппе.

Поговорив с ним, директор обратился к Брагину: «А вы, Брагин, не забудьте дела, которые я вам поручил...»

– Как можно забыть, ваше превосходительство? Сделаю все, все, до дела Лязгина включительно...

– Да, дело Лязгина... Да, да, – прервал директор, – ведь я вам его передал?

– Как же, ваше превосходительство, оно у меня: Лязгину назначено двести рублей на командировку, да прогонных по чину. Бумага у меня готова...

– Так Иван Богданович подпишет мои распоряжения, офицер получит деньги и отправится... Да... да... Что еще я хотел сказать? – торопился директор.

– Пойдем скорее! Мы опоздаем! – говорила между тем директорша и наскоро отдавала горничной разные мелкие вещи для размеще-

ния их в вагоне и в то же время прощалась с родными и знакомыми.

– Adieu, ma chère[171], – кричали ей разные голоса, – пишите чаще! Прощайте! До свиданья!

– Да, да: я еще что-то хотел объяснить: да как в этой суматохе объяснишь!..

– Прощайте, прощайте!..

– А вам, Петр Петрович, – обратился директор к экзекутору, – я еще на квартире сказал, что без меня делать... Еще что-то я хотел сказать... – говорил растерянный директор.

– Слушаю, ваше превосходительство, все будет сделано, – твердил, как сорока, экзекутор.

Курьер между тем принес квитанцию на багаж, сдачу и подал директору.

– Так прощайте, до свидания! – сказал директор, подав руку только вице-директору и своим родным.

– Прощайте, ваше превосходительство! – кричали все.

– До свидания! – повторили директор и жена его, высовываясь из вагона и кивая головой всем и каждому.

Больше всех юлил Брагин, подавая свой букет директорше и целуя ей руку, а директору отвешивал глубокие поклоны.

– Прощайте, счастливого пути вашему превосходительству и скорого возвращения!

– До свидания, до свидания! – раздавалось из вагона.

Поезд тронулся и ушел.

Родные и знакомые разъехались. Вице-директор уехал к себе, Брагин и экзекутор, рука в руку, пошли вместе.

– Теперь мы покутим! – сказал Брагин. – Директор, слава богу, уехал, а этот вице-директор, Иван Богданович, мякушка!

– И то мякушка: ты правду сказал! И ленивый какой – ужас! Плохо не клади бумаги, где стоит вице-директор – сейчас подпишет.

Брагин усмехнулся.

– Пойдем-ка лучше в место злачное и покойное, где ни печали, ни воздыханий... Туда, знаешь, на угол! – сказал он.

– Хорошо, да только мне надо забежать в департамент: там у меня дело есть, надо распорядиться!

– И мне нужно на часок-другой домой: у

меня ведь бумаги о Лязгине не готовы, хоть я и сказав директору, что написал их. Пожалуй, завтра Иван Богданович спросит.

– Лязгин то и дело бегают к казначею: ждет не дождется, когда получит деньги.

Оба засмеялись.

– Так часа через два мы там опять... – сказал Брагин. – Знаешь?

– Знаю, знаю! – с усмешкой отозвался экзекутор, и приятели разошлись, чтоб в скором времени опять сойтись в трактире.

* * *

Какой же вывод сделать из всего этого? – Ровно никакого.

Прошел один, другой и третий май месяцы... Их сменили летние жары, потом осенние непогоды, зимние морозы и так далее. Дом стоит все на том же месте. Надо начать сначала: с голубей, воробьев и кошек. Первые вывели новое поколение, кошки тоже обзавелись котятами. И те и другие вели между собою войну: кошки учили котят гоняться за голубями и воробьями, а воробьи и голуби, в свою очередь, так же как и прежде, перелетали на другую крышу.

Дворники, может быть все тот же Архип и его товарищ, попрежнему ставили самовары и пили чай, потом принимались мести двор и улицу, в ущерб прохожим и проезжим, все с той же оговоркой: «Полиция велит!» По-прежнему они плескали из шаек и полоскательных чашек воду на двор и мостовую.

Попрежнему проезжал по улице «сам» и, может быть, грозил пальцем дворникам и городовому. Швейцары графа и графини Решетиловых все ссорились между собой, попрежнему разбирали, кому какие журналы и письма.

Граф Решетилов уехал на лето в свое имение хозяйничать. Жена его, послушав проповедников русских и нерусских, отправилась за границу на воды, с дочерью и гувернанткой. Дети их ушли в лагерь. Квартира опустела. Только оставленные беречь ее лакеи расселись на барских диванах и играли в носки и в свои козыри.

Важный чиновник, выпросив себе у начальства еще какую-то ленту, сосватал себе невесту, в купеческом семействе, как он хотел, с большим приданым. Теперь он заводит

экипаж и лошадей и высматривает в газетах, не продается ли где-нибудь подешевле и то и другое. Он заметил в какой-то газете, что выгодно продается пара вороных, с белою во лбу отметиной. Кроме того, он убирает свою квартиру, заводит мебель, зеркала и ковры, все руководствуясь газетами. Да еще у своего начальства выпросил крупную сумму на свадьбу.

Чиханов рад бы переехать с квартиры с женой на другую, более ему подходящую, но его не пускает неумолимый Иван Иванович. Он считает за ним две трети незаплаченных денег. Чиханов клянется заплатить, лишь только будут у него деньги. Но Иван Иванович не верит. Он очень искусно переписал его вещи на хозяина дома за долг и только все улыбается. Чиханов забегал к нему раза три, но, видя его непреклонность, вдруг бросил все – куда-то исчез. Июнь и июль он прожил в одном семействе, в августе с кем-то попал за границу, в сентябре явился оттуда франтом и ни о чем попрежнему не заботился, предоставив жене своей распоряжаться, как она знает. Та уехала на лето с одной богатой барыней в

ее имение, оставив присматривать за квартирой какую-то старуху из богадельни.

Девицы-сироты продолжали одна худеть, другая толстеть, и все бранятся между собой о том, к кому относятся комплименты купца Гвоздева. Этот продолжает восхищаться ими с порога своего магазина.

Чиновник Брагин теперь уж управляет отделением. С экзекутором он попрежнему закадычный приятель и получил казенную квартиру.

Кончив все дела в департаменте, они садятся за карты и к ночи расходятся по своим квартирам, не совсем трезвые. Брагин, с вечера, после пунша, либеральничает напропалую и бранит, как всегда, свое начальство, а утром является к директору почтительным чиновником.

Юхнов служит в отделении Брагина и приютился на маленькой квартире в казенном доме под крылышком Брагина. Когда этот выпьет вечером пунша, Юхнов по-прежнему возмущается за либеральные его выходки против начальства. Утром же Брагин, отрезвившись, во всем соглашается с ним и поль-

зуется его услугами.

Вообще Юхнов был благонравный чиновник, друг правительства во всем, начиная с религии. Если правительство считало в империи греко-российскую веру господствующей, он признавал то же самое и находил жалкими и смешными католиков и лютеран, которые исповедуют другую веру. Если при нем католики называли нас схизматиками, он отвечал, что православные считают схизматиками их, католиков, ибо греческая религия, дескать, старше католической. Про лютеранское вероисповедание он говорил, что его выдумал Лютер. Наших раскольников он просто называл мужичьем и был во всем на стороне правительства. Про магометан он слышал, что они есть где-то на Востоке. Личные же сношения с ними он имел только, когда покупал себе халат у татарина. Жидов он терпеть не мог.

И во всех других делах, кроме религии, он был на стороне правительства, и что не признавало оно, того не признавал и он. Словом, он был примерный русский человек и чиновник.

«Власть дается от бога, – говорил он, под-

тверждая апостола Павла, — следовательно, начальству надо повиноваться и исполнять его приказания, каковы бы они ни были». И он исполнял.

Понюшкин уехал куда-то на юг, сделался русским социалистом, побратался с простым народом.

* * *

Жизнь все жизнь, все понемногу движется, куда-то идет все вперед и вперед, как все на свете, и на небе и на земле... Только, кажется, один Иван Иванович как будто не изменился. Он попрежнему управляет домом, живет и лето и зиму постоянно в городе, со всеми говорит шутя и все улыбается. Да, он как будто не изменился.

А почему же он отговорил от квартиры, вакантной после Брагина, каких-то длинноволосых молодых людей и стриженую барышню и поспешил отдать ее какому-то своему, повидимому приятелю, прозванному им «философом», с которым он ничего общего не имел?

Тот лет десять все составляет какой-то лексикон восточных языков, да кроме того зани-

мается астрономией, перечел все авторитеты от Ньютона, Гершелей до какого-нибудь Фламариона и все хочет добиться, есть ли жители на Венере, Марсе и других планетах, какие они, что делают и прочее?

Он тоже охотник рассуждать об отвлеченных предметах и говорит, все говорит, когда к нему зайдет Иван Иванович! А этот последний заходит туда каждый день, слушает философа одного молча и серьезно, улыбаясь только его сестре, молодой вдове... на которой будто бы, как рассказывают злые языки в доме, он непрочь и жениться. Он и дачу нанял под городом близко, перевез туда брата и сестру и, кончив свои занятия в доме, ездит туда ежедневно, обедает с ними и поздно вечером возвращается в город.

Почему же все это! А будто не изменился! – Нет, видно, изменился и он, и его жизнь идет куда-то вперед, как все на белом свете...

*Июль,
1891 г.*

Приложения

Счастливая ошибка*

*Господи боже ты мой! и так много
всякой дряни на свете, а ты еще жинок
наплодил!*¹

Гоголь

*Шел в комнату – попал в другую.*²

Грибоедов

Однажды зимой в сумерки... Да! позвольте прежде спросить, любите ли вы сумерки? – Я «слышу молчание», а молчание есть знак согласия: стало быть, любите. Да и как не любить сумерек? кто их не любит? Разве только заблудившийся путник с ужасом замечает наступление их, расчетливый купец, неудачно или удачно торговавший целый день, с ворчаньем запирает лавку, еще – живописец, не успевший передать полотну заветную мечту, с досадой бросает кисть, да поэт, житель чердака, грозит в сумерки проклятиями Аполлона лавочнику, который не от-

пускает в долг свечей. Все прочие любят это время, не говоря уже о простом народе, мастеровых, работниках, которые, снедая в поте лица хлеб свой, покладывают руки от тяжкого труда, наконец магазинщицах, которые, зевая за иглой при божьем свете, с детской радостью надевают шляпки и спешат предаться увеселениям. Но то существенная, прозаическая радость, а в сумерках таятся поэтические наслаждения.

*Благословен и тьмы приход!*³ –

сказал Пушкин. Но есть ли это время нежной, мечтательной грусти, – не той грубой, неприятной грусти, которая изливается днем, при всех, горючими слезами, причины которой так тривиальны – крайняя бедность, потеря родственников и прочее; грусти, например, от невнимания любимой особы, от невозможности быть там, где она, от препятствий видаться с нею, от ревности? Не есть ли это, краснея скажу, время сладостного шопота, робкого признания, пожимания рук и... мало ли еще чего? – А сколько радостных надежд и трепетных ожиданий таится под по-

кровом сумерек! сколько приготовлений совершается к наступающему вечеру! – О, как я люблю сумерки, особенно когда переносу мысленно в прошедшее! Где ты, золотое время? воротись ли опять? скоро ли?..

Посмотрите зимой в сумерки на улицу: свет борется со тьмою; иногда крупный снег вступает в посредничество, угождая свету своею белизною и увеличивая мрак своим облаком. Но человек остается праздным свидетелем этой борьбы: он приумолкает, приостанавливается; нет движения; улица пуста; дома, как великаны, притаились во тьме; нигде ни огонька; все предметы смешались в каком-то неопределенном цвете; ничто не нарушает безмолвия, ни одна карета не простучит по мостовой: только сани, как будто украдкою, продолжают сновать вечную основу по Невскому проспекту. Одним словом, кажется, настала минута осторожности... а в самом деле эта минута есть, может быть, самая неосторожная в целом дне: зимой в сумерки совершается важный, а для некоторых наиважнейший, процесс нашей жизни – обед; у первых он состоит в наполнении, у вторых в перепол-

нении желудков и нагревании черепов искусственными парами – сообразите следствия от этих двух последних обстоятельств.

Теперь войдемте в любой дом. – Вот общество, собравшееся в гостиной: все тихо, безмолвно; никто не шевелится; разговор медленно вяжется слово за слово, поминутно перерываясь и не останавливаясь на одном предмете. Вглядитесь в физиономии: это самая лучшая, самая удобная минута для изучения настоящего характера и образа мыслей людей. Посмотрите, как в сумерки свободно глаза высказывают то, что задумала голова, как непринужденно гуляют взоры: они то зажигаются страстью, то замирают презрением, то оживляются насмешкой. Тут подчиненный смело меряет глазами начальника с ног до головы; влюбленный смело пожирает взорами красоту возлюбленной и дерзает на признание; взяточник, хотя шопотом, однако без ужимок объявляет, какую благодарность и в каком количестве чаял бы он получить за дельцо; – сколько доверенностей рождается в потемках! сколько неосторожных слов излетает! Но вот несут свечи: вдруг все оживи-

лось; мужчины выпрямились, дамы оправились; разговор, медленно катившийся до тех пор, как ручеек по камешкам, завязывается снова, вступает, подобно могучей реке, в берега, делается шумнее, громче. А какая перемена в людях! подчиненный уж смотрит в лакированные сапоги начальника, влюбленный стоит почтительно за стулом возлюбленной, взяточник кланяется и приговаривает: «Что вы! что вы! какая благодарность! это мой долг!» – неосторожные раскаиваются в своей доверенности, и взоры перестают страстно глядеть; место презрения заступает сухое почтение или страх. – О! будьте только сумеречным наблюдателем... «Но наблюдать, – скажут мне, – в сумерки неудобно, темно». – Ах, в самом деле! ваша правда. «Да как же вы упустили это из виду? забыли?» – Нет-с, не догадался.

Однажды зимой, в сумерки, сопровождаемые всеми вышеизложенными обстоятельствами, то есть падением снега и безмолвием на улицах – не то из Садовой, не то из Караванной выскочил на Невский проспект, как будто сорвавшись с цепи, лихой серый рысак,

запряженный в маленькие санки, в которых сидел молодой человек. Далеко вперед закидывало стройные ноги благородное животное, гордо крутило шею, быстро несло по улице; но седок все был недоволен. «Пошел!» – кричал он кучеру. Напрасно *сей* вытягивал руки во всю длину, ослаблял вожжи и привставал с места, понукая рысака. «Пошел!» – кричал седок. Но ехать скорее было невозможно: и так пешеходы, которые пускались, как вброд, поперек улицы, при грозном оклике кучера, вздрагивая, пятились назад, а по миновании опасности, плюнув, с досадой приговаривали: «Вот сумасшедший-то! эка сорвиголова! провал бы тебя взял! напугал до смерти!»

С Невского кучер поворотил в Морскую и после минутной езды остановился у двухэтажного дома аристократической наружности, с балконом и большим подъездом. Молодой человек вошел в сени. Нигде в доме не было еще огня: сумерки царствовали, начиная с сеней. Там швейцар, сидя перед огромной печью, по временам помешивал кочергой жар и напевал вполголоса унылую песен-

ку. В стороне тянулась лестница с позлащенными перилами.

– Дома господа? – спросил молодой человек.

– Должно быть, что дома-с, – отвечал швейцар. – Вот я позвоню.

– Не нужно! – сказал тот и опрометью, как на приступ, бросился на лестницу.

В передней сумерки были еще ощутительнее: из углов, где царствовала настоящая, прямая темнота, несло храпенье; лакеи спали, вознаграждая себя вперед за предстоящие труды и вечернюю суматоху. Молодой человек остановился перед тремя дверьми, в нерешимости, в которую идти. «Отдамся на волю сердца: оно не обманет и поведет прямо к ней», – подумал он и отворил среднюю дверь. Прошедши залу и диванную, он пропал в коридоре, из которого лесенка в четыре ступеньки вела вверх.

С трепетом в сердце, на цыпочках, подкрался он к библиотеке, и вдруг этот теплый, сердечный трепет превратился в холодный, лихорадочный озноб, когда он вошел в комнату. Там на мраморном столике чуть тепли-

лась лампа и освещала лица двух стариков, которые, сидя в вольтеровских креслах друг против друга, сначала, вероятно, беседовали и потом утопили свою беседу в сладкой дремоте.

Не только молодого человека, который ожидал встречи пламенных черных глаз, но всякого охватил бы озноб при взгляде на одного из спавших стариков. Вообразите огромную лысину, которая по бокам была вооружена двумя хохолками редких, седых, стоячих волос, очень похожими на обгоревший кустарник; вскоре после лысины следовал нос: то был конус значительной величины, в который упиралась верхняя губа, помещенная у самого его основания, а нижняя, не находя преграды, уходила далеко вперед, оставляя рот отворенным настежь; по бокам носа и рта бежали две глубокие морщины и терялись в бесчисленных складках под глазами. Сверх того, все лицо было испещрено самыми затыливыми арабесками. Таков был действительный тайный советник барон Карл Осипович Нейлейн, владетель этого дома. Другого старика не знаю; вероятно, приятель барона;

физиономия его была, однакож, гораздо благопристойнее. Оба они покоились сном праведника, хотя лицо первого пристало бы самому отчаянному грешнику.

– Вот поди, вверяйся сердцу, куда оно заведет! – с досадой сказал молодой человек и, повернув назад, вошел в маленькую диванную. Там, свесив одну ногу, а другую поджав под себя, сидела на богатом оттомане и также дремала, запрокинув голову, супруга барона. Подле нее лежала моська, которая, при появлении молодого человека, заворчала. Он, чтоб не возбудить тревоги, поспешно отправился назад.

«Что за встречи! Где же Елена? – подумал он и остановился в нерешимости также, куда идти. – Здесь все сидят попарно. Поспешу сыскать ее для симметрии: нас будет также пара». – В эту самую минуту в соседней комнате раздался звучный аккорд на фортепиано, и молодой человек бросился как будто на призыв.

Пора, однако, сказать, кто таков был он, зачем пожаловал в такую пору в чужой дом, почему так своевольно расхаживает и чего

отыскивает. — Звали его Егор Петрович; он происходил из знаменитого рода Адуевых и был отдаленнейший родственник барона Нейлейн; приехал в дом к нему по двум причинам — одной обыкновенной, другой необыкновенной: первая — родство, как выше сказано, а вторая — любовь к прелестной восемнадцатилетней дочери барона Елене, милой, стройной, пламенной брюнетке, которую он и отыскивал в потемках.

Он уже намекал ее родителям о своем намерении жениться на ней, а они намекнули ему, что они рады такому союзу, потому что Адуев — разумеется, они этого не сказали ему — имел три тысячи душ и другие весьма удовлетворительные качества жениха и мужа, и вдобавок привлекательную наружность — обстоятельство, заметим мимоходом, весьма важное для Елены. Из этих обоюдных намеков возникло дело довольно ясное, приведенное в большую ясность молодыми людьми.

При всем том Егор Петрович иногда жаловался, что он совсем не так счастлив в любви, как бы ему того хотелось. Сам он любил пламенно, со всею силою мечтательного сердца;

даже думал, что любовь его к Елене есть окончательный расчет его с молодостью, что сердце, истомленное мелочными связями без любви, ожесточенное изменами, собралось, наконец, после неудачных поисков предмета по себе, последние силы, сосредоточило всю энергию и ринулось на отчаянную борьбу, из которой, как казалось ему, оно выйдет после неудачи разбитое, уничтоженное и неспособное более к электрическому трепету сладостного чувства. Что же бы оставалось ему в жизни после этой невозвратимой утраты? Любя Елену и будучи любим ею, он смотрел, при этих условиях, на жизнь, как на цветущий сад, на любовь к Елене, как на последнюю купу роскошных деревьев и гряду блестящих цветов, растущих у самой ограды: без этого жизнь представлялась ему пустым, необработанным полем, без зелени, без цветов... Адуев жаловался не напрасно: на любовь его Елена отвечала едва приметным вниманием, мучила своенравием и капризами, которые не испортили бы характера какого-нибудь азиатского деспота; сверх того... но об этом будет говорено ниже, особо. Впрочем,

она позволила себе такие поступки тогда, когда уже измерила степень, до которой достигла любовь Адуева к ней, когда уверилась, что обратный путь был для него невозможен и что он находится между двумя крайностями – страданием и блаженством. Не злодеяние ли это? на вас пошлюсь, mesdames.

После всего этого чего бы, кажется, искать ему? зачем унижать себя страстью, которой не поймут и не разделят? – Зачем! какие вы смешные! Спросите у влюбленных. Ослепление: вот все, что можно сказать в оправдание им! Одни только они могут утешаться там, где, при другом расположении духа, следовало бы прийти в отчаяние; зато бывает и наоборот. Егору Петровичу, например, иногда казалось, – а может быть, и в самом деле так было, – что когда взор Елены покоился на нем, то сверкал искрой чудного пламени, потом подергивался нежною томностью; а щеки разгорались румянцем; или порой, склонив прелестную головку к плечу, она с меланхолическою улыбкою внимала бурным излипаниям кипучей страсти, выражавшейся языком, который сначала, своею дикостию и

необузданностию, не согласовался с ее, хотя прихотливым, избалованным, однако все-таки чистым, скромным, девическим характером. Впоследствии же, когда она разгадала степень его привязанности, то увидела, что и этим восторженным языком он не в состоянии передать и половины того чувства, которое бушевало в нем. Егор Петрович утешался, видя это, но, к несчастью, он видел и то, что она так же прилежно внимала таинственному шопоту камер-юнкера князя Каратыжкина, так же неподвижно останавливала взор на пестром мундире ротмистра Збруева: разница была только та, что они не давали ей задуматься ни на минуту, а иногда все три голоса их сливались в дружный хохот. Он не мог выносить этого адского трио и бежал прочь, с горечью в душе.

Все это доводило иногда Адуева до раздражительности. «Зачем она так нежно смотрит на меня? – думал он, – зачем, ну зачем ей так смотреть?» – а потом мысленно сам же отвечал: «Зачем! смешной вопрос! затем, что любит; ну да, конечно, любит! Она сама говорила это». Вслед за этим ему слышались другие

вопросы: «А зачем она пристально посматривает на князя Каратыжкина и Збруева? зачем все им улыбается и никогда на них не сердится, как, например, на него? и что она шепчет им?» На последний вопрос Егор Петрович не находил ответа и сердился.

В самом деле, каким именем назвать это поведение Елены? Адуев, в припадке бешенства, называл – заметьте, пожалуйста, *mesdames*: Адуев, а не я, – называл... позвольте, как бишь?.. эх, девичья память! из ума вон... такое мудреное, нерусское слово... ко... ко... так и вертится на языке... да, да! – кокетством! кокетством! Насилу вспомнил. Кажется, так, *mesdames*, эта добродетель вашего милого пола – окружать себя толпою праздных молодых людей и – из жалости к их бездействию – задавать им различные занятия. Это, как называл их опять тот же Адуев (он иногда страдал желчью), род подписчиков на внимание избранной женщины: подписавшиеся платят трудом, беготней, суматохой и получают взамен робкие, чувствительные, пламенные, страстные взоры, хотя, конечно, искусственные, но нисколько не уступающие сво-

ею добротою природным. Иным достаются даже милые щелчки по носу веером, позволение поцеловать ручку, танцевать два раза в вечер, приехать не в приемный час; но чтобы заслужить это, надобно особенное усердие и постоянство.

Бежать от Елены, скрыться от своей любви, заплатить за охлаждение презрением — Егор Петрович был, как сказано выше, не в состоянии. Сверх того, в нем еще тлелась, искра надежды на счастье: он изучал ее характер в ожидании, что ей надоест суетность, наскучат со временем бесплодные торжества самолюбия; что чувство истинной любви возьмет верх, и попрежнему, а может быть, и сильнее заговорит в его пользу: оттого единственно он и откладывал требование ее руки.

Со страхом испытать какой-нибудь новый каприз и с надеждою застать Елену одну — вступил он в комнату, где раздались звуки фортепиано; но увы! и там была пара. Подле Елены сидела рыжая англичанка и вязала шарф двумя костяными спицами непомерной длины. Вскоре, однакож, дуэнью вызвали по хозяйству, и она более не возвращалась. Ка-

кое счастье! Он наедине с нею.

Елена Карловна была мила и любезна, Егор Петрович любезен и мил: мудрено ли, что судьба свела их в маленькой зале? кому же после того и сходитьсь, как не им? ужели старому барону с женою? фи! как это можно! они сами чувствовали все неприличие, всю гнусность такого поведения и оставались каждый на своей половине, а если сходились, то только за обедом, да при гостях, и то в приличном друг от друга расстоянии, как следует благоразумным и степенным супругам.

Елена мельком взглянула на Адуева, едва отвечала на грациозный поклон и начала сильнее и чаще прежнего брать аккорды, показывая вид, что вполне предалась музыке. Он молча с восторгом смотрел на нее.

– Отчего вы не пошли к папеньке, а прямо явились ко мне? – спросила она сухо.

– *Hélène!* – отвечал Егор Петрович голосом, в котором выражался нежный упрек.

– *Mademoiselle Hélène*, или Елена Карловна, если вам угодно! Вы становитесь слишком фамильярны: скоро станете звать меня Але-нушкой.

– Hé-lè-ne! – с трепетом в сердце и в голосе проговорил молодой человек.

– Егор Петрович, – спокойно отвечала она, смягченная избытком нежности, невольно изменявшей голосу и взорам Адуева.

– Итак? – тоскливо произнес он после долгого молчания.

– Итак! – насмешливо повторила она, живо перебирая клавиши.

– Вы шутите, Елена Карловна.

– Совсем нет! я стараюсь подделаться под расположение вашего духа и под ваш тон, чтоб угодить вам. Кажется, нельзя требовать большего внимания.

– Если б я не был уверен, что это шутка, то...

– То?..

– Удалился бы давно.

– Ах, это новое! – с колкостью заметила Елена, – я еще не испытала. Чем же, однако, вы недовольны? Я всегда рада свиданию с вами: вы, я думаю, по моим глазам видите это. К вам я внимательнее, нежели к другим; с другими я стараюсь, для приличия, быть только любезной.

– Только из приличия!.. Стараться быть любезной – нельзя, баронесса: это дар непробретаемый. Кто любезен, тот – поверьте! – не старается; притом же есть границы истинной любезности, а ваше обращение с князем Каратыжкиным и Збруевым...

– А!.. вот что! так вам не нравится мое обращение с ними? да отчего же! – Напротив, вы, кажется, должны радоваться их вниманию ко мне: это живой аттестат моим достоинствам, справедливая дань, как говорят они...

– Слушайте их!

– Что ж? разве не правда? Вы, я думаю, одного мнения с ними: по крайней мере любовь ваша доказывает это.

Адуев закусил губу.

– Но ваша холодность, странное обращение со мной становятся несносны! – сказал он.

– Не сносите.

– Скажите мне с прежнею искренностью, которой я не вижу в вас более, – любите вы меня?

– Как это скучно! одно и то же! Ответ вы

давно знаете.

– Но с тех пор многое могло перемениться, и переменялось! – Он вздохнул.

И она вздохнула.

– Баронесса, меня никто, никогда не считал ни глупцом, ни ребенком. Ваша насмешка – первая в моей жизни. Еще пяти минут подобного разговора – и я...

– И вы?

– Оставлю вас сию минуту, и навсегда!

– Как грозно!

Адуев не мог сносить более насмешливого тона Елены: он вспыхнул.

– Да! удалюсь, постараюсь забыть эту суетную женщину, пред которой я так долго бесплодно пресмыкался! – с гневом и скороговоркою начал говорить Егор Петрович. – Боже! та ли это, пред которой я благоговел, в чистоту чувств которой так слепо веровал, не считал себя достойным счастья обладать ею?.. И вот она! Едва успела сказать «люблю» в первый раз в жизни, и уже забывает святость своих обещаний, данное обязательство, собирает дань лести ничтожных волокит!..

– Каких обязательств! разве я ваша неве-

ста?

– Но могу ли требовать вашей руки, при этом обращении со мною и с другими, не будучи уверен в вашем чувстве? А своенравие, а капризы – какую будущность готовит мне это?.. Вы молчите?

Елена сложила руки вместе, потупила глаза и склонила голову вперед.

– Я ожидаю ваших приказаний, – сказала она.

– А! вы решились оскорблять меня! Прощайте, баронесса. – Он взял шляпу.

– Куда ж вы? Разве не хотите пить с нами чай? – насмешливо сказала она. – Маменька и папенька будут рады видеть вас.

Адуев молчал несколько минут.

– Благодарю вас, – сказал он наконец, – вы открыли мне глаза. Я приехал с тем, чтоб объяснить решительно, выведать от вашего сердца, которое давно уже сделалось тайною и загадкою для меня, попрежнему ли оно принадлежит мне, потребовать отчета в вашем обращении со мной, и если оно происходит от легкомыслия, то хотел просить вашей руки, в надежде, что со временем строгие обя-

занности супруги изменяют ветреный характер... Но теперь, после этого разговора, мне не нужно никаких объяснений; более надеяться мне нечего; вы меня не любите!

– Вы находите? а!

– Смейтесь!.. Но вы увидите, что я не ребенок! Я готовился посвятить вам жизнь, быть вашим мужем, когда видел, что мог составить ваше и свое счастье, когда знал, что взаимность скрепит наш союз; но вести вас к алтарю без любви, холодно, как жертву приличий, по принятому обычаю, – я не могу и увольняю вас от данного слова!

– Как это сильно сказано!

Адуев не обратил внимания на ее слова и продолжал: «Признаюсь, до сих пор я существовал только любовью к вам и любимую мою мечтою была – ваша любовь. Не думайте, однакож, чтобы я так же легко вверился опытной женщине: нет! ваша молодость, чувство, которое вы обнаруживали вначале, – все ручалось мне за чистоту и искренность вашего сердца; кто бы мог подозревать тогда?..»

– Что подозревать?

– Сколько лукавства, притворства, кокет-

ства...

– Вы забываетесь, monsieur Адуев! – сказала она гордо и с гневом.

– Таковы ли вы были прежде? И теперь, в ту минуту, когда воспоминания о прежнем столпятся в голове моей, – в глазах еще рождается слеза умиления. Несмотря на явную холодность, на оскорбления, я бы все простил вам, в память прошедшего, если б заметил хоть тень того чувства. Но, повторяю, я не ребенок и знаю, что надежды на счастье нет: оно прошло, как все проходит своим чередом!..

Адуев задумался. Елена поглядела на часы.

– А помните ли, – начал он опять, – кто породил во мне эту страсть, кто раздул пламя пожара? – Как в вас достало столько хитрости? Так молоды, а коварство уже успело закрасться в сердце, которое, казалось, дышало одною искренностью, простосердечием! – Когда я воротился из чужих краев, усталый, недовольный ничем, – когда утомленная душа моя искала одиночества, – кто приветно улыбнулся мне и озарил будущность блестящими и – как я вижу теперь – несбыточными мечтами? – Вы, Елена! вы, очаровательною

улыбкою, вызвали меня на сцену света, на участие в этом вихре жизни, в котором кружились сами. Я кинулся вслед за вами...

Елена зевнула.

– Помните ли, как, просиживая со мною по целым часам, вот здесь, на этом самом месте, или на даче в саду, вы забывали свет, не хотели никого видеть, кроме меня? Когда я, томимый нравственным недугом, медленно угасал, не вы ли, как ангел-утешитель, сказали мне: «Живи для любви»?

– Кажется, я не говорила этого.

– Тогда вы как будто разрешили за меня задачу счастья. Я жадно вслушивался в утешительные слова, впивался взорами в ваши глаза, и в них сиял теплый луч не одного сострадания, а взаимности, нежного участия; вы, кажется, говорили ими: «Люби меня, и тебе откроется целый мир блаженства, я создам тебе счастье и разделю его с тобою». Помните ли вы?

– Ну, можно ли помнить такой вздор! Это так давно было! неужели вы все еще помните?

– Я закрыл глаза. Вот где счастье! – поду-

мал я, бросился за призраком и – очутился в бездне. – А как я любил вас!.. как любил!.. Теперь стыжусь признаться в этом самому себе. Это последняя дань сердца, последний отголосок чувства, которое вы уничтожаете так безжалостно!

Елена небрежно играла локоном и, повидимому, рассматривала висевшую на стене картину, но если бы кто вникнул в выражение, которое то появлялось, то исчезало в глазах ее, тот – о! тот погрозил бы ей лукаво пальцем и назвал притворщицей.

– Какая непостижимая перемена! – начал опять Адуев. – Холодность, насмешки, капризы... не этим ли вы хотите заставить меня полюбить жизнь! это ли награда за преданность? А внимательность, даже нежность, вы расточаете бог знает кому! и для чего? чтоб об вас говорили невыгодно в толпе негодяев!.. чтоб ваше драгоценное, святое для меня имя произносилось хором повес!.. чтобы поступкам вашим давали двусмысленный толк!.. Может быть, со временем вы вспомните обо мне и так же вздохнете, но только не притворно, не иронически, а прямо из души – да-

же когда будете замужем. – Прощайте, Елена Карловна! я все сказал.

– Все?.. Ну, слава богу! Я думаю, вы устали?

– Унижаться долее не стану. Благодарю судьбу, что остановился во-время.

Он слегка поклонился ей; она встала и сделала ему грациозный и церемонный кникс.

– О! как свет испортил ваше сердце, до какой степени заглушил все доброе! Теперь, в эту горькую для меня минуту, вместо того чтоб подать в утешение руку, кинуть взор хотя простого, дружеского участия, взамен блаженства, которое так легкомысленно обещали и которого дать не можете, – вы обнаруживаете такое язвительное пренебрежение! Вы не понимаете, какие глубокие раны наносите и без того растерзанному сердцу. В последний раз я в вашем доме!

– Зачем же вы хотите лишить нас вашего приятного общества? Мы принимаем по вторникам и пятницам. Надеюсь, что вы не откажетесь быть в числе наших гостей и...

Адуев не дослушал и с отчаянием в душе скорыми шагами вышел из комнаты.

А она? – Она еще продолжала перебирать

клавиши, прислушиваясь к шуму шагов его, и когда они потерялись в отдалении, она облокотилась на флигель⁴, закрыв обеими руками лицо, и зарыдала... Как! эта гордая Елена, эта аристократка, девица-деспот – зарыдала? Возможно ли? да не она ли сама, за минуту пред тем, так холодно и равнодушно, даже с насмешкой, отказалась от человека, любившего ее пламенно, преданного ей глубоко? Прошу, после этого, разгадать сердце! – Что же говорило в Елене тогда и что заговорило после? Какой демон отвечал за нее сарказмами на объяснение Адуева? какой ангел заставил ее теперь плакать? Зачем, гордая красавица, не заплакала ты минутою прежде? Знаешь ли, неопытное дитя, что одна твоя слеза прожгла бы насквозь сердце юноши; что он, виновник ее, пал бы, как преступник, к твоим ногам! Одна слеза была бы лучшим проводником чувства, красноречивым оправданием чистоты сердца!.. Но гордость сгубила тебя. Теперь уже поздно: он не видит слез твоих. По его сердцу, вместо благоговейного трепета любви к тебе, пробежал холод; в душу залегло горе, в голове кипит замысел бежать далеко, скрыть

обманутое чувство, истребить его новыми впечатлениями... И подумай!.. одна бы слеза могла удвоить его привязанность, сделать совершенным рабом... Ну, что бы тебе хоть притвориться... Но теперь уже поздно.

Впрочем, выключая гордости, которая помешала Елене поступить прямо, чистосердечно, исключая капризов, происходивших от властолюбия, свойственного хорошенькой девушке, – виновата ли Елена?

Она девушка с душой, образованным умом; сердце ее чисто и благородно; поведение же, вооружавшее против нее Егора Петровича, происходило от особого рода жизни. На ней лежал отпечаток той школы, в которой она довершила светское воспитание, того круга, в котором жила с малолетства. Будучи еще ребенком, она замечала, что – например – ее маменька глядела на своего возлюбленного супруга так, просто, как глядят все люди друг на друга, а на молодых людей как-то иначе, как не всегда глядят: вот уж у ней родилось понятие о взглядах двух родов; видала также, что княгиня Z. говорила с поклонником А. при всех и о погоде, и о театре, и да-

же о маневрах вслух, а когда они сидели поодаль от других, то разговор как-то переменялся, делался живее, лица обоих одушевлялись, голоса, с приближением посторонних, понижались: из этого она заключила, что и разговоры бывают двойкие. Когда же она выросла, то стала внимательнее, хотя все еще глядела просто и говорила одно и то же всем вообще и каждому порознь. Она видела, например, что у графини Р. ложа всегда битком набита молодыми людьми, а при разъезде те же самые молодые люди чуть не дерутся за то, чтоб вырвать салоп у человека и подать ей; а на бале – на бале и доступу к ней нет! Что бы все это значило? Долго красавица думала над задачею; наконец одна же из этих графинь, которым она удивлялась, разрешила. «Ты очень мила, – сказала ей однажды блистательная дама, – но не умеешь нравиться. Ты так неприступна! от тебя так и веет холодом! один взгляд твой разгонит толпу самых любезных молодых людей. Посмотри, как интересно глядит на тебя Ладов, как приветливо встречает Сурков; всюду за тобой – суется, толпятся около тебя; а ты красне-

ешь, как институтка, и кланяешься, как попадья...»

Попадья!.. Ужас!.. Елена ахнула. – О! постой же, графиня! у тебя в ложе будет просторнее! – Не знаю, что дальше говорила ей графиня: только на другой день после урока подле Елены все вертелся двоюродный ее брат, юнкер какого-то гвардейского полка, а на первом бале после разговора она до крайности утомилась: от кавалеров не было отбою... Так и пошло. Одним словом, девушка узнала свои силы, узнала, какими магическими средствами обладает она, и, очертив около себя волшебный круг, начала действовать теми чарами, которыми наделили ее природа и воспитание. Этот волшебный круг был – девическая непорочность, чистота нравственности; а волшебство было для нее не более, как только забавою, весьма употребительною в свете. Она не совсем подражала графиням.

Ну, а сердце?

Оно долго оставалось холодно и спокойно и забилося только с появлением Адуева – забилося для него, сильно и часто. Елена охотно уступила действию прекрасного, нового для

нее чувства; она месяца на полтора перестала быть светской блистательной девушкой, стала прежнюю очаровательною Еленою, явилась со всею простотою неподдельной прелести, погрузилась на время в самое себя, открыла в душе сокровища, которыми была наделена, и, отличив Адуева от толпы поклонников, оценив его ум, благородство души, силу характера и воли, а главное, предузнав, по какому-то женскому инстинкту, какого рода чувство и в какой степени способен он питать, угадав в нем человека, который один только мог сделать ее счастливою, что одного его могла она любить так, как любила, потому что он ближе всех подходил к ее идеалу, олицетворения которого напрасно искала она между светскими любезниками, — угадав и рассчитав все это, — заметьте: девушки не только рассчитывают, но и обсчитывают, — итак, рассчитав все это и полюбив его как нельзя больше, она стала действовать на него уже не теми чарами, какими действовала на прочих, но обнаружила сокровища ума, сердца, души и покорила. Он вверился пленительной надежде на счастье, увлекся прекрасной

идеей будущности и предался совершенно очаровательнице. Уверясь в его чувстве, освятив его взаимностию, а главное, свыкнувшись с мыслию о своем счастье, Елена не сочла грехом обратиться к прежним привычкам, которые у нее нисколько не мешали любви и от которых ей бы и трудно было отстать, потому что тогда от нее отстали бы все светские мотыльки, а это повредило бы, в глазах света, репутации ее любезности и, может быть, – таков человек! – породило бы предубеждение насчет ее красоты, уронило бы в глазах соперниц, вырвало бы пальму первенства в свете, и... мало ли что еще могло бы случиться! Посмотрите, и так сколько зол, сколько горьких следствий произвело бы это: как же можно быть ей прекрасною в глазах только одного человека? Никак нельзя! Она права: ссылаюсь на суд моих читательниц.

Стало быть, виноват Егор Петрович? – Нет, и его винить нельзя. Он родился под другой звездой, которая рано оторвала его от света и указала путь в другую область, хотя он и принадлежал по рождению к тому же кругу. Добрые и умные родители, заботясь одинаково

как о существенных, так и о нравственных его пользах, дали ему отличное воспитание и по окончании им университетского курса отправили в чужие края, а сами умерли. Молодой человек, путешествуя с пользой для ума и сердца, нагляделся на людей, посмотрел на жизнь во всем ее просторе, со всех сторон, видел свет в широкой рамке Европы, испытал много; но опыт принес ему горькие плоды – недоверчивость к людям и иронический взгляд на жизнь. Он перестал надеяться на счастье, не ожидал ни одной радости и равнодушно переходил поле, отмежеванное ему судьбою. У него было нечто вроде «горя от ума». Другой, на его месте и с его средствами, блаженствовал бы – жил бы спокойно, сладко ел, много спал, гулял бы по Невскому проспекту и читал «Библиотеку для чтения»; но его – его тяготило мертвое спокойствие, без тревог и бурь, потрясающих душу. Такое состояние он называл сном, прозябанием, а не жизнью. Эдакой чудак!

Когда предстала ему Елена, он, в свою очередь, также оценил ее и понял, сколько счастья заключалось в обладании ею – счастья,

которого, может быть, достало бы ему на всю жизнь. Он вышел из усыпления, вызвал жизнь из глубины души, облекся в свои достоинства и пошел на бой с сердцем девушки. Оно уступило; он достиг цели, наслаждался, гордился, не заметив господствующей слабости, потому что Елена, как мы видели выше, на время покинула ее.

Составив себе строгую идею о ней, с трепетом любви преклоняясь пред ее достоинствами, он пророчил себе чистое блаженство в будущем, радовался, что есть чувство в груди его, которое может помирить его с жизнью, что есть посредница между ним и светом, что есть состояние, которое он может назвать счастьем. «Вот и я начинаю жить!» – думал он, и вдруг... А он воображал ее так чистую, чуждою суетности; возвышаясь понятиями и благородством души над толпою молодых людей, он сам никогда не расточал лести перед женщинами, не ловил их минутной внимательности, был слишком опытен, чтоб поддаться обману, и не льстился наградами, за которыми жадно гонялись прочие.

Бегая от... язык не поворачивается выгово-

ритель!.. от кокеток, – надобно же, наконец, назвать их своим именем, – он составил себе строгое понятие о той женщине, которую готовился назвать своею, – понятие, может быть, несколько устарелое, романическое, отзывающееся варварством. Любя сильно, страстно, он думал, что женщина должна совершенно посвятить себя одному ему, так, как он посвящал себя ей; не расточать знаков внимательности и нежности другим, а приносить их, как драгоценные дары, в сокровищницу любви; не знать удовольствия, которое не относилось бы к нему, считать его горем своим и прочее. Виноват ли он, что, при этих понятиях, ему не нравилось поведение Елены?

Суций варвар! – скажут читательницы. Но я ссылаюсь на суд читателей.

Кто же виноват? – По-моему, никто. Если б судьба их зависела от меня, я бы разлучил их навсегда и здесь кончил бы свой рассказ. Но посмотрим, что будет далее.

Они расстались – может быть, и в самом деле навсегда. Гордость не позволила Елене обнаружить настоящего чувства. Теперь она

проливает слезы, и, вероятно, решила бы на жертвование в пользу любви, лишь бы возвратился он, который был целью ее жизни, ее счастьем. Она тогда только узнала всю цену ему и то, как она его любит; но он не воротится: в нем также проснулось ужасное чувство, убивающее любовь, – гордость, спесь мужчины, долго томившегося страстью и отвергнутого. Он сбросил цепи бесполезного рабства, гордо поднял голову и запел песнь свободы... Бедная Елена! – Но полно, так ли? А вот, увидим.

Сумерки уже кончились. Все комнаты освещены; люди засуетились; в кабинете барона послышался говор; старики потребовали зельтерской воды и возобновили беседу, прерванную сном; в комнате супруги барона раздался звон колокольчика; все пришло в движение; настал вечер, а Елена все еще неподвижно сидела на том же месте, повесив голову. Хотя она не плакала более, но место слез заступила бледность, в глазах изображалось чуть-чуть не отчаяние. То не была уже светская, гордая девушка, царица зал, повелительница толпы поклонников, всегда спокой-

ная, всегда величаявая, с надменностью во взоре, с улыбкою торжества. Нет! с нее спала мишура; горе сравняло ее со всеми, и никто, увидев ее в этом положении, не сказал бы, что это блистательная девушка высшего круга: всякий сказал бы, что это просто несчастная девушка.

Мне скажут, что ее горе есть горе мечтательное, не заслуживающее сострадания, что причина так ничтожна... По-моему, какая бы ни была причина горя, но если человек страдает, то он и несчастлив. От расстройства ли нерв страдает он, от воображения ли, или от какой-нибудь существенной потери – все равно. Для измерения несчастья нет общего масштаба: о злополучии должно судить в отношении к тому человеку, над которым оно совершилось, а не в отношении ко всем вообще; должно поставить себя в круг его обстоятельств, вникнуть в его характер и отношения.

Да! Елена была несчастлива, и к тому же горе ее не есть мечтательное горе. Любовь Елены к Адуеву не была просто вспышка: она также любила его глубоко, от всей души, в

первый и – может быть – в последний раз. Умом и душою она была выше своей настоящей сферы. Отпраздновав днем на празднике суеты, удовлетворив самолюбие и собрав обильную дань поклонения своей красоте и любезности, – о чем мечтала она вечером, оставаясь одна? Все о счастье быть любимой, о будущей своей жизни, которую расположилась провести с Адуевым. Свет не наполнял пустоты ее сердца; суетность ошибкой втеснилась в душу; она сама нетерпеливо ждала, когда кончится период девичества и настанет эпоха супружества, эпоха, с которой она будет принадлежать одному человеку. И вдруг все надежды исчезли! он не любит ее более, потерял уважение к ней... Какое мучение! – Будущее, с удалением молодого человека, закрылось бесцветной пеленой; она осталась одна навсегда. Лишась предмета, избранного сердцем, она должна отдать теперь участь свою в распоряжение случая. Бог знает, кто будет ее мужем; может быть, она сделается жертвою дипломатических расчетов своего отца!.. О! как в эту минуту опротивел ей свет с своими любезниками!

...Да, она истинно несчастлива! – Она не слышала, как отворилась дверь, как вошла рыжая англичанка, и тогда только узнала об ее присутствии, когда та пролаяла по-своему, что парикмахер ждет ее в уборной и что маменька приказала напомнить о бале.

– Бал!.. Боже, этого только недоставало Я не поеду на бал, – сказала она также по-английски, – слышите ли? скажите маменьке, парикмахеру, скажите целому свету! я не хочу, не могу. – Елена говорила это с выражением совершенного отчаяния и если бы была мужчиною, то непременно прибавила бы – «god damn»![172]

Однако не ехать на бал нельзя; или ей надобно притвориться больной недели на две, а то – что скажет свет? И она, как жертва, со вздохом повлеклась с своей компаньонкой в уборную.

Чудо уборная! – Какая роскошь! сколько вкуса! – Я видел все эти вещи и прежде, в магазинах Гамбса, Юнкера, Плинке; но там они не производили на меня такого впечатления, как здесь. Отчего же это? Оттого, что здесь каждая из них гармонически отвечает цело-

му, что здесь они в храме богини, на них лежит печать ее присутствия; они как будто живут своею особенною жизнью. – Ну что, например, занимательного в этом бронзовом подсвечнике с транспарантом, если помотришь на него в магазине? но когда увидишь в нем остаток свечи, подле развернутую книгу и оставленный платок с шифром красавицы; если вообразишь, как она сидит за этой книгою и читает, – то какую магическую прелесть получит и подсвечник, и платок, и даже самая книга, – будь она хоть сочинения Фиглярина^{5!} (которых, впрочем, Елена никогда не читала: боже ее сохрани!) – Ну что особенного в этом туалете? Стол с зеркалом – больше ничего! Но вот на нем лежит ее перчатка, вывороченная наизнанку, – крошечная и пахнет амброй. Воображение никак не хочет приписать этого запаха французским духам, а непременно ручке, которая носит ее. Диван – прекрасная мебель, и все тут! Но красавица переменила на нем башмаки, и один миниатюрный башмачок забыт горничною. Как небрежно свесились ленточки! – так и тянет к нему! – Оглядываешься, нет ли кого – осо-

бенно Адуева; хватаешь сокровище и целуешь: нельзя утерпеть!

Теперь Елена сидит в креслах перед трюмом и едва понимает, что происходит около нее; а около нее хлопочут парикмахер и три горничные. Как хороша Елена теперь! Она так гораздо лучше, нежели на каком-нибудь рауте. Там она вооружается особыми приемами, особыми взглядами, особою речью; а теперь горе убрало ее по-своему, но как хорошо! Зачем она не понимает, что она гораздо лучше, когда ею управляет какое-нибудь сильное непритворное чувство? Она небрежно сидит и даже, против обыкновения, не смотрит в зеркало; черные, всегда живые, блестящие молниеносные глаза подернулись туманом грустной задумчивости; в них дрожит слеза; на щеках румянец спорит с бледностью, то выступая, то пропадая опять; уста полуоткрыты; голова склонилась к левому плечу. Она не почувствовала, как куафер отнял с одной стороны шпильки и как волосы роскошных кудрей прынули на щеку и, играя, вдруг рассыпались кругом по плечу; не заметила, как горничные, примеривая бальную обувь, сняли

башмачок с ножки, подложили под нее бархатную подушку, на которой так резко отделилась эта чудная, восхитительная ножка.

Я постигаю теперь, отчего между парикмахерами нет ни одного угрюмого, задумчивого человека, отчего они веселы и болтливы: иначе и быть не может. Каким бы холодным ни создала природа куафера, но одно уже прикосновение к голове красавицы должно действовать на него магнетически. Изящное действует на самые грубые души, особенно же, я думаю, изящное в виде Елениной головы. — Как он деспотически распоряжается прекрасною головкою Елены! то наклоняет, то поднимает ее, поворачивает то в одну, то в другую сторону, как будто рассматривает с видом знатока. Как свободно святотатственные взоры гуляют от маковки к затылку и обратно! Он то нагнется к ней, будто подышать ее атмосферою, то откинется назад, будто полюбоваться издали, как художник любит своею произведением; вот, вот захватил одною рукою целую прядь волос, а другою... Сколько прелестей открывается с каждым движением! Нет, терпенья недостает. Напрасно гля-

дишь на распятие из слоновой кости, стоящее на столике; напрасно силишься благочестивыми размышлениями заглушить волнение: не помогает! В голове жар, в глазах мутно; кровь то прильет, то отхлынет от сердца... Отвращаешь взоры – и видишь... новое искушение! на диване раскинулось в пленительном беспорядке роскошное газовое платье, готовое заключить красавицу, обнять, стиснуть ее стройный стан, пышные формы... платье до того легкое, воздушное, эфирное, что если бы мы с вами, почтеннейший читатель, вдвоем дунули на него, то оно перелетело бы на другое место.

Нет! больше никогда не пойду в такие места. Лучше посмотреть, что делает Егор Петрович.

Он уж не так бойко спустился с лестницы, как взошел на нее; останавливался на каждой ступеньке, как будто о чем-то размышлял; ноги его подкашивались, точно как, по выражению Гюго, на каждой ноге у него было по две коленки.

Покидая порог дома, в котором он был так жестоко оскорблен и в который не имел на-

мерения возвращаться, ему бы следовало отрясти прах от ног своих; но он, вероятно, забыл сделать это и тихо побрел по тротуару, а кучеру велел ехать вслед за собой. Какая разница между приездом и отъездом! За час он летел еще с надеждой обладать Еленой, с правом на ее сердце и руку; теперь она не существовала для него более. Он шел тихо, как ходят все несчастные, склонив голову на грудь, потупив взоры в землю; не слышал и не чувствовал ничего. Так он добрел домой. Если бы слуга не догадался снять с него почти насильно шинели, то он в ней вошел бы в залу; но он вошел только в шляпе, сел на такое место, на которое никогда не садился прежде, и тихо, про себя, начал говорить следующее: «Вот жизнь! – За час я еще назывался счастливым, а теперь!.. Глупец! ребенок! к чему послужила мне опытность? положился на счастье!.. Что пользы, что я узнал жизнь вдоль и поперек, что испытал сам и видел, как другие спотыкаются на каждом шагу и все-таки делаются жертвой нового обмана? Знал и – попался!.. Стыд!.. Но кто ж бы устоял против обольщения? Жизнь моя и так не красна; и так я долго

крепился; а ведь я человек!.. Как больно обмануться в последней надежде! как грустно отказать от лучшей мечты!..»

Он погрузился в задумчивость; потом встал и скорыми шагами начал ходить по комнате.

– Что начать?.. Куда я денусь со своей тоской?.. – Он задумался. Наконец вдруг глаза его приняли совершенно другое выражение: они заблистали гневом; губы судорожно сжались. «Нет! – воскликнул он, – я не поддамся горю, не стану томиться под бременем тоски! нет! клянусь честью, нет! У меня достанет твердости отказать от несбыточной мечты, забыть ее... Я найду чем рассеяться. Чтение, множество покинутых занятий; не поможет – пушусь странствовать по свету; опять в Германию, на жатву новых знаний, под благословенное небо Италии, Греции. Говорят, путешествие всего спасительнее для сумасшедших этого рода. Да мало ли занятий! Вот, например, я целый месяц не видал в глаза своего управителя и не знаю, что делается в моих деревнях; а от меня зависит судьба трех тысяч человек, от них мое благосостояние! Нече-

го медлить! сейчас же и займусь. – О! я возвращу утраченное спокойствие; недаром я мужчина!»

– Эй! – закричал он. Явился человек. – Позвать управителя ко мне в кабинет!

Через пять минут в кабинет вошел, с кипой бумаг, управляющий Егора Петровича, низенький старик, чрезвычайно плешивый, в гороховом сюртуке. Он низко поклонился и стал у порога.

– Давно мы не видались с тобой, Яков! Что ты нынче не ходишь ко мне с делами?

– Я хожу, батюшка Егор Петрович, каждый день, как и прежде, да мне все говорят, что вы изволите уезжать к барону Карлу Осиповичу.

– Сегодня это в последний раз сказали тебе. Начиная с нынешнего дня докладывай мне обо всем, показывай каждую бумагу. Я сам хочу все видеть и знать.

– Слушаю-с, – сказал старик и низко поклонился.

– Что же у тебя есть?

– Да вот, сударь, архитектор из воронежской вотчины пишет, чтобы изволили назначить срок, когда дом в Ельцах должен по-

спеть: еще осталось довольно работы, а весна близко. Да садовник просит выписать семян для цветника, что вы приказали разбить; реестр прислал, да не по-нашему писано.

– Врут они оба! – с сердцем прервал Адуев, – ничегоне нужно. Оставить стройку и отпустить архитектора; в саду тоже никаких затей не нужно. Я не поеду туда.

– Слушаю-с, – и старик низко поклонился.

Недаром рассердился Адуев: все частные планы, о переделке деревенского дома и о переменах в саду, входили в один общий план его женитьбы. Он уже мысленно нарек Елену своею и, составив теорию будущего счастья, начал практически приводить ее в исполнение. Воронежскую свою деревню, имевшую прекрасное местоположение, назначил он будущим жилищем и тамошний старый, мрачный, некрасивый дедовский дом задумал преобразить в светлый храм любви, там он предположил свой Эльдorado. Он изучил вкус Елены до мельчайших подробностей, искусно выведал будущие ее желания и, соединив их с своими, начал делать, сообразно этому, перемены в деревенском доме и саду: пригласил

архитектора и выслал из Петербурга планы для переделки дома, садовнику тоже надавал множество приказаний. Он уже помышлял о покупке мебели и разных вещей для украшения дома, уже мысленно распределил занятия в деревне, расположил свой будущий семейный быт, заботился о дополнении библиотеки любимыми авторами Елены; часто задумывался о том, как введет милую хозяйку в дедовский уют и начнет новую эпоху жизни. Хозяин, благодетель своих подданных, муж, обладатель прелестной женщины и потом – вероятно, отец... какая будущность! И вдруг – кто бы мог подумать?.. Демон бешенства овладел им, когда управитель напомнил ему о планах, которые превратились теперь в воздушные замки и никуда не годились.

Он начал опять ходить по комнате.

– Что у тебя еще есть? – сердито спросил он.

– Староста ярославской вотчины пишет, – с трепетом начал Яков, – не будет ли вашей милости помочь как-нибудь двум парням: им пришел черед в рекрутчину; у одного-то осе-

нью отец ногу порубил; сидит на печи, по-
клавши руки, а он с сыном только и работали
на всю семью; остались бабы да малолетки, –
хоть по миру итти; другой сосватал было
невесту, сироту – девка работящая, клад для
семьи. Такие горемыки, пишет староста, что
сердце ноет, глядя на них.

Адуев нахмурился. «Что?.. невесту?.. Я ему
дам невесту! Сумасшедший, вздумал женить-
ся! Вздор! обоих в солдаты, а девку на фабри-
ку; если староста еще будет писать, так и его
туда же! Я не люблю шутить! Слышишь ты?»

– Слышу, батюшка Егор Петрович; завтра
приготовлю ответ.

– Дальше!

– Из курской деревни мужички челобитье
прислали, крепко жалуются на неурожай,
просят, не отсрочите ли недоимки еще на го-
док: больно худо пришло.

– Вздор! чтобы нынешний же год все до ко-
пейки было взыскано, а не то... понимаешь?

– Ваша барская воля, сударь. Завтра напи-
шу, – отвечал старик и низко поклонился.

– Все ли?

– Все, сударь.

– Ну ступай же; да смотри, докладывай мне обо всем самому.

Управитель вышел из кабинета в переднюю, где ожидал его другой старик, Елисей, дядька и камердинер Адуева.

– Что, батюшка Яков Тихоныч, подеялось с Егором Петровичем? Поведай. Ума не приложу: никогда и не видывал его таким.

Яков махнул рукой и рассказал, что произошло между ними – как барин принял челобитную мужиков, как отвечал на просьбу рекрут. «Видно, в покойника барина пошел! – так заключил Яков свой рассказ, – человек, подумаешь!»

– Что ты говоришь, Яков Тихоныч!

– Ей-богу, право.

Старики попотчевали друг друга табаком и разошлись.

Между тем Адуев ходил в сильном волнении по комнате.

– Ну вот, я теперь и спокоен! – говорил он, судорожно отрывая одной рукой пуговицу у сюртука, а другой царапая чуть не до крови ухо, – совершенно спокоен! Одно дело кончил, теперь займусь другим... О! я забуду ее!..

В это самое время лукавый напомнил ему про доклад управителя о перестройке деревенского дома; воображение начало развивать картину утраченного блаженства; он представил себе поэтический приют – дом, чудо удобства, вкуса и роскоши, прелестный сад, где искусство спорило с природой; о том, как бы они вдвоем с Еленой заперлись там от глупых соседей, от целого мира; там он с волшебным зеркалом лежал бы у ног своей Армиды.

...И все погибло! великолепное здание мечтаний рушилось! – Он совсем оторвал пуговицу и до крови расцарапал ухо.

– Нет! это низость, малодушие! – вскричал он. – Прочь лукавые мысли! прочь обольстительные мечты! полно вам тешить меня! я вытесню вас из памяти, запишусь под знамена какого-нибудь развратного корифея буйных шалунов, пристану к их хору и среди оргий истреблю память о ней, буйным криком перекричу голос сердца... Завтра же начну новую жизнь!

Он схватил перо, лист бумаги и начал писать. Через пять минут он кликнул Елисея.

– Завтра у меня будут обедать эти двадцать человек, которые здесь записаны. Разошли к ним людей с приглашениями, а на тебя возлагаю заботы о столе. Смотри же! роскошный обед, шампанского вдоволь, да были бы карты!..

– Помилуйте, сударь, ведь уж ночь: когда успеешь?..

– Успей, когда хочешь! – закричал Егор Петрович, – я ничего знать не хочу! чтоб было! – Старый чорт, умничать стал – вон!..

Старик сначала с удивлением, потом с грустью посмотрел на Адуева.

– Старый чорт! – шептал он, покачивая головой, – какво махнул? отродясь не слыхивал себе такого счастья! Чего я дождался от вас, Егор Петрович, дожив до седых волос! вынуждал вас, тридцать лет служил вашему батюшке, под Туречину с ним ходил, а и от него не слыхивал такого нехорошего слова.

Адуев молча показал ему рукою на дверь. Старик отер ладонью слезу, поднял с пола реестр, написанный Адуевым, и тихо, печально, с поникшей головой побрел вон.

– Боже! – воскликнул Адуев с тоской, – куда

завлекла меня страсть? что я делаю? – я потерял рассудок... – Он закрыл лицо платком и зарыдал глухо, без слез. Его страшно было слушать: он был жалок и ужасен. Ему стало душно, жарко, несносно; он с трудом переводил дыхание; признаки душевной бури и физического недуга уже легли на лицо, которое, еще за два часа перед тем свежее, прекрасное и цветущее, теперь совсем изменилось; глаза потеряли блеск, будто после продолжительной болезни, щеки опустились, все черты были искажены, волосы в беспорядке. Наконец мало-помалу бешеная тоска впала в тихую грусть; он наружно стал спокойнее. Одной рукой облокотясь на стол, другой он машинально вертел лежавший на столе какой-то билет; наконец, бросив на него случайно взгляд, он прочел: «Билет для входа на бал в Коммерческом клубе».

– Откуда взялся этот билет? – спросил он, кликнув слугу.

– Какой-то барин завез и приказал сказать, что надеется вас непременно видеть на бале.

– А! Сама судьба посылает мне средство к развлечению! Пойду, куда она влечет меня;

может быть, неожиданно буду счастлив.

– Давай же одеваться! – сказал он слуге, – и вели закладывать карету.

– Знаешь ли, где Коммерческий клуб? – спросил он кучера.

– Никак нет-с.

– Где-то на Английской набережной; надо спросить.

– А! Знаю-с!

– Ну, так пошел туда!

Все бытописатели, которым приходилось писать о бале, не забывали никогда упоминать о самом ничтожном и само собою разумеющемся обстоятельстве, что подъезд и окна бывают ярко освещены, а улица перед домами заперта экипажами. Да разве может обойтись без того один съезд порядочных людей? Конечно, описать эти мелочи, как описал Пушкин в «Онегине», другое дело! Туда мы и отсылаем любопытных по этой части и упоминать более об этом не станем, потому что не намерены изображать картины бала, который нам нужен только для одного обстоятельства, имевшего большое влияние на судьбу Егора Петровича.

Адуев вошел в сени, сунул билет свой в руки богато одетого швейцара и с удивлением стал подниматься на лестницу, которую облепил дорогой ковер, сделавший бы честь не одному кабинету; по бокам тянулся ряд померанцевых и лимонных деревьев; она упиралась в двери с золотой резьбой, с хрустальными стеклами. В передней толпились официанты, одетые в бархат, облитые золотом. Одним; словом, все было так, как бы пристало какому-нибудь аристократическому балу.

«На публичном бале – и такая роскошь! – подумал Адуев, – странно!»

Двери отворились, и ему представилась амфилада ярко освещенных комнат. Остановившись на минуту в дверях залы, он через лорнет вперил взоры в толпу и с удивлением увидел, что тут собралась вся петербургская аристократия, «сливки общества». Перед глазами у него беспрестанно мелькали звезды, ленты, все существующие на свете мундиры, потому что тут находились представители всех держав. Тут были и те молодые люди, которые наружными качествами отличались бы всюду, даже на страшном суде, когда вся

толпа человечества предстанет вместе. Тон, приемы, костюмы, доведенные до высшей степени изящности и совершенства, простоты и естественности, под которые нельзя подделаться, обличали в них первоклассных денди, людей, на которых воспитание, чуть ли не сама природа, набрасывает особый отпечаток.

«Эти как попали сюда? – подумал Адуев, – я никогда не слыхивал от них ни слова о Коммерческом клубе». И, отошедши к зеркалу, он бросил испытующий взор на свой костюм, потом вошел в залу.

Недалеко от дверей стоял старик почтенной наружности, в иностранном мундире. Он раскланялся с Адуевым и сказал ему какое-то приветствие.

«Здесь собрано все, чтоб сделать этот бал непохожим на публичный, – подумал Егор Петрович, – какой-то старик встречает меня, как будто хозяин! Верно, бывает у барона и видал меня».

Он вежливо отвечал на поклон и отправился далее.

Наконец, добравшись до того места, где со-

вершалась первая часть бала – танцы, он остановился. Там собрались блистательные дамы, от которых Адуев по возможности бежал, которые зимой, по вечерам, живую гирляндой обвивают бельэтаж Михайловского театра, а по утрам Невский проспект, которые летом украшают балконы каменноостровских дач. Они, как звезды первой величины петербургского общества, разливали вокруг себя радужный свет. Какая утонченная изысканность! сколько изящества и вкуса в нарядах! На Адуева так и повеяло холодом приличий, так и обдало той атмосферой, в которой бывает тесно, несвободно дышать мыслящему человеку. Он внутренне проклял Вронского, который привез ему билет. «Повеса! – ворчал он. – И не предупредил меня! Верно, хотел сделать сюрприз. Признаюсь, ему удалось как нельзя лучше. – Да где же он сам? отчего по сию пору не едет?»

В это время одно из блистательнейших светил, протекая мимо его, остановилось.

– И вы здесь, monsieur Адуев? – сказала она, – редкое явление – вы такой нелюдим! Через кого вы здесь?

– Через Вронского, княгиня.

– А я думала, через барона, – сказала она и потекла далее, влача за собой маленькую, коротенькую княжну, как корабль влачит лодочку.

«Да, как не так! – подумал Егор Петрович, пробираясь далее, – поедет барон в Коммерческий клуб, несмотря даже, что и ваше сиятельство здесь! Впрочем, все его товарищи по службе и по висту приехали же сюда; стало быть, и он мог бы приехать».

– А! *bonjour, cher George!*[173] – вскричал молоденький гвардейский офицер, схватив его за руку, – как ты попал? Ну, очень рад, что ты одумался и, наконец, разрешил показаться в свет. А ведь прежде ты терпеть не мог. Неправда ли, что здесь очень мило? *magnifique, n'est ce pas?*[174] Пойдем, я познакомлю тебя с Раутовым, Световым, Баловым. Премилые ребята! они заочно любят тебя и бранят давно, что ты прячешься от людей. С твоими достоинствами надо итти вперед. Пойдем!.. Да! Кстати! будешь ли в пятницу у австрийского посла?

– У австрийского посла! В уме ли ты? Будто

это одно и то же!

– Да почти, mon cher[175], все те же лица будут там; разве императорская фамилия...

– Полно вздор говорить! Лучше скажи, будешь ли завтра у меня обедать? Я послал к тебе приглашение.

– Что у тебя? сюрприз готовишь? уж не наследство ли получил? Да стой! ты что-то бледен, расстроен... Ну, так и есть! бьюсь об заклад, что наследство; ты из приличия делаешь кислую мину... В таком случае не следовало бы приезжать; а то – что скажут в свете? – серьезно шепнул он ему на ухо и бросился навстречу входящей даме с девицей; а Адуев пошел далее, беспрестанно сталкиваясь по пути с знакомыми и с неизбежными вопросами: «Ах, и ты здесь?», «Каким образом вы попали сюда?», «Ба! вот сюрприз! браво!», «И вы в свете?»

Наконец это надоело ему, и он вышел из залы в следующие комнаты, частью пустые, частью наполненные играющими в карты. «Все это слишком богато для публичного бала, – думал, он, – куда ни обернешься, везде мрамор, бронза. Какая мебель! точно как буд-

то еще вчера здесь жил какой-нибудь вельможа: расположение и уборка комнат ясно показывают это. Вот и картинная галлерей!» – И, направляя лорнет на картины, он ахнул: тут были произведения итальянской кисти всех школ, почти всех знаменитых художников, в оригиналах. «Что это значит?» – воскликнул он. Между прочим, тут были портреты государя и государыни, превосходной работы, и подле них портрет какого-то генерала в иностранном мундире. Он искал взорами знакомых, чтобы спросить, чей он; но знакомых тут не случилось, и он стал рассматривать группы изваяний. Опытный взор его тотчас увидел превосходный резец. Тут также были бюсты государя императора и государыни императрицы, поставленные на возвышении, а с противоположной стороны, на таком же возвышении, стоял бюст того же генерала.

– Чей это бюст? – спросил он мимо проходившего знакомого англичанина.

– Неаполитанского короля, – отвечал тот и исчез в толпе.

– Что за влечение Коммерческого клуба к неаполитанскому королю? уж скорей бы к ан-

глийскому: по крайней мере торговая нация. Странно!

– А! – воскликнул он почти вслух, – понимаю! верно, клуб нанимает дом, и хозяин оставил все в своем виде... ну, теперь понимаю!

Между тем отдаленные звуки музыки, доносившиеся из зала, привлекали, а толпа, суетившаяся около него, увлекала его туда. В дверях ему попался тот же старик и опять обратился к нему с учтивым вопросом, отчего он не танцует.

– Покорно благодарю; я никогда не танцую, – отвечал он сухо.

– Что он пристаёт ко мне? – бормотал Егор Петрович, отходя прочь, – верно, я понравился ему. Да нет, вон он и за другими ухаживает. Так... добрый человек. Ведь есть этакие старики, что ко всякому лезут. Чудак должен быть; уж не помешанный ли? в публичных местах иногда являются такие. Надо спросить, кто это такой.

Но тут опять не было знакомых, а между тем кончился контрданс, и Адуев, прислонясь спиною к мраморной колонне, случайно пе-

реносил задумчивые взоры на все предметы, без выражения, без смысла. Тоска глубже впиалась в его сердце, червь отчаяния сильнее шевелился в груди, среди чада великолепного бала; молодой человек сильнее чувствовал свое одиночество, потому что душа его была слишком чужда беспечного ликования, бессмысленной радости без всякой цели; обаяние бала поглотило всех: только его не коснулось очарование; он был похож на зрителя, который постигает фокусы шарлатана и не разделяет удивления с толпою. «Бал! бал! – думал Адуев, – и это может занимать людей целую неделю! Если б их ожидало что-нибудь новое, невиданное, неслыханное, тогда ждать бала – было бы только любопытство, свойственное человеку. Но за неделю взвесить сумму наслаждений, рассчитать каждое мгновение этого события, тысячу раз повторенного и столько же раз имеющего повториться, и все-таки ждать – это просто ничтожество!» Адуев не понимал радости, суеты молодых людей и был прав, так точно, как они не поняли бы его тоски, если б знали о ней, захохотали бы над его горем и тоже были

бы правы.

Но посмотрите, что с ним сделалось! Взоры его, блуждая до сих пор рассеянно, вдруг сделались неподвижны, – с жадностью, с изумлением устремились на один предмет. Он остолбенел, дыхание у него замерло... Какой же предмет, кажется, мог бы увлечь все его внимание, взволновать? и где же? на бале! Одна только Елена действовала на него таким образом. А разве я говорю, что и теперь не она подействовала на него? Именно она, бледная, печальная, сидела подле этрусской вазы, едва отвечая на любезности трех денди. «Елена!.. Что это значит? В Коммерческом клубе? зачем? И так грустна... Боже, она несчастлива!» Вот вопросы, молнией мелькнувшие в голове Егора Петровича, а в сердце раздался вопль проснувшейся страсти, голос участия заговорил сильнее, нежели прежде, потому что он не видал ее несчастною. Он видит, что три любезника отпорхнули от нее, не узнав в ней обыкновенной Елены, всегда приветливой, всегда любезной, и повлеклись за графинею Z., как хвост за кометой. Она одна; глаза ее не горят попрежнему торжеством победы и са-

моуверенности; из них готова капнуть слеза; она с отвращением смотрит на толпу; ей досадна, противна суетность; не то ей нужно теперь: ей нужны объятия и утешительные слова дружбы, горячее сердце матери, которому бы она поверила тоску. Но где мать? Она сидит среди блистательных старух и так же занята балом, так же не понимает ее горя, как другие, а подруги носятся в бальном чаду, от которого очнутя, может быть, только на третий день после бала. Где же взор участия? – Одно только и было существо, которое понимало ее, которого сердце билось для нее одной – и какое сердце! Теперь оно, это единственное сердце, оскорблено ею же. О, как несносно!.. Она машинально обратила глаза на толпу, задумчиво глядела на все окружающее; наконец смотр толпы кончен; она подняла взоры вверх, как будто считая колонны; вот дошла до последней: больше не на что смотреть... Ба! что это такое? С нею то же сделалось, что прежде с Егором Петровичем. – Отчего эти грустные, задумчивые взоры вдруг сверкнули опять молнией? отчего слезы внезапно выкатились и стали, как два алмаза, на

ресницах? Она чуть не вскрикнула; приличие едва заглушило радостный вопль. Что это значит?.. А это значит то, что она увидела Адуева.

Мысль, что он не разлюбил ее, что, забыв принятые им правила, победив отвращение к шумным сборищам света, к этим шабашам, приехал сюда видеть ее, искать примирения, с надеждой возвратить утраченное, – мысль эта вдруг облила лицо ее светом радости, какой она никогда не чувствовала, торжествуя свои победы. Вот отчего показались слезы; вот отчего она забыла и свет, и толпу, и приличия и устремила страстный, умоляющий взор на молодого человека.

Он видел и понял все. Нужно ли ему еще доказательств, что он любим? Бледность, печаль, отважный, по его мнению, поступок – приезд в клуб – говорили слишком красноречиво, а взор довершил только победу, победу самую блистательную не над сахарным сердцем паркетного мотылька, но над сердцем, оскорбленным ею. Торжествуй, красавица! «Нарочно для меня приехала сюда! – в восторге думал также Егор Петрович. – И как она

узнала? вероятно, посылала осведомиться у людей. Так печальна!.. О, она любит меня, нет сомнения!» Он подошел к ней с выражением полного счастья на лице.

– Я виновата, George! – сказала она тихо, – кругом виновата! Простите меня; забудьте, что я говорила и делала; не верьте словам моим: они были внушены досадой и оскорбленным самолюбием. Я люблю вас, как никогда не любила до сих пор, но сама не знала о том. Я еще никогда не лишалась любимого предмета, не испытывала разлуки. Простите меня! Мучительно оскорбить человека, и вдобавок человека, которого любишь, и страдать без прощения, ежеминутно сознавая вину... О! если вы простите меня, как я буду уметь любить вас, беречь свое счастье, которое разрушила по легкомыслию! Вы дали мне урок, научили уважать себя...

Елена отвернулась в сторону, чтобы скрыть слезы, которые появились во множестве и готовы были брызнуть без церемонии, как у всякой женщины в подобном случае. Она говорила скоро, прерывистым голосом. Не понимая ни своего, ни чужого сердца, она

то боялась, то надеялась и не смела угадать ответ. Она была просто женщина, но женщина-ребенок: настоящая женщина поступила бы иначе на ее месте, хотя следствия были бы одни и те же. На все надобно сноровку, Елена Карловна. Вы еще молоды, сударыня! спросили бы опять у графини: та бы научила вас.

Адуев побледнел: он едва перенес горе, но неожиданный переход, оглушающий удар счастья был не по силам ему.

– Ни слова более!.. Пощадите меня, Елена! я не перенесу, мне дурно... силы покидают меня! – И, сказав это, он тихо опустился подле нее на стул. Елена теперь только угадала ответ и хотела бросить взор на небо, но он встретил потолок, расписанный альфреско – небо для бала очень хорошее, особенно для тех, которые там были: они бы не желали и сами лучшего – с целым миром мифологических богов. Между ними Амур, казалось, улыбнулся ей и будто хотел опустить из рук миртовый венок на ее голову, в знак торжества своего могущества.

Счастливец Адуев! – В каком упоительном состоянии он теперь! чувство восторга втес-

нилось в грудь его и мешает ему говорить, думать, даже дышать. Он сидит неподвижен, бледен, еще не может мысленно измерить своего блаженства... мысли цепенеют в голове и сливаются в одну необъятную, отрадную идею: «она любит!» Язык его онемел. Опять досадный, помешанный старик подошел с вопросом, не дурно ли ему, не нужно ли ему воздуха, fleur d'orange, des sels?.. [176]

– Нет-с, мне теперь ничего не нужно! – сказал он, собравшись с силами. – Елена, – шепнул он ей, – этой минутой вы выкупили бы кровную обиду. Я, я один виноват во всем; я опытнее вас, должен бы был поступить иначе, а не горячиться, как семнадцатилетний мальчик. Теперь обращайтесь со мной вдвое холоднее, будьте вдесятеро капризней, причудливей: я все снесу! – Он встал.

– Куда вы?

– К барону, просить вашей руки.

– Теперь?.. Возможно ли! на нас и так обратили внимание.

– Уговорите по крайней мере вашу маменьку ехать поскорее домой.

Барона насилу оттащили от виста, а баро-

нессу от старух. Адуев посадил их в карету и у их крыльца высадил опять, и вошел к ним.

– Отдайте мне Елену, барон: только вашего согласия недостает для моего счастья.

– Ба! что это тебе вздумалось теперь! – чего ты смотрел прежде? Отложи хотя до утра. И так ты нашу игру расстроил. А какой вистик! Я был в выигрыше. Представь: у меня был туз, король сам-третей, у адмирала...

– Не откладывайте моего счастья ни на минуту! Я хочу уехать с мыслию, что Елена моя.

– Пожалуй! я люблю тебя как сына и давно готов, жена тоже; да что скажет Елена?

– Pará! – сказала она умоляющим голосом, – faites ce qu'il demande: je le veux bien!
[177]

– Вон она что говорит! как это ты угадал ее мысли? Ну – быть так!..

Отец и мать благословили дочь. Молодые люди очутились вдвоем в той же комнате, у того же флигеля, где за несколько часов Адуев претерпел поражение; но кто старое помянет, тому глаз вон! Однако Егор Петрович помянул.

– Я так много страдал, – сказал он, взяв ее

за руку, – вы так долго мучили меня, что... на этом месте, где легкомысленно оскорбили меня... О! вам так легко загладить оскорбление! – Он подвинулся ближе; она взглянула на него и, улыбаясь, в смущении опустила тотчас взоры в землю; краска разлилась по лицу. У обоих сердца бились сильно, оба едва переводили дыхание. Наконец он наклонил несколько голову, хотел коснуться устами пылавшей щеки ее, но она отвернулась, и роскошные, благоуханные кудри осенили лицо молодого человека... обернулась опять, как будто играя; уста его еще на том же месте, еще жаждут награды; она уже не отворачивалась, а глядела на него в какой-то нерешимости, в недоумении, с улыбкою. У обоих из глаз выглядывало счастье; недолго оставались они в бездействии, невидимая электрическая нить, проведенная от взоров ко взорам, укорачивалась... они зажмурились, а уста сошлись... Он обомлел и, замирая, с трепетом, преклонил колена и осыпал пламенными поцелуями руки ее.

– Ну, на первый раз довольно! – сказал барон, стоявший в дверях. – Теперь пойдете

ужинать.

Молодые люди отскочили друг от друга, как два голубя, испуганные выстрелом.

– Нет... мы... так-с, барон! – пролепетал Адуев и стоял, как школьник, почесывая голлову, а Елена начала рыться в нотах. – Ужинать! – плаксиво сказал он. – Да неужели вам хочется ужинать?

– А как же нет? И тебе советую. Ты расстроил уже вистик, когда у адмирала... о! я этого никогда не забуду!.. да еще без ужина хочешь оставить? Слуга покорный!

Прочитав еще раз ярко написанное выражение счастья в глазах Елены, осыпав еще раз поцелуями руки ее, Адуев помчался домой – не берусь описывать, в каком положении: женихом не был, но должно полагать, что ему было приятно.

Он опять вошел в шляпе прямо в кабинет, где застал своего камердинера Елисея. Старик был все еще не в духе от «нехорошего слова», сказанного барином. Егор Петрович заметил это.

– Елисей, – сказал он, – я тебя обидел сегодня. Виноват! не сердись на меня. Даю тебе

честное слово, что вперед этого не будет.

Елисей сначала выпучил глаза на барина, потом вдруг повалился ему в ноги и поцеловал руку.

– Батюшка, Егор Петрович! – начал он. – Ведь я холоп ваш; тридцать лет служил вашему батюшке, под Туречину ходил с ним, много господ видал на своем веку, а этакой диковины не слыхивал, чтобы барин у холопа прощенья просил!

– Да разве стыдно сознаться в своей вине и стараться загладить ее? И притом ты больше не холоп: я отпускаю тебя на волю и даю пенсию.

– На волю!.. За что, сударь, прогневались на меня? на что мне, безродному, воля? куда на старости преклоню дряхлую голову? Век жил в вашем доме; в нем хотел бы и умереть, если не откажете в куске хлеба старику. За милость благодарен; только бог с ней!.. Я вынянчил вас, тридцать лет служил покойному барину, под Туречину...

– Живи и делай, что хочешь. Только не пора ли тебе отдохнуть от трудов? Служба твоя кончена. На вот, возьми это.

Он подал ему бумажник с деньгами. Елисей посмотрел на него с одной стороны, обернул на другую, покачал головой и положил на стол.

– И! батюшка Егор Петрович! да на что мне! Нужды мы, по божьей да вашей милости, не видим: сыты, одеты, обуты; а сколько бедных без куска хлеба! лучше пожалуйте им. От себя не отсылайте. Пока силы есть, пока ноги таскают, не перестану служить вам. Ну, где молодому парню за порядком смотреть да угодить вам! Я вынянчил вас, тридцать лет служил батюшке, под Туречину с ним ходил...

– Ты честный человек, Елисей! Бог награждает тебя. – Ну, теперь послушай: я тебе новость скажу, старый...

– Что, сударь, старый? – спросил он торопливо.

– Старый мой пестун!..

– Ух! отошло от сердца! А уж я думал опять, прости господи, старый чорт скажете.

– Добрая весть! Порадуйся: я женюсь на Елене Карловне.

– Ах ты, господи! воистину радость сказали. Привел бог дожить до такого счастья!

Старик перекрестился со слезами на глазах, потом опять поклонился в ноги Адуеву и поцеловал его руку. «Поздравляю, батюшка! Кабы покойный барин, батюшка ваш, да покойница барыня, матушка ваша, были живы, царство им небесное! – Старик опять набожно перекрестился и взглянул на образ. – То-то бы радости-то было! то-то бы благодарили бога за милость! Да не привел господь их дожить до такого счастья, а меня, грешного, удостоил. – Поздравляю, батюшка! Побегу рассказать дворне!» – Старик обтер ладонью слезу и, спотыкаясь, побежал из комнаты.

Адуев почти не спал ночь, а поутру, раньше обыкновенного, начал одеваться, чтобы лететь туда, куда влекло его сердце, где его ждало другое. Кончив свой туалет, он взял шляпу и вышел в переднюю. Перед крыльцом серый рысак едва стоит на месте, храпит и роет копытом снег, как будто предчувствуя нетерпение своего господина. Человек набросил на Егора Петровича шубу и отворил уже дверь, но вдруг, как гриб вырос из земли, явился плешивый управитель с пребольшей кипой бумаг. Он низко поклонился и стал у

порога.

– Что ты, Яков?

– Да к вам-с, с делами.

– С какими делами?

– Вы вчера наказывали ходить всякий раз к вам с докладом.

– Я наказывал?.. Что-то, брат, не помню. – Он подвинулся к дверям.

– Как же, сударь! вы изволили сказать: «показывай мне каждую бумагу: я хочу сам все видеть и знать».

– Будто так и сказал?.. Да нельзя ли отложить?

– Никак нельзя-с. Вот я приготовил ответ на челобитье мужичков, что недоимки-де сроку не терпят – и тем, что черед в рекруты пришел...

– А! помню, помню! – сказал Егор Петрович. – Эти ответы не годятся. Напиши, что недоимки я прощаю совсем...

– Что вы, сударь, да ведь там восемнадцать тысяч! – с испугом вскричал управитель.

– Нужды нет, – спокойно отвечал Егор Петрович. Елисей с Яковым покачали головами. – Сверх того, из своих отпускаю десять тысяч

на помощь самым бедным; а за рекрут деньги внести; одному дать тысячу рублей, на свадьбу и на разживу, а другому столько же на поддержку семьи. Садовнику я сам куплю семян, а архитектору написать, чтобы дом совсем отделать к июню месяцу; я мебель и все пришлю.

Проговорив это, Адуев пошел проворно к дверям.

– Вот-с... вот-с позвольте, сударь! Еще из орловской вотчины пишут, что хлеб весь расхватили: требование большое. Не прикажете ли почать запасный? Староста пишет... Да вот я прочту, что он пишет...

Яков вздел на нос медные очки и стал рыться в бумагах, наконец достал замасленное письмо и, откашлянувшись, начал: «Желаю здравствовать многие лета милостивому нашему батюшке Егору Петровичу, а и уведомляю, что Фомка да Гараська Лапчуки, да Горшенков Фадей, да Мишка Трофимов с отцем, с Трофимом Евдокимовым, на десяти подводах...»

– Полно тебе, Яков Тихоныч, людей-то смешить! – сказал Елисей, – посмотри-ко, где

Егор-то Петрович! – Он показал ему в окно на улицу, вдоль которой мчался Адуев.

Егор Петрович, видя приготовления Якова к чтению письма, каковая операция угрожала продолжиться с добрые полчаса, ускользнул в двери и – был таков! Серый рысак по-вчерашнему выбивался из сил и летел, как стрела, по Невскому проспекту. «Пошел!» – кричал опять поминутно Адуев. «Эка сорви-голова! провал бы тебя взял!» – опять ворчали прохожие, глядя ему вслед.

– Ну, что скажешь, Елисей Петрович? Шутка! восемнадцать тысяч недоимки простил да десять от себя впридачу дал – выходит двадцать восемь! На выкуп парней из рекрутчины что пойдет! Две тысячи им отпустить велел так, ни за что ни про что! – Двадцать тысяч с лишком, подумай сам, в минуту махнул – что табаку понюхал! – Не в покойника, нечего сказать! – Человек, подумаешь!

– Что ты говоришь, Яков Тихоныч?

– Ей-богу, право.

Старики попотчевали друг друга табаком и разошлись.

Адуев явился к себе домой после всех го-

стей, названных накануне. Между ними был и Бронский, доставивший билет в Коммерческий клуб.

– Хорош! – сказал ему Адуев, – а обещал быть вклубе! – Где протаскался, повеса? говори! и зачем не предупредил меня об этом бале? Я, признаюсь, такой роскоши не ожидал.

– Помилуй! – отвечал тот, – не я ли целый вечер прождал тебя у дверей залы? – Отчего ты не изволил явиться? Как бы, кажется, не свидеться там? я бы уж не прозевал. – Да что тебе там особенно роскошно показалось? В твоей передней, право, не хуже.

– Помилуй! прислуга в бархате, в золоте! все блестит, везде мрамор, бронза! какое освещение! какая мебель! целая картинная галерея! – А общество! а тон! а приличие, вкус в нарядах! – Меня все с толку сбило. Хоть бы у посланника, так...

– Прислуга в бархате?.. мрамор... бронза... тон... приличие... общество? – с изумлением, протяжно повторял Бронский. – Помилуй! в уме ли ты? И что там за общество? придворных, что ли, ты там видел? или дипломатический корпус?

– Весь, братец! – А графиня Z.? а P.? а все денди?.. Да вот спроси у Дружевского. И он был там. Не правда ли, Дружевский, что вчера на бале были все посланники и вся петербургская знать?

– Да, все были.

– Да на каком бале? позвольте спросить, – сказал Бронский.

– На том, где мы были вчера с Адуевым; у неаполитанского посланника.

– Поздравляем! – закричали все с хохотом, – ты из одной крайности перешел в другую: бывало, никто не дозовется тебя, а тут без зову пожаловал!

И молодые люди пустились хохотать и острить. Адуев призвал кучера и спросил, куда он вчера возил его.

– Да куда вы приказывали: на бал на Английскую набережную. У того дома всегда видимо-невидимо карет стоит, а в окошках огни горят, когда ни поедешь. Я и смекнул, что, должно быть, там.

Адуев расхохотался вместе с прочими при этом наивном объяснении, особенно когда узнал, что «помешанный» старик, приставав-

ший к нему, был сам хозяин, неаполитанский посланник.

Поднимая первый стакан шампанского... Заметьте: я сказал, не бокал; это был бы анахронизм; в обществе молодых и холостых людей шампанское из бокалов не пьют...[178] Поднимая первый стакан шампанского, Егор Петрович предложил тост за здоровье баронессы Елены Карловны Нейлейн, своей невесты. Молодежь восторгалась, шумно вскочила на стулья и хором поздравила счастливец. Дурачеств было наделано немало в тот день.

К посланнику Егор Петрович отправился с извинением, и как тот знал барона, то охотно познакомился и с ним и обещал, в благодарность за приезд его на бал, быть у него на свадьбе, на которую я приглашаю моих читательниц и читателей.

Поездка по Волге*

I

Лет двенадцать тому назад, в конце мая, я собрался поехать от Твери по Волге до Нижнего, до Самары, и если станет охоты, то и далее: словом, куда глаза глядят. Не то чтобы мне было нужно ехать туда или сюда, а просто нужно было уехать куда-нибудь, потому что наставала пора, когда в Петербурге становилось тепло, светло, хорошо, когда в нем можно жить – и когда никто в нем не живет.

Перед отъездом я съездил проститься с некоторыми знакомыми и однажды, в тихий и ясный вечер, возвращался на пароходе из Петергофа. На палубе сидели и толпились пассажиры обоого пола всяких званий. Снизу из каюты и буфета слышался говор и смех многих голосов. Я только было нагнулся, чтобы с трапа посмотреть, кто там есть, не найду ли знакомых, как оттуда навстречу мне выпрыгнул господин. Я еще не успел разглядеть его, как он назвал меня по имени и схватил за обе руки.

– Иван Иваныч! – сказал и я, с удовольствием отвечая на его радостный привет.

– Вы были в Петергофе – и я тоже, – заговорил он и в то же время бросал зоркие взгляды кругом, в толпе, – как досадно, что я не видал вас. Какие там есть прелестные места – я и не знал. Я бы показал вам. Я нарочно поеду туда и возьму с собой кисти. Там можно кое-что срисовать – сейчас раскупят, здешние же, мне уж намекали, почти заказали... А это кто?

Он вдруг оборвал речь, оставил меня и бросился к ближайшей группе дам, сидевших отдельно от других пассажиров. Две пожилые женщины и одна молодая – и сколько позволяла видеть приспущенная зеленая вуаль – очень красивая. Все три одеты были просто, но с строгим вкусом.

Иван Иваныч потолкался там около них, делая вид, будто смотрит на море, потом сунулся назад ко мне.

– Одна прехорошенькая, – сказал он, как будто сделал находку, – как хороша!

– Ну так что ж?

– Как «что ж»: я сейчас опять пойду, пойдемте, сядем подле них, может быть, удастся

заговорить, познакомиться!..

Он опять ушел без меня, опять потолкался, потолкался, присел около них, встал и воротился ко мне. Ни одна из них даже не обернулась к нему.

– Пробовал зацепить, да никак нельзя, – сказал он, – все вон туда отворачиваются: что это там: Лахта, что ли?

Иван Иванович Хотьков – художник, талантливейший живописец и приятнейший из людей – наблюдательный, всегда веселый, резвого, кипучего ума и такого же характера. Встреча с ним – настоящий праздник. На все он отзовется, все поймет, всему посочувствует, печально задумается над вашим горем – и поможет, если (в рифму) может, но он редко может, – зато непременно разделит ваше удовольствие. Когда он подойдет и поговорит с вами минут пять, вы чувствуете, что как будто и не расставались с ним, а когда он уйдет – и все с ним уйдет, как будто никогда не знавали его. Пользуйтесь им, когда он тут, берите от него все, что можете, он все отдаст – и сам возьмет все, что может, у вас, у другого. Но не надейтесь, что он сохранит и вас самих и все,

что вы дали, – в памяти, – он растеряет все тут же по дороге. Друзей у него не бывает, но приятели все: вы отойдете, думая, что вот он, разделив, унес с собой какую-нибудь вашу мысль, намерение или дал обещание, или взял с вас, что вы обеспечили его себе прочно, что мысль и обещание пустят в нем корни – нет: все это до встречи – с другим. Этот другой сейчас заменит вас. Кажется, сколько мне удалось вскользь заметить, к женщинам он относится так же весело, любезно, как и к приятелям, и – как истинный, впечатлительный художник – сверх того, был с ними любезен и игрив, и также непрочен. На беду он хорош собой – и потому на женской половине его знакомства нрав его обрисовывается рельефнее. Это в нем ни худо, ни хорошо, тут нет никакого принципа, никаких убеждений, а просто натура, темперамент: нервный, чуткий и тонкий организм художника, никогда почти не остающийся в покое. Говорит с кем-нибудь, а сам переступает с ноги на ногу, глаза бегают вокруг, как будто ищут кого или что – нарисовать.

Мастерская его выражает вполне его жи-

вой и впечатлительный темперамент. Чего там нет: заглядишься, залюбуешься, тронешься до умиления или засмеешься, глядя на его бесчисленные, едва начатые или полуоконченные, редко конченные картины, эскизы, наброски кистью, акварелью, *en pastel*[179], карандашом – в рамах, на мольбертах, на стенах, на окнах, на полу. Не знаешь, куда глядеть, на чем остановиться, тянет подойти к той стене, посмотреть характерную голову какого-то героя или мифологического полубога, а по дороге остановит улыбающийся ребенок или старуха за прялкой, а из-за нее глядит группа нищих, – и какие знакомые лица! Тут прелестная голова итальянской красавицы, сколько блеску, роскоши, как колоритно. А рядом <голова> купца и подле роскошный южный пейзаж, далее Прометей, еще далее огромный эскиз плафона – потом вакханка – потом святой и т. д.

Но не ищите глубин жизни – измученного мыслью лица или убитого отчаянием горя, или головы гения, или психической черты – Иван Иванович морщится от одних намеков на эти сюжеты, затопчет живо ногами и запоет

из «Севильского цирюльника»¹, из «Don Pasquale»², а то так и из «Прекрасной Елены»³ ее ответ.

Беспечный, веселый – он беспечно и весело смотрит на жизнь и природу, почти всегда смеется и почти не огорчается, а только ненадолго морщится при неудачах и так называемых «треволнениях». Хозяйство у него в голове и в сердце, в кармане и в квартире – в хаотическом состоянии. И с искусством своим он обращается так же беспечно. Любимые его задачи – женские головы. Он смотрит на женщину как мужчина и как художник – в одно и то же время. Вглядываясь в красавицу в салоне, в блестящей обстановке, он прежде всего мучится желанием написать ее, а потом что бог даст. Точно так же, встретив какую-нибудь замарашку-девчонку на улице, на кухне, в деревне, он – в грязи и лохмотьях – заметит черты, просящиеся на полотно, и где можно – там или тут – добудет себе натуру, путем любезности, ухаживанья в первом случае и – просто деньгами во втором.

С этюдами женских голов, вообще тела, он возится с любовью. К другим сюжетам он рав-

нодушнее. Придет любитель в его мастерскую, заметит ту или другую картину в углу, в пыли, заброшенную, и пожелает иметь. Он сейчас вытащит ее, вытрет, сам хорошенько взглянется, как будто в первый раз видит, и если в эту минуту у него нет денег или подвернулась женская «натура», а любитель предложит порядочный куш и тут же даст задаток, – И<ван> Иван<ович> все остальное забудет и бросится на труд с жаром, с увлечением, напишет скоро и блистательно. Тут и надо ловить его. Если любитель замедлит, охладееет на время, – охладееет и он. Всех денег не надо отдавать вперед, – тоже охладееет...

Таков мой и многих-многих других приятель Иван Иванович Хотьков. Когда встретишься с ним, как будто в жаркий летний день утолишь жажду стаканом шампанского – свежо, игриво, приятно; а расстанешься – некоторое время газ еще играет, будто продолжаешь видеть не то ряд картин, слышишь музыку, точно стоишь в толпе среди живого говора и смеха.

Побольше бы таких людей, веселее и легче было бы жить на свете!

– А вы знаете, я еду в Испанию! – вдруг обратился он ко мне. Я молчал. – Что ж вы молчите: вам все равно?

– В самом деле все равно.

– Экой вы какой! А я еще думал забежать к вам...

– И не забежали. А я заходил и не застал вас! Это прежде всего неправда, я думаю, ваша Испания... – начал я.

– Ах, почему вы знаете, уж решено!

– А если правда, – продолжал я, – то мы видимся так редко, что вы для меня всегда как будто в Испании... От этого и все равно. Я думаю, и вам тоже.

– Ах, нет: я думаю часто о вас!

Я поглядел на него. Он засмеялся.

– Что смеетесь: я правду говорю! А вот вы обо мне не думаете, а обязаны думать: да-с!

– Я люблю думать о вас, как обо всем, что приятно, но обязан...

– Обязаны, должны! – подтвердил он.

– Еще и должен!

– Да, на вас такой же священный долг против меня, как в картах: вам ли и мне напоминать о долгах?

Он сказал это почти серьезно, так что и я серьезно стал припоминать и вдруг вспомнил об этом «долге».

– Давность прошла! – сказал я.

Хотьков однажды, в минуту артистического отдыха, на даче предложил мне сделать мой портрет. Я решительно уклонился, не желая занимать его собою и не зная, что делать с своим портретом. «Ну, так я без спросу сделаю!» – заметил он вскользь, и я забыл этот разговор. Недели через две после того он вдруг однажды утром принес мне мой портрет, превосходно набросанный им, украдкой от меня, разноцветными карандашами в два сеанса и обделанный в хорошенькую рамку с надписью. Это был день моих именин, следовательно о каком-нибудь контрпрезенте и думать нельзя.

– Однакож, – сказал я ему за обедом, – вы дали мне портрет на память о себе; мне хотелось бы тоже оставить вам память и о себе: на это я имею право. Но какую? Портретов я рисовать не умею...

– А вы попробуйте, пером! – подсказал он.

– Не умею, никогда не рисовал.

– Начните вот хоть мой, – и расквитаемся...

Я молчал.

– Идет? Выпьем шампанского!

Мы чокнулись бокалами.

– Когда хотите, я вас не стесняю! Только не забудьте, за вами долг!

– Хорошо! – сорвалось у меня.

И вот об этом именно долге напомнил мне Хотьков при встрече на пароходе, напоминал и прежде, и потом мы забывали оба, считая его шуткой.

– Когда же начнете? – прибавил он шутя.

– Сейчас же! – шутя и я отвечал. – Меня удивляет не каприз ваш, чтоб я сделал ваш портрет пером: выражая в свое время этот каприз, вы только хотели любезно отклонить всякую благодарность за ваш подарок.

Он замотал головой:

– Ах, нет, нет, – я требую портрета непременно! Обещали, так делайте!

– А я удивляюсь, что вы с вашим характером могли вспомнить что-нибудь.

– Так спустимтесь вниз и выпьем опять шампанского, как тогда, и возобновим договор! Теперь жарко, мне пить хочется – и пого-

ворим.

– С зельтерской водой, пожалуй, – сказал я, – да и некогда: мы через полчаса приедем...

– Однако все-таки... – говорил он, уже сбегая с лестницы. У буфета мы продолжали разговор. Тут приходили и уходили разные лица: кто спрашивал лимонад-газёз, кто пива, больше водки. Хотьков, как всегда, быстро вонзит глаза в идущего вверх – вниз, в каждого, схватит какую-нибудь выдающуюся или смешную черту и, как штрихом карандаша, одним словом назовет его: или только «нос-нос», или «ноги», взгляните «глазки-глазки!» и отмечал уродливость или красоту; невольно засмеешься, прибавишь сам что-нибудь – да к этому еще он подливал шампанское в стаканы, дал выпить глоток чужой девочке, шедшей мимо, и живо смотрел кругом, нет ли чего заметить, зацепить, – сделать что-нибудь.

– Кто бы это такая была, хорошенькая, там наверху? Я дознаюсь, – говорил он, – когда будем сходить с парохода.

– Оставьте ее, а скажите лучше, что вы теперь делаете? – спросил я, – вы знаете, как меня интересуют ваши работы?

– Спасибо вам, знаю, – сказал [он], положив мне обе руки на плеча и весело, дружески глядя мне в глаза. – Я пропасть наработал, приходите посмотреть. Я расскажу вам. Вот прежде всего в Испании: там надо купить несколько картин и снять копии с трех больших. Граф Г. дом отделяет на набережной; он там был и видел, одна в Эскуриале⁴, а две в Мадриде, и хочет заказать. Славно, если б удалось, – поездка даром, – да тысяч шесть-семь за работу. А я между тем посмотрю там, погляжу типов, поработаю с натуры. У меня родилась мысль написать большую картину – бой быков.

Я махнул рукой.

– Право! Денег кучу привезу, вот тогда... – Он закачал ногой и запел живой мотив. – По-едемте-ка, – прибавил он, – в самом деле, а?

– Нет, мне незачем туда, я на Волгу... – сказал я.

Хотьков так и встрепенулся:

– На Волгу? Вы не шутите? в самом деле? – да нет, вы так только...

– Вот вы, может быть, с Испанией шутите, – заметил я, – а я нет...

– И я нет: вот только граф воротится из Москвы, я сейчас же... через неделю и паспорт возьму. Я уж готовлюсь... А вы – на Волгу! Правда это?

– Конечно, правда: я на той неделе в четверг.

– В четверг, а сегодня у нас вторник, – рассчитывал он про себя. – Значит, через девять дней. Ведь и меня звали на Волгу...

– Ну вот: я знал – вас куда кто потянет, – перебил я, – вот вам и Испания! Хотите, я угадаю программу вашего лета: я думаю, что вы узнаете, кто та красавица наверху, и если познакомитесь с ней, то и будете искать Эскуриала в Павловске или напишите бодающихся коров на Обуховском шоссе вместо боя быков.

– Как же это: и от графа и по Волге – задаток взял, да на Черную речку...

– Задаток можно вернуть, передать другому, – почти про себя говорил я, – что и бывало не раз, а?

– Вот еще! Что мне красота: натура, больше ничего! Главное – поездить, поработать, нажить побольше денег...

– Что это вы все о деньгах: послушать вас,

вы как будто только для денег и работаете. Что за жадность?

– Век, век такой! – припрыгивая, оправдывался он. – Это в ваше время работали просто «для звуков чистых и молитв», а теперь таких дураков не найдешь...

– Спасибо, молодое поколение.

Мы оба засмеялись.

– Деньги, конечно, нужны, – сказал я, – и все их любят – но у вас, милый Иван Иванович, деньги как-то чудятся вам на палитре, в виде краски, и вы слабостью к ним страх как похожи на... Рембрандта...

– Спасибо, старое поколение! – сказал он, – неправда однако. Вы знаете, что у меня никогда денег нет, – прибавил он и с подавленной скромностью, как девушка, потупил глаза, – вот как я их люблю! Смотрите! – Он выворотил пустые карманы.

– А долги есть?

– Всегда! – Он вздохнул с сокрушением. И я тоже.

– А у вас нет?

– Нет.

– Как это вы делаете?

– Что?

– Как это вы долгов не делаете?

– Не умею. – Он опять вздохнул.

– Хотите я вас научу – но прежде пойдете вверх, посмотреть, что делает красавица, – сказал он и вдруг оживился, запел.

– Вот, например, – дорогой говорил он, – посмотреть, познакомиться с ней – это ничего не стоит, дешево, а потом, когда сойдетесь покороче, понадобится, например, поехать на острова вместе, ведь экипаж понадобится: как же вы сделаете?

– Никак! Не возьму, – сказал я.

– А потом, если дело окажется подходящее... в театр, что ли ехать: ложу тоже не возьмете?

– Не возьму, – сказал я.

– А она захочет пикник устроить, за город или летом в Финляндию съездить на Иматру? А то, пожалуй, и за границу: осмотреть, например, вместе галереи Дрезденскую, Луврскую, Антверпенскую? Или в Италию? Вы не поедете? Не всегда же в руках наготове держать кучу? Как же без долга? По-вашему, не ехать?

– Не ехать, – сказал я.

– А если у ней... положим, еще ближе сойдется... явится у ней желание порядочно одеваться, понравится ей какой-нибудь браслет...

– Потом карета, – подсказал я.

– И лошадь, грум... Как же без долга?

Мы вышли на палубу. Пароход входил в Неву. Хотьков пошел к дамам, потолкался опять около и опять ко мне.

– На Волге мне заказано запрестольный образ написать в церковь, а может, закажут и еще. Я еще в апреле триста рублей получил задатку, а ответа не написал, когда приеду. А вот теперь и напишу и с вами уеду в четверг. Где вы там будете?

– Я заеду на родину, а потом поезжу, так, где случится, посмотрю...

– Так вот вместе, отлично: идет? И я с вами на родину, а потом вы туда, со мной... И проживем, да? – Он обнял меня за плечи рукой.

– Да полноте, милый Иван Иванович: ведь вы сами знаете, что не попадете ни в Испанию, ни на Волгу, а куда-нибудь в третье место, как бывает всегда!

Хотьков не дослушал меня и бросился к

выходу, к которому подбирались все пассажиры. Пароход подходил к пристани, Мы были сзади всех, я там и остался, а Хотьков через минуту был уже впереди всех и втерся почти в группу трех дам. Он совался вперед. «Позвольте, позвольте!» – отстранял его матрос.

Наконец, вышли. У самой пристани стояла карета и дожидался лакей. Дамы прямо шагнули в нее и поехали.

Я с парохода видел, как Хотьков сел и поехал за коляской. Он отыскал в толпе глазами меня и кивнул.

– Не забудьте же мой портрет! – крикнул он мне, сложив руки трубочкой около губ, и поехал. В толпе на меня оглядывались с любопытством, принимая меня за живописца.

«Не делайте долгу!» – хотел я крикнуть, но удержался.

Я далеко видел, как тряслась его маленькая кокетливая шляпа, как силилась извозчицья лошаденка догнать карету и все отставала, и, наконец, все скрылось за углом дома.

2

Через десять дней, именно в четверг, я с чемоданом и ручным мешком подъехал к

станции Николаевской железной дороги. Первое лицо, столкнувшееся со мной в дверях, был Хотьков. Я и удивился, и обрадовался, и почти испугался. А Хотьков со своей улыбкой, с веселыми глазами протягивал мне руку и схватил мой мешок.

– Я уж давно поджидаю вас, я все выбегал на улицу, – сказал он.

– Вы ли это, Иван Иваныч? Непохоже на вас! Да как вы вспомнили о четверге и обо мне?

– Вот видите: а вы все на меня нападаете! Вы меня еще не знаете! У меня столько энергии...

– Суеты, – поправил я.

– Ну, суеты. Все же я живой человек, живу и чувствую, а не...

– Не такой мешок...

– Который я несу в руках, – добавил он, кладя мой мешок на скамью и лукаво глядя на меня. – Я как расстался с вами... Где, бишь, это? да, на пароходе... Я как расстался тогда с вами...

– А красавица? – вдруг вспомнил я, – ведь вы увязались за ней!

Глаза у него забежали на секунду, он припоминал.

– Ах! – Он махнул рукой. – Отстали посреди площади: у моей лошади седелка и шлея слезли набок, мы остановились, другого извозчика поблизости не случилось, и карета уехала!

– Да вы что здесь делаете: ужели проводить меня пришли? – спросил я и хотел уже заплакать от умиления.

– Как проводить? я с вами на Волгу...

– Не морочьте меня, милый Иван Иванович... неправда! где же вещи ваши? – Я оглянулся. Около него ничего не было. – И потом на вас то же самое, что и тогда было...

– Вещи я сдал прямо до Нижнего: у меня там платье, белье, холсты, ящик, краски, палитра, кисти – все уже это еще вчера уехало, – а я вот как – налегке, по-дорожному, видите? – Он поворачивался передо мной: та же бархатная жакетка, клетчатые брюки, но на голове вместо шляпы была надета шотландская шапочка с двумя лентами позади да на плече перекинут был тот же плед. – И вот еще!

Тут только я под пледом увидел замшевый

мешок на перевязи через другое плечо – с замком, исполинское porte-monnaie, с каким впору ехать банкиру какому-нибудь с сотней-другой тысяч и какие возят многие в дорогу, как будто говорят ворами: «У меня тут все мои деньги, отрежьте, пожалуйста, это так легко!»

– Разбогатели вы, должно быть: ведь тут тысяч двадцать, тридцать уложатся. Сколько казны везете вы?

– А вот! – Он отщелкнул замок и показал мне – там одно отделение было набито турецким табаком с пачкой гильзов, в другом футляр с карандашами, с резинкой, растушка, кусочки акварельных красок, маленькие кисти и карандаши и книжка-carnet[180], в другом – маленькие ножницы, гребенки, два-три тонких носовых платка, маленькое зеркальце, и в самом крошечном карманчике сбоку что-то завернутое в бумажке.

– А вот и казна, – говорил он, указывая на бумажку, – триста рублей да вот здесь мелочь... Пойдем брать билеты!

– Триста рублей! – Я испугался. В эту минуту ударил звонок.

Мы бросились к кассе. «Это первый звонок, не торопитесь!» – успокоивал он меня.

Я взял билет, сдал вещи и тогда уже покойно вернулся к нему.

– Триста рублей! – повторял я, – это мало.

– Теперь уже меньше: билет взял. Двести с чем-то! – равнодушно сказал он, запирая деньги в мешок.

– Послушайте, если вам не хватит, я не дам! – строго заметил я.

– До Нижнего и даже до места станет, а там возьму у Угарова.

– У какого Угарова?

– А тот, к кому еду писать образá.

– Скажите же, как это все случилось, что вы бросили Испанию и вдруг на Волгу? Не для меня же в самом деле?..

– А я на другой день после встречи с вами послал туда, на Волгу, телеграмму спросить, когда приехать, и получил письмо, что меня ждут, что этот Угаров, помещик теперь в Нижнем и что я проездом найду его там. Мы условимся – *et me voilà!*[181]

– А Испанию, стало быть, побоку?

– Как можно, оттуда и в Испанию... А те-

перь пока с вами на Волгу, погуляем, поработаем, возьмем кучу денег, отлично, превосходно...

Он весело затопал, почти запрыгал и запел. И мне стало страх весело. Он вдруг придал яркий колорит всей моей поездке, перспектива впереди была легкая, веселая, беспечная, артистическая.

Я с любовью оглядывал его с ног до головы и вдруг увидел еще какой-то пояс на нем и за поясом что-то блестящее. «А это что?» – спросил я.

– А это вот! – Он вытащил из-за пояса маленький и хорошенький, как игрушка, револьвер и поднес мне почти к самому носу: – Какова прелесть! А вот еще что! – Он показал мне на другом боку висевшую на шнурке зрительную трубочку: – виды вдаль смотреть! – сказал он. – И, наконец, вот! – Еще маленький, отделанный в бархат с серебром, кинжал, вроде ножа для фруктов или для разрезывания книг.

– Виды смотреть – это я понимаю и жалею, что сам не захватил трубочки. А кинжал, а револьвер – это зачем? Особенно револьвер?

– Как же в дорогу... без этого?

– Нынче ездят не в дорогу, а на дорогу. Ну, зачем вам? прямой вы артист! А ведь, поди, чай, рублей сто или больше? Вот и долг!

– Да, около того. Нет, это не в долг: я заплатил. Посмотрите зато, какой!

Он щелкал замком у самого уха.

– Да спрячьте! – со страхом сказал я, оглядываясь и указывая ему на жандармов, инженеров, кондукторов, которые стояли и ходили около. – И добро бы он не стрелял, а то, пожалуйста, выстрелите да еще того гляди себе же в карман!

– Ничего, там на месте пригодится – постреляем хоть ворон. Только, представьте, я дома коробочку с зарядами забыл.

– И прекрасно! Я понимаю, что можно, например, взять с собой в вагон жареную курицу или пару котлет, а пистолеты...

– Ах-ах-ах... забыл, забыл! Вы заговорили о съестном. Где же мои апельсины, апельсины? Я их там на скамье оставил.

Он побежал в первую залу, а между тем пробил второй звонок, и нас пустили на платформу. Через две минуты Хотьков бегом воро-

тился с корзиной апельсинов, которые, сказал он на бегу, сторож уже спрятал под скамью, «чтоб не украли», и насилу отдал.

Пока мы усаживались в двух креслах против друг друга и раскладывали по местам свои вещи, Хотьков успел разглядеть всех пассажиров нашего купе, потом выскочил вон, заглянул в соседние вагоны – и пустился было вдоль всего поезда, но почти насильно был возвращен кондуктором на свое место. И тут он до половины высунулся из окна и уселся, только когда поезд совсем выехал из города, принявшись немедленно чистить апельсины себе и мне.

Нам обоим было хорошо. Мы болтали, менялись беглыми наблюдениями и заметками над окружающим нас, хохотали, курили, весело обедали. Через час он уже говорил со всеми нашими спутниками, двум спутницам дал по апельсину и принес взамен от них конфет, даже, разговорясь, обещал по возвращении быть у них и взял их адрес.

После обеда на одной какой-то станции он выскочил из вагона, – что делал при каждой остановке, – и не вернулся, когда поезд начал

трогаться. Я к кондуктору, умоляю подождать: «сейчас, мол, придет!» – «Да он тут где-то: вон он! – сказал кондуктор, показывая мне пальцем. – Это, должно быть, они вам машут!»

Я высунулся из окна вагона, и у меня отлегло от сердца. Иван Иванович махал мне шляпой из другого вагона, давая знать, чтобы я не беспокоился за него.

Станции через две он прибежал и вскочил на подножку у моего окна.

– Знакомых нашел: славные барыни! Хотите познакомиться? Они очень рады... вместе поедем... Пойдемте!

– Бог с ними! – отмахивался я. – Вот чаю напьемся да и спать: а вы с барынями! Смотрите, не наделайте там долгов!

– Я на ночь ворочусь... – бросил он мне в ответ, спрыгнул с подножки и был таков. Меня зло взяло. Я надулся и просидел так до чаю. Я знал почти вперед, что и как будет делать Хотьков, но скука сидеть одному сделала меня эгоистом.

На станции, в зале, где пили чай, он подтащил-таки меня к своим «дамам».

Он назвал меня им, а их – мне, но так, что я не расслушал имен. Тут были две молодые женщины. Одна – полная, с черными глазами, ярким, здоровым румянцем на смуглом, красивом, с крупными чертами <лице>, вот все, что я мог разглядеть... лицо как будто южное. Другая – худенькая, невзрачная, с жидкими, светлыми волосами и робким взглядом, совсем северное лицо. С ними какой-то старик – муж ли, отец, или что другое, или просто знакомый – не знаю, но он имел вид совсем равнодушного, как будто не состоявшего ни при какой должности при этих дамах лица. Но, к удивлению моему, Хотьков ухаживал больше за стариком, нежели за красавицей. «Верно, усыпить хочет!» – подумал я. Я присел, – и мы все сказали друг другу несколько общих фраз. Вскоре я поклонился и ушел.

На следующей станции Хотьков пришел, наконец, назад и все заговаривал со мной заискивающим, почти нежным голосом, пробуя взять за руку.

– Подите, я вас знать не хочу, – сердито отвечал я, выдергивая у него руку.

– Пожалуйста, голубчик, не сердитесь! Вы сердитесь?

– Нет, омерзение чувствую.

– У меня есть к вам просьба, – сказал он.

Я молчал.

– Какая еще просьба? – сердито отозвался я.

– Вот это билет на мои вещи... – нежно и робко зашептал он голосом, каким просят денег взаймы.

Я смотрел в окно.

– Когда приедете в Нижний... предъявите мой билет!

Я вдруг обернулся от окна к нему так быстро, что он отшатнулся от меня.

– А вы разве не едете в Нижний? – спросил я. – Да, впрочем, что с вами говорить: разумеется, не едете!

– Нет, я еду в Нижний, еду, еду, еду...

– Что же вы пристааете с этим билетом?

– А вот когда приедете в Нижний, там, пожалуй, мои вещи выложат на берег, где-нибудь на пристани, в конторе... Они еще вчера должны прийти туда...

– Ну?

– Так вы прикажите перетащить их на ваш пароход и что нужно заплатите...

– Вы же сами едете, зачем же я?

– Еду, еду, еду – только теперь я не в Тверь с вами... а... а...

Он замялся и совестился говорить.

– А в Испанию? Это испанка, что ли, брюнетка?

– Нет, пока в Москву, на один день: вот этот старик, что вы видели, очень просит...

Смех прогнал у меня досаду.

– Свой портрет сделать? – спросил я.

– Нет, не свой, а вот Марьи Петровны, брюнетки...

– В один день?

– Нет, мы только условимся, когда начать. Они воротятся в Петербург... а я с Волги приеду и, перед тем как ехать в Испанию...

– Полноте! разве нельзя это теперь в двух словах решить!..

– Душечка, голубчик. Они в первый раз в Москве и просили меня показать ее им. Я ему... старику... должен немного... – шептал он, хотя никого кругом нас не было.

– Ну-с?

– Ну так я сам не рад, что встретил его: вот вы возьмите мне билет в Нижнем и призрите мои вещи!

Я понял, отчего он так нежен был со стариком. «Должен!» Да, это, может быть, и правда! Красавица и долг – два магнита или два полюса, положительный и отрицательный.

– А теперь прощайте, до свидания, до свидания, до свидания!

Он нежно тряс мне руки, когда поезд подходил к станции.

– Кажется, еще тут есть апельсины? – добавил он, шаря рукой: – да, шесть: четыре я возьму туда им, а два вам оставлю. Итак, до Твери – может быть, там на минутку я вас увижу, а не то так в Нижнем...

– Прощайте навсегда: ни в этом веке, ни в будущем! – с досадой простился я с ним.

Он насильно обнял меня и исчез.

3

Помню, как рано утром, почти ночью, в Твери трясся я, не знаю и сам на каком экипаже до пристани, как сел на небольшой пароход, который побежал по небольшой еще там реке Волге, между малонаселенными, почти

безлюдными берегами, как мы по временам причаливали к берегу, получали дрова, ночевали и опять пускались и суток через трое, к сумеркам, пришли в Нижний, где должны были пересесть на другой, большой пароход и утром отправиться дальше.

Пароход только что причалил, как с пристани сквозь толпу протискалась какая-то личность на пароход с письмом в руках и выкрикивала мою фамилию:

– От господина Хотькова, – сказал он, когда я назвал себя. – Они со вчерашнего вечера здесь и приказали взять ваши вещи и везти их в наши номера. – Он назвал фамилию держателя номеров. В записке повторялось то же самое, с прибавлением, что Иван Иваныч теперь побежал в театр, а после будет со мной ужинать.

– Веди и меня в театр! – сказал я той же самой личности, которая принесла записку, сдав в номере свои вещи и едва взглянув на свою комнату. – А где же его комната?

– Напротив, вон в той гостинице... – был ответ, – там, говорят, не случилось порожней горницы для вас...

Я удивился, что он стеснялся поместиться в одной комнате со мной.

Я взял билет в партер, чтобы скорее увидеться с ним. Играли какой-то водевиль, я теперь забыл какой, но я на сцену мало обратил внимания, а искал глазами Хотькова.

Только во втором антракте открыл я его в слабоосвещенной зале, и то больше узнал по догадке, зная хорошо его фигуру, – он сидел в тесной толпе, впереди его сидели две женщины, с боков тоже, с которыми он, кажется, беседовал. «Уже успел познакомиться», – подумал я. Я видел, что мне не удастся дать ему о себе знать. В зале было жарко, я ушел бродить по городу. Я был доволен тем, что он приехал, только удивлялся, что он в трое суток успел отделаться в Москве.

В десять часов я был дома, но ужинал один после одиннадцати часов, потому что Хотькова не было. Он прибежал ко мне в четверть первого. «Задержали, заставили ужинать, виноват, виноват!» И он бросился ко мне, жал руки, обнимал и ничего не сказал, кто удержал, с кем и где он ужинал. А я не сказал ему, что был в театре.

Утром, гораздо ранее часа отхода, мы оба были на пристани, присмотрели за погрузкой своих вещей на другой большой пароход и заняли два места в большой каюте первого класса. Я разместил свои вещи в отведенном мне уголке, а Хотьков, положив свой саквояж и еще какой-то узелок в другой угол, рядом с моим, ушел наверх. Тут же валялись и его револьвер с кинжалом и зрительная трубочка. Револьвер и кинжал я сунул под его саквояж, а трубочку надел себе через плечо и вышел полюбоваться видом города и реки. Я поднялся наверх: на палубе теснота, давка. Таскали дрова, прибывали пассажиры с вещами, а больше без вещей: последние – мужики, бабы, с котомками, узлами, овчинными тулупами, босиком и с сапогами в руках, перевязанными вместе с калачами, ковригой хлеба, баранками. На пристани дрожки, тарантасы, телеги, возы, сваленные в кучу кули, мешки, бочонки. Татары, русские, армяне, чувашаи – с разноголосными и разноязычными криками – вешали кули на пристани, таскали на палубу, спускали в трюм, ругались, сморкались. А пароход должен был уйти через час. Я

смотрел, где Хотьков: нет его да и только. На пристань глядел, тоже нет.

Мало-помалу пароход поглотил и товары, и дрова, и публику и дал свисток.

– Все ли тут? – слышались вопросы, – скоро отчаливать, – сейчас второй свисток!

Я начал страдать за Хотькова, то есть за себя, что вот он пропадет, мне будет скучно да еще смотри за его вещами... «Ах ты, бегун, бегун!» – думал я злобно и вдруг издали увидел: с горы спускалась к пристани коляска, я навел трубку, – не он ли?

Он, с ним две дамы, я узнал его фигуру. Коляска приближалась, при колебании ее трудно было разглядеть лица, но они показались мне как будто знакомы. Коляска стала поодаль от пристани, но в трубку видно, как в двух шагах.

Да, да, он и они! Те самые дамы: испанка и белокурая. Старика нет. «Ужели и они с нами, – с унынием подумал я. – Тогда прощай, Иван Иваныч!»

Дамы вышли за ним. У меня отлегло от сердца. Они прощались и, очевидно, договаривали последние слова, трубочка передава-

ла мне их лица. Белокурая спутница стояла немного поодаль и чертила зонтиком по песку, а те близко друг к другу горячо говорили. Я перестал страдать и только наслаждался, следя за ним в трубочку. Вдруг свисток. Группа встрепенулась; он бросился целовать у испанки руки, потом, – мне видно было, – головы их сблизились. Мне стало смешно, я отвернулся, ушел в рубку и сел на скамью. Вскоре он влетел как ни в чем не бывало. «Ах, вы тут!» – сказал он, заглянув в рубку.

– Где это вы пропадали? – спросил я равнодушно.

– А вот белую фуражку ездил покупать, от жара, – он положил на стол завернутую в бумагу фуражку.

– Пойдемте посмотреть, как будут отчаливать, что здесь сидеть?

Мы вышли. Он направил взгляд к коляске: дамы сидели и дожидались, повидимому, когда мы отвалим. Обе они были под вуалью. Да и без вуали сквозь толпу, среди множества всяких экипажей, их трудно было различить простыми глазами.

– Я сейчас сбегая вниз за трубкой, – сказал

Хотьков и хотел идти.

– Да вот она, возьмите!..

Он поглядел на трубочку, на меня, – весь покраснел и залился смехом.

– Что же, заплатили долг старику? – спросил я.

Он потряс отрицательно головой.

– Он мне еще дал... вот! – Он указал на карман. – Вы напугали меня, что мало денег, я и попросил. А вы, верно, думаете, что я за Марьей Петровной! Как же! В сентябре ворочусь и напишу портрет, большой, во весь рост... полторы тысячи... Здесь триста; да двести с чем [то] было, и того... поживем! А до Марьи Петровны мне столько же дела, сколько... до этого татарина...

Он говорил это, не сводя трубочки с коляски.

– Эй! Татарин, татарин, князь, постой!..

Он втащил проходившего татарина в рубку, с необычайной быстротой вытащил из своей памятной книжки листок, написал карандашом три строки, вынул из кармана гривенник, отдал татарину и велел отнести записку барыням в коляску. «Ну, теперь все...

ах, забыл еще, ну, да где-нибудь в Казани, что ли, бутылочки две шампанского надо бы взять... Здесь, пожалуй, не достанешь...»

Наконец пароход засвистал последний раз, зашипел, выпустил огромный клуб дыма и тронулся. Хотьков вскочил на кожух, на мостик, не слушая никого, и платком махал, пока мы скрылись из вида.

Мы осмотрелись, с кем ехали. В первом классе было всего человек восемь да во втором два-три семейства, всего около пятнадцати лиц обоего пола. Зато палуба – или третий класс – была буквально завалена народом, так что между сидящими, лежащими или стоящими мужиками, бабами не было прохода – и пройти с одного конца парохода на другой был подвиг, который совершал, и очень часто, один только Иван Иваныч.

Он в каютах первого и второго класса нашел кое-кого: знакомого помещика, еще приказчика магазина, где покупал холст для картин, буфетчик, служивший прежде в каком-то клубе, тоже узнал его, а со всеми остальными перезнакомился в течение двух-трех часов, даже и с генералом, занимавшим

особую каюту и не подававшимся на знакомства, и был общею отрадою плователей, особенно за столом или за чаем, когда все были в сборе.

На палубу, в народ, он ходил отыскивать «натур», «типов», дорылся до своего чемодана, вытащил бумагу, карандаши, водяные краски и рисовал, говорил, пел и почти плясал. Отыскал на палубе желтоволосого мальчишку и силой притащил в столовую. Тот барахтался, вопил: «Мамка, мамка!»

– Не замай,пусти его! – уговаривала беременная баба в тулупе, стоя у входа. Но Хотьков буквально заткнул мальчишке рот миндальным пирожным, захваченным мимоходом в буфете, и накидывал этот «тип», с грязными ручьями слез. Тут же сделал очерк бабы и татарина. Упрашивал одного купца раздеться в отдельной каюте. «Бахуса, – говорит, – мне надо, у него, я думаю, тело складками висит, как у рубенсовых фигур». Купец рассердился и стал избегать его. Мужики тоже, сидя на полу, подбирали под себя ноги и прятали бороды в колени, когда он начинал в них вглядываться.

На другой день отыскал в куче у самой трупы еле-еле живую старуху – маленькую, сторбленную, с мутными, впадшими глазами и незакрывающимся ртом без зубов, всю в морщинах. «Садись, садись, бабушка, посиди немножко, часок, я тебе сейчас кофейку велю подать».

Старуха, войдя, перекрестилась. «Куда ты это, родимый, привел меня?» – говорила она, пристально поглядев на раскрашенную переборку рубки, на малиновый трип на скамьях и на яркие малиновые же занавески у окон. – «В церковь, что ли?» Она опять перекрестилась.

– Садись, садись: чего хочешь, кофе или чаю?

– Не пью, родимый, нынче петровки. Ужо хлебца поем, – шамкала она. – А ты дай сахарок-то, я в тряпочку заверну, ужо разговюсь... Где Дуня-то у меня? Дуня, а Дуня!

Между тем, Хотьков рассказал ее историю: Она ехала из деревни на родину, где не была лет двадцать, искать родных, не приютит ли кто? У ней умерли дочь, зять, сноха и осталась только внучка, а на родине были другие

внучата, уж большие.

– Да не знаю, живы ли? Куда деться-то с внучкой – о, ох, ох! – заключила она.

Мы обступили ее, пока Хотьков готовил бумагу и карандаши.

– Который год тебе? – спрашивали ее.

– Ась? Годов-то сколько? Да вот сколько попу Никите. Мы погодки, он сказывал. Ему шесть десятков было, как я из Ключихи-то к зятю ушла... Муж-то умер, сын... того... ушел на промысел да с низу не бывал назад... Я в Белево и ушла... к зятю-то... А теперича зять-то умер и сноха...

– Как же ты едешь в Ключиху, не знаешь, есть ли кто? К кому же ты пойдешь?

– О, ох, ох! – был ответ.

– Есть ли у тебя на дорогу деньги?

– Ась?

Хотьков повторил вопрос.

– Деньги-то? А вот тут завязано – три гривны... в узелке-то... да у Дуни два пятака... Дуня! подь сюда, где ты?

Она водила глазами вокруг. Хотьков встал и отыскал на палубе девочку лет семи, в платке, завязанном на голове, как у баб, а из-под

платка сзади торчали в стороны длинные космы волос, похожих на овечью шерсть.

– Поди сюда, шайтан эдакой! Я вот клюкой тебя! Где у меня клюка-то?

Девчонка прильнула к старухе боком, стараясь не глядеть ни на кого. За ней приплелся какой-то мужичонко, назвавшийся земляком, из одной деревни. Хотьков привел его к старухе.

– Вот земляк: знаешь его? – спросил он старуху. – Как тебя зовут? – обратился он к мужику.

– Кузьмой.

– Знаешь, бабушка, Кузьму? – спросил Ив[ан] Иван[ыч] старуху. – Вот этого?

Старуха поглядела в другой угол.

– Кузьму? – повторила она. – Коли не знать? Ты, чай, у Прохора, у мельника, в работниках жил? – прошамкала она.

– Эха! – отозвался мужик. – Да тот уж десятка два лет помер...

Старуха сделала крупный крест.

– Дай бог душеньке его! Прохор-то был хороший мужик, а вот ты все перечил ему... – путала старуха.

– Да я не тот, я Егоров сын! Помнишь Егора?

– У купца Тяпкина, у Антипа Иваныча жил, помню.

– Да не тот, баушка! Тяпкинский Егорка утонул давно...

Старуха опять сделала крупный крест и шамкала про себя:

– Ты на постоялом дворе не гонял ли лошадей? Егором прозывался...

– Эх, горемышный спился и помер давно! – Опять крест. – Я не Егор, слышь ты, а Кузьма!

– У Терентьевны ребятишки-то где? Слышь ты: Кузька-то у нее был, тебе семой годок пошел, как я к снохе-то в Белево пошла...

– Терентьевна ноги ознобила, теперь на печи третий год мается, не слезает, а Кузьма-то шестой год в солдатах...

Старуха перекрестилась:

– О, ох!

Хотьков усердно работал, накидывая ее и Дуню. Мы с любопытством заглядывали в рисунок.

– Как же она дойдет одна? И где будет жить? – спросила одна из пассажирок.

– Дойдет, тут всего девяносто верст. Где подвезут, где поплетется на своих на двоих... – говорил ее земляк.

– А кто примет ее там?

– Возьмут свои! Вот девчонку заставят ребят нянчить али капусту полоть... Прокормятся! Зять тоже есть. Кабы деньжонок рублей пятнадцать принесла, так нешто: стало бы... Долго ли ей прожить-то?

– Пятнадцать рублей! – сказал Хотьков, бросил карандаши, схватил свою фуражку, вынул из кармана пять рублей и бросил туда. Я последовал его примеру, еще двое или трое дали по рублю, другие двое быстро шагнули из рубки наружу. Хотьков за ними. Он заглянул и к генералу и, наконец, пошел по палубе к народу. Там ему клали в фуражку кто грош, кто два: другие, узнав, для кого собирает, дали краюху хлеба, связку баранок и три печеные яйца. Все это Хотьков принес в столовую и сложил перед старухой. Денег оказалось двадцать один рубль и восемьдесят копеек.

– Вот теперь важно, вот заживет! – сказал мужик.

Старухе насилу растолковали – какие это

деньги, и не могли растолковать – сколько. Она крестилась.

– Как звать-то тебя, кормилец? – спросила она и стала близко вглядываться в Хотькова. – Ах, да какой ты красавец, родимый! Ты не попович ли? Не попа ли Никиты сынок: такой рыжий да дородный!

– Нет, баушка, у меня отец был Василий, кузнец...

– Григорий, что ли? Кузница-то сгорела ономясь. Дуня, Дуня, где у тебя два пятака? Смотри, я клюкой...

Хотьков спрятал деньги в конверт, запечатал, надписал имя старухи, название ее села и растолковал ей, чтоб она, как придет домой, никому не давала бы пакета, а подала бы его при священнике в контору или правление спрятать.

– Кого мне поминать в молитвах? – спросила старуха, крестясь и пряча пакет в исподницу. Хотьков записал ей имена всех жертвователей. Старуха завязала бумажку в тряпку с медными деньгами.

– Дуня, Дуня, куда ты провалилась, шлопутная, где клюка-то у меня? – Старуха то кре-

стилась, то искала клюки, потом погружалась в какое-то забытье, никуда не глядя. Слышалось только: – О-ох! Спрячу сахарок-то в тряпочку.

Наконец, Хотьков старался уловить, сколько мог при быстром беге парохода, очерки берегов. Волга была уже настоящая, величественная, широкая Волга, по берегам являлись села, по реке движение, пейзажи бесконечные и разнообразные. Хотьков работал быстро и отлично, когда уходил в работу, но здесь работа уходила от него. Едва делал он очерк горы, леса, бухты, – через четверть часа все бледнело, он с досадой бросал карандаш или кисть: трудно решить, как он прожил бы эти три-четыре дня на тесном пространстве, где ему не было места разбежаться, если бы не... Анна Ивановна и Марья Ивановна.

Это были две примадонны: одна первого, другая второго класса, то есть примадонны нашего общества и первоклассных кают. Мы не знали и не спрашивали, кто они, куда и зачем едут, а слышали только их голоса. Марья Ивановна занимала место в первом, Анна Ивановна во втором классе, и старались быть

неразлучны. То Анна Ивановна сидит полдня у нас, то Марья Ивановна другие полдня уйдет во второй класс, на палубе они всегда были вместе. Но на другой день они были уже втроем: Анна Ивановна, Марья Ивановна и Хотьков.

То и дело слышишь голос:

– Марья Ивановна, вы здесь?

– Здесь, приходите сюда!

Или Марья Ивановна скажет:

– Анна Ивановна, подите сюда!

– Марья Ивановна, пароход навстречу! – И бегут смотреть.

– Анна Ивановна, идите скорей вверх, какой вид открылся!

И бегут. Или книжку, читают вместе, или пьют кофе, лакомятся – все вместе. С другого дня к этомуговору присоединилось имя «Иван Иваныч», и его голос кликал то Марью Ивановну, то Анну Ивановну.

Обе были неопределенной наружности, но молодые и недурны собой. И вот образовалось трио: Хотьков узнал, что они соседки и родственницы, что Марья Ивановна имеет землю и усадьбу, а Анна Ивановна живет у

дяди, что Марья Ивановна едет с горничной и везет с собой бонбоньерку с конфетами и угощает Анну Ивановну и его, а у Анны только финики и изюм, что Анна Ивановна образованнее, лучше и умнее говорит, а Марья Ивановна играет на фортепиано, наконец Марья Ивановна красивее. Были и еще женщины, но непривлекательные: одна с детьми, с нянькой, с своей провизией; чиновник, адъютант, оба знакомые Хотькова, два армянина, ни слова ни с кем не говорившие, да генерал, редко выходявший из своей отдельной каюты, купцы и два-три лица неопределенного звания, не то поверенные или управляющие именьями, между ними поляк и два немца.

Это были постоянные пассажиры. Простой народ почти на каждой станции менялся: одни мужики отправлялись на работу, другие возвращались «с верха» по домам или просто переезжали на какие-нибудь пятьдесят или тридцать копеек сотню верст по делу, тогда как прежде этот люд измерял своими стопами эти большие и краткие пространства, тратя время, деньги и обувь или «отхаживая ноги».

Про генерала Хотьков сообщил, что он едет инспектировать резервные войска.

В Казани, где пароход ночевал, Иван Иванович, само собою разумеется, пропал и вернулся на рассвете. «Хотел, говорит, в театр пойти, да театра нет. Кажется, сторел, не помню».

Наконец, мы съехали на моей родине на берег.

Расставание Хотькова с пароходом было трогательное: все сокрушались о нем, а Марья Ивановна под руку с ним сошли на берег, и долго втроем говорили они, кажется, все трое вдруг, долго жали друг другу руки и чуть не поцеловались.

– Прощайте! – в голос сказали обе.

– Нет, нет, до свидания! скажите: до свидания! – твердил он.

– Ну, хорошо, хорошо, – полусмеясь, полупечально отзывались они. – Приезжайте к нам, какой у нас сад, густой, запущенный, роща, какие подсолнечники, крыжовник!

– Приеду, приеду.

– А у меня оранжереи, – говорила Марья Ивановна.

– Приеду, приеду. Я загляну, непременно загляну, – уходя, договаривал он.

На родине моей пробыли мы дней пять. Хотьков и тут со всеми перезнакомился, кто попадал под руку, успел побывать в гостях в двух-трех семействах и всюду успевал. У одних обедал, там на рыбную ловлю отправлялся, набросал какие-то два, три эскиза и между прочим рублей сто проиграл в карты.

Он и тут заметил одну барыню, которую уверил, что видел ее в Петербурге, в опере или в концерте, уж не знаю, где, и успел заглянуть к ней два раза с утренним визитом, а на третье достал холст и стал набрасывать ее портрет. Но времени оставалось немного, и притом мне было уже все равно, куда ехать, то я не тревожился за остановку.

Однако мы собрались на пятый день ехать дальше и наняли тарантас. Выехать хотели после обеда, когда спадет жара, но с утра Хотьков исчез. Я послал людей спросить, где он, и напомнить ему об отъезде. А сам в дрожках поехал к ближайшему соседу за пять верст поговорить о деле. Недалеко до него я увидел пробирающиеся в леску две фигуры

верхом: одну, я сей[час же] признал, это именно quasi-петербургская знакомая Хотькова, других наездниц и не было по соседству. Но кто бы это был с ней?

Разумеется, Иван Иваныч. Я закричал им и остановился. Они обернулись и нехотя, показалось мне, медленно подъехали ко мне.

– Как это, Александра Петровна, вы за пять верст от вас попали сюда?

– Мы хотели проехать на мельницу, а оттуда к дяде завернуть (это именно куда я ехал), – сказала она.

– А потом?

– А потом ведь вы оба к нам обедать? Муж ждет, и брат хотел быть. Проводим вас.

Я поглядел на Хотькова. Он нагнулся и поправлял что-то у лошади.

– Иван Иваныч, ведь мы сегодня едем, тарантас на дворе, в пять часов приведут лошадей, вы это знаете?

– Успеете, ах боже мой!

– Успеем! – оба закричали мне.

Надо было поневоле согласиться, иначе мы не уехали бы в тот день. И то мы уехали, вместо пяти или шести, только в девять часов

вечера.

Комментарии

В настоящем томе собраны очерки, повести, рассказы и воспоминания, написанные в течение всей долгой творческой жизни Гончарова, с 1839 по 1891 год. Эта часть художественного наследия Гончарова является наименее известной широким кругам читателей.

В основной раздел книги вошли только те произведения, которые были напечатаны при жизни Гончарова или подготовлены им окончательно для печати («Май месяц в Петербурге»).

Очерк «Иван Савич Поджабрин», открывающий настоящий том, – единственное опубликованное за полной подписью Гончарова ранее произведение писателя. Другие очерки, зарисовки типических картин прошлого, отдельных портретов, мемуары, включенные в этот том, относятся преимущественно к последним годам жизни писателя. Хотя эти произведения и по своему идейному содержанию и по художественным достоинствам уступают романам, в которых талант Гончарова проявился во всей силе и полноте, тем не ме-

нее они представляют немалый познавательный, историко-литературный и биографический интерес.

В приложениях помещены два произведения Гончарова, не опубликованные при его жизни. Из ранних опытов писателя, известных по рукописным альманахам кружка Майковых, публикуется повесть «Счастливая ошибка» (1839), в которой можно видеть предварительный этюд «Обыкновенной истории» из более поздних – набросок рассказа «Поездка по Волге» (1873–1874).

Иван Савич Поджабрин*

Впервые опубликовано в журнале «Современник», № 1 за 1848 г., с датой «1842 г.». Вторично с незначительными поправками напечатано в сборнике «Для легкого чтения» (1856, т. II), по тексту которого и воспроизводится. В собрание сочинений очерк Гончаровым включен не был. Рукопись его не сохранилась.

«Иван Савич Поджабрин» – типичный физиологический очерк, – переходный жанр, распространенный в русской литературе 40-х

годов и свидетельствовавший о ее демократизации. Включение в сферу литературы новых тем и новых героев – разночинцев, мелких чиновников, ремесленников, слуг, обитателей «углов» и т. п. – потребовало детального описания их нравов и условий жизни.

В разоблачении пустоты и пошлости жизни персонажей, подобных Поджабрину, проявляется критическая оценка писателем окружающей действительности.

Образы жуира Поджабрина и его слуги Авдея созданы несомненно под влиянием «Ревизора» Гоголя.

Сентиментально-романтическая фразеология светской повести 20-30-х годов является здесь, как и в ранних повестях (см. «Счастливую ошибку»), как и в «Обыкновенной истории», предметом осмеяния. Гончаров пародийно использует романтические штампы, вкладывая их в уста Поджабрина и Анны Павловны.

Очерк «Иван Савич Поджабрин» был куплен Некрасовым для подготавливавшегося издания обновленного «Современника» на 1847 г., одновременно с романом «Обыкновен-

ная история», еще летом 1846 г. (см. письмо Некрасова Белинскому от сентября 1846 г. Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1952, стр. 53–54). Ко времени его напечатания имя Гончарова было уже известно по такому значительному новаторскому произведению, как «Обыкновенная история»; да и самый жанр физиологического очерка потерял уже свое значение. Повидимому, этим и объясняется то, что публикация «Ивана Савича Поджабрина» почти не встретила откликов.

(1) *Играли из «Роберта»...* – из оперы Мейербера (1791–1864) «Роберт Дьявол» (1831).

(2) *Асенкова в трех пьесах играет...* – Асенкова В. Н. (1817–1841) – актриса Александринского театра, пользовавшаяся громадным успехом.

(3) *Никогда ничего не знает! Я не Суворов, а досадно!..* – Имеется в виду нелюбовь Суворова к «немогузнайкам».

(4) *Зарема и Гирей* – герои поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1822).

(5) «*Энциклопедический лексикон*» Плюша-

ра – издавался во вторую половину 30-х годов; редактором первых томов был Греч.

(6) *«La duchesse du Chateauroux»* – герцогиня Шатору (1717–1744), фаворитка Людовика XV. Ее жизнь послужила материалом для многих романов. В 1806 г. была издана ее переписка с кардиналом Ришелье.

(7) *Купсек* – роскошное издание гравюр (от английского keepsake).

(8) *К моей постели одинокой...* – неточно процитированные строки из второй части поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1820–1821).

(9) *Зайдешь к Беранже иностранные газеты прочитать...* – Беранже – владелец кафе.

Два случая из морской жизни*

Впервые опубликовано в 1858 г., в №№ 2 и 3 журнала для детей и юношества «Подснежник», по тексту которого и печатается. В собрание сочинений рассказ Гончаровым включен не был. Рукопись его не сохранилась.

«Два случая из морской жизни» – единственное произведение Гончарова для детей, написанное по просьбе одного из его старых

друзей, редактора «Подснежника» Вл. Н. Майкова. В письме к Майковым от 9 (21) августа 1860 г. Гончаров сообщает, что он неоднократно принимался за работу для «Подснежника», но «как скоро садишься писать с мыслью, что это для детей: не пишется да и только. Надо забыть это обстоятельство, а как его забудешь? Можно писать для них ненарочно, не думая о том. Например, Тургенев, не стараясь и не подозревая ничего, написал свой „Бежин луг“ и некоторые другие для детей: я тоже нечаянно написал книгу для юношества „Палладу“... Дети не любят, чтобы их считали детьми, и это весьма справедливая мысль, что для детей литература уже готова и что ее надо выбирать из взрослой литературы».

Гончаров использовал для детского журнала морскую тему, так как сам в детстве «зачитывался путешествиями»; он считал, что морские путешествия способствуют расширению кругозора и воспитанию характера.

«Два случая из морской жизни» близки к очеркам кругосветного путешествия «Фрегат „Паллада“». Гончаров также подчеркивает здесь, что наука в США подчинена хищниче-

скому капитализму и именно поэтому американцы не организуют научных изысканий проливов, отделяющих Сахалин от материка. «Другое дело, если бы американцы или англичане заподозрили там золото, каменный уголь, сейчас бы снарядили, во имя науки и человечества, ученую экспедицию, начали бы просвещать дикарей, делать их людьми». По освещаемым в нем событиям рассказ ближе всего к очерку 70-х годов («Через двадцать лет»), завершающему книгу «Фрегат „Паллада“».

(1) ...Кук, Лаперуз, недавно еще Франклин! – Кук (1728–1779) и Лаперуз (1741–1788) – известные мореплаватели, открывшие и исследовавшие множество островов в Тихом океане и погибшие в экспедициях. Английский мореплаватель и полярный исследователь Франклин (1786–1847) погиб вместе со своими товарищами по экспедиции, целью которой было найти северо-западный морской путь.

(2) *Задача эта решена [...] если не ошибаюсь, в 1851 г., русским транспортом «Байкал».* – Во «Фрегате „Паллада“» Гончаров дати-

рует это событие точнее (см. т. 3 наст. изд., стр. 329–330 и 471).

(3) *Посъет* – товарищ Гончарова по плаванию на фрегате «Паллада», капитан-лейтенант К. Н. Посъет (1819–1899), автор специальных военных трудов, удостоенных Демидовской премии, впоследствии почетный член Академии наук и Географического общества. Его «Письма с кругосветного плавания» (1853–1855) дополняют с фактической стороны книгу Гончарова «Фрегат „Паллада“».

Литературный вечер*

Впервые опубликовано в 1880 г. в журнале «Русская речь», № 1. Затем с незначительными исправлениями напечатано в книге «Четыре очерка», 1881 г., и в восьмом томе собраний сочинений Гончарова 1884 г. и 1886 г. Печатается по тексту последнего издания.

Черновая рукопись очерка в октябре 1888 г. была передана Гончаровым по просьбе В. В. Стасова в Публичную библиотеку (ныне Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде).

Рукопись неполная, без конца, вся испещ-

рена поправками и вставками, имеет большое количество разночтений с опубликованным текстом.

Поводом для «Литературного вечера» послужило, в частности, как свидетельствует помета Гончарова на черновой рукописи, чтение председателем комитета министров П. А. Валуевым своего романа «Лорин». Там же другая помета: «Не для печати», позже зачеркнутая.

Первой и второй публикациям очерка было предпослано следующее предисловие «От автора»: «В течение зимы 1876 и весною 1877 года автор присутствовал при неоднократных чтениях романов из великосветского быта, написанных лицами, имена которых не появлялись в печати. Под впечатлением от этих чтений он тогда же набросал предлагаемый ныне очерк и в конце 1877 года прочитал его почти весь, за исключением последних страниц, некоторым наиболее заинтересованным в этих чтениях лицам. Этим чтением очерка в тесном кругу он и хотел ограничиться, не думая издавать его в свет. Но эти лица, а потом и другие, которым прочитаны были многие

страницы очерка, нашли, что последний мог бы быть предложен и публике, так как он относится не к тому или другому из прослушанных произведений и не к тому или другому автору их лично, а к самому роду так называемых великосветских романов, и что вообще индивидуального в нем ничего нет. Вот история происхождения этого очерка.

К этому автор может прибавить, что, приводя в очерке различные отзывы об описываемом там великосветском романе, он, конечно, не выражает ни в одном из них собственного своего критического взгляда на подобные произведения. Он старался заставить, как умел, выражать свои впечатления самих действующих в рассказе лиц, согласно степени их литературного образования, и высказывать взгляды не на одну литературу, но и на другие, ходячие, так сказать, вопросы в современном обществе и в печати, о которых давно говорят и пишут и долго будут говорить и писать.

Само собою разумеется, что фабула романа и вся обстановка чтения его вымышлены. В этой фабуле автор хотел дать приблизитель-

ный очерк общего характера подобных произведений. Если бы, против его ожидания, незаметно для него самого, вкрались туда какие-нибудь легкие намеки, напоминающие что-либо из прослушанных им произведений, он просит у их авторов извинения в неумышленной нескромности».

В «Литературном вечере» Гончаров выступает как писатель-реалист; он дает сатирическую характеристику светского общества. Особенно запоминается почти гротескная фигура почитателя Греча и Булгарина, мракобеса и тупицы Красноперова, затем образы ограниченных, откровенно реакционных генералов, готовых прибегнуть в борьбе с противниками к поддержке полиции, бюрократа Кальянова, который не знает и не хочет знать ни литературы, ни жизни.

«Литературный вечер» занимает особое место в творчестве Гончарова. Значение его не ограничивается тем, что автор дает галерею ярких типических фигур; очерк помогает вместе с тем уяснить и эстетические воззрения писателя.

Вопросы эстетики, так остро дебатировав-

шиеся в предшествующее десятилетие, Гончаров ставил и в своих критических и автокритических работах (все они написаны в период с 1869 по 1879 г., см. т. 8 наст. изд.). Эти основные проблемы (реализма, сознательности и тенденциозности искусства, типичности, борьбы за гоголевскую школу против сторонников теории «чистого искусства», отношения к пушкинскому наследию) освещаются и в «Литературном вечере» в столкновении мнений его героев. Отсюда своеобразная «дискуссионная» форма очерка, нашедшая свое отражение и в эпиграфе: «Лебедь рвется в облака, – рак пятится назад, а щука тянет в воду».

Когда позиции крайних реакционеров Красноперова и Трухина, против которых выступает большая часть участников литературного вечера, оказываются окончательно скомпрометированными, спор разгорается между Чешневым и профессором, с одной стороны, и Кряковым, поддерживаемым в какой-то мере редактором, – с другой.

Споры между сторонниками гоголевской школы и теоретиками «чистого искусства»,

особенно характерные для конца 1850 – начала 1860-х гг., далеко выходили за пределы эстетики и имели глубокий политический смысл: деятели прогрессивного лагеря отстаивали гоголевское направление, критический реализм, так как правдивое изображение крепостнической действительности помогало читателю осознать свое положение в обществе и, как правильно считали революционные демократы, подготавливало его к мысли о необходимости революции.

Сам Гончаров, будучи убежденным последователем гоголевской школы, не делал, однако, столь далеко идущих революционных выводов. И в этом проявлялась ограниченность мировоззрения Гончарова, во многом враждебно относившегося к «новым людям» 60-х годов.

Он ставил своей задачей показать и реакционера Красноперова и «псевдолиберала» (по замыслу автора – революционного демократа) Крякова в их «крайностях». Объективно же очерк свидетельствует о борьбе Гончарова с реакционерами в гораздо большей мере, чем с демократами. Так, образ Красноперо-

ва получился безусловно отрицательным и резко сатирическим, оценка же Крякова двойственна: то в герое подчеркивается нигилистическое отношение к Пушкину, грубость и утрированная развязность, то самобытность ума, находчивость, принципиальность и цельность его позиций; самое существо этих позиций – его социалистические взгляды – не раскрыты писателем, а только декларированы. Гончаров отнюдь не стремился представить Крякова победителем в споре, однако объективно во многом его суждения совпадают с высказываниями Гончарова в его критических статьях (утверждение правды в литературе, борьба против приглашенного, салонного «искусства»), хотя есть и принципиальные различия (например, в отношении к Пушкину, в ином понимании задач гоголевского направления).

В отношении Гончарова к этому герою есть элемент пренебрежения и покровительственной снисходительности, что и вызывало раздражение прогрессивной прессы. Однако читатели могли расценить противостоящего реакционерам Крякова в основном как поло-

жительный образ. И это, очевидно, смущало автора, который объявил неожиданно в конце, что Кряков – актер, хорошо сыгравший порученную ему роль. Интересно, что этих последних страниц очерка не было в первоначальном варианте (см. выше предисловие к первым публикациям). Писатель отказывался объяснять, зачем ему понадобилось такое переодевание: «Что касается до третьего вопроса – о роли актера в „Литературном вечере“, то прошу позволения предоставить разрешение этого вопроса Вашему личному – и прочих моих читателей – усмотрению» (неопубликованное письмо к Рейнгольту от 16 декабря 1880 г., ЦГЛА).

В статьях и письмах Гончарова можно найти резкую оценку представителей демократического лагеря, именуемых им «крякающими» (отсюда, повидимому, и фамилия – Кряков). В «Литературном вечере», однако, оценки писателя-реалиста, выраженные в художественных образах, корректируются объективной правдой жизни. Это видно и в образах противников Крякова. Проповедник «истинного либерализма» Чешнев симпатичен

Гончарову, но он показан критически, как идеолог аристократии, сетующий на «цинизм» и «распущенность» демократических слоев общества. Писатель прямо указывает, что в некоторых моментах Чешнев смыкается с реакционером Красноперовым (см., напр., стр. 175–176). Признание Чешневым великосветского романа художественным произведением противостоит утверждению Гончарова о неполноценности и антиреалистичности подобных произведений (см. статьи Гончарова и письма к Валуеву в т. 8 наст. изд., отдельные места последних дословно повторены в критических замечаниях редактора и Крякова).

Высказывания профессора (о реализме, об основополагающем значении творчества Пушкина, о тенденциозности) часто совпадают с мыслями Гончарова, изложенными в его критических статьях и письмах. В то же время писатель критически подчеркивает эклектизм профессора, пытающегося и признавать заслуги гоголевского направления, и поклоняться чистому искусству, и признавать великосветский роман произведением искус-

ства.

В первоначальной редакции речи профессора были гораздо распространнее. Они подверглись большому сокращению в значительной степени за счет прямых совпадений с критическими статьями Гончарова.

Приведем некоторые примеры.

Точка зрения Гончарова о том, что сатира – «низший род искусства» (и в то же время высокая оценка творчества Щедрина), что задача искусства изображать только установившуюся жизнь (см. статьи об «Обрыве» и «Лучше поздно, чем никогда», т. 8 наст. изд.), совпадает с суждением профессора в первоначальном варианте: «Да, пожалуй, буквально к злобе дня, к раздражительному моменту творчество относится иначе, с другими приемами, нежели как оно относится в эпосе, вершине. Гоголь написал же „Ревизора“ – комедию, в которой, однако, отразил всю застарелую Русь, – другие, например Щедрин, ловят моменты, эти злобы дня – и... широкой кистью чертят сегодня нарождающиеся и завтра разлагающиеся явления, но из этого в капитал искусства, при сильном таланте автора,

поступает навсегда только то, что установилось, застарело, наслоилось в жизни – то есть коренные типы человеческих фигур и типичные черты нравов... и это останется талантливой хроникой, а прочее забудется. Впрочем, творчество есть сила собирательная. Наблюдательность – одна из его стихий, и ею многие хотят заменить и другие его стороны, даже вытеснить фантазию».

В рукописи есть также следующее рассуждение профессора о сущности реалистического отражения действительности в искусстве: «Ведь правды абсолютной нет, а есть правда относительная. Художник наблюдает явление не как оно есть само по себе: этого он сделать не может, а как он его видит, как оно ему представляется, стало быть слитно с самим собой. А видит он его в красках и лучах своей фантазии, то есть как оно в нем отражается – и с этого отражения и пишет. Стало быть, он пишет подобия явлений, а не самое явление – иначе ничего не выйдет. И каждое историческое событие он пишет в том тоне и смысле, как оно сложилось в истории и как привыкли на него смотреть все. Тогда и выйдет реально;

иначе будет выдумка».

Та же мысль о различии между художественной правдой («правдоподобием») и фактами действительности, механически переносимыми натуралистами в искусство, наличествует в статье «Лучше поздно, чем никогда» (см. т. 8 наст. изд.), опубликованной двумя годами позже, чем была написана первая редакция «Литературного вечера». Излагая в статье эту «азбуку искусства», Гончаров дает уже иные, более четкие формулировки, затем говорит о силе и могуществе природы, к которой можно «приблизиться только путем творческой фантазии», то есть стоит в основном на материалистических позициях.

Наконец в черновой рукописи имеется высказывание профессора, направленное против писателей «обличительного» направления. Новейшие критики, говорит профессор, «опять зашли к полезности с другой стороны и вздумали изображать нам разные общественные недуги, страдания, бедность и злоупотребления богатых и сильных, потом проводить политические, социальные и другие особенные взгляды и стремления, и все такие

писатели распались на специальности. – Эти уже ушли совсем от первоначального определения романа и стараются насильственно подвести свои задачи под художественные формы, как в магазине готовых платьев натягивают фраки и сюртуки на покупателя.

– Bravo! bravo! – раздалось со всех сторон. – Bien dit[182].

– Этот род введен и распространен самолюбивыми и задорными посредственностями, – говорил профессор, – которые усвоили некоторые условные, легко дающиеся формы художественности, некоторые внешние приемы искусства и решили, что нет и не должно быть искусства для искусства... ибо – говорят они – искусство непременно должно служить известной полезной цели, даже каждой злобе дня, дать какой-нибудь урок обществу, обличить зло и т. д., забывая – лукаво или неумышленно, бог их ведает, – что у непосредственных талантов – художников так оно и бывает: выходит само собою непременно *верный* образ, картина, тип, портрет и притом *sine ira, conditio sine qua non*[183] – и эта картина, образ, тип говорят и учат сильнее и

красноречивее всякой брани, желчи, злости этих обличений. Учат художники, рисуя не один темный какой-нибудь угол, чердак, больницу, нищего, вора, проститутку, а все вместе с другими сторонами жизни – одним только теплым, жизненным, колоритным – и главное, верным изображением! Никогда они сами не подозревают – как это у них выходит: так что прозорливому критику, каков был, например, Белинский, приходится указывать в их образах те уроки и истины, о которых такие объективные писатели, как Гоголь, не всегда сами догадывались. А тенденциозные романисты с своим *искусством для искусства* пишут фигуры, под которыми надо подписывать *сие есть лев, а не собака*, – и потом говорят, что ими, изволите видеть, водили любовь к ближнему, больше всего к народу, к угнетенному, к общественным язвам и т. д. Но это неправда; ни в одном штрихе, ни в одном звуке и слове их мнимого искусства – нет ни одной искры божественного огня – потому что нет этой любви – и потому нет и творчества. Оттого их произведения бледны, и скучны.

– Bravo! bravo! comme il parle bien![184] Совершенная правда! – раздалось со всех сторон.

– И какая неурядица, какое смешение родов и видов в искусстве! – продолжал профессор. – Эпос мешают с сатирой и от художественного воспроизведения жизни требуют горячки, злобы, минутного раздражения, тогда как повествование, эпос, роман могут изображать только уже установившуюся жизнь и наслоившихся людей, то есть типы, а не брожение, не злобу дня, не быстро слагающиеся и завтра разлагающиеся черты, явления, мимотекущее движение. <Вот отчего эти тенденциозные писатели злоупотребляют характером романа и втискивают в рамы романа то, что годится в сатиру или в памфлет – раздражение и разрушение! Они гонят искусство как поденщика на работу, и горе автору, который захочет отвести душу себе и читателю покойным или, выражаясь технически, объективным созерцанием и изображением жизни, а не злым холостым обличением, ненавистью, презрением!..> Понятно, что такой созерцательной и покойной силою, как

художественное творчество, тут делать нечего. Она не может ловить сегодняшние явления, которые завтра разлетаются. Ни кисть, ни резец не увековечивают призраков, а эти оба орудия, или живопись и скульптура, занимают главное место и в искусстве слова!

– Какую вы дичь порете! Зачем? – вдруг неожиданно спросил Кряков».

Последняя реплика Крякова вошла в окончательный текст (см. стр. 153), тирада же профессора подверглась сильным сокращениям и смягчениям в отношении к сторонникам гоголевской школы и оказалась очень близкой к высказываниям самого Гончарова.

Наряду с утверждением созерцательности искусства в этом рассуждении профессора есть и мысли, характерные для Гончарова, например о том, что искусство должно изображать только устоявшиеся типы и явления или что прозорливый критик разъясняет смысл произведения самому художнику, его создавшему.

В «Литературном вечере» ставится на обсуждение вопрос о том, может ли быть художественным произведение, пропагандирую-

щее революционную идеологию. И хотя в черновой рукописи так же, как и в окончательном тексте, дается отрицательный ответ на этот вопрос, но имеющиеся между ними различия представляют большой интерес. В печатной редакции в качестве примера взят роман Эркмана-Шатриана из эпохи, французской буржуазной революции 1789 г. «История одного крестьянина». Этот роман сыграл известную роль и в общественной жизни и в развитии революционных настроений в России. Но значение его для русского общества не следует преувеличивать. В черновой рукописи вместо романа Эркмана-Шатриана неоднократно упоминается другое произведение, действительно оказавшее громадное влияние на революционное движение, а также определившее направление и дальнейшее развитие литературы, – «Что делать?» Чернышевского.

«Что делать?» – роман глубоко новаторский и по содержанию и по форме, в то время как произведение Эркмана-Шатриана, освещающее новую тему и новых героев, по форме не является новаторским. Потому и спор о

том, является ли художественным «тенденциозное» произведение, Гончаров первоначально строил на обсуждении романа Чернышевского.

В печати Гончаров никогда не высказывался об этом романе. Однако известна оценка «Что делать?», данная им в цензорском отзыве на журнал «Современник» за 1863 г. «...Появление такого романа, как „Что делать?“ Чернышевского, – писал там Гончаров, – нанесло сильный удар, даже в глазах его почитателей, не только самому автору, но и „Современнику“, где он был одно время главным распорядителем, обнаружив нелепость его тенденций и шаткость начал, на которых он строил и свои ученые теории, и призрачное здание какого-то нового порядка в условиях и способах общественной жизни. Общественное мнение и литература с тех пор недоверчиво и с пренебрежением относятся к авторитету этого писателя: то же самое, конечно, ожидает и других деятелей, если они не откажутся от крайностей обличительного и отрицательного направлений» («Звезда», 1926, № 5, стр. 192).

Почти двумя годами позже, в декабре 1865 г., в цензурном отзыве на статью Писарева, посвященную «Что делать?», Гончаров вообще уклонился от оценки романа.

Подготавливая «Литературный вечер» к печати, Гончаров независимо от своего желания должен был снять все упоминания о романе Чернышевского, так как в 1880 г. их все равно не пропустила бы цензура.

Черновая рукопись «Литературного вечера» дает основание утверждать, что мнение о «Что делать?», высказанное в цензурном отзыве 1864 г. и тогда в какой-то мере вынужденное, в полной мере не совпадало с оценкой этого романа Гончаровым в конце 70-х годов. Совершенно изменился и тон, резкость которого в отзыве обуславливалась прежде всего целенаправленностью этого документа. В «Литературном вечере» не только нет «пренебрежения» к авторитету Чернышевского, как в цензурном отзыве, в нем чувствуется уважение к автору и его роману, хотя последний и не признается произведением искусства:

«— ...Здесь назвали „Что делать?“ — книгу,

которая всего менее подходит под ваше определение романа...

Он обратился к Крякову.

– Пожалуй, не роман, но это великое произведение ума!.. – глухо сказал Кряков.

– Пусть великое произведение, но не искусства же! – заметил профессор.

– Пора бы эти школьные перегородки уничтожить! – говорил Кряков.

– Вы сейчас, – продолжал профессор, – на вопрос Дмитрия Ивановича „что такое роман“ сказали, что роман должен быть художественным произведением, или его вовсе не должно быть...

– Знаю, знаю: что вы мне тычете моими словами в глаза! – перебил Кряков, боясь, что его уличат опять романом „Что делать?“.

Дальнейший текст рукописи совпадает с печатным (стр. 149), в приведенном же отрывке вместо романа «Что делать?» в первом случае названа «История одного крестьянина», второе упоминание вообще снято. В рукописи, когда Кряков не соглашается признать обсуждаемое сочинение Бебикова романом, студент действительно «уличает» его рома-

ном Чернышевского: «А помнишь, как ты восхищался романом „Что делать?“ – а ведь он... – вдруг сказал студент и не кончил. Реплика произвела эффект. <Кто с удовольствием, кто с иронией смотрел на Крякова>».

Там, где речь идет о том, согласится ли редактор опубликовать в своем журнале прослушанный роман (стр. 160), Кряков обещает в случае напечатания выступить с резкой критикой:

«– Да я отделаю его! что же: разве можно спускать!

– Но ведь такой критики, как ваша, не выдержит ни одно произведение и ни в какой литературе, – сказал Чешнев. – Вы вон хвалите роман „Что делать?“: но разве он подлежит критике как роман?

– Оставьте в покое эту книгу: она – протест, противоположный протесту вашего автора! Там затронуты великие идеи нового будущего порядка вещей: перед этим все должно склониться. Роман здесь ничего не значит.

– Qu'est ce que c'est que ce livre: tu a lu?[185] – спросил Сухов Уранова.

Тот покачал отрицательно головой.

– C'est une horreur[186], – сказал один из гостей, – за нее сослали автора в Сибирь, и, кажется, прежде высекли. Он потом бежал в Америку на купеческом судне, а оттуда в Англию – хотел поднять Польшу, даже пробовал вовлечь Швецию.

Все с изумлением слушали этот рассказ.

– Вот это бы и описать: вот и был бы роман!

– Вот Одиссея-то, – заметил один господин.

Студент расхохотался.

– Это вы смешали Бакунина с Чернышевским, – сказал он, и даже Крякову стало смешно.

– Какой осел этот господин! – сказал он тихо студенту.

– А вы читали эту книгу, этот horreur? – <дерзко> спросил <Кряков> он.

– Боже сохрани, – мне говорили, что она прескучная: какие-то социальные идеи.

– У меня есть – я вам принесу... хотите? – сказал студент Уранову.

– Не смей! – шепнул ему Кряков, – или я знать тебя не хочу.

– Бог с тобой! – заявил тот, – а ты где взял?

Смотри, я тебя тоже высеку, – сказал Уранов со страхом.

– Я упомянул об этой заповедной книге, – начал опять Чешнев, – (которую, впрочем, признаюсь, не мог одолеть) только потому, что у автора достало смелости выдать этот памфлет за роман – и младшая незрелая часть публики приняла ее не за художественное изображение жизни, конечно, которое вы поставили условием романа, а за другое. Почему же вы не хотите позволить другому назвать романом произведение с сильными затками таланта, увлекающее читателя и изображающее целый круг жизни с картинами нравов, страстей, своеобразного движения».

Фантастическая биография автора «Что делать?», приводимая здесь, действительно является смешением событий жизни Чернышевского и Бакунина. Великий революционер-демократ Н. Г. Чернышевский был арестован летом 1862 г., за полгода до начала работы над романом. Утверждение, что Чернышевского «прежде высекли», может быть, является своеобразным преломлением факта

гражданской казни, которая состоялась 31 мая 1863 г. перед отправкой его в Сибирь.

Побег из Сибири через Японию и Америку был совершен в 1861 г. революционером-анархистом М. А. Бакуниным. Бакунин действительно принимал деятельное участие в ряде европейских восстаний: пражском восстании 1848 г., дрезденском 1849 г., затем, после бегства из Сибири, – польском восстании 1863 г., испанском 1873 г. и итальянском 1874 г.

Вынужденно признав громадный успех «Что делать?», Чешнев отказывается видеть в нем художественное воспроизведение жизни. Он объясняет любовь и уважение к этому роману революционной молодежи, или, как он ее называет, «незрелой части публики» – «другим», то есть революционной направленностью романа. Для Крякова же содержание «Что делать?» так значительно, что поглощает собой все другие стороны, в том числе и вопрос о жанровом определении. Сам же Гончаров, убедительно показавший, что великосветский роман нет оснований считать произведением искусства, не ответил прямо на

тот же вопрос в отношении «Что делать?». Однако известно, что отдельные моменты эстетики Чернышевского, – наличие тенденции, утверждаемой не только художественными образами, но и публицистическими рассуждениями, своеобразная новаторская форма романа Чернышевского, его публицистичность, образы «новых людей» – прямо противостояли эстетическим воззрениям Гончарова. То обстоятельство, что даже Кряков соглашается с теми, кто не считает роман Чернышевского отвечающим традиционному определению этого жанра, также подтверждает, что Гончаров и в конце 70-х годов, как и в 1872 г. (письмо к Писемскому от 4 декабря 1872 г.), не считал «Что делать?» художественным произведением.

Однако общая оценка романа автором ничего общего не имеет с мнениями аристократических гостей Уранова, сильно отличается от его собственного цензурного отзыва и резко запальчивой характеристики «Что делать?» в названном выше письме к Писемскому. Не сочувствуя революционной направленности романа, ставшего программой жиз-

ни и деятельности передовой молодежи, не веря в плодотворность его влияния, Гончаров все же не мог не ощущать силу и значение «Что делать?» для русской жизни и для литературы. В том, как благоговейно говорит о романе Кряков, не чувствуется и намек на иронию автора. Даже Чешнев не отрицает значения «Что делать?», хотя и видит в романе не художественное произведение, а только «памфлет». Великосветская же публика, рассуждающая о произведении ей недоступном и враждебном, нарисована сатирически, ее невежество и ограниченность разоблачаются Гончаровым.

«Литературный вечер» был опубликован в годы революционной ситуации. Однако в нем не был поставлен ни один из назревших вопросов общественной жизни, и это вызвало разочарование прогрессивной печати, проявившееся даже в названиях статей: «Эпидемия легкомыслия» («Русское богатство», 1880, № 2) или «Литературная панихида» («Живописное обозрение», 1881, № 17).

Большая часть современной Гончарову демократической критики обвиняла его в тен-

денциозности, памфлетности в изображении новых людей. Только Н. К. Михайловский, расходясь с другими критиками прогрессивного лагеря, не увидел в образе Крякова пасквиля: «Посмеиваясь над беспорядочностью и непорядочностью Крякова, г. Гончаров не делает из него пугала в нравственном и умственном отношении. Напротив, по задаче автора, это человек неглупый, искренний и честный». Михайловский отмечал также «иронию, а иногда даже очень нелегкую иронию» Гончарова по отношению «к крайней правой своего парламента» («Отечественные записки», 1880, № 1).

Позиция Михайловского несравненно обоснованнее, чем Скабичевского, утверждавшего, что нигилист изображен Гончаровым в «стереотипно безобразных красках» («Русское богатство», 1880, № 2). Рецензия реакционного «Русского вестника» (1880, № 1) не выходила в основном за пределы благожелательной информации.

Значение «Литературного вечера» в борьбе за реалистическое искусство против реакционной эстетики, место этого произведения в

творчестве Гончарова – все это не было раскрыто современной Гончарову критикой.

(1) ...он был когда-то приятелем Греча и Булгарина... – Греч Н. И. (1787–1867) и Булгарин Ф. В. (1789–1859) – реакционные, продажные журналисты, издатели полуофициозной газеты «Северная пчела», боровшиеся с передовой русской литературой, не брезгуя доносами в III отделение. Их имена, особенно имя Булгарина, вызывали глубокое презрение в прогрессивном обществе и стали нарицательными.

(2) Тугоуховский – персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума».

(3) ...как шекспировский Яго... – герой трагедии Шекспира «Отелло».

(4) ...Здравомыслу всего этого круга... – Обязательный персонаж классицистических произведений, резонер, оценивающий происходящие события с позиций автора, в русской литературе XVIII века часто именовался Здравомыслом.

(5) Факультет камеральных наук – точнее, камеральный разряд юридического факультета.

та, готовивший чиновников хозяйственной и административной службы, был открыт в Петербургском университете в 1843/44 г. и с 1860 г. заменен разрядом административным.

(6) *...имена [...] Загоскина и Лажечникова...* – Загоскин М. Н. (1789–1852) – романист и драматург. Его первые исторические романы – «Юрий Милославский, или Русские в 1612 г.» (1829) и «Рославлев, или Русские в 1812 г.» (1831) – пользовались успехом, так как отвечали назревшей потребности в изучении национального прошлого, хотя Загоскин понимал народность, как отмечал уже Белинский, в духе квасного патриотизма. *Лажечников* И. И. (1792–1869) – автор исторических романов, пользовавшихся в свое время большой популярностью (особенно «Ледяной дом», 1835). Белинский отмечал прогрессивность Лажечникова по сравнению с Загоскиным.

(7) *Офицеры и статский ускользнули к Борелю...* – Борель – владелец модного ресторана в Петербурге.

(8) *Вы, я думаю, родились при «старом и новом слоге»?* – Имеется в виду «Рассуждение

о старом и новом слоге русского языка» (1803), в котором А. С. Шишков отстаивал реакционно-реставраторские идеи, требовал возвращения к старославянскому языку, оторванному от живой речи. Филологические требования Шишкова диктовались его охранительными, реакционными позициями. Процесс сближения книжного языка с разговорной речью начался в конце XVIII века. Значительной вехой на этом пути явилась деятельность Н. М. Карамзина (1766–1826). Однако только Пушкин, использовавший в своем творчестве народный язык, завершил этот процесс и по праву считается создателем нового русского литературного языка.

(9) *...сочинители ушли из-под ферулы...* – здесь: из-под бдительного надзора (ferula – полатыни розга).

(10) *Сикофант* (греч.) – в древних Афинах профессиональный доносчик и шпион.

(11) *...веруете по Ренану: спаситель-де принес в мир прекрасное учение, а сам был хороший человек, а не бог!..* – Эрнест Ренан (1823–1892) – буржуазный историк религии и философ. Книга Ренана «Жизнь Иисуса Хри-

ста» (1863) пользовалась широкой известностью. Церковники жестоко преследовали автора за то, что он рисует Христа человеком, а не богом.

(12) *Бенвенуто Челлини* (1500–1571) – знаменитый итальянский ювелир, чеканщик и скульптор.

(13) *...роман французских писателей Эркмана – Шатриана «История одного крестьянина»*... – Роман «История одного крестьянина» (1860–1870) эльзасских демократических писателей Эркмана Эмиля (1822–1899) и Шатриана Александра (1826–1890) получил наибольшую известность. Тема его – французская буржуазная революция 1789 г. и роль в ней третьего сословия. Роман этот был популярен и среди русских революционеров 70-х годов. В 1865 г. в «Русском слове» был напечатан перевод другого романа Эркмана – Шатриана «Воспоминания пролетария». В письме к Тургеневу от 27 февраля (10 марта) 1866 г., сообщая о приостановке издания «Русского слова» и перечисляя «недопустимые» в цензурном отношении произведения, опубликованные в журнале, Гончаров упоминает и роман Эрк-

мана – Шатриана, «где героев революции ставят выше римлян» («Гончаров и Тургенев», II, 1923, стр. 44–45). Цензурный отзыв Гончарова об этом романе см. в «Голосе минувшего» (1916, № 11, стр. 143).

(14) *...прежде бывали хорошие романы [...] «Кощей бессмертный», «Выжигин» тоже [...] Был еще, помню, английский роман «Мельмот Скиталец».* – Перечисленные фантастические, приключенческие, исторические и нравоописательные романы, вышедшие в 30-х годах, при всех их различиях относятся к антиреалистической беллетристике, потому-то и заслуживают похвалу литературного старовера Красноперова. Автор «Кощей бессмертного» – Вельтман, «Ивана Выжигина» – Булгарин, «Мельмота Скитальца» – Матюрен.

(15) *Да, Телемака написал, этот новый Фенелон...* – Политико-нравоучительный роман французского писателя Фенелона (1651–1715) «Приключения Телемака, сына Улисса» имел широкую известность.

(16) *...«поэзии живой и ясной»...* – см. посвящение «Евгения Онегина»; «...сладких звуков и молитв...» – см. стихотворение Пушкина «По-

эт и толпа» (1828).

(17) *Что ж, Ламартин нужен, что ли?..* – Спор идет здесь о целях и задачах искусства. Кряков видит их в служении народу, в освещении насущных вопросов жизни. Он противопоставляет французского консервативного романтика Альфонса Ламартина (1790–1869), пессимистическая поэзия которого далека от народа, знаменитому французскому поэту и писателю, прогрессивному романтику, создателю гражданской поэзии Виктору Гюго (1802–1885) и Генриху Гейне (1797–1856), замечательному немецкому поэту, сатирику, автору революционной политической лирики в канун революции 1848 г.

(18) *Полноте кадить этому певцу барства, «праздной скуки» и «неги томной»!* – Нигилистическое отношение Крякова к Пушкину, опирающееся на писаревскую оценку «Евгения Онегина» как «апофеозы» крепостничества, отнесено здесь ко всему революционно-демократическому лагерю. На самом деле Чернышевский и Добролюбов подчеркивали основополагающее значение пушкинской поэзии, но, поставив основной целью борьбу за

гоголевскую школу, в своих публицистических выступлениях меньше внимания уделяли борьбе за Пушкина с сторонниками теории «искусства для искусства», присвоившими этой пресловутой «теории» название «пушкинского» направления.

(19) ...*девиз Данте – «оставь всякую надежду на поэзию...»* – ср. 9-ю строку из третьей песни «Ада» в «Божественной комедии» Данте (1265–1321).

(20) ...*шансонетки из «Елены прекрасной» или «Duchesse de Gérolstein»...* – «Елена Прекрасная» (1864) и «Герцогиня Герольштейнская» (1867) – оперетты французского композитора Оффенбаха (1819–1880).

(21) *Калам* (1810–1864) – швейцарский художник-пейзажист. *Клод-Лоррен* (1600–1682) – знаменитый французский художник.

(22) ...*заботится, чтоб не попало в его салоны «фламандского сора»...* – Картины народной жизни, полные грубоватого реализма и юмора (быт, жанровые сцены, портрет, натюрморт), характерны для художников, принадлежавших к фламандской школе (XVII в.). Выражение «фламандский сор» взято из «От-

рывков из путешествия Онегина»:

*...прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор.*

(23) *Я разумею под ненужным всякий излишек сверх необходимого.* – Очевидно, имеются в виду рассуждения сторонников «чистого искусства», которые утверждали, что подлинная поэзия начинается отходом от «сферы необходимого» в «царство избытка и творческого произвола».

(24) *...какая-нибудь дева на скале [...] в одежде белой над волнами...* – см. стихотворение Пушкина «Буря» (1825).

(25) *...Перед вами уже не графы, князя [...] из несокрушимой меди вылитая статуя – Россия!* – Это славянофильское рассуждение Чешнева глубоко реакционно: отрицание классовых противоречий прикрывается здесь ложнопатриотической фразой.

(26) *...псевдолиберализм [...] избрал своим девизом разрушение гражданственности, цивилизации, он не останавливается ни перед какими средствами – даже пожарами, убийствами...* – Псевдолибералами Чешнев име-

нует революционную демократию и намекает на известные петербургские пожары в мае 1862 г., в которых не только реакционеры и консерваторы, но и либералы обвиняли революционно-настроенную молодежь. В 1901 г. В. И. Ленин в статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» писал, что «...есть очень веское основание думать, что слухи о студентах-поджигателях распускала полиция» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 27); по разысканиям советских исследователей, сами пожары возникли в результате провокационных полицейских поджогов.

(27) *...он мчится [...] к той бездне [...] от которой, умирая, отвернулся и Герцен...* – Такая фальсификация революционных воззрений Герцена, в котором «при всех колебаниях... между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал... верх» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12), типична. В. И. Ленин указывает, что учение великих революционеров, встречавшееся при их жизни «самым бесшабашным походом лжи и клеветы» угнетающих классов, фальсифицируется после их смерти, «делаются попытки превратить их в

безвредные иконы... выхолащивая *содержание* революционного учения...» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 25, стр. 357). Ряд примеров такой «борьбы за Герцена» реакционеров, славянофилов и народников приведены в книге В. А. Путинцева «Герцен-писатель», 1952, стр. 224–227 и др.

(28) *Панургово стадо* – олицетворение бессмысленной, безотчетной стадности. Панург – персонаж из сатирического романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

(29) *Читал прилежно Апулея...* – ср. первую строфу восьмой главы «Евгения Онегина».

(30) *Ужели в зрелом обществе только в этом вся жизнь и все дело и состоит...* – Это рассуждение Крякова напоминает высказывание «одного талантливой писателя» (Щедрина), приведенное Гончаровым в письме к Валуеву от 6 июня 1877 г.: «Все половые отношения да половые отношения [...] далась им эта любовь. Потчуют ею во всех соусах: ужели в созревшем обществе жизнь только в этом и состоит и нет другого движения, других интересов и страстей». О том же Щедрин писал Анненкову 9 марта 1875 г.

(31) ...дан будет, в пользу герцеговинцев, спектакль... – Речь идет о национально-освободительном движении Герцеговины (1875) против турецкого владычества. К восставшим присоединились другие славянские страны Балканского полуострова. Освободительная война славян вызывала сочувствие различных кругов русского общества: народники считали, что следствием ее явится социальная революция; либералы – что ускорится объявление конституции; реакционеры надеялись, что отдалится русская революция. Повсеместно шел сбор пожертвований и запись добровольцев.

В университете*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», № 4; за 1887 г., под названием «Из университетских воспоминаний». Затем вошло в девятый, дополнительный, том собрания сочинений Гончарова, изданный в 1889 г., по тексту которого и печатается. Полная черновая рукопись хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Время создания воспоминаний точно неизвестно. В письме к М. М. Стасюлевичу от 27 февраля 1887 г. Гончаров указывает, что воспоминания написаны «лет пятнадцать тому назад», и добавляет, имея в виду примечание к подзаголовку: «А вчера мы даже и год выставили, 1870, кажется?» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», 1912, т. IV, стр. 181). В другом примечании, сделанном также в 80-е годы и не вошедшим в окончательный текст (см. ниже), рукопись датируется 60-ми годами.

Содержание воспоминаний свидетельствует, что они писались в течение 60-х годов. 1861–1863 гг. – время усиленного обсуждения подготавливавшегося нового университетского устава, утвержденного в июне 1863 г. Уже первые строки воспоминаний – «В настоящее время, наряду с важнейшими вопросами русской жизни, стал на очередь университетский вопрос...» – прямо вводят читателя в атмосферу начала 60-х годов. И дальше на первой же странице черновой рукописи, в тексте, не вошедшем в окончательную редакцию, было: «Не мудрено, что все охвачено

злобою дня. В правительственных сферах, как слышно, деятельно готовятся преобразования». «Равнодушных нет. Все рассуждают, спорят, горячатся: <старые> одни отстаивают старый порядок управления университетами и порицают увлечения молодежи. Умеренные советуют ввести некоторые изменения, молодость запальчиво рвется вперед и хочет завоевать полную свободу». Нарисованная Гончаровым картина характерна именно для начала 60-х годов, так как позднее «старые» не отстаивали «старый порядок» – устав 1863 г., а хотели ограничить независимость университета, сделать из него покорное орудие полицейского государства.

Работа над воспоминаниями, очевидно, продолжалась и во второй половине 60-х годов. Возражение Гончарова против «принудительного изучения» древних языков «в ущерб другим знаниям» (стр. 201) связано с усиленным насаждением «классического» образования, узаконенным соответствующей реформой в 1871 г. К тому месту воспоминаний, где Гончаров пишет, что вопрос этот «если не решился, то решается уже в желательном для

большинства смысле» и потому «ломать копья против подавляющего натиска классицизма не приходится», в журнальной публикации было редакционное примечание, относящее написание этого текста к времени до 70-х годов: «Из этого видно, что автор писал до 1871 г. И упоминаемое им „большинство“ может относиться только к общественному мнению того времени».

В решении Гончарова опубликовать воспоминания сыграл немалую роль успех мемуарных «Заметок о личности Белинского», впервые напечатанных в 1881 г. (см. т. 8 наст. изд.).

В университетских воспоминания Гончаров обращается к раннему периоду своей жизни – к самому началу 30-х годов. Студентами Московского университета тогда были Белинский, Герцен, Огарев, Лермонтов, К. Аксаков, Станкевич.

Самодержавие, напуганное польской революцией 1830–1831 гг., крестьянскими восстаниями и холерными бунтами, видело угрозу и в оппозиционных настроениях студенчества. Для Николая I, еще со времени лежа-

евской истории (1826), университет был рассадником свободомыслия. Запрещение в январе 1831 г. антикрепостнической драмы Белинского «Дмитрий Калинин», следствия по делу студенческого кружка Сунгурова, студентов-поляков Шанявского и Петрашкевича, начатые летом 1831 г., – все это свидетельствовало о политической «неблагонадежности» студентов Московского университета.

Царское правительство все усиливало политический контроль за студентами. С этой именно целью в ноябре 1831 г. был назначен помощником попечителя Д. П. Голохвастов (1796–1849). Карцер, исключение, солдатчина стали во времена Голохвастова распространённой мерой наказаний студентов. Герцен в «былом и думам» называет Голохвастова «верным слугой Николая».

Осенью 1832 г. перед инспекционной поездкой в Москву товарища министра народного просвещения С. С. Уварова, который должен был по указанию царя «обратить особое внимание на Московский университет», Голохвастов поспешил «освободить» университет от «неблагонадежных элементов». За год с

небольшим (с 17 августа 1832 по 1 ноября 1833 г.) было исключено пятьдесят три студента, в том числе и Белинский, не считая тех, которым предложено было подать прошения об увольнении.

Герцен в «Былом и думах» запечатлел прежде всего «гражданскую нравственность» студентов; в воспоминаниях Гончарова, стоявшего в стороне от политической жизни студенчества, эта сторона жизни Московского университета нашла недостаточное отражение.

Гончаров рисовал студенчество далеким от общественных интересов: «Все было патриархально и просто: ходили в университет, как к источнику за водой, запасались знанием, кто как мог – и, кончив свои годы, расходились» (стр. 223). Беглое замечание Гончарова, что свободе науки все же ставились некоторые преграды из «страха, чтобы она не окрасилась в другую, то есть политическую краску» (стр. 196), показывает, что такой идиллической безмятежности и спокойствия в университетской атмосфере, такого «вечно ясного неба, без туч, без гроз и без внутрен-

ний потрясений» (стр.203) в действительности не было. Это подтверждается далее и рассказом о деятельности Голохвастова, «подтягивавшего» университет.

Воспоминания эти не могли иметь такого широкого отклика среди читателей, как романы Гончарова, интерес их преимущественно биографический.

Именно в биографическом плане представляет интерес и место из черновой рукописи, не вошедшее в окончательный текст, в котором Гончаров несравненно подробнее, чем в своих автобиографиях 1858, 1867 и 1847 гг. (см. т. 8 наст. изд.), рассказывает о том, каков был круг его юношеского чтения:

«Потеряв из вида своих товарищей, словесников, я не переставал учиться, то есть читать, переводить, но более всего читать – и свою, и иностранные литературы. Я читал просто по страсти к чтению, не готовясь к какому-нибудь авторскому занятию, потому что не предвидел в себе писателя и не подозревал, как многочтение послужит для моего призвания.

Любовь к чтению родилась во мне в дет-

стве, восьми-девяти лет от рода я перечитал всю маленькую, отчасти разрозненную библиотеку в деревне, где я начал учиться. За мной никто не следил, что я делаю в свободное от уроков время, а я любил забиваться в угол и читал все, что попадалось под руку.

В книжном шкафе был и Державин, и Жуковский, и Тасс в тяжелом переводе Москотильникова, и старые романы, между ними, например, Стерна и „Ключ к таинствам природы“, и богословские сочинения (это было у священника), и – к счастью – путешествия в Африку, в Сибирь и другие. Многого, например, из романов и „Ключа к таинствам природы“ я, конечно, не понимал. В школе я тоже перечитал всю классную библиотеку, продолжал чтение в университете и читаю до сих пор[187].

Увлекаясь просто жаждою к чтению, я, конечно, не подозревал, как много оно послужит для моего будущего призвания».

Текст этот, за исключением первого абзаца, зачеркнут уже в рукописи.

Значительный интерес представляет также рассказ о посещении университета

Пушкиным 27 сентября 1832 г. Здесь с большой силой проявляется глубочайшая любовь Гончарова к великому поэту. О своем увлечении поэзией Пушкина Гончаров пишет также в автобиографии 1858 г., в статьях и письмах (см. т. 8 наст. изд.). В дополнение к этому приведем воспоминания писателя о Пушкине, которыми он поделился в 1880 г. с А. Ф. Кони:

«Пушкина я увидал впервые в Москве, в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством. Через несколько лет, живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его матовое, суженное внизу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос, врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно его изобразил Кипренский на известном портрете. Пушкин был в это время для молодежи все: все ее упования, сокровенные чувства, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений, – все сводилось к нему, все исходило от него... Я пом-

ню известие о его кончине. Я был маленьким чиновником-„переводчиком“ при министерстве внутренних дел[188]. Работы было немного, и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но над всем господствовал он. И в моей скромной чиновничьей комнате, на полочке, на первом месте, стояли его сочинения, где все было изучено, где всякая строчка была прочувствована, продумана... И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собою, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал... Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины. Нет, это неверно – о смерти матери. Да! Матери... Через три дня появился портрет Пушкина с надписью: „Погас огонь

на алтаре“, но цензура и полиция поспешили его запретить и уничтожить» (А. Ф. Кони, Иван Александрович Гончаров. Речь в заседании Академии наук 15 апреля 1912 г. «На жизненном пути», 1913, т. II, стр. 491–492).

(1) ...на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток... – ср. слова Фамусова в 3 явлении II действия комедии А. С. Грибоедова. «Горе от ума».

(2) ...на лекции налагалось иногда veto, как, например, на лекции Давыдова. – В 1826 г. Давыдов прочитал лишь вступительную лекцию по курсу философии. Правительство, напуганное событиями 14 декабря, распорядилось в 1826 г. вообще о закрытии кафедры философии.

(3) Корнелий Непот – римский историк (I до н. э.).

(4) ...умное было начальство – спасибо ему. Тогда министром был С. С. Уваров... – Это сугубо односторонняя характеристика Уварова не дает правильного представления об идеологе официальной народности реакционере Уварове, оказывавшем науку и насаждав-

шем не просвещение, а политическую «благонадежность».

(5) *Это своего рода «наслаждение» [...] нередко встречается в людях, начиная с гоголевского Петрушки... – См. вторую главу I тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.*

(6) *Лермонтов [...] С первого курса [...] вышел и уехал в Петербург. – Уход Лермонтова из Московского университета в июне 1832 г. был вынужденным. В «Списке студентов словесного отделения Московского университета за 1832 г.» против его фамилии стоит помета: «Уволен. – Consilium abeundi» (предложено уйти, что являлось более благовидной формой исключения (см. «Литературное наследство», № 56, стр. 420).*

(7) *Станкевич Н. В. (1813–1840) – просветитель-утопист, глава философского студенческого кружка, членом которого был студент университета Белинский. Станкевич не оставил трудов, однако его влияние на современников было очень велико.*

(8) *Аксаков К. С. (1817–1860) – славянофил, поэт, публицист и критик, автор «Воспоминаний студентства 1832–1835 гг.».*

(9) *Строев С. М.* (1814–1840) – историк, ученик Каченовского, автор работы «О недостоверности русской древней истории и ложности мнения касательно древности русских летописей».

(10) *Бодянский О. М.* (1808–1877) – славист, близкий славянофильскому направлению. С 1842 по 1863 г. занимал в Московском университете кафедру истории и литературы славянских народов.

(11) *Если же и бывали какие-нибудь истории [...] то мы тогда ничего об этом не знали.*

– Гончаров имеет в виду арест в июне 1831 г. участников кружка Сунгурова, из которых 12 человек были приговорены военным судом к смертной казни, замененной затем каторгой и солдатчиной, начатое тогда же дело о Шанявском, обвинявшемся в желании бежать в Польшу «для присоединения к мятежникам», исключение в сентябре 1832 г. Белинского, следствие по делу Фадея Заблоцкого (позднее видного польского поэта) и его товарищей, начатое в июне 1833 г. и закончившееся четыре года спустя приговором к каторжным работам, замененным «главным государственным

преступникам» солдатчиной, и т. п.

(12) *Двигубский* И. А. (1771–1839) – профессор естественной истории, доктор медицины. В Московском университете читал технологию, физику и ботанику. С 1826 по 1833 г. был ректором.

(13) ...*С. М. Голицын* – попечитель Московского учебного округа, мало занимавшийся делами университета. Голицын председательствовал в следственной комиссии по делу Герцена и его товарищей (см. II часть «Былого и дум»).

(14) ...*А. Н. Панин* (1791–1850) – был назначен в 1830 г. чиновником особых поручений при князе С. М. Голицыне. По свидетельству современников, он был очень деспотичен и груб со студентами (Вистенгоф, Из моих воспоминаний, «Исторический вестник». 1884, май).

(15) *Каченовский* М. Т. (1755–1842) – писатель, критик и историк, создатель так называемой «скептической школы» в исторической науке. Белинский сочувственно отзывался о Каченовском-историке, об его «умном скептицизме в деле русской истории»

(В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 408). Однако крайности скептицизма Каченовского привели его к отрицанию целых исторических периодов, а также подлинности всех памятников древней письменности. Литературная деятельность Каченовского вызвала отрицательную оценку Белинского, указывавшего, что Каченовский «отстал от века, не понимает „современности“» (Письма, 1914, т. I, стр. 314).

(16) *«Как мог Карамзин [...] допустить, чтобы могли быть в обращении кожаные клочки, не обеспеченные никакой гарантией!»* – Карамзин в конце первого тома «Истории Государства Российского», отмечая необходимость денег для «торгового народа», писал о том, что в древней Руси «ценили сперва вещи не монетами, а шкурами зверей, куниц и белок: слово „куны“ означало деньги. Скоро неудобность носить с собою целые шкуры для купли подадала мысль заменить оные мордками и другими лоскутками куньими и бельями».

(17) *«Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литера-*

турный антагонизм между ним и Пушкиным. – Каченовский отстаивал классицизм и выступал против новой романтической поэзии, сторонником которой был молодой Пушкин. Еще в 1818 г. Пушкин написал первую эпиграмму «На Каченовского». В 1820 г. в ответ на известную рецензию «Жителя Бутырской слободы» о поэме «Руслан и Людмила», опубликованную в журнале Каченовского «Вестник Европы», Пушкин написал ряд эпиграмм, большинство которых не появилось в печати и было известно только в устном распространении. «Хаврониос! Ругатель закоснелый» (1820), «Когда б писать ты начал сдуру» (1820), «Клеветник без дарованья» (1821), «Охотник до журнальной драки» (1824), «Как! Жив еще курилка журналист» (1825), «Словесность русская больна» (1825). Обращение Каченовского в 1829 г. в цензуру «за защитой» от критики «Московского телеграфа» иронически изложено в статье Пушкина «Отрывок из литературной летописи», высоко оцененной Чернышевским (см. «Очерки гоголевского периода русской литературы»). Эпиграммы Пушкина, опубликованные в 1829 г.: «Журна-

лами обиженный жестоко», «Литературное известие», «Там, где древний Кочерговский», «Как сатирой безымянной», также освещают факты литературной борьбы с Каченовским. «Злой паук» Каченовский является одним из экспонатов «Моего собрания насекомых» Пушкина (1829).

(18) *...кто-то (едва ли не Писарев) горько упрекал профессоров, что его долго томили над упражнениями переводов...* – Имеется в виду статья Писарева 1863 г. «Наша университетская наука».

(19) *...профессор теории изящных искусств и археологии Н. И. Надеждин...* – Широта научных интересов Надеждина (1804–1856), богатство материала привлекли слушателей. Несмотря на его идеалистические позиции, ряд вопросов эстетики решался им правильно и по-новому. Его лекции оказали большое влияние на Белинского, Станкевича, Герцена. С 1831 по 1836 г. Надеждин издавал журнал «Телескоп» с приложением «Молва», в которых сотрудничал Белинский. В 1836 г. журнал был закрыт за опубликование «Философического письма» Чаадаева, а издатель выслан.

Чернышевский видел в Надеждине «одного из замечательных людей в истории нашей литературы», который «дал прочные основания нашей критике... и показал примеры, как прилагать эти принципы к суждению о поэтическом произведении» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 140, 163, 164).

(20) *Шевырев С. П.* (1806–1864) – реакционный поэт, критик, историк литературы. Во второй половине 30-х годов Шевырев становится сторонником официальной народности, а затем и одним из основных сотрудников славянофильского «Москвитянина». О нем см. известный памфлет Белинского «Педант» (1842).

(21) *Давыдов И. И.* (1794–1863) – читал в Московском университете курсы латыни, философии, высшей математики и с 1831 г. русской словесности. Слушатели называли его курс «ничто о ничем, или теория красноречия». В 1847 г. был назначен директором Педагогического института. О нем см. памфлет Добролюбова «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны» (Н. А. Добролюбов,

Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 5-12).

(22) *Квинтилиан, Блэр, Баттё...* – *Квинтилиан* (35–95) – известный римский оратор, оставивший труды об ораторском искусстве. *Блэр* (1718–1800) – шотландский проповедник и профессор Эдинбургского университета, автор «Курса риторики и литературы» (1873). *Баттё* (1713–1780) – французский теоретик искусства.

(23) *Погодин* М. П. (1800–1875) – реакционный писатель, публицист и историк, в 40-х годах редактор журнала «Москвитянин». В Московском университете с 1830 г. занимал кафедру всеобщей, с 1835 г. – русской истории. В начале 30-х годов курс Погодина, опиравшегося на изучение конкретного исторического материала, вызвал известный интерес. Вскоре, однако, в лекциях Погодина, видевшего задачу отечественной истории в том, чтобы быть «охранительницей и блюстительницей общественного спокойствия», в полной мере проявилась его реакционная идеология.

(24) ...одну из своих лекций [...] назвал: «Перчатка Строеву и Каченовскому». – Основатель русской археологии М. П. Строев

(1796–1876), настаивавший на критическом изучении источников, был прямым антагонистом Погодина.

(25) *Хриш* – термин школьной риторики, обозначающий определенную форму построения сочинения.

(26) *...плюшкинский вопрос Чичикову: не служил ли он в военной службе?* – см. «Мертвые души», т. I, глава VI.

(27) *...история с Герценом и высылка его из Москвы...* – В июле 1834 г. Герцен, Огарев и их друзья были арестованы. Поводом к аресту послужило пение антицаристской песни В. И. Соколовского «Русский император» на вечеринке, состоявшейся 24 июня, на которой ни Герцен, ни Огарев не присутствовали. После девяти месяцев тюремного заключения Герцен был отправлен в ссылку в Пермь под надзор местного начальства (см. II часть «Былого и дум»).

На родине*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1888, №№ 1 и 2. С незначительными поправками и измененным вступлением, кото-

рое в журнальной публикации было дано как извлечение из письма к редактору, включено в девятый, дополнительный, том собрания сочинений Гончарова 1889 г. по тексту которого и печатается. Черновая рукопись, помеченная Гончаровым: «Гунгербург. Август 1887 г.», хранится в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде.

Гончаров работал над этими воспоминаниями летом 1887 г., живя на даче в Гунгербурге близ Усть-Нарвы. Эти воспоминания о симбирской жизни середины 30-х годов представлялись ему вначале «мелкими, пустыми, притом личными, интимными, не представляющими никакого общего и общественного интереса... Не наберешь и десяти страниц для печати...» (см. письмо к А. Ф. Кони от 26 июня 1887 г., т. 8 наст. изд.).

Позже он изменил свою оценку. Гончаров писал родным, посылая им оттиски воспоминаний, что «...не все так написано точь-в-точь, как было на самом деле... Целиком с натуры не пишется... надо обработать, очистить, вымести, убрать. Лжи никакой нет: многое взято верно, прямо с натуры, лица, ха-

рактеры, например, крестного Якубова, губернатора и других, даже разговоры, сцены. Только кое-что украшено и покрыто лаком. Это и называется художественная обработка» (см. т. 8 наст. изд.). Та же мысль высказана в введении.

Герцен характеризует эпоху после разгрома декабристов как время, когда «все передовое и энергическое вычеркнуто из жизни, а дрянь александровского поколения заняла первое место». Гончаров и рисует типические фигуры этой «дряни»: сластолюбивого авантюриста Углицкого (губернатора Симбирска Загряжского), ранее неизвестного офицера, получившего губернаторство за верноподданические заслуги на Сенатской площади 14 декабря, его друга Сланцова, чиновников-взяточников Добышева, Янова, приживалок Лину и Чучу и т. п. Бравин также является фигурой типической для провинциального общества, интересы которого не простираются дальше взяток, сплетен и карт. Однако в данном случае гончаров отошел от «натуры»: прототипом Бравина был выделявшийся в этой среде князь М. П. Баратаев, человек ши-

роко образованный, лично близкий с многими декабристами.

Возможно, не желая также нарушить цельность изображаемой картины или просто по неосведомленности, Гончаров не противопоставил этим провинциальным чиновникам и обывателям жизнь передовых людей Симбирска. В Симбирске жили родители декабриста Ивашева, получавшие письма из Сибири от него и его жены, в Симбирск часто приезжал поэт-партизан Давыдов, в Симбирск именно в это время был сослан друг Герцена и Огарева Н. М. Сатин.

Гончаров вскользь говорит о жандармском полковнике Сигове, на которого он тогда «смотрел большими глазами», не вдаваясь в «глубины жандармской бездны». Прототипом Сигова является жандармский полковник Стогов, фигура типичная для того времени. Известно, что после расправы с декабристами указом от 3 июля 1826 г. было учреждено III отделение «собственной его величества канцелярии», ведавшее делами «высшей полиции». Россия была разделена на семь жандармских округов, каждый из которых воз-

главлялся генералом и штаб-офицером, обязанным «вникать в направление умов» и следить как за отдельными лицами, так и за деятельностью правительственных учреждений.

Э. И. Стогов перешел из флота на жандармскую службу и скоро «заслужил» личную благодарность Николая I. В своих мемуарах он самодовольно сообщал об успехах по службе — о подавлении крестьянского бунта, который Стогов именуется «фарсом», когда по его приказанию было засечено розгами до смерти тринадцать человек, среди них семидесятилетний старик, о той роли, которую он сыграл в увольнении губернатора Загрязского («Очерки, рассказы и воспоминания Э—ва», «Русская старина», 1878, XII).

Рассказывая о том, как напугано было губернское общество арестами и ссылками людей, близких не только к декабристам, но даже к масонам, Гончаров приводит в черновой рукописи анекдот, в котором раскрывается отношение писателя к обязательной подписке о непринадлежности к тайным обществам: «Бесполезная и смешная мера! Горбунов уморительно рассказывает, как священник, испо-

ведущая умирающую девятистолетнюю купчиху, между прочим спрашивает, „не принадлежит ли она к тайному обществу“. Эта карикатура метко попадает в цель».

Воспоминания Гончарова, в которых изображена типическая картина провинциальной жизни 30-х годов, были встречены сочувственно. Рецензент либеральной «Русской мысли» указывал, что то же самое он наблюдал в 50-х годах и в среднерусской полосе: «То же сонное царство... дремлющее на барском пуховике, то же чиновничество... живущее „безгрешными доходами“ и „благодарностями“; те же простота и прекраснодушие на почве нравственного неряшества... то же самое бессознательное негодяйство в 50-х годах, верное изображение которого дал нам Гончаров в воспоминаниях о 30-х годах. И над всем этим царит один-единственный страх перед жандармом, порожденный в 30-х годах, как передает Гончаров, 14 декабря 1825 г., в 50-х годах – делом Петрашевского в 1848... Жили все, во всей России именно так, как рассказывает Гончаров, и от его рассказов становится не менее жутко, чем от мрачных картин Щед-

рина» (1889, № 4, стр.134). Рецензент либерального журнала неправомерно ставит в один ряд воспоминания Гончарова, при всей их несомненной прогрессивности, с бичующей демократической сатирой Щедрина, разоблачительная острота которой несравненно значительнее.

Реакционная печать («Новое время» и «Journal de St. Pétersbourg») обходила молчанием критическое содержание воспоминаний, отмечая лишь «кристаллическую ясность стиля», «свежесть и силу крупного таланта».

(1) «...еще одно последнее сказанье...» – слова летописца Пимена в «Борисе Годунове» (1825) А. С. Пушкина.

(2) Суворов [...] переходил Альпы...– Речь идет о блестящем итальянском походе русских войск под командованием Суворова в 1799 г. Энгельс оценил суворовский переход через Альпы как «самый выдающийся из всех современных альпийских переходов» (Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XI, ч. II, стр. 13).

(3) Энциклопедисты – французские филосо-

фы, ученые и писатели-просветители, объединившиеся вокруг издания знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» (1751–1780), возглавляемого Дидро и Даламбером. Энциклопедисты выступали против феодально-клерикальной идеологии и тем способствовали подготовке французской буржуазной революции конца XVIII в.

(4) *Под тайными обществами, между прочим, разумелись масонские ложи.* – Масонство – мистическое религиозно-философское общество, возникшее в XVIII в. в Англии и распространившееся во всей Европе, в том числе и в России. Масонская «наука», упражнения в самопознании и самосовершенствовании перерождались в магию и алхимию, в общение с духами и тому подобные квазинаучные мистические бредни. Самостоятельность и таинственность масонских организаций вызвала недоверие к ним и прямые гонения Екатерины II. Демократизация состава русских масонских лож в XIX в., почти поголовное участие в них членов тайных обществ, будущих декабристов, использовавших масонские организации для маскировки

своих политических целей и поисков сторонников, – все это привело к окончательному запрещению масонства в России в 1822 г. После событий 14 декабря бывшие масоны подвергались преследованиям.

(5) ...«впечатленья бытия»... – из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).

(6) ...Белинский [...] с задором нападали на Пушкина за то, что тот, – пожалев, что «нет князей Пожарских, что Сицких древний род угас» [...] что теперь «спроста лезут в tiers-état». – См. одиннадцатую статью В. Г. Белинского о Пушкине. В кавычках приведены, не всегда точно, строки из отрывка сатирической поэмы А. С. Пушкина «Родословная моего героя» (1833).

(7) ...«пружины смелые гражданственности новой»... – из стихотворения Пушкина «К вельможе» (1830).

(8) ...он не мог выносить Кукольника [...] с [...] теплотой отзывался он о повестях того же Кукольника из петровской эпохи... – см. В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 58–59, 122–124 и 218–223; т. VIII, стр. 174–175, 384–385, и т. X, стр. 488–500.

(9) ...«строгие ценители и судьбы»... – из монолога Чацкого в 5 явлении II действия комедии Грибоедова «Горе от ума».

(10) Как прав был Гоголь в своем ответе на упрек, зачем он не вывел в «Ревизоре» ни одного хорошего человека! – В «Театральной разъезде» автор отвечает на упрек в отсутствии положительного героя, что «честное благородное лицо» в комедии «смех».

(11) Он так же, как Онегин, помнил и все анекдоты «от Ромула до наших дней» – ср. шестую строфу первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

(12) ...он жил прежде всего долгами, как отец Онегина... – ср. третью строфу первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

(13) В «науке страсти нежной» он, как Онегин, должно быть, находил «и муку и отраду» – ср. восьмую строфу первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

(14) ...вроде мемуаров Казановы... – Итальянский авантюрист XVIII века Казанова рассказывает в мемуарах о своих любовных похождениях.

(15) ...в блеске [...] того «хладнокровного

разврата», которым, по свидетельству поэта, «славился» старый век – см. начало четвертой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

(16) *Фоблас* – герой эротического романа французского писателя Луве де Кувре (1760–1797) «Похождения кавалера Фоблаза» (1787–1790).

Слуги старого века*

Впервые опубликовано в журнале «Нива», 1888, №№ 1–3 и 18, под названием «Слуги», затем, под названием «Слуги старого века», вошло в девятый, дополнительный, том собраний сочинений, вышедший в 1889 г., по тексту которого и печатается. Полная черновая рукопись очерков, датированная маем 1887 г., хранится в Институте русской литературы АН СССР в Ленинграде.

В письме к А. Ф. Кони от 13/25 мая 1887 г. Гончаров сообщал, что «дописывает четвертый и последний портрет» (см. т. 8 наст. изд.). Две недели спустя он писал Стасюлевичу, что для «Нивы» у него «уже все кончено». Позже, 2 августа, Гончаров писал Л. Н. Толстому, что

он «начиркал весной, в 14 дней, три-четыре эскиза» для «Нивы». Такая быстрота работы для медлительного обычно Гончарова объясняется тем, что он только обрабатывал ранние записи. Летом очерки подверглись дополнительным исправлениям. В письме к Стасюлевичу от 14 августа Гончаров, между прочим, указывает: «исправлял заготовленное для „Нивы“ и исправил».

В августе же 1887 г. Гончаров писал Толстому, что подготовленные «эскизы» он отдал издателю «Нивы» для январских номеров: «Их будет три, четвертый, вовсе негодный, я выброшу за борт». Последний очерк «Степан с семьей» был задержан автором и появился лишь в № 18. Обещая прислать Толстому эти очерки, писатель продолжает: «Я вовсе не за тем пришлю их Вам, чтобы усладить Вас чтением, на что никак не уповаю, хотя Кони и еще два-три „сведущих“ человека, которым я читал их, и хвалят, даже превозносят, но я сам уже старый воробей и надежный, верный оценщик, даже эксперт, и на свой счет не обольщаюсь».

Особое значение автор придавал предид-

словию, что он подчеркнул и в письме к В. П. Острогорскому, критический этюд которого о Гончарове был опубликован в «Деле» в 1887 г.: «В моем предисловии к очеркам я имел в виду, между прочим, и Ваше замечание, а также и других моих критиков по тому же предмету, и старался объяснить причину, почему обходил простой народ молчанием. Надеюсь, что Вы найдете мое объяснение вполне оправдывающим меня в том, что я не затрагивал никогда вопроса о крестьянах, их нравах, быте и нуждах...»

К тому же вопросу Гончаров дважды возвращается в письмах к Л. Толстому (см. письма от 2 августа и 27 декабря 1887 г.).

Кроме того, он указывает в своем предисловии, что даже среди тех, кто профессионально занимается собиранием народных песен, имеются люди, далекие от народа и его интересов. В черновой рукописи этот мотив звучит резче, чем в окончательном тексте: «Эх, господа народолюбцы, j'ouons cartes sur table! [189] Без аффектации, пожалуйста!»

Очерки представляют биографический интерес, воссоздавая условия жизни писателя в

1840-е годы.

Гончаров сообщает в письме к родным, что «под именем Матвея» он «изобразил» известного им Филиппа. Тридцатью пятью годами ранее в письмах к друзьям с борта «Паллады» писатель сравнивал Филиппа с Фаддеевым, прислуживавшим ему на фрегате, и подчеркивал, насколько сильнее в последнем проявлялись национальные черты, «костромской элемент», который он сохранял даже в кругосветном плаванье: у Филиппа же от «полонизма... и следов не осталось» («Литературное наследство», № 22–24, стр. 362).

Очерки завершают галерею образов слуг, созданную Гончаровым (Елисей в «Счастливой ошибке», Авдей в «Поджабрине», Евсей в «Обыкновенной истории», Фаддеев в «Фрегате „Паллада“», Захар в «Обломове», Егор в «Обрыве» и др.).

В «Слугах старого века» наиболее значителен образ Матвея, человека, физически и духовно искалеченного крепостным правом.

Либеральные журналы сочувственно откликнулись на новое произведение маститого писателя. Например, рецензент «Вестника

Европы», вероятно сам редактор журнала Стасюлевич отмечал в очерках «руку мастера, сохранившего на протяжении более полувека те художественные приемы, которые сделали его одним из наследников пушкинской прозы». Особенно внимательно остановился он на образе Матвея, указывая, что, при всех противоречиях этого характера, в нем «преобладает одна черта: жажда воли, доходящая до страсти» (1889, № 4).

Реакционная газета «Новое время» отмечала «яркость и законность» первых двух набросков.

Критик демократического лагеря Шелгунов в «Очерках русской жизни» отмечает несозвучие эпохе этого произведения, первоначальные зарисовки которого сделаны несколькими десятилетиями ранее: в конце 80-х годов такие очерки «могут пойти только в „Ниве“». Для Шелгунова наиболее ценным в очерках является «авторская исповедь», как он называет предисловие. Постановка темы в «Слугах» кажется ему мелкой и несвоевременной, он воспринимает эти очерки как «сатиру на лакеев» («Русская мысль», 1888, № 6).

Салтыков-Щедрин в это время продолжал писать «Пошехонскую старину», и в марте 1888 г., после двухмесячного перерыва, в «Вестнике Европы» появилась восьмая глава хроники, «Тетенька Анфиса Порфирьевна», с огромной силой разоблачающая ужасы крепостничества. По воспоминаниям Пантелеева, Щедрин прямо противопоставлял свое отношение к теме гончаровскому: «Вот я ему покажу настоящих слуг прошлого времени» (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 529).

(1) *Апокалипсис* – раннехристианское мистическое произведение, в котором излагаются «откровения» (апокалипсис – по-гречески – откровение), фантастические видения о судьбах мира и человечества.

(2) «Юрий Милославский» – см. прим. к стр. 125.

(3) *Плещут волны Флегетона [...] Из Аида бога мчат...* – Начало стихотворения Пушкина «Прозерпина» (1824). Флегетон в греческой мифологии – огненная река, окружающая подземное царство. *Тартар* – темная бездна,

так же отдаленная от земли, как земля от неба. *Плутон* – бог подземного мира, «царства теней», айда. *Пелион* – гора в древней Греции.

(4) ...«и денег и белья моих рачители...» – неточная цитата из «Послания к слугам моим...» (1763) Ф. И. Фонвизина.

(5) «Иных уж нет, а те далече» – см. последнюю строфу восьмой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

(6) *Тогда действительно в высших сферах был затронут этот вопрос. Но наступившие политические события в Европе отодвинули его на второй план.* – Вопрос об освобождении крестьян стал на очередь дня сразу же после восстания декабристов. Особый секретный «Комитет 6 декабря 1826 г.» при всем своем страхе перед крестьянской революцией не ставил, однако, вопроса о полном уничтожении крепостного права, а требовал лишь частичных преобразований. Даже отдельные предложения «Комитета 6 декабря», а вслед за тем еще восьми секретных комитетов, ограничить в какой-то мере помещичьи права не отвечали требованиям крепостнического большинства. Европейская революция

1848 г. обострила правительственную реакцию в России. В речи петербургскому дворянству 21 марта 1848 г. царь объявил, что дворянское землевладение «вещь святая», а самая мысль об ограничении крепостного права «нелепа» и «безрассудна». И все же «сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма», заставила помещиков в 1861 г. согласиться на «освобождение» крестьян; несмотря на грабительский, крепостнический характер крестьянской реформы, она явилась «шагом по пути превращения России в буржуазную монархию» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95).

По Восточной Сибири*

Впервые опубликовано в журнале «Русское обозрение», 1891, № 1, по тексту которого и печатается. Неполные копии очерка с поправками и вставками Гончарова хранятся в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде.

Очерк «По Восточной Сибири» – последнее произведение Гончарова, опубликованное при жизни.

Тематически очерк примыкает к «Фрегату „Паллада“», дополняя повествование о кругосветном путешествии главой о пребывании в Якутске и Иркутске. Гончарову пришлось задержаться в Якутске в связи с болезнью, явившейся следствием тяжелого пути из Аяна в Якутск, который описан в одной из последних глав «Фрегата „Паллада“», а также в письме к Майковым от 14 сентября 1854 г. («Литературное наследство», № 22–24, стр. 415–416).

Восточная Сибирь при царизме была местом ссылки. Однако в очерках «Фрегат „Паллада“», написанных в годы усилившихся цензурных гонений, нет упоминаний о ссылных революционерах. В настоящем очерке Гончаров пишет и о своем посещении декабристов, и о «государственном преступнике» Петрашевском, и даже приводит стихи Рылеева о Якутске, чего в 50-е годы цензура не пропустила бы.

Тема очерка уже не путешествие, а якутское и иркутское общество. На первом плане стоят две фигуры: Иннокентия, архиепископа якутского, алеутского и курильского, и генерал-губернатора Восточной Сибири (с 1847 по

1861 г.) Н. Н. Муравьева.

Иннокентий (Иван Евсеевич Павлов-Вениаминов, 1797–1879) в течение сорока пяти лет был священником, а затем архиепископом в самых отдаленных и суровых районах России, ему принадлежат также географические и этнографические «Записки об островах Уналашкинского отдела» (1840). Впервые Гончаров дает характеристику Иннокентию в письме Майковым, написанном в январе 1855 г., то есть сразу же после первого знакомства с архиепископом: «Тут бы увидели русские черты лица, русский склад ума и русскую коренную, но живую речь. Он очень умен, знает много и не подавлен схоластикой, как многие наши духовные, а все потому, что кончил учение не в академии, а в Иркутске и потом прямо пошел учить и религии и жизни алеутов, колош, а теперь учит якутов. Вот он-то патриот. Мы с ним читывали газеты, и он трепещет, как юноша, при каждой счастливой вести о наших победах» – имеется в виду ход событий Крымской войны («Литературное наследство», № 22–24, стр. 420).

Гончаров, всегда противопоставлявший

бездействующим обломовым предприимчивых и деятельных работников, высоко оценивает Н. Н. Муравьева (1809–1881). Это «человек бодрый, энергичный, умный до тонкости и самый любезный из русских людей, – пишет Гончаров в том же письме к Майковым. – [...] Имя его довольно популярно у нас: все знают, как сильно и умно распоряжается он в Сибири, не секрет уже и то, что он возвратил России огромный и плодоносный лоскут Сибири по реку Амур включительно» (там же). П. А. Кропоткин, служивший в те годы в Сибири, в «Записках революционера» также рассказывает об уме и «обаянии» Муравьева, отмечая в то же время, что этот сторонник «крайних мнений», «не вполне удовлетворявшийся демократической республикой», был «деспотом в душе» (изд. «Academia», 1933, стр. 111).

Этим положительным отзывам противостоит несравненно более справедливая оценка генерал-губернатора Восточной Сибири, принадлежащая вольной русской прессе. «Колокол» писал в 1860 г. о «тиранстве сибирского Муравьева». Таковую же характеристику Му-

равьева мы находим в переписке декабриста Завалишина («Русская старина», 1881, №№ 9 и 10) и в письмах Петрашевского (см. «Голос минувшего», 1915, №№ 1, 3, и 5, «Петрашевцы в воспоминаниях современников», 1926, стр. 139–143, В. Лейкина, «Петрашевцы», М. 1924, стр. 82–83), где приведено немало фактов произвола Муравьева. Попытки выступить против колонизаторских методов освоения Амура, против разорения местных жителей, деспотизма и бесконтрольной власти Муравьева привели к тому, что петрашевец Львов был уволен со службы в Главном управлении Восточной Сибири, а Петрашевский выслан из Иркутска в глухую деревню.

Гончарову была доступна только внешняя, парадная сторона заселения Амура, и он принял за чистую монету игру губернатора в либерализм.

«Величавым, колоссальным патриотам», как называет Гончаров Иннокентия и Муравьева в цитированном выше письме, он противопоставляет бездеятельность и чиновничью ограниченность якутского губернатора П. П. Игорева, образ которого нарисован в

сатирических тонах.

В очерке показана не только чиновничья верхушка местного общества, но и политические ссыльные. В черновике есть вставка, вписанная рукой Гончарова, но не вошедшая в окончательный текст, в которой охарактеризован декабрист Волконский: «...князь-декабрист В. как будто застыл государственным преступником. Он шлялся в нагольном тулупе по базарам, перебранивался с ссыльными на поселение или просто с жителями. „Варнак“ – нередко слышалось брошенное им или обращенное к нему весьма употребительное в России бранное слово. Он делал это из чудачества.

Как вы думаете, о чем просил меня этот неисправимый декабрист на прощанье: „Не возите нам ничего другого, – сказал он, – только запрещенных книг“. – „Как! – сказал я ему на это смеясь, – так вы полагаете, что и я поеду по той же дороге...“ – „Нет, нет, – горячо возразил он, – вы поедете, ежели поедете, так в качестве губернатора“.

Каков радикал!»

Волконский представлен здесь и чудачком,

перебранивающимся на базаре (таким он остался и в окончательном тексте), и «неисправимым», то есть убежденным, декабристом.

В очерке имеется эпизод, отсутствовавший еще в черновой рукописи, о другом «государственном преступнике», Петрашевском. М. В. Буташевич-Петрашевский (1821–1866) – утопический социалист, революционер-демократ, возглавлявший с середины 40-х годов революционный кружок передовой разночинной интеллигенции. Петрашевский, как и его товарищи, в 1849 г. был приговорен к смертной казни. Когда приговоренных одели уже в саваны и привязали к столбам, казнь была приостановлена и осужденным сообщили о замене смертной казни каторгой, солдатчиной и ссылкой. Петрашевский был приговорен к пожизненной каторге, замененной ему в 1856 г. ссылкой.

Жизнь Петрашевского в Сибири – это продолжение его борьбы с самодержавием. Так же как позднее Чернышевский, Петрашевский не обращается с «покорнейшими просьбами», а считает решение суда недействи-

тельным. «Если я смело однажды выступил на борьбу со всяким насилием, со всякой неправдой, – писал Петрашевский родным, – то теперь уже мне не сходить с этой дороги ради приобретения мелочных выгод и удобств жизни. Мне теперь уже поздно обучать себя „выгодному подличанью“» (В. Семеновский, Петрашевский в Сибири, «Голос минувшего», 1915, № 5, стр. 47).

Гражданское мужество, принципиальность и беспощадное разоблачение незаконных и несправедливостей властей предрешающих истолковывалось бюрократической верхушкой Восточной Сибири сначала как грубость и неуживчивость, а потом и как душевная болезнь «государственного преступника». Так, упоминаемый Гончаровым в очерке генерал Венцель, являвшийся председателем совета Главного управления Восточной Сибири, получив в 1856 г. несколько прошений Петрашевского, запретил их принимать и запросил, «в каком положении здоровья находится Буташевич-Петрашевский по умственным своим способностям».

Гончаров, очевидно, просто повторял рас-

пространенную версию о сумасшествии Петрашевского.

(1) *Сперанский* М. М. (1772–1839) – автор проекта государственных преобразований в царствование Александра I. С 1819 по 1821 г. Сперанский был генерал-губернатором Сибири.

(2) ...«*память сердца*» сильнее «*рассудка памяти печальной*» – из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений» (1815).

(3) ...назову его *Игоревым* [...], бывший до *Якутска* губернатором в одной из губерний *Европейской России*... – Прототипом образа Игорева является Григорьев К. Н., служивший ранее губернатором в Костроме. В 1847 г. после костромских пожаров Григорьевым были арестованы и подвергнуты жестоким истязаниям поляки, ложно обвиненные в организации заговора и поджогах. Григорьев в качестве «единственного виновника неправосудия» был предан военному суду.

(4) ...«*на некое был послан послушанье*»... – слова Пимена в «Борисе Годунове» (1825) А. С. Пушкина.

(5) *«Grattez un russe, – говорит старый Наполеон, – et vous trouverez un tartare»*... – Эта фраза, сказанная сардинским посланником в Петербурге при Александре I мракобесом и мистиком Жозефом де Местром, приписывается обычно Наполеону.

(6) *Сибирская летопись изобилует такими ужасами, начиная с знаменитого Гагарина...* – Гончаров, вероятно, имеет в виду князя Гагарина, бывшего сибирским губернатором с 1711 по 1719 г. и повешенного в 1721 г.

(7) *...«но мы истории не пишем...»* – из басни И. А. Крылова «Волк и ягненок» (1808).

(8) *...чтоб отвоевать от них Амур...* – Амур имел большое значение для расширения торговых связей. В 40-х годах был организован ряд экспедиций вниз по Амуру. Айгунский договор 1858 г., подтвержденный Пекинским договором с Китаем в 1860 г., закрепил за Россией левый берег Амура. Эти договоры, разрешавшие плаванье по Амуру, Сунгари и Уссури только китайским и русским судам, укрепляли русско-китайскую торговлю.

(9) *...«Современник», где я печатал свои труды.* – До 1854 г. в «Современнике» были

напечатаны следующие произведения Гончарова: «Обыкновенная история» (1847, №№ 3 и 4), «Иван Савич Поджабрин» (1848, № 1), и без подписи «Письма столичного друга к провинциальному жениху» (1848, №№ 11 и 12, отдел «Мод»).

(10) ...напоминал отчасти гоголевского Петуха... – Петух – персонаж второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

(11) ...теперь есть полная, прекрасная книга (Барсукова)... – монография И. Барсукова «Иннокентий, митрополит московский и коломенский», М. 1883.

(12) ...в наших американских колониях... – Русскими колониями в Америке, или «русской Америкой» назывался полуостров Аляска и ряд прилегающих островов, в том числе Алеутские, которые были открыты еще в XVII веке, а к концу XVIII века освоены русскими промышленниками. Однако по договору 30 марта 1867 г. полуостров Аляска и прилегающие острова были проданы царским правительством США.

(13) ...к игемону Петру... – Игемон (слав.) – правитель губернии.

(14) *...после геройского отбития англичан от этого полуострова...* – Во время Крымской войны во второй половине августа 1854 г. к Камчатке подошла англо-французская эскадра из шести судов и несколько раз пыталась высадить в Петропавловске десант. Однако прицельный огонь русских кораблей заставил противника отступить.

(15) *...по приглашению С[вербеева], я перебывал у всех декабристов...* – Н. Д. Свербеев (в черновой рукописи фамилия написана полностью) – один из приближенных к Н. Н. Муравьеву чиновников, автор «Описания плавания по реке Амуру экспедиции генерал-губернатора Восточной Сибири в 1854» (1854). Свербеев, женившийся на младшей дочери декабриста Трубецкого, был хорошо знаком с семьями декабристов.

(16) *Я встретил его [...] в Вильдбаде, когда он шел рядом с колясочкой больного ногами своего отца...* – Только после смерти Николая I декабристы смогли возвратиться из Сибири. Тогда же Волконский получил возможность поехать лечиться за границу.

(17) *...что он собирал в своей квартире ра-*

бочих, раздавал им деньги, учил их не повиноваться своим хозяевам и прочее... – Гончаров здесь повторяет слухи о Петрашевском (см. «Петрашевский в воспоминаниях современников», 1926, стр. 105), почвой для которых явились его попытки вести широкую революционную пропаганду среди народа и учащейся молодежи.

Май месяц в Петербурге*

При жизни Гончарова очерк не публиковался, хотя и был подготовлен к печати. Впервые появился в 1892 г. в сборнике «Нивы», № 2. Сохранились полные экземпляры белой и черновой рукописей, а также автографы отдельных страниц ранних редакций.

Беловой текст, с которого печатается настоящее издание, хранится в Центральном государственном литературном архиве в Москве. Это рукописная копия с исправлениями, вычерками и вставками, сделанными рукой Гончарова. В конце рукописи – дата: «июль 1891 г.» и подпись. Рукопись является наборным экземпляром, о чем свидетельствуют надпись на первой странице: «Набрано

для печатания в февральском сборнике 1892 г.» и пометы наборщиков.

Между текстом сборника и белой рукописью имеются разночтения. В рукописи есть почти целая страница, пропущенная в сборнике (см. стр. 425–426, начиная от слов «Вообще Юхнов...» и до «Жизнь все жизнь...»). Так как рукопись была продана издателю «Нивы» Марксу уже после смерти писателя его наследницей (см. ниже), то несомненно, что при опубликовании очерка в сборнике имело место постороннее вмешательство.

В архивах нет сведений о цензурных изъятиях, и можно думать, что эта купюра сделана редактором сборников «Нивы» реакционером В. П. Ключниковым, приобретшим известность еще в 60-х годах своим клеветническим антидемократическим романом «Мариво». Едкая насмешка над законопослушным и благонравным в своем шовинизме чиновником Юхновым, его «глубокомысленными» рассуждениями в духе «Нового времени» о различных религиях, а также фраза Гончарова, что другой чиновник стал социалистом, показались «криминальными» редактору.

С. Шпицер в своей книге «И. А. Гончаров» (СПб. 1912–1913) опубликовал по черновой рукописи два отрывка, отсутствующие в печатном тексте сборника «Нивы». Один из них опущен уже в белой рукописи и поэтому не восстанавливается нами. О втором отрывке, представляющем наибольший интерес, мы говорили выше.

Во всех как дореволюционных, так и советских изданиях очерк печатался без этого текста, так как белая рукопись оставалась неизвестной. В настоящем издании очерк впервые печатается в том виде, в котором он был подготовлен Гончаровым к печати.

Кроме этого пропуска, в тексте сборника «Нивы» есть отдельные искажения, явившиеся, повидимому, также результатом редакторского вмешательства. Укажем два наиболее значительных по смыслу исправления: на стр. 413, там, где речь идет об умении управляющего домом подбирать жильцов, в рукописи говорится о «благонадежных и неблагонадежных» людях, в тексте сборника «Нивы» напечатано «благонадежных и благонамеренных», на стр. 415 упоминание «иноверческо-

го» храма заменено «инославным».

Черновая рукопись сохранилась в разрозненном виде: 1) рукописная незаконченная копия с поправками и вставками самого писателя, хранящаяся в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР; 2) предпоследняя страница той же рукописи, хранящаяся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина; эта страница оборвана сверху, так что образуются два небольших пропуска (Гончаров писал на обеих сторонах листа); 3) находящаяся в ИРЛИ фотокопия последнего листа той же рукописи, воспроизведенного в газете, на котором имеется дата: «июль 1891 г.».

На черновой рукописи – дарственная надпись: «Эта статья подарена мною 1 августа 1891 г. девице Елене Карловне Трейгут, для напечатания в ее пользу, сначала в каком-нибудь журнале, а потом в издании общего собрания моих сочинений книгопродавца Глазунова или же у другого издателя.

Ив. Гончаров

1 августа 1891 г.»

1 августа – дата дарственной надписи, са-

ми рукописи же датированы, как указано выше, июлем.

Три недели спустя, 22 августа 1891 г., Гончаров написал новую дарственную, опубликованную в газете «Новое время» от 26 января (7 февраля) 1893 г. по подлиннику, хранившемуся ранее в Историческом музее: «Три статьи моего сочинения: 1) „Май месяц в Петербурге“, 2) „Превратность судьбы“ и 3) „Уха“, подарены мною в августе 1891 года девице Елене Карловне Трейгут для напечатания в ее пользу, сначала в каком-нибудь журнале, потом в общем собрании моих сочинений у книгопродавца г. Глазунова или же у другого издателя.

Ив. Гончаров.

22 августа 1891 г.»

В ЦГЛА хранится копия этой дарственной, заверенная библиотекарем Исторического музея А. И. Станкевичем.

Елена Карловна Трейгут – дочь покойного слуги Гончарова, одна из его воспитанниц и наследниц. 19 декабря 1891 г. она продала книгоиздателю Марксу рукописи очерка «Май месяц в Петербурге» и рассказа «Пре-

вратность судьбы» для напечатания в журнале «Нива» или сборнике (цензурное разрешение сборника – 24 декабря 1891 г.). 6 октября 1898 г. она продала в полную собственность издателя все три подаренные ей произведения (ЦГЛА).

Между черновой и белой рукописью много различий. Текст, выброшенный Ключниковым в сборнике «Нивы», имеется в черновой рукописи, причем большая часть его (о чиновнике Юхнове) является вставкой, написанной рукой Гончарова.

Содержанием настоящего очерка является описание жизни большого петербургского жилого дома (по свидетельству А. Ф. Кони, дома Устинова на Моховой улице, где Гончаров прожил последние двадцать лет своей жизни).

Произведение это близко по жанру к физиологическому очерку, которым Гончаров начинал свою писательскую деятельность. Очерк представляет особый интерес тем, что Гончаров пытается показать жизнь в развитии и изменении. Другое отличие этого очерка от ранних произведений Гончарова в боль-

шей лаконичности письма, напоминающей Чехова.

Счастливая ошибка*

Печатается по тексту рукописного альманаха Майковых 1839 г. «Лунные ночи», где появилось впервые. Альманах хранится в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде. Рукопись повести не сохранилась.

Этот ранний беллетристический опыт Гончарова представляет значительный интерес. По жанру «Счастливая ошибка» напоминает так называемую светскую повесть 30-х годов. Однако пышным и риторическим описаниям «высокой страсти» светской повести противопоставлено в «Счастливой ошибке» трезвое, реалистическое повествование (например, ироническая характеристика «добродетели милого пола» – кокетства и др.). Реалистические зарисовки характерны уже для этого раннего произведения. Писатель анализирует психологию своих героев. Он объясняет их характер условиями жизни и воспитания, в то время как в светской повести романтический

герой был поставлен над окружающей средой.

В «Счастливой ошибке» нашли свое отражение антикрепостнические настроения молодого Гончарова: жизнь крепостных крестьян, избавление от рекрутчины и недоимок полностью зависит от настроения и капризов барина.

(1) *...и так много всякой дряни на свете, а ты еще жинок наплодил!* – см. «Сорочинскую ярмарку» Н. В. Гоголя, гл. IV.

(2) *Шел в комнату – попал в другую* – см. 4 явление I действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

(3) *Благословен, и тьмы приход!* – см. XXI строфу шестой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

(4) *...она облокотилась на флигель...* – Флигель – старинное название рояля.

(5) *...сочинения Фиглярина...* – Булгарина (о нем см. прим. к стр. 103). Прозвище Фиглярин вошло в обиход после пушкинской эпиграммы «Не то беда, что ты поляк» (1830).

Поездка по Волге*

При жизни Гончарова опубликовано не было. Впервые напечатано в журнале «Звезда», 1940, № 2. Печатается по черновой рукописи, хранящейся в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде.

На первой странице рукописи надпись: «Это я начал было писать для сборника „Складчина“, в декабре 1873 и январе 1874 года, но тогда заторопили сроком, у меня ничего и не успело выйти. Может быть, после когда-нибудь пересмотрю – не выйдет ли дальше чего-нибудь, после обработки этот очерк вышел бы, конечно, неузнаваем, а теперь это только программа. Не знаю, ворочусь ли я к ней?»

В начале декабря 1873 г. Готовилось издание альманаха «Складчина» в пользу голодающих крестьян Самарской губернии. Будучи членом редакционно-издательского комитета, Гончаров не только принимал большое участие в редакторской работе, но и дал в альманах отрывок «Из воспоминаний и рассказов о морском плаванье», который затем под названием «Через двадцать лет» печатал-

ся как заключительная глава «Фрегата „Паллада“».

Гончарову так, очевидно, и не удалось вернуться к прерванной работе над этим незаконченным наброском, но даже и в своем недоработанном виде он представляет немалый интерес. Центральное место в очерке занимает образ талантливого художника Хотькова, который можно рассматривать как эскиз образа Райского.

Судя по начальной фразе – «Лет двенадцать тому назад» – Гончаров здесь, повидимому, использует материал последней поездки на родину в 1862 г.

(1) *«Севильский цирюльник»* (1816) – опера итальянского композитора Россини (1792–1868).

(2) *«Don Pasquale»* («Дон Паскуале», 1843) – комическая опера итальянского композитора Доницетти (1797–1848).

(3) *«Прекрасная Елена»* (1864) – см. прим. к стр. 161.

(4) *Эскуриал* – дворец-монастырь в Испании, недалеко от Мадрида, один из богатей-

ших музеев в Европе.

Выходные данные

Редактор *М. Блинчевская*
Переплет, титул и шмуцтитул художника *М. Серегина*

Худож. редактор *Н. Мухин*

Технич. редактор *Д. Ермоленко*

Корректор *Л. Петрова*

Сдано в набор 15/І 1954 г. Подписано к печати 22/ІІІ 1954 г. А01049.

Бумага 84×108 1/32 – 33,5 печ. л. = 27,47 усл. печ. л. 29 уч. – изд. л.

Тираж 150 000 экз. Заказ № 2731. Цена 9 р.

Гослитиздат

Москва, Ново-Басманная, 19

3-я типография «Красный пролетарий»

Главполиграфпрома Министерства культуры СССР

Москва, Краснопролетарская, 16

Примечания

1

Мой дорогой (фр.).

[^^^]

Мой друг (фр.).

[^^^]

Вроде косынки (фр.).

[^^^]

«Герцогиня Шатору» (фр.).

[^^^]

5

Граф сказал какую-то остроту, не правда ли?
(фр.)

[^^^]

6

Тысячу извинений (фр.).

[^^^]

Что он говорит? (фр.)

[^^^]

8

Но здесь нет фортепьяно (фр.).

[^^^]

Припев (фр.)

[^^^]

Это прекрасно (фр.).

[^^^]

Ах, этот граф! (фр.)

[^^^]

12

Что это значит *кутят*? (фр.)

[^^^]

Poissarde – базарная торговка (фр.).

[^^^]

Высший свет (фр.).

[^^^]

Дядюшке или тетушке (фр.).

[^^^]

Предвестник несчастья (фр.).

[^^^]

Это должно быть прекрасно! (фр.).

[^^^]

Складывающийся цилиндр.

[^^^]

Пожелания (*лат.*).

[^^^]

В постоянном составе (фр.).

[^^^]

Зондировал почву (фр.).

[^^^]

Неслышными шагами (фр.).

[^^^]

Боже мой! (фр.).

[^^^]

До завтра... не так ли? Могу ли я вас проводить? (фр.)

[^^^]

Вы, повидимому, думаете, что обращаетесь к Лидии N.? Вы ошибаетесь; она там! (*фр.*)

[^^^]

Останьтесь с нею. Генерал! дайте мне вашу руку! (фр.)

[^^^]

Золотой молодежи (фр.)

[^^^]

Это изменник худшей породы! (фр.)

[^^^]

Госпожа Арман клялась всеми святыми (*фр.*)

[^^^]

Вы солгали. Прощайте! (фр.)

[^^^]

Кумушек (фр.)

[^^^]

Ну что же? (фр.)

[^^^]

Всё сделано, кузина! – Где же? (фр.)

[^^^]

Как это хорошо! Словно переносишься в эпоху Гомера! (фр.)

[^^^]

Мало сказать, что это прекрасно – это возвышенно! (фр.)

[^^^]

А она не в меру стыдлива, твоя кузина (фр.)

[^^^]

Это правда! именно поэтому я снабжаю ее романами Золя. Один из них дожидается кузину в данный момент в прихожей – «Добыча». Она его великолепно переносит... (фр.)

[^^^]

Хорошо написано, не правда ли? (фр.)

[^^^]

Очень хорошо написано! да, очень, очень хорошо! (фр.)

[^^^]

Почему не написали вы этого по-французски?
(фр.)

[^^^]

Очень способный человек! Что называется –
голова! (фр.)

[^^^]

Ничего! Нам отопрут! (фр.)

[^^^]

Как это прекрасно!

[^^^]

Да, восхитительно! (фр.)

[^^^]

Это божественно! это Гомер, помноженный
на Тассо! (фр.)

[^^^]

Не правда ли, княгиня? (фр.)

[^^^]

Спасибо! Это хорошо написано! (фр.)

[^^^]

Очень хорошо написано! отлично! (фр.)

[^^^]

Вы мне дадите экземпляр; я его поставлю рядом с Ж.-Ж. Руссо (фр.)

[^^^]

Да, князь, я вам его доставлю... (фр.)

[^^^]

«Добычи» Золя (фр.)

[^^^]

Не так ли, Катя? (фр.)

[^^^]

Как мила эта малютка Лидия, не так ли, Катя? – Да, мама, очень хороша (фр.)

[^^^]

Подождите же (фр.)

[^^^]

Вычеркните это! (фр.)

[^^^]

А где Вольдемар? (фр.)

[^^^]

Он уехал, мама (фр.)

[^^^]

Не так ли? – Да, мама! (фр.)

[^^^]

Скажите ему, чтобы он написал это по-французски! (фр.)

[^^^]

Да, князь (фр.)

[^^^]

Господа и дамы, кушать подано! (фр.)

[^^^]

Суп из ласточкиных гнезд, филе из слона и лап крокодила с черепахой, овощи – испанский тростник в соке скорпиона... (фр.)

[^^^]

Как это прекрасно, не правда ли? (фр.)

[^^^]

Прелестно! Прелестно! (фр.)

[^^^]

Это уж слишком! (фр.)

[^^^]

Боже-боже-боже-боже! (фр.)

[^^^]

«История одного крестьянина» (фр.)

[^^^]

Что за язык, черт возьми! (фр.)

[^^^]

Очень хорошо! (фр.)

[^^^]

Он очень хорошо говорит! (фр.)

[^^^]

То, что он говорит, – прекрасно! (фр.)

[^^^]

«Отец Горио» и «Евгения Гранде» (фр.)

[^^^]

Право на существование (фр.)

[^^^]

Это «*тоже*» – уморительно! О, он несносен!
(фр.)

[^^^]

Непрерывное условие (лат.)

[^^^]

Хорошо сказано! (фр.)

[^^^]

Он делает хорошую мину при плохой игре, он не глуп! (фр.)

[^^^]

Боже! как он хорошо говорит! (фр.)

[^^^]

Непринужденность (фр.)

[^^^]

Это очень мило, прелестно! (фр.)

[^^^]

«Герцогиня Герольштейнская» (фр.)

[^^^]

Жанровыми картинами (фр.)

[^^^]

Правильно, правильно! Хорошо сказано! (фр.)

[^^^]

Самообладание (фр.)

[^^^]

Без гнева (*лат.*)

[^^^]

А ведь это правда! (фр.)

[^^^]

Жанр (фр.).

[^^^]

Хорошо сказано! (фр.)

[^^^]

Что он говорит? (фр.)

[^^^]

Глупости! Остерегайтесь ему противоречить
(фр.)

[^^^]

Боже, боже, боже! Что за неотесанный медведь! (фр.)

[^^^]

Как это глубоко! (фр.)

[^^^]

Очень мило, не правда ли? (фр.)

[^^^]

Это великолепно! (фр.)

[^^^]

Ах, браво! вот это так!.. Вполне заслуженный урок! (фр.)

[^^^]

Такое же призвание, как и всякое другое! (фр.)

[^^^]

Превосходно! (фр.)

[^^^]

Великолепно – и недорого! (фр.)

[^^^]

Только этого не доставало! Ну и чудак! (фр.)

[^^^]

И вы, там, не поминайте лихом! (фр.)

[^^^]

Смотрите-ка! он правильно говорит! (фр.)

[^^^]

Это ужас что такое! настоящая чума! (фр.)

[^^^]

Неотесанный медведь! О, какой ужас! (фр.)

[^^^]

Черт возьми! Здорово же мы попались! (фр.)

[^^^]

Автор не припомнит с точностью года, когда были писаны им настоящие заметки. Но из некоторых подробностей текста можно, почти с уверенностью, заключить, что эти заметки были набросаны им в самом начале 70-х годов.

[^^^]

Запрещение (*лат.*).

[^^^]

Без предварительной подготовки, с листа
(фр.).

[^^^]

Вы хорошо использовали предоставленное вам время (фр.).

[^^^]

Не следует забывать, что это писано давно, когда эти споры и толки были в полном ходу.

[^^^]

В следующем за окончанием нами курса году студентам изменена была форма, и малиновые воротники заменились синими.

[^^^]

Ораторское искусство (*лат.*).

[^^^]

Священный огонь (фр.).

[^^^]

Великолепный (фр.).

[^^^]

Рассуждение (фр.).

[^^^]

То есть в начале 70-х годов.

[^^^]

«Время – деньги» (*англ.*).

[^^^]

Мальпост, почтовая карета (фр.).

[^^^]

Мнимым отцом семейства (фр.).

[^^^]

Третъе сословие (фр.).

[^^^]

О мертвых говорят хорошо или ничего не говорят (*лат.*).

[^^^]

Этот господин очень представительен (фр.).

[^^^]

Терпел (фр.).

[^^^]

Угрызение совести (фр.).

[^^^]

«Дурной тон» (фр.).

[^^^]

Того гляди, декласируешься! (фр.).

[^^^]

Убирайтесь отсюда! (фр.).

[^^^]

Это добрый малый в конечном счете (фр.).

[^^^]

В трудном положении (фр.).

[^^^]

Представъте себе (фр.).

[^^^]

Русский дворянин (фр.).

[^^^]

Есть провидение для несчастных (фр.).

[^^^]

Мы прожились дочиста (фр.).

[^^^]

Что делать! Мы ведь воевали, а на войне как на войне? (фр.).

[^^^]

Безделушек – все это мне стояло невероятно дорого (фр.).

[^^^]

Настоящий мерзавец! (фр.).

[^^^]

Разносчик любовных записок (фр.).

[^^^]

В высшей степени представительным.
«Очень представительен!» (фр.).

[^^^]

Только и всего! (фр.).

[^^^]

Это правильно, вы, безусловно, тысячу раз правы! (фр.).

[^^^]

Именно! (фр.).

[^^^]

Сделайте это, прошу вас! (фр.).

[^^^]

Это плут, если угодно, но он хорошо осведомлен в делах (фр.).

[^^^]

Я сделал прекрасное приобретение (фр.).

[^^^]

Волей-неволей (фр.).

[^^^]

Жребий брошен! (*лат.*).

[^^^]

Юридически, формально (*лат.*).

[^^^]

Фактически, по существу (*лат.*).

[^^^]

Тогда, после польского восстания 1830 г., множество уроженцев польских губерний было разослано, по распоряжению правительства, на службу по городам внутри империи. Полагалось, что они обживутся с русскими и сами обрусуют. Вышло противное. Умные, вкрадчивые, большею частью образованные, во всяком случае образованнее нашей провинциальной чиновничьей братии, эти пришельцы занесли с собой польский дух и нравы и вместе с тем привили понятие о политическом режиме Польши и вообще Запада. Эта тихая, самим правительством созданная пропаганда не осталась без влияния на развитие политических идей даже в дальних углах России, где до тех пор о них не было и слуху.

[^^^]

Это мило! (фр.).

[^^^]

В соусе из мадеры (фр.).

[^^^]

Для вида (фр.).

[^^^]

Он представительный, очень представительный (фр.).

[^^^]

В виноградниках господа бога (фр.).

[^^^]

Главная фаворитка (фр.).

[^^^]

Сыграл же он со мной штуку! (фр.).

[^^^]

Это удачная мысль! (фр.).

[^^^]

Говорить по-французски (от *франц.* parler français).

[^^^]

Белая горячка (*лат.*).

[^^^]

Челядь (фр.).

[^^^]

Расфуфыренная (фр.).

[^^^]

Дизентерия (*лат.*).

[^^^]

Все носил с собою (*лат.*).

[^^^]

Поскоблите русского и вы найдете татарина...
или чиновника (фр.).

[^^^]

С палками в колесах (фр.).

[^^^]

Самая малость! (фр.)

[^^^]

Не прощаюсь! (фр.)

[^^^]

Ну, дети мои (фр.).

[^^^]

Под соусом из мадеры? (фр.)

[^^^]

Что это такое? (фр.)

[^^^]

БЫВШИМ МОЛОДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ (ФР.).

[^^^]

Прощайте, дорогая! (фр.).

[^^^]

Чорт возьми! (англ.)

[^^^]

173

Добрый день, дорогой Жорж! (фр.)

[^^^]

Великолепно, не правда ли? (фр.)

[^^^]

Мой дорогой (фр.).

[^^^]

Эссенции апельсиновых цветов, нюхатель-
ной соли (фр.).

[^^^]

Папа, выполните его просьбу: я этого очень хочу! (фр.)

[^^^]

Примечание для читательниц.

[^^^]

Пастелью (фр.).

[^^^]

Записная книжка (фр.).

[^^^]

И вот я здесь! (фр.).

[^^^]

Хорошо сказано (фр.).

[^^^]

Без гнева, необходимое условие (*лат.*).

[^^^]

Как он хорошо говорит! (фр.)

[^^^]

Что это за книга: ты читал ее? (фр.)

[^^^]

Это ужас (фр.).

[^^^]

Это было писано в 60-х годах, с потерей глаза в 1882 г. я, к сожалению, должен был совсем оставить чтение. (*Прим. Гончарова.*)

[^^^]

Гончаров в это время был чиновником министерства внешней торговли (послужной список Гончарова, ЦГЛА).

[^^^]

Карты на стол! (фр.).

[^^^]